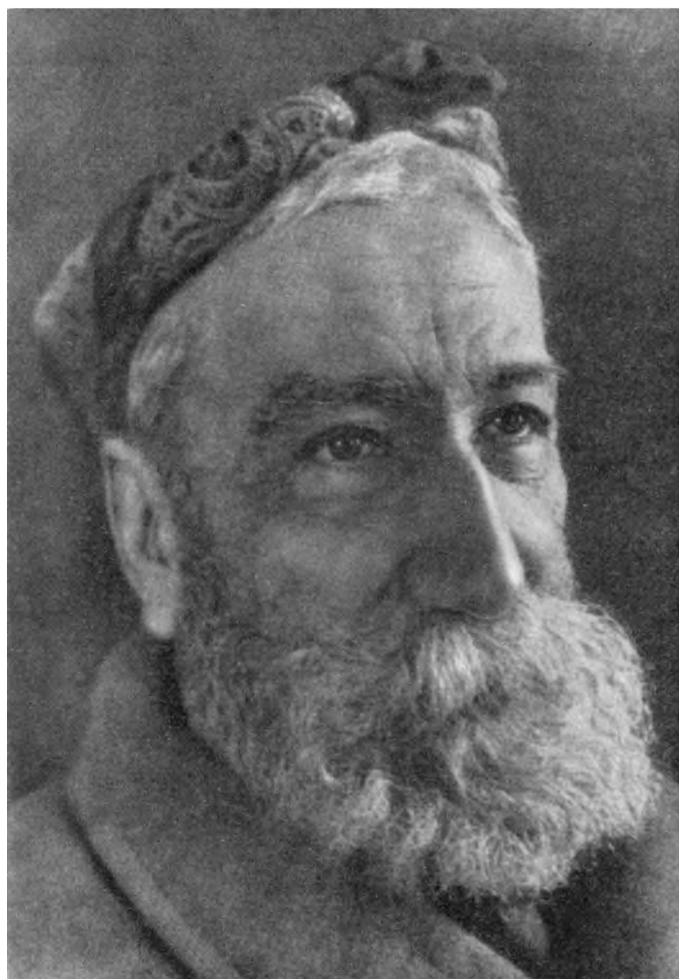


Анатоль Франс



А. ФРАНС  
(1844—1924)

*Государственное  
издательство  
художественной  
литературы*

# Анатолий Франс

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

*в восьми томах*



Под общей редакцией

*Е. А. ГУНСТА, В. А. ДЫННИК,  
Б. Г. РЕИЗОВА*

*Государственное издательство  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Москва 1960*

# Анатоль Франс

## ТОМ ВОСЬМОЙ



ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ  
ПУБЛИЦИСТИКА  
РЕЧИ  
ПИСЬМА

*Перевод с французского*

*Государственное издательство  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Москва 1960*

ANATOLE FRANCE  
ŒUVRES

*LA VIE LITTÉRAIRE*  
*POLITIQUE*  
*DISCOURS*  
*LETTRES*

*Редактор переводов*  
А. Л. АНДРЕС

*ЛИТЕРАТУРНО-  
КРИТИЧЕСКИЕ  
СТАТЬИ*





## ИЗ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ»

(Серия первая)

### ГАМЛЕТ ВО «ФРАНЦУЗСКОЙ КОМЕДИИ»

«Спокойной ночи, милый принц, и пусть херувимы усладят сон твой песнопениями», — так говорили мы вслед за Горацио юному Гамлету в прошлый вторник, выходя в полночь из Французской Комедии. И как не пожелать было спокойной ночи тому, кто подарил нам такой прекрасный вечер... Да, милый он — этот принц Гамлет! Он прекрасен и несчастлив; он все понимает и не знает, как быть; он вызывает зависть и достоин сожаления. Он и хуже и лучше каждого из нас. Это человек, человек в его плоти и крови, это — весь человек. А в переполненном зале, клянусь вам, нашлось всего десятка два людей, которые почувствовали это. «Спокойной ночи, милый принц!» Расставшись с вами, невозможно не быть во власти дум о вас — и вот уже три дня, как в голове моей нет иных мыслей, кроме ваших.

Я смотрел на вас, мой принц, с какой-то грустной радостью, а это ведь больше, чем радость веселая. Скажу вам по секрету, что публика в этот вечер показалась мне немного невнимательной и легкомысленной — на это не следует слишком сетовать, и вовсе не следует этому удивляться. Ведь зал был полон французами и француженками. А вы были не во фраке, у вас не было

никакой любовной связи в высшем финансовом свете, и в петлице вашей не красовался цветок гортензии. Вот дамы слегка и покашливали в своих ложах, лакомясь засахаренными фруктами. Ваша история не могла заинтересовать их. Не светская эта история, а всего только человеческая. Вы заставляете людей думать, — уж этой вины вам здесь не простят. И все же были в зрительном зале такие души, которые вы глубоко затронули. Говоря им о себе, вы говорили им о них самих. Вот почему вы им милее всех других существ, рожденных, подобно вам, творческим гением.

По счастливой случайности моим соседом по креслу оказался г-н Огюст Доршен. Он понимает вас, мой принц, как понимает и Расина, ибо Доршен — поэт. Мне кажется, что я тоже немного понимаю вас, потому что я недавно вернулся с моря... О, не пугайтесь, я не собираюсь сравнивать вас с океаном! Это ведь и есть слова, слова, а вы их не любите. Нет, мне хочется только сказать этим, что я понимаю вас потому, что после двух месяцев покоя, забвения среди беспредельных горизонтов я стал очень чист сердцем и очень восприимчив ко всему истинно прекрасному, великому и глубокому. За парижскую зиму приобретаешь вкус к милым пустячкам, к модному ломанью и изощренному остро словию всяких литературных школок. Но в благодетельной праздности прогулок на лоне сельской природы, среди полей, у необъятных просторов моря чувства становятся более высокими и чистыми. Вернувшись оттуда, чувствуешь себя готовым к общению с суровым шекспировым гением. Вот почему вы явились для меня кстати, принц Гамлет; вот почему все ваши мысли беспорядочно просятся сейчас с уст моих, наполняя меня смятением, поэзией и печалью. Вы знаете, что в «Ревю бле», да и еще кое-где, задавали вопрос — откуда ваша меланхолия? И справедливо сочли ее столь глубокой, что не поверили, будто она могла быть рождена лишь семейными несчастьями, как бы ужасны они ни были.

Один весьма видный экономист, г-н Эмиль Лавеле, предположил, что то была печаль, вызванная причинами экономическими, и, чтоб доказать это, написал

особую статью. В ней он, между прочим, дает понять, что и его другу Ланфре и ему самому довелось испытать подобную же печаль после государственного переворота 1851 года, и что вас, принц Гамлет, больше всего мучило скверное положение Дании, в которое вверг ее в ваше время узурпатор Клавдий.

Я думаю, что и в самом деле вас очень беспокоили судьбы вашей родины, и от души рукоплескал тем словам, которые произносит Фортинбрас, когда он велит, чтобы четыре капитана подняли вас на помост как воина и чтобы вам воздали воинские почести. «Если бы Гамлет остался жив, — восклицает Фортинбрас, — он явил бы пример благороднейшего короля». И все же я не думаю, чтобы ваша печаль была совсем такая же, как у г-на Лавеле. Я полагаю, что то была печаль более высокого порядка, скорее печаль ума; что она рождена была живым ощущением неотвратимости судьбы. Не только Дания — весь мир казался вам погруженным во тьму. Вы уже ни на что не надеялись, даже на принципы публичного права, как г-н Лавеле. Пусть тот, кто усомнится в этом, припомнит прекрасную и горькую мольбу, слетевшую с ваших уже хладеющих уст:

О друг...  
Когда меня в своем хранил ты сердце,  
То отстранись на время от блаженства,  
Дыши в суровом мире, чтоб мою  
Поведать повесть...<sup>1</sup>

Таковы последние ваши слова. Тот, к кому вы обращали их, не принадлежал, подобно вам, к семье, пропитанной ядом преступлений; ему не предопределено было, как вам, стать убийцей. Это была свободная, разумная и верная душа. Это был счастливый человек, если только такой возможен. Но вы, принц Гамлет, вы знали, что счастливых никогда не бывало. Вы знали, что все плохо в этом мире. Приходится сказать прямо: вы были пессимистом. Конечно, к этому толкала вас выпавшая вам судьба: она была трагична. Но и сама природа ваша была под стать ей. Это и делает вас

<sup>1</sup> Перевод М. Лозинского.

таким обаятельным. В этом все ваше очарование: вы рождены были с жадой страданий, и вам их досталось вволю. Вас на славу угостили, принц. И как же вы смакуете горе, которого так жаждали! Какой у вас обостренный вкус! О, вы поистине знаток, вы просто лакомка по части страданий.

Таким произвел вас на свет великий Шекспир. И мне сдается, что он и сам не был оптимистом, создавая вас. Между 1601 и 1608 годами, если не ошибаюсь, его чудодейственные руки оживили целую толпу теней — безутешных или неистовых. В ту пору он показал нам Дездемону, гибнущую по вине Яго, и пятна крови старого доброго короля на ручках леди Макбет, и бедную Корделию, и вас — своего любимца, и Тимона Афинского.

Да, Тимона! Решительно приходится думать, что Шекспир был таким же пессимистом, как вы. Что-то скажет об этом его собрат по искусству, автор второго «Жерфо» г-н Моро? \* Говорят, он каждый вечер весьма круто расправляется с бедными пессимистами в театре «Водевиль». О, им ежедневно приходится переживать из-за него пренеприятные минуты! Мне их жаль; ведь повсюду находятся счастливы, безжалостно высмеивающие их. На месте пессимистов я просто не знал бы, куда и деваться. Но теперь они должны воспрянуть духом — на их стороне Иов и Шекспир. Это немного выравнивает чаши весов. На сей раз г-н Полю Бурже оправдан, и все это благодаря вам, принц Гамлет.

Я пишу все это, а передо мной лежит старинная немецкая гравюра с вашим изображением, хотя я с трудом узнаю вас на ней. Вы изображены здесь таким, каким были на сцене берлинского театра около 1780 года. На вас не было тогда того парадного траурного платья, о котором упоминает ваша мать, — камзола, коротких штанов, плаща, круглой шапочки; в них нарядил вас Делакруа \*, запечатлевая ваш облик в своих нескольких неуклюжих, но прекрасных рисунках, и г-н Мунэ-Сюлли \* носит их с такой мужественной грацией, принимая такие изящные позы! Нет! Вы появлялись перед берлинцами XVIII века в costume, который в наши дни показался бы весьма странным. Вы были

одеты — о том свидетельствует моя гравюра — по тогдашней последней французской моде. Вы были в белом пудреном парике, причесанном на манер голубиных крыльев. На вас был кружевной воротник, атласные штаны, шелковые чулки, башмаки с пряжками и короткий придворный плащ — словом, полное траурное одеяние версальского придворного. Чуть было не забыл о шляпе а ля Генрих IV, — настоящей шляпе дворянина на собрании Генеральных Штатов. В этом наряде, с парадной шпагой на боку, вы лежите у ног Офелии, — право же, она очень мила в своем платье с фижмами и с высокой прической, как у Марии-Антуанетты, украшенной огромным султаном из страусовых перьев. Остальные действующие лица одеты вам под стать. Вместе с вами они присутствуют на представлении трагедии «Гонзаго и Баптиста». Ваше красивое кресло в стиле Людовика XV не занято, и мы можем разглядеть все цветы на его обивке. Вы уже подползаете к королю, пытаясь уловить на его лице безмолвное признание в преступлении, за которое вы призваны отмстить. Король тоже в красивой шляпе а ля Генрих IV, которую носил Людовик XVI...

Вы, вероятно, думаете, что здесь я снисходительно улыбнусь и примусь выражать свои восторги по поводу того, как преуспело у нас искусство декоратора и костюмера?

Ошибаетесь. Разумеется, я несколько не сожалею о том, что вы не одеты уже как на моей старой гравюре, что вы уже не напоминаете графа Прованского, носящего траур по дофину, и что ваша Офелия не разодета подобно даме из королевской фамилии. Нет, конечно. Вы мне много милее таким, каким я вижу вас теперь, но костюм не имеет для вас значения. Надевайте какой хотите: они все будут вам к лицу, если они красивы. Вы принадлежите всем векам и всем странам. За три столетия вы ни на час не постарели. Душа ваша — сверстница наших душ. Мы живем одной жизнью, принц Гамлет, и вы — то же, что и каждый из нас: человек среди всеобщего зла! Вас не раз осуждали за ваши речи и поступки. Указывалось на то, что вы находитесь в противоречии с самим собою. Как уловить

эту неуловимую личность? — говорили о вас. — То он мыслит как средневековый монах, то как ученый времен Возрождения; у него ум философа, но все же полный всякой чертовщины. Он ненавидит ложь, а вся жизнь его — одна лишь длинная цепь лжи. Он нерешителен, это совершенно очевидно, а между тем некоторые критики считают его преисполненным решительности, и нельзя сказать, чтобы они были так уж не правы. Словом, существует мнение, будто вы, мой принц, — лишь кладезь мыслей, лишь скопище противоречий, а вовсе не живой человек. Но именно это и свидетельствует о вашей глубокой человечности. Вы быстры и медлительны, отважны и робки, благожелательны и жестокосердны, вы верите и сомневаетесь, вы мудры, а главное — безумны... Словом, вы живой человек. В ком из нас нет сходства с вами? Кто из нас мыслит без противоречий и действует последовательно? Кто из нас не безумен? Кто из нас не скажет вам с каким-то сложным чувством жалости и сочувствия, восхищения и ужаса: «Спокойной ночи, милый принц!»

## ГИ ДЕ МОПАССАН И ФРАНЦУЗСКИЕ РАССКАЗЧИКИ

Да, я призову их всех! Создателей фэбли, лэ и моралите, сочинителей соти \*, шуток, игривых поговорок, жонглеров и старых галльских рассказчиков, я призову их всех и всем им брошу вызов! Пусть придут и признают, что их веселое умение не стоит искусного и тонкого мастерства нынешних наших рассказчиков! Пусть уступят первенство Альфонсам Доде, Полям Аренам \* и Ги де Мопассанам! Прежде всего я призову менестрелей, что во времена королевы Бланки кочевали из замка в замок и пели свои лэ, подобно тем журавлям, о которых говорит Данте в шестой песне Ада. Пели они в стихах. Но стихи их были менее стройны, чем проза нашего Жана де Винь. Размер и рифма служили лишь указками, вехами для их памяти. Они пользовались тем и другим, чтобы легче запоминать и сказывать свои побасенки. В стихе важна была польза, а вовсе не красота. В XIII веке был в ходу рассказ «Разорванная попона», где сеньор прогоняет из дому своего нищего и немощного старика отца, а затем возвращает его из страха, как бы его собственный сын не поступил с ним так же. Еще был рассказ о том, как меняла Гильом получил от монаха, который задумал

«улестить» его жену, не только сто ливров, но и поросенка в придачу.

В те времена форма повествования была груба и суть ей соответствовала. Однако иногда возникали и поэтичные лэ, вроде лэ о птичке, где соловей преподает виллану советы истинной мудрости, или же вроде «Граелента» Марии Французской. Впрочем, «Граелент» скорее удивляет, чем пленяет нас. Судите сами:

«Невдалеке от города, — говорит поэтесса Мария Французская, — рос густой лес, а через него протекала речка. Рыцарь Граелент отправился туда в задумчивости и тоске. Побродив сколько-то времени под деревьями, он увидел, как белая лань бросилась в кусты при его приближении. Он стал преследовать ее, не чая настичь, и так очутился на полянке, где струился прозрачный родник. В роднике этом плескалась нагая девица. Увидав, какая она гибкая, резвая, статная, белая, Граелент позабыл о лани».

И простодушная Мария самым бесхитростным образом повествует дальше: Граелент нашел девицу себе по вкусу и стал «домогаться ее любви». Но, увидев вскоре, что «домогательства его тщетны», он силой увлек ее в чащу леса, поступил с ней, как ему хотелось, а потом ласково попросил ее не гневаться, обещая честно любить ее и не покинуть вовеки. Девица поняла тут, что он истый рыцарь, учтивый и благонравный. «Граелент, — сказала она, — хоть вы и застали меня врасплох, я не стану от этого меньше любить вас, только не вздумайте проговориться о нашей любви. Я дам вам много денег и красивых тканей. Ибо вы честны, отважны и красивы». В заключение поэтесса Мария говорит, что с той поры Граелент жил в превеликом блаженстве. И любовник был отменный.

Поистине, рассказчики XIII века говорят обо всем с бесподобной простотой. В подтверждение приведу пример из знаменитой повести «Амис и Амалес».

«Ардерей присягнул в том, что Амалес обесчестил королевскую дочь; Амис присягнул в том, что Ардерей сказал неправду. Они накинулись друг на друга и бились с третьего по девятый час. Ардерей был побежден, и Амис отсек ему голову. Король скорбел, что



лишился Ардерей, и вместе с тем радовался, что дочь его чиста от подозрений. Он отдал ее в жены Амису с великим множеством золота и серебра в придачу. Господь бог поразил Амиса проказой. Жена Амиса, которую звали Обиас, ненавидела его. Много раз она пыталась его давить...»

Вот повествователь, который не смущается ничем.

Начиная с XV века мы встречаем уже не бродячих певцов, а настоящих писателей, способных сочинить хороший роман.

Таков автор «Маленького Жеана из Сентре» \*. Он не любил монахов; это умонастроение разделяют с ним все старинные рассказчики, но он умел его выразить. Таковы и приближенные дофина Людовика, с 1456 по 1461 год сообща сочинившие в городе Женаппе, в Бранбанте, сборник, известный под названием «Сто новых новелл короля Людовика XI». Выдумка в них скудновата, но язык яркий, сжатый, выразительный. Настоящий, исконный французский язык. Эти рассказы не лишены остроумия. Они кратки и в десяти случаях из ста вызовут улыбку и в наши дни. Разве не умилительна, например, история славного деревенского кюре, нежно любившего свою собаку? \* Когда бедный пес издох, добряк кюре, не долго думая, похоронил его в освященной земле, на кладбище, где местные христиане мирно дожидались Страшного суда и воскресения мертвых. На беду об этом прослышал епископ — человек алчный и крутой. Призвав к себе провинившегося, он осыпал его жестокими упреками. Он уже собрался заточить кюре в темницу, когда тот повел вкратце такую речь:

— Право же, монсеньер, знали бы вы моего славного пса, да простит ему господь, как я простил, вы не были бы так возмущены погребением, которое я сотворил ему.

И тут же принялся восхвалять своего пса:

— А уж если был он благоденствен при жизни, так и того более перед смертью; ибо он сделал примернейшее завещание и, зная вашу скудость и нужду, отказал вам пятьдесят экю золотом, кои я и принес.

Епископ, добавляет рассказчик, одобрил равно и заветование и погребение. Этих рассказчиков, а в особенности последующих, я призываю не за тем, чтобы они сознались в своем поражении, а за тем, чтобы они составили достойную и доблестную свиту нашим современникам.

В XVI веке новелла процветает, распространяется и распускается пышным цветом на ниве словесности; она заполняет многочисленные сборники; она проникает в самые ученые сочинения, между глубокомысленными рассуждениями, порой доходящими до педантизма.

Бероальд де Вервиль, Гильом Буше, Анри Эстьен, Ноэль дю Файль, самый изобретательный и плодовитый из «новеллистов» той эпохи, все сочиняют без устали. Королева Наваррская делает из своего «Гептамерона» собрание «всех злых проделок, коими женщины допекали горемычных мужчин». Я не упоминаю ни Рабле, ни Монтеня. А между тем оба они умели рассказывать, как никто. В XVII веке новелла надевает испанский наряд, носит плащ и шпагу и принимает окраску трагикомедии. Бедняга Скаррон показал немало их в таком обличье. Среди прочих есть у него две новеллы «Лицемеры» и «Наказанная скупость», из которых Мольер заимствовал несколько положений, отнюдь не в ущерб «Скупому» и «Тартюфу». Великий драматург оказал большую честь безногому калеке, ограбив его. Испанский сусец и правда наделен в новелле весьма забавными чертами плутовского жанра:

«Уж если он зажигал у себя в комнате огарок свечи, то не иначе как украденный, а чтобы сберечь и его, начинал раздеваться еще на улице, с того места, где зажег свет, а войдя в комнату, гасил свечу и ложился в постель. Но изобретательный ум его подсказал ему, что можно ложиться спать с меньшими издержками, продырявив стену в комнату соседа; стоило тому зажечь свечу, как Маркос (так звали скрягу) открывал дыру и получал из нее столько света, сколько ему было нужно. Будучи вынужден, по своему дворянскому званию, носить шпагу, он носил ее день справа, а день слева, чтобы она равномерно царапала ему башмаки».

Я признаю вместе с Расином, что писал Скаррон как сапожник. Но в выразительности ему отказать нельзя. Вот, например, удачный штрих. Наш скряга влюблен. Он возвращается домой взволнованный, по прежнему озабоченный, как бы ни в чем не потерпеть урона. «Он достает из кармана огарок, насаживает его на острие шпаги, зажигает о лампаду, горящую перед распятием на ближней площади, не забыв при этом вознести ревностную молитву об успехе своих брачных планов, затем отпирает отмычкой дверь дома, где ночует, и укладывается в свою жесткую постель, скорее чтобы мечтать о любви, нежели спать». Такой сюжет вполне подошел бы, на мой взгляд, Анри Пилю \* для рисунка пером. Я не буду останавливаться на «Пересудах в доме роженицы» \*, на рассказах о лакеях Шарля Сореля, на буржуазном романе Фюретьера, на волшебных сказках. XVIII столетие — это золотой век сказки. Перо резво и весело скользит в руке Антуана Гамильтона, или аббата Вуазенона, или Дидро, или же Вольтера. «Кандид» намаран в три дня, а будет жить вечно. В ту пору каждый рассказчик был остроумцем и философом. Читали вы новеллеты Келюса и знаете ли вы Галише? Галише был чародей. «Разве не он убедил нас, что высокая девица в белом, еженощно посещавшая отца эконома, — это душа якобинского монаха? Разве не он наслал на женский монастырь в Монтеро целый сонм летучих мышей в тот день, когда туда явились мушкетеры? Разве не по его милости каждый вечер в опочивальне госпожи аббатисы появлялся белый кролик...» Но, кажется, я заболтался по вине Галише. Ах! что за приятные люди и как они были умны и веселы! Да, веселы. А знаете вы, как называется веселость мыслящих людей? Она называется смелостью духа. Вот почему я питаю безмерное уважение к этим маркизам и философам, с улыбкой показывавшим бренность всего земного и в сказках говорившим про зло мира. Шевалье де Буфлер, гусар и поэт, в свой черед сочинил небольшую сказку, в которой столько изящества и мудрости, столько глубины и легкомыслия, столько задора и вместе с тем столько снисходительности, что ее читаешь, улыбаясь сквозь слезы. Сказка

эта — «Алина, королева Голконды». Алина была пастушкой; однажды она потеряла и крынку для молока и невинность и предалась наслаждениям. Но, состарившись, она стала благонравна. И тут-то она обрела счастье. «Счастье, — говорила она, — это устоявшееся наслаждение. Наслаждение напоминает каплю воды; счастье подобно алмазу». Наконец мы достигли XIX века; вы вместе со мной назовете Стендаля, Шарля Нодье, Бальзака, Жерара де Нерваля, Мериме и множество других, чьи имена теснятся так неудержимо, что я не успеваю записывать их.

Одним из них дана мягкость, другим сила. Но веселость — никому. Французская революция отрубила головы беспечным грациям, она изгнала игривую улыбку. Литература не смеется уже почти столетие.

Мы составили Ги де Мопассану неплохую свиту из старинных и современных рассказчиков. И это была дань справедливости.

Господин де Мопассан бесспорно один из превосходнейших рассказчиков в той стране, где столько написано рассказов и притом хороших. Язык у него сочный, простой, безыскусный, поистине народный, за что мы и любим его всей душой. Он обладает тремя величайшими достоинствами французского писателя — ясностью, ясностью и еще раз ясностью. Он наделен чувством меры и порядка, присущим нашей расе. Он пишет так, как живет хороший нормандский фермер, — бережливо и радостно. Плутоватый, прижимистый, благодушный, порядочный балагур и немного фанфарон, стыдливый только в проявлениях своей природной щедрой доброты, старательно скрывающий то прекрасное, чем богата его душа, наделенный крепким глубоким умом, отнюдь не мечтательный и довольно равнодушный к тайнам загробного мира, привыкший доверять лишь тому, что видит, и полагаться на то, что держит в руках, весь он свой брат — земляк! Отсюда любовь, которую он внушает каждому, кто знает грамоту во Франции. И, несмотря на нормандский привкус, невзирая на то, что все его произведения пропитаны запахом спелых хлебов, типы у него разнообразнее, а выдумка богаче, чем у любого другого рассказчика нашего

времени. Нет такого дурака или мошенника, который бы ему не пригодился, которого бы он не прихватил мимоходом. Он великий живописец человеческого безобразия. Без ненависти и любви изображает он жадных крестьян, пьяных матросов, падших девушек, мелких чиновников, отупевших за конторкой, и всех обездоленных, в чем смирении нет ни красоты, ни добродетели. Он так наглядно показывает нам всех этих уродов и горемык, что мы как будто видим их воочию, и для нас они действительнее самой действительности. Он дает им жизнь, но он их не судит. Мы не знаем, что думает он сам об этих плутах, прохвостах, повесах, которых создал и которые нас преследуют. Как искусный мастер, он знает, что сделал все, вдохнув в них жизнь. В равнодушии своем он подобен природе, что удивляет и раздражает меня. Мне хочется знать, что же думает и чувствует в глубине души этот безжалостный, сильный и добрый человек. Любит ли он дураков за их глупость? Любит ли он зло за его безобразие? Весело ли, грустно ли ему? Забавляется ли он сам, забавляя нас? Что думает он о человеке? Как относится к жизни? Что думает о целомудренных страданиях мадемуазель Перль, о смешной и смертельной любви мисс Гарриет, о слезах, которые проститутка Роза проливала в Вирвильской церкви, вспоминая свое первое причастие? Быть может, он думает, что в конце концов жизнь не так уж Плоха? По крайней мере кое-где он явно одобряет способ, каким ее зачинают. Быть может, он думает, что мир создан удачно, потому что полон неудачников и негодяев, пригодных для рассказов. В сущности, неплохая точка зрения для рассказчика. Однако легко представить себе и обратное — что г-н де Мопассан исполнен скорби и сострадания, удручен глубокой жалостью и втайне оплакивает все те горести, которые преподносит нам с великолепным хладнокровием.

Всем известно, что он не знает себе равных, когда изображает сельских жителей в том виде, до какого низвело и довело их проклятие Адамово. Среди прочих персонажей он в превосходной новелле показывает нам такого, у которого все лицо — один только нос, щек нет, глаза круглые, неподвижные, испуганные и дикие,

профиль забитого петуха в старозаветной шляпе с по-рыжелым и взъерошенным ворсом, — словом, типичного крестьянина, какого всем нам случается видеть и странно видеть рядом с собой, настолько он непохож на нас. Лет пятнадцать назад мы с г-ном Франсуа Коппе \* гуляли по маленькому нормандскому пляжу, пустынному, заброшенному, унылому, где голубой чертополох сохнет в прибрежном песке. Во время прогулки нам встретился местный житель, колченогий, согнутый, скрюченный, но при этом крепко сбитый, с ощипанной ястребиной шеей и круглыми птичьими глазами. На каждом шагу он корчил гримасу, не выражавшую решительно ничего. Я не мог удержаться от смеха, но, поймав взгляд моего спутника, я прочел у него на лице выражение такой жалости, что устыдился своего неразделенного веселья.

— Он похож на Брассера, — довольно неловко заметил я в свое оправдание.

— Да, — ответил мне поэт, — и Брассер вызывает смех. Но этот человек уродлив отнюдь не смеха ради. Потому-то я и не смеюсь.

Эта встреча оставила у моего спутника тягостное впечатление. Г-н де Мопассан тоже ведь поэт, возможно и он страдает, видя людей такими, какими их показывают ему глаза его и ум, — уродливыми, злыми, трусливыми по причине неисцелимого убожества, ограниченными в своих радостях, горестях и даже в своих злодеяниях? Не знаю. Знаю только, что он человек положительный, не витает в облаках и не склонен искать лекарства от неизлечимых болезней.

Я готов предположить, что его философия полностью укладывается в мудрой песенке, которую кормилицы поют своим питомцам, — она превосходно выражает все, что нам известно о судьбе человека на земле:

Куколки на ниточках  
Снуют, снуют, снуют,  
Покрутятся, повертятся,  
И нет их тут.

## ПО ПОВОДУ ДНЕВНИКА ГОНКУРОВ

Того, кто говорит о самом себе, обычно осуждают. А между тем люди лучше всего пишут именно на эту тему. Она живо интересует их, и они нередко заинтересовывают ею и нас. Согласен, бывают исповеди очень скучные. Но бездарный писака, который кажется вам утомительным, когда рассказывает собственную историю, — и вовсе уморит вас, взявшись излагать истории других. Мало что способно так вдохновить писателя, как возможность рассказать о себе. Справедливо говорит у поэта голубь: \*

Где был, что видел я —  
Все без утайки вам открою,  
И мыслями в далекие края  
Вы унесетесь вслед за мною

Правда, он обращается при этом к другу, тогда как сочинители мемуаров пишут для тех, кого не знают. Но когда люди незнакомы, они чувствуют взаимную симпатию. Всякий читатель легко становится другом. Нет такого дневника, таких мемуаров, таких исповедей или автобиографических романов, которые посмертно

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Корнеева. Далее все стихи, кроме особо оговоренных случаев, даны также в переводе Ю. Корнеева.

не снискали бы автору симпатий публики. Мармонтель совсем не интересен нам, когда ведет речь о Велитарии или об инках; но он живо увлекает нас, как только начинает рассказывать о маленьком лимузинце, читавшем «Георгики» \* в саду, где жужжали пчелы. Тут он и трогает нас, и волнует, потому что мальчик этот — он сам, потому что пчелы эти — те самые, чьим медом он лакомился, те самые, которых его тетушка согревала в своих ладонях и подкрепляла каплями вина, когда обнаруживала их оцепеневшими от холода. Возбужденное подлинными воспоминаниями, воображение его разгорается, обретает краски, оживает. Как хорошо рисует он нам себя деревенским юнцом, напичканным латынью и пышущим здоровьем, попавшим по окончании коллежа в будуары театральных див! Здесь он, обычно бесстрастнейший из писателей, заставляет нас все увидеть, все почувствовать. Что же говорить о таких случаях, когда мысль изобразить себя приходит большому таланту, когда это Жан-Жак Руссо или Шатобриан?

Я не говорю об исповеди блаженного Августина: великий отец церкви исповедуется недостаточно полно. Это книга духовная, которая больше отвечает религиозному чувству, чем человеческому любопытству. Августин исповедуется перед господом, но не перед людьми. Он ненавидит свои грехи, а хорошую исповедь может написать только тот, кому еще милы его заблуждения. Он раскаивается, а ничто так не портит исповеди, как раскаяние. Он говорит, например, в двух очаровательных фразах, что в раннем детстве он улыбался, лежа в своей колыбели, — и тут же старается доказать, «что даже невинные младенцы, сосущие материнскую грудь, суть уже порочны и лукавы...» Святой мешает мне здесь видеть человека. Вот он рассказывает о том, как в годы его детства близ отцовского виноградника росла груша, усыпанная плодами, и как однажды вместе с ватагой маленьких сорванцов он принялся трясти это дерево и воровать падавшие с него груши. Может быть, теперь он нарисует одну из тех чарующих нас безыскусственных сценок, которые мы находим на первых страницах «Исповеди» Жан-Жака, или, если это ему



не под силу, использует сюжет для изящного и простого рассказа во вкусе поздних греческих романов? Ничуть не бывало! Он восклицает: «Так вот, о боже! каким было это достойное презрения сердце, кое милосердию твоему угодно было вознести из греховной бездны!..» Как будто украсть несколько несчастных груш — уже значит для мальчишки низвергнуться в бездну греха!..

Он признается в своих любовных влечениях; но это получается у него без всякого изящества, потому что устами его говорит стыд. Только и речи у него, что о «вожделениях» да об «адских испарениях, исходящих из глубины его развращенности и любострастия»! Трудно представить себе что-либо более высоко нравственное, но и что-либо менее привлекательное. Он пишет не для любопытных; он пишет против манихеев \*. А мне это вдвойне досадно, ибо я любопытен, да и сам немного манихей... Но даже и такая, исполненная ненависти к плоти и отвращения ко всему земному «Исповедь» Августина больше всех других сочинений этого святого способствовала его славе и любви к нему на протяжении столетий.

Что касается Руссо, душа которого таит в себе столько мелкого и столько великого, то его уж никак не упрекнешь в том, что исповедь его не полна. С поразительной готовностью сознается он в своих и в чужих грехах. Ему нетрудно говорить правду: он знает, что какой бы позорной или безобразной она ни была, он сумеет придать ей нечто трогательное и прекрасное. Он владеет особым секретом, секретом гения, которому дано все очищать, подобно огню. Бедный великий Жан-Жак! Он всколыхнул мир. Он сказал матерям: «Кормите сами своих детей», — и молодые женщины стали кормить детей своих, а художники принялись изображать прелестнейших дам с младенцами у груди. Он сказал людям: «Люди рождены добрыми и счастливыми; несчастными и злыми сделало их общество; они вновь найдут счастье, вернувшись к природе». И вот королевы превратились в пастушек, министры сделались философами, законодатели провозгласили права человека, а народ, добрый от природы, в течение трех

дней убивал в тюрьмах узников... \* Но если Жан-Жака читают еще и поныне, то не потому, что с присущим ему обольщающим красноречием он распространил по всему миру новый вид любви-сострадания вместе с самыми ложными и пагубными представлениями о человеческой природе и обществе, какие когда-либо рождались в мозгу человека; не потому, что он написал самый прекрасный из любовных романов, и не потому, что открыл новые источники поэзии, а потому, что нарисовал нам жалостную жизнь свою, рассказал обо всем, что довелось ему пережить в нашем грустном мире с того времени, когда он был лишь юный бродяга — порочный, склонный к воровству, неблагодарный, но все же восприимчивый к прекрасному и полный священной любви к природе, — и до того дня, когда беспокойный дух его погрузился во мрак безумия. В наши дни никто уже не заглядывает ни в «Эмиля», ни в «Новую Элоизу». Читать же его «Исповедь» будут всегда.

Из всего, что написано Шатобрианом, тоже читается ныне одна лишь книга — та, в которой он рассказал нам о себе, — его «Замогильные записки».

Он изобразил самого себя во всех своих сочинениях — и в образе Ренэ в «Начезах», и в Ренэ из «Амелии» \*, и в Евдоре из «Мучеников», и даже в «Последнем из Абенсерагов». В своем гордом одиночестве гения он никогда ничего не видел в мире, кроме себя самого да окружавших его женщин. И все же всем его книгам мы предпочитаем «Замогильные записки» — ту книгу, где он нарисовал себя — не скажу, чтобы без прикрас, но в собственном облике, нарисовал себя с надменностью, смягченной иронией, со своего рода высокомерным простодушием, с чувством глубочайшей скуки, не мешавшей ему, однако, тешиться блестящей игрою слов. Как и у Жан-Жака, его посмертная книга оказалась самой долговечной.

Да, мы любим всякого рода исповеди и мемуары. Нам не надоедает, когда писатель рассказывает о своей любви и ненависти, о своих радостях и печалях. Этому много причин. Укажу две из них. Первая состоит в том, что дневник, записки, — словом, все, что является

воспоминанием, не зависит от моды, от всех условностей, которым подчиняются обычно произведения, основанные на вымысле.

Поэма или роман, как бы хороши они ни были, стареют по мере того, как отживает свой век приданная им литературная форма. Произведения искусства не могут нравиться долго, ибо в доставляемом ими наслаждении немалую роль играет новизна. А мемуары — не произведение искусства. Автобиография ничем не связана с модой. Мы ищем здесь только правды о человеке. Мысль моя станет более понятной, если обратиться к хроникам. Григорий Турский изобразил собственную душу и окружавшую его жизнь в сочинении плохо написанном, но бесценном. Сочинение это живет и волнует нас и поныне. А стихи Фортуната, его современника, для нас уже не существуют. Они погибли вместе с варварской латынью, для которой были образцовыми.

С другой стороны, следует принять во внимание, что в каждом из нас живет потребность к истине, порою побуждающая нас отворачиваться даже от самых прекрасных вымыслов. Эта потребность глубоко заложена в нас. Мы с нею рождаемся. Каждый раз, как я рассказываю своей дочурке сказку об Ослиной шкуре, она неизменно спрашивает меня, правда ли, что колечко принцессы оказалось в пироге, было ли все это на самом деле и есть ли еще на свете феи.

Вот, думается мне, две основных причины, по которым мы так любим читать письма и записки не только великих людей, но и людей заурядных, если они любили, верили, надеялись и если на кончике их пера есть хотя бы частичка их души. А ведь если поразмыслить хорошенько, душа самого среднего человека уже сама по себе настоящее чудо.

Многому можно подивиться в простом человеке. Не говорю уже о том, что черты, привлекающие нас в них, мы обнаруживаем потом в самих себе, а это нам приятно. Я охотно удержал бы некоторых друзей от писания драм или эпопей, но никогда не стал бы удерживать того, кто задумал бы диктовать свои воспомина-

ния, даже если бы то была моя кухарка бретонка, которая умеет читать только свой молитвенник и твердо верит, что мой дом по ночам посещает душа башмачника и просит, чтобы молились за нее. Интересная получилась бы книга, если бы одно из этих бедных невежественных созданий способно было раскрыть свою душу и свое понимание мира со всей той глубокой наивностью, которая поднимается до высот поэзии.

Такая книга растрогала бы нас. Вопреки гордыне нашего разума мы вынуждены были бы признать, что он связан с убогим этим мышлением узами родства, и почтительно поклониться нашему предку. Ибо у каждого из нас была бабушка, верившая в душу башмачника. Наша наука, наша философия выросли из таких бабушкиных сказок. А вот что вырастет из нашей философии?

Господин Лоредан Ларше, человек ученый и хранящий в памяти множество забавных историй, опубликовал когда-то небольшое собрание мемуаров, написанных людьми маленькими и безвестными. Мне смутно припоминаются два дневника — один дневник сержанта, другой — какой-то старой дамы, и у меня осталось впечатление, что это было весьма любопытно. Нам никогда не наскучит читать мемуары и дневники, потому что нам никогда не наскучит изучать людей. Я не согласен с теми, кто находит, что в наше время пишется и издается слишком много такого рода сочинений.

Я не думаю, что только люди исключительные имеют право рассказывать о себе. Напротив, я полагаю, что очень интересно, когда это делают простые смертные.

Но в признаниях людей одаренных есть совсем особая прелесть. Вот почему я лично очень рад прижизненному изданию «Дневника Гонкуров».

Дневник этот, начатый братьями 2 декабря 1851 года, в день выхода в свет их первой книги \*, был продолжен после смерти младшего брата тем, кто остался в живых, безо всякого намерения когда-либо опублико-

вать его. Прошлым летом, в деревне, он прочитал некоторые из этих тетрадок своему другу г-ну Альфонсу Доде, и, естественно, тот был поражен краткими и глубоко искренними записями, сделанными под свежим впечатлением от событий. Он настоял, чтобы г-н Гонкур тотчас же познакомил с ними публику, и его мягкая настойчивость победила сомнения автора. Теперь мы уже знакомы с первой частью этого дневника: она охватывает десятилетний период и доходит до 1861 года. В опубликовании его не было, на мой взгляд, ничего предосудительного. Хотя бы по одному тому, что в нем говорится только об умерших. Все, что было тридцать лет тому назад, теперь — увы! — уже глубокая старина.

Все, кто проходит перед нами в этом первом томе, принадлежат прошлому: Гаварни, Готье, Флобер, Поль де Сен-Виктор... Можно говорить о них без стеснения, — их ускользающие тени позволяют нам это. Иные из них побледнели. Другие становятся значительнее. Гаварни предстает в «Дневнике» человеком почти равным великим художникам Возрождения. Он живописец, философ, математик, и все, что он говорит, полно своеобразия и глубины. Он мыслит, и это вызывает удивление, ибо в мире художников обычно довольствуются тем, что умеют видеть и чувствовать.

Примечательно, что этот глубоко личный дневник является в то же время дневником сугубо литературным. Оба его автора, как бы слившиеся в единое целое, так истинно преданы своему искусству, до такой степени мученики его и жертвы, так поглощены им, что самые заветные их мысли принадлежат только литературе. Перо и бумага для них то же, что клобук и нарамник для принявших постриг. Вся жизнь их — это непрерывная работа, это наблюдение и поиски выразительных средств. Повсюду и везде они в своей мастерской, — чуть было не сказал «в своей обители, у своего алтаря».

Невольно чувствуешь благоговение перед этим упорным трудом, не прекращающимся даже во сне, —

ибо они наблюдали и записывали даже сны свои. Вот почему, хотя они день за днем вносили в свои записи все, что приходилось им видеть и слышать, их нигде, ни на минуту нельзя обвинить в пустом любопытстве или нескромности. Они сосредоточили слух свой и зрение только на том, что касалось искусства. Нелегко, я думаю, найти еще один пример такого непрерывного умственного напряжения, как то, в котором жили эти два человека. Один из них в конце концов надорвался. Все чувства их, все мысли, все ощущения имеют одну лишь цель — создание книги. Они жили, чтобы писать. И этим, так же как и характером своего дарования, они поистине принадлежат своей эпохе. В былые времена писатели творили от случая к случаю. Правда, некоторые из них, как аббат Прево например, существовали своим пером и писали много, однако без такой постоянной и чрезмерной траты нервной энергии. Обычно благодаря пенсиям литературное ремесло было занятием весьма приятным.

В XIX веке положение вещей изменилось. Теперь необходимость творить подчинила себе всю жизнь писателя. Бальзак, Готье, Флобер превратили свою жизнь в бессознательный подвиг и прожили ее никем не понимаемые, словно чужестранцы. Гонкуры пошли еще дальше. Оставаясь в родной своей среде, ничем от нее не отличаясь, скромно, просто, но упорно, они жили необычной, обособленной жизнью, полной строгих правил, сурового воздержания и томительных искусов, подобно тем верующим, которые, оставаясь незаметными среди других, нося такую же одежду, как все, свято блюдут устав монашеского ордена, к которому тайно принадлежат. «Дневник Гонкуров» — единственное в своем роде свидетельство этого. Я не буду касаться вопроса о том, полезен ли писателю подобный литературный аскетизм и не наносит ли он серьезного ущерба замыслу и исполнению литературного произведения. Скажу только, что, прочитав «Дневник» за 1851—1861 годы, начинаешь лучше понимать, ценою какого непомерного развития нервной системы, какого напряжения зрения и мозга достигнуто было то особое

«артистическое письмо» — этим термином г-н Эдмон Гонкур определяет свою манеру — и то тщательное воспроизведение мельчайших ощущений, которое является отличительной чертой творчества обоих братьев. В их мысли, в их стиле, рожденных этой особой атмосферой, нет вольного воздуха, нет легких радостных образов, которые, подобно плодам, могут созреть лишь на солнце. Но перед нами явление редкостное, и оно внушает чувство уважения, ибо один из двоих умер оттого, что достигнув цели своих исканий. Читая «Дневник», мы видим, как это произошло.

## ЛЕКОНТ ДЕ ЛИЛЬ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ АКАДЕМИИ

Я не знаю и не должен знать содержания речи, которую произнесет в ближайший четверг во Французской Академии г-н Леконт де Лиль. Но предчувствую нечто весьма достойное. Это будет торжественная речь, полная глубоких мыслей, пространная и поучительная, и законченный образец изящнейшего красноречия. Я был бы весьма удивлен, если бы в ней оказались какие-нибудь анекдоты, отступления от темы, курьезы, вольности и хоть малейшая неточность. Мы увидим в ней идеальный образ поэта или, вернее, образ идеального поэта. Виктору Гюго достанутся здесь щедрые и вполне заслуженные похвалы, которые непреклонной догматичностью своей напомнят нам те Жития святых, что писались по латыни знаменитыми схоластами XI века, в полном презрении ко всему мирскому и преходящему и с единственной заботой — быть правоверными. Ибо г-н Леконт де Лиль — это священнослужитель искусства, это облеченный посохом и митрой настоятель обители искусств. И этого еще мало; не назвал ли его г-н Поль Бурже папой в изгнании?

Его речь в Академии будет преисполнена твердости и сознания собственной непогрешимости. Нам предстоит



восхищаться и торжественной, чисто литургической ее формой, и тем безоговорочным тоном, который дается только верой, когда с ней сочетается примерная жизнь. Таковы предсказания моего гороскопа. Можете не сомневаться в них, ибо я астролог. Это звездное небо мне хорошо знакомо, и я уже наблюдал в нем г-на Леконта де Лиля.

Берусь также предсказать, что в речи поэта будет место, посвященное средним векам. Я предвижу, что о них он скажет кратко и гневно.

Я мог бы, будь в том нужда, написать эту часть за него, и в ней недоставало бы тогда лишь его таланта. Г-н Леконт де Лиль преследует средневековье своей ненавистью. И поскольку это — ненависть поэта, она велика и проста, как любовь, и, как любовь, плодотворна; ею рождены блестящие стихотворения «Ворон», «Милосердие», «Два меча», «Агония святого», «Притчи дона Гюи», «Иероним», «Борзая Магнуса». Но я боюсь, что ненависть эта, весьма полезная для писания стихов, может оказаться совершенно непригодной при писании истории. Г-н Леконт де Лиль только и видит в средневековье что голод, невежество, прокажу да костры. Этого достаточно, чтобы поэт, подобный ему, мог создать восхитительные стихи. Но не только дурное было в эту эпоху, и она казалась бы нам менее мрачной, если бы мы больше о ней знали; было и многое другое. Были люди, творившие, конечно, много зла, — ибо невозможно жить, не причиняя зла другим, — но творившие еще больше добра, потому что именно они подготовили тот лучший мир, благами которого мы ныне пользуемся. Они много страдали, они много любили. В труднейших условиях постоянных нашествий и смещения племен они приступили к новому устройству человеческого общества, вложив в это дело столько труда и усилий, что мы поражаемся им еще и сегодня. Они возвели на высшую ступень героизма военную доблесть — основную человеческую добродетель, до настоящего времени являющуюся оплотом всякого общественного строя. Они принесли в мир то, чем он может, пожалуй, гордиться больше всего: рыцарский дух. Они были жестоки, об этом я не забываю, но я

преклоняюсь перед жестокими людьми, которые чистосердечно стараются установить на земле справедливость и путем великого насилия свершают великие дела.

Наряду с рыцарями были в ту эпоху и законодатели, исполненные учености и преданные идее справедливости. То, что было сделано XIII веком в области законодательства, достойно восхищения. У нас есть серьезные основания полагать, что к началу Столетней войны положение крестьян во Франции было, в общем, неплохим. Феодализм давал превосходные плоды, прежде чем начал давать плохие. В этом отношении он разделяет судьбу всех великих человеческих установлений. Я далек от намерения нарисовать здесь в общих чертах картину средних веков. Если г-ну Леконту де Лиллю удалось сделать это в тридцати шести стихах («Проклятые века» в сборнике «Трагические поэмы»), то это один из тех смелых набросков, которые дозволены лишь поэтам. Но пока я пишу эти строки, в воображении моем возникают тысячи ярких и многообразных картин из жизни наших предков. Есть среди них такие, что вызывают ужас, но есть и картины отрадные. Вот воздвигают собор искуснейшие мастера, не оставившие нам даже своего имени. Вот монахи, которые подобны древним мудрецам, ибо они проводят жизнь за книгой, *in angelo cum libello* вдали от людей. Вот богословы, пробирающиеся сквозь все ухищрения схоластики в поисках высокого идеала; вот король с его рыцарями, ведомые простой пастушкой \*. Всюду вижу я святыню труда и любви, вижу улей, полный пчел и меда. Я вижу Францию и говорю: предки мои, будьте благословенны! Будьте благословенны в трудах ваших, подготовивших основу для наших трудов, будьте благословенны в страданиях ваших, которые не были бесплодны; будьте благословенны в самих заблуждениях ваших, рожденных вашим мужеством и простосердечием. И если в самом деле, как это кажется и мне, вы были ниже нас, — я тем больше преклоняюсь перед вами: дерево ценят по его плодам.

---

<sup>1</sup> Уединившись с книгой (*лат.*).

Хоть бы и нам заслужить такую же похвалу! Хоть бы и про наших детей сказали, что они лучше нас!

Может случиться, что в своей речи г-н Леконт де Лиль проявит несколько презрительное отношение к поэзии тех далеких времен. И в этом случае, возможность которого я осмеливаюсь предвидеть, мне хотелось бы почтительнейше возразить ему, что поэзия эта была прекрасна своей свежестью и новизной, что она обладала нежностью красок и форм, присущей всему, что юно; что она помогала людям той поры переносить невзгоды жизни, даря каждому из них крупицу красоты, в которой они нуждались, и что, наконец, старинные эпические песни являются «Илиадами» эпохи варварства. А высказав все это, я охотно признаюсь, что поэзии труверов \*, творчеству сказителей лэ и сочинителей фаблио предпочитаю новейшую поэзию — поэзию Ламартина, например, а также и самого г-на Леконта де Лиля...

Вероятно, покажется странным, что я ставлю два этих имени рядом. Это действительно необычно. И действительно нельзя вообразить себе ничего менее похожего на стихи Ламартина, чем стихи Леконта де Лиля. В последних мы восхищаемся несравненным мастерством. О стихах же Ламартина справедливо было сказано, что даже не замечаешь, как они сделаны. Леконт де Лиль всегда опирается лишь на свое искусство. Ламартин полагался только на вдохновение. Словом, они так противоположны друг другу, что было бы излишне и даже смешно продолжать доказывать это. И, однако, я искренне восхищаюсь и тем и другим. Восхищаюсь невольно, просто потому, что они мне нравятся, или, как говорит Лафонтен, — «ради собственного удовольствия»; но если бы во мне и не говорило здесь непосредственное чувство, я стал бы восхищаться ими ради своего рода умственной гигиены.

Мне кажется, что это — неплохое упражнение для ума. Восхищаясь вещами, между собой не схожими, мы меньше рискуем обмануться в своих восторгах. Я не боюсь признаться здесь в том, что, впрочем, не особенно-то и скрывал: очень мало на этом свете такого, в чем я совершенно уверен. Я говорю лишь об этом

свете, ибо имею достаточные основания ничего не говорить о каком-либо другом. И вот одним из самых неразрешимых вопросов на земле кажется мне вопрос о качестве стихов. По-моему, это дело вкуса и чувства. Я никогда не поверю, что в этой области есть что-либо абсолютное. А вот г-н Леконт де Лиль верит.

Между тем он скептик. Взгляды его на жизнь и на мир вполне определенны: его философия, столько раз вдохновлявшая его на стихи, полные возвышенной скорби, — это пирронизм, в котором нет места ни единому утверждению. Мы то и дело слышим от него: «Я не знаю, есть ли я, ибо не знаю, что значит быть. Со всех сторон обступают меня иллюзии». Жизнь есть сон:

Та вечность лживая, тот древний мрачный сон,  
Тот неисчерпный миг, что жизнью наречен, —  
Лишь бесконечный вихрь обманчивых видений.

И этот-то философ, так упрямо отрицающий все абсолютное, считающий, что все на свете относительно, что там, где один видит хорошее, другой может видеть плохое, словом, что все предметы существуют, лишь поскольку мы их видим, — этот самый человек сразу же меняет точку зрения, едва только заходит речь об искусстве. Ему неизвестно, существует ли он сам, но он твердо уверен в том, что стихи его, безусловно, существуют.

Он верит, что качество предметов — одна лишь видимость и сами эти предметы — иллюзия; но в том, что такая-то рифма обладает абсолютной ценностью, он не сомневается. К поэзии у него отношение правоверного догматика, абсолютиста. Прекрасный стих останется прекрасным и после того, как потухнет солнце и не станет самих людей, способных познавать красоту, заявляет он. Самые древние памятники поэзии оцениваются им с точки зрения законов, которые кажутся ему непреложными, установленными самим богом. Иными словами, как только дело коснется его искусства, неверующий мыслитель становится истинно верующим, убежденным и ревностным — тем самым великим схоластом, тем папой, каким я сейчас показал вам этого красноречивого и непримиримого борца за правоверие в области поэзии.

Но если вы подумаете, что я осуждаю его, что я говорю обо всем этом лишь ради удовольствия отметить противоречия большого ума, вы будете неправы и плохо истолкуете мою мысль. Напротив, ничто не может быть, на мой взгляд, лучше этой непосредственности. Она одна могла бы служить достаточным доказательством, что автор «Варварских поэм» больше поэт, нежели мыслитель, поэт подлинный, прирожденный, поэт, в котором поэзия бьет через край, поэт всем своим существом. Он все готов забыть — и свои рассуждения, и самый свой рассудок, — как только речь заходит об его искусстве. Это хорошо, это великолепно. Прибавлю еще, что это вполне естественно. Каковы бы ни были философские наши сомнения, в жизни нам приходится действовать так, словно их не существует. Если бы Пиррон заметил, что на голову его сейчас свалится балка, он посторонился бы, хотя и считал ее лишь видимостью балки. Он, конечно, боялся бы, что удар превратит его в видимость раздавленного человека. Ну, а для г-на Леконта де Лиля действовать — значит писать стихи. Пока он мыслит — он сомневается, как только начинает действовать — верит. Он уже не спрашивает тогда, не есть ли красивый стих одно из проявлений вечной иллюзии и не возвращаются ли образы, созданные им при помощи слов и звучаний, в лоно извечной Майи \* еще прежде, чем они возникли. Он уже не рассуждает; он верит, он видит, он знает. Вера уже овладела им, как и неразлучная с ней нетерпимость.

Нельзя уйти от самого себя. Истина эта верна в отношении всех, но, как видно, особенно справедлива, когда речь идет о натуре ярко своеобразной и уже сложившейся. Об этом стоит вспомнить, когда мы говорим о творчестве г-на Леконта де Лиля. Этот столь стремящийся к безличности поэт, который с таким героическим упорством прилагает все старания, чтобы оставаться вовне своих творений, подобно богу, пребывающему за пределами сотворенной им вселенной; который не проронил ни единого слова о самом себе и о том, что его окружает; который пожелал утаить свою душу и, оберегая ее тайну, стремился

выразить душу мира; поэт, говоривший от лица богов, девственниц, героев всех времен и народов, выбирая их лишь в далеком прошлом и показавший нам одного за другим героев Багават-Гиты, Кунасепа, Ипатию, Ниобею, Тифона и Комору, Навуфея, Каина, Неферу-ра, барда Темра, Ангантира, Хиалмара, Сигурда, Гудруну, Велледу, Нурмагала, Джиан-Ара, дона Гвидо, Муса-эль-Кебира, Кенварка, Магомета-бен-Амар-аль-Мансура, Иеронима, Химену \*, малайских пиратов и кондора Кордильер, ягуара пампасов и колибри горных долин, собак Капского мыса и акул Атлантики, гордясь и радуясь необычности их обликов и душ, — поэт этот рисует в конце концов лишь самого себя, высказывает лишь собственные мысли и, безраздельно заполняя собой свое творчество, обнаруживает в каждом из этих многообразных обликов только одно: душу Леконта де Лиля.

Но этого уже достаточно. Самые великие поэты делали то же самое. Они говорили только о себе: они показывали лишь себя под разными выдуманскими именами. Г-н Э. Ледрен, историк Израильского царства и новый переводчик библии, заметил как-то в «Ревю позитив», что г-н Ренан во всех своих исторических работах рисует собственный портрет и что он, в частности, изобразил себя в «Антихристе» в лице Нерона. Это нисколько не мешает г-ну Ренану оставаться мудрейшим из людей. Мысль г-на Ледрена следует понимать в смысле чисто философском и литературном. Именно в этом смысле я и повторяю, что г-н Леконт де Лиль во всех своих героях, особенно же в Каине, изобразил самого себя.

И кто такой, в самом деле, этот Каин из «Варварских поэм», как не суровый, одинокий, робкий, озлобленный, слабый человек, который знает подчас сладостное умиление, но скрывает слезы под горделивой личиной; как не неистовый ум, для которого все в жизни и в людях бесконечно просто, чьи суждения так ограничены, хотя и верны; как не пессимист, видящий в боге злое начало, ибо бог — начало жизни, а в ней все дурно; как не художник, равнодушный к оттен-

кам, но создающий звучные строки и яркие образы, — кто он такой, как не поэт?

Но тогда почему же черпает этот поэт так далеко — то на севере Скандинавии, то в древней Азии — свои краски и образы? — спросите вы. Почему? Потому, конечно, что только в эти краски и образы и может облечь свою мысль. Только в них и может воплотиться его душа. Что же дурного, если он одевает ее в эти одежды, если находит ей подобное воплощение? Разве, напротив, не счастье, что поэта влечет к далеким странам и давно минувшим эпохам? Там находит он все таинственное и необычайное, что так необходимо ему, ибо поэзия лишь в том, чего мы не знаем; поэзия — лишь в стремлении к невозможному или же в скорби по невозвратному.

Господин Леконт де Лиль в высшей степени одарен искусством ритма и образов. А что до чувств, то он обладает самым благородным и высоким видом их — он богат волнениями ума. Он волнует нас возвышенностью своих мыслей. Но сердцу человека свойственны волнения и более сокровенные, более нежные. А они — что бы ни говорили об этом другие и сам поэт — не чужды его творчеству. Мне нетрудно доказать, что г-н Леконт де Лиль подчас поэт элегический. Сошлюсь на стихотворение «Манши»:

Так с гор спускалась ты к обедне по утрам,  
Свободной, юной и счастливой,  
И паланкин твои индусы торопливо  
Покачивали в такт шагам.  
А ныне, скрытая песками дюн бесплодных,  
Меж мертвецов, мне дорогих,  
Ты спишь, о первая отрада снов моих,  
Под ропот наших волн холодных.

Стихи эти созданы им в дни юности. Но вот и в совсем недавнем его стихотворении «Высшая иллюзия» мы улавливаем все тот же чистый ясный отзвук.

Ты все еще струишь, о призрак невозвратный,  
С той дальней отмели, где обрела покой,  
Сиянье грустное, как луч передзакатный,  
Во тьму моей души, отныне ледяной.  
Красу твою спасла счастливица могила,

Чтоб сохранить ее нетленною в веках.  
Ты для меня всегда все та, какой явила  
Мне мир чудес в своих божественных очах.

Голос и душа поэта остались, после стольких лет, такими же чистыми, как и тогда.

Господин Леконт де Лиль проявляет себя главным образом как представитель высокой поэзии и мастер описаний. И все же некоторые его стихи — самые прекрасные, быть может, — обнаруживают в нем застенчивого и гордого элегического поэта. Он не только поэт героического, не только искусный живописец. Он еще и поэт размышлений.



## НА НАБЕРЕЖНОЙ МАЛАКЕ.

*АЛЕКСАНДР ДЮМА И ЕГО РЕЧЬ*

Когда мы в четверг, в четыре часа пополудни, выходили из Академии, яркое весеннее солнце освещало набережные в благородной рамке каменных парапетов. Проплывавшие по небу облака придавали солнечному свету сходство с пленительно-непостоянной улыбкой. Солнце весело улыбалось, играя на ярких шляпках женщин, на их радостных лицах, золотя им волосы на затылке. Но улыбка эта становилась насмешливой, когда лучи его скользили по пыльным книгам, расположенным вдоль парапетов. О, с какой беспощадной иронией эта улыбка, отражавшая вечную юность природы, выставляла напоказ всю ветхость жалких потрепанных томиков! И вот, в то время как расходилась толпа литераторов и светских дам, я отдался смутным и сладостным воспоминаниям. Надо сказать вам, что я всегда прохожу по этим набережным с некоторым волнением, в котором есть и радость и грусть, — потому что здесь я родился, здесь провел детские годы и потому, что все те знакомые лица, которые я встречал здесь когда-то, ныне исчезли уже навсегда. Я заговорил об этом как-то невольно, ибо привык говорить только то, что думаю, только то, о чем думаю. Нельзя быть откровенным, не рискуя наскучить. Но я тешу себя

надеждой, что те, кому я рассказываю все это, тоже вспомнят о самих себе. Таким образом, я доставлю удовольствие и себе и им. Меня воспитали на этой набережной, среди этих книг, простые, скромные люди, память о которых храню только я один. Когда меня не станет, будет так, словно их и вовсе никогда не было. Душа моя вся полна благоговейных воспоминаний о них. Нетленные эти останки, свято хранимые ею, творят в ней чудеса. И по одному этому я понимаю, что люди, которых я потерял, были святыми. Безвестными прожили они жизнь, бесхитростны были их сердца. Вспоминая о них, я постигаю и радость самоотречения, и любовь к покою. Из всех этих свидетелей детских моих лет один только здесь, на набережной, влачит еще свою бедную жизнь. Он не принадлежал к числу тех, кто был мне особенно близок и дорог. И все же я всякий раз с удовольствием вижу его снова. Это тот бедный букинист, что греется сейчас вон там на теплом весеннем солнышке, подле своих книг. Время совсем сгорбило его. С каждым годом он становится все меньше ростом, а его убогая выставка книг, разложенных на парапете, с каждым годом становится все скуднее. Если смерть еще не скоро вспомнит о старом моем приятеле, его, наверно, унесет когда-нибудь порывом ветра вместе с последними листками его старых книг и той легкой шелухой, которую роняют из серых торб лошади, что жуют овес на ближайшей стоянке извозчиков. Пока же он почти счастлив. Он беден, но это ему безразлично. Книги его не продаются, но он читает их сам. Он — художник и философ.

В хорошую погоду он наслаждается тем, что может проводить весь день под открытым небом. С кистью и баночкой клея устраивается он на краешке скамейки и, подклеивая рассыпающиеся странички, предается размышлениям о бессмертии души. Он интересуется политикой, и когда случается ему повстречаться с покупателем, заслуживающим доверия, не преминет выразить осуждение существующему режиму. Он сторонник аристократии, даже олигархии. Привычка постоянно видеть напротив себя, по ту сторону Сены, Тюильрийский дворец внушила ему несколько панибратское от-

ношение к монархам. Во времена Империи он отзывался о Наполеоне III как строгий сосед, от которого ничего не скроешь. Еще и теперь он склонен объяснять свои неудачи в книжной торговле действиями правительства. Не буду скрывать, что мой старый приятель немножко фронтёр.

Вот он подходит ко мне и говорит тоном человека, уже читавшего утренний выпуск газеты:

— Вы идете из Академии. Ну что, хорошо отзывались они о господине Гюго, эти молодые люди? — Затем, подмигнув, шепчет мне на ухо: — Все-таки господин Гюго был чуточку демагогом!

Вот каким путем мой приятель букинист вновь направил мою мысль к заседанию, на котором г-н Леконт де Лиль и г-н Александр Дюма вдвоем пророчили бессмертие Виктору Гюго. Но в то время как автор «Варварских поэм» целиком вручал грядущим поколениям полное собрание сочинений маститого писателя, философ театра утверждал, что потомство еще произведет им строгий отбор.

Прекрасную речь произнес г-н Александр Дюма, и это несколько меня не удивляет. Человек этот обладает особым даром говорить публично. Он только подумает, и тут же говорит то, что подумал. В этом отношении он, пожалуй, единственный в своем роде, во всяком случае среди писателей. В его ответной речи г-ну Леконту де Лиллю была та безусловная искренность и тот жизненный опыт, которые всегда придают особую убедительность всему, что он говорит.

Воздав Виктору Гюго, Ламартину и Мюссе то, что им и должно было воздать, он под самый конец своей благородной и искусной речи задал вопрос:

— Какая же судьба ожидает теперь творения самого плодovitого из трех названных поэтов?

«С ними произойдет то же, — ответил он на свой вопрос, — что и со всеми творениями человеческого духа. Время не сделает для них исключения, как не делает его для других; оно пощадит и увековечит то, что окажется прочным. Оно обратит в прах все то, что им не окажется. Все, что было лишь звонким созвучием, рассеется в воздухе; все, что создано лишь ради

суетной славы, развеет ветер. Но не мне предвосхищать здесь работу будущих поколений. Да и нельзя подсказать им то или иное решение.

Будущее знает свое дело — ему одному лишь дано таинственное и безусловное право произносить окончательные, непререкаемые приговоры».

Вот по поводу этих-то слов я и позволю себе почти-тельнейше, но решительно возразить глубоко уважаемому мною писателю. Потомство, полагаю я, не столь уж непререкаемо в своих суждениях. Я полагаю так потому, что потомство — это я, мы, одним словом — люди. Мы представляем собою потомство по отношению к длинному ряду произведений, с которыми знакомы весьма плохо. Потомство растеряло добрых три четверти того, что создано было античностью. Остальное, при его попушении, ужасающе изуродовано. Г-н Леконт де Лиль с благородным восторгом говорил в прошлый четверг об Эхиле, но в дошедшем до нас тексте «Прометея» не найдется и двухсот стихов, не подвергшихся искажению. Потомки греков и римлян немного сумели сберечь, а среди того, что им удалось сохранить, есть отвратительные сочинения, которые тем не менее получили бессмертие.

Говорят, что Варий был равен Вергилию. Стихи его до нас не дошли. Элий был глуп. Произведения его уцелели. Вот вам и суд потомков! Вы скажете, что в те времена они были варварами и что виноваты во всем монахи. Но кто поручится, что и наши потомки не окажутся варварами? Откуда мы знаем, в какие руки попадет духовное наследство, которое мы завещаем будущему? Впрочем, если даже предположить, что те, кто придет после нас, будут умнее, чем мы, — это не так уж невероятно, — можно ли считать это достаточным основанием для того, чтобы заранее провозглашать их суждения непререкаемыми? Мы знаем по опыту, что потомство, даже в эпохи высокой культуры, не всегда бывает справедливым. Известно, что у него нет твердых правил и надежных методов, чтобы правильно судить о человеческих поступках. Откуда же взяться им, когда дело идет об искусстве и мысли? Г-жа Рол-

лан была сторонницей довольно скверной политики, но обладала душой героини; в тюрьме, откуда — она знала — ей суждено было выйти только на эшафот, она написала мемуары. На первой странице их она мужественной рукой начертила: «К беспристрастному потомству». Пока что, за целое столетие, потомство, к которому она взывала, ответило ей лишь противоречивым лепетом похвал и хулы. Муза жирондистов была весьма наивна, рассчитывая на нашу мудрость и справедливость. Не знаю, предавался ли в свое время таким же иллюзиям король Макбет. Если да, то они горько обманули его. Это был в действительности превосходный король \*, энергичный и честный правитель. Он способствовал обогащению Шотландии, поощряя торговлю и промышленность. Хроники изображают его миролюбивым государем, королем городов, другом горожан. Клань ненавидели его, потому что он был справедливым судьей. Он никого не убивал. Мы знаем, что сделали с ним легенда и гениальный поэт.

Потомство далеко не непогрешимо и имеет немало причин ошибаться. Оно невежественно и равнодушно. Вот проходят сейчас по набережной Малаке потомки Корнеля и Вольтера. Они гуляют, радуясь апрельскому солнцу. Вот идут они мимо меня — эта с вуалеткой на носу, тот — с сигарой в зубах, и, уверяю вас, всем им чрезвычайно мало дела до Корнеля или Вольтера. Голубод и любовь — довольно с них и этого. Они думают о своих делах, о своих удовольствиях и предоставляют ученым рассуждать о великих покойниках. Я как раз замечаю в эту минуту среди потомков, что выходят из дверей Академии, хорошенькое личико под шляпкой неопишимо голубого цвета: оно принадлежит молодой женщине, которая расспрашивала меня прошлой зимой на одном вечере, зачем существуют поэты... Я ответил ей, что они помогают нам любить, но она уверяла, что можно прекрасно обойтись и без их помощи. Выходит, говоря по совести, что все потомство сводится к одним лишь знатокам да ученым. Так, значит, непогрешимыми вы считаете ученых? Но ведь вам хорошо известно, что источником поэзии и искусства является

лишь чувство, что науке неведома красота и что стихи в руках филолога подобны цветку в руках ботаника.

Нет, приговоры, выносимые потомством, отнюдь не непререкаемы. Они нередко случайны. К тому же, что бы ни говорил об этом г-н Александр Дюма, они никогда не бывают окончательными. Да и как могут они быть окончательными? Ведь потомство никогда не завершается, и новые поколения постоянно пересматривают вынесенные ранее решения.

Семнадцатый век произнес Ронсару обвинительный приговор; восемнадцатый — этот приговор утвердил; девятнадцатый — отменил его. Кто знает, какое решение вынесет двадцатый? К Данте и Шекспиру долгое время относились с пренебрежением, пока не стали превозносить, как превозносят их в наши дни. После целого столетия славы Расин стал подвергаться хуле. Теперь его больше не бранят, но язык быстро меняется, и надо уже быть ученым, чтобы хорошо понимать стихи «Федры» или «Гофолии».

Я был однажды свидетелем того, как один превосходный поэт обвинял Расина в том, что у него неправильный язык. Он не желал согласиться с тем, что за два столетия язык изменился, — быть может, из нежелания сознаться самому себе, что он будет изменяться и дальше и на сей раз это будет невыгодно для моего собеседника... Мы плохо понимаем Корнеля и даже Мольера. Актеры, играющие в их пьесах, то и дело произносят бессмыслицу. Все говорят о Рабле, но совершенно так же, как о королеве Берте \*, то есть не имея ни малейшего понятия, что это такое. Иной раз слава со временем меркнет. Умирает слава Тассо. Дю Бартаc при жизни был более знаменит, чем Ронсар. Кто поручится, что слава его не воскреснет? Гете считал его самым значительным из французских поэтов, а наши молодые символисты очень любят его. Двадцать лет тому назад Ламартин был уже забыт, тогда как Мюссе оставался еще предметом горячего поклонения, с тех пор несколько поостывшего. Ныне оба они снова находят почитателей. Так вновь и вновь подвергает потомство переоценке то, что оставляют ему в наследство гении.

Сохранит ли Виктор Гюго после смерти место, которое занимал будучи живым? Г-н Александр Дюма достаточно разумен, чтобы сомневаться в этом. Не менее разумно и его нежелание опережать события, приступая уже сейчас к разрушительной работе будущего. Какой приговор вынесет потомство Виктору Гюго? Этого никто не в силах предугадать. Мы не можем знать, что скажет об этом потомство, ибо не знаем, каким оно будет. И бесплодно было бы предрекать вечность или забвение тем, кто славен сегодня.

Можно сказать лишь, что слава поэта, которому в последний раз были оказаны в этот день посмертные почести, переживает ныне трудные времена. Утомившись, стихает волна восторгов, бушующих вот уже пятнадцать лет \*. Рассеиваются некоторые иллюзии. Прежде казалось, что этот большой поэт богаче мыслями. Приходится сознаться, что он был занят больше словами, нежели идеями. Мы с грустью обнаруживаем, что то, что он выдавал за высокую философию, — лишь груда бессвязных, банальных грез. Наконец, мы опечалены и, пожалуй, испуганы тем, что в огромном его наследии, среди такого множества чудовищ, мы не встречаем ни одного подлинно человеческого лица.

Греки говорили: человек есть мера всех вещей. Гюго не знает меры, потому что не знает человека. Он не постиг до конца человеческую душу. Ему не дано было понимать и любить. Он безотчетно чувствовал эхо. Вот почему он и стремился изумлять. Долго владел он искусством поражать воображение. Но можно ли изумлять вечно? Он прожил жизнь, опьяненный звуками и красками, и опьянил ими мир. Весь его талант заключается именно в этом: он великий фантазер и несравненный мастер. Это очень много, но это еще не все.

А что до потомства — предоставим ему быть тем, чем оно сможет, и любить то, что ему заблагорассудится. Работать ради него — только обманывать себя. Оно принимает лишь немного из того, что мы ему предназначаем, и нередко предпочитает произведение случайное тому, что пишется специально для него. Я не порицаю его за это, — напротив, от всего сердца хвалю. Вполне может статься в конце концов, что оно

действительно научиться делать свое дело так хорошо, как обещает это г-н Александр Дюма. Однако, если только в какой-нибудь внезапной катастрофе не погибнут все библиотеки, наступит день, когда наши потомки окажутся заваленными книгами и, вполне возможно, почувствуют отвращение к этим грудам измазанной типографской краской бумаги, которую мы для них готовим. По правде говоря, я и сам испытываю уже что-то похожее на это отвращение, глядя, как солнце играет на пыльных ящиках с ветхими книгами, выставленных моим старым приятелем.



## БАЛЬЗАК <sup>1</sup>

Однажды в Латинском квартале, роюсь у букиниста в старинных книгах, я обратил внимание на какого-то, еще не старого человека, с длинными волосами, на вид весьма общительного. Лицо его было мне знакомо, хотя ни с каким именем в моей памяти оно не связывалось. Он перелистывал какую-то книгу. Еще не найдя собеседника, он всем существом своим разговаривал — разговаривал взглядом, улыбкой, подвижными морщинами лба, выразительными жестами. Не надо было обладать особенно тонким чутьем, чтобы распознать в нем неудержимого говоруна. Я понял, что надо либо спастись бегством, либо стать его жертвой. И все же я не ушел. Софокл был прав \* — никому не дано избежать своей судьбы. В жизни мне уже не раз приходилось убеждаться в этом. Я не умею идти против судьбы ни когда она добра, ни когда она зла. Но злой она бывает, конечно, чаще. По правде говоря, этот любитель книг вовсе не был мне неприятен. На лице его лежало то особое выражение довольства и беззаботности, которое

---

<sup>1</sup> Répertoire de la Comédie humaine de H. de Balzac, par Anatole Cerfberr et Jules Christophe, avec une introduction de Paul Bourget, in-8, Calmann Lévy, éditeur. — Histoire des oeuvres de M. H. de Balzac, par le vicomte de Spoelberch de Lovenjoul (Charles de Lovenjoul) 2-e édition, in-8°, Calmann Lévy, éditeur.

Все сноски и библиографические ссылки в данном томе принадлежат А. Франсу (*ред.*).

мы часто наблюдаем у бедняков, не замечающих своей бедности, да еще у лентяев, вечно погруженных в свои мечты. Он был одет скорей небрежно, чем неряшливо; и пыль, которой пропитано было его платье, показалась мне благородной пылью книгохранилищ. О своем костюме он, по-видимому, не думал. Только его шляпа с какими-то странными широкими полями и взъерошенным ворсом свидетельствовала об определенном вкусе, о сознательном намерении, пожалуй, даже о своего рода стремлении к изяществу. Живя, как видно, только головой, этот человек только о ней и заботился. Все прочие статьи костюма его не интересовали. С огорчением замечу, что руки у него были грязные. Но ведь предание говорит нам, что в этом можно было обвинить самого короля библиотекарей — старика Вейса из Безансона. С его руками происходило то же, что с руками леди Макбет: они не отмывались даже после купанья; г-н Вейс объяснял это тем, что он имеет обыкновение читать и в ванне.

Как только незнакомец увидал меня, он тотчас же подошел ко мне и, хлопнув своей книгой по той, которая была у меня в руках, сказал: «Читайте! Это священный завет, закон, данный самим богом!»

Это была старая библия в переводе Саси, раскрытая на XX главе «Исхода». Палец его показывал 4-й стих: «Не сотвори себе кумира и никакого изображения».

— За то, что человечество преступило эту заповедь, — сказал он, — оно кончит безумием.

Я понял, что передо мной сумасшедший, но это не огорчило меня. Сумасшедшие иной раз занимательны. Не скажу, чтобы они рассуждали лучше других людей, но они рассуждают иначе, и уже за одно это мы должны быть им признательны. И я не побоялся вступить с ним в спор.

— Извините, — сказал я, — но я идолопоклонник и обожаю изображения.

— И я их любил до безумия, — отвечал он. — Ради них я вынес муки ада. Вот почему теперь я ненавижу их и считаю орудиями дьявола. Читали вы о человеке, которого свела с ума Леонардова Джоконда и который — ведь это же подлинное происшествие — в один

прекрасный день, выйдя из Квадратного салона, бросился в Сену? Припомните-ка, что рассказывает Лукиан из Самосаты о молодом греке, полюбившем святотатственной и пагубной любовью Венеру Книдскую? Известно ли вам, что посетители Лувра своими ласками стерли мрамор на статуе Гермафродита, и администрация Музея вынуждена была поставить барьер вокруг этой противоестественной, но все же обворожительной фигуры? Разве вы не знаете, что распятия и раскрашенные изображения девы Марии являются во всем христианском мире предметом самого грубого идолопоклонства? Надо вообще сказать, что картины и статуи рождают в нас чувственность, сбивают ум с пути истины, внушают отвращение к жизни, страх перед ней, — словом, делают людей в тысячу раз несчастнее, чем они были во времена первобытного варварства. Безбожные, мерзкие это творенья!

Я неуверенно возразил, что среди всего того, что волнует в людях чувства и кровь, живописи и скульптуре принадлежит, в сущности, не такое уж большое место, и что искусство, напротив, возносит своих избранных в светлый мир, где они вкушают лишь мирные наслаждения.

Не устаивая меня ответом, мой собеседник захлопнул старенькую библию и продолжал:

— Но есть изображения в тысячу раз более пагубные, нежели те, высеченные из камня или писанные красками, от которых Иегова предостерегал сынов Израилевых; это те воображаемые образы, что созданы фантазией романистов и поэтов. Они-то и есть настоящие кумиры — все эти типы и характеры, все эти герои романов. Они живут и действуют среди нас. Воистину, лукавые творцы этих душ забрасывают их к нам, словно бесов, на великий соблазн и погибель. А как спастись от них, когда они вселились в нас и мы уже одержимы? Гете посылает в мир Вертера — тотчас же множатся случаи самоубийства. Все решительно поэты, все романисты нарушают наш покой на земле. «Илиада» Гомера и «Жерминаль» Золя одинаково породили преступления. «Эмиль» \* превратил в убийцу сторонников террора тех, кого Жан-Жак хотел вернуть

к природе. Даже самые невинные из писателей, как, например, Диккенс, — великие преступники: они заставляют нас отдавать воображаемым существам нашу нежность и жалость, которые нам лучше было бы обратить на окружающих нас живых людей. Один писатель плодит истериков, другой кокеток, третий игроков или же убийц. Но самым зловредным, самым дьявольским из всех является Бальзак; это поистине Люцифер от литературы. Он придумал целый огромный адский мир, который ныне мы претворяем в жизнь. Ведь это по его предначертаниям мы завидуем, наживаем богатства, творим насилия, наносим обиды и бросаемся, отталкивая друг друга, в человекоубийственном, нелепом бешенстве в погоню за золотом и за почестями. Бальзак — царь зла: наступило царствие его. Да будут же прокляты в его лице все скульпторы, все живописцы, все поэты и романисты, которые принесли человечеству столько зла — от начала мира и до наших дней.

Тут он остановился, чтобы перевести дыхание,

— Увы, сударь, — ответил я, — все то, что вы говорите, не лишено некоторого основания (надо же было как-то польстить ему!). Но ведь человечеству вовсе не было надобности дожидаться появления художников, чтобы стать жестоким и развратным. Атилла и Чингис-хан, которые не читали Гомера, произвели больше разрушений, нежели Александр! Жители Огненной земли и бушмены известны порочными нравами, а между тем они не умеют ни читать, ни рисовать. Крестьяне любыми средствами избавляются от своих стариков, не вспоминая при этом никаких романов. И до Бальзака велась жестокая борьба за существование. Стачки происходили еще до того, как был написан «Жерминаль». Вы слишком уж ненавидите искусство, и боюсь, сударь, что в вас говорит пристрастие моралиста.

Он поклонился мне, сняв свою широкополую шляпу, и сказал:

— Я не моралист, сударь, а скульптор, поэт и романист. — И вышел из лавки.

— Очень умный господин, — сказал букинист. — Но ему не везет, а от Бальзака он и вовсе рехнулся.

С тех пор я уже не встречал этого человека в широкополой шляпе. Но я невольно вспомнил о нашем разговоре, когда стал просматривать «Обзор действующих лиц Человеческой комедии», который только что прислал мне г-н Кальман-Леви. «Обзор» тщательно составлен двумя горячими поклонниками и знатоками Бальзака гг. Анатолем Серфбером и Жюлем Кристофом.

Он содержит краткие биографии двух тысяч героев, задуманных и созданных Бальзаком в его грандиозном творении. Перелистывая этот Вапро нового типа \*, я чувствую себя поистине потрясенным творческой мощью Бальзака и вместе с тем почти готов кричать, как тот человек в шляпе: в этом есть что-то бесовское! Я ошеломлен и в то же время я — в восхищении. Да, это действительно целый мир! Непостижимо, как одному человеку могло оказаться под силу держать в руках, не спутывая, нити стольких жизней! Я вовсе не хочу выдавать себя за усердного поклонника Бальзака. В глубине души я предпочитаю книги небольшие. Их я постоянно готов перечитывать. Но даже если Бальзак несколько и пугает меня, если, на мой взгляд, иной раз мысли его несколько тяжеловаты, а стиль неизящен, все равно я не могу не признать его могущества. Это поистине бог! Попробуйте-ка после этого попенять ему за то, что он иногда груб, — его приверженцы ответят вам, что, для того чтобы создать целый мир, не требуется особой деликатности и что тому, кто излишне брезглив, вовеки бы не справиться с такой задачей.

Вот что особенно поражает меня в этом великом человеке. Когда он хочет, когда он не попадает невзначай в область химер и романтики, он оказывается на редкость зорким историком общества своей эпохи. Он разоблачает все его тайны. Лучше чем кто-либо помогает он нам понять переход от старого режима к новому, и никто не сумел так показать нам две основные фигуры, ставшие краеугольным камнем, на котором зиждется здание современного общества: скупщика национализированных имений и солдата первой Империи. Никогда не удавалось ему найти для своих могучих

картин, да, вероятно, он и не искал, какой-нибудь небольшой изящной рамки, наподобие той, в которую заключил Жюль Сандо \* свою «Мадемуазель де ла Сеглиер», взяв типы и сцены из эпохи, столь глубоко постигнутой Бальзаком. Сандо обладал вкусом и чувством меры, которых у Бальзака никогда не было. Как мастер обрамления, Сандо стоит бесконечно выше его. Как художник — напротив того. По выпуклости и глубине изображений Бальзак не сравним ни с кем. Ни в ком не развито так, как в нем, ощущение жизни, понимание затаенных страстей и умение вникать в житейские интересы.

Романы Бальзака тем более ценны для понимания истории, что в них совершенно отсутствуют, можно сказать, исторические лица и исторические события. Когда реальные факты и люди переносятся из истории в роман, они обычно оказываются измененными до неузнаваемости. Умный романист выбирает своих героев среди людей неизвестных, которыми история обычно пренебрегает, среди тех, кто является и ничем и всем; их-то и преобразует художник в бессмертные типы. Таким образом, поэма или же роман может помочь нам увидеть народ, нацию, поколение, тогда как в исторических трактатах они нередко словно скрыты завесой, будучи заслонены от нас фигурами государственных деятелей. Послушный законам своего искусства, которые он чувствует в совершенстве, Бальзак не стремится вовлечь в круг своих созданий реальные исторические фигуры и приписывать им вымышленные поступки. Так, Наполеон, возглавивший весь век, появляется в «Человеческой комедии» всего шесть раз, да и то лишь издали, при обстоятельствах совершенно незначительных (см. книгу гг. Серффера и Кристофа, стр. 47). К двум тысячам вымышленных героев Бальзак присоединяет лишь очень небольшое число лиц, исторически существовавших. Гг. Серффер и Кристоф перечисляют тех и других, не делая между ними различия. Мне бы хотелось, чтобы имена реальных лиц были выделены звездочкой или каким-нибудь иным знаком, хотя, конечно, и нет особой нужды делать это, когда речь идет о Наполеоне, Людовике XVIII, г-же де

Сталь, даже о таких именах, как г-жа Фалькон, Гид де Невиль и г-жа де Мирбель, только что попавшиеся мне на глаза в лежащей передо мной книге. Я хотел было назвать еще Маршанжи, раболепствующего чиновника и нелепого писателя, имя которого достаточно известно, но заметил, что оно вовсе опущено в «Обзоре», несмотря на то что фигурирует в прекрасной сцене реабилитации Цезаря Биротто \*.

И напротив, не всем, быть может, известно, что Баршу де Пенгоэн, — ограничусь лишь этим примером, — лицо действительно существовавшее и что он является автором объемистых книг. Попробуйте-ка сказать после этой подробной и тщательной критики, что я не становлюсь самым настоящим знатоком Бальзака. Больше того! Я чувствую, что могу перещеголять в этом отношении самих гг. Серфбера и Кристофа. Я испытываю горячее желание, чтобы они в ближайшем же будущем дополнили свой «Обзор» небольшой долей статистики. Статистика прекрасная наука и, если применить ее к созданному Бальзаком обществу, не замедлит дать интереснейшие результаты. Я упоминал уже, что это общество состоит из двух тысяч человек. Цифра

---

<sup>1</sup> Я получил следующее письмо:

*Париж, 3 июня.*

Милостивый государь и дорогой собрат!

Да, Бальзак — это целый мир, как вы прекрасно доказываете в своем превосходном очерке, посвященном нашему «Обзору Человеческой комедии», — мы бесконечно благодарны вам за него. Этот мир ослепляет, ошеломляет; своим океаном деталей он может ввести в заблуждение даже самого осведомленного читателя. Вы хотите доказательств? Так вот:

Вы правы и в то же время не правы, обвиняя нас в отступлении имени Маршанжи из «Биротто». Действительно, оно названо в издании Уссио 1853 г., но во всех последующих изданиях оно заменено именем Гранвиль, мы же руководствовались исключительно более поздним текстом. По тем же соображениям мы опустили имя Виктора Гюго, фигурировавшее в первоначальном тексте (см. «Шагреневую кожу» в изд. Шарпантье), но замененного впоследствии именем Казалис.

Примите, милостивый государь и дорогой собрат, выражение самых горячих наших чувств.

*Анатоль Серфбер. — Жюль Кристоф.*

приблизительная. Быть может, кто-нибудь хотел бы узнать точную цифру. Интересно было бы также, думается мне, выяснить, сколько среди них взрослых, детей, мужчин и женщин, холостых и женатых. Любопытно было бы знать и о национальности каждого из них. Не были бы неуместны и данные о смертности. Неплохо было бы также, в целях лучшего понимания произведений Оноре де Бальзака, присовокупить к книге план Парижа и карту Франции. Ничуть не меньший интерес, чем статистика «Человеческой комедии», представляла бы и ее география.

Всего этого мы не находим у гг. Серфбера и Кристофа. Зато они дают нам нечто более ценное: прекрасную вступительную статью г-на Поля Бурже, который снова, как это было уже не раз, проявляет себя здесь искусным и блестящим историком в области истории духа.



## «ЗЕМЛЯ»

Вы уже знаете, что с г-ном Золя обошлись так же, как с библейским патриархом Ноем. В то время как он спал, пять его духовных сыновей совершили по отношению к нему грех Хама \*. Этими недостойными детьми оказались Поль Бонетен, Ж.-А. Рони, Люсьен Декав, Поль Маргерит и Гюстав Гиш. Они открыто посмеялись над наготой отца. Фернан Ксо в подражание благочестивому Симу прикрыл спящего старца своей одеждой. За это имя его будет благословенно отныне и до века. Так Ветхий завет становится прообразом нового, и, следовательно, г-н Эмиль Золя — воистину тот, кого возвестили пророки.

Литературный манифест Гюстава Гиша, Поля Маргерита, Люсьена Декава, Ж.-А. Рони и Поля Бонетена напечатан во всех газетах. Вот как оценивают ученики новый роман своего учителя — «Земля»: «Наблюдения в нем поверхностны, эффекты старомодны, сюжет не нов и не характерен, а, самое главное, элемент грубости в нем до того усилен, столько в нем ужасающей грязи, что временами кажется, будто перед вами словарь непристойностей. Знаменитый писатель скатился на самое дно помойной ямы».

Так говорят эти пятеро. Их декларация произвела несколько неожиданное впечатление. Двоим из них во всяком случае не следовало бы первыми бросать

камень. Бонетен, например, написал роман \*, который никак нельзя назвать нравственным. Правда, он заявил, что, начав так, как кончает г-н Золя, он определенно рассчитывает кончить так, как г-н Золя начал. Но ведь и сам манифест не безупречен. Он содержит в себе замечания относительно физиологических особенностей автора «Земли», а это уже выходит за пределы дозволенного в критике. Обращаться при разборе произведения к личности писателя — это превосходный прием, когда речь идет о «Мизантропе» или «Духе законов», но он становится неприличным, когда имеешь дело с трудами современников. Романы г-на Золя подлежат критике, и вы сейчас увидите, побоюсь ли я сказать то, что я о них думаю. Но к частной жизни г-на Золя следует относиться с полным уважением, а не доискиваться в ней объяснения тем непристойным сценам, какими он загромождает свои книги. Нам незачем знать, что так влечет г-на Золя к похоти: личный вкус или же любознательность. Заканчивается манифест обращением к читателям, которое представляется нам не вполне бескорыстным, поскольку оно исходит от молодых романистов. «Общественное мнение, — настаивают пятеро, — должно сосредоточить огонь на «Земле», а не открывать беспорядочную стрельбу по тем правдивым книгам, что появятся завтра». По-видимому, новые произведения этих господ уже находятся в печати. Не знаю, что в их совете достойно наибольшего восхищения: лукавство или же наивность.

Авторы манифеста выступили с оценкой «Земли», не дожидаясь ее окончания. Золя на это пожаловался. В самом деле, обычно принято ждать, когда книга будет окончена, а потом уже выступать с оценкой. Но это как раз не обычное произведение. В «Земле» нет ни начала, ни середины. С концом, несмотря на все старания Золя, у него тоже ничего не выйдет. Вот почему я позволю себе по примеру авторов манифеста высказать свое мнение теперь же. Я дочитал до того места в восемьдесят шестом выпуске, где восьмидесятидевятилетнюю крестьянку по прозвищу Дылда насилует ее внук. Таким образом, моя критика не рас-

пространяется на то, что следует за этой чертой деревенских нравов.

Как указывает заглавие, тема книги — земля. Автор уподобляет ее женщине, самке. Для него это одно и то же. Он выводит в своем романе «старых самцов, сияющихся ее обрюхатить». Он описывает крестьян, жаждущих «проникнуть в нее до утробы и оплодотворить», любящих ее «во время этих жарких всечасных сближений» и вдыхающих «с наслаждением здоровых самцов запах ее плодородия».

Все это грубая риторика, но пока еще только риторика. Вообще в книге г-на Золя много очень старых и неумело подновленных картин: таковы посиделки, деревенская свадьба, сбор винограда, жатва, сенокос, гроза, уже воспетая Шендоло, который, однако, тоньше чувствовал природу и крестьянина. Сеятеля мы уже видели у Виктора Гюго, показавшего нам его «царственный жест». Случка коровы с быком изображена в довольно сильном стихотворении Мориса Ролина. Приходилось ли вам читать «*Praedium rusticum*»? <sup>1</sup> Это поэма на латинском языке, которую в XVIII веке один иезуит, подражавший Вергилию, сочинил для школьников. Так вот, книга г-на Золя напомнила мне упомянутую поэму Ваньера какой-то своей глубокой банальностью. В этом псевдонатуралистическом романе совсем нет непосредственных наблюдений. В нем нет ни живых людей, ни живой природы. В обрисовке героев автор применяет такие приемы, которые в наше время кажутся достаточно устарелыми. Что можно сказать об этом нотариусе, «осовело переваривающем изысканный завтрак», о священнике в «развевающейся черной сутане», о доме, «похожем на древнюю, согнутую в три погибели старуху», о «мягком и мерном шорохе шлепающегося на пол коровьего кала», об «умиротворяющей кротости», какою дышат «огромные зеленые квадраты полей»? Увидим ли мы яснее крестьян, сидящих за столом, если автор нам скажет, что на их лицах «проступило умиленное выражение»? В своей новой книге г-н Золя не обнаружил ничего, кроме присущих

---

<sup>1</sup> «Сельская добыча» (лат.).

ему недостатков. Наиболее странное впечатление производит мушиный, фасеточный глаз художника; благодаря этой особенности все предметы для него множатся, будто он смотрит сквозь граненый топаз. Вот каким непонятным штрихом оканчивается, вообще говоря, довольно точное и живое описание базара в местном административном центре: «...огромные рыжие пудели с визгом мчались, волоча отдавленные лапы». Так, словно в галлюцинации, видит он мириады сеятелей сразу: «...они размножились, — утверждает он, — они кишели, словно черные трудолюбивые муравьи, что выползают на свет божий ради какого-то важного дела и с остервенением принимаются за непосильную, гигантскую, в сравнении с их ничтожеством, работу. И, однако, даже у самых дальних можно было различить все тот же упрямый жест, все то же упорство насекомых, борющихся с безмерностью земли и в конце концов празднующих победу и над пространством и над невзгодами жизни».

Крестьяне у г-на Золя все на одно лицо. Еще хуже то, что они говорят у него не так, как в жизни. Он наделяет их бурной говорливостью, свойственной городским рабочим.

Крестьяне не словоохотливы; они часто прибегают к сентенциям и любят повторять прописные истины. В тех областях, где местный диалект отсутствует, все же остались сочные слова, хранящие в себе аромат земли. Совсем иной характер носят выражения, какие вкладывает в уста крестьян г-н Золя.

Господин Золя уснащает речь деревенских жителей замысловатой руганью и красочной похабщиной, которые на самом деле никогда не срываются у них с языка. Мне не раз случалось беседовать с норманд-

---

<sup>1</sup> Я счастлив, что могу в доказательство привести документ неоспоримой важности. Это письмо из Рамбервиле от одного сельского врача, который уже двадцать лет лечит вогезских крестьян. Вот что он пишет:

*28 августа 1887 г.*

«Милостивый государь!

Я только что прочел в сегодняшнем номере «Тан» Вашу «Литературную жизнь». Позвольте мне, сельскому врачу, про-

скими крестьянами, чаще всего — со стариками. Их речь замедленна и афористична. Она изобилует нравочениями. Я не хочу сказать, что это речь Алкиноя и старцев Гомера, отнюдь нет! Но отчасти она напоминает ее своим важным и наставительным тоном. А когда молодые парни соберутся в кабачке, то они преисполняются угрюмого воодушевления, а язык их становится неповоротливым. Фантазия у них бескрылая, бедная и совсем не игривая. Самые занимательные их истории — не любовного, а героического характера: в них повествуется о том, как рассказчик обменялся с кем-либо здоровенными тумаками, о проявлениях

---

жившему двадцать лет вместе с крестьянами, поделиться с Вами своими наблюдениями над их нравами.

Прежде всего бросается в глаза один поразительный факт: речь крестьянина никогда не бывает похабной. Всякий раз, когда ему нужно сказать нечто рискованное, он прибавляет: «Извините за выражение». Рассказывая какую-нибудь чуть-чуть сальную историю, он никогда не проявит той грубости, какую ему приписывает г-н Золя. Он безусловно прибегнет к фигурам умолчания, к ораторским уловкам, к перифразам. И это потому, что всякий рассказ неизбежно затрагивает *личность*, а в таких случаях крестьянин чрезвычайно осторожен. Кого-то, но только не крестьянина можно упрекнуть в том, что он называет вещи своими именами. Как раз наоборот, о нем можно сказать, что слово дано ему для того, чтобы утаивать мысль.

Как Вы совершенно верно заметили, он изъясняется при помощи сентенций и аксиом, но если где-нибудь в кабачке от выпитого вина у него развяжется язык и он примется рассказывать нескромную историю, то непременно смягчит ее. Как Вы опять-таки верно заметили, никогда не употребляет он жаргона фабричной окраины.

Это вовсе не значит, что я хочу выставить крестьян как образцы добродетели и целомудрия. На этот счет можно сказать многое. Но «Земля» убеждает меня, — меня, прожившего двадцать лет бок о бок с крестьянами, — в том, что г-н Золя никогда не видел близко деревенских жителей.

Они отличаются необыкновенной стыдливостью, с которой врач сталкивается чаще, чем кто-либо другой, — стыдливостью, заставляющей их с риском для здоровья и жизни скрывать то, что житель города или фабричного поселка не задумается выставить напоказ.

Если крестьянину постоянно приходится иметь дело с животными и убирать их помещения, то из этого еще не следует, что он живет в грязи и что у него грязные мысли. Если бы г-н Золя хоть раз заглянул в конюшню или в хлев, он

силы и отваги, о каком-нибудь великом побоище или великом пьянстве.

К сожалению, я вынужден прибавить, что в авторской речи г-н Золя крайне тяжеловесен и вял. Он утомляет унылым однообразием своих словесных формул: «нежность кожи этого великана», «живость этой худенькой брюнетки», «ее веселость — веселость раздобревшей кумушки», «нагота ее крепкого девичьего тела».

Во внешнем облике крестьянина есть нечто прекрасное. Эту красоту увидели братья Ленен, Милле, Бастьен-Лепаж. Г-н Золя ее не видит. Суровая важность в лицах, торжественное спокойствие, какое придает телодвижениям неустанная работа, слияние человека с природой, благородство нищеты, святость труда для крестьянина, проводящего почти всю жизнь за плугом, — все это не привлекает внимания г-на Золя.

заметил бы, что чистые животные и аккуратно убранные стойла составляют для крестьянина предмет наивысшей гордости; кстати, я не вижу в навозе ничего особенно грязного или... возбуждающего. Конечно, в разгар полевых работ, во время сенокоса или жатвы заботы о чистоте отходят для крестьянина на второй план, но... можно ли его осуждать за это? Однако довольно, а то на эту тему я могу говорить до бесконечности.

Крестьянин бережет свою честь. Он стыдлив. Он не употребляет нехороших слов. Почему — это нас в данном случае не интересует. Важен факт. А факт говорит о том, как мало знает г-н Золя тех людей, которых он задумал изобразить.

Примите и проч.

Р. S. Простите за бессвязное письмо: мне важно было высказать все, что я думаю.

*Д-р Фурнье».*

Письмо доктора напомнило мне слова деревенской девушки, которую я повстречал в окрестностях Сен-Лу. Это было в воскресенье. Она шла из церкви и, по-видимому, была чем-то очень недовольна. Когда ее спросили, в чем дело, она ответила: «Батюшка не так говорил, как нужно. Он сказал: «Вы чистите котлы, а души не чистите». Так нехорошо говорить: душа — не котел, с христианами так не говорят». Сельский священник употребил общепринятое, давным-давно вошедшее в разговорку и, как указывают словари, старинное выражение. Тем не менее оно резнуло слух девушки. Ей было больно услышать из уст духовной особы вульгарное слово. Конечно, бедняжка не разбиралась в таких тонкостях, но это была нежная натура. Как видим, она далека от омерзительных героев г-на Золя.

Очарование вещей ускользает от него, красота, величие, простота бегут от него без оглядки. Если ему нужно назвать деревню, реку или героя, он непременно выберет самое гнусное название: героя он назовет Растрепой, деревню — Паршой, реку — Кислятиной. Между тем сколько у нас городов и рек с красивыми названиями! Особенно рек и озер, которым в память о нимфах, купавшихся в них когда-то, даны прелестные имена, певуче слетающие с губ. Но г-н Золя не знает красоты слов, как не знает он и красоты предметов.

Он лишен вкуса, и я начинаю думать, что отсутствие вкуса и есть тот таинственный грех, о котором говорится в Писании, — величайший, единственный незамолимый грех. Укажу на одно из проявлений этой неизлечимой болезни. Г-н Золя вывел в «Земле» одного крестьянина, пьяницу, развратника и браконьера, которого за остроконечную бороду, длинные волосы и глаза с поволокой прозвали Иисусом Христом. Г-н Золя всюду вставляет это прозвище. В результате у него получаются фразы вроде следующих: «Иисус Христос затеял перебранку с Флорой. Он требовал у нее литр рому...»; «Уж и посмеялся бы Иисус Христос над этим семейным праздничком!...»; «Иисус Христос здорово умел пускать ветры...» Не нужно быть ни католиком, ни христианином вообще, чтобы почувствовать неприличие подобного приема.

Но худший недостаток романа заключается в том, что он грязен без надобности. Крестьяне г-на Золя больны сатириазисом. Все ночные бесы, пугающие монахов, которые заклинаяют их во время вечерни особыми песнопениями, до самой зари не отходят от изголовья землепашцев из деревни Парша. В этой несчастной деревне на каждом шагу встречаются кровосмесители. Полевые работы, вместо того чтобы притупить чувственность, возбуждают ее. Под каждым кустом парень с фермы тискает девушку, от которой пахнет, «как от разгоряченного животного».

Старух там насилюют внуки, о чем мне уже, к сожалению, приходилось упоминать. Г-н Золя — ведь он у нас, как известно, ученый и к тому же философ — утверждает, что во всем виноваты навоз и сено.

Господину Золя зачем-то понадобилось поселить среди крестьян чету Шарль: почтенные супруги прежде содержали в Шартре «заведение Телье» \*, нажили на нем состояние, а затем передали во владение зятю, но все еще не оставляют его своими неусыпными попечениями.

Это — известный рассказ Мопассана, но только растянутый, раздутый до нелепости, размазанный до отвращения. Г-жа Шарль привезла с собой из Шартра старого кота. По уверению г-на Золя, на памяти у этого «задумчивого мечтателя», «завсегдатая отдельных кабинетов», сменилось «пять или шесть поколений женщин, ласкавших его своими жирными руками», и от его «суженных зрачков с золотым ободком не ускользало ничто». Но г-ну Золя этого мало: он превращает кота в какое-то страшное таинственное существо из восточных легенд, в какого-то похотливого старикашку, вроде Ирода, изображенного Гюставом Моро \*, старикашку, увязшего в своем сладострастии, как муха в меду. Затем на смену появляется кольцо, простое обручальное кольцо на пальце г-жи Шарль: оно — волшебное и рассказывает самые невероятные истории.

В своем новом романе г-н Золя превзошел самого себя по части грубости и непристойности. Он выдумал целую сцену, в которой заставил крестьянку рожать в то время, как ее корова телится, и этим оскорбил самое святое чувство, какое есть у женщины. «Лезет!» — восклицает один из свидетелей, имея в виду отнюдь не корову. Грубость деталей переходит всякую меру.

Но г-н Золя оскорбил природу в животном не меньше, чем в женщине, и я обвиняю его еще в том, что он облил грязью ни в чем не повинную корову, беспощадно обнажив всю неприглядную сторону ее страданий и ее материнства. Позвольте объяснить вам причину моего негодования. Несколько лет назад мне пришлось наблюдать, как рождался теленок. Мать жестоко и молча страдала. Когда же теленок появился на свет, она повернула к нему прекрасные, полные слез глаза и, вытянув шею, принялась заботливо облизывать маленькое существо, доставившее ей столько му-



чений. Это было трогательное, чудесное зрелище, уверяю вас, и да будет стыдно тому, кто оскверняет такие великие таинства. Г-н Золя говорит об одном из крестьян, что у него было «помешательство на нечистотах». Вот это «помешательство на нечистотах» г-н Золя приписывает без разбора всем своим персонажам. Его «Земля» «это «Георгики» разврата.

Возможно, что у г-на Эмиля Золя был когда-то не скажу — большой, но все же незаурядный талант. Вероятно, у него и сейчас еще остались какие-то крупицы, хотя, признаюсь, мне стоит огромного труда не отказать ему в этом. Его творчество — вредно, а сам он принадлежит к числу тех несчастных о которых сказано, что лучше бы им не родиться на свет.

Разумеется, я не стану отрицать его внушающую отвращение славу. Никто до него не воздвигал столь высокой груды нечистот. Это его памятник, монументальность которого неоспорима. Ни один человек до него так не старался унижить человечество, оплевать все образы любви и красоты, свести на нет все хорошее и доброе. Ни один человек до него не был до такой степени чужд человеческим идеалам. Во всех нас, великих и малых, смиренных и гордых, заложен инстинкт красоты, влечение к тому, что скрашивает и украшает и что, будучи разлито в мире, составляет прелесть бытия. Г-н Золя об этом не подозревает. В человеке заложена вечная, возвышающая его потребность любить. Г-н Золя об этом не подозревает. Стыдливость и желание порой сливаются в душе, образуя изумительные переливы красок. Г-н Золя об этом не подозревает. Существуют на земле божественные формы и благородные мысли; существуют чистые души и героические сердца. Г-н Золя об этом не подозревает. Даже многие наши слабости, многие заблуждения и ошибки скрывают в себе трогательное очарование. Скорбь — священна. Святость слез служит краеугольным камнем всех религий. Несчастье, постигшее человека, способно вызвать преклонение другого. Г-н Золя об этом не подозревает. Он не подозревает, что искусство целомудренно, что философская ирония снисходительна и мягка и что здоровым нату-

рам дела человеческие внушают лишь два чувства: восторг или сожаление. Сам г-н Золя достоин глубокого сожаления <sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> В последнюю минуту я узнал, что в России запрещен перевод «Земли» \*. Сообщив эту новость, Луи Ульбах прибавляет: «Мы можем быть уверены, что это произведение, оскорбительное для Франции, будет переведено и сопровождено комментариями в Германии». И Ульбах обрушивается на роман с такой силой, что мне остается только позавидовать ему.

«Нет, нет! — восклицает он. — Роман г-на Золя — это клевета, это оскорбление для большинства французов.

Пусть г-н Золя с помощью своей теории наследственности потрудится объяснить, каким образом эти крестьяне могли породить все, что есть самого честного, самого разумного и самого смелого во Франции. У кого из нас не течет в жилах крестьянская кровь и кто из нас не восхищается этими неутомимыми тружениками и не смотрит на них как на пример, достойный подражания?

Отрицать сметливость крестьянина — значит, отрицать факты; отрицать его храбрость — значит, отрицать самое существование Франции.

После войны, после вольных стрелков, после всех этих героических подвигов подобные книги, помогающие нашим врагам, кажутся особенно оскорбительными для нашего патриотизма.

Несколько дней назад я имел случай рассказать о том волнующем зрелище, какое являла собой одна из бригад, весело и бодро, в полном боевом порядке продефилировавшая передо мной. Это была манифестация французских крестьян.

Мне известно, что бригада прочла мой слабый очерк; мне известно также, что номер «Пти Марсей» с моим очерком был расклеен на стенах казарм, и, гордый своим успехом, которому я обязан не формой очерка, а высказанными в нем мыслями, я не могу умолчать и о том, что генерал счел нужным показать эти впечатления очевидца военному министру и что министр сказал:

— Вот то, что нам нужно и что наши солдаты умеют ценить.

Так вот, подите к этим солдатам, готовым умереть за Францию, научившимся читать в сельской школе или в казарме, людям со все растущим национальным самосознанием, этим будущим героям, и начните читать им книгу, в которой доказывается, что они — жертвы социального неравенства; что их отцы — негодяи, а матери — безнравственные и бесстыдные женщины; что они питают особое пристрастие к навозу; что они лишены каких бы то ни было возвышенных чувств; что каждый из них — плод кровосмешения или во всяком случае разврата, что они — отбросы Франции, сложенные в одну кучу.

Вы увидите, с каким презрением посмотрят на вас эти французы, вспоенные чистыми соками родной земли».

## МЫСЛИ ПЕРЕД ВОЗВРАЩЕНИЕМ В ГОРОД.

### *ЗЕМЛЯ И ЯЗЫК* <sup>1</sup>

Первые порывы холодного ветра гонят нас в город. Дни становятся короче и сумрачней. В то время как я пишу, сидя у камелька, в уединенном доме, ярко-красная луна всходит в конце аллеи, усеянной опавшими листьями. Все замолкло. Бескрайняя грусть заволокла горизонт: прощай, солнце; прощайте, лучезарные звонкие дни. Прощайте, поля, дышащие светлым покоем. Прощай, земля, прекрасная цветущая земля, прощай, наша родительница, от которой все мы произошли и к которой вновь вернемся в один прекрасный день.

Завтра я уезжаю, чемоданы уже уложены, узлы завязаны, и в осиротевшем доме под рукой у меня осталась одна-единственная, тоненькая книжечка. Она осталась на камине случайно. Случай — мой мажордом. Ему я поручаю заботу о моем имуществе и управление моим достоянием. Он нередко обкрадывает меня, но он, мошенник, не глуп: он меня потешает, и за это я прощаю его. Вдобавок, как дурно он ни поступает, сам я поступил бы еще того хуже. Ему я обязан

---

<sup>1</sup> La vie des mots, par Arsène Darmosteter, in-8, Delagrave, éditeur.

некоторыми удачами. Он слуга на редкость изобретательный и наделен чарующей фантазией. Он никогда не подает мне то, чего я требую. Я на это не сержусь, принимая во внимание, что люди обычно высказывают неосторожные пожелания и бывают особенно несчастливы именно тогда, когда их мечты осуществляются. «Ты стал жалким только потому, что всегда делал, что хотел», — говорит Креонт Эдипу. Мой мажордом Случай никогда не исполняет того, что я хочу. Я подзреваю, что он лучше меня разбирается в тайнах судьбы. Я доверяюсь ему из презрения к людской мудрости.

По крайней мере на этот раз он хорошо послужил мне, оставив у меня под рукой желтый томик, который я уже прочел этим летом с каким-то особым умственным волнением; он вполне созвучен моим сегодняшним раздумьям, ибо в нем говорится о речи, а я размышляю о земле.

Вы спрашиваете, почему я соединяю эти два понятия? Сейчас скажу. Между землей-кормилицей и человеческой речью есть сокровенная связь. Речь человека родилась в борозде: она сельского происхождения; пусть города наделили ее некоторым изяществом, вся мощь ее — от полей, где она родилась. Язык, которым все мы говорим, — язык грубый, крестьянский; сейчас эта мысль меня особенно изумляет и трогает. Да, наша речь родилась в нивах, как песнь жаворонка.

Помешивая уголья в камине, я предаюсь осенним раздумьям и набрасываю на бумагу свои блеклые мысли. Книга Арсена Дармстетера, помогающая мне в этом, — научный труд; его следовало бы изучить основательнее и воспользоваться им для более полезной работы. Господин Дармстетер — лингвист, обладающий умом одновременно и аналитическим и обобщающим, постепенно доходящим до высот философии речи. Его мощный и строго логический ум создает определенный метод и воздвигает законченную систему.

Как некий Дарвин в области грамматики и лексики, он применяет к словам эволюционные теории и приходит к выводу, что речь — это звуковая материя, которую человеческое мышление незаметно и бесконечно

видоизменяет под неосознанным воздействием борьбы за существование и естественного отбора. Такой методический труд следовало бы и проанализировать методически. Но я предоставляю это другим, более ученым людям, например Мишелю Бреалю. Я не стану погружаться в глубокие и безупречно построенные мысли господина Дармстетера. Я только в свое удовольствие поброжу в их окрестностях. Я перелистаю томик, время от времени обращая взор к пашне; ее уже полуприкрыла ночь, а завтра — еще до рассвета — я расстанусь с ней.

Да, человеческая речь происходит от земли: она еще хранит ее привкус. Как это справедливо, например, в отношении латыни! Под величием этого царственного языка еще чувствуется грубая мысль латинских пастухов. Подобно тому как в Риме круглые мраморные храмы увековечивают память о древних деревянных и соломенных хижинах и напоминают об их форме, так и язык Тита Ливия хранит в себе сельские образы, запечатленные в нем с могучим простодушием первыми выкорышками Волчицы \*. Властители мира пользовались словами, завещанными им предками-землепашцами, которые называли флаги своих армий бычьими или бараньими рогами (*cornu*); части легионов — оградами вокруг хутора (*cohors*), а подразделения когорт — снопами пшеницы (*manipulus*).

А вот нечто, что скажет нам о римлянах больше, чем все разглагольствования историков. Эти неутомимые люди, благодаря труду достигшие могущества, употребляли глагол «*caliere*» в значении «быть искусным». А каково первоначальное значение слова «*caliere*»? Оно значит: «иметь мозолистые руки». Наконец только в истинно крестьянском языке одно и то же слово может обозначать «плодородие луга» и «радость человека» (*laetus*); только в крестьянском языке возможно сравнение безрассудного человека с землепашцем, отклоняющимся от борозды (*lira* — борозда; *deligare* — бредить)!

Я заимствую эти примеры из книги господина Дармстетера «Жизнь слов». Французский язык точно так же возник и развился из земледельческого труда.

Он полон метафор, взятых из сельской жизни; он весь цветет полевыми и лесными цветами. Именно поэтому так благоухают басни Лафонтена.

Всякий деревенский житель тем самым охотник или браконьер. Нельзя жить среди полей и не охотиться за дичью или зверем. Мой любезный собрат господин де Шервиль, автор «Сельской жизни», несомненно подтвердит это. А ведь люди меняются меньше, чем принято считать: во все времена во Франции было множество охотников и еще больше браконьеров. Поэтому в нашем языке особенно много метафор, заимствованных у охотников.

Господин Дармстетер приводит любопытные примеры. Так, когда мы говорим «aller sur les brisées de quelqu'un»<sup>1</sup>, мы, сами того не подозревая, пользуемся образом, взятым из псовой охоты. «Brisées» — это ветки, сломанные охотником, чтобы отметить места, по которым прошел зверь.

Как мало людей, употребляющих слово «acharner»<sup>2</sup>, знает, что основное его значение — пускать сокола на дичь! Из охотничьего языка современная речь заимствовала также выражения и слова «être à l'affût»<sup>3</sup>, «amogse»<sup>4</sup> — то, что кусает зверь, «arrâ»<sup>5</sup> — еда, которую дают зверю, чтобы его приманить; «rendre gorge»<sup>6</sup> говорилось первоначально о соколе, а потом уже, в переносном смысле, стало применяться ко взяточникам; от «gorge chaude» — обрезки дичи, отдаваемые соколу, — возникло выражение «s'en faire des gorges chaudes» — потешаться; «hagard, faucon hagard» — то есть живущий на плетне, не прирученный сокол, отсюда — «aig hagard» — дикий вид; «niais»<sup>7</sup> первоначально означало «птенец, еще не покинувший гнезда» и т. д.

«Слова хранят, — говорит Арсен Дармстетер, — тот первоначальный отпечаток, который придало им народ-

---

<sup>1</sup> Идти по чьему-нибудь следу, соперничать (*франц.*).

<sup>2</sup> Озlobлять (*франц.*).

<sup>3</sup> Быть настороже (*франц.*).

<sup>4</sup> Приманка, соблазн (*франц.*).

<sup>5</sup> Прикорм (*франц.*).

<sup>6</sup> Изрыгнуть, вернуть добычу (*франц.*).

<sup>7</sup> Глупый (*франц.*).

ное мышление. Поколения сменяются поколениями, и каждое из них получает от предыдущих устную традицию выражений, мыслей и образом, которые они, в свою очередь, передают следующим поколениям». Поэтому, при известных знаниях, можно в словаре французского языка прочитать всю историю Франции. Мне напоминаются слова, когда-то сказанные Ренаном за обедом. Разговор шел о Меровингах. «Образ жизни какого-нибудь Хлотаря или Хильперика, — сказал господин Ренан, — мало чем отличался от образа жизни, какой в наши дни ведет любой крупный фермер долины Бос или Бри». А этимология слов «*bourg*»<sup>1</sup>, «*ville*»<sup>2</sup>, «*conpétable*»<sup>3</sup> и «*maréchal*»<sup>4</sup> вполне подтверждает слова господина Ренана, свидетельствуя об особенностях быта наших косматых королей. Действительно, меровингский двор, «*cortem*», был не чем иным, как «*cohortem*» или птичьим двором римлян. Коннетабли были начальниками конюшен, маршалы — погонщиками вычюных животных. А король жил в своей «*villa*», то есть на хуторе.

Все бедствия средневековья, говорит господин Дармстетер, отражены в словах «*chétif*»<sup>5</sup>, то есть «*captivum*» — пленник («*chétif*» и средние века значило также «пленный»), слабый, неспособный сопротивляться, «*serf*» — раб или «*boucher*»<sup>6</sup> — продающий мясо козла (*bouc*).

Упадок феодализма отозвался в слове «*vasselet*» или «*vaslet*» — молодой вассал, которое в деградации своей дошло до современного «*valet*»<sup>7</sup>; а возвышение буржуазии сказалось на скромном слове «*minister*», то есть слуга, которое приобрело значение «министра».

Все деяния нации, все установления, постепенно создававшиеся ходом истории, оставили свой отпечаток в языке. В современной речи находишь следы, оставленные в ней церковью и феодализмом, крестовыми

---

<sup>1</sup> Двор (*франц.*).

<sup>2</sup> Город (*франц.*).

<sup>3</sup> Коннетабль, шталмейстер (*франц.*).

<sup>4</sup> Маршал (*франц.*).

<sup>5</sup> Жалкий, хилый (*франц.*).

<sup>6</sup> Мясник (*франц.*).

<sup>7</sup> Лакей (*франц.*).

походами, королевской властью, обычным правом и правом римским, схоластикой, Возрождением, Реформацией, гуманизмом, веком философии, революцией и демократией. Можно без преувеличения сказать, что филология, недавно превратившаяся в позитивную науку, стала неожиданной помощницей истории.

Язык создается народом. Вольтер сетовал на это. «Грустно, — говорил он, — что в отношении языка, как и в отношении других, еще более важных основ жизни, первыми шагами нации управляет чернь». Платон говорил прямо противоположное: «В области языка народ — превосходный наставник». Платон был прав. Народ создает язык хорошо. Он делает его образным и ясным, живым и метким. Если бы этим занимались ученые, язык был бы тусклым и тяжелым. Зато народ не считается с правильностью. У него нет ни малейшего понятия о научном методе. Ему довлеет инстинкт. А создают именно инстинктом. Народ не приешивает сюда рефлексии. Поэтому самые мудрые и самые искусные языки сотканы из неточностей и причуд. Конечно, все языковые явления можно свести к точным законам, ибо все в мире подвластно им, даже ненормальности и уродства. Великий Жофруа Сент-Илер только тем и замечателен, что подвел под тератологию \* вполне точные законы. Тем не менее надо сказать, что при образовании языков дело не обходится без вздора и неразберихи; это относится ко всем языкам вообще и к тому, который Брунетто Латини считал сладчайшим из всех \*, в частности.

Приведу два любопытных примера.

«Foie»<sup>1</sup> происходит от «ficus», что значит «смоква» или, чтобы быть совершенно точным, от производного от «ficus». Каким же образом? Да самым простым. Римляне, разбогатеv, стали лакомками — это было неизбежно — и очень ценили печенку, приправленную смоквой: «jesug ficatum» или просто «ficatum». В конце концов это слово стало обозначать не только печеночный паштет со смоквой, но и просто печенку. Вот как «foie» произошла от производного от «ficus».

---

<sup>1</sup> Печень (франц.).



Таково же, но еще более забавно, происхождение слова «truie»<sup>1</sup>. «Truie» — это вульгарно-латинское «troia», то есть не более не менее как название города Троя!

Римляне называли «porcus troianus» (вульгарно-латинское «porcus de Troia») жареного поросенка, начиненного мясом других животных. Это был шуточный и чисто народный намек на троянского коня, на снаряд «feta arnis», как говорит Вергилий. Отсюда, путем ограничения или путем поглощения определяемого определяющим, слово «Troia» само по себе постепенно приняло значение «фаршированного поросенка», а затем в силу его женского окончания стало применяться только для обозначения женской особи (свиньи-самки). «Truie» — это народная форма слова «Troia», которое в ученом французском языке вылилось в «Troie».

Причуды и заблуждения языка бесчисленны; и эти причуды властны, заблуждения — неисправимы. Ученые видят зло, но искоренить его не могут. Даже если знаешь, что надо говорить «l'endemain, l'ierge»<sup>2</sup>, все же поневоле приходится говорить «le lendemain, le lierre».

Люди говорят, чтобы понимать друг друга. Вот почему сложившийся обычай является в области языка непреложным законом. Ни науке, ни логике не справиться с ним, и выражаться чересчур правильно — значит выражаться плохо. Самые прекрасные слова становятся пустыми звуками, когда не понимаешь их. Наша молодая литература недостаточно прониклась этой истиной. Пусть декадентский стиль — стиль совершеннейший, а все же ему грош цена, если он невразумителен. Не надо стремиться к излишней утонченности и грешить избытком изящества. Католическая церковь, превосходно знающая природу человека, запрещает ему прикидываться ангелом, чтобы он не обернулся зверем. А именно так и случается с теми, кто желает изъясняться чрезмерно утонченно и придает своему «письму» какие-то диковинные красоты. Такие люди тешатся пустяками и подражают звериным крикам. Язык сложился естественным путем; его основным качеством всегда будет естественность.

<sup>1</sup> Свинья-самка (франц.).

<sup>2</sup> Завтра, плющ (франц.).

## ЭРНЕСТ РЕНАН — ИСТОРИК ХРИСТИАНСТВА

На будущей неделе г-н Эрнест Ренан подарит нас первой книгой своей трехтомной «Истории израильского народа». Эта работа явится своего рода введением к его истории «Происхождение христианства». Когда она выйдет в свет, обширный труд, предпринятый г-ном Ренаном, будет завершен. Будет закончено исследование о глубочайших истоках религиозного учения, которому суждено было питать столько народов, которое и доныне наряду с буддизмом и исламом властвует над человеческими душами.

С какой бы точки зрения ни подходить к неясным истокам этих великих идей, объемлющих нас со всех сторон и проникающих в нас, каково бы ни было наше представление о возникновении этого возвышенного идеала, мы должны признать, что, остановив свой выбор на такой теме, г-н Ренан не ошибся ни в характере, ни в многосторонности своего дарования. Эта тема требовала от исследователя исключительных умственных данных и притом совершенно противоположных друг другу. Тут нужен был неусыпный критический ум, научный скептицизм, способный противостоять как лукавству верующих, так и их чистосердечию, которое является более могущественной силой, чем лукавство. Тут нужно было в то же время живое чувство божест-

венного, инстинктивное понимание потребностей человеческой души, своего рода объективное чувство веры. Именно такая прирожденная двойственность духа присуща г-ну Ренану и блестяще проявляется в нем. Чуждый какому-либо из существующих вероисповеданий, он в высокой степени обладает религиозным чувством. Не будучи верующим сам, он наделен особым даром постигать во всех их тонкостях народные верования. Если бы я был убежден, что буду правильно понят, я сказал бы, что не вера владеет им, а он владеет верой. Обладая всеми данными, необходимыми для предпринятого труда, он вместе с тем серьезнейшим образом подготовился к нему. Рожденный художником, он стал ученым. Юность его прошла в упорном труде. В течение двадцати лет он отдавал ему дни и ночи и приобрел такую привычку к напряженным занятиям, что в годы зрелости был уже в состоянии создать крупные произведения, исполненные созерцательного спокойствия духа. Ныне он пишет легко, и все написанное им легко воспринимается. Словом, он художник, он владеет стилем, то есть искусством выражать мысль во всей бесконечности ее оттенков.

Впрочем, надо сказать, что если г-н Ренан словно создан для того, чтобы писать о происхождении христианства, то и выступил он как раз вовремя. Труд его был подготовлен всем предшествующим, умы — настроены воспринять его мысли. Сомнение привело за собою любознательность. Оковы были сняты с умов философией XVIII века, проникшей даже в мышление протестантских богословов. Священное писание, долгое время считавшееся неприкосновенным, стало предметом изучения: во Франции — весьма критического, в Германии — научного. Материалы для исторического труда г-на Ренана были уже собраны другими. Содержание было подсказано. Он отлил для него форму, он вдохнул в него душу, ибо он — художник и поэт.

Вообще верить в новизну каких-либо идей и чувств — неблагоприятно. Все уже давным-давно пережито и сказано, то, в чем мы видим открытие, чаще всего оказывается повторением. И, однако, умам

нашего времени, по-видимому, присуща некая новая способность, способность понимать прошлое и восходить к отдаленным истокам явления. Правда, человек во все времена умел хранить воспоминания и придерживаться некоторой преемственности. Он уже давно обзавелся летописями, и именно это отличает его от животных в такой же, а может быть, и в большей степени, чем обычай носить одежду. Но говоря: «Отцы наши поступали так-то и так-то», — человек совершенно не замечал разницы между ними и собой. Он охотно приписывал черты своего времени самому далекому прошлому. Он не ощущал тех глубочайших перемен, которые вносит время в человеческую жизнь. Детство мира он рисовал себе в облике зрелой его поры. Эта особенность бросается в глаза у древних историков, в особенности у Тита Ливия, у которого суровые пастухи Лациума говорят языком современников Августа. Еще ярче проявляется эта черта в искусстве средних веков, которое неизменно наделяло царей древней Иудеи жезлом правосудия французских королей и короной с цветком белой лилии. С помощью Декарта человеческая мысль перешагнула через пропасть. И тем не менее трагедия XVII века, в которой знание абстрактного человека достигло совершенства, обнаруживает, даже у Расина, представление о неизменности человеческих нравов на протяжении веков. XVIII век, хотя и очень интересовался прошлым, представлял себе Соломона в облике Тюрго, а Семирамиду в царской мантии Екатерины II. Настоящее представление о прошлом, по-видимому, было подарено нам великой исторической школой нашего века. Понимание духа начальных эпох истории появилось у человека лишь во всяком случае стало развиваться в нем лишь с недавнего времени. Так я думаю, хотя, может быть, и заблуждаюсь. Возможно, что поколения, которые придут нам на смену, наши представления о древних временах покажутся смешными и устаревшими. И все же нет сомнения в том, что именно мы создали в некоторой ее части сравнительную историю человечества. Особенно значительную роль сыграли здесь молодые науки — этнография, археология, филология. Представляя себе теперь чело-

века древнейших времен, мы приписываем ему такой облик, такие характерные черты, которые, вполне возможно, соответствуют исторической правде или во всяком случае приближаются к ней. Господин Ренан обладает особой способностью проникать в дух первоначальных эпох, угадывать то, что безвозвратно кануло в вечность, а также превосходным знанием той новой области гуманитарных наук, которая занимается историей человеческого рода в пору его младенчества. Это особенно проявляется в тех местах труда г-на Ренана, где он соприкасается с легендой или изображает события, не освещенные солнцем истории. Он обнаруживает удивительное чутье и превосходное чувство такта, раскрывая перед нами то, что до сих пор оставалось скрытым в предрассветных сумерках.

Это искусство или, если хотите, дар г-н Ренан в полной мере проявил в истории израильского народа и в античной истории, которая возникает у нас на глазах в первоизданном своем виде из детских сказок и грубо-примитивной поэзии. Из своих путешествий по странам Востока он вывез правдивый фон для картин пастушеской или военной жизни, а художественное чутье подсказывает ему надлежащую форму и настроение. Сейчас еще не время говорить о его книге. Я пытаюсь только указать на основные его особенности как историка и прежде всего на те, что проявлены им в уже опубликованной главе о Сауле и Давиде. Не могу устоять перед желанием привести здесь образ этого древнейшего из израильских царей, каким дает его г-н Ренан в указанной главе своей книги. Этот пример прекрасно подтверждает то, что было сказано выше.

«Жил он (Саул) обычно в своем родном городке, в Гибее Веняминовой, которая была переименована им в Гибеею Савлову. Он жил там в кругу своей семьи, безо всякой роскоши, как и без торжественного церемониала, жизнью благородного хлебопашца; когда не бывал в походах — возделывал свои пашни, не вмешиваясь ни в какие дела. Дом у него был довольно обширный. В день новолуния здесь приносились жертвоприношения и устраивались пиршества, на которых каждый дружинник занимал указанное ему место. Цар-

ское кресло было придвинуто к стене. Для выполнения приказов Саула при нем состояли «расимы» — скороходы, соответствующие современным «чаухам» восточных стран. Вообще же ничто не напоминало здесь царский двор. Водился Саул с некоторыми знатными соседями, преимущественно из числа состоявших в родстве с ним, как Абнер. Это было своеобразное сельское и в то же время военное привилегированное сословие, то есть тот надежный краеугольный камень, на который обычно опираются прочные монархии».

Как мало все это напоминает традиционного Саула, исполненного таинственности и величия! Каким понятным и ясным стал для нас образ этого пастушеского царя! Еще интереснее у г-на Ренана царь Давид. Каким он кажется живым, этот пленительный юный разбойник, лукавый и алчный вождь с его откровенной жестокостью и поэтической одаренностью дикаря! Читая эти умные, проникновенные страницы, я думал о том, как забавно любознательному человеку жить в наше время, когда мы можем сравнить простого Давида в бурнуса, каким мы видим его у Ренана, с тем величавым Давидом, который предстает нам в скульптуре XIII века — погруженным в раздумье, с седой бородой, с тяжелой короной на голове, с лирой пророка в руках!..

Да, говорил я себе, как интересно и радостно жить в эпоху, когда и наука и поэзия находят надлежащее место, когда благодаря всесторонним критическим исследованиям мы каким-то чудом одновременно и рядом можем увидеть почку, полную соков реальной действительности, и пышный цветок выросшей из нее легенды.

## ЖОРЖ САНД И ИДЕАЛИЗМ В ИСКУССТВЕ <sup>1</sup>

Только теперь ощущаем мы в полной мере, какая пустота образовалась вокруг нас с внезапной смертью г-на Каро. Он ушел от нас в расцвете жизни, в самый разгар своей умственной деятельности: Мы были так поражены, что на другой день после его смерти — да простится нам это — еще говорили о нем так, словно он сейчас вернется. Мы продолжали относиться к нему так же, как и вчера. Мы еще не чувствовали всей непоправимости случившегося. Теперь мы это осознали. Теперь мы уже чувствуем в полной мере, что нам недостает г-на Каро и еще долго будет недоставать его. То и дело говоришь себе: «Кто теперь сумеет с такой ясностью, с таким блеском, как он, знакомить слушателей с новейшими теориями, с нарождающимися течениями? Кто будет учить непосвященных? Кто станет, подобно ему, добрым апостолом для неверующих? Из чьих уст услышим мы теперь изящно изложенные философские истины? Нет ничего более приятного и редкого, чем обаятельный ученый. Умение преподавать изящно — это божественное искусство, которое кончилось вместе с ним».

---

<sup>1</sup> George Sand, par E. Caro, dans la «Collection dos grands Ecrivains», Hachette, édit., in-18.

В таких размышлениях застала нас вышедшая в свет посмертно небольшая работа г-на Каро; она оживила нашу скорбь о нем. За несколько дней до смерти г-н Каро закончил очерк о Жорж Санд для серии «Великие французские писатели». Эта серия состоит, как известно, из очерков, посвященных жизни, творчеству и литературному значению лучших наших писателей. Каждый ее выпуск представляет собой монографию. Очерк г-на Каро о Жорж Санд — четвертый выпуск серии. Ему предшествовали: «Виктор Кузен» Жюля Симона; «Г-жа де Севинье» Гастона Буассье и «Монтескье» Альбера Сореля.

Печатаются: «Гюрго» Леона Сэ и «Вольтер» Фердинанда Брюнетьера. За ними должны последовать «Вийон» Гастона Париса; «д'Обинье» Гийома Гизо; «Руссо» г-на Шербюлье; «Жозеф де Местр» виконта Эжена-Мельхиора де Вогюэ; «Ламартин» г-на Помероля; «Бальзак» Поля Бурже; «Мюссе» Жюля Леметра; «Сент-Бёв» Ипполита Тэна; «Гизо» Ж. Моно и «Буало» Брюнетьера, которому, следовательно, поручены два очерка. Я сообщаю об этом, отнюдь не имея в виду какого-либо упрека по адресу издателей. Напротив, перечисленные мною имена уже сами по себе — достаточное доказательство того, что издатели озабочены привлечением авторов, вполне соответствующих избранной теме по своим склонностям, предшествующим трудам или же по умственному своему складу.

И, разумеется, не случайно очерк о Жорж Санд был поручен именно г-ну Каро. Этому философу-спиритуалисту память о г-же Санд была дорога как память о музе его молодости. Самое имя автора «Индианы» напоминало ему о днях сладостных мечтаний и горячих споров. «С этим именем, — пишет он, — связано представление о стольких благородных порывах, неопределенных смутных стремлениях, дерзаниях мысли и глубоких разочарованиях, о великих надеждах и утонченных муках сомнения!..» И по мере того как в нем оживают эти воспоминания, он вновь оказывается во власти прежних чар, и книга его становится данью уважения прекрасному таланту г-жи Санд. Правда, автор книги «Идея бога» не разделял взглядов автора «Лелии» на



семью и общество; но ведь у г-жи Санд идеи так мало значат; напротив, чувство значит у нее все, и можно восхищаться ею, не разделяя ее мыслей, если только разделяешь ее чувства.

Душа этой достойной восхищения женщины сказывается во всех ее творениях —

Незамутненная и вольная, как воды  
Ключей, исторгнутых из недр рукой природы,

Не спрашивайте, что она думает: мысль предполагает рассуждение, а г-жа Санд не рассуждает; это она предоставляет своим друзьям, — друзья снабжают ее готовыми идеями, которые она охотнее повторит, чем поймет. Единственное ее назначение на этом свете — с несравненной щедростью выражать свое восприятие природы и рисовать страсти. Она правильно видит природу, ибо видит ее прекрасной. Природа только такова, какою она кажется. В ней самой нет ни красоты, ни безобразия. Лишь глаз человека делает прекрасными небо и землю. Мы придаем красоту вещам тем, что любим их. Вся тайна идеального заключена в любви. В своей книге г-н Каро вспоминает, между прочим, одну очаровательную подробность из жизни этой великой и простодушной любительницы природы, чья душа всегда жила в гармонии с полевыми цветами. «Я поднесла руки к лицу, — пишет г-жа Санд, — и почувствовала запах шалфея, до листьев которого дотронулась за несколько часов перед тем... Маленькое это растение осталось там, на горе, на расстоянии нескольких лье. Я не стала рвать его и унесла с собой лишь чудесный его запах. Как же случилось, что оно подарило мне его? И что за прелесть аромат цветка, если безо всякого вреда для растения он может передаться руке друга, следовать за ним в пути и приводить его в упоение, еще долго напоминая ему о красоте любимого цветка? Аромат нашей души — воспоминания...»

Она постоянно общалась с природой. Стоило ей вдохнуть запах нескольких листиков шалфея, и она уже ощущала живущего в ее душе неведомого бога. Не будем поддаваться обману громких слов: «искусство»,

«истина». Тайна красоты доступна и ребенку. Смиренные духом чувствуют ее подчас лучше, чем сильные мира сего. Любить — значит делать прекрасным, делать прекрасным — значит любить.

Натуралистическое искусство несколько не правдивее искусства идеалистического. Г-н Золя воспринимает человека и природу ничуть не более правильно, чем г-жа Санд. Каждый из них видит мир лишь собственными глазами. Все даваемые г-ном Золя показания о жизни являются его субъективными показаниями. Он может поведать нам лишь о том, как предомляется в нем вселенная, и только; он не знает, что такое вселенная и существует ли она в действительности. И натуралисты и идеалисты — в равной степени жертвы своих представлений; и те и другие — во власти «призраков пещеры» \*, как называл Бэкон те обманчивые образы, что лежат в природе человека и делают для него невозможным познание мира; ибо мы замурованы в нашем «я», как в каменной толще, и, одинокие среди вселенной, видим одни лишь призраки. Ну что же, раз во всем, что мы знаем о мире, одинаково мало объективной истины, раз все представления наши о действительности соответствуют не самой действительности, а лишь состоянию нашего духа, почему бы нам в таком случае не отдать предпочтения образам, исполненным изящества, красоты и любви? И здесь и там одни лишь сновидения, так почему же не выбрать наиболее приятные из них? Именно так поступали греки. Они боготворили красоту; безобразия, напротив, казалось им кошунством. А между тем они смотрели на мир и природу безо всяких иллюзий. Эллины рано стали исповедовать печальную, лишенную всяких иллюзий философию.

Не далее как сегодня утром, перелистывая превосходную книгу г-на Виктора Брошара \* о скептиках, я думал о том, что самые древние философские школы Греции были уже во власти научных сомнений, сопутствуемых, как всегда, горечью и скорбью. Мыслящих греков даже в самую раннюю пору их истории мучило сознание невозможности веры. Религия их была лишь утешением в безверии. Быть может, именно потому ре-

лигия их оставалась человеческой и была благотворной. Этот чудесный маленький народ не увеличивал своих горестей: неспособный верить, он умел по крайней мере любить. Мудро отдался он поискам красоты взамен вечно ускользавшей от него истины, и красота в противоположность истине не обманывала его.

Ведь красота в нашей власти: она осязаемое выражение нашей любви. Вопрос о писателях-натуралистах и писателях-идеалистах ставится неправильно. Реальное противопоставляют идеальному, как будто идеальное не является единственной доступной нам реальностью! По существу натуралисты хотели бы сделать нам жизнь ненавистной, тогда как идеалисты пытались украсить ее. И как они были правы! Как прекрасно было то, что они делали! В людях живет неутоимое стремление, вечная потребность украшать жизнь и все живое. Г-жа Санд превосходно говорит об этом: «Уж такова природа человеческого духа, что он не может не украсить и не возвысить того, что является предметом его созерцания». Чего только не изобрели мы в своем стремлении украсить жизнь! Мы придумали великолепные одежды, служащие целям войны или целям любви, и песни, воспевающие наши радости и печали. Все неисчислимые усилия цивилизации имеют своей целью украсить жизнь. Натурализм просто бесчеловечен, ибо он хочет уничтожить все созданное совокупными усилиями человечества. Он отменяет украшения, срывает покровы; он принижает плоть, которая торжествовала победу, проникаясь духовностью; он возвращает нас к первобытному варварству, к звериному состоянию эпохи пещер и свайных построек.

Может быть, все это — забавы литературы упадка. Но предаваться такому занятию слишком упорно — небезопасно. Это ведет к непоправимому огрубению, к гибели всего, что составляет очарование и прелесть жизни. Г-жа Санд была великим мастером идеального, именно за это я люблю и почитаю ее. Мы говорили, что книга г-на Каро пользуется большим успехом и быстро раскупается в галереях Одеона. Прекрасно! Если успех ее знаменует собою возврат идеала в искусство, — мы можем только от всей души приветствовать этот успех.

Мне говорят также, что читатель еще вернется к романам Жорж Санд, преданным ныне забвению. Хотелось бы верить этому. Мне хотелось бы, чтобы читались не только наиболее рассудительные и спокойные из них, но и самые пылкие, ранние ее романы: «Лелия» и «Жак». Правда, вы найдете в них чересчур смелую защиту прав страсти на свободу. Это действительно, как писал Шатобриан в старости, «мешает размеренному течению жизни». Но разве не вырывались подчас пламенно-страстные речи и у самого автора «Ренэ»? Да и стоит ли оспаривать права страсти на свободу? Страсть не спрашивает у общества разрешения на свое существование, а похищает это право со всем неистовством желания и со спокойствием невинности. Ничто не может остановить ее: она знает, что неотвратима, как рок. Можно ли чем-нибудь запугать ее? Она находит наслаждение даже в порождаемой ею тоске и тревоге. Сами религии были не в силах бороться с ней; они лишь обогатили ее новым видом наслаждения — наслаждением от угрызений совести... Страсть сама в себе несет и торжество свое, и блаженство, и возмездие. Она смеется над книгами — и над теми, которые воспевают ее, и над теми, которые пытаются ее обуздать.

В воспевании страсти великие поэты намного опередили романистов: Федра, Дидона, Франческа да Римини, Джульетта, Эрифила, Велледа — появились на свет гораздо раньше, чем Лелия и Фернанда из романа «Жак». Может быть, не совсем безопасно раздувать это пламя? Но ведь опасность таится всюду, и кто к концу прожитого дня решится сказать: «Я никому не принес вреда»? Эти чувства относятся к благороднейшим проявлениям человеческой природы. Рисуя их, мы прославляем человека с его самыми мучительными и самыми трогательными радостями. Роман, описывающий пороки, гораздо вреднее романа, изображающего страсть. Почему? Потому что внушить порок легче, чем внушить страсть; потому что порок вползает в нас исподтишка и незаметно; потому, наконец, что он доступен и самым грубым душам. Г-жа Санд не написала ни одного романа, который изображал бы порок.

Всю жизнь она убежденно исповедовала, что у человека нет более высокого назначения, чем любовь. Она была права лишь наполовину. У мира — две оси: любовь и голод. Любовь и голод — основа всего человеческого бытия. Бальзак увидел в человеке прежде всего его голод, иначе говоря — его стремление сохранить себя и приумножить: он увидел стяжание, жадность, погоню за жизненными благами, лишения, недоедание, невоздержанность в пище, торжество плоти. С величайшей точностью изобразил он работу когтей, челюстей, желудка, жизнь человека-хищника. Жорж Санд не менее великий писатель, хотя она показала нам только влюбленных. У Карлейля есть несколько строк, которые цитирует Арвед Барин: \* «Все, что дает любовь, настолько жалко и ничтожно, что в героическую эпоху никому и в голову не придет думать о ней». Но старик Карлейль обретается в одиночестве. Природа, по видимому, только об одном и помышляет — бросить одни существа в объятия других, дабы они, находясь между двумя безднами, успели познать мимолетное упоение поцелуя.

ИЗ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ»  
(Серия вторая)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий том содержит мои статьи, опубликованные в «Тан» приблизительно за два года. Просвещенная публика приняла первую серию этих бесед с благосклонностью, которая делает мне честь и глубоко трогает. Я знаю, как мало заслужено мной такое отношение, — мне, должно быть, многое прощали во внимание к моей искренности. В арсенале людей даже самых скромных есть надежное орудие оболыщения — естественность. Когда ты абсолютно правдив, то кажешься почти приятным. Целиком раскрывая себя, я приобрел неведомых мне друзей. У меня есть одно лишь достоинство: я не пытаюсь скрывать свои слабости. И это пошло мне на пользу, как пошло бы на пользу всякому.

К примеру, было замечено, что мне порою случалось впадать в противоречия. Не так давно г-н Жорж Ренар, человек блестящего ума, указал на некоторые из них \* со снисходительностью тем более редкостной, что он пытался ее замаскировать. «Господин Леконт де Лиль, — сказал я однажды, — сомневается в существовании вселенной, но не сомневается в том, что такое хорошая рифма». И г-н Жорж Ренар без особого труда показал, что я и сам ежеминутно впадаю в такое же противоречие и что, провозгласив неизбежность

философского сомнения, я вынужден был спешно расстаться с возвышенным покоем мудреца, блаженной атараксией, и ринуться в области, где царят радость и горе, любовь и ненависть. В конце концов он простил мне это и, полагая, поступил правильно. Следует иногда разрешать несчастным смертным не согласовывать свои взгляды с чувствами. Следует даже допускать, чтобы каждый из нас придерживался одновременно двух или трех философских систем, ибо, если речь идет не о собственных наших доктринах, у нас нет никаких оснований полагать, что только одна из них хороша, подобное пристрастие извинительно разве лишь у того, кто создает доктрины. Подобно тому как в обширной стране можно наблюдать области с совершенно различным климатом, во взглядах каждого человека широкого ума можно встретить множество противоречий. По правде говоря, люди, которым чужда нелогичность, внушают мне страх: я не могу допустить, что они никогда не ошибаются, а поэтому начинаю бояться, что они ошибаются постоянно; между тем как человек, не кичащийся своей логичностью, может, утратив истину, затем вновь обрести ее. Мне, без сомнения, ответят доводом, говорящим в пользу людей логически мыслящих, — вот он: каждое рассуждение заканчивается истиной, подобно тому как хвост, который, по словам Фурье, появится у людей в день, когда они придут в состояние гармонии, будет заканчиваться глазом или когтем \*. Но за умами изошренными и легковесными остается то преимущество, что они могут забавлять других теми ошибками, которые забавляют их самих.

Блажен кто, как Улисс, прекрасный путь свершил! \*

Когда перед вами лежит цветущая дорога, не спрашивайте, куда она ведет. Я даю этот совет, пренебрегая ходячей мудростью и движимый мудростью высшей. Конец пути сокрыт от человека. Я спрашивал дорогу у всех, кто притязает на знание географии Неведомого: у священников, ученых, ведунов, философов. Никто из них не мог указать мне верную стезю. Вот почему я предпочитаю дорогу, окаймленную вязами,

вздыхающими свои густые вершины к сияющим небесам. Меня ведет чувство прекрасного. Кто решится утверждать, будто нашел себе лучшего проводника?

Мне простили не только противоречия, но и невинную причуду — по всякому поводу перемежать свои рассуждения собственными воспоминаниями и впечатлениями. Думаю, что такая снисходительность вполне уместна. Человеку незаурядному позволительно говорить о себе лишь в связи со всем тем возвышенным, к чему он был причастен. В противном случае он выглядит несоразмерным, а потому неприятным, если только не выказывает себя похожим на нас: это, по правде говоря, порою вполне возможно, ибо у великих людей много общего с прочими смертными. Но некоторым гениальным людям это нелегко дается. Насколько людям обыкновенным проще рассказывать о себе и рисовать себя! Их портрет похож на портрет любого из нас: каждый находит в перипетиях их духовной жизни историю становления собственной морали и философии. Отсюда рождается интерес к их признаниям. Ведь, говоря о себе, они как бы говорят обо всех. Средний человек обладает приятным преимуществом — вызывать к себе симпатию. Когда мы выслушиваем его откровения, нам кажется, будто они исходят из недр нашей собственной души. Его излияния полезны нам не меньше, чем ему самому. Исповедь его становится образцом для исповеди всех окружающих, своего рода учебным руководством. И такие руководства служат совершенствованию людей, особенно если грех в исповедях представлен без лицемерного смягчения и, главное, без отвратительных преувеличений, которые приводят в отчаяние. Эта мысль утешает меня, потому что в наших беседах я время от времени говорил и о себе.

В настоящем томе, как и в предыдущем, читатель не найдет углубленного исследования нашей молодой литературной школы. Тут, без сомнения, моя вина, ибо я так и не сумел понять ни символистской поэзии, ни декадентской прозы.

Быть может, со мной согласятся, что не так-то просто постичь сущность этой молодой школы. Ей свойственна мистичность, а роковая особенность всего мисти-



ческого — оставаться непонятым для тех, кто чужд жизни посвященных. Символисты творят, находясь в особом состоянии духа; для того, чтобы разделять их взгляды, надо находиться в подобном же настроении. Я это говорю без иронии: их книги, такие, как книги Сведенборга или Аллана Кардека \*, — плод экстатического состояния. Символисты видят то, чего не видим мы. Пытались прибегнуть к более простому объяснению: говорили, будто они мистификаторы. Но по зрелом размышлении понимаешь, что обман и надувательство не могут лежать в основе литературного или религиозного движения, как бы ни было это движение незначительно. Нет, они не мистификаторы. Они — одержимые. Двое или трое среди них стали жертвой припадка, и вся литературная группа пришла в неистовство, ибо нет ничего более заразительного, чем некоторые нервические состояния. Я весьма далек от того, чтобы подвергать сомнению чудодейственные эффекты нового искусства, но я полагаю их столь же надежными, как чудеса, которые были явлены на могиле диакона Париса. Я уверен, что юный автор «Трактата о слове» \* настроен абсолютно серьезно, когда, присваивая каждому гласному звуку соответствующий цвет, он заявляет: «А — черное, Э — белое, И — красное, У — зеленое, О — синее». Перед лицом такого утверждения было бы легкомысленно просто улыбнуться или посмеяться. Почему не допустить, что, если автор «Трактата о слове» говорит, будто А — черное, а О — синее, значит он так и чувствует, так и видит, в его глазах звуки, как и тела, действительно обладают цветом? В этом перестанут сомневаться, когда узнают, что такого рода случай не единственный и что физиологи обнаружили у довольно большого числа больных подобную же способность «видеть звуки». Этот род невроза именуется «цветным слухом». Я нахожу научное описание такого явления в выдержке из «Медицинского прогресса», приведенной г-ном Морисом Спронком на тридцать третьей странице его работы «Художники слова»: «Цветной слух — это явление, состоящее в том, что два различных анализатора одновременно приходят в действие под влиянием возбуждения, которое

обычно воздействует лишь на один из анализаторов: иначе говоря, это явление состоит в том, что звук голоса или какого-нибудь инструмента рождает в сознании субъекта, обладающего хроматической чувствительностью, постоянный отличительный цвет. Так, некоторые индивиды приписывают зеленый, красный, желтый или иные цвета всякому шуму, всякому звуку, который коснется их слуха» (Ж. Б а р а т у, Медицинский прогресс, 10 декабря 1887 года, и следующие номера). Цветной слух позволяет людям, одаренным способностью к искусству и поэзии, культивировать в себе новое эстетическое чувство, которому отвечает поэтика молодой школы.

Если невроз, породивший символизм, приобретет широкое распространение, то этому течению принадлежит будущее. По несчастью, г-н Гиль утверждает, будто О — синее, а г-н Рембо, будто О — красное. И эти изысканные невропаты спорят друг с другом, а г-н Стефан Малларме благосклонно взирает на них.

Я понимаю, что адепты нового искусства любят свою болезнь и даже гордятся ею: и я не стану жаловаться на то, что они немного презирают людей, чьи чувства не отличаются утонченностью, порождаемой столь редкостной формой невроза. Упрекать людей в том, что они больны, значило бы проявлять дурной тон. Я предпочитаю, воспарив в высшие сферы натурфилософии, повторять вслед за г-ном Жюлем Сури: \* «Здоровье и недуг — понятия весьма условные». Запомним же вместе с любезным Горацио, созданием поэта, что в природе есть множество вещей \*, которых нет в наших философских системах, как бы всеобъемлющи они ни были, и остережемся думать, будто презрение — венец мудрости.

В этом томе читатель не найдет общего обзора современной литературы нашей страны. Не так-то легко составить себе общее представление о явлениях, среди которых живешь. Для этого недостает, можно сказать, перспективы и расстояния, необходимых, чтобы лучше оценить видимое. Если еще удастся кое-как разобраться в том, что идет к концу, то уже вовсе трудно распознать то, что еще только зарождается. Должно быть, именно

по этой причине люди самые снисходительные обычно столь сурово судят о своем времени. Человек склонен думать, что вместе с ним кончится жизнь на земле, и мысль эта, которую он высказывает не без грусти, помогает ему внутренне примириться с тем, как быстро бегут его дни. В глубине души я радуюсь тому, что избавлен от столь жалкого и суетного заблуждения. Я не думаю, будто формы прекрасного исчерпаны до конца, и жду появления новых. Если я не пою каждый день гимны старца Симеона \*, то, вероятно, потому, что лишен пророческого дара.

Я всегда полагал, быть может ошибочно, что никто не создает шедевров, что это — задача, непосильная для индивида, будь он хоть семи пядей во лбу; но самые счастливые из смертных создают порою произведения, которые могут стать шедеврами по милости времени — этого обходительного человека, как говаривал Мазарини. Несмотря на Всемирную выставку и весь опасный вздор, который она посеяла в умах большинства моих соотечественников \*, я утешаю себя тем, что в нашей стране есть еще люди, которые могут считаться равными писателям прошлых веков и даже превзойти их своей способностью все уразуметь. Я не представляю себе, к примеру, что кто-либо в прежние времена был умнее г-на Поля Бурже и г-на Жюля Леметра. Я думаю, есть некоторая эlegantность в том, что я называю здесь имена лишь самых молодых.

Что касается характера моих бесед, то я сильно затрудняюсь определить его. Мне указывали на то, что они не выдержаны ни в критической, ни в эстетической манере. Я и сам это подозревал. По возможности ничего не следует делать против воли. Условия и обстоятельства, в которых создаются романы и поэмы, интересуют меня, признаться, в очень малой степени. В конечном счете они важны лишь для самолюбия авторов. Каждый из них полагает, будто он — один только он — обладает секретами ремесла. Но те, что, творя шедевры, не ведают, что творят, эти благодетели рода человеческого полны наивности. Напрасно станут мне говорить, будто критики не имеют права быть наивными. Я постараюсь сохранить, как небесный дар,

то ощущение сопричастия таинству, которое возникает во мне под влиянием возвышенных сторон поэзии и искусства. Порою лучшая роль — это роль человека, позволяющего себя обманывать. Жизнь учит, что можно быть счастливым лишь тогда, когда знаешь не все. Я хочу сделать признание, которое, пожалуй, покажется странным на первых страницах сборника бесед о литературе: мне представляется, что во всех книгах, не исключая и самых великолепных, наиболее ценно не то, что в них содержится, а то, что вкладывает в них каждый, кто их читает. С моей точки зрения, лучшие из книг — те, которые дают больше всего пищи для размышлений, и при этом на самые различные темы.

Великое достоинство творений больших мастеров состоит в том, что они вдохновляют на разумные беседы, на серьезные и душевные разговоры; они рожают в нашем воображении вереницы зыбких образов, подобные гирляндам, которые разъединяются и соединяются вновь, навевают медлительные грезы, будят смутное и легкое любопытство, побуждающее нас интересоваться всем, ничего не исчерпывая до конца; они воскрешают дорогие воспоминания, помогают забыть о низменных заботах и с волнением заглянуть в собственную душу. Читая эти великолепные книги, книги, в которых дышит сама жизнь, мы как бы впитываем их в себя. Надобно, чтобы критик хорошенько проникся мыслью о том, что всякая книга существует в стольких различных вариантах, сколько у нее читателей, и стихотворение, подобно пейзажу, преобразуется в глазах каждого, кто созерцает его, в душе каждого, кто пытается постичь его смысл. Несколько лет назад я проводил жаркие месяцы в еловых лесах Гохвальда; в часы долгих прогулок я с восхищением обнаруживал скамью в каждом уголке, где тень была нежнее, ширь — безграничнее, природа — обворожительнее. Эти простые скамьи были украшены надписями, говорившими о чувствах тех, кто установил их там. На одной из них было начертано: «Дружеская встреча», на другой — «Место отдохновения Софи», на третьей — «Мечты Шарлотты».

Славные эльзасцы, позаботившиеся таким способом об «отдохновении» и о «встречах» своих друзей и случайных прохожих, показали мне, какую пользу могут принести те, кто жил в царстве духа и совершал там долгие прогулки. Я, в свою очередь, тоже решил во время прогулок расставлять простые скамьи в священных рощах и возле источников муз. Это занятие скромного и благочестивого жителя лесов мне в высшей степени по душе. Оно не требует ни доктрин, ни систем, оно требует от человека лишь кроткого удивления перед красотой. Пусть ученый здешних мест — землемер — измеряет протяженность пути и устанавливает дорожные столбы! С меня достанет благодушных забот об уголках «отдохновения», «встреч» и «мечтаний». Мне по вкусу и по силам роль такого критика, который любовно расставляет скамьи в красивых уголках и говорит, по примеру Аниты из Тегеи: \*

— Кто бы ты ни был, приходи посидеть в тени этого великолепного лавра и прославь здесь бессмертных богов!

## ГЮСТАВ ФЛОБЕР<sup>1</sup>

Это было осенью 1873 года в воскресенье. Я шел к нему в сильном волнении. Я прижимал руку к сердцу — так билось оно, когда я звонил у двери небольшой квартиры на улице Мурильо, где он тогда жил. Дверь открыл он сам... За всю свою жизнь не видел я подобного человека. Высокий, широкоплечий, он был огромен, шумлив, громогласен. На нем был какой-то свободный коричневый плащ с капюшоном — настоящая одежда пирата. Широкие, как юбка, штанины спускались до самых пят. С косматыми прядями волос вокруг лысины, с покрытым морщинами лбом, с ясным взором, красными щеками и бесцветными свисавшими вниз усами, он казался живым воплощением всего, что мы читали про старинных скандинавских вождей, чья кровь действительно текла в его жилах, впрочем не без кое-какой примеси.

Происходя от уроженца Шампани и нормандки из старинного рода, Гюстав Флобер был подлинно отпрыском этой женщины, сыном своей матери. У него был

---

<sup>1</sup> По поводу его переписки (Correspondance. In-18, Charpentier, éditeur).

облик истинного нормандца, но не одного из тех привязанных к земле мирных вассалов французской короны, выродившихся потомков дружины Рольфа \*, не одного из тех горожан или крестьян, стряпчих или землепашцев, с жадной и лукавой душой, что никогда не скажут «да» ни по-французски, ни на нормандском наречье; а облик норманна — царя морских битв, древнего датчанина, пришедшего морским путем, которому ни разу не случилось ночевать под деревянной кровлей или опорожнить у соседского очага налитый пивом рог, облик воителя, падкого на кровь священников и на золото, награбленное в церквях, из тех, кто привязывал своего коня в часовне замка, — облик морехода и поэта, пьяного, бешеного, великодушного, носившего в душе всех мрачных богов родного Севера и сохранявшего, даже во время грабежа, прирожденное благородство.

Облик Флобера не был обманчив. Именно таким он и был в своем воображении.

Он подал мне красивую руку — руку вождя и художника, сказал несколько приветливых слов, и с этой минуты я узнал радость любви к человеку, внушавшему мне восхищение. Гюстав Флобер был очень добр. В нем был какой-то изумительный запас энтузиазма и благожелательности к людям. Вот почему он всегда неистовствовал. По любому поводу он готов был ринуться в бой, отомстить за какую-нибудь обиду. С ним происходило то же, что с Дон-Кихотом, которого он так почитал. Будь Дон-Кихот менее привержен справедливости, будь у него меньше любви к красоте и жалости к слабым, он не проломил бы черепа бискайцу — погонщику ослов, он не пронзил бы пикиой ни в чем не повинных овец. У них обоих были славные сердца. И оба жили гордой и героической мечтой, которую нетрудно высмеять, но до которой не так-то легко подняться. Я не пробыл у Флобера и пяти минут, как небольшая его гостиная, увешанная персидскими коврами, уже вся была залита кровью двадцати тысяч зарезанных буржуа. Шагая по ней взад и вперед, добродушный великан давил

каблуками мозги муниципальных чиновников города Руана \*.

Обеими руками он копался во внутренностях г-на Сен-Марка Жирардена \*. И к каждой из четырех стен приколачивал гвоздями еще трепещущие куски растерзанного тела г-на Тьера, повинного, если не ошибаюсь, в том, что он поверг во прах отряд гренадеров \* в какой-то залитой дождями местности. Гневные восклицания сменялись выражением восторга, и он принялся декламировать своим сильным, глухим, монотонным голосом начало «Эринний», драмы г-на Леконта де Лиля, только что поставленной на сцене Одеона и навеянной Эсхилом. Стихи были действительно очень хороши, и Флобер имел полное основание хвалить их. Но восторги его распространялись и на актеров. Со страшным, бурным увлечением стал он рассказывать

о г-же Мари Лоран, исполнявшей роль Клитемнестры. Говоря о ней, он словно гладил рукой некоего чудовищного зверя. Когда же он перешел к актеру, игравшему Агамемнона, то совсем разбушевался. Речь шла об актере, обычно игравшем в трагедиях роли наперсников и состарившемся в этом скромном амплуа — человеке усталом, во всем изверившемся, к тому же еще скрюченном ревматизмом. Духовные и физические недуги сильно сказывались на его игре. Бывали дни, когда бедняга еле двигался по сцене. Под старость он женился на капельдинерше театра и надеялся вскоре уехать с ней в деревню, подальше от подмостков и театральных скамеечек. Звали его, кажется, Лот, это было кротчайшее существо, мечтавшее о тихом существовании, которое доступно на этом свете лишь праведникам. Но милейший Флобер воспринимал все это иначе. Он настаивал на том, что беднягу Лота ждет

небывалая, великолепная карьера.

— Он велик! — восклицал он. — Это вождь варваров, аргивский царь, в нем есть что-то древнее, доисторическое, легендарное, что-то от Гомера, от рапсодов, от эпоса. Он полон священного спокойствия! Он не двигается... Это величественно! Это божественно! Он напоминает статую Дедала, облаченную руками девственницы. Видели вы в Лувре маленький барельеф



в древнегреческом стиле, несомненно восточного характера, который был найден на острове Самофракии? На нем изображены Агамемнон, Талфибий и Эпей и тут же начертаны их имена. Агамемнон восседает на троне, напоминающем букву Х. У него борода клином и завитые волосы, как принято было у ассирийцев. У Талфибия тоже. Оба страшные уроды. Они похожи на рыб и, по-видимому, очень древнего происхождения... Так вот, можно подумать, что Лот сошел с этого барельефа. Он великолепен, черт возьми!

Так Флобер изливал свои восторги. Он видел в бедняге Лоте воплощение поэзии Гомера и Эсхила, совершенно так же, как хитроумный идалго принимал простого барана за бесстрашного Брандабарбарана Болишского, властителя трех Аравий, которому служила доспехами змеиная кожа, а щитом — те самые ворота, что, по преданью, были вынесены Самсоном за пределы города Газы. Я понимаю, что оба они заблуждались. Но посредственностям не свойственны подобные заблуждения.

Никогда тупица не станет жертвой такой иллюзии. Флобер, казалось, искренне сожалел, что ему не довелось жить в век Агамемнона и Троянской войны. Наговорив много хорошего об этом героическом времени, как и вообще о временах варварства, он обрушил целый поток брани на современность. Он находил ее пошлой. В этом пункте его взгляд на мир казался мне ошибочным. В конце концов любая эпоха представляется пошлой тем, кто живет в ней; в какое бы время мы ни родились, мы не можем не замечать безвкусицы, которая начинает исходить из всего, что окружает нас слишком долго. Жизнь всегда отличалась однообразием, и во все времена люди надоедали друг другу. Варвары, чья жизнь была менее сложна, чем наша, скучали больше, чем мы. Чтобы развлечься, они пускались на убийства и грабежи. В наши дни существуют всякие общества и кружки, званые обеды, книги, газеты, театры; у нас более разнообразные развлечения, чем те, которыми располагали они. Флобер же, как видно, полагал, будто люди, жившие в древности, казались сами себе такими же необычными,

какими они кажутся нам, и наслаждались своей необычностью. Это несколько наивное, но весьма естественное заблуждение. Я думаю, что Флобер не был, в сущности, так уж несчастлив, как это казалось. Во всяком случае, его пессимизм был пессимизмом особого рода; это был пессимист преисполненный восхищения перед некоторыми сторонами человеческой жизни и природы. Шекспир и Восток приводили его в экстаз. Я не только не испытываю к нему жалости, я заявляю, что это был счастливый человек: ему выпало на долю лучшее, что есть на свете, — он знал чувство восторга.

Я говорю не о счастье, которое он испытывал, претворяя свои литературные идеалы в прекрасные книги, ибо не мне решать, может ли в данном случае радость достигнутого возместить труд и муки созидания. Еще большой вопрос, кто ощущал более полное счастье — Флобер, дописывая последние строки «Госпожи Бовари», или моряк из рассказа Мопассана, заканчивая оснастку шхуны, терпеливо сооружаемой в графине.

Мне довелось повстречать на этом свете только двух смертных, которые были счастливы тем, что они создали: старого полковника, составившего каталог медалей, да некоего канцелярского служителя, сделавшего из пробок маленькую модель церкви св. Магдалины. Шедевры создаются не ради собственного удовольствия, а по воле неумолимого рока. Проклятие, поразившее Еву, тяготеет и на Адаме: мужчина тоже рождает в муках. Но если дело созидания горестно, то сладостен восторг перед созданным. Флобер в полной мере наслаждался им; он восторгался бешено, восхищался кощунствуя, с рыданиями, воплями и зубным скрежетом.

Я узнаю этого хорошо знакомого Флобера, читая его «Переписку», первый том которой только что появился на свет; он все такой же, каким я видел его четырнадцать лет тому назад в маленькой турецкой гостиной на улице Мурильо: суровый и добрый, восторженный и трудолюбивый, не слишком сильный в

теории, великолепный труженик и человек величайшей честности.

Но всех этих превосходных качеств еще не достаточно, чтобы быть хорошим возлюбленным, и нет ничего удивительного, что в его переписке самые холодные письма — это письма любовные. Они обращены к поэтессе, которая, как говорят, перед тем внушила долгую и пылкую любовь одному красноречивому философу \*. Она была красива, белокура и мастерица поговорить. Когда Флобер стал избранником этой музы, ему, несмотря на его двадцать три года, были уже свойственны любовь к труду и страх перед всяким принуждением. Добавьте, что этот человек на протяжении всей своей жизни не был способен на малейшую ложь, и вы поймете, как нелегко было ему быть хорошим корреспондентом. Впрочем, вначале он сочинял ей прекрасные послания и так старался, что договаривался подчас до галиматьи. 26 августа он писал:

«Я четко делю теперь для себя весь мир и самого себя на две части: с одной стороны, все внешнее, то, что, на мой взгляд, должно быть разнообразным, многоцветным, гармоничным, безмерным, — здесь я приемлю лишь наслаждение, которое доставляет мне созерцание; с другой стороны — все внутреннее, — этот мир я концентрирую, дабы сделать его возможно более плотным, и пропускаю целые потоки чистых лучей разума сквозь открытое окно интеллекта...»

Однако подобная манера писать была чужда его натуре. Он скоро начал тяготиться этим стилем и стал писать более ясно, сурово, даже грубовато. В минуты нежности, а они выпадали не так уж часто, он говорит со своей возлюбленной, как с каким-нибудь добрым псом. Он пишет: «Твои славные глаза, твой славный нос...» Та, кто была его музой, наверно, думала внушить ему более нежные интонации.

В качестве яркого примера такого малоизящного стиля привожу послание от 14 декабря.

«Вчера, — пишет Флобер, — мне сделали небольшую операцию на щеке, из-за моего нарыва; лицо у меня все забинтовано и выглядит довольно потешно;

как будто недостаточно с нас всей той гнили и заразы, которые предшествуют нашему появлению на свет и вновь овладевают нами после смерти, — мы и в течение самой жизни представляем собой не что иное, как вместелище сменяющихся друг друга процессов гниения и разложения. Сегодня теряешь зуб, завтра волос; раскрывается рана, образуется нарыв, вам наклеивают пластыри, выпускают гной. Прибавьте к этому мозоли на ногах, естественные дурные запахи, разного рода выделения — все это, вместе взятое, создает не слишком привлекательный образ человеческой особи. И подумать, что все это способно вызвать любовь! И что любят даже самого себя, а я, например, дошел до такой степени самодовольства, что гляжу на себя в зеркало, не прыская со смеха. Разве один только вид изношенной пары сапог уже не заключает в себе что-то глубоко грустное и не вызывает горького раздумья? Стоит только подумать, как много ты прошагал в них, направляясь не вспомнишь уже и куда, — сколько помял трав, сколько набрал грязи, — и зияющая в их коже дыра словно говорит: «Что ж, глупец! Иди покупай новые, лакированные, блестящие, поскрипывающие, — и с ними будет то же, что с нами, что и с тобой в свое время, когда ты успеешь загрязнить и пропитать своим потом изрядное количество башмаков».

Во всяком случае, в пошлых любезностях его обвинить нельзя. В другом месте он признается, что сердце у него толстокожее; и в самом деле он плохо разобрался в некоторых тонкостях. Зато в нем проглядывает иной раз удивительная наивность. Так он уверяет г-жу Х\*\*\*, что душа у него чуть ли не девственная. Нечего сказать, подходящее признание, когда дело идет о том, чтобы растрогать сердце синего чулка! Впрочем, в нем нет ни малейшего самолюбия; и он откровенно признается, что в любви не умеет хитрить. Что в нем хорошо — это откровенность. От него требуют обещания вечной любви. А он ничего не обещает. В этом снова сказывается его глубочайшая честность.

Все дело в том, что он знал одну лишь страсть — к литературе. На его памятнике, если только удастся

воздвигнуть ему памятник, можно будет начертать стих Огюста Барбье, с которым он обращается к Микеланджело:

Ты в жизни знал одну лишь страсть — свое искусство.

Когда ему было девять лет, он писал (4 февраля 1831 г.) своему маленькому другу Эрнесту Шевалье:

«Я напишу следующие задуманные мной романы: «Прекрасная Андалузка», «Маскарад», «Карденио», «Доротей», «Мавританка», «Наглость любопытного», «Предусмотрительный супруг».

Еще тогда, ребенком, он открыл свое призвание. Всю жизнь он ни на час не сходил с пути, на который был призван. Он работал как вол. Флобер навсегда останется образцом терпения, мужества, строгости к самому себе и честности. Это добросовестнейший из писателей. Его переписка свидетельствует о том, как тщательно он работал, как непрерывно искал. В 1847 году он пишет:

«Чем дальше, тем больше я обнаруживаю, что мне трудно писать о самых простых вещах, и все яснее вижу, как ничтожно то, что я считал удавшимся. К счастью, в той же мере растет во мне и восхищение перед великими мастерами — сравнение себя с ними не только не повергает меня в отчаяние, а, напротив, усиливает во мне неукротимое стремление писать».

Преклонения и величайшего уважения достоин этот глубоко честный человек, который с помощью упорного труда и ревностного служения прекрасному сумел освободить свой ум от свойственных ему бессистемности и малоподвижности и медленно, в поте лица своего создавал свои великолепные творения, изо дня в день принося жизнь свою в жертву литературе.

## ГИ ДЕ МОПАССАН — КРИТИК И РОМАНИСТ<sup>1</sup>

Господин Ги де Мопассан только что выпустил под одной обложкой рассуждения об эстетике на тридцати страницах \* и новый роман. Никто не удивится, если я скажу, что роман обладает большими достоинствами. А эстетика его именно такова, какой и следовало ожидать от трезвого и решительного ума, по природе своей склонного смотреть на явления духовной жизни проще, чем следует. Мы находим там наряду с удачными мыслями и наилучшими побуждениями простодушную склонность принимать относительное за абсолютное. Г-н де Мопассан строит теорию романа, как львы строили бы теорию отваги, если бы умели говорить. Теория его, если я верно ее понял, сводится к следующему: существует немало способов писать хорошие романы и только один способ оценивать их. Тот, кто творит, — человек свободный, тот, кто судит, — раб. Г-н де Мопассан, по-видимому, одинаково убежден в правоте этих двух мыслей. По его мнению, нет никаких правил для создания оригинального произведения, но много правил для оценки такового, и правила эти постоянны и обязательны. «Критик, — говорит он, — может судить о результатах, лишь исходя из природы

---

<sup>1</sup> «Pierre et Jean», Ollendorff, éditeur.

замысла». Внимание критика «должно привлекать то, что не похоже на уже написанные романы». У него не должно быть никаких «предвзятых мнений»; он не должен заботиться «о направлениях», и вместе с тем он должен «понимать, различать, объяснять любые, самые разнородные направления, самые противоположные творческие темпераменты». Он должен... Чего только он не должен! Это самый настоящий раб. Это может быть раб терпеливый и стоический, как Эпиктет, но ему никогда не бывать свободным гражданином литературной республики. Впрочем, я покривил душой, сказав, что ему достаточно быть покорным и смиренным, чтобы достигнуть участи Эпиктета, «который жил в бедности и немощи и был любезен бессмертным богам». Ибо этот мудрец и в рабстве сохранял драгоценнейшее из сокровищ — внутреннюю свободу. А именно ее-то г-н де Мопассан отнимает у критиков. Он лишает их даже права «чувствовать». Они должны все понимать, но чувствовать им категорически воспрещается. Им не дано будет знать волнение крови и умиление сердца. Без желаний будут они влечить жизнь более мрачную, чем сама смерть. Идея долга порой очень страшна. Она непрерывно смущает нас трудностями, неясностями и противоречиями, которые влечет за собой. Я испытал это при самых разнообразных обстоятельствах. Но лишь выслушав заповеди г-на де Мопассана, уразумел я всю суровость нравственного закона.

Никогда еще долг не представлял мне таким трудным, туманным и противоречивым. В самом деле, легкое ли дело оценивать труды писателя, не вникая, на что направлены эти труды? Можно ли поощрять новые идеи, не давая перевеса поборнику новшеств над поборниками традиций? Можно ли в одно и то же время распознать и игнорировать направление художника? Мыслимая ли задача, с помощью чистого разума судить произведения, порожденные исключительно чувством? Однако именно этого требует от меня мастер, которого я почитаю и люблю. Поистине такие требования не под силу человеку и критику. Я подавлен, и в то же время — признаться ли? — я воодушевлен. Да, подобно христианину, которому его бог заповедует труды мило-

сердия и покаяния и полное самоуничужение, я готов воскликнуть: если с меня столько спрашивается, значит я чего-нибудь стою? Рука, унижавшая меня, в то же время меня и поднимает. Великий мастер и учитель полагает, что семена истины пустили ростки в моей душе. Когда сердце мое преисполнится усердия и смирения, мне будет дано различать литературное добро и зло, и я стану примерным критиком. Но гордость моя, не успев расцвести, тотчас увядает. Г-н Мопассан льстит мне... Я осознаю неизлечимую немощь свою и своих собратьев. Изучать творения искусства и им и мне суждено лишь с помощью чувств и разума — самых неточных приборов в мире. Потому мы никогда и не добьемся верных результатов и наша критика никогда не поднимется до незыблемых высот науки. Она всегда будет страдать недостоверностью. Законы ее не будут точны, а суждения неопровержимы. В отличие от правосудия она сделает мало зла и мало добра, если не считать добрым делом мимолетное увеселение восприимчивых и утонченных умов.

Предоставьте же ей свободу, раз она пребывает в невинности. Пожалуй, она имеет некоторое право на те вольности, в которых вы столь высокомерно отказываете ей, со справедливым великодушием признавая их за так называемыми оригинальными произведениями. Но ведь и она, как они, дитя воображения. Ведь и она, по-своему, создание искусства. Я говорю все это с полным беспристрастием, будучи от природы отрешен от мирских дел и склонен вместе с Екклезиастом вопрошать ежевечерне: «Какие плоды приносят человеку все труды его?» К тому же я не занимаюсь критикой, как таковой. А это достаточное основание быть справедливым. Возможно, у меня найдутся и более веские основания.

Так вот, ни в малейшей степени не обольщаясь насчет беспорности тех истин, которые провозглашает критика, я все же считаю ее самым верным признаком по-настоящему просвещенных эпох; я считаю ее достойным выражением образованного, терпимого и благовоспитанного общества. Я считаю ее одним из



благороднейших отпрысков, какие дает напоследок мастиное дерево словесности.

А теперь, быть может, г-н Ги де Мопассан позволит мне уклониться от правил, предписанных им, и сказать, что новый роман его «Пьер и Жан» — произведение замечательное, обнаруживающее могучий талант. Это отнюдь не чисто натуралистический роман. И автор это знает. Он отдает себе отчет в том, что сделал. На сей раз — и не впервые — он отталкивается от гипотезы. Он задает себе вопрос: если бы такой-то факт имел место при таких-то обстоятельствах — что бы произошло? Но факт, служащий отправной точкой роману «Пьер и Жан», настолько странен или во всяком случае необычен, что наблюдать его последствия почти невозможно. Чтобы увидеть их, надо прибегнуть к рассуждению и идти путем дедукции. Так и поступил г-н де Мопассан, ибо он, подобно дьяволу, великий мастер логики. Вот что он вообразил: жена пошлого торговца, владельца ювелирной лавки с улицы Монмартр, от которого у нее был ребенок, чувствительная и прелестная мадам Ролан, тяготилась пустотой своего существования. Незнакомый покупатель, случайно зашедший в лавку, влюбился в нее и почтительно признался ей в любви. Это был некий г-н Марешаль, государственный чиновник. Угадав в нем нежную и застенчивую душу, родственную своей, мадам Ролан полюбила его и отдалась ему. Вскоре у нее родился второй ребенок, тоже мальчик, и ювелир считал себя его отцом; но она-то знала, что он — дитя более счастливого союза. Между ней и ее любовником оказалось глубокое духовное сродство. Связь их была долгой, блаженной и никому неведомой. Порвалась она, только когда торговец удалился от дел и увез в Гавр стареющую жену и подростков сыновей. Там мадам Ролан, смирившись и успокоившись, жила своими тайными воспоминаниями, в которых не было ни капли горечи, ибо, как говорят, горечь примешивается лишь к прегрешениям против любви. В сорок восемь лет мадам Ролан могла благодарить судьбу за связь, украсившую ее жизнь, оставив незапятнанной ее честь, как буржуазной матери семейства. Но вот внезапно приходит известие, что

Маршалль умер, завещав все состояние младшему сыну Роланов.

Такова ситуация, я чуть было не сказал гипотеза, от которой отталкивался писатель. Разве не был я прав, называя ее странной. При жизни Маршалль одинаково нежно относился к обоим мальчикам Ролан. Конечно, в глубине души он не мог питать к ним равную любовь. Вполне естественно, что он больше любил собственного сына. Но он понимал, что такое предпочтение покажется подозрительным. Как же он не почувствовал, что оно будет еще подозрительнее, если обнаружится вдруг в торжественном изъятии посмертной воли? Как не осознал, что, благодетельствуя младшему из сыновей, он неизбежно набросит тень на доброе имя матери? И, наконец, самая элементарная деликатность предписывала ему не делать различия между братьями, хотя бы по той причине, что оба они родились от женщины, любившей его.

Так или иначе, завещание г-на Маршалля — свершившийся факт. И в нем нет ничего неправдоподобного, его можно и нужно допустить. Каковы же должны быть последствия этого факта? Ведь роман от первой строки до последней имеет целью ответить на этот вопрос. Недвусмысленное завещание любовника отнюдь не наводит на размышления простодушного старика мужа. Ролан никогда ни в чем не смыслил и ни о чем не думал, кроме ювелирного дела и рыбной ловли. Он без труда достиг высшей мудрости. В самый разгар любовной интриги мадам Ролан, не умевшая лукавить, смело могла обходиться без лжи, обманывая его. С его стороны ей нечего опасаться. Младший сын Жан принимает как должное завещание в свою пользу. Это тихий и недалекий юноша. Да и вообще кто станет допытываться, за что ему оказали предпочтение? Но старший брат, Пьер, не согласен мириться с завещанием, в котором его обошли. Оно кажется ему по меньшей мере странным. Послушав разговоры посторонних, он понимает, насколько оно двусмысленно. В романе Пьер изображен человеком порядочным, но черствым, угрюмым, завистливым. А главное, у него несчастливый склад ума. Стоит подозрениям закрасться в него,

как Пьер уже не знает покоя. Пытаясь избавиться от них, он только их накапливает: он производит настоящее дознание, собирает улики, группирует доказательства, смущает, пугает, изобличает свою бедную, горячо любимую мать. Доведенный до отчаяния тем, что любовь его обманута и вера утрачена, он терзает мать презрением и выдает незаконнорожденному брату тайну, которую он случайно открыл и обязан был хранить. Поведение его чудовищно по своей жестокости, но оно вытекает из его натуры. Я слышал такое мнение: «Раз уж он осмелился судить свою мать — он обязан был хотя бы оправдать ее. Он ведь знал цену старику Ролану, видел всю его глупость». Да, но если бы он не привык презирать отца, у него не хватило бы духа стать судьей матери. А кроме того, он молод и ему больно — две причины быть безжалостным. Какова же развязка? — спросите вы. — Развязки нет. При такой ситуации ее и не может быть.

Надо сказать правду, г-н де Мопассан разработал эту неблагодарную тему со всей уверенностью вошедшего в полную силу таланта. Искуснейший мастер рассказа, он в полной мере обладает теперь мощью, виртуозностью и тактом. Он могуч без усилия. В своем искусстве он достиг совершенства. Не хочу продолжать. Разбор книг — не мое дело. Довольно того, что я пробудил чистый интерес у благосклонного читателя; должен только добавить, что г-н де Мопассан с присущим ему мастерством изобразил несчастную женщину, так жестоко искупающую свое счастье, которое долгое время было безнаказанным. Скупыми и точными штрихами рисует он чуть грубоватую, но не лишённую обаяния красоту этой «чувствительной лавочницы». Тонко и без иронии показывает он контраст большого чувства и мелкого существования. Что касается языка г-на де Мопассана, скажу просто, что это подлинно французский язык, — лучшей похвалы я не знаю.

## МЕРИМЕ <sup>1</sup>

Выпуская в свет биографический очерк об авторе «Коломбы», г-н д'Оссонвиль лишний раз доказал, что он способен судить беспристрастно даже тех, чьи идеи и мнения ему совершенно чужды. Известно, что г-н д'Оссонвиль считает первейшей задачей быть справедливым. Религиозные взгляды, политические убеждения, литературные вкусы — все отдаляло его от Мериме. И все же он не мог отказать в своей симпатии человеку, который хотя и смущал его внешней холодностью, зато пленял скрытым под ней своеобразным душевным благородством.

Господин д'Оссонвиль, не без некоторого чувства уважения к Мериме, видит в нем «одну из тех натур, оскорбленных соприкосновением с жизнью, что облачают свой печальный опыт в форму исполненного горечи цинизма и прячут глубоко в себе и свои страсти, и порой убеждения, и особенно нежность чувств, о которой даже не подозревают те, чью добропорядочность они так возмущают».

Надо сказать, что приводимые г-ном д'Оссонвилем в этом очерке неизвестные доселе письма открывают

---

<sup>1</sup> Prosper Mérimée, étude biographique et littéraire, par le comte d'Haussonville, de l'Académie française. Calmann Lévy, éditeur.

нам такого Мериме, о существовании которого трудно было догадаться, читая его переписку с Паницци и обеими Незнакомками: \* Мериме нежного, сердечного, преданного, доброго. Одна часть этих писем — всего их около двух десятков — адресованы умной и очаровательной англичанке, миссис Сениор, — снохе г-на Вильяма Сениора, известного оставленным им сборником воспоминаний, другая — дочери одного достопочтенного воина \*, известного как своим именем, так и высоким положением в нашей армии. Как с той, так и с другой Мериме ведет себя очень естественно, откровенно и сердечно. Ни для кого не секрет, что он охотно дарил свое доверие женщинам. Считая, что дружба между мужчинами — вещь невозможная, он вполне допускал дружбу между мужчиной и женщиной. Он только полагал, что это «дело дьявольски трудное», ибо «без дьявола тут дело не обходится». Как бы то ни было, он очень гордился тем, что среди его друзей были две женщины.

С годами он начинает испытывать к женщинам род очаровательной духовной дружбы. Подобные отношения — последнее прибежище сластолюбцев. Что бы ни говорили об этом теологи, пол в той же мере свойствен душе, что и телу. Мериме это хорошо знал. Он всегда любил и понимал женщин. Напрасно только, подражая своему учителю Стендалю, он прикидывался иногда убежденно безнравственным. Стендаль и Мериме считали, что порядочный человек во что бы то ни стало должен обладать известной дерзостью и грубостью. Я предпочел бы, чтобы нам в этом отношении предоставили свободу и разрешали иной раз быть почтительными. Обязанности — вещь всегда неприятная; а обязанности навыворот, пожалуй, труднее, чем всякие другие. Но грубость Мериме была лишь притворством. Он прикрывал ею свою рану. Он был ранен в сердце и выдавал свои страдания, лишь когда ему случалось заговаривать о чужой страсти. Так он писал однажды в письме к миссис Сениор:

«Я полагаю, что в Испании не бывает людей с большими легкими, но зато много людей с большим сердцем, органом неизвестным к северу от Пиренеев или

же совершенно зачерствевшим в этих местах. Я записал несколько печальнейших случаев болезни этого рода, и в их числе историю о мужчине и женщине, любивших друг друга, из которых один пережил другую лишь на неделю. И что покажется вам удивительным, они не были мужем и женой, вернее — он был муж другой женщины, а она — жена другого мужчины. Оба оказались столь недостойными людьми, что полюбили друг друга, несмотря на это, за что и были наказаны. Будем надеяться, что их теперь поджаривают в некоем месте, предназначенном для столь великих грешников, — называть его я здесь не буду».

Не чувствуете ли вы, какое горячее сочувствие скрывается под этой иронией? Мериме был всегда глубоко убежден, что всякая страсть законна. Он требовал лишь, чтобы она была искренней и сильной. Это убеждение и внушало ему встречающиеся в его письмах мысли о браке и целомудрии, которые, вероятно, возмутили бы миссис Сениор, будь она менее порядочна, ибо порядочные женщины не так легко приходят в возмущение, как иные. Мериме писал ей:

«Люди вздумали превратить в таинство то, чему следовало быть только договором о совместной жизни».

Весьма непочтительно, не правда ли? Но все может быть подвержено философскому сомнению. Как говорил г-н Бертело, ныне уже нет области, о которой нельзя было бы спорить. Разве не привелось мне самому слышать на днях, как один из выдающихся мыслителей нашего времени совершенно так же утверждал, что брак — это временное установление, которое, наверное, будет заменено каким-либо иным, самое позднее — через пять или шесть тысяч лет? Мериме говорил еще и так:

«Я не вижу в целомудрии важнейшей добродетели. Это не такая уж великая ценность, чтобы ставить его превыше всего!»

Тут он, как видно, поддался соблазну немного смутить свою достойную приятельницу. Не следовало бы всерьез отвечать на подобные выходки. Заметим только, что столь высокое значение женскому целомудрию придали мужчины. Правда, каждый европеец дорожит,

собственно говоря, целомудрием только одной или двух, самое большое трех женщин, причем ему совсем не понравилось бы, если бы они сохраняли целомудрие по отношению к нему. Для создания общественного мнения ничего большего, однако, не требуется.

В то самое время, когда он говорил в таком грубоватом и развязном тоне, Мериме жестоко страдал. «Я совершенно не способен работать, — писал он, — после того как со мною случилось несчастье» \*.

А в другом месте:

«Бывало, когда я писал, я видел перед собой цель; теперь ее у меня нет. Если бы я стал писать, я делал бы это лишь для самого себя и мне было бы еще тоскливее, чем сейчас. Был однажды некий безумец, который вообразил, что у него в бутылке сидит китайская императрица (вам известно, конечно, что это прекраснейшая из всех принцесс мира). Он был страшно счастлив этим обстоятельством и изо всех сил старался, чтобы ни бутылка, ни ее содержимое не испытывали никаких неудобств. И вот однажды он разбил эту бутылку, а так как вторую китайскую принцессу найти мудрено, безумец этот стал просто дураком».

Этот тихий безумец — сам Мериме. О том, как лишился он волшебной бутылки, он рассказал как-то г-же Сениор, в намеренно сухом тоне и приписывая все происшедшее «одному из своих друзей». Г-н д'Осонвиль в примечании подтверждает, что это замаскированное признание вполне соответствовало действительности.

«Представьте себе, что двое любят друг друга, любят по-настоящему и давно, так давно, что свет этого уже не замечает. В одно прекрасное утро женщине приходит вдруг в голову, что все, что на протяжении десяти лет составляло их счастье, — дурно. «Нам надо расстаться; я вас люблю по-прежнему, но не хочу больше видеться с вами». Не знаю, представляете ли вы себе, сударыня, страдания человека, вложившего все счастье своей жизни в нечто такое, что у него внезапно отнимают».

Вот вам и сильный человек! Вот вам и презрение ко всякой нежности и верности! Десять лет длится его

любовь, и в этой тихой, долгой, серьезной связи — счастье всей его жизни. Итак, под маской холодного цинизма скрываются черты нежные и строгие, которых, однако, никто не видел. Застенчивый и гордый по природе, Мериме рано замкнулся в самом себе и еще в юности приобрел тот сухой и иронический облик, который сохранил на всю жизнь.

Сен-Клер из «Этрусской вазы» — это он сам.

«Сен-Клер был рожден с нежным и любящим сердцем; но в возрасте, когда мы так легко воспринимаем впечатления, остающиеся у нас на всю жизнь, слишком непосредственно изливавшаяся чувствительность его стала вызывать насмешки товарищей. Он был горд и самолюбив; как все дети, он дорожил мнением окружающих и стал с той поры усилием воли подавлять всякое проявление того, что ему казалось постыдной слабостью. Он достиг своей цели, но победа обошлась ему не дешево».

Таков был Мериме в двадцать лет, таким остался он и в сорок, когда писал г-же дю Парке:

«Мои друзья не раз говорили мне, что я недостаточно забочусь о том, чтобы показать хорошие свойства своей натуры; но я всегда интересовался мнением лишь очень немногих людей».

Эта поза не смогла ввести в заблуждение г-жу Сениор, и в письме к своему другу она писала, что считает его добрым от природы. Он соглашается с ней:

«Очень рад, что вы считаете меня a good natured man \*. Думаю, что это верно. Я никогда не был злым; однако под старость я начал стараться не делать зла, а это не так легко, как кажется». Затем, тут же пожалев, по свойственной людям непоследовательности, что его принимают за того, за кого он себя выдает, и что ему удастся скрыть добрые свои стороны, он жалуется на неверные суждения о себе, на несправедливость вынесенного ему обществом приговора. Он приписывал своей излишней откровенности то нравственное одиночество, в котором оказывался благодаря своему высокомерию, застенчивости и превосходству над другими.

---

<sup>1</sup> Добрым от природы человеком (англ.).



«Если бы я мог начать свою жизнь сначала, обладая при этом теперешним моим опытом, я постарался бы быть лицемером и всем льстить. Теперь игра уже не стоит свеч, но, с другой стороны, как-то грустно при мысли, что нравишься людям только под маской и что, сняв ее, окажешься для них ненавистным».

Он постоянно и страстно сожалел о том, что у него нет ребенка; он мечтал о том, чтобы воспитать девочку. В 1855 году он пишет г-же Сениор:

«Жениться мне уже поздно, но мне хотелось бы найти какую-нибудь маленькую девочку и воспитывать ее. Мне не раз приходила мысль купить такого ребенка у цыганки, ибо, даже если мое воспитание и не принесло бы хороших плодов, я все же не сделал бы маленькое существо еще несчастнее. Что вы на это скажете? И как бы раздобыть такую девочку? Беда в том, что цыганки очень уж черны и что волосы у них как конская грива. И почему только нет у вас какой-нибудь золотоволосой девчурки, которую вы могли бы мне уступить?»

Несколько времени спустя он высказывает те же сожаления:

«Жизнь мне надоела, не знаю, что с собою и делать. Мне кажется, у меня на всем белом свете не осталось уже ни единого друга. Я потерял всех, кого любил: одни умерли, другие изменились. Если бы можно было, я удочерил бы девочку; но все в мире так непрочное, а особенно в нашей стране, что я не решаюсь позволить себе такую роскошь».

Проходят годы, а он все еще жалеет об этом. Он жалуется на одиночество. С горечью говорит он о том, что невозможно сохранить ни единого друга, и снова выражает желание «иметь маленькую девочку».

«Впрочем, — прибавляет он, — вполне возможно, что это маленькое чудовище через несколько лет увлеклось бы каким-нибудь первым встречным. И тогда — поминай ее как звали!»

Однако мечта эта преследует его до самой старости, даже одолеваемого недугами. В 1867 году, в Каннах, где его удерживала болезнь легких, которая вскоре свела его в могилу, он видит трех детей г-жи Прево-

Порадоль и среди них — прелестную тринадцатилетнюю девочку. И вот его полуокоченевшее сердце опять переполняется сожалением, что у него нет ребенка. Он пишет одной даме, с которой переписывался эти последние годы:

«Как хорошо было бы иметь девочку и заниматься ее воспитанием. У меня много мыслей по поводу воспитания, и особенно девушек; мне кажется, что в этом отношении у меня есть способности, которые, к сожалению, так и не найдут себе применения».

Он издавна страдал сплином и видел blue devils <sup>1</sup>, которых г-же Сениор так и не удалось отогнать. Г-н д'Оссонвиль пытается найти причину этой тоски. Ему кажется, что ее следует видеть в «смутном ощущении неправильно прожитой жизни, полной увлечений, оставивших по себе больше горьких, чем сладостных воспоминаний». Со своей стороны, я сомневаюсь, чтобы Мериме когда-либо испытывал чувства подобного рода. В чем мог он раскаиваться? Всю жизнь он считал, что добродетель только в силе; а долг — в следовании своим страстям. Не была ли его грусть скорей грустью скептика, для которого мир — лишь вереница каких-то непонятных картин и которому одинаково страшны и жизнь и смерть, ибо и та и другая не имеют в его глазах смысла? И, наконец, не ощущал ли он в своем уме и сердце ту горечь, которая является неизбежным возмездием за смелость мысли, и не испытал ли он в полной мере того, что Маргарита Ангулемская так хорошо назвала «грузом тоски, ложащимся на каждую благородную душу»?

---

<sup>1</sup> Тоску (англ.). Буквально — синих дьяволов.

## ЛЮБОВЬ К КНИГАМ<sup>1</sup>

Немало библиофилов знавал я на своем веку и убежден, что некоторым порядочным людям любовь к книгам крашивает жизнь. Нет любви, к которой не пришивалась бы известная доля чувственности. Настоящее счастье книги дают только тому, кто испытывает удовольствие, лаская их. Истинного любителя я узнаю с первого же взгляда, уже по одному тому, как он касается книги; тот, кто, возложив руку на какой-нибудь старый томик — будь он очень ценным и редким, просто приятным или хотя бы достойным внимания, — не сожмет его при этом нежно и крепко пальцами и не примется со сладострастием и умилением поглаживать ласковой ладонью его корешок, бока и обрез, — тот никогда не ведал той врожденной страсти, которая отличает людей, подобных Гролье или Дублю. Сколько бы он ни уверял нас в своей любви к книгам, мы ему не поверим. Мы скажем: вы любите их за то, что они полезны. Разве это значит любить? Разве может быть любовь не бескорыстной? Нет! В вас нет истинного огня, нет восторга, и вы никогда не узнаете, какое наслаждение проводить трепетными пальцами по восхитительно шероховатому сафьяну переплета.

---

<sup>1</sup> Bibliographie des principales éditions originales d'écrivains français du XV-e au XVIII-e siècle, par Jules Le Petit. In-8. Quantin, éditeur.

Мне вспоминаются два стареньких священника — два любителя книг \*, которые ничего иного в этом мире не любили. Один был каноником и жил неподалеку от Собора Парижской богородицы; нежнейшая душа обитала в небольшом теле этого человека. Тело это было кругленьким и словно нарочно созданным для того, чтобы в нем, словно в мягком гнездышке, пряталась душа каноника. Он мечтал написать «Жития бретонских святых» и был счастлив. Другой, викарий одного бедного прихода, был повыше его ростом, по красивее и более грустный на вид. Окна его комнаты выходили в Ботанический сад, и он засыпал под рыкание пленных львов. Каждый божий день встречались они на набережной, у ларей букинистов. Их единственным земным назначением было ежедневно засовывать в карманы своих сутан старые книги в кожаных переплетах с красными обрезами. Это вполне невинное и скромное занятие, несомненно приличествующее служителям церкви. Я сказал бы даже, что священнику менее опасно копаться в разложенных на парашете книгах, нежели созерцать природу в полях и лесах. Вопреки утверждению Фенелона, в природе мало назидательного. Ей недостает целомудрия, — она наводит на мысль о борьбе и любви. В ней есть затаенное сладострастие: она волнует чувства тысячами тончайших ароматов — вы словно ощущаете поцелуи со всех сторон и чье-то горячее дыхание. Есть что-то сладострастное даже в ее тишине. Справедливо сказал один поэт, склонный к чувственным впечатлениям:

Беги тиши лесов и их глубокой тени \*.

Гуляя по набережной, переходя от одного букиниста к другому, нечего бояться чего-либо подобного: старые книги не волнуют сердце. Если в некоторых и говорится о любви, то всегда старинным языком, с помощью старинных шрифтов, и одновременно с мыслью о любви у вас появляются мысли о смерти. И викарий и каноник хорошо поступали, проводя добрую половину столь быстротечной жизни между Королевским мостом и мостом Сен-Мишель. Глаза их чаще всего видели здесь те тисненные золотом цветочки, ко-

торые переплетчики XVIII века помещали между поперечными ребрышками на кожаных корешках. И конечно, такое зрелище куда более невинно, чем вид полевых лилий, которые не прядут и не ткут, но знают любовь, и чьи очаровательные чашечки томно трепещут, когда бабочки проникают в их таинственную глубину. О, это были поистине люди святой жизни — каноник и викарий! Мне кажется, что оба они никогда не знали ни одной дурной мысли.

За каноника я готов поручиться головой: он был жизнерадостен. В семьдесят лет у него была детская душа и детские щеки. Ни одни золотые очки в мире не сидели на более невинном носу и не пропускали сквозь себя более чистого взгляда. Викарий, с длинным своим носом и ввалившимися щеками, возможно, был святым; каноник же, несомненно, — праведником. И, однако, оба они — и святой и праведник — были, по-своему, чувственны. Они с вожделием смотрели на свиную кожу, сладострастно касались желтой телячьей кожи на переплетах. Это отнюдь не означает, что они находили суетную радость в том, чтобы оспаривать у князей библиофилии первые издания французских поэтов, переплеты, выполненные для Мазарини или Каневариуса, сочинения с картинками в двух, а то и в трех частях. Нет, они были довольны своей бедностью, счастливы в своем смирении. Суровая простота их жизни отражалась даже в том, какие книги они любили. Они покупали только скромные издания, в скромных переплетах. Охотно собирали они сочинения старинных богословов, которыми в наши дни уже никто не интересуется, и с наивной радостью рылись в тех обычно оставленных без внимания редкостях, которые заполняют ларьки опытных букинистов и идут по десяти су за штуку. Они радовались, когда им удавалось извлечь оттуда «Историю париков» Тьера или «Шедевр неизвестного человека» — сочинение г-на доктора наук Хризостома Матаназиуса. Предоставляя сафьяновые переплеты великим мира сего, они утоляли свои желания переплетами зернистой или желтой телячьей кожи, кожи бараньей, а не то пергаментными, но желания их были пылки. В них были и пламень и жало: это были

желания того рода, которые в средние века христианская символика изображала в церквах в виде чертенят с птичьими головами, с козлиными ногами и крыльями летучей мыши. Я видел, видел собственными глазами, как господин каноник ласкал влюбленной рукой прекрасный экземпляр «Житий отцов пустынников», в зернистой телячьей коже. Это, конечно, грех, и грех тем более тяжкий, что книга — янсенистская \*. Что касается викария, то он получил однажды от одной старой девы экземпляр «Подражания Христу» \*, в издании Эльзевира, переплетенный в темно-красное сукно, на котором благочестивая дарительница вышила собственной рукой золотую чашу. Покраснев от радости и гордости, он воскликнул: «Вот подарок, достойный самого господина Боссюэ!» Мне хочется думать, что оба они — и викарий и каноник — обрели спасение и ныне находятся одесную бога-отца. Но за все приходится расплачиваться, и в Книге Ангела \*,

In quo totum continetur  
Unde mundus judicetur <sup>1</sup>,

записаны прегрешения как викария, так и каноника. И, мнится мне, я читаю в этой книге книг:

«Господин каноник в такой-то день на набережной Вольтера услаждал себя сладострастными прикосновениями. В такой-то день вдыхал ароматы в помещении некоего букиниста на набережной Великих Августинцев... Господин викарий, «Подражание», Эльзевир, мал. изд. in 8°: гордыня и вожделение».

Вот что, безусловно, написано в Книге Ангела, которая будет оглашена в день Страшного суда.

О милый викарий! О чудесный каноник! Сколько раз приходилось мне наблюдать, как они засовывали свои носы в книжные ящики на которой-нибудь из набережных. Если я встречал одного, я мог быть уверенным, что вскоре увижу и другого. А между тем они вовсе не искали встреч, скорее старались избежать их. Приходится признаться, что они относились друг к другу несколько ревниво.

<sup>1</sup> Где начертан всемогущим  
Грозный приговор живущим (*лат.*).

Да и могло ли быть иначе, раз они охотились на одних и тех же угодах? При встрече они всякий раз — а это значит ежедневно — обменивались умильными поклонами, в то же время зорко следя друг за другом; каждый шарил взглядом по набитым карманам другого. К тому же и характеры их не были схожи. У каноника было такое блаженное и простодушное представление о мире, каким не мог удовлетвориться викарий, душу которого обременяли противоречия и ученые, разногласия. Каноник уже здесь, на земле, вкушал мир, уготованный миротворцам. Викарий же, подобно блаженному Августину или великому Арно \*, подставлял свое чело бурям. Он так свободно высказывался о его высокопреосвященстве, что доброго каноника, несмотря на душегрейку, кидало в озноб от его речей.

Каноник не был создан для житейских затруднений. Однажды мне довелось увидеть его страшно огорченным. Было это перед зданием Института в ненастный мартовский день. В мгновение ока налетел шквал и унес в Сену все разложенные на парاپете брошюры и карты, а вместе с ними и красный дождевой зонт каноника; на наших глазах зонт взлетел к небу и упал затем в реку. Каноник был в отчаянии. Он взывал ко всем бретонским святым, он обещал десять су тому, кто достанет ему его зонтик. А тот между тем плыл себе в сторону Сен-Клу. Спустя четверть часа погода прояснилась, показалось солнышко, и милейший священнослужитель с еще не просохшими глазами и уже с улыбкой на устах покупал у дядюшки Малере старинное издание Лактанция и радовался, читая слова, набранные красивым альдинским курсивом: *Pulcher hymnus Dei homo immortalis* <sup>1</sup>. Альдинский шрифт заставил его забыть об утрате зонта.

В ту же пору я встречал на набережной одного еще более странного книголюба. Он усвоил привычку вырывать из книг те страницы, которые ему не нравились, а так как вкус у него был весьма разборчивый, то в библиотеке его не уцелело ни единой целой книги.

---

<sup>1</sup> Прекрасный гимн богу — бессмертный человек (лат.).

Собрание его книг состояло из клочков и обрывков, которые он переплетал в роскошные переплеты. По некоторым причинам я не могу назвать его имени, хотя он умер уже очень давно. Те, кто знал его при жизни, поймут, о ком идет речь, если я сообщу, что он был автором роскошно изданных, но престранных сочинений по нумизматике, выходивших отдельными выпусками. Подписчиков на них было немного, и в их числе один ревностный собиратель книг, полковник Морэн, имя которого хорошо памятно всем любителям старины. Он подписался первым и стал весьма аккуратно являться за получением каждого выпуска, по мере того как они выходили в свет. Но однажды ему пришлось отправиться в довольно долгое путешествие. Узнав об этом, издатель тотчас же напечатал новый выпуск и разослал подписчикам следующее извещение: «Все экземпляры последнего выпуска, не затребованные в течение двух недель, будут подвергнуты уничтожению». Он рассчитывал, что полковнику Морэну никак не вернуться к этому сроку и, стало быть, не получить своего экземпляра. Это в самом деле было невозможно. Но полковник совершил невозможное: на шестнадцатый день он явился к автору-издателю — в ту самую минуту, когда тот уже бросал выпуск в огонь. Оба коллекционера вступили в единоборство. Победителем оказался полковник: вытащив листки из пламени, он торжествующе понес их к себе домой на улицу Буланже, где у него хранились всевозможные осколки прежних веков. Были тут и ящики от мумий, и лестница Латюда \*, и камни Бастилии. Он был одним из тех, кто рад был бы запихнуть в свой шкаф вселенную. Такова мечта каждого коллекционера. А так как мечта эта неосуществима, все истинные коллекционеры совершенно так же, как и влюбленные, даже в минуты счастья подвержены безысходной печали: они понимают, что им никогда не запереть земной шар на ключ в своей витрине. Отсюда — их глубокая меланхолия.

Я был знаком с крупными библиофилами: с теми, кто собирает инкунабулы, скромные памятники ксилографии XV века, и кому «Библия бедных», с ее грубыми изображениями, милее всех прелестей природы



и чар искусства вместе взятых; с теми, кто коллекционирует книги в великолепных переплетах, изготовленных для Генриха II, Дианы де Пуатье и Генриха III, штампы для тиснения XVI и XVII веков, которые воспроизводит в наши дни Мариус, придавая им, однако, правильность линий, чуждую оригиналам; с любителями сафьяновых переплетов, украшенных гербами принцев и королей; с теми, наконец, кто собирает прижизненные издания наших классиков. Я мог бы набросать вам несколько портретов людей этого рода, но полагаю, что они показались бы вам менее занимательными, чем портреты моих бедных викария и каноника. С библиофилами дело обстоит совершенно так же, как и с прочими людьми: нас особенно привлекают среди них не самые искусные и ученые, а самые скромные и чистые сердцем.

А потом, как бы изящны и красивы ни были экземпляры, которыми тешатся библиофилы, какой бы восторг ни вызывала в них книга, будь это даже «Гирлянда Жюли» \*, каллиграфически переписанная Жарри, — есть все же нечто такое, что, на мой взгляд, еще выше, и это — бочка Диогена. В ней вы чувствуете себя свободным, тогда как библиофил — раб собственных коллекций.

Мы заводим слишком много библиотек и музеев. Отцы наши меньше занимались всеми этими вещами и лучше нас понимали природу. Г-н Бисмарк имеет обыкновение подкреплять свои доводы такими словами: «Господа, я делюсь с вамп мыслями, которые родились не за зеленым сукном моего стола, а на зеленом ковре природы». Это несколько необычный и примитивный образ, но очень выразительный и сочный. Что до меня, он мне чрезвычайно нравится. Разумнее всего то, что внушено нам живою природой. Заниматься собиранием коллекций, конечно, хорошее дело, но еще лучше совершать прогулки.

С этой оговоркой я готов признать, что любовь к хорошим изданиям и красивым переплетам свидетельствует о хорошем вкусе и присуща немалому числу порядочных людей. Нельзя не хвалить тех, кто собирает и хранит прижизненные издания наших класси-

ков — Мольера, Лафонтена, Расина, — эти благородные ценности украшают их дома.

Но, за неимением этих редких и замечательных изданий, можно удовлетвориться и великолепной книгой, в которой г-н Жюль Ле Пти дает нам подробное их описание и воспроизводит их титульные листы. Здесь вся наша литература, начиная с «Романа о Розе» \* до «Павла и Виргинии», представлена в первых своих изданиях. Не без волнения просматриваете вы этот сборник. Так вот какими впервые предстали современникам «Письма к провинциалу» \* и «Басни Лафонтена», — говорите вы себе. А вот издание in-4° с широкой виньеткой, изображающей пальму в рамке стиля Возрождения, — это «Сид», в том самом виде, в каком он появился на свет в 1637 году у парижского книгопродавца Огюстена Курбе, в маленьком помещении Пале-Рояля, под вывеской с изображением пальмы и девизом: *Curvata resurgo*<sup>1</sup>. Шесть томов in-12<sup>0</sup>, заглавие которых, разделенное надвое гербом в стиле Людовика XV, гласит: «Письма двух влюбленных, живших в городке у подножия Альп», собранные и напечатанные Ж.-Ж. Руссо, в Амстердаме, у книготорговца Марка-Мишеля Рэ. 1761 г.», — и есть «Новая Элоиза», в том самом виде, в каком она заставляла плакать наших прапрабабушек. Вот что видели глаза современников Жан-Жака, вот что они держали в руках! Такие книги — это реликвии. Есть что-то глубоко волнующее и в том воспроизведении их, которое мы находим у г-на Жюля Ле Пти. Этот человек окончательно примирил меня с книголюбями и библиофилией. Признаем же, что не бывает любви без фетишизма, и будем справедливы к тем, кто влюблен в старую бумагу, испещренную типографской краской; они такие же безумцы, как и все влюбленные.

---

<sup>1</sup> Выпрямялю согбенное (*лат.*).

## ЗАВТРА

Будущее — на коленях Зевса.

*Гомер*

Только что я получил следующее письмо:

«Милостивый государь,

В связи с подготавливаемой мною книгой \*, которая должна появиться в ноябре в издании г-на Перрена, мне бы очень хотелось получить от вас ответ на некоторые вопросы:

Какой должна быть, по вашему мнению, литература нашего завтра, существующая пока лишь в зачаточном состоянии, в виде литературных опытов молодых людей, которым сейчас от двадцати до тридцати лет? К чему идет она, раздираемая противоположными влияниями (идеализм — позитивизм; философский и эстетический патриотизм — влияние литератур и теорий других стран; объективизм — субъективизм; духовный аристократизм — торжество демократии и т. д.)? Хорошо или плохо это отсутствие единства? Нет ли глубокого разрыва между темп традициями, которыми жила литература до сих пор, и теми симптомами нового, которые можно скорее предчувствовать, нежели определить? Считаете ли вы добрым или дурным признаком, что современная критика играет руководящую

роль во всех областях искусства, в том числе и в искусстве писателя? Словом, в чем будущее?

Примите, милостивый государь, и проч.

*Шарль Морис».*

Подобное письмо весьма льстит мне, но еще больше того — ставит в затруднительное положение. Впрочем, говоря по правде, вопросы, заданные г-ном Шарлем Морисом, имеет право задать мне любой читатель «Литературной жизни». Вот почему я решил по мере своих сил ответить на это письмо, и притом публично.

Г-ну Шарлю Морису.

Милостивый государь,

Вы — эстет и так добры, что хотите видеть эстета и во мне. Я очень польщен этим. Должен признаться вам, — читатели мои это знают, — что я не очень-то люблю принимать участие в спорах о сущности прекрасного. Я весьма мало доверяю отвлеченным формулам. Мне кажется, что мы никогда не будем в точности знать, почему то или иное прекрасно.

И я очень рад этому. По-моему, лучше чувствовать, чем понимать. Возможно, что в этом сказывается известная моя лень. Но лень рождает созерцательность, а созерцательность ведет к блаженству. Блаженство же дается в награду избранным. Я не обладаю даром разлагать на составные части шедевры искусства, как это прекрасно удавалось на этом свете нашему собрату, ныне оплакиваемому нами, г-ну Максиму Гоше. Я делаю вам это признание, милостивый государь, для того чтобы мои ответы не поразили бы вас полным отсутствием в них какой бы то ни было системы. Вы спрашиваете мое мнение о молодой литературе. Мне хотелось бы ответить вам что-нибудь ласковое и обнадеживающее. Мне хотелось бы как-нибудь иначе истолковать зловещие предзнаменования. Но я не могу этого сделать и вынужден признаться, что не жду ничего хорошего от ближайшего будущего.

Мне нелегко сделать это признание. Ибо нет ничего более сладостного, чем любить молодежь и быть

ею любимой. В этом высшая награда и утешение. Молодежь так искренне превозносит тех, кто ее хвалит! Она восторгается и любит так, как, собственно, и следует восторгаться и любить: сверх меры. Только она и способна так щедро раздавать лавровые венки. О, как хотелось бы мне почувствовать связь с новой литературой, верить в ее будущие произведения. Если бы я мог превозносить стихи и так называемую «прозу» декадентов, я охотно примкнул бы к самым смелым из импрессионистов, чтобы сражаться вместе с ними, сражаться за них. Но для меня это значило бы сражаться в полной темноте, ибо я ровно нечего не вижу в этих стихах и этой прозе, а вы ведь знаете, что даже Аякс — храбрейший из осаждавших Трои греков — молил Зевса дать ему сразиться и погибнуть при свете дня:

Ἐν δὲ φάσι ὀλεθρον...

Мне очень жаль, но я не чувствую никакой связи с молодыми декадентами. Будь они сенегальцами или лапландцами, — они и тогда не производили бы на меня более странного впечатления, чем теперь.

И это именно так. Кстати, на всех бульварах продается сейчас брошюра, ценой в одно су, посвященная готтентотам из Акклиматизационного сада. Я не преминул купить ее, ибо по природе своей я — зевака и любитель заниматься всякими пустяками. Совершенно так же другой парижанин, живший во времена Лиги \*, Пьер де Летуаль, к которому я чувствую большую симпатию, покупал все книжонки, о которых кричали у него под окнами на старой улице Сент-Андре-Дезар. Я прочел эту книжечку не без удовольствия и нашел в ней песню к луне, сочиненную каким-то поэтом, по имени не то Намака, не то Корана, не то десять, не то тысячу лет тому назад, которую, говорят, распевают в краях, в готтентотских хижинах под дикие звуки гитары.

Вот эта песня:

Добро пожаловать, милая луна! Мы соскучились по чудесному твоему свету. Ты верная подруга. Этот нежный ягненок и великолепный табак — для тебя. Если же ты отвергнешь наши приношения, то мы, милая луна, поедим и покурим за тебя!

Песня, как видите, не очень поэтичная. У готтентотов нет ни бога, ни поэзии, — во всяком случае они считают, что бог не занимается человеческими делами, в чем, замечу мимоходом, их мнение совпадает с мнением некоторых наших великих философов. У готтентотов нет идеалов. Но песенка их, обращенная к луне, все же трогает меня. Когда мне переводят ее — я понимаю ее смысл. А вот, несмотря на все старания господ Хосе-Мари де Эредиа \* и Катюля Мендеса, которые переводят мне наперегонки сонеты новой школы, я в них решительно ничего не могу понять. Повторяю, я чувствую, что этот бедный дикарь мне ближе, чем декадент. Я не могу понять, что такое импрессионизм. Символизм приводит меня в изумление. Вы скажете мне, милостивый государь, что именно в этом его задача. Мне кажется, что это не так и что это своего рода болезнь. Я думаю даже, что она может быть смертельной. Я, например, совсем ничего не слышу теперь о сонетах г-на Гиля. Года два тому назад я получал издания декадентов и журналы символистов; добрый, верный новой плеяде поэтов издатель г-н Леон Ваннье присылал мне странные книжонки, которые страшно забавляли меня в часы извращенной игры ума; он даже заходил ко мне в гости и очень мне понравился. Это тихий и жизнерадостный человек. По вечерам, стоя на пороге своего дома, он смотрит на огромные темные силуэты башен Собора Парижской богородицы, и ему грезится, что с его помощью растет какой-нибудь новый Гюго. Теперь мне не присылают больше ничего, и я боюсь, не вымерло ли уже на три четверти племя символистов. Рок, как говорил поэт, только поманил ими землю.

Необычные то были люди — все эти молодые поэты и молодые прозаики! Тогда во Франции еще не выдвигали ничего подобного, и интересно было бы найти причины, породившие и сформировавшие их. Я не собираюсь слишком глубоко вдаваться в это исследование. Не стану восходить к первичной туманности. Это значило бы вернуться к слишком далеким временам и вместе с тем не к таким уж далеким, ибо ведь существовало же что-нибудь и до первичной туманности!

Я начну только с натурализма, который стал завоевывать нашу литературу к середине эпохи Второй империи. Его дебют был блистательным, он сразу же создал шедевр — «Госпожу Бовари». И не будем заблуждаться: натурализм был превосходит во многих отношениях. Он знаменовал собой возвращение к действительности, которую романтизм безрассудно презирал. Это было восстановление прав разума. Но, к несчастью, натурализм вскоре подвергся властному влиянию писателя, одаренного талантом могучим, но ограниченным \*, грубым, безвкусным и не знающим чувства меры; однако без чувства меры не может быть и искусства. Кажется, я довольно точно охарактеризовал здесь нового кандидата во Французскую Академию \*, — того, кто еще недавно сделал такое откровенное и в равной мере изящное заявление: «Я разделил свои визиты на три группы».

С его помощью натурализм сразу упал в грязь. Скатившись на последнюю ступень пошлости, вульгарности, лишенный всякой красоты — и красоты духа, и красоты формы, — уродливый и тупой, натурализм этот вызвал отвращение у людей с тонким вкусом.

Как вы знаете, реакция никогда не бывает благоразумной. Пожалуй, чем больше она назрела, тем больше она неистовствует. Символизм был вызван к жизни Меданской школой \*. Точно так же в Римской империи, если дозволено сравнивать малое с великим, грубая чувственность породила аскетизм.

По существу наши молодые поэты — мистики. Я недавно встретил такую фразу в житии одного из Фиваидских пустынников: «Читая Священное писание, он искал в нем аллегорий». Последователям г-на Малларме нужны аллегории и все тайны древних теургий. Нет скрытого смысла — нет поэзии. Говорят даже, будто глава школы считает, что выдающееся произведение должно содержать три смысла, напластованные один на другой. Первый — буквальный и грубый — доступен тем праздным людям, что, остановившись в галереях Одеона или у прилавков книготорговцев, просматривают книги, не разрезая их. Второй, более духовный смысл явит себя читателю, пользующемуся

ножом для разрезания книг. Третий смысл, бесконечно утонченный, но и упоительный, достанется в награду посвященному, который сумеет прочесть строки в некоем мудром и тайном порядке. В каком же именно? Не в порядке ли чисел 3, 6, 5, который соответствует ночному оку Озириса? Но это только догадка. Боюсь, что третий смысл так и останется для меня навеки недоступным.

Я не знаю в точности, как воспринимал какой-нибудь современник Птолемея Филадельфа поэму Ликофрона \*, но мне кажется, что у иных утонченных александрийцев мозг был устроен приблизительно так, как у г-на Малларме и его учеников.

Рядом с ними я вижу целый рой молодых романистов — весьма разумных и отнюдь не символистов. Среди них есть и последователи Эмиля Золя. Вам известно, милостивый государь, что подражать романам Эмиля Золя весьма легко. Метод в них всегда нетрудно обнаружить, следствие всегда преувеличено, философия всегда ребяческая. Благодаря крайней простоте построения этих романов с них так же легко делать копии, как с византийских богородиц, а вернее, пожалуй, — с эпинальских лубков. Другие писатели, столь же юные, но уже более самостоятельные, стремятся выразить собственный идеал. К несчастью, они в большинстве своем чересчур резки и прямолинейны; они слишком бьют на эффект, слишком стараются показать свою силу. Это тоже одна из неприятных сторон современного искусства. Оно грубо. Оно не боится смутить читателя, оскорбить его вкусы. Сии писатели воображают, что достигли цели, если им удалось попать общепризнанную мораль, нарушить приличия. Это глубокое заблуждение, простительное и почти трогательное в очень молодых людях, ибо в нем проявляется их величайшее простодушие. Им неизвестно, что в цивилизованном обществе порок не меньше, чем добродетель, заинтересован в сохранении моральных устоев, в почтительном отношении к приличиям. Они не знают, что соблюдение устоявшихся правил общежития в конечном счете выгодно для любых инстинктов. Но хо-



телось бы, чтобы нашим молодым романистам было менее чуждо чувство уважения.

Что безусловно заслуживает похвалы — это их сознательное отношение к технике своего искусства. Если они пишут плохо, то не столько по незнанию правил, сколько из пренебрежения к ним, ибо, как вы знаете, согласно господствующему ныне предрассудку, хорошо построенная книга тем самым уже заслуживает презрения. Стоило г-ну Октаву Фейе \* проявить мастерство композиции, как к нему потеряли уважение. Для наших юнцов главное — хорошо написанный кусок, и они удивительно искусно с этим справляются. Они превосходные мастера, знающие свое ремесло на славу. Среди них есть несколько очень образованных и даже ученых людей, подающих серьезные надежды и обладающих всеми данными, чтобы писать.

А когда подумаешь, как трудно очень молодому человеку успешно проявить себя в жанре романа, требующем известного знания жизни и света, становится ясно, что не следует отчаиваться в будущем этого литературного жанра, который Франция уже столько раз успешно возрождала, начиная с пятнадцатого века.

И все же, признаюсь вам, милостивый государь, я не без опасения и не без некоторой грусти смотрю на груды желтых томиков, накопляющихся на моем письменном столе. Ежедневно выходит по два-три романа. Скольким из них суждено пережить нас? От восемнадцатого века не сохранилось и десяти, а ведь это один из счастливых веков для французской прозы. У нас слишком много романов, при этом — слишком толстых. Писание толстых книг надо бы предоставить ученым. Разве самые очаровательные повести в то же время не самые короткие? «Дафнис и Хлоя», «Принцесса Клевская», «Кандид», «Манон Леско» — вот что продолжают читать, а каждая из этих повестей не толще мизинца. Нужно обладать легкостью, чтобы совершить полет сквозь века. Краткость и точность — вот свойства подлинного французского гения. В новелле этот гений неподражаем. Мне бы хотелось, чтобы по-прежнему создавали прекрасные французские новеллы; мне бы хотелось, чтобы писали изящно и легко, а также

коротко. Ведь именно в этом — не так ли? — высшая учтивость писателя.

Можно сказать много на немногих страницах. Роман нужно писать так, чтобы его можно было прочесть за один присест. Меня удивляет, что нынешние романы, все без исключения, имеют не меньше трехсот пятидесяти страниц. От этого выигрывает издатель, но не всегда выигрывает книга.

Позвольте мне, милостивый государь, не вдаваться здесь в подробности той классификации «литературы нашего дня», которую вы предлагаете. Слишком далеко завел бы нас разговор о направлениях, господствующих среди интеллигентной молодежи. Вы отмечаете, что эти направления весьма противоречивы. Действительно, все труднее и труднее становится различать определенные группировки. В наше время нет уже ни школ, ни традиций, ни соблюдения правил. Вероятно, необходимо было дойти до такой крайней степени индивидуализма. Вы спрашиваете, хорошо или дурно, что мы дошли до этого? Я отвечу вам, что крайности — это всегда дурно. Понаблюдайте, как рождается и как умирает та или иная литература. Первоначально она создает только коллективные произведения. Ни в «Илиаде», ни в «Одиссее» нет и следа какого-либо индивидуального творчества. Много рук трудились над созданием этих великих памятников, но ни одна не оставила на них своего отпечатка. Коллективные произведения сменяются произведениями, созданными одним лицом. Сначала автор словно боится обнаружить себя. Таков Софокл; но постепенно личность все больше выдвигается вперед; она выражает свое возмущение, свои муки, свое отчаяние. Уже Еврипид не может не изобразить рядом со своими богами и героями себя самого. Он хочет, чтобы мы знали, каковы его мысли о женщинах и какова его философия. Несмотря на его нескромность, а может быть именно в силу этой нескромности, он бесконечно мне интересен. А между тем в нем уже намечается упадок, — неотвратимо и быстро надвигающийся упадок. Эпохи расцвета искусства были эпохами гармонии и традиций. Эпохи эти были органичны. Не все принадлежало в них отдельной личности. Человек,

даже когда это великий человек, не так уж много значит, если он один. Мы недостаточно обращаем внимание на то, что великий писатель, хотя бы и очень самобытный, заимствует больше, нежели сочиняет сам; язык, на котором он пишет, — не его изобретение, форма, в которую он отливает свою мысль, — ода, комедия, повесть — создана не им; ни синтаксис, ни про-  
содия не принадлежат лично ему. Даже самая его мысль подсказана ему со всех сторон. Краски ему уже даны; сам он привносит в них только оттенки, — хотя иногда, я это знаю, оттенки бывают бесконечно ценны. Будем разумны и согласимся, что наши произведения далеко не всецело принадлежат нам. Они зреют в нас, но корни их в питающей нас почве. Признаем же, что мы многим обязаны окружающему нас миру и что народ — это наши сотрудники.

Не будем же стараться рвать нити, связующие нас с народом; напротив, умножим эти связи. Не надо стремиться к тому, чтобы быть какими-то особенными, исключительными. Будем самими собою, будем правдивы. Подавим в себе все личное, чтобы в нас видели не такого-то человека, а просто человека. Не надо ничего вымучивать из себя: прекрасное рождается легко. Забудем о самих себе: единственный враг наш — мы сами. Будем скромны. Самодовольство — вот что прежде всего способствует упадку литературы. Клавдий умирал более довольный собой, чем Вергилий. Словом, будем просты. Скажем себе: мы говорим, для того чтобы нас понимали. Будем руководствоваться мыслью, что истинно великими и полезными можно стать только обращаясь, не скажу ко всем, но ко многим.

Таковы, милостивый государь, советы, с которыми я осмелился бы обратиться к нашей молодежи. Боюсь, однако, что нужен длительный опыт, чтобы проникнуть в их глубокий смысл. Советы эти, к счастью, совершенно не нужны тем, кто наделен от рождения большим талантом. Такие люди становятся нашими учителями с детских наших лет, и критика должна не учить их, а учиться у них.

Вы спрашиваете, милостивый государь, считаю ли я «добрым или дурным признаком, что критика играет

руководящую роль во всех областях искусства, в том числе и в искусстве писателя». Я уже имел недавно случай сказать несколько слов о первостепенном значении критики по поводу книги г-на Жюля Леметра \*. На мой взгляд, критика, или, вернее, очерки о литературе, — одна из самых изысканных форм писания истории. Скажу больше: это и есть подлинная история — история человеческого духа. Чтобы успешно писать в этом жанре, необходимы редкие способности и большая культура. Критика предполагает наличие такой духовной утонченности, которая возникает лишь в результате многих веков развития искусства. Поэтому-то она и появляется только в обществах уже старых, в чудесный час начала заката. Критика переживает все остальные роды искусства, если только правда, что «все радости приедаются, кроме радости понимания», как сказано в одном старинном примечании к Вергилию, которое приводит г-н Литтре. Впрочем, я скорее склонен думать, что людям никогда не надоест любить и что им всегда нужны будут поэты, которые пели бы им серенады.

«В чем ее будущее?» — спрашиваете вы, милостивый государь, в конце своего письма.

Будущее ее — в настоящем, и оно — в прошлом. Творим его мы сами. Если оно окажется дурным, это будет наша вина. Но я не отказываюсь в него верить.

Вижу, что не сказал и сотой доли того, что собирался сказать. Мне хотелось, например, попытаться указать на те новые условия, в которые завтра будет поставлено искусство благодаря росту демократии и промышленности. Мне кажется, что условия эти будут весьма сносными. Этому вопросу я посвящу другое письмо.

Примите и проч.

## ШАРЛЬ МОРИС <sup>1</sup>

Господин Шарль Морис оказал мне честь, ответив на мое ответное письмо к нему брошюрой, выпущенной Академическим книгоиздательством.

Господин Шарль Морис очень молод и сам принадлежит к литературе завтрашнего дня; это многообещающий поэт со своеобразным и уже сложившимся талантом. Он к тому же обладает умом, склонным к размышлениям, и весьма искушен в философских теориях. Как не верить ему в будущее, над созданием которого он трудится с таким воодушевлением? Как не желать ему торжества того искусства, которому он служит? Ему не терпится увидеть новую литературу. Литература сегодняшнего дня уже ничего ему не говорит.

По свойственной ему безупречной учтивости, он не обнаруживает этого прямо, но я разгадал его: он считает, что мы слишком зажились на этом свете. У меня есть некоторые основания не разделять его нетерпения. Благоразумие требует, чтобы мы всегда были готовы уйти, а мне хочется думать, что я благоразумен. И все же, если мне вместе с моими друзьями суждено вести и дальше мирную нашу беседу до тех пор, пока мы не достигнем последних придорожных вязов, что растут

---

<sup>1</sup> «Réponse à M. Anatole France». Didier, éditeur, 1 vol. in-18.

вдоль нашего жизненного пути, я возблагодарю за это божий промысел или природу, которые распоряжаются порядком вещей. Я не склонен думать, что поколение, к которому я принадлежу, не сделало ничего хорошего. Мне кажется, что у него не было недостатка ни в творческих силах, ни в разуме, ни в чувстве.

Мне кажется, что двадцать лет, протекшие с тех пор, как вышли в свет первые стихотворения Сюлли Прюдома \* и «Задушевное» Франсуа Коппе, и до появления «Психологических очерков» Поля Бурже и «Странствий мысли» Мельхиора де Вогюэ — были славными годами, полными поэзии и труда. Что до меня, то я прожил их с наслаждением. Я высоко ценил многих своих современников, к иным из них относился с восхищением и любовью и могу назвать себя счастливым. Отдадим себе должное: мы немало сделали для развития искусства и изучения природы. Насколько это было в наших силах, мы приблизились к истине. Нам удалось открыть небольшую частицу прекрасного, остававшуюся еще без формы и цвета в недрах скупой земли. Мы никогда не произносили напыщенных слов, мы были честными художниками и искренними поэтами. Мы хотели многому научиться, не надеясь многое знать. Мы сохранили культ великих мастеров. Правда, нам не хватало глубокого дыхания, смелости, дерзкого духа исканий; но мы обладали, кажется мне, пониманием изящества и совершенства в искусстве. И я громко говорю: о вы, мои сверстники, мои товарищи по работе, вы достойно послужили литературе, и ваши книги, выходявшие на протяжении этих девятнадцати лет, могут служить родине утешением и предметом законной гордости.

Среди всего, свершенного моими современниками, есть нечто, за что я бесконечно им благодарен. Я благодарен им за благодный дух дружелюбия, склонный к снисходительности и примирению. Они положили конец тем литературным раздорам, которые разжег неистовый романтизм. Благодаря нашим учителям Сент-Беву и Тэну, а также благодаря нам в наши дни возможно восхищаться прекрасным в любой его форме. Нет больше предрассудков, насаждавшихся литератур-

ными школами. Можно любить одновременно и Расина и Шекспира. Моими спутниками на поприще литературы были люди доброй воли, старавшиеся все понять. И путь мой был приятен и показался мне коротким. Пусть же скажут нам спасибо хотя бы за то, что мы упрочили свободу мнений и установили в литературе мир. Возможно, что выполнить эту задачу нам помогло равнодушие публики. Всякое примирение есть плод усталости. Хорошо ли это, или дурно, по людей утомили споры из-за слов. Литературный фанатизм уже не мог бы в наши дни вызвать отклика. Переворот, который совершит новейшая школа, останется почти незамеченным. Никто уже ничему не удивляется. Я не могу осуждать публику за ее скептическое отношение к новым формам искусства. «Народ никогда не бывает виноват», — говорил в Клермонте \* престарелый король Луи-Филипп. Мудрые слова! Обвинять всех — неосторожно и бесполезно. И потом — я не верю в новое, которое привносится сознательно. Нет лучшего способа стать новатором, как быть им неведомо для себя и быть им возможно меньше. Пути искусства мало изменились со времен Гомера. И я не думаю, что они очень изменятся ко времени открытия Всемирной выставки. Само человечество меняется крайне медленно. И какое бы нетерпение ни проявляли молодые поэты, стремясь подарить человечеству новые ощущения, им придется подождать, пока у человека появятся новые чувства. А это невероятно медленный процесс. Г-н Жюль Сури полагает вслед за доктором Магнусом, что греки времен Гомера не различали цветов; что для них небо не было голубым, деревья не были зелеными, а розы — розовыми, и что мир предстал их варварскому взору в виде огромной гризалии. Того же мнения придерживается и г-н Гладстон. Но ни Гладстон, ни Жюль Сури, ни доктор Магнус в этом не уверены. Я же, если только я вообще в чем-нибудь уверен, то именно в обратном.

Вероятнее всего, природа представлялась древним эллинам примерно такую же, какой мы видим ее сейчас, и пройдут тысячи и тысячи веков, пока человеческое зрение усовершенствуется до такой степени, что способно будет различать новые оттенки цветов. Тоже

следует сказать относительно нашего слуха и даже обоняния. Художники завтрашнего дня, как видно, верят, что мы в самом скором времени будем различать ультрафиолетовый цвет. Его-то они и стараются так упорно изобразить нам. Когда же мы говорим, что не видим его, они заявляют, что с нашей стороны это одно только упрямство.

Предполагая в нас подобную изощренность чувств, они нам льстят: наши чувства почти так же грубы, как они были у наших предков. Но и такие, как есть, они доставляют нам немало радостей и немало страданий. Все же их недостаточно, чтобы проникнуться всеми тонкостями нового искусства. Я не прощаю символистам их полную непонятность. Этот упрек часто бросают друг другу воины и цари в трагедиях Софокла: «Ты говоришь загадками». Греки были очень утонченны; но все же они требовали, чтобы мысли выражались ясно, и, по-моему, были совершенно правы. Я вышел уже из того счастливого возраста, когда восхищаешься тем, что тебе непонятно. Я люблю ясность. А г-н Шарль Морис сулит мне ее в слишком малой, на мой вкус, дозе. Я хочу понимать сразу, а с его точки зрения это требование не выдерживает критики.

«Вы слишком нетерпеливы, — словно говорит он мне, — неужто вы принадлежите к тем легковесным умам, которым не под силу ничто серьезное? Почему бы вам не поразмыслить над произведениями новой школы? Почему вы не вникнете, не углубитесь в них?» И он добавляет буквально следующее: «Художнику можно предоставить право требовать от благосклонного читателя серьезного, терпеливого внимания». Отвечу совершенно откровенно: если не ошибаюсь, именно в этих словах и заключается та вредная мысль и то опасное правило, которых уже вполне достаточно, чтобы поссорить меня со всей новой поэтикой и отбить всякую охоту ждать исполнения пророчеств г-на Шарля Мориса о литературе.

Чем дольше я живу, тем яснее мне, что прекрасно только то, что нетрудно понять.

Я окончательно разочаровался в прелестях этой тарабарщины. По-моему, из одной учтивости поэт или



рассказчик не должен создавать для читателя ни малейшего затруднения, ни малейшей помехи; куда умнее с его стороны — не требовать внимания, а завладеть им. Тогда он побоится испытывать терпение образованных людей и сочтет, что он непригоден для чтения, если его нельзя читать совсем легко.

Наука вправе требовать от нас прилежного ума, вдумчивой мысли. У искусства такого права нет. Оно по самой природе своей бесполезно и пленительно. Его назначение — нравиться, иного назначения у него нет. Оно должно быть привлекательным, не ставя при этом никаких условий. Мне хорошо известно, что в наше время все перепуталось и что к литературному творчеству пытались применить научный метод. Г-н Золя, который не боится быть смешным, как-то написал: «Мы, ученые...» Но между песней и трактатом по начертательной геометрии все же имеется кое-какое различие. Наслаждение, доставляемое искусством, не должно требовать даже малейшего напряжения.

Правда, г-н Шарль Морис старается внушить нам, что новое искусство так непонятно и так трудно воспринимается не по своей воле, вопреки собственному желанию, и только в силу тех величайших трудностей, которые лежат на пути к осуществлению его идеала. Это новое искусство ставит перед собой очень трудные задачи, тогда как прежнее искусство довольствовалось легкими. Подобные речи меня несколько удивляют. Я и не подозревал, что все, созданное до сих пор литературой, было делом столь легким. Послушаем, однако, какво же назначение искусства будущего. Оно ставит своей задачей заниматься уже не только духом, как это делали классики, и не только материей, как последователи натурализма (все это говорю не я), — а всем человеком. Оно стремится создать синтез прежних литератур; стремится, по выражению г-на Шарля Мориса, «внушить понимание всего человека всеми средствами искусства».

Это, конечно, ново. И как все, что ново, — старо как мир. Искусство во все времена стремилось изображать человека, и именно всего человека. Об этом не всегда говорилось, потому что была в древности наивная пора,

когда не спорили о сущности прекрасного, но об этом всегда думали, ибо нет ничего более естественного. Ученые утверждают, что «Мальчик-с-пальчик» древнее «Илиады». Что ж, вполне возможно. Так вот, те старухи, которые рассказывали про Мальчика-с-пальчик детям Сапта Синдху, тоже полагали, что на свой лад изображают «всего человека всеми средствами искусства», — как говорит г-н Шарль Морис. Той же целью, можете не сомневаться в этом, задавался деревенский поэт старой Франции, сочиняя песенку, которую хорошо знал Лафонтен:

Раз Жанне я не нравлюсь,  
Я сяду на осла,  
На кладбище отправлюсь,  
Чтоб смерть меня взяла.  
— Что вам за мысль пришла,  
Никола!

Вот вам весь мужчина и вся женщина, душой и телом, без всяких неясностей. Давненько уже срезаны лавры в лесах Парнаса. Они вырастают снова, но все из того же корня. Не будем затруднять себя и путаться в бесконечных литературных школах, давайте попросту признаем, что и «древние» и «новые», «классики», «романтики», натуралисты — все они, каждый по-своему, изображали человека, и всего человека.

Что является самым новым в формуле г-на Шарля Мориса — это слово «внушать». Оно, должен признаться, звучит ужасно современно, в нем даже есть что-то модернистское. Я понимаю, как это ценно. Внушение — это нечто новое, пока еще таинственное и неопределенное. Внушение теперь в моде. По нынешним временам поэт должен «внушать». И он внушает. Что же именно? То, что не может быть выражено словами. Поэт — это Бернгейм для неслышимого, это Шарко для неизреченного. Не выражать, а внушать. По существу к этому и сводится вся новая поэтика. Она запрещает воспроизводить идеи, как это делали прежде; она велит будить ощущения.

Существовали варварские, готические времена, когда слово что-то значило. Тогда писатели выражали

им свою мысль. Отныне для представителей новой школы слова уже не имеют собственного значения и нет между ними необходимой связи. Они очищены от своего смысла и освобождены от всякого синтаксиса. Но они еще существуют в виде звуков и форм. Их новое назначение состоит в том, чтобы внушать образы начертанием букв и звучанием гласных. Их роль в поэзии будущего точь-в-точь напоминает назначение тех стеклянных пузырьков, которые доктор Люис засовывает за воротник юной Эсфири, вызывая у медиума экстаз, смех или слезы, но которые кажутся зрителям, не подвергшимся гипнозу, именно тем, чем они и являются в действительности, — то есть пустыми пузырьками. Уже одно слово «внушать» очень многое говорит мне о стремлениях г-на Шарля Мориса.

Не привести ли в этой связи образчик такого «внушающего» стиля? Вот сонет об Эдгаре По: \*

Таким каким его бессмертие открыло  
Слепит поэт чей меч сверкает обнажен  
Свой век испуганный тем что не понял он  
Как властно в голосе нездешнем смерть дарила

Злобней чем гидра встарь песок когтями рыла  
Когда архангел речь влагал в уста племен  
Пред ним простерлась чернь кем за нектар сочтен  
Настой нацеженный в бесславное творило

Смесь праха и небес враждебных ей о гнев  
Пусть мысль из них создать не может барельеф  
Который бы вокруг гробницы По обвился

Обломок царственный забвенных катастроф  
Покойся о гранит чтоб о тебя разбился  
Грядущий рой кошунств летя сквозь мрак годов

В этих принадлежащих главе школы четырнадцати строках, безо всяких знаков препинания, таится богатый источник ощущений; сонет этот прежде всего «внушает»; он производит пленительное впечатление на субъектов, поддающихся внушению. Но на читателей, не подвергшихся усыплению, он действует не больше, чем пустые пузырьки доктора Люиса. Таково новое

искусство. Беда в том, что не всякий способен читать во сне.

Господин Шарль Морис признает, что, идя по этому избранному ею пути, поэзия неизбежно должна отвернуться от массы. Он считает такой разрыв между ними необходимым и полагает, что публику и поэта следует растаскивать в разные стороны. «Поэты и публика идут разными дорогами, — пишет он. — Расстояние между нами и ею беспрерывно растет. И заметьте, сам наш язык, если только мы хотим сохранить его в чистоте, отдаляет от нас публику, потому что она уже успела постепенно испортить этот чудесный инструмент и пробавляется ныне лишь неправильными выражениями и дурными метафорами, в общем — чем-то, чему нет названия».

На месте Шарля Мориса я бы так легко не примирился с этим. Нехорошо поэту жить в одиночестве. Поэты тщеславны и чувствительны: им нужны восторги, нужна любовь. Одиночество пробуждает в них уязвленную гордость, и когда их никто не слушает, они начинают петь фальшиво. Высокомерие к лицу философам и ученым; в художниках оно — только поза. Как может быть, чтобы поэту не нравилось, когда его слушают многие? Он обращается к чувству, а чувство есть нечто более распространенное, нежели ум.

Я знаю, конечно, что без известной умственной культуры не может быть и утонченных чувств. Чтобы наслаждаться поэзией, нужна нравственная подготовка. Но людей, обладающих этой подготовкой, гораздо больше, чем это обычно полагают. Они-то и составляют публику для поэта. И если вы поэт, вам не следует относиться к ним с пренебрежением.

Господин Шарль Морис возразит нам, что он презирает именно широкую публику, толпу, невежественную чернь. Конечно, в вопросах искусства чернь в счет не идет. Мы чужды ей, так же как и она нам. У нее есть свои писатели, и они превосходно работают для нее. От нас она ничего не требует. Вреда она не приносит, ибо не мыслит. Верно ли, что она «портит чудесный инструмент»? Я готов допустить, что она дей-

ствительно изнашивает язык, поскольку пользуется им. Но в конце концов она имеет на это право: язык создан для нее так же, как и для нас. Я даже прибавлю, что ею-то он и создан. Да, «чудесный инструмент» создан невежественной толпой.

Образованные люди выполнили только незначительную часть этой работы, и то, что они сделали, отнюдь не самое лучшее. Вот в чем суть дела. Язык не собственность образованных людей. Это не их личное достояние, которым они могут распоряжаться по своему усмотрению. Язык принадлежит всем. Самый искусный художник обязан сохранить в нем его национальные и народные черты; он должен говорить на общем для всех языке. Если из языка своих сограждан он захочет выкроить для себя какое-то особое наречие, если он вообразит, что может изменять значение слов и их сочетания, как ему это заблагорассудится, его постигнет кара за гордость и безбожие; подобно тем, кто строил Вавилонскую башню, этот негодный строитель родного языка никем не будет понят, и из уст его будет исходить одно лишь невразумительное бормотание.

Бойтесь писать слишком хорошо. Для писателя нет ничего хуже этого. Языки возникают естественно: они создаются народами. Не надо пользоваться ими с излишней изысканностью. В них всегда есть здоровый запах родной земли; мы ничего не выиграем, если станем душить его мускусом.

Нехорошо также, когда злоупотребляют старыми забытыми словами, подделываются под архаический язык. Я помню, как года два тому назад г-н Жан Морас составлял для себя лексикон устаревших слов \*, вышедших из употребления еще со времени королевы Клод и герцогини Маргариты. И что за охота писать на умершем языке, когда так радостно говорить на нашем живом, милом французском языке. Он такой нежный, свежий, такой гибкий, такой благодарный! Он так послушен, когда его не насилуют! Я никогда не поверю в успех литературного направления, которое выражает трудные мысли непонятным языком.

Не надо ни вымученных фраз, ни вымученных мыслей. Не будем воображать, будто уже настали последние времена, и старые литературы вот-вот рассыплются в прах при звуках трубы архангела, и будто смятенный мир ждет неких новых озарений. Искусственные формы, фабрикуемые разными школами из разных кусочков, оказываются в большинстве случаев хитроумными и бесполезными сооружениями. А главное, не будем слишком громко кричать о превосходстве наших методов. Истинно лишь то искусство, которое творит в тиши.

## ГАСТОН ПАРИС И СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА <sup>1</sup>

Здесь, в краю виноградников, я получил книгу, которая показалась мне мудрым другом, пришедшим навестить меня. Это — «Руководство по французской литературе средних веков» г-на Гастона Париса. Ученый первоначально составил его для своих слушателей по Высшей практической школе, а затем напечатал для тех сравнительно редких умов, которые одушевлены постоянной любовью к знанию. Утро было теплое и ясное; я унес милую мне книгу в дубовую рощу и прочел ее там под деревом, внимая пению птиц. Такое чтение — истинная радость. Лежа на траве, не хочется делать заметок. Читаешь просто ради удовольствия, ради развлечения, совершенно непредвзято, ибо ничто так не помогает отвлечься от своего «я» и слиться душою с окружающим миром, как звонкий лесной воздух. А легкая тень, которая, дрожа, падает на строки, и гудение насекомых, то и дело мелькающих между глазами и страницей, придают мысли автора восхитительную естественность и живость.

---

<sup>1</sup> La Littérature française au moyen âge, XI-e et XIV-e siècles. — Manuel d'ancien français, par Gaston Paris, I vol. in-18.

С каким увлечением следил я в своей роще за ходом рассуждений Гастона Париса! С каким интересом постигал вслед за ним душу наших предков, их бесхитростную и крепкую веру, их искусство, то грубое, то утонченное, но почти всегда симметричное и стройное, как те сады без деревьев, которые встречаешь на старинных миниатюрах! Беда лишь в том, что книгу, созданную для долгих размышлений над нею и до предела насыщенную мыслями, я проглотил за несколько часов. Вот почему я нахожусь в некоторой растерянности и словно во власти галлюцинации. Мне кажется, что старая Франция, по которой я пронесся с такой быстротой, эта родная мне страна, с ее лесами, полями, белыми храмами, замками и городами, была совсем маленькой, как вон та лужайка, виднеющаяся за деревьями. Мне кажется, что целые столетия могучих ударов меча, молитв и нескончаемых песен протекли за несколько часов. Рыцари, горожане, крестьяне, клирики, труверы, жонглеры предстают передо мной, подобно тем насекомым, которые кишат у моих ног. Все это — словно миниатюра, стоящая у меня перед глазами и выполненная так тонко, что, разглядывая ее через лупу, замечаешь самые незначительные подробности.

Старые сказки повествуют о покрывале, сотканном некоей феей, и так искусно, что оно умещалось в ореховой скорлупке. На нем были изображены все королевства земли с королями и рыцарями, с городами и деревнями. Книга Гастона Париса, какой она представляется мне здесь, под дубом, походит на эту волшебную ткань. Мои руки почти не ощущают ее веса, но мои глаза видят всех, кто во времена рыцарей и клириков на земле милой Франции воспевал битвы, любовь и мудрость.

Больше всего меня восхищает ясность общей картины. Передо мною отчетливо встает страна, одетая в белую мантию церквей, как говорит летописец Рауль Глабер. В ней живут простые люди, верящие в бога и уповающие на заступничество пресвятой девы. Одни из них — клирики. Их жизнь, размеренная, словно строки в тробнике, проходит среди гармонических и однообразных церковных песнопений. Даже впадая в грех — след-



ствии проклятия, тяготеющего над семенем Адамовым, они сохраняют веру в бога и не предаются отчаянию. Семьи у них нет. Они пишут на латинском языке и ведут хитроумные споры. Это пастыри душ. Другие — воюют. Порой им случается разграбить обитель и неучтиво обойтись с монахинями — невестами Христовыми. Но божественная кровь, обогрившая крест, все равно спасет их. Они убивают множество сарацин, неукоснительно постятся по пятницам, и эти добрые дела зачтутся им. Землю для них обрабатывают вилланы. Это тоже люди, поскольку и они восприяли крещение. В здешней жизни они должны претерпевать великие горести, ибо по смерти им уготовано вечное блаженство. Приходский священник, который каждое воскресенье сулит им место в раю, при всей своей наивности — превосходный политико-эконом. Тем, у кого нет земли в этом мире, он обещает цветущие земли в мире ином — на небе, где в императорском одеянии восседает боготец. До неба же рукой подать: туда можно забраться по простой лестнице, если, конечно, на то будет соизволение святого Петра, а святой Петр — человек добрый: он ведь из бедняков и рода незнатного. К вилланам он относится по-дружески, к людям же благородным — с некоторым почтением. А уж пресвятая дева, ангелы и святые, те спускаются на землю запросто. В присноблаженных угодниках и угодницах нет ничего таинственного. Это знатные господа и дамы, которые, подобно домовым и феям, покровительствуют тем, кто их почитает. Переход от церкви торжествующей к церкви воинствующей \* постоянен и неощутим: шпилями соборов обозначена неясная еще граница между небом и землей. Что касается ада, то он тут же, под ногами, и пастухи нередко видят в глубине пещер его мерзостные врата. Разумеется, ад внушает страх, как утверждает Франсуа Вийон. Но человек, будь он праведник или закоснелый грешник, надеется избежать его. Ведь надеяться можно и должно всегда: надежда — добродетель. Стоит ли говорить о чистилище? Оно почти неотличимо от этой земли, куда каждую ночь возвращаются грешные души, требуя, чтобы живые молились за них.

Таков средневековый мир. Его можно более или менее точно изобразить в виде старинных часов с замысловатым механизмом, — таких, например, как на Страсбургском соборе. Для этого достаточно представить себе три циферблата, которые украшены фигурками, приводимыми в движение системой передач.

Сознаюсь, что, говоря все это, я еще нахожусь в плену посетивших меня видений. В действительности люди XI—XV веков подчинялись тем же бесконечно сложным законам жизни, что и мы; как и нас, безмерная всеобъемлющая природа погружала их в океан иллюзий. Они тоже были людьми. Но они не знали наших страхов и наших упований, их мир был бесконечно мал в сравнении с нашим. Если сопоставлять его со вселенной Галилея, Лапласа и отца Секки, он в самом деле покажется всего-навсего хитроумными часами с фигурками.

Нужно уметь почувствовать прелесть наивного воображения этих людей. Особенно очаровательно оно выразилось в «Чудесах богоматери» и в «Житиях святых», которые умиляют даже такого ученого критика, как Гастон Парис. И правда, не пленительна ли, например, история монахини, которая по слабости душевной покинула обитель и предалась греху? Она возвратилась много лет спустя, утратив непорочность, но сохранив веру, ибо даже в пору своих заблуждений не забывала каждое утро возносить молитву богоматери. Вернувшись в монастырь, грешница увидела, что сестры обращаются с нею так, словно она никогда не расставалась с ними. Пресвятая дева, приняв обличье и надев платье той, кто даже во грехе сберегла любовь к владычице небесной, сама выполняла все ее обязанности в ризничьей, и ни одна живая душа не догадалась об отсутствии изменившей своему обету монахини.

Но Гастону Парису известно и другое, еще более трогательное чудо.

Жил однажды монах, столь скудоумный и невежественный, что он не мог прочесть ни одной молитвы, кроме «Мария, дева, радуйся». Братия питала к нему презрение, но когда он умер, изо рта у него выросло пять роз — столько же, сколько букв в имени «Мария»,

и те, кто насмеялся над его невежеством, почтили его по смерти, как святого.

Наконец вот еще более бесхитростное сказание — легенда о Жонглере Богоматери \*. Жил-был бедный жонглер, который добывал свой хлеб, давая представления на площадях. Наконец он подумал о спасении души и поступил в монастырь. Там он услышал, как монахи, — а были они люди весьма ученые, — прославляют пресвятую деву в красноречивых проповедях. Но он был человек темный и не знал, как ему последовать их примеру. Тогда он решил запереться в часовне и там, перед статуей богоматери, тайно проделывать те искусные прыжки, которыми он, будучи жонглером, больше всего угождал зрителям. Монахи, встревоженные долгими его отлучками, начали следить за ним, застали его во время этих благочестивых занятий и увидели, что после каждого прыжка богоматерь сходит с пьедестала и оттирает пот со лба своего жонглера.

Именно в народных сказаниях, в легендах, пришедших с Востока, в житиях св. Екатерины и св. Маргариты следует, думается мне, искать истоки тех смутных чувств, которые три-четыре века спустя вызвали к жизни Жанну д'Арк и в минуту опасности сделали возможным самое восхитительное из чудес — освобождение целого народа простой пастушкой.

Конечно, я выражаю свою мысль неясно, но выразить ее яснее можно лишь выйдя за рамки моей темы, а я поостерегусь это делать. Каждый имеет право по мечтать под дубом, но и в мечтах должна быть известная последовательность.

Образ феодальной Франции, который мы, подобно миниатюристам XIV—XV веков, набросали тонкими штрихами и слишком яркими красками, запечатлен в ее искусстве, в ее духовной, лирической и эпической поэзии, которую нам открыл и о которой дал нам представление Гастон Парис.

Господин Парис — не только ученый. Ему присущ не только литературный вкус, но и философский склад ума. Его «Руководство по французской литературе средних веков» интересно прежде всего тем, что автор посто-

янно восходит от совокупности фактов к общим идеям. Он начинает с выяснений той роковой закономерности, которая тяготела над всей средневековой литературой и в конечном счете обусловила ее характер. Клирики, — а кроме них тогда мало кто умел читать и писать, — продолжали пользоваться латынью. Они считали ее единственным языком, достойным выражать серьезные мысли. «А это, — замечает г-н Парис, — чрезвычайно важное обстоятельство, факт первостепенного значения, исключавший всякую возможность гармонии в литературе того времени: он раскалывал народ на две части и приносил еще больший вред тем, что отрывал от национальной культуры наиболее выдающиеся умы, заключая их в темницу мертвого, чуждого духу новой эпохи языка и обширной освященной традицией литературы, которая навязывала им свои идеи и формы, чем почти наглухо закрывала путь ко всякому оригинальному творчеству».

Презираемая образованными людьми, литература на народном языке была рассчитана почти исключительно на неграмотных. Следовательно, на первых порах она могла быть представлена лишь сказками да песнями. А раз эти песни сочинялись для развлечения рыцарей и горожан, не умевших читать, их приходилось исполнять вслух, точнее — петь. Поэтому «Песнь о Роланде», равно как все старинные героические поэмы, распевалась жонглерами. Этим и определяется народный в основе своей характер французской литературы в средние века.

Свой облик эта литература, обильная и наивная, варварская и в то же время мудрая, как сам народ, идеальным выражением которого она была, получила из рук искуснейшего ваятеля душ человеческих — церкви. Церковь вылепила ее, как храмовую статую. Она сообщила ей основные ее черты: наивную веру, трогательную и вместе с тем жестокую ребячливость, простонародную крестьянскую тягу ко всему сверхъестественному, уродливый страх перед плотской красотой (что не мешало литературе то и дело впадать в непристойность), полную умиротворенность и абсолютную уверенность в обладании непререкаемой истиной. Эта последняя и

наиболее существенная ее особенность великолепно раскрыта Гастоном Парисом.

«Имя, которое мы дали средневековью, — пишет ученый, — само по себе указывает уже на переходный характер той эпохи; тем не менее наиболее яркой отличительной ее чертой является представление о неизменности всего сущего. В античном мире, особенно последних веков его существования, господствует убеждение в том, что все непрерывно идет к упадку; новое время, наоборот, с самого начала воодушевлено верой в бесконечность прогресса. Средневековье не знало ни этого отчаяния, ни этой надежды. Для людей той эпохи мир всегда таков, каким они его видят в данную минуту (вот почему античность в изображении средневековых художников и кажется нам столь гротескной), и в день Страшного суда он все еще будет таким же... Материальный мир рисуется их воображению как нечто постоянное и ограниченное: небо, вращающееся вместе со светилами, неподвижная земля и ад. Таков же их нравственный мир: взаимоотношения людей определяются раз навсегда установленными заповедями, которые соблюдаются то более, то менее строго, но никогда не подвергаются сомнению. Никому не приходит в голову отрицать общество, в котором он живет, или мечтать об ином, устроенном более разумно. Все хотят лишь, чтобы существующее общество наиболее полно походило на то, каким оно должно быть. Эти условия средневековья лишают поэзию многих элементов, придающих ей очарование и глубину в иные эпохи: тревожных раздумий человека о своей судьбе, мучительных поисков ответа на великие нравственные вопросы, сомнения в самих устоях, на которых зиждется представление о счастье и добре, трагических конфликтов между индивидуальными стремлениями и социальным порядком».

В чем же состоит интерес, каковы достоинства литературы, с первых ее шагов бесспорно осужденной на унижительную второстепенную роль, литературы, не знающей ни красоты формы, ни сладострастия вещного мира, ни всеобъемлющей власти Венеры и чуждой благородной страсти к познанию — этого беспокойного бро-

жения мысли, этого прекраснейшего из недугов, этого божественного чудовища, которое мы лелеем, хотя оно пожирает нас? С помощью каких волшебных чар привлекает и все еще пленяет нас богатейшее наследие средних веков, так долго затерянное в пыли библиотек и отысканное только недавно?

Обратимся к ученому, и он ответит нам. Эта забытая литература, скажет он, представляет непреходящий интерес, потому что она «наивно, но с исключительной силой выражает пламенные страсти людей феодального общества». Она интересует нас как картина «новых, сложившихся под влиянием христианства отношений между полами» и нравится нам своей неизвестной и немислимой ранее куртуазностью. Наконец мы с удовольствием находим в произведениях горожан XII века «здравый смысл, остроумие, насмешливость, тонкое добродушие и легкое изящество», — словом, все те качества, которые так свойственны нашему народу, все те дары, которыми феи наших источников и лесов осыпали Жака Простака, чтобы утешить его в бедах и горестях.

Гастон Парис заключает свою мысль следующими прекрасными словами:

«Итак, значение этой литературы, делающее занятия ею особенно интересными и плодотворными, заключается в том, что она ярче любого исторического документа характеризует нравы, идеи и чувства наших предков, живших в ту небесславную и бесполезную для нашей страны эпоху, когда в первый, но не в последний раз Франция взяла на себя по отношению к соседним странам роль руководителя и открывателя новых путей в социальной, интеллектуальной и литературной областях».

И, вторя ему, старый дуб, под которым я сижу, говорит мне:

— Читай, читай под моей сенью старинные песни, припевы которых сливались когда-то с шелестом моей листвы. В этих песнях, еще более древних, чем я сам, живет душа твоих предков. Познай их, безвестных, раздели с ними былые их радости и горести. И тогда, мгновенный человек, ты за короткие годы сумеешь прожить

века. Благоговейно чти землю отчизны. Взяв шепоть ее в руки, помни, что она священна. Люби своих прадедов, чей прах, смешавшись с этой землей, вскормил меня, чей дух вселился в тебя, их Вениамина \*. Дитя лучших дней, не упрекай их ни в невежестве, ни в робости мысли, ни в тех суеверных страхах, которые подчас делали их жестокими. Ведь с таким же правом ты мог бы упрекать и себя за то, что был ребенком. Знай: они трудились, страдали и надеялись для тебя, и ты им обязан всем!

## Л Е К С И К О Н <sup>1</sup>

Холодный и тихий дождь, медленно падающий с серого неба, стучится в мои окна легкими ударами, словно зовет меня. Он падает очень тихо, но каждая упавшая капля печально отзывается в моем сердце. И все время, пока я сижу у камина, где ярко пылает хворост, и, положив ноги на решетку, обсушиваюсь после бодрящей прогулки по полям и дорогам, этот монотонный шум дождя удерживает мою мысль в меланхолическом раздумье; я размышляю. Пора уезжать. Осень встряхивает над лесами свои влажные покровы. Этой ночью деревья жалобно гудели, вздрагивая под первыми взмахами ее крыльев в грозном небе, и вот с запада вместе с дождем и туманом надвинулась тихая печаль. Все словно онемело. Пожелтевшие листья беззвучно падают на аллеи; покорно молчат животные; слышен только шум дождя; и эта великая тишина сковывает мои уста и мою мысль. Мне ничего не хотелось бы говорить. У меня одна только мысль: пора уезжать. О нет, не мрак, не дождь и не холод гонят меня отсюда. Деревня мне мила и тогда, когда она перестает улыбаться. Я люблю ее не только когда она весела. Я люблю ее просто потому, что люблю. Разве те, кого мы любим, становятся нам

---

<sup>1</sup> Dictionnaire classique de M. G a z i e r.



менеe дороги, когда они в печали? Нет, я с грустью покидаю эти леса и виноградники. Сколько бы я ни твердил себе, что в Париже я вновь встречу милую теплоту дружеских очагов, изящные речи мэтров и все те образы искусства, которыми украшается жизнь, — мне жаль расстаться с буковой аллеей, по которой я ходил, читая стихи, с рощицей, гудевшей при малейшем порыве ветра, с большим дубом на лугу, где паслись коровы, с дуплистыми ивами на берегу ручья, с дорогой, обсаженной виноградниками, в конце которой всходила луна; мне жаль расстаться с этим покровом из листьев и неба, — под ним, словно под материнским плащом, так хорошо забываются все горести.

К тому же я всегда чрезвычайно остро переживаю разлуку. Я слишком ясно понимаю, что уезжать — это значит для кого-то или чего-то умереть. Да и что наша жизнь, как не ряд отдельных смертей? Все терять приходится не сразу, но час за часом; все покидать приходится в пути. На каждом шагу рвем мы невидимую нить, связывающую нас с людьми и вещами. Разве не значит это беспрестанно умирать? Увы! — это тяжело, тяжело, но в этом жизнь человека. Так что же, неужто снова грустить по этому поводу? Неужто выставлять напоказ свою тщетную печаль? Неужто оставаться здесь, у камина, слушать падающий дождь, глядеть, как языки пламени лижут хворост, и предаваться беспричинной скорби? Ну, нет! Я стряхну с себя эту осеннюю хворь. Я постараюсь прилежно выполнить то, что должен сделать сегодня. Я буду беседовать с вами о какой-нибудь книге; я буду говорить с вами о литературе, этой славной литературе, составляющей усладу жизни и облагораживающей ее.

Вот уже неделя, как школьники вернулись после каникул. Они пишут сейчас сочинения, изложения, переводы. Я — старый школьник и, подобно им, буду выполнять свой урок по письму. И тогда я уже не буду слышать шум дождя, зовущего меня предаться лени и сну. Кстати, я вижу забытую кем-то на столе небольшую книгу, — честный и скромный ее облик невольно внушает мысли о труде и долге. Она одета строго — в черный перкаль и светло-коричневую бумагу, — традици-

онный наряд школьного учебника. И в самом деле, это учебник, словарь; это — «Новый иллюстрированный классический словарь» г-на А. Газье, магистра факультета словесности Парижского университета. Забытый здесь с неделю тому назад каким-нибудь школьником, он уже несколько раз попалался мне в руки, и я уже не раз с большим интересом перелистывал его.

Это новая книга; отроду ей не больше полугода. Первое издание ее было в 1888 году. Но я говорю о ней, как о новой книге, имея в виду не ту показную и преходящую новизну, которая на деле нередко оборачивается безнадежной стариной. Столько книг рождается на свет старыми! В университете, как и в других местах, есть много компиляторов, много маленьких Трюбле, переписывающих друг друга. Оригинальность в области преподавания встречается, быть может, реже и достигается труднее, чем во всякой другой области. Труд г-на Газье нов по своему замыслу, по своей конструкции и по всему духу. Он задуман и выполнен совершенно оригинально. Он стоит, следовательно, того, чтобы поговорить о нем. К тому же это словарь, а у меня особая страсть к книгам этого рода.

Бодлер рассказывает, что когда он, еще будучи молодым и неизвестным, попросил однажды свидания с Теофилом Готье, маститый писатель встретил его вопросом:

— Читаете ли вы словари?

Бодлер ответил, что читает их очень охотно, и хорошо сделал, ибо Готье, поглощавший бесчисленное множество словарей по различным искусствам и ремеслам, почитал недостойным звания писателя, поэта или прозаика, всякого, кто не находил бы удовольствия в чтении лексиконов и толковых словарей. Он любил слова и знал их во множестве. Если он выразил свое одобрение Бодлеру, то как превознес бы он нашего друга, превосходного поэта Хосе-Мария де Эредиа, который во всеуслышание заявляет, что на его взгляд чтение словаря Жана Нико доставляет больше развлечения, удовольствия и волнений, нежели чтение «Трех мушкетеров»! Вот что значит воображение художника! По мнению г-на де Эредиа, алфавитный перечень дра-

гоценных камней или каталог артиллерийского музея куда занимательнее романа приключений. Что касается меня, то, хотя я и не отличаюсь такой изощренностью, как он, и обычно придаю словам только их общеупотребительное значение, я тоже часто ловлю себя на том, что отлыниваю от работы, зарывшись в какой-нибудь большой словарь, разросшийся, словно густолиственный лес: например, в лексикон Фюретьера, или Треву, или же в нашего доброго Литтре \*, такого запутанного, но столь богатого примерами. Ах, ведь слова — это образы, ведь словарь — это вся вселенная в алфавитном порядке! Если хорошенько подумать, словарь — это книга книг. Он включает в себя все другие книги, нужно лишь извлечь их из него. Ведь чем прежде всего занялся Адам, выйдя из рук бога? «Книга бытия» рассказывает нам, что первым делом он дал название каждому животному. Прежде всего он составил словарь естественной истории. Он не написал его, потому что искусство тогда еще не было. Они родились лишь вместе с грехом. Тем не менее Адам в такой же степени отец лексикографии, как и отец человечества. Странно, что античность и средние века создали так мало словарей. Лексикография в точном смысле слова появляется только с семнадцатого столетия. Но какие она сделала успехи с того времени и сколько принесла пользы! Все языки — будь то мертвые или живые, — все образовавшиеся науки, все ремесла имеют в настоящее время свои словари. Это великолепные описи, делающие честь новому времени.

Я сказал, что люблю словари. Я люблю их не только за большую пользу, приносимую ими, но и за все то, что есть в них прекрасного и величественного. Да, да, прекрасного! Да, величественного! Подумайте, ведь в этом французском словаре — г-на Газье или каком-нибудь другом — заключена вся душа нашей родины. Подумайте, на этой тысяче или тысяче двухстах страницах убогистого шрифта уместились весь гений и вся природа Франции; здесь мысли, радости, труды и горести наших предков и наши собственные, памятники общественной и личной жизни всех тех, кто дышал священным воздухом, — тем сладостным воздухом,

которым мы дышим теперь, в свою очередь; подумайте, что каждому слову словаря соответствует мысль или чувство, которые были мыслями или чувствами бесчисленного множества людей; подумайте, что все эти собранные вместе слова — дело плоти, крови и души родины и человечества.

В одной старинной эпической песне рассказывается о том, как графиня Руссильонская, дочь французского короля, смотрела с высокой башни на бой, который вели ее отец и муж из-за ее приданого. Бой был кровавым и длился весь день. Когда наступила ночь, графиня спустилась одна со своей башни и пошла взглянуть на мертвецов, «своих красавцев, дорогих своих мертвецов, лежавших на траве и покрытых росой». И песня добавляет: «Она хотела всех их поцеловать». Так вот, я тоже чувствую, как глубокая нежность охватывает мое сердце при виде всех этих слов французского языка — этого большого войска смиренных или гордых слов. Я люблю их все или по крайней мере питаю интерес ко всем, и я горячо и растроганно сжимаю в руке небольшую книжечку, в которой все они заключены. Вот почему я особенно люблю французские словари.

Я вам уже сказал, что словарь г-на Газье — новый словарь и по замыслу и по исполнению. Он вводит во французский словарь элементы общей энциклопедии. Он приводит научную терминологию, значительно разросшуюся в немногие годы. Наконец — и в этом заключается его наибольшая оригинальность — в нем есть карты и рисунки. Я с удовлетворением вижу, что университет начинает вводить в преподавание иллюстрации. В мое время, я хочу сказать, в то время, когда я ходил в коллеж, — а это было не очень давно, — преподаватели считали какие бы то ни было иллюстрации легкомысленными затеями. Мой преподаватель четвертого класса, так же как и другие, считал совершенно недопустимым, если юный классик бросал даже беглый взгляд на какой-нибудь портрет или гравюру. Я припоминаю, не без злобного чувства, как, поймав меня на том, что я рассматриваю старое издание «Сада греческих корней» \* — книгу в кожаном зернистой выделки переплете, уже порядочно истрепавшуюся в руках ка-

кого-нибудь ученика г-на Лансело, г-на Леметра и г-на Амона \*, — мой педант выхватил у меня эту книгу, долженствующую быть священной для всех, рывком раскрыл ее и разорвал фронтиспис, изображавший мальчика в античной одежде, который, толкнув решетчатую в стиле Людовика XIV дверцу ограды замка, проникает в огород, разбитый во вкусе Ленотра, в этот сад

Таких питательных корней,  
Что делают людей умней.

Это была картинка самого невинного свойства, наивная аллегория. Рисунок был хорошего стиля и гравирован достаточно четко. Отшельники Пор-Рояля не побоялись оживить им книгу, предназначавшуюся для учеников низших школ. Небольшая доза искусства не оскорбляла их аскетизма. Однако это светское украшение, допущенное святыми из новой Фиваиды, задело моего невежественного учителя. Я и теперь еще вижу, как он рвет на куски красивую гравюру своими толстыми, грязными пальцами, и через двадцать пять лет я с каким-то мстительным удовольствием предаю гласности это нелепое нападение, которое возмутит людей с хорошим вкусом.

Гонение на иллюстрации особенно пагубно сказывалось на преподавании истории. Более или менее ясное представление о народе можно составить себе только когда видишь оставшиеся после него памятники. История, представленная рисунками, — могущественное средство воздействовать на воображение. Но нам преподавали жизнь народов так, будто мы были слепыми кротоми. Приблизительно в это время появились книги г-на Виктора Дюрюи. В них уже попадались то здесь, то там изображения костюмов и зданий. Это была целая революция. Я с удовольствием вижу, что с тех пор в этом отношении достигнуты значительные успехи. В прошлом году мне довелось перелистать одну историю Греции, роскошно иллюстрированную, как мне показалось, принимая во внимание скромную цену и небольшой формат книги. Текст этой книги принадлежит перу г-на Луи Менара.

Использовать иллюстративный материал в лексикографии — это очень удачная мысль, с которой нужно поздравить г-на А. Газье. Он поместил в своем словаре около тысячи небольших гравюр, которые при надобности дополняют слишком общие и неопределенные толкования. Эти небольшие гравюры позабавили меня и просветили. Думаю, что они будут забавлять и просвещать детей, если только дети не серьезнее и не учнее меня. Но особенно хороши в этих иллюстрациях сложные рисунки. При словах «корабль», «церковь», «вооружение», «замок», «скелет», «пищеварительный (аппарат)», «локомотив», «железная дорога» и проч. и проч. даны сложные изображения с названиями составляющих их частей. Так, например, при слове «храм» мы видим соответственно расположенными неф, боковые приделы, алтарь, наружные опорные арки, контрфорсы, пиньоны, колокольню с колоколенками, резонаторами и проч. Нынешние школьники должны быть счастливы тем, что у них такие удобные и приятные книги.

## РОМАН И МАГИЯ <sup>1</sup>

Скажем откровенно, в глубине души у всех нас таится любовь к сверхъестественному. Даже самых благоразумных влекут к себе чудеса; они не верят в них, но очарование от этого не становится меньше. Да, мы, кичащиеся собственной мудростью, любим все сверхъестественное какой-то безнадежной любовью. Мы знаем, что его не существует. Мы в этом уверены; пожалуй, это — единственное, в чем мы уверены, ибо, если бы чудеса существовали, они бы перестали быть чудесами: чудо только потому чудо, что оно не происходит в действительности. Если бы мертвые в самом деле возвращались в мир живых, это стало бы естественным, а не чудесным. Если бы люди могли превращаться в животных, подобно Луцию из античной сказки, такая метаморфоза оказалась бы в природе вещей, и мы удивлялись бы ей не более, нежели метаморфозам насекомых. Нельзя выйти за пределы, поставленные природой. И уже сама по себе эта мысль может привести в полное отчаяние. Нам недостаточно возможного, мы жаждем невозможного, которое потому только и остается невозможным, что никогда не осуществляется.

---

<sup>1</sup> Apulée, romancier et magicien, par M. Paul Monceaux. Quantin, éditeur, 1 vol. in-8.

Мериме рассказал о приключении Дон-Жуана: \* прогуливаясь по берегу Тахо, тот скрутил папиросу и попросил огня у прохожего, стоявшего на противоположном берегу с горящей сигарой во рту. «Пожалуйста», — отвечал незнакомец и, протянув руку, которая удлинилась настолько, что достала до другого берега, подал Дон-Жуану зажженную сигару. Дон-Жуан не удивился этому, ибо поставил себе за правило ничему не удивляться. Будь он философ, он удивился бы не больше. Когда кто-либо из наших друзей звонит нам из Марселя в Париж и перед отплытием прощается с нами по телефону, мы не находим в этом ничего сверхъестественного, и, в самом деле, это представлялось сверхъестественным лишь в те времена, когда не было телефона. Одно из двух: либо приключение Дон-Жуана выдуманно, что вполне возможно, либо оно не выдуманно и в таком случае — столь же естественно, как наши разговоры по телефону, хотя, надо признаться, подобные приключения происходят несколько реже. Мериме дает нам понять, что загадочный курильщик был дьявол собственной персоной. Не спорю. Как видите, я и на это согласен. Но, если дьявол существует, стало быть, он — часть природы, как вы и я, ибо природа заключает в себе все сущее, и тогда надо признать естественным, что он может протянуть руку через широкую реку. И если наши руководства по физиологии молчат об этом, то потому только, что они не полны. Бесспорно, не все явления природы описаны в книгах. Иногда, прекрасными летними ночами, я гуляю по набережным Парижа; в тени гигантских черных зубчатых стен Собора Парижской богородицы я брожу вдоль темной реки, где отражаются тысячи сверкающих огней. Луна скользит меж облаков; слушаешь, как стонут под арками моста ослепляющие, но мрачные волны, и невольно думаешь обо всех ужасах жизни и о магической власти смерти. Если дьявола привлекают не только великие богохульники и добродетельные женщины, если он соблаговолит когда-нибудь ввести в соблазн и кроткого философа, он, быть может, проявит учтивость и однажды вечером протянет мне сигару с одного гранитного берега Сены на другой. Тогда, вер-



ный своим принципам, я сочту этот факт естественным и сделаю сообщение о нем в Академии наук.

Такое решение свидетельствует, я полагаю, о трезвом и здоровом уме, который не склонен ничему удивляться. И все же мне ведомо, что бывают минуты, когда холодность ума нас леденит. Бывают часы, когда не хочется быть разумным, и часы эти, признаюсь, — не самые дурные. Нелепое — одна из радостей жизни; вот почему из всех книг, созданных человеком, наиболее надежной судьбой и длительной жизнью обладают сказки, и сказки самые неправдоподобные: «Ослиная шкура», «Кот в сапогах», «Тысяча и одна ночь» и — отчего не сказать об этом прямо? — «Одиссея», которая также представляет собою сказку для детей. Путешествия Одиссея полны очаровательных нелепостей, которые вновь обнаруживаешь в «Путешествиях Синдбада-Морехода».

Все чудесное — обман. Мы знаем это и хотим, чтобы нас обманывали. Делать это становится все труднее и труднее. Добрый старый Гомер и арабские сказочники уже больше не вводят нас в заблуждение. Ныне, чтобы пленить нас, нужна богатая фантазия, ум весьма сведущий, весьма изобретательный: например, Эдгар По с его «Необыкновенными историями» или Жильбер-Огюстен Тьерри, автор «Лармора», «Марты» и «Золотистой косы», о которой мы уже говорили \* в нашей книге.

Старик Апулей — тоже недурной выдумщик; он, признаюсь, подарил мне восхитительную иллюзию чудесного. Не стану скрывать: Апулей — моя слабость. Я его люблю, хоть и не уважаю. Я очень его люблю. Он так ловко выдумывает! Он так ловко выворачивает природу наизнанку, что это зрелище переполняет нас радостью в те часы, когда мы отказываемся от здравого смысла. Он, как никто, умеет разделить и удовлетворить то извращенное влечение к нелепому, ту жажду безрассудного, которые таятся в глубине души каждого из нас! Когда гармония мира утомит вас своей неумолимой неизменностью, когда жизнь представится вам монотонной, а природа — скучной, раскройте «Золотого осла» и последуйте за Апулеем, то бишь за Луцием, по дорогам его необычайных приключений.

С первой же минуты вы попадаете в атмосферу зара­зительного безумия и сами начинаете бредить. Вы раз­деляете одержимость этого странного путника:

И вот я в сердце Фессалии, которая славится во всем мире, как страна чудес... Я не знал, куда прежде всего направ­ить свои помыслы, как удовлетворить любопытство, и взирал на каждый предмет со смутной тревогой. Ничто из того, что я видел в городе, не казалось мне на самом деле таким, как­им оно представало моим очам. Мне чудилось, что вследствие адской власти колдовских чар все здесь подверглось превра­щениям. Если на пути мне попадался камень, воображение мое видело в нем окаменевшего человека; если я слышал ще­бетание птиц, то принимал их за людей, покрытых перьями; деревья городских аллей представлялись мне людьми, одетыми листвою; бегущие источники брали, казалось, начало из чело­веческих тел. Мне мерещилось, что изображения и статуи вот­вот тронутся с места, стены заговорят, быки станут предска­зывать будущее.

Надо ли удивляться после этого, что он превратился в осла? Блаженный Августин больше чем на половину верил в это.

«Мы также, — говорит он в «Граде божьем», — да, мы также, будучи в Италии, слышали рассказы такого рода о некоторых уголках страны. Ходили слухи, будто многие кабатчицы, понаторевшие в колдовстве, порою подмешивают в сыр, подаваемый путникам, порошок, который тут же превращает их во вьючных животных. Несчастных заставляют таскать всякую кладь, а после мучительных трудов они вновь обретают прежнее об­личье. Между тем душа их не обращается в душу жи­вотного, и они сохраняют человеческий разум. Апулей в книге, которую он назвал «Золотой осел», поведал нам, что подобное приключение произошло с ним са­мим; при помощи некоего снадобья он был превращен в осла, но сохранил разум человека. Мы не знаем, со­общает ли автор о действительном факте, или же это сказка, сочиненная им».

Несомненно, Апулей сочинил сказку, сказку на гре­ческий образец; он даже не сам придумал этого Луция и историю его превращения, но привнес в нее зерно здравого смысла.

Апулей был презанятный человек, судя по тому, что пишет о нем г-н Поль Монсо в своем весьма подробном

и, думается, весьма обоснованном исследовании, читать которое, бесспорно, очень приятно.

Этот африканец, живший во времена Антонинов, обладал умом живым, быстрым, легким и блестящим, но, в сущности, не слишком оригинальным: он импровизировал и прибегал к компиляции. Если он и был безумен, то следует признать, что в те времена все были в какой-то мере безумен. Болезненное любопытство терзало воображение людей. Чудеса Аполлония Тианского приводили мир в трепет. Тревожная вера в колдовские чары смущала лучшие умы. Плутарх дозволяет призракам бродить по полям истории; твердый дух Тацита легко поддается чудесам; естествоиспытатель Плиний выказывает себя настолько же легковерным, насколько и любопытным. Флегон Тральский пишет для некоего императора, увлекавшегося астрологией, книгу под названием «Сверхъестественные события» и подробнейшим образом рассказывает в ней о том, как некая покойница покинула могильный склеп и оказалась на ложе юного чужестранца. А ведь Флегона почитали летописцем и географом!

Апулею повезло: родившись в этой легковерной среде, он обладал удивительной способностью воспринимать все нелепое и невозможное. Он изучал все науки, но извлек из этого одни только ребяческие суеверия. Физика, медицина, астрономия, естественная история — все оборачивалось у него магией. И так как он обладал живым воображением и очаровательным стилем, то ему суждено было создать лучший из фантастических романов.

Этот ловкий, легкомысленный и тщеславный человек оставил по себе память, как о маге и чудотворце. В эпоху великих религиозных споров, когда и христиане, и язычники наперебой ссылались на чудеса, отцы Церкви называли имя автора «Метаморфоз» не иначе, как с ненавистью, соединенной с ужасом. Уже Лактанций в середине III века возмущается, что Апулей нагромождает одно чудо на другое. Святой Иероним упоминает этого мага рядом с Аполлонием Тианским. Блаженный Августин, который, как мы видели, почти не отделяет самого Апулея от героя его сказки, сетует, что

подобного человека порою противопоставляют и даже предпочитают Христу. В те времена поклонники богов, клонившихся к закату, почитали риторика из Мадавры как одного из своих последних мудрецов. Нет ничего удивительного в том, что их привлекал к себе этот философ, влюбленный во все символы и причастный всем тайнам. Статуя Апулея возвышалась в Константинополе, в Зегзиппе; и вот что говорится в «Антологии» \* о человеке, чей образ она хранит: «Апулей, с мечтательным взором, славит безмолвные оргии Музы Латинской; Сирена Авзонии даровала сему, сопричастному ей человеку несказанную мудрость». Нам трудно понять, читая эти строки, что речь идет об авторе того небольшого и весьма вольного волшебного романа, которым, не скрою, я наслаждаюсь в сумасбродные свои дни. И куда приятнее нам портрет, созданный г-ном Полем Монсо, который более умерен в похвалах и рисует удивительного Апулея в облике искусного риторика, человека, отличающегося «кричащей красотой южанина» и вместе с тем несколько простоватого, гордеца и красноречивого, умеющего покорять слушателей, обманщика, удивительно ловко обманывающего и других и самого себя, человека, который внушает веру во что угодно и сам тоже верит в это.

И все же, мне кажется, что в дошедших до нас его творениях время от времени попадаются страницы, отмеченные поистине философской значительностью: в них словно слышны последние отзвуки той греческой мудрости, которая так и осталась непревзойденной. Я уже давно не перечитывал небольшой трактат, носящий название «Демон Сократа». Но я сохранил о нем приятные воспоминания. Как вам известно, Апулей верил в демонов. Демоны, говорил он, живут в воздушных просторах, вплоть до первого круга Луны, где начинается область эфира.

Все это — вполне допустимые грезы. Люди были бы крайне несчастны, если бы им запрещали грезить о непознаваемом. Но, когда я в свое время читал трактат «Демон Сократа», меня больше всего умилило там определение человека; я даже выписал это место. Весьма кстати я обнаружил его среди старых бумаг, что

тоже в некотором роде чудо, ибо я никогда не храню их и никогда в жизни хранить не буду: до такой степени исписанная бумага наполняет меня отвращением и тоской. Вот как определяет Апулей человеческие свойства:

«Люди действуют, повинаясь разуму, и сильны благодаря дару речи; они обладают бессмертной душой, но тленной плотью, живым и беспокойным умом, неуклюжим и немощным телом, несхожими нравами, одинаковыми заблуждениями; их отличает упорная отвага и упрямая надежда; занятия их суетны, судьба непостоянна; они смертны каждый в отдельности, но род их бессмертен, ибо одно поколение сменяет другое; век людской краток; мудрость приходит к человеку слишком поздно, а смерть слишком рано. Свою горестную жизнь они проводят на земле».

Разве не звучит в этих словах мужественная печаль, напоминающая ту, которой проникнут первый афоризм Гиппократа? \*

Ну, а сам этот небольшой роман, живописной нелепостью и поразительными чудесами которого я только что восхищался, разве он не философичен на свой лад весь целиком, не исключая вольностей? Разве не выступает Апулей в «Метаморфозах» искусным толкователем догм палигенезии? \* Разве не излагает он в форме занимательного романа доктрину, толкующую об испытаниях и искуплениях на протяжении ряда последовательных существований? И не является ли само превращение Луция наглядным выражением тех трудных процессов человеческой жизни, тех изменений, что непрерывно преобразуют сложные составные элементы нашего «я», которое непрерывно познает, вернее, пытается познать себя? Не таится ли в этой книге, щеголяющей увлекательным безрассудством, скрытая мудрость? Как знать?

## ИЗ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ»

(Серия третья)

### ПРЕДИСЛОВИЕ

Господин Фердинанд Брюнетьер, к которому я весьма расположен, предъявляет мне серьезные обвинения<sup>1</sup>. Он упрекает меня в том, что я, мол, не признаю основных законов критики, что я не обладаю критерием для оценки творений духа, что я порхаю среди противоречий, послушный своим склонностям, что я не могу отрешиться от субъективности, что я заперт в собственном «я», как в мрачной темнице. Я отнюдь не сетую на то, что на меня так нападают, напротив, меня радует этот благородный спор — все в нем льстит моему самолюбию: и достоинства моего противника, и суровость критики, за которой скрывается большая снисходительность, и значительность затронутых вопросов, ибо, как говорит г-н Брюнетьер, речь идет не более, не менее, как о духовном будущем нашей родины, и, наконец, даже самый выбор моих сообщников — г-на Жюля Леметра и г-на Поля Дежардена \*, объявленных, как и я, виновными в субъективной, слишком личной критике, а также в развращении молодежи. Мне всегда импонировал и продолжает импонировать ум

---

<sup>1</sup> См. «Revue des Deux Mondes» от 1 января 1891 г. (la Critique impersonnelle par M. Ferdinand Brunetière, pp. 210 à 224).

г-на Жюля Леметра — его живость, его поэтическая открытость в сочетании с чарующей ясностью. Господин Поль Дежарден возбуждает мой интерес проблесками тонкой чувствительности. Будь мне присуща хоть малейшая изворотливость, я бы, разумеется, поостерегся и не стал бы выделять свое дело из их дела. Но, истины ради, я вынужден заявить, что не понимаю, почему мои преступления являются их преступлениями, а мои пороки — это их пороки. Господин Леметр обладает восхитительной способностью раздваиваться; он видит все «за» и все «против», он последовательно переходит на прямо противоположные точки зрения; уловки изощенного ума сменяются усердием ума наивного. Он ведет диалог с самим собой и говорит от лица самых разнообразных персонажей. В нем сильно развита способность понимать любое явление. Ему близки гуманисты прошлого и писатели современности. Он чтит традиции и любит новое. Он вольнодумец, но питает склонность к религиям. Критика его снисходительная, даже когда он иронизирует, — если хорошенько разобраться, довольно объективна. А когда он, сказав все, что хотел, добавляет: «Что знаю я?» \* — то это всего лишь деликатность философа. Никак не возьму в толк, что в манере г-на Леметра вызывает недовольство г-на Брюнетьера, разве только внушающая опасения жизнерадостность этого молодого фавна.

Что до г-на Поля Дежардена, то его уж никак не упрекнешь в чрезмерном легкомыслии и жизнерадостности. Думаю, он не прогневется, если я скажу, что он больше походит на апостола, нежели на критика. Это человек изысканного ума, но прежде всего — это пророк. Он суров. Он хочет, чтобы перестали писать. Для него литература подобна апокалипсическому зверю. Удачно написанная фраза кажется ему угрозой обществу. Он напоминает мне мрачного Тертуллиана, который утверждал, что пресвятая дева никогда не была красивой, в противном случае она возбуждала бы желание, чего нельзя себе представить. По мнению г-на Поля Дежардена, любой стиль — это зло. И все-таки у г-на Поля Дежардена есть стиль, — это только подтверждает, что человеческая душа являет собой

бездну противоречий. При таких настроениях излишне спрашивать у него, какого он держится мнения о предметах столь легкомысленных и мирских, как литература. Он отнюдь не критикует, он беззлобно предаёт анафеме. Бледный и меланхоличный, он шестует, с умилением разбрасывая проклятия. В силу каких превратностей судьбы пала на него часть обвинений, выдвинутых против меня в то самое время, когда он в своих статьях и лекциях заявляет, что я бесплодная смоковница из Священного писания? Не должен ли он, трепеща от ужаса, крикнуть тому, кто обвиняет нас обоих:

— *Judica me, et discerne causam meam de gente non sancta!*<sup>1</sup>

Итак, справедливость требует, чтобы я защищался в полном одиночестве. Попытаюсь это сделать, но прежде всего я хочу воздать должное мужеству моего противника. Господин Брюнетьер — воинственный критик редкой отваги. Это полемист наполеоновской школы и последователь великих полководцев, которые знают, что защищаться и одерживать победы можно только, перейдя в наступление, и кто позволяет себя атаковать — уже наполовину побежден. Вот он и атаковал меня в моей рощице, на берегу моего чистого ручейка. Это опасный противник. Пущены в ход и когти и зубы, не считая хитростей и коварства. Я хочу лишь сказать, что в полемике он прибегает к различным средствам и не гнушается интуитивным методом, если дедуктивного недостаточно. Я и не думал мутить воду его ручья. Но ему свойствен дух противоречия, и он даже чуть-чуть драчлив. Это недостаток храбрых, и г-н Брюнетьер мне очень нравится именно таким. Разве Никола, наш общий учитель, не сказал: \*

Нам дорог вспыльчивый, стремительный Ахилл<sup>2</sup>.

Если я вынужден буду сражаться с г-ном Брюнетьером, мне не поздоровится. Не стану указывать на

---

<sup>1</sup> Суди меня и разбери мое дело с народом, лишенным святости (*лат.*).

<sup>2</sup> Перевод Э. Линецкой.



слишком явное и бросающееся в глаза неравенство сил. Скажу лишь об одном обстоятельстве совершенно особого рода: дело в том, что он считает мою критику никому не годной, я же считаю, что его критика превосходна. Таким образом, я вынужден ограничиться тем способом обороны, который, как мы только что отмечали, все стратеги считают плохим. Я высоко ценю основательные критические сооружения г-на Брюнетьера, — меня восхищает здесь и солидность кладки и величие замысла. Недавно я познакомился с лекциями, прочитанными этим искусным наставником Высшей Нормальной школы \* об эволюции жанра критики от Возрождения до наших дней, и, не испытывая ни малейшей досады, заявляю во всеулышание, что идеи в них изложены весьма методично, умело, убедительно и по-новому систематизированы. Их тяжелая, но уверенная поступь напоминает знаменитый маневр римских легионеров, которые шли на штурм города сомкнутым строем, под прикрытием щитов. Это называлось «черепахой» и выглядело грозно. Но не скрою, что к моему восхищению примешалось некоторое удивление, когда я увидел, куда направляется эта армия идей. Господин Фердинанд Брюнетьер намеревается применить в литературной критике эволюционную теорию. И, хотя намерение это само по себе интересно и достойно похвалы, мы все-таки не забыли, с какой энергией, еще совсем недавно, этот критик из «Ревю де Де Монд» ратовал за то, чтобы подчинить науку морали и парализовать влияние какой бы то ни было доктрины, основанной на естественных науках. Речь шла в ту пору об «Ученике», и всем известно, как нетерпимо относился тогда г-н Брюнетьер ко всем, кто пытался применить идеи трансформизма к какой-нибудь области психологии или социологии. Он отвергал идеи Дарвина во имя непреложной морали \*. «Эти идеи, — заявлял он категорично, — наверняка ложны, раз они опасны». А теперь свой новый метод критики он строит из эволюционной теории. «Мы намерены лишь, — говорит он, — получить от Дарвина и Геккеля такую помощь, какую господин Тэн получил от Жоффруа Сент-Илера и Кювье». Я знаю, что одно

дело проповедовать, как г-н Сикст, что преступники не несут ответственности за свои преступления и провозглашать полное пренебрежение к вопросам морали, и совсем иное дело — применять к литературным жанрам законы, определяющие эволюцию животных и растительных видов. Я вовсе не хочу сказать, что г-н Брюнетьер опровергает себя и противоречит себе. Я лишь отмечаю одну черту его характера, свойство его натуры, заключающееся в том, что, несмотря на логический склад ума, он легко увлекается самыми неожиданными и непредвиденными вещами. Однажды кто-то сказал, что он склонен к парадоксам, и это сочли иронией, настолько утвердилась за ним репутация человека весьма рассудительного. Но, подумав, убеждаешься, что он и вправду, по-своему, склонен к парадоксам. Он чрезвычайно искусен в доказательствах: у него постоянная потребность доказывать и иной раз он упрямо отстаивает самые необычные и даже удивительные точки зрения.

По воле какого злого рока я должен был полюбить его и восхищаться критиком, столь чуждым мне по взглядам! Для г-на Фердинанда Брюнетьера существует только два вида критики: субъективная, то есть плохая, и объективная, то есть хорошая. По его мнению, г-н Жюль Леметр, г-н Поль Дежарден и я грешный одержимы субъективностью, а это худшее из зол, ибо субъективность порождает иллюзии, чувственность, распушенность, и произведения человеческого духа начинают оценивать в зависимости от удовольствия, которое они доставляют, а это ужасно. Ибо ни одно произведение искусства не должно доставлять удовольствие, прежде чем ты не убедился, что это удовольствие разумно; ибо человек, будучи животным разумным, прежде всего должен рассуждать разумно, ибо необходимо быть разумным, но нет необходимости испытывать удовольствие; ибо человеку присуща потребность учиться при помощи диалектики, — она одна непогрешима, ибо в конце всякого рассуждения должна быть истина, как на конце заплетенной косы должен быть бант, ибо без этого рассуждение рассыплется, а нужно, чтобы оно

не рассыпалось; ибо несколько таких рассуждений должны быть связаны воедино и образовать несокрушимую систему, которая проживет лет десять. Вот почему хороша только объективная критика.

Господин Фердинанд Брюнетьер считает всякую иную критику обманом и ложью. Он приводит много доводов в подтверждение этого. Но прежде всего я, конечно, обязан воспроизвести текст, вменяемый мне в вину. Вот выдержка из «Литературной жизни»:

«Не существует объективной критики, как не существует и объективного искусства, а все те, кто думают, будто они отражают в своих произведениях что-либо иное, кроме самих себя, — жертвы самой ложной философии. Никак нельзя уйти от самого себя, «я» — это истина. И это наша величайшая беда. Чего бы мы ни дали, чтобы хоть на минуту увидеть небо и землю глазами мухи или воспринять природу грубым и примитивным умом орангутанга. Но в этом нам отказано. Мы на всю жизнь замурованы в своей личности, как в тюремной камере. И лучшее, что нам остается делать, это, по-моему, беспрекословно подчиниться ужасному положению вещей; всякий раз, когда у нас нет сил молчать, мы говорим о самих себе»<sup>1</sup>.

Прочитывая эти строки, г-н Брюнетьер тотчас же замечает: «...трудно утверждать более решительно, будто все в мире недостоверно». Я смог бы ему возразить, что нет никакого противоречия, как и никакого открытия в утверждении, что мы обречены воспринимать предметы только через впечатление, которое они на нас производят. Эту истину можно установить путем наблюдений, и она столь очевидна, что все человечество ее ощущает. Вот общее место натурфилософии! Не следует уделять этому слишком много внимания, а главное, не нужно считать это доктринерским пирронизмом. Признаюсь, я не раз склонялся на сторону абсолютного скептицизма. Но я так никогда и не принял его, ибо боялся ступить на зыбкую почву, которая засасывает все, что на нее ни поставишь. Я побоялся двух слов — таких ужасающе безнадежных: «Я сомневаюсь». Сила

---

<sup>1</sup> «Литературная жизнь», 1-я серия, стр. 1.

их такова, что уста, хоть раз убежденно произнесшие их, останутся запечатанными навсегда и не отверзнутся более. Если вы сомневаетесь, молчите; ибо, что бы вы ни говорили, — говорить — значит утверждать. И так как у меня не хватало мужества ни чтобы молчать, ни чтобы отречься, я захотел верить и поверил. Поверил по крайней мере в то, что все в мире относительно и что все явления последовательно связаны между собой.

В самом деле, реальность и видимость — одно и то же. Для того чтобы любить и страдать, в этом мире достаточно представлений; они не нуждаются в том, чтобы объективность их была доказана. Как бы вы ни воспринимали жизнь, пусть даже вы считаете ее сном

о сновидении, вы живете. Только это и нужно для создания наук, искусства, морали, импрессионистской критики и, если вам так угодно, критики объективной. Господин Брюнетьер полагает, что можно по своему желанию расставаться с самим собой и покидать свою оболочку, подобно тому старому нюрнбергскому ученому \*, об удивительных приключениях которого недавно рассказал нам этот маг, г-н Жозефен Пеладан. Сей ученый, целиком поглощенный вопросами эстетики, покидал по ночам свою брэнную оболочку: и его астральное тело, отделившись, отправлялось сравнивать ножки спящих красоток с ногами Венеры Праксителя. «Заблуждение, — утверждает г-н Брюнетьер, — если уж допустить, что мы заблуждаемся, заключается в самой мысли, будто мы не можем уйти от самих себя, — тогда как, напротив, мы всю жизнь только это и делаем. И довод мой, бесспорно, покажется еще более веским, если вы осознаете, что иначе не было бы ни общества, ни языка, ни литературы, ни искусства». И он добавляет:

«Мы люди... и люди главным образом потому, что обладаем способностью уходить от самих себя и искать, обнаруживать и узнавать себя в других...»

«Уходить» — это сильно сказано. Мы — в пещере и видим призраки пещеры. Жизнь без этого была бы слишком печальна. Она приобретает прелесть и значение лишь благодаря теням, скользящим по поверхности

стен, которыми мы окружены, теням, похожим на нас самих; мы пытаемся мимоходом узнать их, а иной раз и полюбить.

В действительности мы воспринимаем мир лишь посредством наших чувств, которые изменяют его и окрашивают по своему произволу. Г-н Брюнетьер не оспаривает этого; напротив, он опирается на эти условия познания, чтобы обосновать свою теорию объективной критики. Заметив, что все люди получают через свои органы чувств более или менее сходные впечатления от внешнего мира, так что круглый предмет никому не может показаться квадратным, заметив, что процесс восприятия протекает у одного человека точно так же, как у другого, иначе говоря, совершенно сходно, независимо от уровня умственного развития, — а это и является первоосновой здравого смысла, — г-н Брюнетьер опирается в своей критике на всеобщее согласие. Но он сам замечает, что это шаткая опора. Ибо если согласия довольно для создания и существования общества, то его уже мало, когда речь идет об определении превосходства одного поэта над другим. Не подлежит сомнению, что люди достаточно схожи между собой, чтобы каждый из них мог найти на рынке и базарах большого города все необходимое для жизни; но мало вероятно, чтобы два человека из одной и той же местности совершенно одинаково воспринимали какой-нибудь стих Вергилия.

Есть в математике своего рода высшие истины, которые все мы принимаем именно потому, что они сами собой разумеются. Однако физики вынуждены считаться с тем, что называют в опытных науках собственным решением. Одно и то же явление природы не воспринимается совершенно одинаково двумя разными наблюдателями.

Господин Брюнетьер не может закрывать глаза на то, что «собственное решение» нигде не действует так свободно, как в чудесных областях искусства и литературы.

Здесь никогда не бывает ни всеобщего согласия, ни устойчивого мнения. Это он признает или по крайней мере начинает признавать: «Не говоря уже о совре-

менниках, ибо всем известно, что мы не можем взглянуть на нашу литературу издали или сверху, какое множество и притом самых разнообразных мнений высказано людьми на протяжении трехсот — четырехсот лет о Корнеле или о Шекспире, о Сервантесе или о Рабле, о Рафаэле или Микеланжело! Как не существует такого вздорного или нелепого мнения, которое не отстаивал бы какой-нибудь философ, так же не существует ни одного возмутительного или оскорбительного мнения о гении, которое не было бы оправдано именем какого-нибудь критика». И чтобы доказать, что великие люди не могут надеяться на справедливую оценку со стороны равных себе, он сообщает нам, что Ронсар оскорблял Рабле, а Корнель открыто предпочитал Бурсо Расину. Ему следовало бы еще назвать Ламартина, презрительно отзывавшегося о Лафонтене, он мог бы также упомянуть Виктора Гюго, который был весьма дурного мнения обо всех наших классиках, за исключением Буало, — к нему на склоне лет он стал питать некоторую нежность.

Словом, г-н Брюнетьер согласен, что существует много противоречащих одно другому мнений в Республике изящной словесности. Напрасно идет он потом на понятный и решительно заявляет нам, что «неверно, будто мнения в этом вопросе столь разнообразны, а разногласия столь глубоки». Напрасно, ссылаясь на г-на Жюля Леметра, он утверждает, будто для всех просвещенных людей одни писатели существуют, невзирая на все их недостатки, а другие не существуют. К примеру, Вольтер — автор трагедии существует, а Кампистрон не существует, равно как и аббат Леблан и г-н де Жуи. Это первый пункт, по которому г-н Брюнетьер требует уступок, но мы ему не уступим, ибо если бы мы начали составлять эти два списка, то никогда не пришли бы к согласию.

Второй пункт, который он отстаивает, заключается в том, что существуют ранги, соответствующие чинам, которые жалуют таланту на факультетах грамматики и риторики. Понятно, что такого рода дипломы полезны для порядка и правильного распределения славы. К сожалению, они теряют большую часть своей ценности

из-за человеческих разногласий; и эти докторские свидетельства, эти звания на чин, которые, как кажется г-ну Брюнетьеру, пользуются всемирным признанием, имеют значение лишь для тех, кто их присуждает.

Чисто теоретически можно представить себе критику, которая рождена наукой и обладает ее неоспоримостью. От нашего представления о космических силах и небесной механике, возможно, зависит наше восприятие этики г-на Мориса Барреса \* и просодии г-на Жана Мореаса. Все связано во вселенной. Но в действительности звенья этой цепи местами так переплелись, что даже сам дьявол не сумел бы их распутать, хоть он и великий логик. И потом, нужно в этом признаться, человечество, не в пример Пти-Жану \*, хуже всего знает свое начало. Нам не хватает знания основ во всем и главным образом в области творений духа. А сегодня, что бы там ни говорили, трудно представить себе, что критика когда-нибудь будет обладать неоспоримостью позитивной науки, — напротив, можно с полным основанием считать, что это время никогда не настанет. Тем не менее великие философы древности, строя свои теории мироздания, обычно завершали их поэтикой — и они поступали мудро. Гораздо лучше говорить, пусть даже без полной уверенности, о прекрасных мыслях и прекрасных формах, чем молчать о них. Немногие вещи в мире подчинены науке до такой степени, что могут быть выражены или предвосхищены ею. И, разумеется, ни одна поэма, ни один поэт никогда не будут принадлежать к этой категории явлений. То, что больше всего волнует нас, что кажется нам самым прекрасным и самым желанным, как раз относится к тем вещам, которые навсегда останутся для нас неясными и отчасти таинственными. Красота, добродетель, гений навсегда сохраняют свою тайну. Ни чары Клеопатры, ни красота Франсиска Ассизского, ни поэзия Расина не могут быть превращены в формулы, а если эти явления и состоят в ведении науки, то науки, которая сродни искусству, — интуитивной, беспокойной и всегда незавершенной. Такая наука, вернее искусство, существует — это философия, мораль, история, критика, — словом, вся прекрасная повесть о человечестве.

Всякое поэтическое произведение или произведение искусства во все времена являлось предметом споров, и, быть может, самая большая прелесть прекрасного именно в том и заключается, что оно остается спорным, ибо, сколько бы это ни отрицали, все прекрасное спорно. Господин Брюнетьер не желает полностью примириться с этой всеобщей и неизбежной неопределенностью. Она слишком претит его властному и методичному разуму, который стремится все классифицировать и по всякому поводу выносить суждения. Пусть судит, раз уж он такой рассудительный. И пусть выдвигает свои доводы сплоченным грозным строем «черепахи», раз уж он такой воинственный критик.

Но да не взыщет он, если некий простодушный критик подойдет к вопросам искусства не столь сурово, не столь логически последовательно, как он, и в речах его будет меньше рассудительности, а главное меньше рассуждений, если он сохранит в ней непринужденный тон беседы и легкую поступь гуляющего человека, останавливаясь где ему вздумается, а иной раз пускаясь в откровенность; если он будет следовать своим вкусам, своим фантазиям, даже своему капризу, — но при условии, что он останется правдивым, искренним и доброжелательным; если он не будет все знать и все объяснять; и, признавая неизбежное разнообразие мнений и чувств, будет охотнее всего говорить о том, что достойно любви.



## ГРОСВИТА В ТЕАТРЕ МАРИОНЕТОК

Я уже как-то признавался: люблю марионеток, а особенно мне нравятся куклы господина Синьоре. Те, кто их делает, — артисты, те, кто их показывает, — поэты. Полные наивного изящества и божественной угловатости, они — словно статуи, которые согласились побыть куклами, и можно лишь восхищаться, глядя, как эти маленькие идолы разыгрывают пьесы. Учтите также: они сделаны именно для того, что они делают, их природа соответствует их назначению, и они достигают совершенства безо всяких усилий.

Как-то вечером на сцене одного большого театра я видел некую даму, весьма талантливую и достойную всяческого уважения, которая облачилась в наряд королевы и читала стихи, стараясь выдать себя за сестру Елены и небесных Близнецов \*. Однако нос у нее был курносый, и по этому признаку я сразу догадался, что она — не дочь Леды. И вот, что бы она ни говорила и что бы ни делала, я ей не верил. Все удовольствие мои было испорчено. Марионетки же никогда не заставляют вас испытать такое неловкое чувство. Они созданы по образу и подобию дочерей мечты. К тому же у них есть тысяча других замечательных качеств, которые мне трудно выразить словами, настолько они неуловимы, но которыми я с восторгом наслаждаюсь. Послу-

шайте: то, что я хочу сказать, не очень, быть может, понятно, но я все же скажу это, потому что только так можно передать мое ощущение. Эти марионетки похожи на египетские иероглифы, то есть на нечто таинственное и чистое, и когда они разыгрывают пьесу Шекспира или Аристофана, мне кажется, будто священные письма постепенно покрывают стены храма, запечатлевая мысль поэта. Словом, я чту их божественную невинность и уверен, что если бы старик Эсхил, который верил в чудесное, вернулся на землю и посетил Францию по случаю нашей Всемирной выставки, он поручил бы играть свои трагедии труппе господина Синьоре.

Мне очень хотелось высказать все эти мысли, ибо, говоря откровенно, я думаю, что никому другому они не пришли бы в голову, и я полагаю, что это мое пристрастие — единственное в своем роде. Марионетки в точности соответствуют моему представлению о том, чем должен быть театр. А это представление, признаться, весьма необычно. Я хотел бы, чтобы театральное действие оставалось настоящей игрой и напоминало чем-то нюрнбергские шкатулки, игрушечные ноевы ковчеги и циферблаты старинных часов с движущимися фигурами. Но я хотел бы также, чтобы эти наивные образы были символами, чтобы некая магическая сила приводила в движение бесхитростные фигурки и чтобы, наконец, все это оказалось волшебной игрушкой. Такой вкус представляется странным, и, однако же, следует признать, что Шекспир и Софокл в достаточной степени удовлетворяют ему.

Театр марионеток показал нам на днях пьесу, написанную во времена императора Оттона, в саксонском монастыре, в Гандерсгейме, молодой монахиней по имени Гросвита, что означает Белая Роза, или, пожалуй, Ясный Голос (ученые колеблются в этом пункте, поскольку читать по-старосаксонски не так-то просто, что меня глубоко огорчает).

В те времена лицо Европы было угрюмое, густо обросшее волосами. Мрачны были дела, суровы были души. Люди, одетые в стальные рубашки, с остроконечными касками на головах, что делало их похожими на

огромных щук, беспрестанно воевали, и по всему христианскому миру только и слышны были удары копий да звон шпаг. Строились мрачные церкви, украшенные страшными и трогательными изображениями, вроде тех, что рисуют маленькие дети, когда они пытаются представить людей или животных. И, подобно детям, старые каменотесы времен императора Оттона и короля Людовика Заморского \* переживали все те радости неожиданных открытий, которые дает только невежество. Капители колонн они украшали фигурами ангелов, у которых руки были больше тела, потому что ведь очень трудно поместить все пять пальцев на небольшом пространстве, — и все же эти руки были чудом. И добрые мастера, наверное, радовались, глядя на свои творения, которые были ни на что не похожи и вместе с тем напоминали что угодно.

Огромные птицы, драконы и чудовищные человечки романской скульптуры, а также свирепые, полные всяческой чертовщины миниатюры в манускриптах, — вот и все, что могло дать Гросвите представление о красоте искусства. Но у себя в келье она читала Теренция и Вергилия, и у нее была нежная, веселая и чистая душа. Она сочиняла поэмы, чем-то напоминавшие тех ангелов, у которых руки больше тела, но которые невольно трогают нас каким-то особым своим непритворным обликом — невинным и блаженным.

Для этих женщин, запертых в монастыре, играть пьесы было большим развлечением. Благородные и образованные девицы часто устраивали в своих обителях театральные представления. Они обходились без костюмов, без декораций. Лишь нацепляли фальшивые бороды, изображая мужчин. Гросвита сочиняла пьески, которые она разыгрывала со своими сестрами-монашенками, и пьески эти, написанные несколько искусственным и бедноватым, но довольно милым латинским языком, представляют собою, несомненно, самые очаровательные диковинки, которыми может ныне развлекаться ум, способный воспринять дуновения, ароматы и образы прошлого.

Гросвита была исправной монахиней, целиком преданной своему обету; она не представляла себе лучшей жизни, чем жизнь в монастыре. И, сочиняя свои пьесы, она имела один лишь помысел — прославить целомудрие. Но ей было ведомо, каким опасностям подвергается в этом мире ее возлюбленная добродетель, и пьесы ее показывают нам все обиды и оскорбления, угрожающие непорочным девам. Благодетельные жития святых, откуда она черпала свои сюжеты, могли дать ей для этого немало материала. Известно, какие атаки пришлось выдержать всем этим Агнесам, Варварам, Екатеринам и прочим невестам Христовым, которые на белое одеяние целомудрия прикололи алую розу мученичества. Набожная Гросвита не боялась выставлять напоказ ярость мужчин, охваченных страстью. Подчас она высмеивала их с очаровательной неловкостью. Так, она показывает нам язычника Дульциция, готового броситься, аки лев рыкающий, на трех девственных христианок, к которым он вожделеет одновременно. Думая попасть в комнату, где они заперты, он врывается, к счастью, в кухню. В каком-то умопомрачении хватает он посуду и иступленно покрывает ее поцелуями. Одна из дев наблюдает за ним через щелку в двери и рассказывает подругам, что происходит у нее перед глазами.

— Вот он нежно прижимает к груди чугушки, — говорит она, — а сейчас страстно целует котлы и сковородки... А его лицо, руки, одежда уже до того запачканы, так черны, что он совсем похож на эфиопа.

Такое изображение страсти можно было безо всякого страха показывать гандерсгеймским монашкам. Но иногда Гросвита представляет любовное вожделение в более трагическом свете. Ее драма о Каллимахе, при всей своей готической сухости, полна терзаний любви, которая сильнее смерти. Герой трагедии — Каллимах — страстно влюблен в Друзиану, самую прекрасную и добродетельную даму Эфеса. Друзиана — христианка; чувствуя, что вот-вот поддастся искушению, она зовет о спасении к Христу. Вняв ее мольбе, бог ниспосылает ей смерть. Каллимах узнает о кончине возлюб-

ленной лишь после того, как ее похоронили. Ночью он является на кладбище, вскрывает гроб, отбрасывает саван. Он говорит:

— Как искренне я тебя любил. Ты же всегда отвергала меня, никогда ты не хотела уступить моим желаниям.

И, сорвав покойницу со смертного одра, он сжимает ее в объятиях, испуская жуткий победный клик:

— Теперь она моя!

Впоследствии Каллимах становится великим святым и любит уже одного только бога. И все же он явил гандерсгеймским девственницам ужасающий пример любовного исступления и смятения души. Монахини времен Оттона Великого, разумеется, не ставили свою непорочность под защиту неведения. Две благочестивые комедии сестры Гросвиты переносят их воображение в обитель порока. Я имею в виду Пануфтия и того Авраама, историю которого нам дважды показывали марионетки с улицы Вивьен. Обе пьески — их сюжет заимствован из житий святых восточных стран — изображают праведника, не боящегося пойти к куртизанке, дабы наставить ее на путь истинный.

Так часто поступали добрые пастыри в Египте и Сирии, тем самым за несколько столетий предвосхитив проповеди блаженного Робера Арбриссельского \*. Пануфтий саксонский поэтессы почти точно воспроизводит имя Пафнутия, столь хорошо известного г-ну Амелино \* (к нему мы вернемся ниже). Что касается святого Авраама, то это отшельник из Сирии, житие которого было написано на сирийском языке святым Ефремом.

Достигнув старости, он жил одиноко в маленькой хижине, как вдруг умер его брат, оставив дочь по имени Мария — девушку неописанной красоты. Будучи уверен, что его образ жизни как нельзя лучше подходит и для племянницы, Авраам велел соорудить для нее келью рядом со своей хижинкой, откуда он наставлял ее через специально проделанное окошко.

Он заботился о том, чтобы она постилась, совершала бдения и пела псалмы. Но вот, пока Авраам, этот святой человек, размышлял над Священным писанием, к

Марии приблизился какой-то монах (полагают, что то был не настоящий монах) и ввел девицу во грех. И тогда она сказала себе:

— Раз уж я погибла для дела божия, мне лучше уйти в другое место, где меня никто не знает.

И, покинув свою келью, она отправилась в соседний город, как полагают, Эдессу, где были роскошные сады и бассейны с прохладной влагой, — город этот и поныне остается самым приятным во всей Сирии.

Тем временем святой Авраам сидел, погруженный в глубокие размышления. Много дней протекло уже после ухода племянницы, когда он открыл свое окошко и спросил:

— Мария, отчего же ты не поешь больше псалмов, которые ты так хорошо пела?

И, не получив ответа, он догадался, в чем дело, и воскликнул:

— Злой волк унес мою овечку!

Два года пребывал он в глубокой скорби. Затем ему стало известно, что племянница его ведет дурную жизнь. Стараясь действовать осмотрительно, он попросил своего друга сходить в город, чтобы разведать в точности, как обстоят дела. Друг этот донес ему, что Мария действительно ведет весьма дурную жизнь. Услышав это, святой человек попросил своего приятеля одолжить ему рыцарское платье и привести коня. Надев, чтобы не быть узнанным, огромную шляпу, наполовину закрывавшую ему лицо, он направился на постоялый двор, где, как ему сказали, поселилась его племянница. Он озирался по сторонам, ища глазами девушку, но поскольку та не появлялась, спросил у хозяина, притворно улыбаясь:

— Хозяин, говорят, у вас тут есть красивая девица. Как бы мне ее повидать?

Желая услужить гостю, хозяин послал за Марией, которая вошла в таком одеянии, что, как рассказывает святой Ефрем, можно было сразу догадаться о ее занятии. При взгляде на нее у божьего человека защемило сердце. Однако он притворился веселым и заказал богатый ужин. В тот вечер Мария была в мрачном состоя-

нии духа, и вид этого старика, которого она не узнавала, ибо тот не снимал своей шляпы, отнюдь не располагал ее к веселью. Хозяин пристыдил ее за такую нелюбезность, столь не соответствующую обычаям ее ремесла, но она отвечала со вздохом:

— Ах, боже мой, почему не умерла я три года тому назад!

Святой Авраам попытался заговорить с ней языком рыцаря, подобно тому, как раньше он надел рыцарскую одежду.

— Дочь моя, — сказал он, — я здесь не затем, чтобы оплакивать твои грехи, но чтобы разделить любовь твою.

Когда же хозяин оставил их наедине, он отбросил притворство и, сняв шляпу, сказал ей со слезами:

— Мария, дочь моя, разве ты не узнаешь меня? Разве я не тот самый Авраам, что был тебе вместо отца родного?

Тут он взял ее за руку, и целую ночь он убеждал ее покаяться. Более всего опасаясь привести ее в отчаяние, он то и дело повторял:

— Дочь моя, один лишь бог безгрешен!

Мария была доброй от природы. Она согласилась вернуться к нему. Ей хотелось взять с собой платья и драгоценности. Но Авраам разъяснил, что пристойней их оставить. Он посадил ее на своего коня и привез в келью, где оба они вернулись к прежней жизни. Только на этот раз святой человек позаботился о том, чтобы келья Марии не имела отдельного выхода и из нее можно было бы выйти, лишь пройдя через его собственное обиталище, и так, с божьей помощью, ему удалось устеречь свою овечку. Рассудительный Тильмон не только сообщает все эти факты в своей истории, но он устанавливает к тому же точную хронологию событий. Мария согрешила со лжемонахом и поступила на службу в эдесский постоялый двор в 358 году. Она была вновь водворена в свою келью в 360 году и умерла там, закончив жизнь достойно и в совершенной святости, в 370 году. Таковы точные даты. Греческая

церковь празднует день святой Марии Затворницы 29 октября. В католическом мартирологе этот праздник отмечается 16 марта.

На этот сюжет Белая Роза из Гандерсгейма, желая показать конечное торжество целомудрия, и сочинила пьесу, полную наивности и смелости, варварства и изящества, и играть эту пьесу могли только саксонские монахини времен Оттона Великого или марионетки с улицы Вивьен.



## РАБЛЕ <sup>1</sup>

Доводилось ли вам осматривать какой-либо величественный памятник старины в обществе ученого, который по случайности оказывался к тому же человеком умным и тонким, способным мыслить, видеть, чувствовать и воображать? Случалось ли вам бродить, к примеру, среди грандиозных развалин замка Кузи вместе с г-ном Анатолем де Монтеглоном, который обращается с археологией, как с песнями, а с песнями — как с археологией, памятуя, что все — одна лишь суета сует? Приходилось ли вам внимать друзьям г-на Шербулье, когда они запросто ведут ученые речи возле коня работы Фидия или какой-нибудь статуи в Шартрском кафедральном соборе?

Если вам знакомы эти высокие радости, вы почувствуете нечто подобное при чтении новой книги г-на Поля Стапфера, которая, в сущности, представляет собою прогулку по лабиринту творчества Рабле, прогулку поучительную, радостную и великолепную. Ведь творчество Рабле можно уподобить кафедральному собору, воздвигнутому во славу человечности, свободомыслия и терпимости, но в то же время собору готическому, в

---

<sup>1</sup> Rabelais, sa personne, son génie, son oeuvre, par Paul Stapfer, professeur à la Faculté des lettres de Bordeaux, 1 vol.

котором нет недостатка ни в старинных желобах, ни в чудищах, ни в гротесковых сценах, столь любезных сердцу ваятелей средних веков; того и гляди, заблудишься в этом лабиринте колоколен и колоколенок, в этом хаосе архитектурных украшений, где вперемежку нашли себе прибежище фигуры юродивых и мудрецов, людей, животных и морских чудовищ.

И, словно для пущей неразберихи, эта стрельчатая церковь, подобно церкви св. Евстахия, украшена химерами, раковинами и статуэтками в очаровательном стиле Возрождения. Слов нет, человек рискует здесь заблудиться, и действительно, немногие отваживались проникнуть туда. Но с таким проводником, как г-н Поль Стапфер, вы, долго и не без интереса проплутав по различным закоулкам, в конце концов начинаете осваиваться в этом лабиринте.

Господин Поль Стапфер знает своего Рабле на славу. Больше того: он любит его, а это — самое главное. И, заметьте, он любит его не слепой любовью. Он признает, что любезный его сердцу собор построен без строгого плана и добрая половина здания, из-за бесчисленных арок, погружена в полумрак. Но Стапфер любит его таким, каков он есть, и совершенно прав. Он восклицает: «Мой славный Рабле!» — подобно тому, как Данте вздыхал: «Мой великолепный Сан-Джованни!»

В том самом городе, где г-н Поль Стапфер преподает литературу, так же как превосходный поэт и латинист г-н Фредерик Плесси, — в этом веселом и богатом Бордо я посетил в минувшем году гробницу Сен-Серен. Ризничий, сопровождавший меня, обратил мое внимание на то, как трогателен этот склеп своей ветхостью и как много говорит сердцу его варварская архитектура. «Сударь, — прибавил он, — склепу угрожает великая беда: отпущены большие средства — его собираются приукрасить!»

Этот ризничий принадлежит к школе г-на Поля Стапфера, который решительно восстает против того, чтобы Рабле приукрашивали всякими необыкновенными иллюстрациями и фантастическими комментариями. Само собой разумеется, что г-н Поль Стапфер, глубоко изучивший своего любимого писателя, но нахо-

дит в нем всех «откровений», которые обнаружили те, кто лишь бегло прочел его. Так, он нигде не обнаружил, что Рабле возвещает Французскую революцию. Я не стану входить в детальное рассмотрение его труда и становиться в позу того, кто критикует критика. Говоря по правде, мне это было бы затруднительно, ибо я знаком с Рабле куда меньше, чем г-н Стапфер. Слава богу, я «пантагрюэлизировал» на своем веку не меньше всякого другого. Брат Жан для меня — не чужой, я обязан ему многими приятными часами. Однако г-н Стапфер целых два года жил в атмосфере, насыщенной Рабле, и было бы, пожалуй, дерзостью без должной подготовки вступать в спор со столь раблезианским раблезианцем.

Признаюсь, однако, то, что больше всего поражает его в Рабле, меня никогда особенно не трогало. Прежде всего Рабле кажется ему необыкновенно веселым. Стапфер судит о нем так же, как судили современники, и это доказывает, что он не ошибается. Но признаюсь, это непристойные шутки «Пантагрюэля» смешат меня ничуть не более, чем непристойные желоба XIV века. Я, верно, не прав: но уж лучше сказать об этом прямо. Буду откровенен до конца: в медонском кюре меня как раз и раздражает то обстоятельство, что его юмор был и остается юмором монаха и священнослужителя; шутки Рабле донельзя наивны; они не приносят нам утонченного наслаждения, и в этом их главный порок.

Что же касается морали, то здесь у меня нет к нему никаких претензий; его книги — книги человека глубоко порядочного, и я вместе с г-ном Стапфером ощущаю в них великое дыхание человечности, доброжелательства и доброты. Да, Рабле добр; конечно, он ненавидел «лицемеров, подглядунув, фарисеев, ханжей, притворщиков, лицемеров, святош — пьяных рож, буквоедов, дармоедов, пустосвятов, бездельников, отшельников, а равно и представителей всех прочих сект, надевающих на себя всевозможные личины, чтобы обманывать людей»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Цитаты из Рабле здесь и далее даны в переводе Н. М. Любимова.

«Бегите от них, — говорил он, — относитесь к ним с презрением и омерзением, как отношусь к ним я».

Фанатизм и насилие внушали отвращение его веселой, свободной и широкой натуре. Именно этим он особенно привлекает. Подобно сестре короля, этой добрейшей Маргарите Наваррской, он никогда не примыкал к партии палачей, остерегаясь, однако, оставаться в партии мучеников. За свои убеждения он готов был пойти на все, за исключением костра, ибо еще до Монтеня полагал, что умереть за идею — значит придавать слишком много цены недоказанным истинам. Я далек от того, чтобы хулить его за это, я скорее склонен похвалить его. Участь мучеников надо предоставить тем, кто, не ведая сомнений, обретает в собственном простодушии оправдание своему упорству. Есть нечто дерзостное в том, что человек разрешает сжечь себя живьем за идею. Вместе с Сереном \* г-на Жюля Леметра чувствуешь себя неприятно пораженным, что находятся люди, столь уверенные в некоторых вещах, тогда как сам ты долго искал, но так и не нашел истину и в конце концов решил во всем сомневаться. Мученикам недостает иронии, и это — непростительный порок: ведь без иронии мир походил бы на лес без птиц; ирония — это веселость мыслителя и радость мудреца. Что еще сказать? Я склонен упрекнуть мучеников в некоторой доле фанатизма; я подозреваю, что между ними и их палачами существует некое врожденное сродство, и могу себе представить, что, окажись мученики сильнее, они охотно станут палачами. Должно быть, я заблуждаюсь. Впрочем, основание так думать мне дает история. Она рисует мне Кальвина между кострами — одни уготовляются ему, другие он разжигает сам; она рисует мне Анри Эстьена, который с великим трудом спасся от палачей Сорбонны и тут же донес им на Рабле \* как на человека, заслужившего любую казнь.

И ради чего стал бы Рабле отдаваться в руки «дьяволов в рясах»? В нем не было такой веры, которую отстаивают на костре. Он был не в большей степени протестантом, нежели католиком, и где бы его ни сожгли, в Женеве или в Париже, все равно это было бы результатом досадного недоразумения. В сущности, — и г-н

Стапфер хорошо говорит об этом, — Рабле не был ни теологом, ни философом, он не разделял ни одной из тех великолепных мыслей, которые ему позднее приписали. В нем жило высокое рвение к наукам, и пока он в свое удовольствие изучал медицину, ботанику, космографию, греческий и древнееврейский языки, он чувствовал себя вполне довольным, возносил хвалу господу и ни к кому не испытывал вражды, за исключением «дьяволов в рясах». Такая жажда знания воспламеняла в те времена самые благородные умы. Сокровища античной литературы, извлеченные из монастырской пыли, вновь увидели свет; сведущие издатели снабдили их иллюстрациями и размножили на печатных станках типографов Венеции, Базеля и Лиона. Рабле и сам опубликовал несколько греческих манускриптов. Подобно своим современникам, он восторгался всеми творениями античности подряд. Его голова походила на склад, где громоздились Вергилий, Лукиан, Теофраст, Диоскорид, авторы ранней и поздней античности. Но прежде всего он был лекарь, бродячий лекарь и предсказатель. «Гаргантюа и Пантагрюэль» занимали в его жизни не больше места, чем «Дон-Кихот» в жизни Сервантеса, и славный Рабле создал свой шедевр, сам того не ведая; это, впрочем, — удел всех шедевров. Для того чтобы создать шедевр, нужна истинная гениальность и вовсе не обязательно заранее принятое решение. В наши дни, когда существует литература и литературные нравы, мы живем, чтобы писать, если только не пишем, чтобы жить. Мы очень стараемся и, пока тщимся добиться совершенства, утрачиваем и изящество и естественность. И все же самый верный способ создать шедевр (признаю, что шансы на успех весьма невелики) состоит в том, чтобы не стремиться к этому и, не проникаясь литературным тщеславием, писать для муз и для себя. Рабле в простоте душевной создал одну из величайших книг на свете.

Он писал ее с удовольствием. У него не было никакого предварительного плана, никакой заранее обдуманной идеи. Сначала он намеревался написать продолжение одной народной книги \*, которая развлекала кумушек и слуг. Но поставленной цели Рабле

не добился: то, что он готовил для простонародья, оказалось изысканным блюдом для избранных умов. Вот что способно поставить в тупик мудрецов, которые, впрочем, всегда попадают впросак.

Рабле, сам того не сознавая, был чудом своей эпохи. В век изысканности, грубости и педантизма он был, как никто другой, изыскан, груб и педантичен. Его гений сбивает с толку тех, кто ищет в нем недостатков. Так как их у Рабле множество, то резонно думают, что у него их нет вовсе. Он мудр и безумен; изыскан и тривиален; он беспрестанно путается, сам себя сбивает с толку, сам себе противоречит. Но он заставляет нас все видеть и все любить. У него необыкновенный стиль, и, хотя он нередко впадает в странные заблуждения, нет писателя выше его, писателя, который превзошел бы его в искусстве выбирать и сочетать друг с другом слова. Он пишет играючи, словно забавы ради. Он любит, он боготворит слова. До чего чудесно наблюдать, как он нанизывает их одно на другое! Он не может, не в силах остановиться. Этот владелец балагана гигантов ни в чем не знает меры. Мы встречаем у него грандиозные вереницы существительных и прилагательных. Если, к примеру, пекари вступают в спор с пастухами, то они именуют пастухов:

«беззубыми поганцами, рыжими-красными — людьми опасными, ёрниками, прощелыгами, пролазами, лежебоками, сластенами, пентюхами, бахвалами, выжигами, побирушками, задирами, шутами гороховыми, байбаками, балбесами, обормотами, пересмешниками, голодранцами..., присовокупив к этому и другие оскорбительные названия».

И, заметьте, я еще не все перечислил. Порою его приводит в восторг и увлекает звучание слов, подобно тому как мула увлекает и манит вперед звон бубенчиков.

Рабле нравятся ребяческие аллитерации: «И звуки моей не знающей соперниц сопелочки сопение сопунов заглушат».

Он, такой великолепный знаток родного языка, чья речь проникнута запахом отчей земли, внезапно начинает примешивать к французской речи греческий и ла-

тынь, как тот лимузинский школяр, которого он сам высмеял, быть может, втайне восхищаясь им: ведь одна из характерных черт этого великого насмешника — с нежностью относиться к тому, над чем он потешается. И вот он именует распаленного пса «lucisque orgoose», а кривую кобылу «esgue orbe». Насколько мне известно, наши символисты, г-н де Ренье и сам г-н Жан Мореас, не придумывали выражений более редкостных. Но славный Рабле делает это так весело и так просто, что можно лишь позабавиться вместе с ним. В счастливые минуты вдохновения стиль его достигает необычайного великолепия и очарования. Попытайтесь привести более восхитительную фразу, чем фраза, что взята мною наудачу из третьей книги и толкует о том, какой политики следует придерживаться в отношении недавно покоренных народов!

«Словно новорожденного младенца, народ должно поить молоком, нянчить, занимать. Словно вновь посаженное деревцо, его должно подпирать, укреплять, охранять от всяких бурь, ненастий и повреждений. Словно человека, оправившегося от продолжительной и тяжелой болезни и постепенно выздоравливающего, его должно лелеять, беречь, подкреплять...»

Вы скажете, что фраза проста? Да, ее можно сравнить с Переттой в коротенькой юбке \*. Но есть ли что-нибудь более бодрое, чем причитания Гаргантюа, оплакивающего смерть своей супруги Бадбек? Ибо Рабле — это сама природа. Смерть не может омрачить живущей в нем великой радости.

«Моя жена умерла. Ну, что ж, ей-богу, слезами горю не поможешь. Ей теперь хорошо. Она уж верно попала в рай, а то и еще куда-нибудь получше, она молит за нас бога, она блаженствует, она далеко от наших горестей и невзгод. А то как бы и мне вслед за ней не отправиться на тот свет. Сохрани, господи, и помилуй! Мне пора подумать о том, где бы найти другую».

А вот, в заключение, рассказ о злосчастном событии, которое положило предел земному существованию священника Пошеям. Никогда искусство рассказчика не достигнет большей высоты!

«Кобыла в ужасе припустилась рысью, затрещала, заскакала, понеслась галопом, начала брыкаться, на дыбы взвиваться, из стороны в сторону метаться, взрываться и наконец, как ни цеплялся Пошеям за луку седла, сбросила его наземь. Стремена у него были веревочные; правую его сандалию так прочно опутали эти веревки, что он никак не мог ее высвободить. Кобыла поволокла его задом по земле, продолжая взбрасывать всеми четырьмя ногами и со страху перемахивая через изгороди, кусты и канавы. Дело кончилось тем, что она размозжила ему голову, и у осанного креста из головы вывалился мозг; потом оторвала ему руки, и они разлетелись одна туда, а другая сюда, потом оторвала ноги, потом выпустила ему кишки, и когда она примчалась в монастырь, то на ней висела лишь его правая нога в запутавшейся сандалиии» (Книга Четвертая, глава 13).

До чего же это великолепно сказано! И какая непобедимая жизнерадостность пронизывает эту жестокую сцену смерти, сама гиперболичность которой разрушает чувство ужаса. Воздадим же вместе с г-ном Стапфером дань восхищения и любви «ученому и любезному Рабле» и простим писателю его шутки священника, ибо в главном он был добр и благостен.



## КИТАЙСКИЕ СКАЗКИ<sup>1</sup>

Признаюсь, я мало сведущ в китайской литературе. В дни моей юности, когда еще здравствовал господин Гильом Потье, я был немного знаком с этим ученым, знавшим китайский язык лучше французского. Сам не знаю, каким образом, но от этого у него стали раскосяе глазки и татарские усы. Я слышал от него, что Конфуций был гораздо более великим философом, чем Платон; но я ему не поверил. Конфуций никаких нравоучительных басен не рассказывал и никаких метафизических романов не сочинял.

Этот желтолицый старец был лишен всякого воображения, следственно, и склонности к философии. Зато он обладал здравым смыслом. Когда ученик его Ци Лу спросил однажды, как должно служить Духам и Гениям, учитель ответил:

— Ежели человек еще не в состоянии служить человечеству, как может он служить Духам и Гениям?

— Позвольте мне, — снова обратился к нему ученик, — спросить у вас, что такое смерть?

И Конфуций ответил:

— Ежели мы не ведаем, что есть жизнь, как можем мы постигнуть смерть?

---

<sup>1</sup> Contes chinois, par le général Tch eng - k i - T o n g,  
1 vol. in-18.

Вот и все, что касательно Конфуция я почерпнул из бесед с господином Гильомом Потье, который в те годы, когда я имел честь с ним встречаться, с особым тщанием изучал труды китайских агрономов, являющихся, как известно, лучшими агрономами в мире. Господин Гильом Потье посеял ананасы в департаменте Сены-и-Уазы, соблюдая все их правила. Ананасы не взошли. Вот и все о философии. Что же до литературы, то я, как и все, читал рассказы, переведенные в разные времена Абелем Ремюза, Гийром д'Арси, Станиславом Жюльеном и многими другими учеными, имена которых я не помню. Да простят они мне вину мою, если ученый вообще способен простить что-либо. По этим рассказам, где проза перемешана со стихами, у меня создалось представление об ужасающе жестоком и исполненном учтивости народе.

Китайские сказки, недавно опубликованные генералом Чжэн Ци-дуном, мне кажется, много наивнее, чем все, что переводилось у нас в этом роде; они представляют собой рассказы, наподобие наших «Сказок матушки Гусыни»; в них полно драконов, вампиров, лисят, женщин-цветов и фарфоровых божков. На сей раз перед нами струя народной поэзии, и мы знаем теперь, что именно рассказывают по вечерам, при свете лампы, нянюшки Небесной Империи желтолицым малышам. Рассказы эти, несомненно самого различного происхождения и давности, то бывают изящны, как наши легенды о святых, то сатиричны, как наши фаблио, то восхитительны, как наши волшебные сказки; порой же они совершенно ужасны.

Из области ужасного я отмечу приключение книжника по имени Нан, который приютил у себя встретившуюся ему на улице молоденькую девицу. С виду она казалась весьма порядочной девушкой, и на следующее утро Пан поздравлял себя с удачной находкой. Он оставил эту юную особу у себя, а сам, как обычно, ушел из дома. Вернувшись, он любопытства ради тихонько заглянул в комнату сквозь щель в перегородке. И тогда Пан увидел скелет с зеленым лицом и острыми зубами: он раскрашивал в белый и розовый цвет женскую кожу, которую затем натянул на себя. В этом наряде скелет

был очарователен. Но книжник Пан дрожал от страха. И не без причины: вампир — ибо это был не кто иной, как вампир, — кинулся на Пана и вырвал у него сердце. Благодаря искусству некоего священника, умевшего заклинать злые силы, Пан получил обратно свое сердце и ожил. Такая развязка встречается неоднократно. Китайцы не верят в бессмертие души, именно поэтому они весьма склонны воскрешать мертвых. Я особо отмечаю эту сказку о Пане и вампире, ибо она мне кажется очень народной и очень старой. Обращаю также внимание любителей *фольклора* на метелку из перьев, подвешенную к дверям дома для защиты его от призраков. Я совершенно убежден, что такая метелка из перьев должна найтись и в других местах, свидетельствуя о глубиной древности сказки.

Некоторые рассказы из этого же собрания представляют приятный контраст с историей о вампире. Среди них есть очень изящные — о женщинах-цветах, чья судьба связана с растением: являясь его эманацией, они таинственно исчезают, если растение пересажено, или рассеиваются в воздухе, если оно увядает. Понятно, что такие женщины могли пригрезиться лишь народу-цветолюбу, превратившему весь Китай, начиная от равнины и до остроконечных вершин их гор, обтесанных в виде террас и возделанных, как поля, в чудесный сад и расцветившему, словно акварель, хризантемами и пионами всю Небесную Империю. Возьмите, например, историю о двух кустах пионов, красных и белых, из храма Лошань, которые были похожи на два цветочных холмика. Душой и хранительницей каждого из этих растений была женщина изумительной красоты. И книжник, полюбивший их, одну за другой, волею судьбы сам превратился в цветок и наслаждался растительной жизнью возле обеих своих возлюбленных. Разве не должны были слить воедино цветок и женщину китайцы, эти изысканные садовники, очаровательные колористы, чьи женщины в зеленых, розовых и синих одеждах, словно цветущие растения, живут в нерушимом покое, в тени, среди упоительного благоухания? С этими заколдованными пионами можно было бы

сопоставить акацию из египетских сказок, которой юноша отдает свое сердце.

Двадцать пять сказок, собранных и переведенных генералом Чжэн Ци-дуном, служат достаточным свидетельством того, что китайцы не возлагают надежд на потусторонний мир и не создали никакого божественного идеала. Их нравственность, точно так же, как их живопись, лишена перспектив и горизонтов. В некоторых рассказах, кажущихся довольно современными, например, о лиценциате Лиене, — если не ошибаюсь, переводчик отнес его к XV веку христианской эры, — мы, несомненно, видим ад со всеми его мучениями. Тамосные пытки даже повергают нас в ужас; тут уж можно положиться на богатое воображение китайцев. Покинув тело, души, со связанными за спиной руками, отправляются, в сопровождении двух выходцев с того света (так и сказано в тексте), в далекий город, где, войдя в здание суда, предстают перед невероятно безобразным чиновником. Это судья преисподней. Пред ним раскрыта великая книга мертвых. Адские подручные, исполняющие приговоры судьи, хватают грешную душу и погружают ее в котел семи футов вышиной, окруженный со всех сторон огненными языками; вслед за тем они отводят эту душу на ножовую гору, где ее, как повествуется в тексте, кромсают клинки, «густо стоящие стоймя, подобно молодым побегам бамбука». Наконец, если это душа министра-казнокрада, ей вливают в рот большими полными ложками расплавленное золото. Но этот ад — не навечно: отбыв там свои мучения, душа тотчас же попадает в колесо метампсихоза \*, обретая ту форму, в которой вновь должна возродиться на земле. Это явно индийская сказка, но с добавлением изощренных жестокостей в древнекитайском вкусе. Для настоящих китайцев душа умерших легка, увы! — легка, как облачко. «Она не может спуститься, чтобы побеседовать с теми, кого любит». А боги — всегонавсего уродливые фигурки. Даосистские божки \*, относящиеся к VI веку до нашей эры, отвратительны и созданы, чтобы нагонять страх на простые души. Одно из этих адских чудовищ, с двумя лошадиными хвостами вместо усов, является героем лучшей сказки из собра-

ния г-на Чжэн Ци-дуна. Сей бог, с незапамятных времен обретавшийся безвыходно в даосистском храме, однажды был приглашен молодым студентом Чжу на ужин. Таким образом, Чжу выказал еще большую отвагу, чем Дон-Жуан; однако бог, по имени Лук, был по натуре куда человечней, чем каменный командор. Он пришел к назначенному часу и, оказавшись веселым сотрапезником, осушал чашу за чашей и рассказывал разные истории. Он не лишен был образования. Знал досконально все древности Небесной Империи и даже, что удивительно со стороны какого бы то ни было бога, прилично разбирался в литературных новинках. С тех пор он часто навещал студента, всегда приветливый и доброжелательный. Однажды ночью, угостив Лука вином, Чжу прочел ему только что написанную им статью и спросил его мнения. Лук счел ее посредственной: он не заблуждался насчет своего друга, мысль которого была тяжеловата на подъем. И вот, этот отличный бог при первой же возможности помог беде Чжу. Найдя однажды в аду мозг покойника, проявлявшего при жизни большие способности, Лук взял этот мозг, унес с собой и, постаравшись подпоить гостеприимного хозяина, воспользовался его сном, чтобы вскрыть у него череп и, вынув оттуда мозг, заменить его тем, который принес с собой. Благодаря этой операции Чжу стал весьма образованным человеком и выдержал самым блестящим образом все свои экзамены. По правде сказать, этот бог — просто молодчина. К сожалению, с той поры дела удерживают его в горе Тайхуа, и он больше не может ужинать в городе.

Только что, в начале этой беседы, мы упоминали о китайских сказках, переведенных Абедем Ремюза примерно в 1827 году. Одна из них пользуется известностью и вполне заслуженно; сюжет этой сказки под названием «Дама из страны Сун» имеет поразительное сходство с милетским рассказом \*, сохраненным для нас Петронием и переложенным стихами Лафонтеном. Госпожа Тянь (таково имя дамы из страны Сун), как и Матрона Эфесская, — безутешная вдова,

нашедшая утешение в любви. Китайская версия, насколько мне помнится, менее удачна, чем приведенная в «Сатириконе». Она испорчена длиннотами, неправдоподобием, излишним трагизмом и той страстью к гротеску, которая делает для нас почти невыносимой всю древнекитайскую литературу в целом. Однако у меня осталось прелестное воспоминание об одном включенном туда рассказе, а именно, рассказе о веере. Если г-жа Тянь не так уж нас развлекла, то дама с веером презабавна. Мне хотелось бы привести здесь эту милую историйку, едва ли занимающую двадцать строк в собрании Абея Ремюза. Но у меня нет под рукой текста.

Я вынужден рассказать ее по памяти. Это будет совершенно вольное изложение, ибо я хочу лучше заполнить возможные пробелы в моих воспоминаниях. Быть может, сказка окажется у меня не совсем китайской. И я заранее прошу прощения за некоторые подробности, отсутствующие в подлиннике. Однако самая суть совпадает с текстом и содержится в третьем томе китайских сказок, переведенных Дави, Томсом, д'Антреколем и проч. и напечатанных Абедем Ремюза у издателя Мутардье, процветавшего на улице Жи-ле-Кер в царствование Карла X. Ничего больше я добавить не могу, потому что дал этот том одному из своих друзей, который и не подумал вернуть его.

Итак, без дальнейшего промедления, вот она, история о даме с белым веером.

#### ИСТОРИЯ О ДАМЕ С БЕЛЫМ ВЕЕРОМ

Чжуан Цэн из страны Сун был ученым, который в своей мудрости дошел до отречения от всего бренного, и, поскольку он, как истый китаец, к тому же не верил ни во что вечное, душе его пришлось удовольствоваться лишь сознанием, что он избежал заблуждений, свойственных людям, которые мечутся в погоне за ненужными богатствами или пустыми почестями. Но, по-видимому, он испытывал глубокое удовлетворение, ибо после кончины был провозглашен счастливецом, чья судьба достойна зависти. Итак, пока, с изволения неве-

домых духов вселенной, текли дни его жизни под зеленым небом, среди цветущих кустов, среди ив и бамбуков, Чжуан Цэн любил задумчиво прогуливаться в тех краях, где он жил, сам не зная ни почему, ни зачем. Как-то утром, бродя по усеянным цветами склонам горы Наньхуа, он, нечувствительно для себя, очутился на кладбище, где, по местному обычаю, мертвые покоились под холмиками плотно убитой земли. При виде бесчисленных могил, уходящих далеко за горизонт, ученый предался размышлениям о судьбе человеческой.

«Увы! — подумал он, — вот перекресток, где кончатся все жизненные пути. Стоит лишь однажды занять себе место в этой обители мертвых, и никогда уж на белый свет не вернешься».

Эта мысль отнюдь не отличается своеобразием, но она довольно хорошо передает, в общем, и философию Чжуан Цэна, и философию китайцев. Китайцы признают лишь одну жизнь, — ту, в которой видишь, как расцветают под солнцем пионы. Сознание того, что в смерти все равны, утешает их или приводит в отчаяние, в зависимости от их склонности к душевному спокойствию или к меланхолии. Впрочем, для развлечения у них есть масса зеленых, а то и красных божков, которые иногда воскрешают усопших и показывают занятые чудеса. Но Чжуан Цэн, принадлежавший к гордой секте философов, не искал утешения у фарфоровых драконов. Итак, углубившись в свои мысли, он прогуливался среди могил, как вдруг увидел молоденькую даму в траурной одежде, то есть в длинном белом платье из грубой материи, без швов. Она сидела у могилы и обмахивала белым веером еще свежий могильный холмик.

Любопытствуя о причине столь странного поведения, Чжуан Цэн вежливо поклонился даме и сказал:

— Осмелюсь спросить, сударыня, какая достойная особа покоится в этой могиле и почему вы так себя утруждаете, обмахивая землю, которая покрывает усопшего? Я философ; я доискиваюсь причины вещей, но здесь она от меня ускользает.

Дама в трауре по-прежнему помахивала своим веером. Однако она покраснела, потупилась и прошептала несколько слов, которых мудрец не расслышал. Он

снова и снова задавал ей свой вопрос, но тщетно. Молодая женщина не обращала больше на него внимания, и, казалось, душа ее целиком переселилась в руку, взмывающую веером.

Чжуан Цэн с сожалением удалился. Пусть он знал, что все — суета сует, но по природе своей был склонен доискиваться, что именно побуждает человека к тому или иному поступку, в особенности если речь шла о женщине; эти незначительные созданыца внушали ему хоть и недоброжелательное, но весьма живое любопытство. Он продолжал свою прогулку, не спеша и оглядываясь назад, чтобы еще раз увидеть веер, трепетавший в воздухе, словно крыло большой бабочки. Вдруг какая-то старая женщина, которую он сначала не приметил, знаком предложила ему следовать за собой. Она увела его в тень могильного холма, возвышавшегося над всеми другими, и сказала:

— Я слышала, как вы задавали моей госпоже вопрос, на который она не ответила. Но я удовлетворю ваше любопытство просто из желания угодить вам, а также в надежде, что и вы, конечно, не откажетесь дать мне немного денег, чтобы я могла купить у священников волшебную бумагу для продления моей жизни.

Чжуан Цэн вынул из кошелька монетку, и старуха рассказала следующее:

— Дама, которую вы видели у могилы, — госпожа Лю, вдова ученого, по имени Тао, умершего две недели назад после долгой болезни, а могила — это могила ее мужа. Они любили друг друга нежной любовью. Даже в свой последний час господин Тао все еще не решался покинуть жену; мысль о том, что он оставит ее здесь в расцвете молодости и красоты, была для него совершенно нестерпима. Однако он смирился, потому что у него был очень мягкий характер и душа его легко подчинялась необходимости. Рыдая у смертного одра господина Тао, откуда она ни на шаг не отходила все время его болезни, госпожа Лю призвала богов в свидетели, что она ни в коем случае не переживет его и разделит с ним гроб, как делила ложе.

Но господин Тао сказал:

«Сударыня, не зарекайтесь».



«А если мне суждено пережить вас, — продолжала она, — если я буду обречена Духами видеть дневной свет, когда для вас он уже померкнет, знайте же по крайней мере, что я никогда не соглашусь стать женой другого и что у меня только один супруг, подобно тому, как в груди моей только одна душа».

Но господин Тао сказал:

«Сударыня, не зарекайтесь».

«О господин Тао, господин Тао, позвольте мне хотя бы поклясться, что пройдет целых пять лет, прежде чем я снова выйду замуж!»

«Сударыня, не зарекайтесь. Дайте лишь клятву быть верной моей памяти до тех пор, пока не просохнет земля на моей могиле».

Госпожа Лю торжественно поклялась в этом. И добрый господин Тао закрыл глаза, чтобы никогда уж не раскрывать их. Горе госпожи Лю превзошло всякое изображение. Глаза ее источали жгучие слезы. Острыми, как маленькие ножи, ноготками она исцарапала свои фарфоровые щечки. Но все проходит, иссякли и потоки этих горьких слез. Три дня спустя после смерти господина Тао скорбь госпожи Лю смягчилась. И вот до нее дошло, что один молодой ученик господина Тао желает выразить ей участие в постигшем ее горе. Она совершенно справедливо решила, что не может отклонить его посещение. Со вздохом она согласилась принять его. Молодой человек был очень изящно одет и прекрасно сложен. Он немного поговорил о господине Тао, зато много сказал о ней самой: что она восхитительна и что он чувствует к ней глубокую любовь; она не прерывала его. Он сказал, что придет еще. И в ожидании этого госпожа Лю, сидя у могилы своего мужа, где вы ее и видели, весь день сушит на ней землю, подымая своим веером ветерок над могильной насыпью.

Когда старуха закончила рассказ, мудрый Чжуан Цэн подумал: «Молодость коротка; жало страсти дарит крылья молодым женщинам и юношам. Как бы там ни было, а госпожа Лю — честная женщина, не желающая нарушить свою клятву».

Вот пример для подражания белолицым европейкам.

## НАРОДНЫЕ ПЕСНИ СТАРОЙ ФРАНЦИИ<sup>1</sup>

### 1

#### *Любовные песни*

В настоящее время многие пытливые умы стараются обнаружить скрытые истоки предания. Тщательно собирают все, даже самые скромные памятники народной поэзии и народных верований. Созданное по инициативе Поля Себийо общество ревнителей этого дела, два журнала и многочисленные печатные работы, среди которых следует отметить отобранные Анри де Нималем сказания с берегов Мааса, а также вышедшую совсем недавно книгу Жюльена Тьерсо «История народной песни», все это показывает, сколь деятельны французские исследователи предания. И это отнюдь не напрасный труд. Свидетельства, относящиеся к жизни наших сельских предков, дороги и милы нам. Наряду с расписными тарелками, с полученными в приданое шафами, на верхушке которых милуются два резных голубка, с оловянной миской, куда клали гренок ново-

---

<sup>1</sup> Histoire de la chanson populaire en France, par Julien Tiersot, ouvrage couronné par l'institut, in-8. — Société des traditions populaires, au Musée d'ethnographie du Troradéro. — «Revue des traditions populaires» (dirigée par M. Paul Sébillot); 4-e année, in-8. — «La Tradition», revue générale des contes, légendes, chants, usages, traditions et arts populaires, direction: MM. Emile Blémont et Henry Carnoy; 3-e année, in-8.

брачной, они оставили нам песни, и это самые прекрасные из их реликвий. Нужно смиренно признаться: народ, древний народ наших деревень — вот кто создавал наш язык и учил нас поэзии. Он не ищет богатой рифмы и довольствуется простым ассонансом; его стих — отнюдь не утеха для глаз: в нем постоянно встречается элизия, нарушающая грамматические правила; но следует принять во внимание, что если грамматика, как утверждают, — лично я в этом сомневаюсь, — есть искусство говорить, то уж искусству петь она научить никак не может. Вообще стих народной песни на слух звучит верно: он прозрачен и чист, его отличает та краткость, которой изощреннейшее искусство тщетно стремится достичь; образы, в нем возникающие, самобытны и яркие, и наконец — от жаворонка, так охотно им воспеваемого, он взял легкость полета и свежесть песни, раздающейся на заре.

Благочестивые исследователи старины, одержимые поэтическим безумством — страстью к фольклору, — такие, как Морис Бушор, Габриель Викар, Поль Себийо, Шарль де Сиври, Анри Карнуа, Альбер Мейрак, Жан-Франсуа Бладэ, странствующие по деревням и бережно принимающие из уст пастухов и старых прях тайны сельской музыки, записали не одно прелестное стихотворение, не одну чарующую мелодию, едва не затерявшиеся без отклика в полях и лесах, ибо народная песня угасает. Это весьма прискорбно, — и, однако, эти предвестия близкого конца придают ей неотразимое обаяние: ведь нам мило только то, что мы боимся потерять; поэтично для нас — увь! — только то, что уже отошло в прошлое.

Умирующие песни, которые ныне собирают в наших деревнях, — стары, это бесспорно, намного старше наших бабушек; но в современной своей форме самые древние из них восходят не дальше как к XVII веку. Многие возникли в милые времена рококо, и это чувствуется в чем-то неуловимом.

Эти песни — целый мир, пленительный мир. Мы находим его повсюду — на севере, на юге, на западе и на востоке. Сын короля, капитан, сеньор, волокита-мельник, бедный солдат, прекрасный пленник, и Като, и

Марьон, и Мадлон, и разумные девушки, всегда гуляющие втроем, и влюбленные девушки,веряющие свое горе соловью у ручья.

В этих бесхитростных стихах много соловьев, и цветов там много: розы, сирень, а чаще всего — душица. Это милое растение носит также название ориган, потому что излюбленное его место — косогоры \*, и среди кустарника там виднеются гроздьи его мелких розовых цветов, красиво перемежающихся с коричневыми околицетниками; оно часто встречается в сельских песнях, по всей вероятности, его благозвучное название, нежные краски и тонкий аромат были причиной того, что оно там — эмблема вожделения и сладострастия, символ тайных желаний, запретной любви и радостей, вкушаемых украдкой. Наглядный тому пример — девушка, возвращающаяся из Ренна в деревянных сабо. Королевский сын увидел ее и полюбил; свою радость по этому поводу она выражает следующими словами:

Он мне, своей девице, —  
А я хожу в сабо,  
Дондэн! —  
Принес пучок душицы.  
А я хожу в сабо.  
Ты расцвети, душица!  
Хоть я хожу в сабо,  
Дондэн! —  
Но стану я царицей  
В своих простых сабо <sup>1</sup>.

Соловей, поющий так чудесно, притом по ночам, — вот поверенный всех, и радостных, и печальных любовных тайн, о которых говорится в наших песнях.

На самой высокой ветке  
Соловей всю ночь распевал.  
Пой, соловушко, ты не в клетке,  
Ты грусти еще не знал.  
Мне же радости нет на свете, —  
Мой счастливый час миновал.

<sup>1</sup> Все стихи в статье «Народные песни старой Франции» переведены Н. Рыковой.

Так вздыхает девушка из Морвана. А юная уроженка Брессы простодушно упрасивает:

Соловушка-соловей,  
Пташка из дикой чащи!  
Научи меня речи своей,  
Научи словам настоящим,  
Научи, как за дело взяться,  
Чтоб любовь узнать поскорей.

Пение соловья передает торжество любви. Звонкий серебристый голос жаворонка возвещает влюбленным наступление дня. Марго и Марьон, возлюбленные отнюдь не трагические, не возмущаются этим, не доходят до того, чтобы, подобно Джульетте у Шекспира, проклинать эту славящую зарю песню, которую возлюбленная Ромео называет режущим уши криком, противным *hunt's up*<sup>1</sup>. Они не вспоминают народное поверье, будто жаворонок поменялся глазами со своей приятельницей — жабой. Не говорят, как благородная дочь Капулетти: «Это жаворонок поет так нескладно, нестерпимо фальшивит и пронзительно вопит. Люди уверяют, будто он мастер красиво соединять звуки; неправда — нас-то он ведь разъединяет».

Като, которую заря застала враспloch с дружкой, не гневается на безвинного певуна; наоборот, она считает его надежным будильником, чьим предупреждением не следует пренебрегать. Она только говорит возлюбленному, отказывающемуся разомкнуть свои объятия:

Я слышу жаворонка пенье  
На утре дня.  
И если ты, мой милый, честен —  
Оставь меня.  
Ходи на цыпочках, мой милый,  
Дыши едва:  
Отец мой, как на грех, услышит —  
И я мертва.

Простушки наших песен «одиношеньки» идут к ручью; там у них бывают опасные встречи, и не раз они возвращаются оттуда в слезах. Добряк Грѐз, совсем еще молодым приехавший из Турнюса в Париж, но

<sup>1</sup> Горлодерством (англ.).

сохранивший и там крестьянский дух, наверно, напевал, делая наброски «Разбитого кувшина», какую-нибудь песенку родных мест, какие-нибудь стишки вроде следующих:

— Послушай-ка, не плачь, красотка,  
За мной не пропадет!  
— Не сотню золотых дала я —  
Деньгами не вернешь.

Народная песня простодушно и вместе с тем лукаво передает самозабвенность первой любви у девушек. Достаточно привести для примера следующие премьеры, хорошо известные строфы, которые я заимствую из журнала, издаваемого Эмилем Блемоном и Анри Карнуа.

Ах, любовь нежна и прекрасна!  
Если тетушка разрешит,  
Я, конечно, тоже согласна.  
Если ж тетушка не велит, —  
В монастырь мне идти, несчастной!

Ах, любовь нежна и прекрасна!  
Только я в монастырь удалюсь,  
Если тетушка не согласна.  
За родителей стану молиться,  
Но за тетушку не помолюсь.

Мельник в наших поэтических песнях чаще всего удачливый волокита, фат, вертопрах, лихо разбивающий сердца. Таким мы его видим в знакомой всей Франции песенке о мамзель Марьянне. Эта Марьянна часто «гнала на мельницу осла, мешки с зерном на нем везла». Однажды галантный мельник присоветовал ей: «Вот здесь осла и привяжите», — и зазвал на мельницу.

Пока крутились жернова,  
Болтала с мельником она.  
Осла Мартина волки съели.  
Марьянна, что же вы глядели?  
Погиб, погиб Мартин-осел,  
Что к мельнику пришел.

Едва ж заплакала она, —  
Ей денег отсчитал сполна  
Влюбленный мельник без обмана, —  
Ах, милая мамзель Марьянна! —  
Чтоб с ней другой Мартин-осел  
К отцу ее пошел.

Отец на ослика глядит  
И дочке сразу говорит:  
«Марьянна, что это такое?  
Кто там плетется за тобою?  
От нас другой Мартин-осел  
На мельницу пошел.

Он был со светлым животом,  
Совсем не так вертел хвостом.  
Скажи-ка, нет ли тут обмана?  
Да-с, милая мамзель Марьянна,  
Да, не такой Мартин-осел  
На мельницу пошел».

Ослик мадемуазель Марьянны, которого съел волк, — символичен. Не подчеркивая сверх меры некое, в сущности, довольно обыкновенное происшествие, песенка содержит назидание. Но иногда муза, вернее, музочка полей и лесов, говорит более возвышенным тоном, становится романтической, кротко-трагической и рисует нам девиц весьма щекотливых в отношении своей чести. Такова распространенная в Брессе и Лотарингии песня о девушке, притворившейся мертвой, «чтобы честь свою соблюсти». Таковы зазорные стишки о девушке, вырядившейся драгуном, чтобы разыскать парня, обольстившего ее и вернувшегося в армию.

В Париже надо ей  
Одеться поскорей:  
И вот на ней уже мундир драгунский.  
Кокарда, эполеты —  
Наряда лучше нету!

Семь лет служит она королю — и не находит того, кто ей изменил. Наконец она его встречает. Тогда, выхватив саблю из ножен, она идет прямо на него. Они сшибаются, она его убивает. Вот девица, в сердце которой живы обиды, нанесенные ее гордости. Следует также сказать, что она была знатного рода. В самом деле, из песни мы узнаем, что, убив своего обольстителя,

Она садится на коня, как воин,  
Садится, как герой,  
Как генерал лихой,

И возвращается в отцовский замок  
И говорит: «Я победила,  
Пал от руки моей мой милый».

Столь же тверда в своих намерениях, но более чи-  
ста и кротка сирота из Пугана, которой ее сеньор пред-  
лагает свою любовь и пару красивых перчаток в при-  
дачу. Подобно Маргарите, чей говор Гете взял из немец-  
кой народной поэзии, юная бретонская крестьянка  
отвечает приблизительно так: «Я не барышня и не  
прекрасна»,

Мне перчатки совсем не пристали,  
Господин барон,  
Девушка я простая,  
Мне перчатки совсем не пристали.

Сеньора этот отказ не останавливает: «Красавица, —  
говорит он, — подойди поближе, чтобы я мог тебя поце-  
ловать, а тогда мне захочется ласкать тебя еще и  
еще». — «Боже правый! Не ласкайте меня, господин  
барон! Кто вас просит?» Распалась, сеньор хватает ее  
и сажает позади себя на коня. Напрасны ее вопли; он  
мчит ее вдаль.

Но когда ехали к броду,  
Бросилась она в воду:  
«Пресвятая дева, молю  
В горькой своей беде:  
Дай мне смерть в глубокой воде,  
Сохрани только честь мою».

Доверяя вам какой-нибудь хрупкий предмет, кре-  
стьяне часто говорят: «Обращайтесь с ним, как с моло-  
дой девушкой». В их старинных песнях мы находим  
именно такое похвально-бережное отношение к моло-  
дым девушкам. Всем этим девушкам песни приписы-  
вают красоту, изящество, с лукавой усмешкой обходят  
молчанием ошибки молодости; восхваляют девушек,  
мстящих за свою поруганную честь; славят целомуд-  
ренных дев, предпочитающих смерть греху. И, наконец,  
в этих песнях искренне оплакивается смерть невест.

Есть ли что-нибудь трогательнее, задушевнее пес-  
ни, записанной в Верхней Савоие и начинающейся сле-  
дующими, поистине ликующими стихами:



Магушка, ты мне дай  
Шляпу с серебряной каймой,  
Дай мне шелковый мой камзол,  
Чтоб я к милой скорей пошел.

Увы! Друг нашел свою подругу распростертой на  
смертном ложе; она уже причастилась.

Когда он приблизился, она открыла глаза:

Протянула с кровати белую руку,  
Привет прощальный милому другу.

Эта последняя черта, взятая из жизни, бесподобна. Самое утонченное искусство не достигло бы большего. Никто из пленительнейших художников — Геннер, Прюдон, Корреджо — не сумел бы на своих окутанных прозрачной дымкой полотнах лучше поместить свет, вернее угадать, куда именно следует направить взгляд и душу зрителя. «Протянула с кровати белую руку, привет прощальный милому другу». Нет! Я не заблуждаюсь. Это одна из тех жизненных черт, которые, когда искусству выпадает счастье их запечатлеть, объявляются верхом совершенства.

Впрочем, наши сельские песенники обычно настроены весьма скептически; они охотно трунят над добродетелью замужних женщин и не очень склонны верить тому, что от любви подчас умирают. Моряк из Сен-Валери, в области Ко, распевает:

Из-за одной красотки  
Стоило ль смерти искать?  
Тысяча их нашлась бы,  
Чтобы тебя утешать.

Как и фаблио, песня забавляется хитростями женщины и не слишком печалится об участи мужей. В этом отношении диалог Марьон и ревнивца — шедевр изящества и лукавства. Этот диалог известен во всей Франции. Существуют всевозможные варианты: се-веннские, овернские, гасконские, лангедокские, лотарингские, нормандские; его знают в Шампани, в Морване, в Лимузине, не говоря уже о провансальском тексте, который Нума Руместан \* объявляет прекрасным, как творения Шекспира. Приведем превосходный

вариант, опубликованный в «Ревю де традисьон попу-лер». Шарль де Сиври записал его на западе Франции и, возможно, слегка обработал.

Р е в н и в е ц

Зачем ходила ты к колодцу,  
Черт побери, Марьон,  
Зачем ходила ты к колодцу?

М а р ь о н

Я по воду туда ходила,  
О господи, мой друг,  
Я по воду туда ходила.

Р е в н и в е ц

А кто там говорил с тобою,  
Черт побери, Марьон?

М а р ь о н

Была там дочь соседки нашей,  
О господи, мой друг!

Р е в н и в е ц

Но женщины в штанах не ходят,  
Черт побери, Марьон.

М а р ь о н

У ней перекрутилась юбка,  
О господи, мой друг.

Р е в н и в е ц

Не ходят женщины при шпаге,  
Черт побери, Марьон.

М а р ь о н

Веретено ее ты видел,  
О господи, мой друг.

Р е в н и в е ц

Усов у женщин не бывает,  
Черт побери, Марьон,

М а р ь о н

То сок от ягод ежевики,  
О господи, мой друг.

Ревнивец

А где же в мае ежевика?  
Черт побери, Марьон.

Марьон

От осени она осталась,  
О господи, мой друг.

Ревнивец

Так принеси мне хоть немножко,  
Черт побери, Марьон.

Марьон

Что было — поклевали птички,  
О господи, мой друг.

Ревнивец

Вот голову тебе срублю я,  
Черт побери, Марьон.

Марьон

А с телом что ты делать станешь?  
О господи, мой друг.

Но здесь нам приходится остановиться, успев выдернуть из букета Марго лишь несколько цветочков.

## II

### *Солдат*

Возвратимся к истокам народного предания. Сегодня, если вам угодно, мы послушаем песни сержанта Бутона и сержанта Пышнолиста. После любовных напевов — военные куплеты. В полку мы снова встретим Марго и Катрину.

Во все времена Франция давала солдат, как Боса — зерно. При Людовике XIII вербовщикам в селах было из чего выбирать. Молодые парни наперебой просили командиров принять их в свои роты. Правда, королю тогда нужно было, самое большее, сорок тысяч человек. Но Людовику XIV, чрезмерно — он сам в этом признавался — любившему войну, требовалось двести, триста, а то и четырехста тысяч солдат одновременно.

Поэтому наборы стали делом более затруднительным. По городу ходил барабанщик, а за ним шагали солдаты, высоко держа шпаги с нацепленными на них, чтобы разлакомить деревенских простачков, белыми хлебами и жареными курапатками. Этот отряд останавливался на всех перекрестках; трижды отбив дробь, барабанщик подносил руку к шапке и возглашал: «Именем короля объявляется всем и каждому, любого звания и состояния, шестнадцати лет от роду, кто пожелает вступить в N-ский пехотный полк, что ему уплатят пятнадцать, а то и двадцать франков, смотря по сложению, а спустя три года дадут долгий отпуск. Деньги — чистоганом. Казна рассрочки не просит. Кому охота служить — не зевайте!»

Затем барабанщик высоко подымал большой, полный золотых и серебряных монет кошель, врученный ему командиром, и весело звенел им. Так он завербовывал достаточное количество бродячих, кругом задолжавших школяров, нерадивых крестьян, безработных ремесленников и прогнанных слуг. Иногда недобор приходилось покрывать в кабачках, и не один деревенский паренек попал, подобно Кандиду, в солдаты \* только потому, что необдуманно пропустил стаканчик «за здоровье короля». Но обычно благодаря медоточивым речам вербовщика и природной склонности народа к воинскому званию набор производился без особых ухищрений и насильственных мер. К тому же на королевской службе давали двадцать четыре унции белого хлеба и четыре су в день да еще три фунта мяса в неделю. Об этом стоило подумать. Расцеловав свою подружку, новобранец, как в той песенке, что поется в Косской области, бодро отправлялся в путь, обещав привезти ей подарок из дальних стран.

Прощай, красотка, ухожу, —  
Наш полк уходит на войну.

И еще:

Прощай, красотка, ухожу,  
Прощай, красотка, ухожу, —  
Есть королевская команда,  
Что мы должны идти до Нанта.

При старом режиме солдат был голосист, как петух, и так же форсист. Его роскошно одевали за счет командира роты. При Людовике XV, напомаженный, завитой, напудренный, с косичкой, в треуголке со сверкающей белой кокардой, одетый в нарядный, обшитый по всем швам и вдоль карманов галуном мундир с яркими обшлагами и отворотами, с лентой через плечо, он, шествуя по стране, ослеплял своим блеском, смущая душевный покой служанок в трактирах и на постоянных дворах. И сейчас еще его треуголка, его сохранившиеся назло моли и крысам мундир, штаны, гамашы приводят в восхищение всех тех, кто посещает выставку, устроенную военным министерством на набережной Инвалидов. Он гордо носил цвета своего полка — голубой мундир королевских войск, красный или зеленый, если он состоял в одном из отрядов королевцы, дофина, принцев, или же серый, присвоенный тем, кто служил маршалам и сеньорам. Он был прекращен — и он это знал. Хорошенькие девушки сами твердили ему это. Сменив ремесло, он и свое имя заменял другим. Он уже не звался Жаном, Пьером или Колэном; теперь у него было пышное прозвище: Беспощадный, Фиалка, Весельчак, Вездеход, Розанчик, Сердцеед, Вертопрах, Тюльпан или какое-нибудь другое из тех, что так нравились Лафонтену, — ведь сказал же он, уже будучи очень стар, в одной из своих баллад:

Люблю я прозвища, рожденные в казарме \*,  
Они всегда под стать...

Завербовавшись в королевские солдаты, Фиалка уже не думает о своей красоте; Тюльпан позабыл свою невесту. Она сказала ему при прощании:

В Голландию ты попадешь  
И мне корсажик привезешь,  
Всем такой, как немки носят, —  
Тебя твоя подружка просит.

Увы! Красотка по сию пору ждет корсажика.

В Голландии он долго был,  
Но о корсажике забыл,  
Подобно всем, он думал только  
Зайти в кабак да выпить горькой.

Однако он вспоминает о ней не без сожаления:

Сказал он, подавляя вздох:  
«Достать бы хоть один листок  
Да написать на нем любимой,  
Что не забыл о ней дружок».

Как без фиалок нет весны,  
И океана без волны,  
И без травы зеленой луга —  
Так без подружки нету друга.

Если Тюльпан слишком уж долго не подает о себе вести, подружка иной раз отправляется искать его во вражескую страну. Бывает, что ей оказывают очень плохой прием; доказательством тому сообщенная г-ном де Пюимегром песенка из окрестностей Меца:

Вот в Пруссии красotka  
И видит: на плацу  
Шагает друг любезный,  
Как должно молодцу.

«Когда б я знал, красotka,  
Что ты найдешь меня,  
Ушел бы я за море,  
За море б скрылся я».

Более отважна и более предприимчива была та девушка, которая нарядилась драгуном и прицепила кокарду к шляпе. Народная муза питает слабость к девушкам, переряженным в военную форму. Такое переодевание мы часто видим в опереттах; но песни вносят в него больше романтики и фантазии. Анри Карнуа разыскал премилый вариант этой широко известной темы:

Всегда твердит отец:  
«Иди ты замуж, дочка». —  
«Нет, сердца не отдам я никому, —  
Ушел мой милый на войну».

Оделася она  
В мундир, как бравый рекрут,  
Решила волосы остричь, завить,  
Чтобы совсем, как милый, быть.

В гостиницу пошла  
И говорит хозяйке:

«Приюта на ночь я у вас прошу  
И сколько нужно заплачу».

«Входите, сударь мой,  
Солдат у нас не мало,  
А наверху есть комната для вас.  
Обед вам подадут сейчас».

В отведенной ей комнате красotka напевает песню. Ее возлюбленный, живущий в той же гостинице, узнает голос своей подружки. Он спрашивает хозяйку: «Кто это поет?» Ему отвечают: солдат. Он приглашает его отужинать.

Увидел он ее,  
Вино разлил в стаканы.  
«Твое здоровье, о любовь моя!  
Тебе навеки предан я!»

— Найдется ли у вас  
Покой уединенный  
И ложе, все в цветах, чтоб мы вдвоем  
Поговорили обо всем?

— Найдется ли у вас  
Перо и лист бумаги?  
Родителям я напишу домой,  
Что мой любимый вновь со мной.

Разве не полно задорной игривости это неожиданное узнавание за стаканом вина и просьба о ложе в цветах, где влюбленные расскажут друг другу о своих злоключениях?

Манон — та попросту выдает себя за юношу и поступает в полк, где служит ее дружок. Эта песня кончается так:

Ей было восемнадцать лет,  
Пошла в солдаты на семь лет.  
Теперь сказать бы каждый мог,  
Что ею выкуплен дружок.

С давних пор известно, что военным всегда везет в любовных делах. Но когда в песне говорится, что молодой барабанщик женился на королевской дочери, вполне очевидно, что это чистейшая небылица и что такие вещи случаются только в волшебных снах. В те времена в пехотных полках не было музыкантов, кроме

волынщиков и барабанщиков. Последние, согласно постановлению от 29 ноября 1688 года, получали двойной оклад — и все же не верится, чтобы кто-либо из них женился на королевской дочери. Распевавшие об этом бретонцы, жители Нанта, видимо, были завязтые мечтатели.

Три юных барабанщика шли с войны,  
У самого младшего — розочка в зубах.  
Стоит у окошка королевская дочь:  
— Красавец барабанщик, отдай мне цветок!  
— Дочь короля, ты мне сердце отдай!  
— Красавец барабанщик, проси у отца.  
— Король-государь, я прошусь к вам в зятя.  
— Красавец барабанщик, ты ведь бедняк.  
— Три мои корабля на море голубом:  
Один — груженный золотом, другой — серебром,  
А третий — чтобы с милой плавать на нем.  
— Красавец барабанщик, бери же дочь мою.  
— Премного благодарен я милости твоей,  
Но в стране моей есть красотки милей <sup>1</sup>.

Юный барабанщик, владеющий тремя кораблями, и впрямь изумителен. Перелистывая превосходную книгу Жюльена Тьерсо, я невольно то и дело поглядываю на стоящую на моем письменном столе невзрачную деревянную коробочку, в которой какой-то старый рубака долго хранил нюхательный табак. Еще и сейчас стоит только ее открыть, как чувствуешь едкий запах. Я откопал ее в прошлом году у старьевщика среди всякого хлама, где были медали в память пребывания Наполеона на острове св. Елены, обрывки ветхого галуна, древние пергаменты. Коробочка — круглая, орехового дерева; на крышке намалевана сценка из военной жизни, объяснение которой дает красноречивая надпись: «Гарнизон выступает в поход». И действительно, там изображены солдаты: у городских ворот в увитой плющом беседке они распивают последнюю бутылку и трогательно прощаются со своими подружками. На головах у них — расширяющиеся кверху кивера, одеты они в длинные шинели; я полагаю, что это гвардейцы-вольтижеры. Что касается их подружек, все они в инте-

---

<sup>1</sup> Песня, записанная М. Тьерсо и Полем Себийю.



ресном положении. Один из солдат, простирая вперед руку, дает клятву никогда не забыть ни ребенка, ни мать. Но бедняжка, по-видимому, не очень-то спокойна за будущее. В этой сценке искреннее чувство любопытнейшим образом переплетается с лукавством.

Мне думается, что табакерка долго служила какому-нибудь инвалиду; по всей вероятности, изображенная на крышке сценка напоминала вояке его бывшие любовные похождения. Возможно, он пользовался ею под Ватерлоо; а возможно, то был подарок возлюбленной, и, беря понюшку, он всякий раз утирал слезу. Но мы очень уж отвлеклись от лихого барабанщика, шагавшего, с розой в зубах, мимо королевской дочери.

Однако, как говорит Мерлен, «иной воображает, что другого подводит, а глядишь — его самого подвели!» Воротясь в свою деревню, бравый военный видит, что позор, который он так часто навлекал на других мужей, не миновал его самого. Оказывается, в его отсутствие семья значительно увеличилась.

... Дурная жена,  
Я тебе оставил двоих ребят,  
А теперь их четверо у тебя.

А жена простодушно отвечает:

Столько я писем получала тогда,  
Будто в сраженье убили вас,  
Вот и вышла замуж во второй раз.

Иногда исход любовной игры более трагичен. Военное правосудие шутить не любит. Если правда, как поется в песне, что из Анжуйского полка дезертировали безнаказанно, —

Я рядовой полка Анжу,  
Плевать мне: если убегу —  
Лишь капитана подведу,

то в других полках дезертиров беспощадно расстреливали. В некоей «жалобе», получившей широкое распространение, злополучный солдат, подобно старому сержанту у Беранже, идя на казнь, рассказывает свою

историю. Этот служака завербовался из любви к девушке. Ради нее он украл казенные деньги и бежал. В пути он неожиданно встретился со своим командиром и убил его. Солдата, как он того и заслуживал, приговорили к смертной казни. Но народ снисходителен к проступкам, подсказанным сильным чувством, и несчастье, вызванное роковым сцеплением следующих одна за другой ошибок, неизменно трогает его. Отсюда — глубокое волнение, пронизывающее жалобу, которая, по свидетельству Жюльена Тьерсо, даже вошла в репертуар Терезы \*.

Придут за мной, заберут,  
Поведут на Реннскую площадь,  
Глаза завяжут потом  
Солдатским синим платком:  
Здесь конец меня горький ждет,  
Но смерть без мучений придет.

Послушай, солдат-земляк:  
Отцу об этом — ни слова.  
Напиши ты ему письмо,  
Что я покинул Бордо,  
Потому что мой батальон  
Направился в Авиньон.

В общем, народы не любят войну, и они совершенно правы. Подлинно народные песни нашей Франции, где, казалось бы, солдат как грибов после дождя, те песни, что вместе с жаворонком взмывают с борозды, — на стороне матерей. Разве не вершина, не жемчужина сельских песен жалоба Жана Рено, который возвращается с войны, обеими руками придерживая вываливающиеся из живота внутренности?

— Здравствуй, Рено, здравствуй, мой сын,  
У твоей подруги родился сын.

— Ни жену, ни сына, милая мать,  
Не придется мне любить и ласкать.

Постели мне белую простыню,  
Напоследок я на ней отдохну.

И в полночь, когда совсем темно,  
Испустил дух красавец Рено.

Продолжение жалобы хватает за душу, и Жюльен Тьерсо справедливо считает слова и музыку этой песни одним из чудеснейших образцов безыскусственного народного творчества.

— Скажи мне, матушка, что это значит,  
Кто во дворе так жалобно плачет?

— Побит хозяином мальчик один  
За то, что разбил хрустальный кувшин.

— Скажи мне, матушка, что же это?  
За окном стучат и стучат до рассвета.

— Каменщик, дочка, в стену стучит,  
Забивает новые кирпичи.

— А это, матушка, что за звон?  
Ко мне сюда долетает он.

— У короля родился дофин,  
Сегодня утро его крестин.

— А что же я, матушка, слышу тут —  
За окном у нас, как в церкви, поют?

— А это, доченька, крестный ход:  
Мимо дома с пеньем идет народ.

— Милая матушка, как мне быть?  
Можно к обедне нынче сходить?

— До завтра, милая дочь, подожди,  
А завтра утром к обедне иди.

Все восхитительно в этой жалобе, известной во множестве вариантов. В одном из них, записанном в Булони-сюр-Мер Эрнестом Гами, жена Жана Рено, увидев в церкви гроб своего мужа и узнав таким образом, что она овдовела, говорит своей свекрови:

— Прими же ключи из моих рук,  
Иди домой, где остался внук,  
Одень его в черный и белый наряд,  
А мне уже нет пути назад.

Мыслима ли большая простота, большее самозабвение, большее величие? Разве не схвачена здесь одна из тех подлинно жизненных черт, запечатление которых

искусством — как мы уже отметили — объявляют, когда ему это удастся, верхом совершенства?

На этом я остановлюсь. Моя задача — лишь бегло затронуть здесь все эти темы. В заключение скажу, что более всего меня поразило при чтении различных сборников наших старинных солдатских песен. Там нет и следа ненависти к другим народам. Сражаются за короля, против его врагов; но этих врагов не знают и к ним не питают вражды. Долгие войны Людовика XIV не оставили ни малейшей злобы в душе народа легкомысленного, кроткого и смелого.

Накануне Революции широкие массы Франции ни на один из народов Европы не смотрели как на врага. Во французских народных песнях нет ни слова горечи против немцев или англичан. Если английского короля и вызывают на поединок, то лишь один раз — в совершенно ребяческой, странной пастурелле, встречающейся в Брессе и в Иль-де-Франсе. Вызов ему бросает юная пастушка. Она говорит:

Возьмешь ты острый меч,  
А я — веретено.

И веретено пастушки перешибает меч короля. Не следует ли усмотреть в этой причуде фантазии смутное, нежное воспоминание о Жанне д'Арк? Кто знает, сколько правды песенная строчка несет на своих легких крыльях? Муза наших сельских просторов красноречиво говорит, что мы не умеем ненавидеть. Даже если бы от древнего французского духа остались лишь те нерифмованные стихи, которые мы только что напевали, и то мы могли бы с уверенностью сказать: у этого народа было два драгоценных дара — очарование и доброта.

### III

#### *Песни пахаря*

Эти песни — не любовные. Песни пахаря — песни труда. На берегах Луары Эмиль Сувестр часто слышал, как пахари «раззаривали» своих волов песней, которую те, казалось, понимали.

Вот какой у нее припев:

Эй  
Ты, рыжак,  
Ты, мой черняк,  
Живей, живей, а дома в стойле  
Будет вам сено, будет пойло.

В Брессе, во время пахоты, чтобы подбодрить волов, поют так называемые «песни буйных ветров». Приведем одну из них, проникнутую унылой суровостью:

У пахаря-бедняги  
Нелегкое житье,  
Со дня, как он родился,  
Влачит ярмо свое.  
Пусть град и ливень хлещут,  
Пусть мокрый снег идет,  
В любую непогоду  
Он в поле спину гнет.

Жалоба, такая мрачная вначале, затем несколько расцветивается воображением:

Всегда одет в холстину,  
Как мельничный ветряк,

И на ногах обмотки  
Таскает день-деньской,

Чтоб башмаков на поле  
Не засыпать землей.

Обмотки — это ясно из всей фразы в целом — заменяют ему гамаша. В последнем четверостишии он повышает тон и с законной гордостью говорит:

И нет господ на свете,  
Князей и королей,  
Что не жили бы потом  
Работника полей.

Поль Арен любезно прислал мне записанную им самим сходную провансальскую песню. «Вот, — говорит он, — жалоба крестьянина, простодушно рассказанная повесть его вековечной распри с землей». И действительно, только крестьянин мог в томительном однообразии долгой пахоты неторопливо сочинить эти

полные такого скорбного, раздирающего душу реализма строфы, поющиеся на мотив протяжный, заунывный и рождающий отзвук в окружающем безмолвии. Поль Арен дал немногословный, красочный перевод этой песни. Начало ее величаво и напоминает сиракузские буколики — так много античного еще сохранилось в душе провансальцев.

Приходите послушать  
Славную песню  
Про пахарей наших,  
Что на волах пашут,  
Что целые дни  
Проводят в полях.

Затем певец с достойным сельского Гесиода добродушием повествует о трудах и днях земледельца:

На рассвете рано  
Поднимается пахарь,  
Сперва молится богу,  
А помолясь, съедает  
Гороховую похлебку:  
Горох-то как раз созрел.  
Кончил он есть  
И говорит жене.

Это слова хозяина рачительного и мудрого. Вот что он ей говорит: «Приготовь мне зерно для сева. Когда придет время полдничать, принеси кувшин. И не забудь починить мне штаны. Сдается мне, третьего дня, когда я пахал на опушке леса, я разодрал мотню о кусты». Эта забота напоминает ему о сопряженных с его трудом невзгодах, и он с горечью восклицает:

На грешной этой земле  
Нет тяжелей труда:  
С вечера до утра  
Одна только нужда,  
Полита горьким потом  
Каждая борозда.

Спору нет, жизнь землепашца сурова. Жалобы провансальского пахаря, погоняющего своих волов, неизбежно трогают нас, так же как жалобы его беррийского сотоварища. И все же для нас очевидно, что к этим

жалобам примешиваются радость, удовлетворение и гордость. С немалой гордостью говорит пахарь у Поля Арена: «В плуге много частей — всего их тридцать одна! Тот, кто его выдумал, уж наверно был парень смысленный. Скорее всего — человек с образованием!»

Слишком уж мрачными красками рисовали нам быт наших сельских предков. Они много трудились и порою претерпевали большие бедствия — но они отнюдь не жили по-скотски. Не будем так уж усердно чернить прошлое нашей родины. Во все времена Франция была добра к своим детям. При старом режиме у французского крестьянина были свои радости: он пел. Принято утверждать, что барщина и прочие повинности взымались с него произвольно, были непосильны, и действительно — сеньориальные поборы иногда были тяжки. Но следовало бы рассказать и о том, как Жак Простак, отнюдь не глупец, благодаря своей изобретательности еще задолго до Революции сумел более чем наполовину освободиться от них. Неужели вы думаете, что у сельских красавиц Косского края, которые около 1750 года украшали свои головы сооружениями из кружев, вышину и пышностью затмевавшими пресловутый чепец королевы Изабо \*, и плотно запахивали на своем стане, поверх ярко-красной юбки, древнее одеяние принцесс Капетингского дома — длинный шерстяной плащ, неужели вы думаете, что у этих статных фермерш, гордо именовавшихся «хозяйками», не было вволю гречневой похлебки, черного хлеба, пирогов и даже солонины и парного мяса? Как бы не так! И если, по давнему обычаю, они прислуживали мужчинам за столом, а сами ели стоя, то спали они в массивных кроватях с четырьмя колонками в виде веретен и на цепочке у пояса носили ключи от огромного шкафа, наполненного бельем. Не одна знатная дама могла позавидовать этим богатствам. И таким достатком крестьяне пользовались не только в Нормандии. Лет пятнадцать назад я присутствовал в Клермоне на распродаже старинных праздничных нарядов местных крестьянок. Королева Мария Лещинская одевалась не более роскошно! Наши парижанки раскупили эти наряды, и широкие

юбки были превращены в красиво драпированные платья, производившие фурор на балах, вечерах, званных обедах. Эти платья в ярких разводах, эти кружевные чепцы дают нам ключ к пониманию тех изумительных и по задушевности и по игривости любовных песен, которые только что восхищали нас.

Прогулка наша окончена. Сознаюсь, тропы оказались более извилисты, чем следовало. Сегодня мой ум был склонен бродяжничать и резвиться. Что ж делать? Старик Силен — и тот не всегда управлял своим ослом по своему умунастроению. А он-то ведь был поэт — и бог.



## ИДЕИ ГЮСТАВА ФЛОБЕРА <sup>1</sup>

В связи с оперой «Саламбо» \* много говорили о Флобере. Флобер интересуется людей любознательных, и для этого есть вполне основательная причина: ведь Флобер — фигура очень интересная. То был человек неистовый и добрый, нелепый и гениальный, в котором сочетались самые противоречивые черты. Жизнь его протекала без катастроф и бурных приключений, но он умел придавать ей драматическое напряжение; комедию жизни он превращал в мелодраму и в своем кругу был *tragikôtatos* <sup>2</sup>, по выражению Аристотеля. Можно легко представить себе, как бы он расสวิрепел, узнав, что из его «Саламбо» сделали оперу. Если бы он увидел этот ужасный спектакль, в его глазах засверкала бы молния, на губах от бешенства появилась бы пена, из груди вырвался бы грозный крик! Это зрелище было бы для него равносильно горькой чаше, скипетру из тростника, терновому венцу, крестным мукам...

Сумел ли я найти нужные слова? Или Флобер счел бы их слишком слабыми для выражения его мук? То обстоятельство, что Флобер, страдающий и грозный, не явился ночью к господам Рейеру и Дюлоклю, можно,

---

<sup>1</sup> Статья эта написана в связи с весьма примечательным «Этюдом», опубликованным г-ном Анри Ложоль в «Revue bleue».

<sup>2</sup> Здесь: «Ужасный» (*греч.*).

пожалуй, счесть лишним доводом против бессмертия души.

Правда, мертвецы вообще не возвращаются на землю после того, как была замурована пещера Дунгала, служившая вратами в потусторонний мир. А не то он явился бы, наш Флобер, явился бы, чтобы проклясть господ Дюлокля и Рейера.

При жизни Флобер был превосходным человеком, но у него были весьма странные представления о смысле человеческого существования. Я, как нельзя более кстати, обнаружил в «Ревю бле» этуод, посвященный характеру этого бедняги великого писателя; работа подписана: «Анри Ложоль». Это имя достаточно известно в литературе. Оно принадлежит новеллистам и критику, которому мы обязаны примечательными статьями о наших романистах и поэтах, а также — несколькими рассказами: они рассеяны по различным журналам и вполне заслуживают того, чтобы их издали отдельным томом. Меня уверяют, что имя «Анри Ложоль» вымышлено, что под ним скрывается весьма приятный правительственный чиновник \*, который, используя свою близость к министру, сумел оказать немало услуг литературе. Я не берусь ничего утверждать и полагаюсь в этом вопросе на г-на Жоржа д'Эйли, который, как известно, посвятил себя весьма деликатному занятию — раскрытию псевдонимов современных писателей. И еще одно заставляет меня верить в правильность этого предположения: во всех статьях, подписанных именем Анри Ложоля, преклонение перед искусством сочетается с интересом к реальным сторонам жизни, что выдает человека с житейским опытом. У Анри Ложоля есть то понимание повседневных потребностей, которого обычно недостает людям, посвятившим себя одной лишь литературе. Эта особенность автора проявилась уже в превосходно написанной новелле, где он заставил самого Дон-Жуана признать, что счастье — только в браке и размеренном образе жизни. Правда, Дон-Жуан сделал это признание уже в пору печальной старости, и не подлежит сомнению, что он говорил так потому, что мы чаще всего называем счастьем то, чего сами не испытывали.

Философия г-на Анри Ложоля особенно ясно выражена в его последней замечательной статье, в которой он старается посрамить гордое одиночество поэта и убедить властителей дум в том, что им не следует никого презирать. Произведениям искусства он противопоставляет добродетели семейной жизни и с жаром заключает:

«Суметь достойно прожить жизнь — тоже высокое искусство. Борьбаться, надеяться, желать, любить, сочетаться браком, рожать детей и, если захочется, дать сыну имя «Тотор» — разве все это в глазах всевышнего занятия более суетные, нежели писать черным по белому, в ярости комкать листки бумаги и ночи напролет сражаться с прилагательными? Не говоря уже о том, что такое бесплодное времяпрепровождение заставляет писателя тысячи раз умирать при жизни и заранее испытывать адские муки. «Ступай и ешь хлеб свой в радости вместе с женою, которую ты себе избрал», — эти слова принадлежат не буржуа, а Екклесиасту, сочинителю, почти романтику».

Это хорошо сказано. В самом деле, Флоберу не стоило издеваться над теми, кто дает своему сыну имя «Тотор», ибо сам он называл госпожу Х «своей султаншей», а это — не менее смешно. Флобер был не прав, когда «искренне считал, что в этом мире все, кроме искусства, — гнусно»; и, если он даже в самом деле был способен потратить целую неделю, чтобы избежать ассонанса, как он хвастался, это еще не давало ему права презирать скромный труд обыкновенных людей. Однако приравнивать их занятия к его трудам, одинаково оценивать то, что каждый совершает для самого себя, и то, что один совершает для всех, ставить на одну доску кормление ребенка и создание поэмы, как это, видимо, делает г-н Ложоль, — значит приходить к отрицанию красоты, гения, мысли, к отрицанию всего возвышенного, значит протягивать руку русскому апостолу, проповедующему, что лучше тачать сапоги, нежели писать книги \*. Что же касается Екклесиаста, чьи слова вы так неосмотрительно приводите, господин Ложоль, то берегитесь: это был великий скептик, и совет, который он дает, не так уж нравствен-

нен, как может показаться. Следует остерегаться людей Востока, когда речь идет о домашних привязанностях.

Но я напрасно браню г-на Анри Ложоля — он уже не владел собою, когда писал красноречивые строки, цитированные мною: Флобер вывел его из состояния равновесия, и это меня не удивляет. Идеи Флобера способны свести с ума всякого здравомыслящего человека. Они — абсурдны и до такой степени противоречивы, что каждый, кто попытался бы согласовать между собой хотя бы три из них, вскоре схватился бы за голову из-за невыносимой боли в висках. Мысль Флобера была подобна извержению вулкана, разбушевавшейся стихии. Когда этот гигант рассуждал, казалось, что происходит землетрясение. Он сам понимал это и, не будучи таким уж простаком, старался еще больше походить на вулкан; естественные взрывы он сопровождал пиротехническими эффектами, так что его врожденная экстравагантность становилась в какой-то мере искусственной; Флобер поступал так, как поступают владельцы гостиниц, которые сооружают специальные балконы, чтобы удобно было любоваться диким пейзажем.

Величие всегда поражает. Величественные бредни, которыми полны письма и разговоры Флобера, поистине необычайны. Братья Гонкуры собрали некоторые его высказывания, которые всегда будут вызывать удивление. Прежде всего надо знать, что представлял собою Флобер. У этого великана, родившегося на севере Франции, были пухлые детские щеки и огромные усищи; у него было тело пирата и всегда наивные голубые глаза. Что же касается его духовной сущности, то она представляла собой причудливое сочетание противоречивых черт. Уже давно было замечено, что человек многолик. Флобер также был многолик; больше того — он был разорван, и составлявшие его части, казалось, постоянно стремились разъединиться. В детстве, в театре Серафен, я видел куклу, которая могла бы послужить символическим изображением внутреннего мира Флобера. То был игрушечный гусар, который танцевал, покуривая трубочку. Вдруг руки его отделялись

от туловища и продолжали двигаться в воздухе сами по себе, в то время как гусар продолжал свой танец. Затем и ноги его отлетали в разные стороны, но об этом, видимо, не замечал; туловище плясуна тоже распалось на две части, а голова исчезала в каракулевой шапке, откуда градом сыпались лягушки. Эта фигурка великолепно воспроизводит мужественную дисгармонию, которая характерна для мышления и нравственного облика Флобера; вот почему, увидев писателя в его небольшой гостиной на улице Мурильо, когда он в костюме корсара яростно жестикулировал и вопил во все горло, я невольно вспомнил гусара из театра Серафен. Сознаю, это было дурно. Я не проявил должного уважения к мэтру. Однако глубокое и безоговорочное восхищение, которое рождало во мне его творчество, от этого не уменьшилось. С тех пор оно еще больше возросло, и неувядаемая красота, которая освещает все страницы «Госпожи Бовари», с каждым днем все больше чарует меня. И все же в человеке, который с такой уверенностью, с таким непогрешимым мастерством написал такую книгу, — в человеке этом таилась бездна неуверенности и заблуждений.

Вот мысль, способная уязвить нас, кичащихся своей жалкой мудростью: человек этот, владевший тайнами словотворчества, не был умен! Слушая, как он излагает трубным голосом свои нелепые афоризмы и свои туманные теории, которые любая из написанных им строк яростно опровергала, вы в недоумении говорили себе: «Так вот он, вот он — козел отпущения романтических бредней, жертвенное животное, с помощью которого гении искупают все свои грехи».

Таков был Флобер. Но это был, кроме того, богатырь с мощной мускулатурой, походивший на святого Христофора, который, вырвав с корнем дуб и тяжело опираясь на него, перенес литературу на своей могучей спине с берега романтизма на берег натурализма, даже не подозревая, что он совершает, от чего отталкивается и куда приходит.

Дед его был женат на уроженке Канады, и Гюстав Флобер гордился тем, что в его жилах течет кровь краснокожих. Он в самом деле вел свое происхождение

от натчезов, но только от «Натчезов» Шатобриана \*. В душе Флобер был романтик. В коллеже он, ложась в постель, прятал под подушку кинжал. В молодости он останавливал свой экипаж перед загородным домом Казимира Делавиня, вставал на сиденье и выкрикивал перед воротами «ругательства, достойные последнего бродяги». В письме к одному из друзей юности он признавался, что видел в Нероне «кульминационную точку древнего мира». Его любовница была настоящим «синим чулком»; их отношения складывались как нельзя более мирно, и все же Флобер довольно неуклюже становился в позу Антони: \* «Я был близок к тому, чтобы убить ее, — рассказывал он двадцать лет спустя. — В ту самую минуту, когда я уже подходил к ней, я вдруг испытал нечто похожее на галлюцинацию. Мне послышалось, будто подо мной скрипит скамья подсудимых в суде присяжных».

Самыми великолепными своими нелепостями Флобер конечно же обязан романтизму. Но немалую роль сыграла здесь и его собственная натура.

Братья Гонкуры отметили в своем «Дневнике» эти сумбурные рассуждения Флобера, эти теории, находившиеся в полном противоречии с самой природой его таланта, которые он провозглашал громовым голосом; пытаясь обосновать «эти пышные декларации», все эти туманные и необыкновенно сложные построения о *чистой красоте*, о вечной красоте, Флобер увязал, как увязает буйвол в озере, покрытом водорослями. Все это отличалось удивительной наивностью. Г-н Анри Ложоль в статье, о которой я только что говорил, справедливо отмечает, что самым прискорбным заблуждением Флобера была его уверенность, будто искусство и жизнь — вещи несовместные, будто для того, чтобы быть писателем, следует отказаться от всех иных обязанностей, от всех радостей жизни.

«Мыслитель, — говорил Флобер (а разве художник — не трижды мыслитель?), — не должен иметь ни религии, ни родины, ни каких бы то ни было общественных убеждений... Участвовать в чем бы то ни было, вступать в какую-нибудь корпорацию, в какое-нибудь братство, в какое-нибудь дело, даже носить какой бы то

ни было титул — значит бесчестить, значит унижать себя... Ты сможешь, мой милый, описывать вино, любовь, женщин, воинскую славу лишь при том условии, если сам не будешь ни пьяницей, ни влюбленным, ни супругом, ни солдатом. Человек, причастный к жизни, плохо видит ее, он или слишком страдает, или слишком наслаждается. Художник, на мой взгляд, — это чудовище, существо, стоящее за пределами человеческой природы».

В этом-то и заключается ошибка. Он не понял, что поэзия должна рождаться из самой жизни, естественно, подобно тому, как дерево, цветок и плод рождаются из земли, — из самых недр земли, а не падая с небес. Мы всегда страдаем исключительно из-за собственных ошибок. Флобер жестоко страдал из-за своей. «Его несчастье, — справедливо замечает наш критик, — истекло оттого, что он упрямо желал видеть в литературе не верную служанку человека, но какого-то свирепого Молоха, жадно требующего искупительных жертв».

«Сперва избалованный ребенок, затем — состарившийся ребенок (прибавляет г-н Ложоль), но, так или иначе, всегда ребенок! Флобер пронес через всю жизнь зародившиеся у него еще в коллеже теории об абсолютном превосходстве писателя над прочими смертными, об антагонизме, будто бы существующем между ним и остальной частью человечества, о том, что мир — злачное место, и еще многое в таком же роде! Всю эту выскомерную чепуху он воспринял в юности, как догму, и до конца сохранил к ней благоговейное отношение. Ребяческое представление о долге писателя навсегда застряло в его сознании, где, несмотря на внезапные озарения, почти постоянно царил хаос».

Флобер яростно отстаивал так называемое безличное искусство. Он говорил: «Художник должен творить так, чтобы потомки даже не подозревали, что он жил на свете». Эта мания заставляла его придумывать нелепые теории. Впрочем, большого вреда она не принесла. Что бы ни говорили — произведение неотделимо от автора, каждое из наших творений говорит только о нас, потому что оно знает только нас. Тщетно Флобер кричит

о том, будто он не присутствует в своем творчестве. Он устремился туда в полном вооружении, подобно тому как Деций устремился в пропасть\*.

При внимательном рассмотрении обнаруживаешь, что идеи Флобера не были его личным достоянием. Он заимствовал их у различных людей, но старался как можно больше затемнить их и необычайно запутать. Теофиль Готье, Бодлер, Луи Буйе придерживались примерно тех же взглядов. В этом смысле «Дневник» Гонкуров весьма поучителен. Мы видим, какая глубокая бездна отделяет нас, учившихся читать по книгам Дарвина, Спенсера и Тэна, от старых мастеров. Но не менее широкая пропасть уже возникает между нами и людьми нового поколения. Те, кто приходит вслед за нами, потешаются над нашими методами исследования. Они не понимают нас, и если мы со своей стороны не примем мер, то даже не будут знать, чего они, собственно, хотят. Идеи в наш век сменяются с головокружительной быстротой. Кажется, только недавно мы присутствовали при рождении натурализма, а он уже — при последнем издыхании; думается, что и символизм вскоре вслед за ним возвратится в лоно вечной Майи.

Печально течет поток сменяющихся настроений и философских взглядов, а произведение старого Флобера по-прежнему нерушимо высятся, продолжая вызывать к себе уважение. Этого достаточно, чтобы простить славному писателю все несообразности и противоречия, которые во множестве обнаруживаются в его письмах и дружеских разговорах. Но среди этих противоречий есть одно, которым следует восторгаться и которое надо благословлять. Флобер, который ни во что не верил и с еще большей горечью, чем Екклезиаст, вопрошал себя: «Да и что остается человеку от труда его?» — этот Флобер был самым трудолюбивым из всех мастеров литературы. Он работал по четырнадцать часов в день. Он тратил много времени на различные изыскания и первоисточники (ему это плохо удавалось, так как у него не хватало критического чутья и метода); долгие послеобеденные часы он посвящал тому, чтобы излить «свою свирепую меланхолию», как метко выразился г-н Анри Ложоль; обливаясь потом, пытая,



задыхаясь, не щадя себя, он склонял над столом свою мощную грудь, созданную для безграничного простора лесов, морей и гор, — и апоплексический удар угрожал ему задолго до того, как сразил его; стремясь завершить свое творчество, Флобер соединял упорство неистового писца и бескорыстное рвение великих отшельников с безотчетным пылом пчелы и художника.

Почему, ни во что не веруя, ни на что не надеясь, ни к чему не стремясь, обрек он себя на столь тяжкий труд? Он сам объяснил это противоречие, сделав в разгар своей славы горестное признание: «В конечном счете, работа — это лучшее средство укрыться от жизни».

Он был несчастлив. Если он даже был в этом повинен, если он стал жертвой своих ложных идей, муки его от этого были не меньше. Не будем уподобляться аббату Бурнизьену, который отрицал страдания Эммы \* на том основании, что она не страдала ни от голода, ни от холода. Один не чувствует железных зубьев, впивающихся в его тело, другому кажется жесткой пуховая подушка. Подобно принцессе Возрождения \*, Флобер «нес более тяжкое бремя человеческих страданий, чем то, что положено всякому благородному существу».

Он находил некоторое облегчение, громогласно изрекая жалкие афоризмы. Не станем слишком упрекать его за это. Правда, его литературные взгляды не выдерживают никакой критики. Он принадлежал к числу тех храбрых полководцев, которые не умеют рассуждать о военной стратегии, но зато выигрывают сражения.

## ПОЛЬ ВЕРЛЕН

Снова, как и в 1780 году, в больнице лежит поэт \*. Разница та, что теперь над кроватью висит белый полог (чего не знали еще в Отель Дье во времена Жильбера), а больной — поэт настоящий. Зовут его Поль Верлен. Это не юноша, меланхоличный и бледный, это старый бродяга, уставший от тридцатилетних скитаний.

С первого взгляда его можно принять за деревенского колдуна. Голый, отливающий медью череп, шишковатый, как старый котел, маленькие раскосые, блестящие глазки, курносый нос с широкими ноздрями, редкая, жесткая, коротко подстриженная борода, — все в нем напоминает Сократа, только без его философии и умения владеть собой.

Он изумляет, он режет глаз. Он смотрит сурово и вместе с тем ласково, дико и дружелюбно. Перед нами Сократ, руководимый лишь инстинктом, или, вернее, фавн, сатир, полуживь-полубог, пугающий как стихийная сила, которая не подчиняется никакому, известному нам, закону. Да, это — бродяга, старый бродяга, кочующий по дорогам и предместьям.

Он вышел из той же среды, что и мы. Бедная, благовоспитанная вдова вырастила его в уютной глуши тихого Батиньоля. Как и мы, он учился в лицее и, как и мы, изрядно покорпел над классиками и все же не

вынеся о них ни малейшего представления, стал бакалавром. Образование открывает все двери, и он поступил в один из отделов муниципалитета. В то время барон Осман охотно и без разбора принимал в префектуру лохматых поэтов и мелких газетчиков. Там они читали вслух «Возмездие» Гюго и восхищались живописью Манэ. Свои «Сатурнические поэмы» Поль Верлен переписывал на казенной бумаге. Все это я говорю ему не в упрек. В ранней юности он вел такой же образ жизни, как Франсуа Коппе, Альбер Мера, Леон Валад и многие другие поэты — пленники своих канцелярий, лишь по воскресеньям вырывавшиеся за город. Такое скромное, однообразное существование, благоприятное для мечтаний и для кропотливой работы над стихом, было уделом большинства парнасцев. В этом кружке только один, или почти один, Хосе-Мария де Эредиа, хотя и лишенный львиной доли богатств, накопленных его предками-конкистадорами, строил из себя джентльмена и курил дорогие сигары. Его галстуки были столь же ослепительны, как и его сонеты. Но мы завидовали только сонетам. Все мы искренне презирали земные блага. Мы стремились лишь к славе, но и ее мы любили робкой, почти тайной любовью. Поль Верлен вместе с Катюлем Мендесом, Леоном Дьерксом и Франсуа Коппе принадлежит к первому поколению парнасцев. Не знаю, в сущности, почему мы требовали тогда от себя бесстрастия. Великий теоретик нашей школы, Ксавье де Рикар, с жаром доказывал, что искусство должно быть холодным, как лед, и мы даже не замечали, что у этого проповедника бесстрастия нет ни одного стиха, который не был бы страстным выражением его политических, общественных и религиозных убеждений. Его высокий апостольский лоб, горящие глаза, аскетическая худоба и пламенное красноречие не могли рассеять обман. То было хорошее время, время, когда мы еще не были испорчены здравым смыслом! Позднее Рикар, возмущенный холодностью северян, удалился в окрестности Монпелье и из своего уединения на Чертовой мызе принялся изливать на Лангедок революционный пыл, испелелявший его самого. Поль Верлен, как никто, притяжал на бесстрастие. Он искренне считал себя

одним из тех, кто «чеканит слова, как кубки», и верил, что заставит мещан замолчать победоносным вопросом:

Иль не из мрамора Милосская Венера?

Конечно, из мрамора. Но — бедное, больное дитя, сотрясаемое мучительным ознобом, все равно ты обречено петь, как лист, что дрожит на ветру, и тебе ничего не дано познать в жизни и в целом мире, кроме волнющей собственной плоти и крови.

Друг, бедный мой друг, оставь в покое символический мрамор: жребий твои предначертан. Тебе не выйти из круга смутных ощущений, и когда ты станешь разрывать себя на части во тьме, к нам долетит твой странный голос, твои стоны и крики, в которых мы с изумлением различим то простодушный цинизм, то непритворное раскаяние. *I nuns anima anceps...*<sup>1</sup>

Разумеется, «Сатурнические поэмы», изданные в 1867 году, в тот самый день, когда Франсуа Коппе выпустил свой «Ковчег», еще не предвещали в их авторе самого оригинального, самого грешного и самого мистичного, самого сложного и самого простого, самого смятенного, самого безумного, но уж конечно и самого вдохновенного и самого подлинного из современных поэтов. Однако сквозь налет искусственности, сквозь штампы определенной школы в них проступали черты самобытного, несчастного и беспокойного таланта. Знайки насторожились. Говорят, что Эмиль Золя задумывался над тем, кто пойдет дальше: Поль Верлен или Франсуа Коппе.

В следующем году появились «Галантные празднества». Это была тоненькая книжка. Но здесь уже перед нами предстал настоящий Верлен с его волнующей непосредственностью, с его какой-то угловатостью и хрупкостью, таящими в себе неизъяснимое очарование. Что же это за галантные празднества? Они происходят на острове Цитере, изображенном на картине Ватто. Но если по вечерам там еще ходят парами в лес, то все же лавры срезаны, как поется в песне, и колдовские травы, выросшие на их месте, распространяют вокруг себя смертельную истому.

<sup>1</sup> А ныне двулика душа... (лат.)

Один из тех музыкантов, которые фальшивят оттого, что им приелась их изощренная техника, Верлен внес много нестройных звуков в свои менуэтные мотивы, его скрипка порой немилосердно режет слух, и вдруг один какой-то удар смычка разрывает вам сердце. Злой скрипач мучает вас. Он хватает вас за душу, как, например, в «Лунном свете»:

Душа у вас изысканна, как сад,  
Где бродят маски. Пестры их наряды.  
Они танцуют. Лютни их звенят,  
Но полны затаенной грусти взгляды.

Минором скорбным их напев звучит.  
О легком счастье, о любви всевластной  
Поют они, не веря в них, и слит  
С мотивом свет, печальный и прекрасный.

Спокойный и холодный свет луны,  
Который птицам грезы навевает,  
А водомет о мрамор с вышины  
Свою струю, рыдая, разбивает.

Новое, необычное, проникновенное звучание!

Потом мы снова услышали поэта, но уже не явственно, накануне войны \*, перед самыми этими страшными днями: он пел свою «Милую песенку», бесхитростную, очень простую, неясную и необыкновенно приятную. Он был тогда женихом и к тому же самым нежным, самым целомудренным из женихов. Так должны петь совсем еще юные сатиры и фавны, когда они напьются молока, а вокруг них, весь в заревых лучах и каплях росы, просыпается лес.

И вдруг Поль Верлен как в воду канул. С автором «Галантных празднеств» приключилось то же, что с веселым сукноделом из Водевира \*, о котором рассказывает песня. Он не подавал о себе вестей. Пятнадцать лет длилось это молчание, а затем мы узнали, что раскаявшийся Верлен выпустил в католическом издательстве том стихов на религиозные темы. Что произошло за эти пятнадцать лет? Не знаю. Да и знает ли кто-нибудь? Подлинная история Франсуа Вийона почти не известна. А Верлен очень похож на Вийона: это два испорченных мальчика, которым суждено было сказать

нежнейшие слова. Что касается этих пятнадцати лет, то тут остается поверить легенде. А легенда гласит, что Верлен был великим грешником, одним из тех, кого, по выражению незабвенного Жюль Телье\*, «мечты довели до эротического помешательства». Так говорит легенда. Еще она говорит, что испорченный мальчик был наказан за свои проступки и ценою тяжких страданий искупил их. Желавшие придать легенде некоторую убедительность обычно приводили его пленительные в своей непосредственности покаянные стансы:

Синеет небо в вышине,  
Покою дышит.  
Каштан над кровлей в вышине  
Листву колышет.

Звонят к обедне за окном  
Неторопливо.  
На ветке птица за окном  
Поет тоскливо.

О боже, мир и счастье тут  
И жизнь простая.  
Шум городской стихает тут,  
В просторе тая.

Ответь, ответь, что сделал ты,  
Слезу смахнувший,  
Что сделал с молодостью ты  
Своей минувшей?

Конечно, это всего лишь легенда, но за ней будущее. Так нужно. Стихи отталкивающего и обаятельного Верлена утратили бы часть своих достоинств и свой смысл, если бы они не исходили из густой мглы, «где свет немотствует всегда» и где флорентинец увидел прелюбодеев, тех, «кто предал разум власти вожде-лений»\*, —

*Che la ragion somettono al talento.*

И потом, чтобы искренне покаяться, надо действительно согрешить. Поль Верлен с открытой душой вернулся к богу своей крестильной купели и первого причастия. В нем всё от чувства. Он никогда не рассуждал, он никогда не умствовал.

Ни мысль, ни сознание не нарушили его представления о боге. Мы видели, что ото фавн. А кто читал жития святых, тот знает, как легко было апостолам, которые просвещали язычников, обращаться в христианство фавнов, отличающихся редким простодушием. Самые христианские стихи во всей французской поэзии написаны Верленом. Не я первый сделал это открытие. Жюль Леметр отметил \*, что в «Мудрости» есть строфы, своим звучанием напоминающие отдельные стихи из «Подражания Христу».

Семнадцатый век, несомненно, создал прекрасную духовную поэзию. Корнель, Бребёф, Годо вдохновлялись «Подражанием» и псалмами. Но они писали во вкусе эпохи Людовика XIII: их покаяние было слишком гордым, даже несколько хвастливым и показным. Как Полиевкт во времена Ришелье \*, кающийся поэт носил шляпу с перьями, перчатки с кружевной отделкой и длинный плащ, край которого, наподобие петушьего гребня, приподнимала рапира. Смирение Верлена — это естественное смирение: волна религиозной поэзии идет у него от сердца, и мы улавливаем в ней интонации Франциска Ассизского и св. Тересы:

Отныне лишь тебя люблю я, мать божья...

Когда бесчисленность путей мой взор слепила  
И к злу руками я тянулся, словно тать,  
Ладони складывать, и долу взор склонять,  
И славить господа она меня учила.

Или вот эти стихи без рифм, подобные тем молитвенным вздохам, сладость которых прославляют мистики:

Любовью, боже, ранил ты меня,  
И рана все еще исходит дрожью.  
Любовью, боже, ранил ты меня!

Вот мой лишь от стыда горевший лоб.  
Пусть он твоим стопам ступенью служит.  
Вот мой лишь от стыда горевший лоб.

Вот руки, незнакомые с трудом.  
Пусть в них пылают фимиам и угли.  
Вот руки, незнакомые с трудом.

Вот сердце, вечно бившееся зря.  
Пусть тернии вонзят в него Голгофа.  
Вот сердце, вечно бившееся зря.

Вот ноги, что путем бесцельным шли.  
Пусть поспешат они на зов твой кроткий.  
Вот ноги, что путем бесцельным шли.

Вот очи, два светильника греха.  
Пусть их огонь зальет слеза молитвы.  
Вот очи, два светильника греха.

Глубокое, неподдельное раскаяние! Но длилось оно недолго. Подобно псу из Священного писания, он вскоре возвратился на свою блевотину. И новое падение снова внушило ему поразительно искренние стихи. Как же это случилось? Столь же чистосердечный в грехе, как и в покаянии, он с наивным цинизмом принял обе крайности. Он согласился вкушать по очереди то от соблазнов греха, то от мук отчаяния. Больше того: он вкушал их, так сказать, одновременно; он завел для своих душевных дел двойную бухгалтерию. Отсюда этот странный сборник стихов, озаглавленный им «Параллельно». Конечно, это извращенность, но до того наивная, что, кажется, ее можно простить.

Да и нельзя подходить к этому поэту с той же меркой, с какой подходят к людям благоразумным. Он обладает правами, которых у нас нет, ибо он стоит несравненно выше и вместе с тем несравненно ниже нас. Это — бессознательное существо, и это — такой поэт, который встречается раз в столетие. Вот его точная характеристика, принадлежащая Жюлью Леметру: «Это варвар, дикарь, ребенок... Но ребенок с музыкой в душе, и порой он слышит такие голоса, каких до него не слышал никто...»

Он — безумец, скажете вы? Согласен. Да если б я усомнился в этом, я уничтожил бы все, что я о нем здесь написал. Конечно, безумец. Но будьте с ним осторожней: этот блаженный создал новое искусство, и не исключено, что когда-нибудь о нем скажут то же, что говорят теперь о Вийоне, с которым его уместней всего сравнить: «Это лучший поэт своего времени!»

В одном рассказе \*, недавно вышедшем у нас в переводе Э. Жюбера, граф Толстой рассказывает историю



одного бедного музыканта, бродяги и пьяницы, который так играл на скрипке, что ее звуки уносили на небо. Лютой зимой этот жалкий гений, пробродив всю ночь напролет, в изнеможении свалился на снег. И тогда некий голос сказал умирающему: «Ты — лучший и счастливейший!» Будь я русский, — точнее, будь я русский святой или русский пророк, то, наверно, прочитав «Мудрость», я сказал бы несчастному поэту, ныне простертому на больничной койке: «Ты согрешил, но ты исповедался в своих грехах. Ты мыкал горе, но ты никогда не лгал. Бедный самаритянин! Сквозь детский лепет и болезненные стоны тебе суждено было произнести божественно прекрасные слова. Мы — фарисеи. Ты же — лучший и счастливейший».

## ДИАЛОГИ ЖИВЫХ

### ЧЕЛОВЕК-ЗВЕРЬ

#### ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Хозяин дома.	Профессор.
Судья.	Писатель-идеалист.
Писатель-натуралист.	Критик.
Философ.	Инженер.
Академик.	Светский человек.

В курительной комнате

Хозяин дома. Анисовой или коньяка?

Судья. Коньяка, пожалуйста. Читали вы «Человека-зверя»?

Хозяин дома. Какого «Человека-зверя»? Вы, очевидно, говорите о романе, которого мы перестали ждать? Разрешите вам напомнить, как обстояло дело: господину Эмилю Золя оставалось еще дописать страниц пятьдесят, когда пришел его черед идти в присяжные заседатели. Он ужасно разгневался и наводнил все газеты своими жалобами.

Судья. Он даже такую мысль высказал: обязанность присяжного должна-де быть факультативной. Чем и доказал свое полное невежество в области права.

Писатель-натуралист. И что гораздо важнее, этим самым он выдал с головой свое глубочайшее равнодушие, свое презрение к подлинно человеческому

документу, хотя сам некогда настоятельно советовал им пользоваться. Он и думать уже забыл о том, чтобы писать правдиво, о том, чтобы резать жизнь ломтями, сочными ломтями, пользуясь его же собственным выражением. Он, изменник, от нас отрекается, и мы от него тоже отрекаемся \*. Между ним и нами нет уже ничего общего. Не пожелал, видите ли, идти в присяжные! Но ведь где, как не на скамье присяжных, можно во всей полноте наблюдать подонки общества, истинное дно человеческой природы. Попастъ в присяжные — это же удача для настоящего натуралиста! Он, Золя, натуралист? Да оставьте вы, никогда он натуралистом не был!

Хозяин дома. Ну, знаете ли, «никогда» это уж слишком крепко сказано... Анисовой, кюрассо или коньяку?.. Ведь в конце концов все же он глава натуралистической школы.

Философ. Ну! Это еще ничего не доказывает. Лишь в редчайших случаях глава школы в той же мере, что и его ученики, сохраняет верность основанной им школе... Анисовой, пожалуйста.

Писатель-натуралист. Простите, но не будем путать дат. Натурализм ведь основан Флобером и братьями Гонкурами.

Академик. На мой взгляд, господа, вы несправедливы по отношению к Шанфлери.

Философ. Шанфлери был предтечей, а предтечи роковым образом ступеньваются перед теми, чей приход предвещают. Иначе они были бы не предтечами, а мессиями. Впрочем, Шанфлери писал просто омерзительно.

Академик. Да я его никогда и не читал.

Хозяин дома. А я еще не докончил «Человека-зверя». Смотрите-ка, вон на столе... вон, вон там... маленький желтый томик. По-моему мнению, это... как бы выразиться поудобнее...

Профессор. Скучища!

Хозяин дома. Именно это я и имел в виду.

Идеалист. А по-моему, это одна из самых интересных книг. Просто восхитительно.

Хозяин дома. С известной точки зрения может быть и так. Но там встречаются преднамеренные грубости, такие непристойности, что просто краснеешь.

Философ. Давайте, господа, говорить откровенно и постараемся быть по возможности искренними с самими собой. Так ли уж вы краснеете от непристойностей Золя, как хотите нас уверить? Сомневаюсь. Ибо в конце концов, поднявшись из-за обеденного стола и оставив наших дам в одиночестве, мы удаляемся в курительную комнату и ведем разговоры куда более откровенные, чем те, которые когда-либо публиковал господин Золя.

Хозяин дома. Ну это, знаете ли, большая разница.

Академик. Здесь мы, так сказать, даем отдохновение мозгам.

Критик. В «Человеке-звере» имеются два совершенно не связанных между собой предмета: сенсационное преступление и трактат по железнодорожному делу.

Инженер. Я лично предпочитаю часть с сенсационным преступлением. Все, что Золя пишет о суде, — удивительно верно.

Судья. А я предпочитаю те места, где он говорит о железных дорогах.

Критик. Какая все-таки странная мысль сплать в одно произведение два совершенно различных романа. Первый — нечто совершенно безобидное... по моему, даже и написан-то он для того, чтобы ознакомить юношество с работой железных дорог. Право же, так и кажется, что в этой части Эмиль Золя вдохновлялся нашим славным Жюлем Верном. В каждой сцене чувствуется рука добросовестного популяризатора. Поезд застревает в снегу, сталкивается с товарной платформой на переезде, отчего она сходит с рельс, кочегар борется с машинистом на площадке паровоза, поезд мчится на всех парах, — не правда ли, все это весьма поучительно? Я не побоюсь сказать, что это настоящий Жюль Верн и притом в лучшей его манере.

А с каким чисто педагогическим старанием, с какой чисто материнской хитростью старается он научить мо-

лодых люден отличать разные виды паровозов: экспресс на спаренных осях с колесами большого диаметра от тендера на трех осях с колесами малого диаметра, посвящает их в тайны работы поворотных кругов, стрелок и сигналов, показывает им систему перевода поезда на другой путь и обращает их внимание на то, как локомотив требует себе свистком пути! Ни один из друзей юношества, даже сам господин Гийемен, не перечисляет с таким достохвальным терпением различные части машины: цилиндры, тормозные краны, клапан, шатун, регулятор, спускной кран топки; две рамные боковины, золотники с эксцентриками, масленки для смазки цилиндров, привод песочницы и привод свистка, ручку инжектора и рукоятку реверса.

**Идеалист.** Пожалуй, это и в самом деле немножко чересчур аналитично, но господин Эмиль Золя любитель перечислять, чем и похож на Гомера. Однако, когда он говорит, что логика и точность — это красота стальных существ, неужели, по-вашему, он и тут напоминает Жюль Верна? Когда он превращает машину, управляемую Жаком Лантье, в «Лизон», в живое существо, когда он рисует ее во всей красоте жаркой, податливой юности, а затем ее же в снежный буран, пораженную тайным и глубоким недугом, как бы ослабевшую от чашотки и наконец погибающую насильственной смертью, с развороченным нутром и отдающую богу душу, что же, по-вашему, и это тоже написал наивный популяризатор завоеваний пауки? Нет, уж, поверьте, это написал поэт. Его огромный и простой талант творит символы. Он порождает новые мифы. Греки создали дриаду. А он создал свою «Лизон»; неизвестно еще, какой из двух отдать пальму первенства, — и обе они бессмертны. Он великий лирик нашего времени.

**Светский человек.** Гм! А Мукетта в «Жерминале» — это, по-вашему, тоже лирика?

**Идеалист.** Безусловно. Спину Мукетты он превращает в своего рода символ. Он поэт, уж поверьте мне.

**Натуралист.** Вы расправляетесь с ним жестоко, но по заслугам.

Критик (он не слышал ничего из предыдущих разговоров, листая маленький желтый томик). Послушайте, господа, хотя бы вот эту страницу (читает): «Помощник дежурного поднял фонарь, после чего машинист запросил разрешения на отправку поезда. Раздалось два свистка, возле будки стрелочника потух красный огонь и на месте его загорелся белый. Стоя в дверях багажного вагона, обер-кондуктор ждал приказа об отправке, чтобы передать его затем машинисту. Машинист дал снова продолжительный свисток, открыл регулятор, и колеса сделали первый оборот. Поезд тронулся. Сначала движение было почти неощутимым, потом ускорилося. Поезд прошел под Европейским мостом и углубился в Батиньольский туннель». Можно ли быть более откровенным дидактиком, не слишком ли напоминает вам эта страница извлечения из томов «Библиотеки чудес», основанной незабвенным Шартоном? Будем же справедливы, он сам превзошел себя и в безвкусице и в наивности. Мы только что говорили, что Золя создал роман для школьного чтения. И в силу совершенно непонятого заблуждения, даже если хотите своего рода безумья, он примешал ко всем этим сценам, написанным для детей, повесть о похоти и преступлении. Тут вам и гнусный старик, оскверняющий девочку, и оставшийся ненаказанным отравитель, и молодая женщина — злодейка, до ужаса нежная, и некое чудовище, в чьем больном мозгу мания убийства неотъемлема от наслаждений, и поэтому он душил по очереди всех женщин, которых любит. И самое страшное — это невозмутимое спокойствие всех этих людей, которые даже не замечают тяжести своих преступлений, как яблоня не замечает бремени своих плодов. Я вовсе не хочу сказать, что все это неверно. Напротив, я уверен, что есть люди, для которых преступление самый естественный, будничныи поступок, и убивают они в простоте душевной, даже с какой-то наивностью; но сочетание двух таких романов в одном — это более чем странно.

Светский человек. Почему же? Бывают мужчины, которые убивают женщин. Я сам знал молодого, но уже плешивого англичанина, весьма воспитанного,

так он очень жалел, что в Париже нет таких домов, где бы...

**Философ.** Конечно, бывают... все бывает. Но машинист-садист, созданный Золя, слишком уж подробно анализирует свое душевное состояние. Он, пишет Золя, чувствовал, как им овладевает «наследственная тяга к насилию, жажда убийства, стравливавшая в первобытных лесах двух хищных зверей!» Он размышляет о том, не являются ли его чудовищные желания «следствием того зла, что причинили женщины представителям его пола, следствием многовековой ненависти, передаваемой от самца к самцу, с тех пор как во мраке пещеры женщина впервые изменила мужчине». Можно подумать, что Жак Лантье изучал антропологию и археологию доисторического периода, читал Дарвина, Модсли, Ломброзо, Анри Жоли, и следил за всеми последними конгрессами по криминалистике. Слишком явно чувствуется, что за него думает Золя.

**Хозяин дома.** Вы же знаете, что Золя жалел во всех подробностях изучить чувства и ощущения машиниста и с этой целью проехал на паровозе от Парижа до Манта. Его даже зарисовали во время переезда.

**Философ.** В самом деле, он залез на паровоз, удивился, и это удивление передал героям своей книги: кочегару и машинисту.

**Натуралист.** Я не защищаю Золя, хотя он, по словам Рони, просто ужасен своими фокусами. Что же, прикажете ему снять виллу на озере Комо и там, что ли, изучать быт кочегара?

**Философ.** Можно видеть то, что видят другие, но не так, как они. Золя видел то, что видит машинист; но видел не так, как видит машинист.

**Натуралист.** Следовательно, вы отрицаете наблюдения?

**Академик.** Прелестные сигары... Я слышал, что господин Золя ввел в свой роман первую Габриель, ту самую Фенеру, у которой были такие милые повадки и которая, не задумываясь, выдала своего любовника и даже держала ему ноги, когда его душили.

**Хозяин дома.** Настоящая Далила!

**Светский человек.** Тут все дело в половом влечении. На охоте за куропатками самца подманивают на крик самочки. Называется это охотиться на манок.

**Критик.** Свою Габриель господин Золя окрестил Севериной \*. По-моему, это одна из самых ярких фигур, и ее можно смело причислить к наиболее удавшимся автору персонажам, — этакая деликатная убийца, мирная, кроткая, с фиалковыми глазами; она почти обаятельна!

**Философ.** В «Человеке-звере» есть еще один персонаж, правда второстепенный, но тоже прекрасно написанный; я имею в виду господина Ками-Ламотта, бывшего в тысяча восемьсот семидесятом году главным секретарем министра юстиции, судью-политика, человека усталого от жизни, который считает, что стремиться к справедливости и бесплодно и утомительно; главная его добродетель — грациозная сдержанность, а уважает он одно лишь изящество и утонченность.

**Судья.** Господин Золя представления не имеет о суде. Вот если бы он попросил сведений у меня...

**Философ.** Ну и что?..

**Судья.** Я, конечно, отказал бы ему в такой просьбе. Я-то как-никак лучше знаю пороки нашего судопроизводства. И утверждаю, что таких судей, как его Денизе, не существует.

**Идеалист.** Однако же он просто великолепен, почти величественен — такой образец глупости так называемых умников; судья, который повсюду видит логику, не спускает подсудным ни одной ошибки в ходе рассуждений и внушает удивленным преступникам гнетущую мысль: «К чему говорить правду, когда именно ложь наиболее логична?»

**Хозяин дома.** Роман Золя слишком уж мрачен.

**Критик.** Действительно, там совершается слишком много преступлений. Из десяти главных персонажей шестеро погибают насильственной смертью, а двое идут на каторгу. Все-таки соотношение не совсем реальное.

**Судья.** Верно, соотношение совсем не реальное.

**Критик.** Александр Дюма как-то упрекнул одного из своих собратьев по перу, что тот выводит на сцену



одних лишь мошенников. И тут же добавил со свирепой улыбкой: «Вы не правы. Во всех слоях общества имеется известное количество честных людей. Вот, например, нас здесь двое, и по меньшей мере один из нас порядочный человек». И я скажу в свою очередь: «Здесь в курительной нас шестеро. Из шестерых человек пятеро, вероятно, люди порядочные». Таково нормальное соотношение. Затем, поскольку порядочные люди играют решающую роль, их больше, нежели преступников. Правда, не совсем и не всегда такую уж решающую. По сути дела они составляют лишь незначительное большинство. Господин Золя пренебрег истинным соотношением. Это вовсе не означает, что в новом его романе мы совсем не встречаем симпатичных персонажей, — там их целых два. Каменотес по имени Кабюш, рецидивист, убивший человека. Но ежели вы полагаете, что этот каменотес обыкновенный каменотес, значит вы ровно ничего не смыслите в реализме господина Золя; это, как бы вам сказать, некий сельский полубог, Геркулес лесных чащ и пещер, великан, у которого иной раз слишком тяжела рука, но чье сердце чисто, как сердце дитяти, а душа полна идеальной любовью. Есть там еще красавица Флора, тоже весьма привлекательная личность. Она пустила поезд под откос, и девять человек погибли из-за нее мучительной смертью, но совершила она преступление в великолепном порыве ревности. Флора — стрелочница на железной дороге, но она же и лесная нимфа, амазонка, в общем, некий царственный символ девственной природы и подспудных сил земли.

**П и с а т е л ь - и д е а л и с т .** Я же вам говорю, что господин Золя великий идеалист.

**Х о з я и н д о м а .** Если вы кончили курить, господа... А то дамы уже жалуются на наше долгое отсутствие.

Все встают.

**А к а д е м и к** (*шепчет на ухо профессору*). Признаться, я не прочел ни единой строчки Золя. У нас в Академии многие в таком же положении. Мы ведь

сверх головы завалены делами: тут и комиссии и Словарь... Нет у нас времени для чтения.

Профессор. Но как же в таком случае вы составляете себе мнение о достоинствах того или иного кандидата?

Академик. Ах, боже мой, в конце концов как-то узнаешь, знакомишься, почти всегда удается создать себе приблизительное представление. Вот, например, мне говорили, что у господина Золя плохие манеры. Ничего подобного. Он был у меня с визитом и, представьте, держался вполне прилично.

## ИЗ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ»

(Серия четвертая)

### НАШЕ СЕРДЦЕ

Да, конечно, г-н де Мопассан прав: нравы, понятия, верования, чувства — все меняется. Каждое поколение приносит с собой новые вкусы и новые страсти. Эта непрерывная смена форм и представлений — очень забавное и в то же время очень печальное явление жизни. Г-н де Мопассан прав: того, что было, уже нет и никогда больше не будет. Это и делает прошлое столь пленительным. Г-н де Мопассан прав: каждые двадцать пять лет мужчины и женщины находят в жизни и в любви нечто новое, нечто такое, что не было еще никем испытано. Наши бабушки были романтичны. Их воображение тянулось к трагическим страстям. Это было время, когда женщины носили серьги по-английски и широкие рукава: такими они нравились. Мужчины ходили растрепанные. Для этого им достаточно было каждое утро определенным образом взлохматить себе волосы с помощью щетки. Но благодаря такой прическе у них был вид путешественников, забредших куда-нибудь на стрелку мыса или на вершину горы, и казалось, подобно г-ну Шатобриану, они постоянно подвержены ураганам страстей и бурям, опрокидывающим империи. Человеческое достоинство от этого весьма повышалось. При Наполеоне III манеры стали более свободными, а лица — более пошлыми. В дни господства кринолинов

женщины, увлеченные каким-то вихрем наслаждений, носились с бала на бал, с ужина на ужин, торопясь жить, торопясь любить и, подобно г-же Бенуатон \*, никогда не оставались дома. А потом, когда кончался праздник, многие из них находили в морфии утешение от уныния надвигающегося заката. И лишь немногие из них владели искусством, чудесным искусством стариться легко, заканчивать свою жизнь так, как это делали дамы прошлых времен, которые, обретя наконец благоразумие, но не утратив кокетства, благоговейно прикрывали кружевами следы былой красоты, — то, что оставалось от их прелести, — и издали ласково улыбались молодежи, ища среди нее лица, напоминающие им прошлое. Двадцать лет прошло со времен молодости г-жи Бенуатон. Новые чувства родились в новых телах. У нынешнего поколения, конечно, своя манера чувствовать и понимать, любить и желать. У него собственное лицо, собственный ум, которые нам трудно понять.

Нужно обладать большим даром наблюдения и каким-то особым инстинктом, чтобы уловить характер эпохи, в которую живешь, и выделить из бесконечно сложных явлений современности главные их черты и типичные формы. Г-ну де Мопассану это должно удаваться лучше, чем кому бы то ни было, ибо у него верный глаз и точная интуиция. Он проницателен и вместе с тем прост. Его новый роман стремится показать нам мужчину и женщину 1890 года, изобразить любовь, древнюю, как мир, любовь первенца богов, в ее современном облике, в ее последнем преображении. Если нарисованный им портрет верен, если художник сумел хорошо увидеть и правдиво воспроизвести свою натуру, придется признать, что парижанка наших дней мало способна на сильную страсть, на подлинное чувство.

Мишлина де Бюрн, такая красивая в блеске своих золотых волос, со своим задорным тонким носиком и глазами, напоминающими поблекший цветок, — законченная светская женщина. Она обладает тем неглубоким художественным вкусом, который придает изящество роскоши и сообщает красоте очарование, делающее ее владычицей над людьми изысканного ума.

К тому же под ее мальчишескими повадками, под ее ультрасовременной, моднейшей развязностью скрывается тот инстинкт дикарки, та хитрость краснокожей, которые делают женщин столь опасными, — я разумею настоящих женщин, тех, что умеют делать оружие из своей красоты. А в общем — это женщина недалекого ума, не понимающая, что значит действительно великое, занятая всякими пустяками, легкомысленная, пустая и постоянно скучающая.

Она вдова. С помощью своего отца она дает обеды и вечера, о которых пишут в газетах. Этот отец тоже очень современный человек. Он не претендует на чрезмерную почитительность своей дочери, которую любит как знаток, с оттенком чувственности и ревности. Несомненно, человек очень любезный, но слишком уж далеко идущий в своей игре в отцовство.

Госпожа де Бюрн принимает в небольшом особняке на улице Генерала Фуа музыкантов, романистов, художников, дипломатов, богатых людей, словом, обычных посетителей модных салонов. Известно, что в наши дни талантливые люди хорошо приняты в свете, когда они знамениты. По мере того как стареешь, начинаешь замечать, что самое редкое мужество — это мужество мысли. Свет считает, что проявляет смелость, поддерживая установившиеся репутации. В салоне г-жи де Бюрн есть писатель натуралистической школы, чьи книги расходятся во многих тысячах экземпляров, и музыкант, который, как водится, поставил свою оперу сперва в Брюсселе, а потом уже в Париже. Сто лет тому назад она держала бы у себя попугая и философа.

Этот салон весьма изысканный, select <sup>1</sup>, как ска-зали бы в газетах. Г-жа де Бюрн, которая обожает, чтобы ее обожали, по очереди вскружила голову всем своим посетителям. Все прошли через этот кризис. И всех она удержала при себе, — должно быть потому, что никому из них не оказала предпочтения. Но новый посетитель салона Андре Мариоль, который в свой черед влюбился в нее и признался ей в этом, внушил

---

<sup>1</sup> Избранный (англ.).

ей мысль, что, может быть, не так уж плохо было бы полюбить. И, не колеблясь, со всей щедростью чувства, она отдается ему. У нее есть смелость, у этой маленькой женщины. Но она не создана для любви. Андре Мариоль очень скоро замечает, что она относится к любви с непростительной рассеянностью. Он мучается из-за этого, потому что со своей стороны любит глубоко и хочет, чтобы она принадлежала ему всецело. После года попыток привязать ее к себе, утомленный, раздраженный, отчаявшийся от постоянного ощущения, что при нем она либо мысленно отсутствует, либо куда-то спешит, он порывает с ней и скрывается. Но скрывается не очень далеко, всего лишь в Фонтенбло, где он встречает трактирную служаночку, которая ему тотчас же доказывает, что не все женщины относятся к любви с таким изящным равнодушием, как г-жа де Бюрн.

Вот и весь роман. Он жесток, но это не моя вина. Я знаю, некоторые мои читатели, и как раз те, чьей симпатией я больше всего дорожу, жалуются иногда с умиленной кротостью, что я недостаточно наставляю их и что я ничего больше не говорю в утешение огорченным, в назидание праведным и во спасение грешникам.

Пусть они не очень сердятся на меня за все то горестное и тягостное, что я вынужден им показывать. В современной мысли наблюдается какая-то странная жестокость. В нашей литературе нет больше веры в добро. Послушаем мечтателя Лоти, рассудочного Бурже, сенсуалиста Мопассана, и мы услышим, как звучат на различный лад все те же слова разочарования. Нам перестали показывать Мандан и Клелий \*, побеждающих добродетелью слабости духа и плоти. Искусство XVII века верило в добродетель по крайней мере до Расина, который был самым смелым, самым устрашающим и самым правдивым из натуралистов, а в некоторых отношениях наименее нравственным из них. Искусство XVIII века верило в разум. Искусство XIX века сперва вместе с Шатобрианом, Жорж Санд и романтиками верило в страсти. Теперь оно вместе с натуралистами верит лишь в инстинкт.

Наши самые знаменитые романисты основывают свою мораль и строят драмы на роковых закономерностях природы, на универсальном детерминизме. Из них один только Альфонс Доде, мне кажется, допускает иногда что-то вроде всемогущего провидения, категорического императива и того, что его друг Гамбетта несколько излишне решительно назвал имманентной справедливостью вещей. Остальные — сенсуалисты чистой воды, бесконечно печальные той глубокой эпикурейской печалью, рядом с которой скорбь верующего кажется почти радостью. Это — факт, и приходится отметить его, подобно тому как монах Рауль Глабер отмечал в своей хронике чуму и недороды своего страшного века.

Господин де Мопассан во всяком случае никогда нам не льстил. Он никогда не стеснялся грубо высмеивать наш оптимизм и разбивать наши мечты об идеале. Он всегда делает это так откровенно, так прямо, так простосердечно и твердо, что на него нельзя сердиться. К тому же он не рассуждает; в нем нет лукавства, он не хочет подразнить нас. Наконец, он обладает таким могучим талантом, такой верной рукой, таким мужеством, что приходится позволить ему говорить и поступать, как он считает нужным. Сознательно или нет, он нарисовал самого себя в одном из персонажей своего последнего романа. Ибо нельзя не узнать автора «Милого друга» в Гастоне де Ламарте, о котором говорится, что «он одарен двумя очень простыми чувствами — он четко видит форму и инстинктивно догадывается о том, что за ней скрывается». И разве портрет Гастона де Ламарта не точь-в-точь портрет г-на де Мопассана?

«Гастон де Ламарт был прежде всего писателем, безжалостным и страшным писателем. Его глаза собирали образы, манеры, жесты с быстротой и точностью фотографического аппарата, он был одарен проникновенным, врожденным чутьем романиста, напоминающим чутье охотничьей собаки, и с утра до вечера накапливал сведения, нужные ему для его труда».

Но при всем том — является ли Мишлина де Бюрн тем, чем она должна быть по замыслу Мопассана, является ли она типом женщины сегодняшнего дня?

Признаюсь, мне хотелось бы это знать. Вижу, что она женщина современная по своим украшениям и туалетам и по маленьким часам в своей карете, хотя героиня одновременно вышедшего романа Поля Бурже \* позаботилась выписать себе часики из Англии. Вижу, что она, по примеру актрис из «Жимназ» и жен банкиров, одевается у Д..., и я не решился бы придрататься к ее поясу из гвоздики, гирлянде из незабудок и ландышей и к трем орхидеям на ее груди, которые, между нами говоря, кажутся мне скорее причудой какой-нибудь пестро одетой особы из Южной Америки, нежели украшением женщины, рожденной на берегах Сены, «в подлинной стране славы». Но это предмет чрезвычайно тонкий и гораздо более трудный для меня, чем цвет и ткань стилиа. Вижу, — и это очень важно, — что своими украшенными перьями платьями, в которых она чувствует себя пленницей, платьями — «ревнивыми стражами, кокетливыми и изысканными преградами», которые она надевает, даже когда отправляется во флигель для свиданий, г-жа де Бюрн напоминает ПолеTTY романистки Жип и г-жу д'Убли \*, чье платье закреплялось шестьюдесятью овальными пуговицами на стольких же петлях из шнурков, не считая крючков и застежек. И я убеждаюсь, что г-жа де Бюрн очень современна и совсем далека от природы. Она современна, по-видимому, также и складом ума, общим видом, чем-то, чего я не могу определить, чем-то очень малым, что, однако, определяет все.

Верю, согласен, она современная женщина, такая, как все они, и — скажем прямо — каких очень мало. Она современная женщина, созданная досугом, бездельем и сытостью. И эта современная женщина встречается столь редко, что численно она, можно сказать, не должна идти в счет, хотя глаз видит только ее, потому что она сверкает на поверхности общества, словно легкая серебристая пена. Она подобна искрометному кружеву волны на краю глубокого человеческого моря. Ее ничтожная и необходимая функция — показываться в свете. На нее работают бесчисленные отрасли промышленности, продукты которой представляют собой как бы цвет человеческого труда. Тысячи рабочих ткut



изысканные материи, чеканят золото, шлифуют драгоценные камни, чтобы украшать ее тонкую красоту. Невольно и неведомо для себя самой она служит обществу благодаря чудесной солидарности, объединяющей всех людей. Она — произведение искусства, и этим она заслуживает взволнованное признание всех, кто любит прекрасную форму и поэзию. Но сама по себе она стоит особняком; ее натура не имеет ничего общего с более простыми и более устойчивыми нравами человеческого множества, на котором лежит священный и тяжкий долг добывать себе хлеб насущный. Там, в этих трудолюбивых массах, живут настоящие характеры, подлинные добродетели и подлинные пороки народа.

Что же касается г-жи де Бюрн, функция которой состоит в том, чтобы быть изящной, то она выполняет свою общественную задачу, одеваясь в красивые платья. Не будем требовать от нее большего. Мариоль очень неблагоприятно поступил, полюбив ее всем сердцем и требуя, чтобы особа, принадлежащая своей собственной красоте, отказалась от себя и всецело отдалась ему. Он жестоко страдал из-за этого. И служаночка из Фонтенбло его не утешила. Если он желает утешиться, я советую ему прочесть «Подражание Христу». Это целительная книга. Господин Шербюлье (он сам сказал мне однажды) полагает, что она написана человеком, который знал мир и знал любовь. Я тоже так думаю. Иначе нельзя было бы понять в ней некоторых мыслей, вызывающих трепет, например этой: «Я часто хотел бы, чтобы сказанные мной слова никогда не были сказаны и чтобы я никогда не жил среди людей». Мариоль не ошибется: он тотчас же почувствует, что эта книга — тоже книга любви. Пусть раскроет он эту настольную книгу человеческой мудрости — он найдет в ней следующее наставление:

«Не опирайтесь о тростник, сгибаемый ветром, и не доверяйтесь ему, ибо всякая плоть подобна траве, и цвет ее вянет, как полевой цветок».

## НАРОДНЫЕ СКАЗКИ И ПЕСНИ ФРАНЦИИ <sup>1</sup>

*Жан-Франсуа Бладэ*

### I

Я не думал, что так скоро возвращусь, хотя бы мысленно, в милый город Ажен, где с месяц назад благодаря фелибрам \* меня так радушно принимали и который я все еще, словно воочию, вижу перед собой у подножия его холма — отнюдь не великолепный, но и не лишенный прелести, с его башней римских времен, аркадами вдоль улиц, широкой рекой, катящей серебристые волны, и девушками из народа со светлыми повязками на головах и поступью столь величавой, словно их красота — наследие античности.

С маленькой Венерой местного музея, такой изящной и такой хрупкой, я простился, казалось мне, надолго, если не навсегда. И вот она уже делает мне знак и призывает снова посетить благодатный, приветливый Аженский край. Она говорит мне: «Перенесись

---

<sup>1</sup> Poésies et contes populaires de la Gascogne, par Jean-François Bladé, correspondant de l'Institut (dans la collection des Littératures populaires, de Maisonneuve et Leclerc), 6 vol. — Traditions, coutumes, légendes et contes des Ardennes, par Albert Meyrac, avec préface par Paul Sébillot, 1 vol. — Esthétique de la tradition, par Emile Blémont, et Etudes traditionnistes, par Andrew Lang (dans la Collection internationale de la tradition, de MM. Emile Blémont et Henry Carnoy), 2 vol.

воображением своим на берега моей Гаронны и прочти гасконские сказки и стихи, собранные Жаном-Франсуа Бладэ. Смотри — не ошибись: Бладэ — эрудит, но у него есть вкус, изящество, умение очаровывать; его книги — ученые труды, и все же я коснулась их кончиком своего пояса; ты заметишь это по аромату».

И маленькая Венера аженского музея не обманула меня. Жан-Франсуа Бладэ собрал сказки и песни Гаскони, и это была не только работа образованнейшего исследователя; кроме методичности и знаний, он вложил в нее нечто бесконечно ценное: любовь и то изящество, то обаяние, что ставят его книгу под покровительство маленькой богини, которою оба мы, Поль Арен и я, так восхищались, увидев ее среди галло-романских древностей аженского музея. Надеюсь, я сумею дать вам представление о ценности этих трудов. Я хочу говорить о них не спеша, спокойно, и если сегодняшний раз; эти осенние часы — самые приятные во всем году; в тиши вечеров, все удлиняющихся, можно беседовать сколько душе угодно.

Итак, здесь речь пойдет о крестьянских песнях и сказках, о пословицах и загадках. Я знаю, их любят. Их любят так же, как «кресты Жаннеты» \*, корзины для хлеба, ларчики для соли, массивные нормандские шкафы с двумя резными милующимися голубками на верхушке, как оловянные миски, куда клали гренок новобрачной, и блюда с изображением святого заступника в епископском облачении, или же святой Екатерины, святой Маргариты, святой Доротеи в мученическом венце и с атрибутами их блаженной кончины. Все это — реликвии смиренных предков, от которых мы происходим. Мода вторглась в эту область и едва не испортила все. По части старинных песен, как и старинной посуды, подделка поставила себя на службу тщеславию. Но всегда и во всем нужно ценить подлинное.

Жан-Франсуа Бладэ потратил свыше двадцати пяти лет на собирание сказок и песен, которыми старые служанки баюкали его в детстве. Как именно он действовал — это он объяснил в двух очаровательных предисловиях. Он расспрашивал простолюдинов того края,

женщин, стариков, знавших предания минувших дней. Другие исследователи, несомненно, поступали так же; например, Шарль Гийон, давший нам сборник «Народные песни Эны», терпеливо расспрашивал крестьян Брессы.

Занятие нелегкое. «Крестьянин, — говорит Габриель Викэр, — легко воображает, что над ним потешаются; до крайности недоверчивый, он весьма неохотно делится тем, что знает. Вы хотите чего-нибудь добиться от него? Нужно уметь приручить его исподволь. И даже если это удалось — как много разочарований! На несколько ценных находок сколько приходится никчемных куплетов, пошлых припевов, заимствованных из кафешантанного репертуара! Я уж не говорю об интерполяциях, о невероятной путанице, в которой почти невозможно разобраться. Вы спрашиваете объяснения какого-нибудь несуразного слова: «Такое уж оно есть, — ответят вам, — так поется в песне. Больше я ничего не знаю». Вдобавок певцу, чтобы быть в голосе, нужно обильно промачивать горло, а если вы неосторожно дадите ему хлебнуть лишнего, язык у него начнет заплетаться, мысли — путаться, и вы ничего больше из него не вытянете».

Все эти помехи, все эти трудности, все эти препятствия — Жан-Франсуа Бладэ их испытал и преодолел.

Марианна Бенс, из Пассажа д'Ажен, служанка священника, и вдова Кадетта Сент-Ави, из Казнева, были весьма полезны ему: они знали столько же сказок, как некогда «Матушка Гусыня». Казо из Лектура тоже превосходный сказочник, но его недоверчивость была безмерна. Он умер в глубокой старости, упокой, господи, его душу! «Я несколько не сомневаюсь, — говорит Бладэ, — что Казо умолчал о многом и так и умер, не считая меня достойным записать хотя бы половину всего того, что он знал». Бладэ записал «Сказы» этих сельских мудрецов. Он был, по его собственному выражению, «честным, благочестивым писцом». Всей его осмотрительности, всего опыта, всех его знаний и испытанных методов было только-только достаточно, чтобы избежать ошибок. Эти ошибки двоякого рода. Неумелый собиратель рискует записать либо чепуху, придуман-

ную ему на потребу малограмотным человеком, которого он расспрашивает, либо подделки под народное творчество, внесенные в данную местность образованным человеком, захотевшим позабавиться. Эти подделки были довольно часты во все времена.

Известно, что «водевиры» \*, приписываемые Оливье Баслену, сочинены адвокатом Легу, — если только автором их не является Жюльен Травер. Что касается произведений Баслена — они затерялись, и, как сказано в песне, нам о них «уж не слышать». Приписываемую господину де Шаррету песню «Возьми ружье, Грегуар», имевшую после 1848 года большой успех в замках, сочинил в то время, на старинный мотив, Поль Феваль. Она была довольно складна и, если не считать «святой девы из слоновой кости», почему-то очутившейся в походном ранце шуана, казалась в достаточной мере бретонской.

Чтобы успешно работать, нужно исследовать фольклор со всей строгостью, применяемой к сравнительной мифологии, отраслью которой он является.

Максим Дюкан, к слову сказать, интересовавшийся деревенскими песнями уже в ту пору, когда никто о них и не думал, лучше всякого другого знает, что в этой области, как и всюду, к подлинному примешивается поддельное и что прежде всего нужно различить то и другое. Однажды, перелистывая какой-то сборник, он под заголовком: «Очень старая песня, продолжения которой не удалось разыскать», — нашел хорошо ему известные игривые куплеты. «Эти куплеты, — так он нам сказал, — были сочинены в моем присутствии, лет двадцать пять назад, когда английские клоуны исполняли в Париже пантомимы; куплеты имели некоторый успех в мастерских художников».

Более странный случай произошел с Полем Ареном. Известно, что этот изумительный рассказчик, подлинный поэт, в 1870 году возглавил отряд вольных стрелков и повел на войну сотню провансальцев. Он сочинил слова и музыку прекрасной боевой песни, которую его люди распевали в походе:

Юг выступает,  
Все вокруг пылает.

Нужно отдать им справедливость — в бою они вели себя достойно, ведь они были люди смелые. Да и их начальник был храбрый коротышка, не какой-нибудь увальень или недотепа — ведь в ранней молодости он, потехи ради, укрощал диких быков в Камарге. Говорят даже, но я этому несколько не верю, будто наш уважаемый собрат господин Франсиск Сарсэ иначе не называл Поля Арена, как тореадором. Как бы там ни было, после войны Поль Арен снял кепи и португую. Около 1875 года, когда он был в Париже — он любит этот город, потому что там много деревьев, — его пригласила к себе знакомая дама, посулив, что он услышит у нее народную песню, подлинно самобытную, создатель которой никому не известен и которую впервые узнали от пастухов.

Поль Арен принял приглашение и явился. Ему спели:

Юг выступает,  
Все вокруг пылает.

Все стали восторгаться и рукоплескать. Сомнений, мол, быть не может — это поэзия непосредственная, порожденная чувством, выраженная безыскусственно: об этом убедительно говорит ее мужественная красота. Как явственно звучат в этих стихах, в этой мелодии голоса героев-крестьян, отдавших свою жизнь, не назвав своего имени. Стилизация всегда выдает себя налетом холодности или напыщенности, чем-то причудливым или условным. Какой поэт нашел бы этот верный тон, эти взволнованные, дышащие гневом и праведной ненавистью слова? Бесспорно — не писатель, не поэт, искусный в своем деле, создал песню «Юг выступает».

Поль Арен слушал эти речи с тем видом, который мы, его друзья, хорошо знаем: черты его лица были так неподвижны, словно их вырезал из самшита, срубленного в священной роще, неведомый любимец богов, пастух времен фавнов и дриад. Арен все выслушал — и промолчал. Человеку не столь тонкого ума было бы приятно обратить на себя самого эти расточаемые впустую похвалы. Он нарушил бы восторженное настрое-

ние, — Поль Арен предпочел насладиться им. Это показалось ему удовольствием более изысканным. Легким кивком он изъявил свое одобрение. Быть может, он даже доставил себе радость на миг разделить всеобщее заблуждение и счесть свое творение народной песнью, песнью французского жаворонка, ранним утром прозвеневшей над окровавленной бороздой. И, в сущности, он имел на это право. Когда он сочинял свою песню, он был не только Полем Ареном: он представлял весь французский народ, всех тех, кто шел, с ружьем на плече, сражаться за родину. Его песня стала народной. Она странствовала по дорогам, делая по воскресеньям привал в деревенских кабачках. С этой песней дело обстоит совершенно так же, как со всеми другими. Кто-то ведь их сочинил, и поэт не всегда был пастухом: мне думается, иногда то был человек с образованием. Разве такой человек не мог при случае не хуже крестьянина сочинить походную или любовную песенку?

## II

Жан-Франсуа Бладэ собрал сказки, которые гасконские крестьяне рассказывают в осенние вечера, после ужина, луща кукурузу на гумне своих мыз. Нам, городским жителям, с трудом верится, что среди пахарей, встречающихся нам в поле, попадаются изумительные сказочники и что из этих уст, замкнутых уединением, недоверчивостью или желанием соблюсти свою выгоду, порою льется речь не менее богатая и плавная, чем рапсодии Гомера. И в самом деле, некогда в деревнях были, да и сейчас еще встречаются женщины и глубокие старики, умеющие на своем родном наречье, соблюдая определенный ритм, тешить окружающих рассказами, которые давным-давно сами слышали от предков.

Таковы Кадетта Сен-Ави из Казнева, Казо из Лектура и немало других, опрошенных Жаном-Франсуа Бладэ за последние двадцать пять лет. Старик Казо однажды сказал ему: «Я слышал, будто вы по-французски говорите так же хорошо, как адвокаты в Оше и

даже в Ажене. А ведь вы не французик, а нет такого исполщика, который знал бы наше наречье лучше вас».

Благодаря этому превосходному знанию диалектов и тонкому пониманию речи, переживаний, быта крестьян наш ученый завоевал доверие деревенских сказочников и изучил предания более основательно, чем кто-либо до него. К тому же (как его друг Нуланс, знающий толк в этом деле, сообщил мне, когда мы обедали вместе, на празднествах в честь Жасмэна) Жан-Франсуа Бладэ живо ощущает величие стиля и красоту формы. Он умеет обнаружить и проследить эпическую струю и, к счастью для нас, сохранить в своих переводах своеобразие оригинала, иначе говоря — то, что в искусстве всего важнее.

Мир, открывающийся нам в народных сказках Гаскони и Аженского края, — волшебный мир, действующие лица которого и события, в нем разворачивающиеся, нам по большей части уже знакомы. Нет ничего удивительного в том, что мы снова встречаем здесь «Ослиную шкуру», «Красавицу и Чудище» \* и «Синюю Бороду». Сравнительная мифология везде и всюду показывает нам одни и те же мифы. Мы знаем, что человечество все целиком, с младенчества своего, развлекается весьма немногими сказаниями, до бесконечности варьируя подробности, но нисколько не изменяя их ребяческой и священной сущности. «В настоящее время, — пишет Бладэ, — в песнях, как и в прозаических сказаниях, явственно проступает общность многих народных сюжетов». Но в каждой местности, куда они попадают, эти древние, эти извечные сказания принимают окраску, свойственную небу, горам, водам этой местности, пропитываются запахами ее земли. Это-то и придает им особый оттенок и аромат: подобно меду, они приобретают привкус той или иной почвы. Им передалось нечто от тех душ, в которых они побывали, вот почему они дороги нам.

В гасконских сказках встречается много хороших людей. Мы видим там и короля, храброго, как меч, честного, как золото, щедро раздающего милостыню у ворот своего замка, и сильного, как бык, юношу, любящего принцессу, прекрасную, как день, добродетельную,



как святая, и богатую, как море. И юноша говорит себе: «Эта девица должна стать моей женой — иначе я натворю бед». Иногда юноша оказывается побочным сыном французского короля; в таких случаях у него на языке отметина в виде золотой лилии. Обычно он служит в драгунском полку, и если не считать некоторой вспыльчивости — добрейший малый. В отношении женщин нельзя не упомянуть, что самые некрасивые из них в то же время и самые недобрые. «Безобразна, как грех, и люта, как преисподняя», — обычно говорит сказочник; ибо он добрый христианин и считает, что грех всегда должен быть безобразен.

Все эти персонажи весьма простодушны, а их приключения — необыкновенны. Только и говорится, что о детях, подобно Эдипу с самого рождения обреченных на гибель, — преодолев бесчисленные опасности, они мстителями возвращаются в родительский дворец; о принцах, сражающихся со змеем в золотой коронке и находящих целебный цветок и поющий цветок; о юных принцессах, подобно Мелюзине \* расставшихся со своим возлюбленным из-за того, что он, нарушив строжайший запрет, подсматривал за ними. О людях, вознесенных в облака, и о всяких чудесных превращениях. Несомненно, эти сказки возникли в те времена, когда звери говорили человеческим языком. Мы слышали речи Матери блох, Короля воронов, Королевы змей и Волчьего священника, служащего обедню один-единственный раз в году. Гасконский фольклор изобилует сказочными зверями. Там мы находим ядовитых змей, стерегущих сокровище под землей золото, дарующего богатство «мандагота», василиска, чья голова увенчана императорской короной, и сирен, золотым гребнем расчесывающих шелковистые волосы. Там же мы вновь встречаем старых, загадочных знакомцев исследователя преданий: волка, рыбу или «страшное чудовище» с человеческой головой; раненные насмерть, они открывают тому, кто их сразил, волшебные свойства своей плоти и крови. Есть там и люди-звери, как, например, «зеленый человек», повелитель всей летающей твари, и люди-оборотни, как кузнец, каждую ночь оборачивавшийся выдрой. Но если мы вздумаем подробно описывать это диковинное

звериное царство, — мы никогда не кончим. Запомните одно: на берегах Гаронны, так же как на берегах Рейна, водятся феи и длиннобородые карлики. Ближе к горам находится страна людоедов, или Бекатов, у которых всего один глаз — в середине лба.

«Драки» иногда показываются в деревнях. Это — бесенята, больше всего они досаждают лошадям. Старик Казо видел их, это так же верно, как то, что всем нам суждено умереть. Он также видел — или мог увидеть — «марранку» и «сыроножку», бродящих по вечерам вокруг мыз и за скирдами. Ночью мертвые выходят на прогулку. Обычно они сварливого нрава. Какой-то помещик, не то из Миранды, не то из Лектура, толком не знаю, имел неосторожность пригласить одного из них на ужин. Когда пробило полночь, в дверь замка постучался скелет; слуги в ужасе разбежались. Сам хозяин и виду не показал, что струхнул, и отужинал с гостем, а тот, чтобы отблагодарить за учтивость, пригласил его в свою очередь завтра к себе на кладбище. Наш гасконец, не менее храбрый, чем Дон-Жуан, оказался более ловким — или более удачливым. Он последовал приглашению и вернулся от мертвеца цел и невредим. Прибавим, что в Гаскони встречается «признательный мертвец», оказывающий помощь путнику, который его похоронил, и открывающий ему, где искать клад.

Это — сюжет самого древнего романа в мире, того халдейского романа, из которого евреи почерпнули сказание о Товии, недавно переложенное Морисом Бушором в стихи \*. Чтобы постичь, сколько всякой чертовщины может уместиться в голове гасконского крестьянина, нужно присоединить к привидениям, призракам, к неким, как они выражаются, «Великим Страхам», еще и шабаш со всем колдовством, сюда относящимся, а также «наведение порчи» и обедню святого Секэра. По этому поводу мне вспоминается то, что мне рассказало несколько лет назад кюре небольшого прихода Жиронды \*, между Кадильяком и Лангуараном.

В ту пору, когда он был викарием церкви Сен-Серен в Бордо, к нему в ризницу однажды пришел крестьянин и стал упрашивать его отслужить обедню святому

Секэру. Этот человек замыслил «иссушить» соседа, который, мол, ворожкой навел порчу на его корову и на его дочь. «Корова сдохла, — так он сказал, — ребенок того и гляди помрет. Самое время *иссушить* колдуна, а для этого нужно отслужить, ему на погибель, мессу святому Секэру. Я заплачу, сколько скажете».

Викарий отказался отслужить эту мессу. Но если бы даже он согласился, все равно ничего бы не вышло. Нужно знать эту службу, а знают ее далеко не все священники. Ритуал ее очень строг. Служить ее нужно непременно в церкви развалившейся или оскверненной. Как только пробьет одиннадцать, священник подходит к алтарю, в сопровождении распутной женщины, заменяющей ему причетника. Он начинает службу с молитв, читаемых обычно в самом конце, продолжает ее шиворот-навыворот и заканчивает ровно в полночь. Причастие — черное, с тремя остриями. Вино заменено водой из колодца, куда бросили трупик некрещеного ребенка. Крестное знамение творится на полу, левой погон. Песнопения заменяет кваканье жаб. Этот сельский священник — человек простой, прямодушный; уж я его знаю — он никогда, ни за золото, ни за серебро, не стал бы служить мессу святому Секэру.

Иногда дьявол самолично является крестьянам Гаронны и Тарна. Но что в Лектуре, что в Папфигьере он так же глуп, как зол, и всегда остается в дураках. В сборнике Бладэ он предстает нам точно таким, каким мы его видели в «Сказках» Лафонтена, и точно таким, каким он впервые запомнился мне по анжуйским сказкам, которые рассказывал мне по вечерам отец, склонясь над детской кроваткой с решеткой, где мне снились такие чудесные сны. Этому придурковатому, каверзному дьяволу всегда достаются колотушки, на нем озорные подмастерья и хитрые кумушки вымещают досаду. Господь бог тоже иной раз, чтобы развлечься, отправляется побродить по Гаскони, прихватив с собой денюжку, так как ему известно, что в подлунном мире — это великая сила; в сопровождении святого Петра он странствует где ему вздумается. Однажды, когда они скакали верхом по большой дороге, они

увидели опрокинувшийся воз сена. Стоя на коленях посреди дороги, возчик всхлипывал и вопил:

— Боже милостивый! Сжался надо мной! Подыми мой воз! Сжался надо мной!

— Всеблагой, — сказал святой Петр, неужели ты не пожалеешь этого несчастного?

— Нет, святой Петр! Едем дальше! Тот, кто сам себе не может помочь, не заслуживает, чтобы ему помогли.

Немного дальше им попался другой опрокинувшийся воз. Но возчик из кожи вон лез, чтобы выпутаться из беды, все время вопя при этом: «Живей, чтоб вам... Эй! Маскаре! Эй! Мюле! (Так звались его волю.) Эй! Наддайте, разрази вас гром!

— Господи боже, — воскликнул святой Петр, — проедем поскорей! Этот возчик ругается, словно язычник; он не заслуживает ни малейшего сострадания.

А господь бог ему в ответ:

— Замолчи, святой Петр. Тот, кто сам себе помогает, заслуживает, чтобы ему помогли.

Он спешился и вызволил возчика из беды.

Под заголовком «Греко-римские предания» Жан-Франсуа Бладэ объединил четыре сказки, сюжет которых действительно встречается в мифах как греков, так и римлян. Возможно, он поступил не очень правильно, ибо как будто утверждает этим, что представленные здесь четыре сказки — латинского или греческого происхождения, что не является ни доказанным, ни вероятным.

Первая из них — один из многочисленных вариантов сказания о Психее \*. Подобно супруге Эрота, королева в сказке умышленно уронила каплю горячего воска на того, кого любила — и кого безвозвратно лишилась, в наказание за то, что захотела узнать, кто он. Это один из наипрекраснейших символов, созданных воображением человеческим в веках. В другой из этих сказок мы видим сфинкса, вернее сказать, сфинкса-девственницу; она подстерегает путника в теснине Пиренеев. Крестьяне, особенно в Гаскони, большие любители загадок, и пиренейский сфинкс вскоре обрел своего Эдипа в лице молодого крестьянина. Епископ

Ошский научил его, как взяться за дело, чтобы умертвить сфинкса: в гибели крылатой девственницы повинен монсеньер. Ведь на самом деле она была лютым зверем. Когда она испустила дух, ее похоронили, не читая молитв, «потому что, — так пояснено в сказке, — у зверей нет души». Возможно ли, чтобы такое говорилось в одной из тех сказок, где звери обладают даром речи? Самая прекрасная сказка этой греко-латинской серии называется «Возвращение сеньора». Покуда сеньор воевал в Святой Земле, три брата, сильные, как быки, самовластно водворились у него в доме, и у его жены и сына не нашлось ни родственников, ни друзей, которые защитили бы их от обидчиков. Это история Одиссея, Пенелопы и женихов.

Новый Одиссей, подобно древнему, возвращается в свой дом одетый в лохмотья, словно нищий, и никто его не узнает. Он избавляет верную супругу от женихов. Один миг — и все три брата повержены наземь, всех трех он зарезал, словно кабанов. Затем сеньор поклонился жене и сказал ей:

— Сударыня, вы видите, как я поработал. Что же вы мне дадите в уплату?

— Я тебе отдам половину всего моего добра, нищий.

— Сударыня, этого мало. Вы должны стать моей женой.

— Нет, нищий! Я никогда не стану твоей женой.

— Сударыня, вы видите, как я поработал. Только молвите еще раз «нет», и я вас зарежу точно так же, вас и вашего ребенка.

— На все воля божья! Нет! Я отказала тем трем женихам и тебе отказываю. Что же — зарежь нас, меня и моего сына!

— Сударыня, я взял бы на себя тяжкий грех, ведь вы моя жена и этот ребенок — мой сын.

— Нищий, если я твоя жена, если этот ребенок твой сын — докажи, что ты говоришь правду!

— Жена, вот половина моего брачного договора. Покажи твою половину. (При расставании они разрезали брачный договор пополам.)

— Верно! Ты — мой муж.

Тут сеньор заключил в свои объятия жену и сына. Все трое сели за стол и поужинали на славу.

Возвращение странника, его перереяжение и узнавание в самом конце рассказа — это ведь самая суть «Одиссеи» и в то же время, говорит Эндрю Лэнг, «один из самых известных мотивов предания». Действительно, мы встречаем его в песнях, распространенных в окрестностях Меца, в Бретани, и в некоей китайской сказке. Пенелопа Небесной Империи от добродетели становится невероятно подозрительной: она не узнает своего мужа и тогда, когда все вокруг уже его узнали, и, мучимая сомнениями, грозит повеситься, если только он посмеет приблизиться к ней. Эндрю Лэнг подчеркивает, что вдобавок «Одиссея» — «не что иное, как совокупность народных сказок, художественно обработанных и объединенных в симметричное целое».

Одна из сказок сборника Бладэ дает нам вариант эпизода Одиссея и Киклопа. Это — «одна из самых грубых среди всех тех, что вошли в состав Гомерова эпоса. Даже воображение греков было неспособно облагородить ее настолько, чтобы изгладить черты первобытной грубости». Так говорит Эндрю Лэнг. Я весьма охотно привожу его мнение, так как весь склад его ума очень мне приятен. Лэнг, чьи «Очерки истории предания» недавно вышли в свет на французском языке, с превосходным предисловием Эмиля Блемона, сочетают ученость с умением писать кратко и смелость — с верным чутьем. Добавлю, что в обсуждение спорных вопросов он вносит юмор, и вы поймете, что беседовать с этим английским исследователем предания — большое удовольствие. Мне хотелось бы подробнее рассказать вам о нем; но я могу лишь мимоходом упомянуть его интересную, легко читающуюся работу «Народные сказки у Гомера». Там убедительно доказывается (мы, со своей стороны, хотя и смутно, но догадывались об этом), что эпос Гомера слагается из народных сказок, столь же простодушных, как те, которые устное предание сохранило в наших деревнях. Там разъяснено также, как великий собиратель облагородил эти грубоватые рассказы, и, усвоив это, еще больше прежнего

восторгаешься безыскусственной и безупречной красотой юной греческой поэзии. Но нужно видеть ее такой, какая она есть, — непосредственной и напевной, плавно струящейся из неиссякаемого родника. Она божественна, это бесспорно, но нельзя забывать о том, что все до единой народные музы, даже самые невзрачные из них, принадлежат к ее семье и в близком родстве с ней.

Шекспир тоже связан кое-какими нитями с устной народной поэзией. Он так же охотно черпал в предании, как в истории. Вот, кстати, в обработке Жана-Франсуа Бладэ сказка «Наказанная королева», где мы находим сюжет той самой повести о Гамлете, принце Датском, которую обессмертил великий Уилл \*. Сказка, интересная уже по этой причине, прекрасна по стилю и подлинно эпична по всему своему складу. Бладэ хорошо знает, что это — самый драгоценный алмаз всего его собрания. Я попытаюсь дать некоторое представление о ней, приведя дословно один-два отрывка.

Король, добрый и справедливый, умер. На другой день его похоронили. Его сын роздал много золота и серебра бедным на поминование души усопшего. Воротясь с кладбища, он сказал челяди:

— Постелите мне в спальне бедного моего отца.

— Ваше приказание будет исполнено, король.

Молодой король заперся в отцовской спальне. Он стал на колени и долго, долго молился. Дочитав молитвы, он бросился на постель и заснул. Когда часы начали бить полночь, он очнулся от сна. На него безмолвно глядел призрак.

Мертвец взял сына за руку и повел его на другой конец замка. Там он открыл тайник и пальцем указал сыну на полупустую склянку.

— Твоя мать меня отравила. Ты — король! Отомсти за меня!

Услышав эти слова, молодой король спустился в конюшню, оседлал самого быстрого своего коня и умчался во мрак ночной.

Он поручил одному из друзей сказать своей невесте, что она никогда больше его не увидит и должна уйти в монастырь, а сам поселился на горе, среди орлов, в

полном уединении. Питался он лесными ягодами, а жажду утолял водой из ручья. Там ему снова является отец; второй и третий раз требует он отмщения.

— Отец, твое приказание будет исполнено.

Когда солнце зашло, молодой король постучался в дверь замка.

— Добрый вечер, матушка, бедная моя матушка.

— Добрый вечер, сынок. Откуда ты держишь путь? Я хочу знать — скажи мне.

— Матушка, бедная моя матушка, это я скажу тебе за ужином. Сядем за стол! Я проголодался.

Они вдвоем сели за стол. Когда слуги вышли, король молвил:

— Матушка, бедная моя матушка, ты хочешь знать, откуда я держу путь. Я ездил по белу свету. Вчера я повенчался со своей невестой. Завтра она прибудет сюда, к тебе.

Чтобы понять все дальнейшее, нужно знать, что мысль о появлении снохи, которой она должна будет уступить власть, нестерпима для злой королевы.

Королева слова не сказала в ответ. Она вышла и скоро вернулась.

— Твоя жена прибудет завтра? Тем лучше! Выпьем за ее здоровье!

Тут король выхватил из ножен меч и положил его на стол.

— Слушай, матушка, бедная моя матушка. Ты хочешь меня отравить. Я тебя прощаю. Но отец — он-то тебя не простил. Трижды он являлся ко мне с того света и говорил: «Твоя мать меня отравила. Ты король. Отомсти за меня». Вчера я ответил: «Отец, твое приказание будет исполнено». Матушка, бедная моя матушка, помолись, попроси господу смилостивиться над твоей грешной душой. Посмотри на этот меч, посмотри хорошенько. Я даю тебе срок прочесть «Отче наш», и если после этого ты не выпьешь отравленное вино, что налила мне, — я отрублю тебе голову. Пей, осуши кубок до дна, матушка, бедная моя матушка.

Королева осушила кубок до дна. Спустя пять минут она стала зеленая, словно трава на лугу.

— Прости меня, матушка, бедная моя матушка.



— Нет.

Королева рухнула наземь. Она была мертва. Тогда король преклонил колена и помолился. Затем он тихо, тихо спустился в конюшню, вскочил на своего коня и умчался во мрак ночной. С тех пор никто его не видел — никогда, никогда.

Не знаю, так ли это, но мне кажется, что здесь возвышенность стиля и чувства сближает сказку с эпосом и что эта краткая повесть, услышанная на посиделках в Казневе или Сент-Элали, стоит любого из сказаний «Эдды» \*.

Народные сказки Гаскони очень мало дают для истории тех мест. Исследователи предания не находят в этом ничего удивительного, ведь они знают, сколь неточны почти всегда исторические воспоминания, содержащиеся в крестьянских песнях и сказках. О Генрихе IV нередко говорится в этих повестушках, так хорошо известных в окрестностях его замка. Но черты, которые там ему приписываются, не характерны для него: все они — из области побасенок. Вот что говорится об этом государе в сказке «Два подарка». «Генрих IV был король неимоверно большого роста, так же дороден, как высок, силен, как бык, и отважен, как Цезарь. Он не скупился на милостыню и не любил пройдох. До Парижа этот король жил в Нейраке; при нем всегда находился Роклор, самый что ни на есть веселый шутник во всей Франции». Согласитесь — это воспоминание бледное, сильно искаженное. Память о Наполеоне несколько ярче сохранилась в поэтической сказке «Семь прекрасных дев». Парень из деревушки Франда не захотел пойти в солдаты. Когда объявили набор, он свистнул своей собаке и, захватив с собой ружье, ушел в леса. Там он прожил семь лет и однажды, в канун дня святого Иоанна, услышал, спрятавшись в дупле старой ивы, как семь прекрасных всеведущих дев, ведя хоровод, распевали: «Наполеон кончил воевать против всех королей на свете. Враги захватили его в плен и увезли на остров, затерянный в море... Мир заключен... В Париже король Франции возвратился в свой Лувр...»

Услышав такую весть, дезертир вышел из дупла

старой ивы, перекинул через плечо ружье и патронташ, свистнул собаке и целый, невредимый вернулся к своим родителям.

Кроме Генриха IV и Наполеона, в народных сказках Гаскони, насколько мне известно, упоминается лишь одно лицо, подлинно существовавшее, — некто Раска. Этот Раска не был ни императором, ни королем. При старом режиме — палач Лектурского сенешальства, он в начале революции стал «исполнителем священных обрядов» в Оше и во время террора гильотинировал множество аристократов. Затем он мирно состарился в родном городе. Бладэ сообщает нам, что Раска жил на ничтожную пенсию, выплачивавшуюся ему сначала Бурбонами, а затем — Июльской монархией. Кроме того, он состоял в должности сборщика налога за право торговать на рынке и получал небольшое жалованье от города.

Генрих IV, Наполеон, Раска — вот те три имени, которых народ не забыл.

### III

Вот что значит углубиться в лес, где обитают феи! Останавливаешься на тропинке, у каждого куста в цвету, и этой прогулке нет конца. Наша прогулка длилась целых три недели. Не будем жалеть об этом. Где было бы приятнее заблудиться и забыть обо всем на свете, чем в звящем песнями лесу народных преданий? Я дал вам некоторое представление о сказках, которые можно услышать на посиделках в Гаскони. «Благочестивый писец» собрал также деревенские песни Гаскони и Аженского края. Однажды отведав дикого меда Гаронны, волей-неволей вскоре к нему возвращаются, настолько его аромат сладостен и тонок. Поражает и пленяет в этих деревенских песнях их прекрасный стиль и строгость формы, — она чувствуется даже в дословном переводе. Вдоль Гаронны пролегает граница угодий тех античных пастухов, которые воспели смерть Дафниса \*, которым внимали Феокрит и Мосх. Я не умею и никогда не научусь говорить на языке Жасмена \*. Но я уверен, что стиль некоторых песен

сборника Бладэ чист и прозрачен, как алмаз. И это поэзия живая, тесно связанная с жизнью, поэзия бытовая и религиозная. Она звучит у колыбели, на свадебных пирах, в полевою страду, на поминальных трапезах, носящих в прибрежье Гаронны название «скорбные свадьбы»; звучит во всех как радостных, так и мрачных церковных феериях, которые медленно, незаметно вытеснили языческие обряды именно потому, что, подобно древнему культу, соответствовали многообразным явлениям природы и душевным переживаниям человека. Самые очаровательные «ноэли» \* я нашел в сборнике Бладэ. Им присуща античная прелесть, и, когда по выраженному в них чувству они совпадают с «ноэлями» нашей северной Франции, за ними — превосходство формы. Что может, например, быть пленительнее следующих двух четверостиший о младенце Иисусе в Вифлееме?

Он на соломе в яслях  
Лежит, выгнув ножки,  
А в небе играют на скрипках  
Ангелы божьи.  
На него дышит вол,  
На него дышит осел,  
Чтоб Иисус, наш бог,  
В яслях согреться мог <sup>1</sup>.

Народные стихи Гаскони необычайно разнообразны по стилю и тональности. Одни сохраняют изящную сухость эпиграмм «Антологии»; \* другие, проникнутые ребяческим и вместе с тем утонченным мистицизмом, лишены смысла и все же очаровательны. Такого рода стихи представляют особый интерес: чувствуется, что я них люди пытались выразить невыразимое, изъяснить неизъяснимое, а ведь это и есть идеал поэзии символистов, цель нового искусства, искусства будущего, насколько я мог понять, читая Шарля Мориса, к несчастью не всегда желающего, чтобы я его понял. В качестве примера этой «интуитивной поэзии» приведу «Малое Отче наш»; жительницы Ажена по многу раз повторяют его, чтобы попасть прямо в рай.

---

<sup>1</sup> Здесь и далее в этой статье стихи переведены Н. Рыковой.

Иисус, господь наш, встал и пошел,  
Девять покоев прошел,  
Девять Марий нашел.

— Чем вы заняты, девять Марий?  
— Крестим мы сына божья.  
— Что в руках у вас, девять Марий?  
— Елей, и миро, и розовый куст.  
Под деревом этим святым  
Цветики растут  
Светлые

Приветные.

Поднялся Иисус на лестницу божью,  
На земле о нем плачут мертвые и живые.  
Божий ангелочек.

Это «Малое Отче наш» было осуждено церковью как запятнанное суеверием и язычеством. Я не призван защищать его с точки зрения правоверия. Но мне милы его нежная поэтичность, простодушная таинственность и, осмелюсь сказать, светлая сумрачность. Мне думается, столь же еретический, сколь искренний мистицизм, одушевляющий страстного символиста, молодого чародея Альбера Жунэ, автора «Черных лилий», не подсказал ему ничего более пленительного.

Не могу лишиться себя наслаждения еще немного дальше проследить эту золотую жилу мистики; я должен привести плач Марии-Магдалины, жемчужину этого драгоценного крестьянского убора, для камней которого Жан-Франсуа Бладэ, искусный ювелир, нашел достойную оправу.

— Мария-Магдалина,  
Грешница перед богом,  
Зачем грешила ты?  
— Иисусе, мой Иисусе,  
Греха за собой не знаю.

— Мария-Магдалина,  
Ступай ты в дальние горы,  
Семь лет живи в горах. —  
Когда же прошло семь лет,  
Она сошла с гор.

Мария-Магдалина  
Уходит в дальние горы,  
Семь лет в горах живет.  
И вот, через семь лет,  
Подходит она к ручью.

Мария-Магдалина  
К воде протянула руки,  
Омыла в прозрачных струях,  
И рук своих белизною  
Залюбовалась она.

— Мария-Магдалина,  
Ступай назад в те горы,  
Семь лет живи в горах.  
— Иисусе мой, Иисусе —  
Сколько ты повелишь!

К Марии-Магдалине,  
Когда семь лет миновало,  
Пришел господь Иисус:  
— Мария-Магдалина,  
Иди со мною в рай.

Можно было бы еще многое сказать о прекрасной поклоннице Иисусовой, омывающей белоснежные руки в ручьях пустынных мест, где обитают отшельники. Этот образ встречается в Провансе, в Каталонии, Италии, Англии, Дании, Швеции, Норвегии, в Германии и у чехов. Сейчас я получил весьма ученую и изящную статью Жоржа Донсье о цикле Марии-Магдалины и узнал, что эта статья — лишь глава еще не вышедшего в свет труда, который мы с удовольствием прочтем и изучим.

Но пора уже проститься с Жаном-Франсуа Бладэ и довериться новому вожатому, Альберу Мейраку; он ждет нас на другом конце Франции, в дремучих лесах Арденн.

#### IV

#### *Альбер Мейрак*

Альбер Мейрак — журналист, редактор выходящей в Шарлевилле газеты «Пти Арденнэ». Там, на берегу Мааса, он, прочтя книги Поля Себийо о бретонском фольклоре, решил стать первым собирателем преданий, обычаев и сказаний того департамента Франции, куда

---

<sup>1</sup> Vannes, 1891, in-8. (Extrait de la «Revue des traditions populaires».)

волею политических деятелей был назначен. Он взялся за дело со страстным рвением и той подвижностью ума, развитию которой так способствует повседневная работа журналиста. Он ходил по деревням, выпрашивая стариков и старух. Этого было недостаточно. Он обратился с призывом ко всем людям доброй воли, и его газета распространила это обращение повсюду, донесла его до самых глухих деревушек Арденнского края. Особенно горячо откликнулись на него учителя. Их помощь, вне сомнения, была ему весьма полезна. Но, вообще говоря, учитель не тот человек, который нужен для собирания народных преданий. Ему не хватает простоты. Он склонен украшать, исправлять. Как ни старался Альбер Мейрак оградить себя от чрезмерного усердия своих помощников, он все же поместил в своем сборнике не одно сказание, стиль которого больше напоминает ученого педанта, нежели пахаря.

В некоторых сказаниях явственно видна обработка. Это недостаток, которого самые искусные собиратели устного предания не всегда умеют избежать. Даже не так легко, как думают, получить точную копию древнего текста. Это хорошо известно господину Амелино. Сей ученый отправился в Египет, чтобы разыскать там в греческих монастырях данные о жизни древних отшельников Нитрии и Фиваиды, и действительно сделал много ценных открытий. В частности, в одном монастыре он нашел весьма древний и ценный текст; некий молодой копт вызвался его переписать, ничего не пропуская. Этот копт был человек очень способный; закончив работу, он с самодовольной улыбкой вручил ее господину Амелино и сказал:

— Сударь, вы останетесь довольны моей работой. Я выполнил ее еще лучше, чем обещал это сделать. Я выправил в языке все то, что в нем было грубого и устарелого. Я, где только возможно, заменил древние изречения другими, более мудрыми. Когда вы будете читать мой список, вам покажется, что вы читаете совершенно новую книгу.

Альбер Мейрак, обладающий самым необходимым для исследователя предания свойством — недоверчивостью, — лучше всякого другого знает, как опасны в

этом деле посредники. Но он не мог обойтись без них. Не будь у него сотрудииков, он не закончил бы свою книгу за два года. Нам пришлось бы ждать ее еще добрых десять, если не двадцать лет, и это было бы прискорбно, ибо и такая, какая она есть, она очень полезна и очень интересна. Что касается меня, я прочел ее с огромным удовольствием.

Обширное плоскогорье, покрытое лесами и пустошами, пересеченное глубокими ущельями, темную зелень которых пререзают замшелые зубцы утесов; *рвызы* окрестностей Рокруа, где там и сям, будто вздыбленные кости матери-земли, торчат огромные камни; *фаньи* — глубокие дремотные воды нагорных болот, — словом, весь Арденнский край некогда был сплошь покрыт дремучим лесом, тянувшимся от Шельды до Рейна. Природа этого края создала его легенды; его предания — лесные. Там вихрем несется бесовская охота; там слышится зловещее гиканье пса-ря-дьявола. До святого Юбера там владычествовала Диана. У арденнской Дианы не было того величия, той стройности, которые искусство Греции и Рима сумели придать сестре Аполлона.

Подобно своим поклонникам, она была дикарка. Боги обычно похожи на тех, кто им поклоняется. В деревне Эпозия — нынешнем Кариньяне — ей была воздвигнута исполинская уродливая статуя. Эта статуя еще была цела во времена сыновей Хлотаря \*, когда некий дьякон, по имени Вульфай или Вальфруа, из Ломбардии пришел в Арденнский край проповедовать христианство.

То был человек высокой добродетели. Увидев, что жители Эпозии украшают подножье священной статуи гирляндами и водят вокруг нее хороводы, распевая при этом гимны, он рассвирепел. Гимны более всего привели его в ярость. Они не дошли до нас. Но, по всей вероятности, он судил о них слишком строго. Как бы там ни было, он решительно восстал против культа Арденнской девственницы. Он был красноречив, к тому же в Эпозии уже было много христиан; он убедил кучку людей пойти вместе с ним свергнуть идола. Обвязав статую веревками, они с большим трудом, сопро-

вождая работу молитвой, сбросили ее наземь; она рухнула; святой Вальфруа, полный глубокой веры, приписал это молитвам, а не веревкам. Обратив жителей Арденн в христианство, святой Вальфруа стал отшельником и решил особенно строго соблюдать свой обет. По примеру святого Симеона Столпника, он велел соорудить колонну, на которой просидел всю зиму босой, и в течение этого времени у него несколько раз сходили ногти. Так погибла Диана Арденн. После нее покровителем лесов стал святой Юбер. В молодости он был заядлым охотником. Однажды, охотясь в страстную пятницу, он увидел матерого оленя с золотым крестом между рогами. Диковинный зверь заговорил человеческим голосом и сказал: «Юбер! Юбер! Неужели ты век свой будешь травить лесных зверей? И неужели удовольствие, доставляемое охотой, заставит тебя презреть заботу о спасении твоей души?»

Вот оно, чудесное — такое, каким оно вышло из леса. Из пруда, болота или из *фаньи* — трясины возникли *анекэны* и *люмеретты*; словно блуждающие огоньки, мелькают они по ночам перед сбившимися с дороги путниками, заманивая их в тростники, где несчастные тонут. Есть в Арденнах и феи. Это — сельские феи: они ткут холст, пекут хлеб и стирают белье на берегу речки, совсем как крестьянки. Из исследования Альбера Мейрака явствует, что колдовство в этом краю было очень распространено и что там частенько летали на шабаш. В Арденнах, как и повсюду, ведьмы обычно отправлялись туда на помеле или обернувшись черными курицами. И там, как водится, колдуну стоило только натереться некоей мазью, произнося при этом заклинание, — и он тотчас принимал обличье kota или курицы. Альбер Мейрак отметил некоторые суеверия, сохранившиеся по сей день. Арденнский крестьянин по-прежнему питает безграничное доверие к знахарке, исцеляющей крестным знамением, и не так скоро откажется от снадобий, изготовляемых ворожеями и костоправами. В его памяти еще живы необыкновенные звери, которыми Арденны были населены в давние, легендарные времена. Особенно запомнился местным жителям *мавог*: он величиной с теленка, имеет вид



ящерицы. Обычно он таится в реке Маасе и выходит на свет божий только как предвестник того или иного несчастья. Его видели в 1870 году.

Я кончаю с превеликим сожалением. Будь у меня некоторый досуг — я бы еще немало пофилософствовал о книге Альбера Мейрака. Но самый характер наших бесед не допускает исчерпывающего рассмотрения их предмета. Мы уже пространно говорили о народных песнях и сказках. Тем, кто уж очень стал бы попрекать нас этим, мы могли бы ответить следующими прекрасными словами поэта:

«Литература, высокомерно отрывающаяся от народа, подобна растению, вырванному с корнем.

Сердце народа — вот где поэзия и искусство должны черпать силы, чтобы непрестанно зеленеть и цвести. Оно для них — источник живой воды».

Так говорит Эмиль Блемон в своей «Эстетике предания» — книге весьма красноречивой и проникнутой здоровой философией. И это хорошо сказано. А главное — не будем во имя классического искусства хулить волшебные сказки. Гомерова «Одиссея», как мы видели, слагается из волшебных сказок.

**АПОЛОГИЯ ПЛАГИАТА**  
**«БЕЗУМНЫЙ» И «ПРЕПЯТСТВИЕ»**

«Безумный» и «Препятствие». Можно подумать, что это название басни. Но речь идет об обвинении в плагиате. Наши современники крайне щепетильны в этом вопросе, и в наши дни нужно считать большой удачей, если какой-нибудь знаменитый писатель не подвергается хотя бы раз в год обвинению в краже чужих идей.

Эта неприятность, от которой не были избавлены в свое время ни г-н Эмиль Золя, ни г-н Викториен Сарду, недавно случилась с г-ном Альфонсом Доде. Некий молодой поэт, г-н Морис Монтегю, вообразил себе, что основной сюжет «Препятствия» заимствован из его драмы в стихах «Безумный», напечатанной в 1880 году, и написал об этом в газетах. Действительно, в «Безумном», как и в «Препятствии», фигурирует мать, жертвующая своей честью ради счастья своего сына; будучи вдовой безумного, она приписывает себе вымышленную вину, чтобы избавить сына от сознания тяжелейшей наследственности и устранить таким образом препятствие, стоящее между ним и любимой им девушкой. Это не подлежит никакому сомнению. Но поиски плагиата всегда ведут дальше, чем думают и хотят. Тот сюжет, который г-н Морис Монтегю от чистого

сердца полагал своей собственностью, был обнаружен потом в одной новелле г-на Армана де Понмартена, название которой мне неизвестно, в «Роковом наследстве» г-на Жюля Дорнэ, в «Последнем герцоге Аллиали» Ксавье де Монтепена и в одном романе Жоржа Праделя. И этому не следует удивляться; было бы, наоборот, удивительно, если бы какого-нибудь сюжета не оказалось в романах г-на Праделя и г-на де Монтепена.

Нужно признать, что подобные сюжеты принадлежат всем. Претензии тех, кто желает оставить за собой исключительное право писать об определенного рода чувствах, напоминают одну недавно рассказанную мне историю. Вы знаете пейзажиста, который своей могучей старостью напоминает дубы на его картинах. Его зовут Арпиньи — это Микеланджело деревьев. Однажды он встретил в какой-то деревне в Солони молодого художника-любителя, который сказал ему тоном одновременно и робким и настойчивым:

— Знаете, мэтр, эту местность я оставляю за собой.

Добрый Арпиньи ничего не ответил и улыбнулся своей улыбкой Геркулеса.

Господина Мориса Монтегю нельзя, конечно, сравнивать с этим молодым художником. Но он должен был бы понять, что сюжет принадлежит не тому, кто его впервые нашел, а тому, кто крепко запечатлел его в памяти людей.

Наши современные писатели вбили себе в голову, что идея может быть чьей-нибудь исключительной собственностью. В прежнее время никто этого не думал, и на плагиат смотрели не так, как смотрят теперь. В XVII столетии о плагиате толковали на кафедрах философии, диалектики и красноречия. Мэтр Якобус Томазиус, преподаватель в школе св. Николая в Лейпциге, составил около 1684 года трактат — «De plagio litterario»<sup>1</sup>, в котором доказывается, говорит Фюретьер, «право присваивать себе чужое добро в области умственного творчества». По правде говоря, трактата мэтра

---

<sup>1</sup> «О литературном воровстве» (лат.).

Якобуса Томазиуса я не читал, никогда в жизни его не видел и никогда — полагаю — не увижу; и если я заговорил о нем, то лишь из чистого хвастовства, да еще и потому, что он цитируется в старинном in-folio, потемневшие красные обрезы которого и старая, сильно порванная по углам кожа внушают мне большое почтение. Книга эта лежит раскрытая на моем столе и при свете лампы похожа на трактат по черной магии; в эту тихую ночь мне начинает казаться, будто я в своем кресле, окруженный наваленными вокруг меня книгами и бумагами, уподобляюсь доктору Фаусту и что если бы я стал перелистывать эти пожелтевшие страницы, то, быть может, нашел бы волшебный знак, которым алхимики в своих лабораториях вызывали к жизни античную Елену в виде луча белого света. И я погружаюсь в мечтательное раздумье. Медленно переворачиваю я страницы, которые до меня переворачивали руки, уже превратившиеся во прах, и хотя не нахожу там таинственной пятиконечной звезды, зато обнаруживаю высохшую ветку розмарина, которая была вложена туда давным-давно умершим влюбленным. Я осторожно разворачиваю узкую полоску бумаги, накрученную на стебелек, и читаю слова, начертанные поблекшими чернилами: «Горячо люблю Марию. 26 июня 1695 года». И это утверждает меня в мысли, что в чувствах людей есть старые наслоения, на которых поэты рисуют свои изящные и тонкие узоры, и что не следует подымать крик о воровстве, услышав, что кто-нибудь говорит «Горячо люблю Марию» после того, как ты тоже сказал это.

Я говорил, что в прежние времена на плагиат смотрели не совсем так, как в наши дни. И мне кажется, что старые представления на этот счет были правильнее новых, ибо они были более бескорыстны, более возвышенны и более соответствовали интересам Республики словесности.

В римском праве (я и это нахожу в своем in-folio, переплетенном в телячью кожу под гранит, с восхищающими меня нежно-красными обрезами), в римском праве плагиатором в прямом смысле считался криводушный человек, уводивший чужих детей, развращав-

ший и воровавший рабов. В переносном смысле это был вор идей. Наши предки считали плагиат в этом втором смысле возмутительным преступлением. Поэтому они очень внимательно взвешивали все данные, прежде чем решиться предъявить такое обвинение честному человеку. Пьер Бейль дает в своем «Словаре» определение, которое хотя и несколько фантастично, но делает более понятным сущность плагиата. «Совершать плагиат, — говорит он, — это значит уносить из дома мебель, захватывая при этом и весь сор, похищать зерно вместе с полевой соломой и пылью». Вы видите, с точки зрения Пьера Бейля, как и всех образованных людей его времени, плагиатором является человек, который опустошает жилища мысли без всякого понимания и уносит все без разбора. Такой бумагомаратель не достоин ни писать, ни жить. Но если писатель заимствует от других только то, что ему подходит, что пойдет ему на пользу, если он умеет выбирать, — то это честный человек.

Добавим, что это также и вопрос меры. Один умный человек, Ламот Левайер, сказал приблизительно в то же время: «Можно воровать, как это делают пчелы, не причиняя никому вреда, но никогда не следует подражать муравью, который уносит все зерно». У Ламота Левайера был знаменитый друг, который разделял его мысли и поступал наподобие пчел. То был Мольер. Этот великий человек брал у всех современных писателей, так же как у древних — у римлян, у испанцев, итальянцев и даже французов. Он, не стесняясь, заимствовал у Сирано и у Буаробера, у бедного Скаррона и у Арлекина \*. Его никогда не попрекали этим — и правильно делали. Пусть наши модные литераторы грабят здесь и там. Я ничего не имею против этого. Сколько бы они ни грабили, они все же награбят меньше, чем Лафонтен и Мольер. Я сильно сомневаюсь, чтобы суровость тех, кто их обвиняет, была основана на действительном знании писательского искусства. Суровость эта имеет причины другого рода, и первая из них причина денежная.

В самом деле, нужно принять во внимание, что то, что в литературе называется идеей, является в настоя-

щее время покупной стоимостью. Не так обстояло дело в былые времена. Сейчас писатель заинтересован в закреплении за собою драматического сюжета, романтической комбинации, ибо они могут принести ему, даже если он посредственный писатель, тридцать тысяч, сто тысяч франков и больше.

К несчастью, количество этих сюжетов и комбинаций более ограничено, чем кажется. Совпадения часты и неизбежны. Да может ли быть иначе, когда оперируют человеческими страстями? Они немногочисленны. Голод и любовь движут миром, и, хотим ли мы этого, или нет, существуют только два пола. Чем значительнее, искреннее, выше и правдивее искусство, тем допускаемые им комбинации становятся проще, обыденнее и безразличнее. Ценность придает им гений писателя. Взять у какого-нибудь поэта его сюжет — значит попросту воспользоваться дешевой и всем доступной темой. Я одинаково убежден в искренности как г-на Монтегю, считающего себя обворованным, так и г-на Доде, не понимающего, в чем его обвиняют. Г-н Монтегю жалует. Истец должен быть выслушан. Он найдет судей. Я, со своей стороны, отвожу себя, так как не знаю произведений, о которых идет речь. Но, будь я на его месте, я не сказал бы ни слова. Он обвиняет г-на Доде; если бы был еще жив де Понмартен, то он мог бы, как меня уверяют, выступить против г-на Монтегю, и было бы очень странно, если бы не откопали нескольких дюжин старых малоизвестных новеллистов, чтобы доказать, что де Понмартен, в свою очередь, был плагиатором. Мне не понадобится и сорока восьми часов, чтобы найти сюжет о великодушной матери, возводящей на себя ложное обвинение, у двадцати авторов, начиная с самых древних индусских сказок и кончая г-жой Коттен. А пока что наш талантливый собрат, г-н Орельен Шоль, уже нашел его целиком в «Роковом наследстве», драме в трех актах Буле и Эжена Филлиона, представленной впервые в театре «Амбигю» 28 декабря 1839 года.

Несколько лет тому назад г-на Жана Ришпена обвинили в том, что он украл балладу у германского поэта Рюккерта. Но г-н Ришпен без всякого труда до-

казал, что он ничем не обязан Рюккерту, и лишь воспользовался тем же источником, что и немецкий поэт, порывшись в одном старинном сборнике восточных сказок, чьи авторы столь же неизвестны, как и авторы «Ослиной шкуры» и «Кота в сапогах».

По этому поводу я расскажу вам подлинный случай, произошедший с членом Французской Академии, г-ном Пьером Лебренем. В дни своей юности, в 1820 году, г-н Лебрен состряпал довольно приличную трагедию по «Марии Стюарт» Шиллера. Это был честный академик и очень любезный человек. Он любил искусство. Как-то вечером, на восьмидесятом году своей жизни, ему захотелось послушать госпожу Ристори, которая проездом через Париж давала представления в зале Вантадур. Великая артистка играла в тот вечер Марию Стюарт в немецкой драме, шедшей в итальянском переводе. Господин Лебрен, слушая стихи из глубины своей ложи, после каждой сцены потирал себе лоб и бормотал сквозь свои последние зубы:

— Это что-то знакомое! Что-то знакомое!

С тех пор как он написал свою трагедию, прошло шестьдесят лет, и он уже почти не помнил ее. Но еще меньше помнил он драму Шиллера. И в антрактах он спрашивал себя:

— Это очень хорошо. Но где же я это уже видел?

Наконец когда Мария Стюарт стала прощаться со своими придворными дамами, память вернулась к нему, и он шепнул на ухо своему соседу:

— Черт возьми, эти люди украли у меня мою трагедию!

Потом он добавил, что это пустяки и об этом не следует рассказывать, ибо он был светским человеком и ничего так не боялся, как огласки.

Пусть же пример г-на Пьера Лебрена послужит уроком всем нам, имеющим несчастье марать бумагу образами наших грез! Когда мы видим, что у нас крадут мысль, посмотрим, прежде чем поднимать крик, действительно ли это наша мысль. Я не имею в виду никого лично, но я не люблю напрасного шума.

Тот, кто озабочен только судьбой литературы, не интересуется подобными распрями. Он знает: ни один здравомыслящий человек не может похвастать, что он думает нечто такое, чего другой человек уже не думал до него. Он знает: мысли принадлежат всем и нельзя говорить: «Эта мысль моя», подобно тому, как бедные дети, о которых упоминает Паскаль, говорили: «Эта собака моя». Наконец он знает, что мысль ценна лишь по своей форме и что придавать новую форму старой мысли — это и есть вся задача искусства и единственное возможное для человечества творчество.

Нельзя сказать, чтобы современная литература не была богата и увлекательна. Но ее природный блеск омрачается двумя основными грехами: корыстолюбием и спесью. Признаемся в этом. Мы умираем от спеси. Мы умны, ловки, любознательны, беспокойны, смелы. Мы еще умеем писать, и если рассуждаем не так хорошо, как наши предки, то чувствуем, быть может, острее, чем они. Но спесь убивает нас. Мы хотим удивлять — только этого мы и хотим. Одна лишь похвала может обрадовать нас — признание нашей оригинальности, как будто оригинальность сама по себе есть нечто, к чему надо стремиться, и словно не бывает как хорошей, так и дурной оригинальности. Мы безрассудно приписываем себе творческие достоинства, которых не было даже у величайших гениев. Ибо то, что они внесли в общую сокровищницу, хотя и чрезвычайно ценно, все же ничтожно в сравнении с тем, что они сами получили от человечества. Индивидуализм, раздутый до той степени, в какой мы его наблюдаем в наши дни, — опасное зло. И невольно обращаешься мыслью к тем временам, когда искусство не было личным делом, когда художник не имел имени и жил только одним стремлением — сделать хорошо, когда каждый принимал участие в воздвижении огромного собора с единственным намерением — гармонично вознести к небу единомудушную мысль века.

В те времена г-н Монтегю не стал бы обращаться с жалобой в свой цех, если бы г-н Альфонс Доде, старший мастер, заимствовал у него какую-нибудь



складку, чтобы закончить каменную фигуру. Но зато сколько было в те времена бессвязных песен, сколько плоских фаблю, и насколько наше индивидуальное искусство, при всех его недостатках, проникновеннее, тоньше, разнообразнее, изобретательнее, изящнее! Наши мелочные авторские споры вызывают раздражение, но для ума любознательного никогда не было более интересного времени, чем наше, за исключением, быть может, эпохи Адриана\*.

## АПОЛОГИЯ ПЛАГИАТА

### *МОЛЬЕР И СКАРРОН*

Мы говорили недавно по поводу «Безумного» и «Препятствия», что поиски плагиата всегда заводят дальше, чем предполагалось, и чаще всего при этом выясняется, что тот, кто кричит о воровстве, сам вор (я разумею — вор невинный и очень часто бессознательный). Один ученый из Турина, г-н П. д'Анлосс, приводит, кстати, прекрасный тому пример. Я только что получил от него заметку, в которой речь идет о Мольере и Скарроне. Так как я нахожу в его сообщении материал, который поможет мне дополнить и исправить то, что я недавно говорил о плагиате; так как одним из произведений, упоминаемых им, является чудесная комедия «Тартюф», о которой страстно спорят вот уже больше двух столетий, а всякие, даже малейшие подробности, касающиеся шедевров, всегда интересны, — попытаемся добраться, следуя доставленным нам указаниям, до тех подлинных источников, откуда великий комик почерпнул мысль о шестой сцене своего третьего действия, — этой выразительной сцене, в которой обманщик, чтобы отвести предъявленное ему справедливое обвинение, не только не защищается, но сам себя обвиняет, делая вид, что принимает разоблачение своей гнусности как испытание, ниспосланное

ему богом, и благословляет это спасительное унижение. Зрители 1664 года, вероятно, смутно припоминали, что уже где-то видели это — должно быть, у Скаррона. В 1664 году бедный Скаррон перестал страдать и смеяться. Он, мучимый всю жизнь бессонницей, спал уже четыре года в небольшой чистенькой часовне при церкви св. Гервасия. Его книгами после его смерти наслаждались лакеи, горничные и провинциальные дворяне. Приличные люди относились к ним с презрением, но в городе и даже при дворе было небольшое число любителей литературы, которые признавали, что, кажется, читали в сборнике трагикомических рассказов, выпущенном калекой еще при жизни, какую-то испанскую историйку под названием «Лицемеры», в которой некий Монтюфар поступает и разговаривает точь-в-точь, как Тартюф, — в частности, в сцене, которую Скаррон так удачно называет «сценой притворного смирения».

Даже в именах есть некоторое сходство, ибо «Тартюф» по своему звучанию несколько напоминает «Монтюфар». Этот Монтюфар был преопасный жулик. В обществе с одной старой распутницей он разыгрывал из себя набожного человека и под видом монаха Мартена одурачил в Севилье немало простофиль. Случилось, что один мадридский дворянин, знавший, что тот представляет собой в действительности, встретил его однажды при выходе из церкви. Монтюфар и никогда не покидавшая его злодейка были окружены толпой людей, которые, лобызая «праведников», умоляли не забыть их в своих молитвах. При виде этих преступников, злоупотреблявших доверчивостью целого города, дворянин больше не в силах был владеть собой; он ринулся в толпу и, ударив Монтюфара кулаком, закричал:

— Негодные пройдохи, неужто не боитесь вы ни бога, ни людей?

Дальше я цитирую:

«Он собирался продолжать, однако его благое, хоть и несколько поспешное намерение рассказать правду, не увенчалось тем успехом, какого оно заслуживало. Толпа ринулась на него, считая, что он совершил святотатство, жестоко оскорбив того, кто был в ее глазах

святым. Его сбили с ног, стали осыпать ударами и, наверное, избили бы до смерти, если бы Монтюфар, с поразительным самообладанием, не взял его под свою защиту и не прикрыл своим телом, отстраняя тех, кто наиболее яростно избивал его обидчика, и подставляя себя самого под их удары.

— Братья мои, — вопил он изо всех сил, — отпустите его с миром во имя господа! Во имя святой девы, успокойтесь!

И эти несколько слов успокоили разбушевавшуюся бурю, народ отступил, дав место брату Мартену, который подошел к несчастному дворянину, очень довольный в душе, что с ним так расправились, но изображая на лице своем крайнее огорчение; он поднял его с земли, выпачканного кровью и грязью, обнял, поцеловал его и обратился к народу со строгим внушением.

— Я скверный, — сказал он тем, кто хотел его слушать, — я грешник, я никогда не совершал ничего, что было бы угодно богу. Вы думаете, — продолжал он, — что если я одет, как порядочный человек, то не был всю свою жизнь вором, что я не вызывал негодование людей и не приготавливал погибель самому себе? Вы ошиблись, братья мои. Оскорбляйте же меня, побивайте меня камнями, колите меня шпагами.

И, сказав эти слова с деланной кротостью, он снова, с еще более ревностным видом бросился к ногам своего врага и, лобызая их, не только просил у него прощения, но разыскал и поднял его шпагу, плащ и шляпу, которые где-то затерялись в этой свалке. Он надел их на него и, проведив за руку до конца улицы, расстался с ним, перед тем несколько раз обняв и благословив его. Бедный человек был зачарован тем, что видел, и тем, что ему сделали, и пребывал в таком замешательстве, что больше не показывался на улицах, пока дела задерживали его в Севилье. Монтюфар же завоевал все сердца своим деланным смирением. Народ восхищенно взирал на него, а дети кричали ему вслед: «Святой! Святой!» — как они кричали бы: «Лиса! Лиса!» — вслед его врагу, если бы встретили его на улице».

Вот, кажется, несомненный оригинал шестой сцены третьего действия «Гартюфа»:

Нет, пусть он говорит, и я просил бы вас  
Принять с доверием услышанный рассказ.  
Он, без сомнения, вполне правдоподобен.  
Почем вы знаете, на что Тартюф способен?

Бичуйте же меня, зовите кровопийцей,  
Злодеем, извергом, разбойником, убийцей.  
Еще позорнее давайте имена;  
Я спорить не хочу, я заслужил сполна,  
И всякое клеймо приму, склонив колени,  
Как воздаяние за годы преступлений<sup>1</sup>.

Так как сходство очевидно, оно было отмечено в «Мольере», изданном в «Коллекции великих писателей», которая была начата покойным Э. Депуа, а теперь продолжается и заканчивается самым добросовестным из издателей, г-ном Полем Менаром. Этот дельный человек, от внимания которого ничто не ускользает, не мог не считаться с явным сходством, уже отмеченным разными критиками и, если я не ошибаюсь, г-ном Шарлем Луандром в его издании «Французские рассказчики».

Можно было во всяком случае усомниться, является ли действительно Поль Скаррон автором новеллы «Лицемеры» и не взял ли он ее, как это часто с ним бывало, у какого-нибудь рассказчика по ту сторону Пиренеев. «Скаррон, — говорит аббат де Лонгрю, — часто копировал испанских писателей, но они много выиграли, проходя через его руки». Первоначально книга, заключающая в себе «Лицемеров», называлась, как меня уверяют, «Трагикомические новеллы, заимствованные у знаменитейших испанских писателей». Это указание впоследствии было устранено, и передо мной как раз лежит издание Мишеля Давида 1717 года, в котором ничего подобного уже нет. Но это не имеет значения. Если указание относительно первого издания верно (что очень легко проверить), значит Скаррон сам признался в заимствовании, — правда, в туманной форме, которая сегодня не удовлетворила бы нас, но была совершенно достаточна для тех времен, когда автор книги вызывал меньше любопытства, нежели сама книга. Он объявлял себя обязанным этими новеллами испанским рассказчикам, которых не называл и

<sup>1</sup> Перевод М. Лозинского.

которых читатель также не интересовался знать по имени. Этому признанию, по-видимому, не придали значения, а между тем его следовало запомнить.

«Лицемеры» считались оригинальным произведением Скаррона до того дня, как г-н П. д'Англосс из Блуа доказал, что этот рассказ целиком взят из новеллы Алонсо Херонимо де Салас Барбадилло, озаглавленной «Дочь Селестины» («Hija de Celestina»), которая была впервые напечатана в Сарагоссе, у вдовы Лукаса Санхеса, в 1612 году.

Таким образом, Мольер взял у Скаррона имущество, которое тому не принадлежало. Это несомненно. Но остается еще выяснить, заимствовал ли великий комик у Скаррона или у самого Барбадилло. Французские поэты слегка хвастали покражами, которые они совершали в Испании, и, конечно, было больше чести обобрать почтенного Барбадилло, чем беднягу Скаррона. Разве не сказал Корнель с великолепным жеманством: «Я полагал, что, несмотря на войну между двумя королями, мне можно торговать с Испанией. Если бы такого рода торговля была преступлением, я бы уже давно был преступником. Те, кто не пожелает простить мне эту связь с нашими врагами, одобряют по крайней мере, что я их граблю»\*.

Грабил ли Мольер в данном случае в Испании, или в доме калеки на улице Двенадцати ворот — на это сразу нелегко ответить. Можно предполагать, что, подобно большинству писателей его времени, он читал по-испански. Один из его врагов сказал: \*

К испанским авторам исполнен он почтенья  
И глупости у них ворует без зазрения.

Заметьте кстати, что в этих стихах его попрекают не тем, что он ворует, а тем, что он ворует глупости. Именно так понимали плагиат в семнадцатом столетии: брать плохое вместе с хорошим, полову с зерном.

Как бы ни расценивать это по меньшей мере дерзкое замечание, относящееся главным образом к «Развлечениям на зачарованном острове» — подражанию пасторали Морето, ясно, что Мольер считался в свое время писателем, хорошо знающим испанскую литера-

туру. Весьма возможно поэтому, что он знал «*Niña de Celestina*».

И в этом предположении утверждаешься, когда прочтешь статью г-на П. д'Англосса. В самом деле, в новелле Барбадилло есть одно место, очень неправильно переведенное Скарроном следующей фразой: «Он (Монтюфар) не отходил от тюрем».

В оригинале сказано: «Он (Монтюфар) собирал милостыню для бедных арестантов», что совершенно точно соответствует стихам «Тартюфа»:

... Я пошел в тюрьму  
Снесть лепту скудную поверженным во. тьму.

В испанском тексте есть еще одно превосходное место, отсутствующее во французской копии, которое Мольер, по-видимому, знал. Изложив эпизод с мадридским дворянином, который боится быть разорванным на части толпой за то, что разоблачил негодяя, Барбадилло продолжает:

«Сей дворянин совсем растерялся и до такой степени был огорчен этим приключением, что, не закончив дел, ради которых прибыл в Севилью, в тот же вечер уехал обратно в Мадрид, уверенный, что один только дьявол мог сыграть с ним такую штуку, и глубоко раскаиваясь, что доверился видимости. Ибо, не будучи в состоянии представить себе, чтобы подобные смиренные чувства могли гнездиться в душе Монтюфара, он оставался при убеждении, что его обманули глаза, так как зрению, подобно всем другим чувствам, свойственно легко ошибаться».

В этих словах заключена глубокая ирония, которая не по плечу была слабому дарованию бедного Скаррона. Невольно хочется считать эти последние строки оригиналом двух стихов, произносимых с такой забавной серьезностью г-жою Пернель:

Нередко видимость обманывает нас.  
Опасно доверять тому, что видит глаз <sup>1</sup>.

*(Действие V, явление III.)*

---

<sup>1</sup> Перевод М. Лозинского.

Зато Скаррон, который переводит очень свободно, добавил к характеру лицемера одну черту, которой не было у оригинала. Он говорит, что Монтюфар «опускал глаза при встрече с женщинами», и в крайнем случае можно было бы допустить, что Мольер заимствовал у калеки платок, которым Тартюф хочет прикрыть грудь Дорины. Но настаивать на этом не следует.

Правда, среди источников «Скупого» Мольера мы находим еще одну новеллу Скаррона. Это плутовской рассказ, озаглавленный «Наказание за скупость». Я не сомневаюсь, что ученый, хорошо знакомый с испанской литературой, как, например, г-н Морель-Фатио, знает оригинал этого рассказа. Г-н Поль Менар, отметивший в своем превосходном издании все заимствования, сделанные Мольером как у древних, так и у современных писателей, даже не упоминает «Наказание за скупость». Это сделано из пренебрежения, а не по незнанию, так как новелла, о которой я говорю, достаточно известна. Г-н Шарль Луандр напечатал ее в своем издании старинных французских новеллистов. Текст ее, который лежит у меня перед глазами, издан в 1678 году, то есть в самый год появления «Скупого»\*.

Весьма вероятно, что Мольер знал эту новеллу или оригинал, переводом которой она является. В ней рисуется смешная любовь жадного до денег старикашки, чего совсем нет в «Комедии о горшке» Плавта и что составляет основной сюжет пьесы Мольера.

Скупого Скаррона зовут дон Маркос, — в Мадриде его принимают за дворянина. Он имеет обыкновение говорить, что «женщина не может быть красивой, если она любит получать деньги, и не может быть безобразной, если она их дает».

Несмотря на такие правила, он попадает в сети, которые расставляют ему плуты. Некий Гамара, «комиссионер по всяким товарам», приходит к нему и расхваливает красоту, благоразумие и большое состояние знатной женщины Исидоры, которая на самом деле — старая беззубая куртизанка, беднее самого Иова. Скупой соглашается повидать ее и влюбляется в нее на пиршестве, устроенном в его честь.



«По окончании этого праздника (цитирую Скаррона) дон Маркос признался Гамаре, проводившему его домой, что прекрасная вдова очаровала его и он с радостью дал бы отрезать палец с руки, чтобы уже быть повенчанным с нею, ибо никогда не встречал женщины, которая была бы ему больше по вкусу, хотя, правду говоря, он желал бы, чтобы после брака она не жила так открыто и с такой роскошью.

— Она живет скорее как принцесса, чем как жена простого смертного, — говорил благоразумный дон Маркос обманщику Гамаре, — и не понимает того, что если ее мебель превратить в деньги, а деньги эти присоединить к капиталу, которым владею я, мы составили бы себе порядочную ренту, и могли бы хранить ее про запас, и при том уменьше, каким бог наделил меня, сколотить значительное состояние для детей, которыми осчастливит нас бог.

Дон Маркос вел с Гамарой такую или подобную ей беседу, пока не подошли к дверям его дома. Гамара простился с ним, дав ему слово на следующий же день устроить его брак с Исидорой, так как, сказал он, этого сорта дела расстраиваются столько же из-за отсрочек, сколько вследствие смерти одной из сторон.

Дон Маркос обнял своего милого посредника, который пошел сообщить Исидоре, в каком настроении он оставил ее возлюбленного. А между тем наш влюбленный кавалер вынул из своего кармана кусок свечи, насадил его на кончик шпаги и, зажегши его от лампы, горевшей перед распятием на соседней площади, не упустив при этом случая усердно помолиться об успешном завершении сватовства, отпер ключом дверь дома, в котором он ночевал, и лег на свою жесткую постель больше для того, чтобы грезить о своей любви, чем для того, чтобы спать».

На следующий день он отправляется к своей будущей супруге и излагает ей, как он собирается устроить их жизнь:

— Я желаю, чтобы в моем доме ложились рано и чтобы ночью он был заботливо заперт. Дома, в которых имеется кое-какое добро, должны быть старательно закрыты от воров. Что касается меня, я никогда не

утешусь, если какой-нибудь бездельник-вор, у которого нет другого труда, как только прибираться, что попадется под руку, в одно мгновение лишит меня того, что мне дал упорный многолетний труд.

Скупой Скаррона — это уже мольеровский скупой, влюбленный и богатый. Негодяй Гамара точь-в-точь негодяйка Фрозина. Дон Маркос женится на Исидоре, которая недолгое время спустя убегает вместе со своими соучастниками, стащив у бедняги деньги и всю домашнюю утварь.

Он тоже оплакивает свою шкатулку. Но все остальное не имеет ни малейшего сходства с комедией Мольера. Это цепь комических или трагических приключений, которые и незабавны и неправдоподобны.

Настоящее исследование, результаты которого я старался изложить как можно короче, ставило себе целью вернуть несчастному Скаррону то добро, которое взял у него Мольер. Но при этом выяснилось, что, когда Скаррон подвергся ограблению, он нес чужой багаж. Очень возможно, что «Наказание за скупость» принадлежит ему не больше, чем «Лицемеры». Что же касается Мольера, то все, что он берет, тотчас же становится его собственностью, потому что он ставит на это свою печать.

## ИЗ СБОРНИКА «ЛАТИНСКИЙ ГЕНИЙ»

### ДАФНИС И ХЛОЯ

Милетские рассказы обошли вначале богатые и изнеженные города Ионии. Полные пикантных примеров женского лукавства, они должны были развлекать стареющих бездельников. Общественные дела мало кого занимали. Что же оставалось делать, сидя под портиком, разрисованным изящными фигурами, в тени мирт или у журчащего ручейка? Читать старых поэтов? Нет, чтобы наслаждаться ими, нужно слишком большое напряжение ума, слишком хороший вкус, да и образованность, какой уж нет и в помине. Вот другая книжица — она читается легче и понимается без труда. Любезный милетец, разверни этот тонкий свиток и, томно опершись локтем на пурпурную подушку, прочти о том, как жена виноградаря спрятала своего возлюбленного в большом кувшине и как эфесская вдовушка из любви к солдату дала повесить своего мертвого мужа.

В этих милетских побасенках (многие из них дошли до нас) действие развивалось быстро. Никаких подробностей, никаких характеров — один лишь сюжет. Эта бытовая литература долгое время была единственной близкой читателю литературой эллинского мира.

Роман о любви расцвел лишь в римскую эпоху. Здесь, на Востоке, в этой обители вымысла, появля-

ются, начиная с третьего века христианской эры, небольшие книжки, где изящным слогом повествуется о приключениях двух очаровательных детей, которых сближает взаимная любовь и разлучает злая судьба. Такова обычная тема, которая почти не меняется \*. К ней добавляют иной раз пиратские набеги, похищения, несчастную любовь или кровосмесительные связи в духе трагедий Еврипида, дабы читатель мог порой сладостно содрогнуться от умеренного сострадания или мимолетного ужаса.

Правда, впоследствии Дион Хризостом и некоторые другие писатели станут обходиться без этих драматических подробностей, но что непременно сохранится у всех, что неразрывно связано с самим жанром — это обилие картин сельской жизни. Картины эти насквозь искусственны и традиционны. Будь они откровеннее, грубее, правдивее, они бы нравились читателям куда меньше. Феокрит давно уже стал классиком, суровость и широта Сицилийца больше не в моде. И вот писатели начинают рисовать совершенно симметричные картины жизни природы соответственно четырем временам года. Они уже не боятся, что в их сочинениях будет заметна нарочитая упорядоченность, отделка, изысканность. Они пишут для горожан. Жизнь в больших городах возбуждает вкус к деревне. Ведь так естественно предпочитать то, чего у нас нет, тому, чем мы обладаем! К тому же эти уста, опаленные терпким греческим вином, так истосковались по молоку! Картины природы, изготовленные для этого мира богачей и сластолюбцев, походили на живопись, которую можно видеть на стенах домов Помпеи: деревца и домики, попеременно с завитками и волутами, затерянные в прихотливых извивах орнамента.

Писатель был своего рода ритором, умевшим искусно отделать сюжет традиционными украшениями. Звался ли он Гелиодор Эмесский или Ахилл Татий Александрийский, Ксенофонт Антиохийский или Ксенофонт Эфесский, — это был все тот же сочинитель, понаторевший в словесности и грамматике, все тот же затейливый, банальный, отшлифованный ум. Эти сочинители «диегематов» или «драматиков» \* (*διηγηματα, δρα-*

ματιχά), как они называли свои романы, знают всю греческую литературу, история которой к этому времени уже завершена, всех больших и малых поэтов, толкование которых они сделали своим ремеслом. Им известны все литературные достопримечательности. Они обладают превосходной памятью и умеют изобретательно подбирать друг к другу слова, найденные у других. Что же касается того, чтобы самим наблюдать жизнь, непосредственно постигать явления окружающего мира, — то это не их дело. Если они описывают сбор винограда, то вовсе не стараются запечатлеть живые черты настоящих виноградарей. Они отыщут какое-нибудь тонкое и остроумное описание и так его отточат, переписывая в свою повесть, что оно станет более изысканным и отделанным, нежели самые изощренные стихи александрийских поэтов. Они стремятся перещеголять Мелеагра. Эти писатели завершают собой целый мир; они очень стары. Вот почему они забавляются, рассказывая о юной любви. Не обладая больше ни плотью, ни кровью, они подогревают себя, рисуя в своем воображении пламень пробуждающегося первого чувства.

Богатый на выдумки автор повести «Дафнис и Хлоя» был, безусловно, одним из таких людей. Но течение диегематистов не относится лишь к одному периоду истории. Возникнув во времена Адриана, оно уходит в далекое будущее, в мрачную эпоху христианства. Нам ничего неизвестно о диегематике, оставившем шедевр этого жанра. В древнейшей рукописи его сочинения, которая из монастыря Монте-Кассино попала во Флорентинскую библиотеку, имя его совсем не упоминается. В другой рукописи он именуется Лонгом (Λόγγος). Это имя мало похоже на греческое. Шелль полагает, что Λόγγος стоит здесь вместо Λόγοι («повествование»). Но такая ошибка в транскрипции трудно объяснима; Фридрих Якобс и Пиколос считают ее невозможной. Впрочем, подобные варварские имена стали распространяться, когда эллинская культура была поглощена Римской империей. В «Антологии» Плануда можно встретить Руфинов и Гаев, говорящих на языке Феокрита и Симонида. Но в какое же время

жил этот Лонг, поскольку о нем приходится говорить? Неизвестно. Свидя перечисляет самых незначительных диегематиков, но автор «Дафниса и Хлои» ему, по-видимому, неизвестен. Некоторые эллинисты, принимая во внимание его несколько искусственный, но чистый греческий язык, полагают, что жил он не позднее III века. Иные склонны отвести ему место в мрачной империи Феодосия \*. Мне бы хотелось видеть в нем одного из тех византийцев, что встречались столь редко. Если вспомнить, что некоторые, причем весьма изящные анакреонтические оды были составлены в Константинополе, в довольно позднюю эпоху, то нельзя поручиться, что Лонг не был монахом. Его книга — языческая от начала до конца, это так. Но она сделана в подражание древним. Как бы это ни показалось неожиданным, мы все же можем полагать, что этот Эрот из слоновой кости, столь поразительной работы, был изваян в келье монаха-библиотекаря. У этого монаха, если только он вообще существовал, голова, по-видимому, была набита многими престранными и удивительными знаниями. Вообразите себе его: тощий, пожелтевший, иссохший, с лицом мумии и глазами, потускневшими от чтения рукописей всевозможных поэтов и никогда не видавшими дерева.

Как бы то ни было, роман о Дафнисе и Хлое появился с запозданием. Это плод поздней осени. И все же от него веет чудесным ароматом античности эпохи расцвета. Этой ни с чем не сравнимой античной литературе всегда было свойственно пристрастие к свободному подражанию, которое, наложив глубокий отпечаток на творчество писателей последнего периода, помогло им сохранить чистоту слога, удержало их в границах подлинной красоты. Подобно тому как девочки получают от старших сестер, а затем передают младшим кольца и палочки для игры в серсо, так и античные поэты передавали друг другу каноны и формы построения идиллий, од, эпиграмм.

Писатели, пришедшие позже других, в своей искусно отделанной прозе использовали эти каноны и формы, равно как и готовые сюжетные линии. Пастушеская любовь Дафниса и Хлои вся полна тех маленьких со-

кровищ, которые столько раз уже встречались нам в других местах и которые всегда приятно увидеть снова. Споры пастухов, их размеренные пререкания, когда они по очереди бранят друг друга словами песни, наполняют буколическую поэзию со времен первых александрийских поэтов. Одна из таких поэм, переложенная на язык прозы, целиком введена в первую часть нашей пасторали: «И вот однажды Дафнис затеял спор с Дорконом, кто из них красивее. Судьей была выбрана Хлоя. Ее поцелуй должен был стать наградой победителю». Здесь автор перестарался. Во времена Сицилийца наградой могла быть чаша вина, свирель или ягненок. Дафнис и Доркон поют, и их чередующиеся песни являются как бы антологией, где собраны цветы этого жанра. Здесь есть цветы, взятые у Вергилия или во всяком случае у того греческого поэта, которому подражал Вергилий: *Alba ligustra cadunt* \*.

В другом месте, в сцене сбора винограда, старик Филет появляется лишь для того, чтобы рассказать прелестную сказку о крылатом младенце, которого он увидел в саду. И весь его рассказ — совершенно в духе «Промокшего Эрота» Анакреона.

И раз уж мы коснулись анакреонтических од, припомним оду XX, о прекрасной девушке:

«...Ах, если б я стал зеркалом, чтоб ты в меня гляделась!

Если б был я твоей туникой, о девушка, чтобы ты носила меня!

Если б был я чистою водою, чтобы омыwać тело твое; благовонием, чтобы умащать тебя, кисеей на твоей груди, ожерельем на шее твоей; сандалией, чтобы ты попирала меня твоей ножкой!»

Такие же пожелания высказывает и Хлоя.

«Ах, — говорит она, мечтая о Дафнисе, — зачем я не его флейта, я касалась бы губ его! Зачем я не его козленок, он держал бы меня в своих руках!»

Эти же любовные пожелания, проникнутые мистикой, большим религиозным чувством, можно обнаружить в одной из старинных схолий: *Εἴθε λύρα καλή.*

---

<sup>1</sup> Увядает белая бирючина (лат.).

«Ах, зачем я не изящная лира из слоновой кости! Красивые дети носили бы меня в хоре Диониса! Зачем я не прекрасное, большое украшение из чистого золота! Меня носила бы женщина, красивая и преданная чистым мыслям».

И если бы мы взялись выявить все те места, где автор не был оригинален, мы бы обнаружили, что произведение Лонга представляет собою мозаику из драгоценных камней, выбранных со вкусом и артистически подогнанных друг к другу. Многие источники, откуда заимствует наш диегематик, навсегда утеряны для нас.

Так, когда Гнатон говорит:

«Возблагодарим же орлов Зевеса, которые допускают, чтобы такая красота пребывала еще на земле», —

он воспроизводит какое-то место из Каллимаха или Филета, которое не дошло до нас, но следы которого мы находим в двустишии Проперция:

*Curliac in terris facies humana moratur?  
Jupiter, ignoro pristina furta tua*<sup>1</sup>.

В тех немногих отрывках, что остались от Менандра, имеются три стиха об Эроте, могущественнейшем из богов, три очаровательных стиха, которые Лонг переплавил в свою прозу. Но это цветок, сорванный мимоходом; а вот у старого Гомера сочинитель «Дафниса и Хлои» задерживается дольше. Он заимствует у него бытовые подробности, черты первобытной простоты:

Ἔσσω μιν Ἰλαϊνᾶν τε Ἰτιῶνά τε, εἴματα καλά,  
... δάσω δ' ὑπὸ ποσσὶ πέδιλα,  
Κῆρυξ δὲ φέρων ἄν ὄμιλον ἀπάντη,  
Δεῖξ' ἐνδὲξια πάσιν...<sup>2</sup>

И вот так удачливый составитель повести собирает все рассказы о превращениях, все наивные сказки древней мифологии. Его боги — совсем крошечные, это деревенские божки. Они под стать тем двум детям, которых они опекают. И религия в этой повести какая-то

<sup>1</sup> Где твоя хватка, Юпитер, славная в годы былые?

Долго ль пребудет средь нас этот чарующий лик? (лат.)

<sup>2</sup> Я пошлю хлену и хитон, и прекрасные одежды,

... дам на ноги сандалии.

А вестник, обходя собрание воинов,

Всем, начиная справа, показывал... (греч.)



легковесная, детская. Как далеко унеслись отсюда настоящие, великие боги. Правду говорил голос, раздавшийся на берегу моря: «Пан, великий Пан умер!» \* Пан, которого мы видели здесь, — совсем маленький божок, ему едва под силу справиться с делами пастушки и козопаса.

А пастушка эта и этот козопас образуют самую прелестную, самую нежную, самую очаровательную поющую пару, когда-либо созданную искусством. «Дафнис и Хлоя» — это картина пробуждения чувств, написанная с восхитительным изяществом, и эта картина сохранит всю свежесть своих красок до тех пор, пока с каждым новым поколением будут пробуждаться чувства и вновь рождаться желание.

Но довольно. Я хотел лишь показать, сколько искусства и учености потребовалось для написания этой книги о любви.

## КОРОЛЕВА НАВАРРСКАЯ

У отца-скопидама сынок — гуляка. Царствование Людовика XI было веком мелочности и расчета. Люди той поры — скареды, стяжатели, лукавцы, насмешники, любители скоромного, — словом, настоящие буржуа. Как под беличьей или горностаевой мантией, так и под простым суконным кафтаном равно скрываются патлены и архипатлены \*. Но у этих бережливых и осторожных людей родились отважные дети, которые расточили отцовское достояние в безрассудных походах. А кое-кому из них было суждено совершить переворот во всем — в религии, в искусствах, в науке.

При Людовике XI некоторые сеньоры, запоздалые плоды эпохи рыцарства и люди робкой души, мирно проводили всю жизнь в своих замках, окружив себя книгами и предаваясь на досуге ученым занятиям. *In angello cum libello* <sup>1</sup>. Одним из таких людей был Карл Ангулемский, отец принцессы Маргариты, потомок того доброго герцога Карла, который в английском плену слагал баллады и рондо \*, нежные, изысканные и тонкие, как миниатюры Жеана Фуке. Он был сыном принца Иоанна, переложившего на французский язык схоластические и варварские дистихи \*, которые, как он считал, сочинил еще Катон в древнем Риме, и собственноручно переписавшего всю книгу «Утешений» Боэция. Принц

---

<sup>1</sup> Уединившись с книгой (*лат.*).

Иоанн был человеком ученым. Его сын Карл, как и отец, стремился к «знанию, этой манне небесной»<sup>1</sup>. В своем коньякском замке он собрал обширную библиотеку. Но «то было темное время... когда еще чувствовалось пагубное и зловредное влияние готтов, истреблявших всю изящную словесность»<sup>2</sup>.

11 апреля 1492 года супруга Карла Луиза родила в Ангулеме девочку, нареченную Маргаритой, что означает по-латыни «жемчужина» или «перл». И Маргарита действительно стала перлом принцесс. Два года спустя добрый герцог покинул наш подлунный мир. Маргариту воспитала ее мать, прекрасная, умная и страшная Луиза Савойская, любившая поэтов и гордившаяся своей причастностью к «веселой науке». Это была женщина алчная, скупая и жестокая; позднее она запятнала себя преступными и позорными деяниями, которых ее дочь постаралась не заметить. Ведь тот, кто ради любви или веры не выколет себе оба глаза, никогда не верил и не любил.

Маргарита росла в отцовском замке. Там, в каком-нибудь отдаленном покое со стенами, отделанными резными украшениями из ярко расписанного дерева, она отпирала ларь с книгами, извлекала оттуда манускрипт в парчовом переплете и читала то главу из «Подражания Христу», то один из романов Круглого стола, то отрывок из Аристотеля<sup>3</sup>. Со всех сторон до нее доходили слухи о сказочной Италии, открытой юным королем Карлом VIII \* в год от воплощения божия 1495, об этом вновь обретенном земном рае<sup>4</sup>, где нет бога,

---

<sup>1</sup> Рабле, II, 8. — Здесь и в дальнейшем все прозаические цитаты из Рабле приводятся в переводе Н. М. Любимова.

<sup>2</sup> Рабле, там же.

<sup>3</sup> Списки Аристотеля, «Золотой легенды», «Подражания Христу», романов «Круглого стола», а также поэмы Данте упоминаются в перечне движимого имущества коньякского замка.

<sup>4</sup> «Земной рай!» — таков единодушный крик французов, попадавших в Италию.

Карл VIII писал из Неаполя своему зятю герцогу Бурбонскому:

«Трудно вам вообразить, до чего прекрасные сады видел я здесь, ибо, честью клянусь, так они роскошны и столь-

ревниво стерегущего плод познания и сладострастия, о чудесах искусства и куртуазности, с которыми познакомились там французы.

В те годы все умы Франции были обращены к этой лучезарной стране, каждый изо всех сил старался переделать на итальянский манер свою жизнь и свой язык. Маргарита читала Петрарку, которым позднее восторгался и ее брат Франсуа; она читала Данте, упиваясь той атмосферой куртуазности, благоухание которой наполняет у великого флорентинца даже «Чистилище» и «Ад». Вот она склоняется над цветным веленом книги и, забыв обо всем на свете, следит за Паоло и Франческой, чьи сплетенные в объятии тени витают над градом скорби.

Она читает:

...Nessun maggior dolore  
Che ricordarsi del tempo felice  
Nella miseria...<sup>1</sup>

И в памяти ее навсегда остаются эти стихи, горькую правду которых придется изведать и ей самой.

---

ко в них чудесных и редких вещей, о коих надеюсь я рассказать вам при встрече, что ежели бы еще поселить в них Адама с Евой, то это и был бы рай земной. Сыскал я в этой стране отменных художников, и вы пошлите к ним, пусть изготовят они для нас наилучшие, какие только возможно, картины, ибо те, что находятся в Бо, Лионе и прочих городах Франции, даже сравниться не могут красотой и великолепием своим со здешними. А я привезу вышеупомянутых художников с собою, дабы они написали мне подобные же для Амбуаза\*».

Брисонне писал из Неаполя королеве Анне Бретонской:

«Хотелось бы мне, госпожа моя, чтоб увидали вы этот город и все чудеса, кои в нем находятся, ибо это сущий рай земной. Наш милостивый король пожелал по приезде моем из Флоренции самолично показать мне все, что есть в городе и вокруг него, и, клянусь вам, несказанна красота этих мест, наудобнейше устроенных для всяческих пристойных забав. Королю весьма желательно, чтоб и вы были здесь. Отныне он больше ни во что не ставит ни Амбуаз, ни иные свои Замки».

<sup>1</sup> ...Тот страдает высшей мукой\*,  
Кто радостные помнит времена  
В несчастьи... (*итал.*).

По свидетельству всех, кто знал ее, Маргарита, женщина кроткая, приветливая и благожелательная, любила веселую беседу и смех, который так шел к ее здоровой красоте. Она была красива, но красотой крепкой и крупной, отличаясь такими же благородными чертами лица и большим носом, как и ее брат <sup>1</sup>.

Заря ее жизни занималась в те годы, когда ослепительно разгорается заря Возрождения. Науки вновь обретают «блеск и достоинство». Мир наполняется «учеными людьми, образованнейшими наставниками, обширнейшими книгохранилищами. Женщины и девушки — и те стремятся к знанию, этому источнику славы» <sup>2</sup>.

Наставником Маргариты был Робер Гюро, архидиакон и аббат храма св. Мартина в Отене. Она брала уроки древнееврейского языка, который считался тогда ключом к философии. Тезисы Пико делла Мирандола о кабале и трактат Рейхлина «De verbo mirifico» <sup>3</sup> показали, какими подлинными докторами всех наук являлись смиренные и жалкие евреи — изгнанники из Испании, которых презирал, унижал, травил весь христианский мир. Маргарита во всяком случае получила представление об этом мертвом языке — единственном,

---

<sup>1</sup> Именно такой она и предстает на дошедших до нас портретах. Франциск I был очень похож на нее. Рисунок карандашом, запечатлевший ее в беарнском чепце, со спаньелем на руках, когда ей было около пятидесяти лет, набросан твердой рукой, отчетливо передает ее черты и выполнен в манере Клуэ. По нему можно судить о характерных особенностях ее лица, но не об очаровании его. Очарование, или то, в чем видим его мы, не интересовало художников этой школы. Но в том, что Маргарите оно было присуще, сомневаться не приходится. Бонниве, Маро, коннетабль Бурбонский и множество других очевидцев — лучшие судьи на этот счет, нежели мы. В знаменитом Люксембургском саду есть красивая статуя сестры Франциска I. Я не упоминаю об этом памятнике лишь потому, что его видел всякий, кто прочтет эти строки. Я знал даже таких, которые писали стихи на его пьедестале. Но эта фигура с ее вздернутым носиком несколько не похожа на нашу великую и добрую Маргариту. Это скорее Марго, та самая Марго, на которой женился Генрих IV, да еще такая, какой ее изобразил Александр Дюма\*.

<sup>2</sup> Р а б л е , II, 8.

<sup>3</sup> «О чудотворном глаголе» (лат.).

по мнению тогдашних ученых, который называл бога истинным его именем\*.

Детство Маргариты совпало с появлением первых, еще неумелых чудес книгопечатания — требников и романов, набранных немецкими готическими шрифтами: текстурой, фрактурой, круглым.

В годы ее молодости великолепные издания Альда Мануция, отпечатанные итальянским (иначе — венецианским) курсивом, размножили шедевры античной мысли. Появилось «изящное и исправное тиснение, избретенное по внушению бога, тогда как пушки были выдуманы по наущению дьявола»<sup>1</sup>. Этьены и Васкозаны распространили во Франции сокровища науки и поэзии, принесенные из блистательной Италии.

В возрасте семнадцати лет, через три года после помолвки ее брата Франсуа с Клод Французской, Маргариту из государственных соображений выдали за герцога Аланского, испытанного война и уже немолодого человека, который превыше всех открытий своего века ценил не книгопечатание, а порох и отнюдь не был подходящим для нее мужем.

Натура любящая, она питала горячую привязанность к брату, ставшему в 1515 году королем под именем Франциска I. Этот король-рыцарь с горячей кровью и скудным мозгом, славный малый, простой в обращении со своими, но умевший казаться величественным на людях, легкомысленный эгоист и в то же время нежнейший сын на свете, платил сестре самой искренней любовью, на какую была способна его чувственная и непостоянная душа. Он называл сестру «милочкой», глубоко уважал ее, и никогда еще уважение не было столь заслуженным. Благоразумная и ученая Маргарита, крупный рот которой умел так тонко улыбаться, была мудрой советчицей, способной руководить самыми сложными предприятиями. Там, где речь шла о делах, ее непоколебимая кротость, осмотрительность и благожелательность совершали поистине чудеса.

---

<sup>1</sup> Р а б л е , II, 8,

«Рассуждала она так умно, что приводила в восхищение послов, каковые, возвратись от нее, писали об этом пространные доношения своим государям; она весьма содействовала своему брату королю, ибо послы, удостоившись приема у него, после непременно отправлялись к ней, и часто, когда у короля случались важные дела, он препоручал их сестре и ждал ее полного и окончательного решения. Она же, отменно искусно беседуя с послами и занимая их разговором, с превеликой ловкостью выведывала все их намерения. По этой причине король говаривал, что она своим светлым разумением облегчает ему бремя власти, чем оказывает немалую помощь»<sup>1</sup>.

Маргарита употребляла свое влияние на брата в пользу поэтов и ученых, «преданных истинному знанию и Христу». Набожная и даже склонная к мистицизму, но любознательная и прямодушная, она испытывала отвращение к монахам с их шарлатанством, темнотой и распутством. Ее излюбленным писателем был Эразм, превосходно высмеявший глупость в рясе и почитавший монахов усерднейшими поборниками вселенского невежества. В 1512 году один весьма ученый человек по имени Гильом Фабри (он же Лефевр д'Этапль) опубликовал комментарий к посланиям апостола Павла. Этот труд, подвергший евангелие критическому исследованию, стал настольной книгой Маргариты и вывел ее на дорогу первых реформаторов, которых можно было бы назвать схолиастами Писания\*. Она завязала переписку<sup>2</sup> с Брисонне, епископом Мо, и под влиянием этого искусного наставника погрузилась в глубины самого причудливого и абстрактного мистицизма. Поэтому мы и читаем у Рабле, что у нее

Дух выпренный, восторженный, благой<sup>3</sup>.

Ее теологические рассуждения так утонченны, что в сравнении с мистической нитью мыслей, вытканной ею на прялке духовных наставлений Брисонне, паутина — и та показалась бы канатом. Такую тягу к неуловимому

<sup>1</sup> Брантом\*.

<sup>2</sup> С 1521 г. по 1524 г. Bibliothèque nationale, mass. ff., 337.

<sup>3</sup> Р а б л е , Посвящение к книге III.

и непознаваемому нередко испытывают самые здоровые умы<sup>1</sup>.

Учение Брисонне, если оставить в стороне форму изложения, представляло собой попытку реформы церкви и критического пересмотра Писания. Как и Лефевр д'Этабль, Брисонне полагал, что «евангельская проповедь не свободна от человеческих заблуждений». Таким образом, духовный руководитель толкал Маргариту на путь ереси, по которому, однако, ни он, ни она не пошли до конца.

Ей удалось склонить своего брата короля на сторону деятелей первых лет Реформации — лет кротких, светлых и безмятежных. Но Лютер сжег буллу, и в 1520 году разразилась буря. Время мудрых и добрых, время Эразма и Маргариты миновало. И все же она продолжала надеяться. В декабре 1521 года она пишет Брисонне:

«Его величество и королева-мать<sup>2</sup> еще ревностнее, чем прежде, привержены к реформе церкви и готовы объявить, что истинное учение господне не может быть ересью».

Брисонне отвечает:

«Боюсь, что пламя истинной веры, по великой, безмерной и несравненной милости божией возгоревшееся в сердцах его величества, королевы-матери и вашем, быть может, уже ослабело и погасло».

Во всем, что касается королевы-матери, любившей только деньги, и короля, любившего только женщин, опасения епископа были вполне обоснованными. Но тому, кто хочет знать, что думала на этот счет сама Луиза Савойская, достаточно заглянуть в ее дневник:

«Года 1522, декабрь месяц. По милости духа святого, сын мой и я научаемся распознавать лицемеров всех мастей — белых, черных, серых, чумазных, от коих господь в неизреченной благодати и доброте своей соизволил предостеречь и охранить нас, ибо, ежели только

---

<sup>1</sup> Бальзак, который для своего времени был еще более нескромным рассказчиком, чем наша принцесса, в «Серафите» и «Ламбере» столь же непонятен и мистичен, как и Маргарита в «Письмах к Брисонне».

<sup>2</sup> Луиза Савойская, ее мать.



Иисус Христос не лжец, нет среди людей отродья более зловредного».

Поверяя эти мысли лишь дневнику, Луиза Савойская явно не рассчитывала получить за них отпущение грехов.

Между тем Франциск I, не раздумывая, ввязался в итальянские войны. Хорошо известно, как он стал пленником в безумный день битвы при Павии \*. В этом сражении герцог Алансонский вел себя крайне нелепо; оно оказалось для него последним. Месяц спустя он скончался, и тридцатитрехлетней Маргарите пришлось надеть вдовью наколку.

Всеми своими помыслами она теперь рядом с братом, который становится ей тем дороже, чем больше несчастий обрушивается на него. Она отправляет ему «Послания апостола Павла, переведенные на французский язык». Но пленник Карла V не из тех, кто способен почерпнуть утешение в евангелии.

В своих письмах Маргарита выказывает пламенную преданность брату:

«Что бы ни случилось, пусть даже тело мое будет сожжено и пепел развеян по ветру, никакая жертва ради вас не покажется мне чрезмерной, тягостной и страшной, а, напротив, будет достоюлжной, сладостной и почетной»<sup>1</sup>.

Наконец Маргарита не выдержала. Получив неограниченные полномочия от своей матери-регентши, она отплыла из Эг-Морт, высадилась в Барселоне и приехала в Мадрид обнять брата, который объявил ей, что он бы пропал без нее.

---

<sup>1</sup> Наспех и невнимательно прочитав письма Маргариты к брату, Мишле усмотрел в них то же, что видел повсюду. Это балованное дитя исторической науки то вздыхает, хнычет и пускает слезу, то принимается топтать ногами, царапаться и кусаться. Все, что он говорит о Маргарите («Reforme», p. 175), представляет собою лишь старческий бред, *aegri somnia*. Г-н Феликс Франк, научивший нас восхищаться Мишле — пророком и ясновидцем, не дался в обман Мишле-морману, болезненному и нескромному. Он восстановил истинный характер отношений брата и сестры. Я отсылаю читателя к превосходной, исполненной эрудиции и чувства статье, которую он предположил изданным им «Перлам Перла принцесс».

Любовь Маргариты не исчерпывалась сестринскими ласками. Наша принцесса принялась действовать, совещаться, вести переговоры. Сила ее была в добросердечии и прямотушии. Она сама говорила: «Я — женщина, которая, как вам известно, всегда идет всем навстречу». Но скрытный император сумел устоять перед ее благородными чарами. Она уехала из Толедо, ничего не добившись.

Ошибочно полагая, что Маргарита увозит с собой отречение короля от престола в пользу дофина \*, Карл V решил задержать ее, если она не успеет пересечь границу, прежде чем окончится действие охранной грамоты. Маргарита добралась до Сальса во французских владениях за час до истечения срока.

Двор Маргариты был открыт для ученых, для людей выдающегося ума. Среди них находился и Клеман Маро \*. Этот отпрыск нормандцев, смешавшихся с гасконцами, красобай и распутник, приятный поэт и тщеславнейший из людей, с 1524 года получает место при дворе госпожи Маргариты.

Суть в том, чтобы нащупать место, —

воскликает он по этому поводу в одной из баллад, которые так ему удавались.

Раненный выстрелом из аркебузы в битве при Павии, хромой, нищий, он вернулся во Францию и очутился в самом плачевном положении. Он явился к своей прежней возлюбленной, которую именует в стихах Дианой, но сделал это себе на беду. Изменница закрыла перед ним двери своего дома и донесла на него как на еретика. Гонения на реформатов, которые во время пребывания короля в плену начала регентша, чтобы этой ценой купить поддержку папы, становились все более жестокими. Запылали первые костры. Маро бросили в Шатле, и он вышел бы оттуда с веревкой на шее прямо на Гревскую площадь, если бы Маргарита не вызволила его через посредство епископа шартрского Луи Гайяра, одного из своих друзей, который, сделав вид, что сажает Маро в тюрьму, поселил его в светлом, окружен-

ном садом домике. Там Маро спокойно прожил весь великий пост, а на пасху был без лишнего шума освобожден. Именно в это время он превозносит Перл принцесс с особенно пылким восторгом, подогревавшимся как чувством признательности, так и красотой Маргариты. Он объявляет ее своей дамой и госпожой:

Как раб, я предан госпоже, чья плоть  
Стыдлива, непорочна и прекрасна;  
В чьем сердце постоянство побороть  
Ни радости, ни горести не властны;  
С чьим разуменьем ангельским напрасно  
Соперничать бы тщился ум людей.  
На свете нет чудовища странней:  
Такому слову не дивитесь вчуже,  
Затем, что тело женщины у ней,  
Но разум ангела и сердце мужа

Он служил своей даме честно и пристойно и воспел это служение в прелестном рондо:

Изыянов нет у той, кто ни с одною  
Из женщин не сравнима красотой,  
Кто блещет благородством и умом,  
Чье имя схоже с перлом и цветком  
И знаменует царственность собою.

Луcreция с моею госпожою  
Соперничать не может чистотою,  
Чей символ — дух принцессы, ибо в нем  
Изыянов нет.

Не потому я славлю всей душою  
Ту даму, чьим я сделался слугою,  
Что состоять хочу при ней льстецом.  
Ведь каждый может убедиться в том,  
Что только в ней, столь чтимой всей землею,  
Изыянов нет.

Маргарита владела стихом. Она сочиняла рифмованные мистерии и фарсы в манере Алена Шартье и Эсташа Дешана, уже тогда несколько устарелой. Она усиленно прибегала к аллегории, излюбленной во времена ее бабушки: в ее пьесах разглагольствуют Добро-

---

<sup>1</sup> Стихи Маро напоминают те, которые Лафонтен сложил в честь г-жи де Ласаблиер, чей разум, по словам баснописца, соединял в себе

Красу мужскую с грациею женской.

(Прим. автора.)

детели и Пороки. Но у нее бесспорно был поэтический дар, и порою ей удавалось с очаровательной непринужденностью выразить переживания своей высокой души.

Песня, которую она сложила, «следуя в носилках, во время болезни короля», исполнена подлинной страстности:

Тот будет принят мной, как друг,  
И удостоен встречи лестной,  
Кто скажет мне: «Избыл недуг  
Король по милости небесной».  
Мной, истомленной мукой крестной,  
В объятия будет заключен  
Гонец, к сестре спешивший честно  
С известием, что брат спасен <sup>1</sup>.

Маро не преминул с похвалой отозваться о стихах своей дамы. По его словам, послушав, как она говорит, уже не удивляешься тому, что она так хорошо пишет:

Настолько дивный дар стихосложения  
Дан грациями госпоже моей,  
Что я сержусь, дивясь ему при чтенье,  
На то, что не дивлюсь еще сильней.  
Когда же я, ведя беседу с ней,  
Вновь на ее творенья брошу взгляд,  
Дивлюсь я неразумью тех людей,  
Кого плоды ее пера дивят.

Учитывая Маргарита ответила похвалой на похвалу. Когда Клеман сочинил десятистишие в честь Элен Турнон, придворной дамы принцессы и женщины по части рифм такой же безгласной, как рыбы — спутницы Венеры, добрая Маргарита сама взялась за перо и ответила, что на свете нет награды, достойной стихов поэта:

На вес мы можем золото ценить,  
Но вас нельзя достойно наградить  
За ваше несравненное искусство.

---

<sup>1</sup> Стихотворения Маргариты, собранные ее секретарем Симоном де Лаэ, были напечатаны в 1547 г. в Лионе под заглавием «Перлы Перла принцесс, достославной королевы Наваррской». Современному изданию их, осуществленному г-ном Феликсом Франком, предпослана вышеназванная мной статья. Я упоминаю о ней вторично потому, что, на мой взгляд, издатель, сам поэт, сумел глубоко почувствовать поэтический талант Маргариты.

Слова, достойные принцессы! Они напоминают о той, жившей в более отдаленное время наследнице французского престола, которая, увидев в одной из дворцовых галерей уснувшего поэта Алена Шартье, поцеловала уста \*, умевшие так красно говорить.

Читатель спросит, не привел ли этот галантный обмен любезностями к более серьезным последствиям, не сложились ли у вдовы герцога Алансонского интимные отношения с чуточку распущенным и болтливым поэтом? Нет. Мы ведь знаем, как поступала эта благородная дама, когда ей чересчур докучали ухаживаниями. Она не сердилась, но говорила «нет», и ни угрозы, ни рыдания не могли поколебать этого «отказа с нежною улыбкой».

Она сумела своевременно отбить куда более решительный натиск. Одной прекрасной ночью адмирал Бонниве, в вышитом ночном колпаке и в сорочке с парчовой отделкой, пробрался по потайной лестнице в спальню Маргариты и скользнул к ней под одеяло. Она мгновенно проснулась и сочла своим долгом пустить в ход кулаки, зубы и ногти, а так как принцесса была женщина сильная и к тому же ее статс-дама, особа пожилая и умудренная опытом, в одной рубашке прибежала на крики своей госпожи, любезнику-адмиралу пришлось отказаться от своей попытки и удрать по той же потайной лестнице. Вернувшись к себе, он зажег свечу на столе, посмотрелся в зеркало и увидел на своем лице такие царапины, которые обрекали его на двухнедельное затворничество. Мы видим, что, идя на абордаж, адмирал проявил немалую отвагу: это приключение стоило бы ему головы, пророни госпожа Маргарита хоть слово. Но она не сказала ни слова, и это окончательно делает ее симпатичной в наших глазах.

В начавшихся тогда религиозных распрях на долю человеколюбивой Маргариты выпала роль примирительницы.

Она склонялась на сторону Реформации, возглавлявшейся самыми положительными, просвещенными и разумными людьми эпохи. Однако она никогда не

порывала с папством, стремясь не уничтожить его, а исправить.

Сердце ее жаждало такой реформы, которая примирила бы папу с Лютером. Увы! Маргарита была слишком умна, чтобы надеяться на столь желанное для нее всеобщее согласие. Поэтому она старалась хотя бы предоставлять убежище гонимым и спасти реформатов от тюрьмы и костра. Она не пожалела усилий, чтобы сохранить жизнь Доле и Беркену \*, но все ее попытки оказались тщетными.

Однажды ей все-таки удалось на время вырвать Беркена из лап парламента. Совершив это доброе дело, она пишет коннетаблю Анн де Монморанси:

«Сын мой, после письма, доставленного вашим гонцом, получила я еще одно — от орлеанского бальи, и признательна вам за все, что вы сделали для бедного Беркена, о котором я пекусь, как о самой себе; потому считайте, что вызволили из тюрьмы не его, а меня, ибо услуга, оказанная ему, — все равно, что услуга мне».

Во время пребывания короля в плену серьезным преследованиям подвергся Лефевр д'Этапль (или Фабри, как его называли при ее дворе). Маргарита упростила брата написать парламенту, чтобы достойного старца оставили в покое.

Немного позже она пишет Анн де Монморанси:

«Добрый Фабри извещает меня, что ему плохо живется в Блуа, где ему сильно докучают, и что здоровья своего ради он охотно поехал бы навестить одного друга, ежели король соизволит отпустить его. Он привел в порядок библиотеку, сделал оценку всем книгам и внес ее в опись, каковую представит тому, кого королю угодно будет для сего назначить».

Поездка к «одному другу» была просто уловкой. Лефевр отправился в Нерак, где мирно окончил свои дни.

Маргарита вступилась за Эразма, когда сорбоннские схоласты затеяли процесс против этого мудрого и ученого человека. Шарль де Сент-Март, которого в Гренобле хотели сжечь как еретика, нашел у нее в Алансоне любезный прием и обильный стол.

«Она настоятельно просила Бордосский суд освободить некоего Андрея Меланхтона<sup>1</sup>, обвиненного в ереси и содержавшегося под стражей при дворце юстиции»<sup>2</sup>.

Можно было бы называть без конца имена жертв, вырванных ею у палачей.

Брат задумал выдать ее за Генриха VIII Английского, который в то время бесстыдно торговался с Римом, добиваясь расторжения своего брака \*. Страшно подумать, какую жизнь пришлось бы вести кроткой и мудрой Маргарите подле этого тучного и жестокого педанта. Однако место брошенной Екатерины заняла долговязая англичанка Анна Болейн. Маргарита же, избегнув столь страшной участи, 24 июля 1527 года обвенчалась с Генрихом II д'Альбре, королем бедной и маленькой Наварры. Этот брак, как и первый, был навязан ей из государственных соображений. Она уже достигла тогда тридцати пяти лет. Второй муж был моложе Маргариты, в отличие от первого, который намного превосходил ее годами. Она превратила свое маленькое королевство в прибежище для гонимых. Деперье, де Лаэ, Дюмулен, Бродо, Грюже, Ле Масон, Денизо, Пельтье, Лефевр д'Этапль, Леконт, д'Аранд, Гуссен находили в Нераке почетный и гостеприимный кров. Маргариту обвиняли в том, что она мыслит так же, как те, кому покровительствует. И эти обвинения были не лишены оснований. Ноэль Бэда, синдик богословского факультета, представил на суд последнего сборник стихов королевы Наваррской под заглавием «Зерцало грешной души». Сочинительница не говорила в нем ни о святых, ни о чистилище; из этого следовало, что она и сама не верит ни в первых, ни во второе. В качестве адвоката Маргариты выступил Гильом Пти, епископ санлисский, и она была оправдана назло правоверному синдикю. Тогда все тот же Бэда подбил ректора Наваррского коллежа разыграть со своими учениками моралите, в котором некая женщина, бросив прялку,

---

<sup>1</sup> Племянник знаменитого реформатора.

<sup>2</sup> Флоримон де Ремон.

получает из рук фурии мерзостную книгу — евангелие, переведенное на французский язык. Но Бэда перестался: Франциск I доказал ему это, сослав его в монастырь Архангела Михаила, где синдик и умер. Королю вообще часто жаловались на сестру. Однажды Анн де Монморанси, тот самый, кого Маргарита называла «сын мой», беседуя с королем об успехах ереси, «не побоялся и не постыдился сказать ему, что ежели он желает искоренить еретиков в королевстве, то начать ему надлежит с двора и со своих близких, и назвал при сем королеву, его сестру.

На что король ответил:

— Не будем говорить о ней. Она слишком любит меня, чтоб обратиться в веру, отличную от моей или способную повредить моему государству»<sup>1</sup>.

Король Наваррский, человек добрый, но неотесанный и грубый, донимал Маргариту упреками за приверженность к Реформации. Однажды в ее покоях была устроена проповедь; «король ворвался туда, намереваясь покарать священника, но, поелику последнего успели удалить, он излил свой гнев на супругу и дал ей пощечину, воскликнув: «Слишком много вы знать хотите, сударыня!»<sup>2</sup>

И тем не менее при неракском дворе еще сильнее, чем прежде, пахло ересью. Там ставились фарсы во вкусе Маргариты, — не слишком лестные для папизма.

Представим себе королеву Наваррскую среди ее маленького неракского двора. На ней беарнский чепец и черное платье, которого она не снимает после смерти своего сына Жана. Она состарилась, утратила красоту, но сохранила прежнее обаяние. Ее крупный рот улыбается по-прежнему кротко, когда она, покончив с делами и взяв в руки какое-нибудь шитье, беседует с учеными людьми или рассказывает забавные истории о монахах.

Последуем за нею в отдаленный покой, где она поверяет бумаге свои глубоко скорбные мысли. Там, в оди-

---

<sup>1</sup> Брантом.

<sup>2</sup> Теодор де Без.



ночестве, ей вспоминаются знакомые с детства слова Данте:

...Nessum maggior dolore  
Che ricordarsi del tempo felice  
Nella miseria...

И она переводит своим бесхитростным слогом:

Нет горше муки, чем воспоминанье  
О днях былого счастья в дни страданья.  
Об этом встарь у Данте я прочла  
И согласилась с ним, когда прошла  
Сама через блаженство п терзанья.

Печальное и трогательное признание! Оно еще задолго до этих стихов вырвалось у нее в одном из писем: «Я вынесла нечто большее, чем груз тоски, лежащий на каждую благородную душу».

Да, она в полном смысле слова благородная душа, рожденная для самой чистой скорби для того, чтобы страдать вместе со всем страждущим человечеством, душа, всегда привносившая в битву жизни лишь бальзам и елей, душа мирная, кроткая и высокая, постоянная в привязанностях и не щадившая себя, когда речь шла о благе друзей! Не могу не отнести к ней те прекрасные слова, которые говорит у Софокла Антигона. Несколькo греческих слов не спугнут тень нашей ученой принцессы.

Οὐτοι δυνέχθαι ἀλλὰ συμπιεῖν ἔψον

Добродетельная Маргарита любила веселую беседу и охотно потешалась над похождениями рясоносных юбочников. Что касается острологии и шуток, она, как выражается Брантом, «знала в этом толк». Ей бесконечно нравился Боккаччо. Антуан Ле Масон, ее секретарь, посвятил ей свой перевод «Декамерона», опубликованный в 1545 году. Эта книга привела в восторг весь двор.

Маргарита говорит устами некоей вымышленной дамы:

«Думается мне, что нет меж вами никого, кто не прочел бы «Сто новелл» Боккаччо, кои недавно переве-

<sup>1</sup> Я рождена любить, не ненавидеть \* (греч.).

дены с итальянского на французский язык и так высоко ценятся королем, монсеньером дофином, супругой его \*, а равно и госпожой Маргаритой, что ежели бы Боккаччо услышал их там, где он ныне пребывает, то похвала таких людей воскресила бы его».

Она сама сочиняла рассказы, «разъезжая по стране в носилках, ибо, вернувшись, уже не могла этим заниматься, будучи обременена множеством важных дел»<sup>1</sup>.

В этих рассказах она стремилась подражать Боккаччо за одним лишь исключением: она «не писала ничего, кроме того, что было на самом деле». Она вывела в них под вымышленными именами отца, мать, брата, мужа и самое себя, не умолчав ни об истории с Бонниве и потайной лестницей, ни о царапинах, которыми она разукрасила адмирала.

Эти новеллы, написанные простым и сочным языком, должны были, как и «Декамерон» Боккаччо, упасть на десять «дней». Она успела завершить только семь из них, когда ее настигла смерть. Лучшая из принцесс скончалась 21 декабря 1549 года в своем замке Одо в Бигорре, оставив единственную дочь Жанну, будущую мать Генриха IV.

---

<sup>1</sup> Брантом.

## ПОЛЬ СКАРРОН

Семья Скарронов была родом из Пьемонта. В XIII веке некий Луи Скаррон основал в Монкалье часовню, в которой триста лет спустя еще находилась его мраморная гробница, украшенная фамильным гербом. В XVI веке некоторые отпрыски этой семьи переехали в Лион и занялись там торговлей. Некто Клод Скаррон, «купец из города Лиона», скончался в Париже «в доме башмачника, что на мосту Сен-Мишель, в понедельник, августа четырнадцатого дня 1595 года». Став парижанами, Скарроны вступили в судейское сословие. При Генрихе IV среди них было восемь советников парламента.

Поль Скаррон был в 1598 году принят в Парижский парламент и заседал там в звании советника Главной палаты. Пьер, его дядя, был епископом гренобльский. Его двоюродная сестра Екатерина вышла замуж за герцога Антуана Омонского.

Под квадратной судейской шапочкой Поля Скаррона таился живой ум. Он был одним из тех незаурядных политических деятелей, тех блюстителей королевского достоинства, тех отцов государства, которые никогда ничего не уступали из своих прерогатив и, в стремлении как можно полнее представлять Генеральные штаты, пытались заменить их собою. На похоронах

Генриха IV \* Поль Скаррон был одним из тех, кто наиболее рьяно оспаривал притязания епископов, которых граф Суассонский поместил в траурной процессии непосредственно за погребальной колесницей. Судейские тщетно домогались этой чести. Поэтому они на всем пути преобладающе толкали духовных сановников. В частности, советник Скаррон весьма неделикатно наступал на пятки князьям церкви и был задержан городской стражей.

Столь суровый в своей мантии с горностаями, он в кругу семьи был добродушен. Незадолго до поступления в парламент он женился на девице Габриели Гоге; от этого брака родились сначала три дочери — Мария, Анна и Франсуаза, а затем три сына: Пьер, Жан и Поль. Этот последний, появившийся на свет в апреле 1607 года, не дожил до лета. Но 4 июля 1610 года был окрещен другой ребенок, рожденный в том же браке; воспитателями были Александр д'Эльбен, командир отряда численностью в пятьдесят человек, он же старший дворецкий королевы, и Мария д'Алигр, супруга Филиппа де Бетюн, воспитателя старшего из братьев короля. Маленького христианина назвали Полем в память того, кого он заменил. И когда мать грустила о том, умершем младенце, Поль мог бы, как некогда другое невинное дитя, уж не помню какое, сказать: «Я и есть мой братец». Этому младенцу суждено было выжить. Ему была уготована весьма странная судьба.

Габриель Гоге родила еще одного — последнего ребенка, названного, как и его мать, именем ангела, принесшего благую весть, а затем жизнь, которую бедняжка дарилась восемь раз, отлетела от нее. Она умерла 10 сентября 1613 года. На другой день тело ее было перенесено в церковь св. Сульпиция.

Место усопшей в постели и за столом пустовало в течение четырех лет. Затем, 2 апреля 1618 года, советник Скаррон вступил во второй брак с Франсуазой де Пле, с которой прижил дочь, нареченную Марией, в память умершей во младенчестве дочери от первого брака, и позднее еще двух дочерей — Мадлену и Клод.

Почтенный советник был недоволен тем оборотом, который постепенно принимали государственные дела.

Потребность рассуждать, не находившая удовлетворения, душила его. С господами, заседавшими в парламенте, кардинал Ришелье обращался неизменно сурово и лишал их всякой возможности творить как зло, так и добро. При первой же попытке сопротивления он вызвал их в полном составе в Лувр и заставил стоять на коленях, пока его секретарь раздирал в клочья одно из их постановлений и вписывал в их собственный реестр вынесенное всем им порицание. Претерпев такое унижение, парламент стал сговорчивее. Но в недрах его пылало пламя свободы, и сотоварищи Скаррона никогда не упускали случая досадить кардиналу.

Так, парламент в продолжение полутора лет упорно отказывался зарегистрировать королевские эдикты об учреждении Французской Академии. Советник Скаррон особенно рьяно противился этому королевскому требованию. Он был унижен и взбешен. Определять положение протестантов, отстаивать вольности парижан, делать представления королю — эти задачи он считал достойными сената Лютеции; \* но утверждать положение о собрании сорока острословов — тьфу, пропасть! Для таких ли пустяков советникам дано право облачаться в мантии с горностаем? Кардинал — сущий Домициан, это советник Скаррон объявлял каждому встречному. «Все это, — восклицал он, — живо напоминает нам императора, который, отняв у сената право вершить дела государственные, запросил его мнение о том, под каким соусом подать большого палтуса, присланного ему из дальних краев».

Он неистовствовал, а дети бедняжки Габриели, уже повзрослевшие, весьма не ладили с мачехой; необычайно изобретательная по части всяких придинок, она постоянно изводила их. Разумеется, все — и большие и малые — могли бы жить в свое удовольствие в доме советника, располагавшего годовым доходом в двадцать тысяч ливров. Но г-жа де Пле не могла без ярости видеть, что дети от первой жены разделяют трапезу ее детей.

Поль, мальчик веселый, покладистый и добросердечный, сильно тяготился всем этим. Слегка сумасбродный по природе, он был бы приятнейшим домочадцем, если б

только с ним обращались ласково; но ласки он не видел и, будучи весьма смышлен, досаждал г-же де Пле, где и как только мог. Наделенный любящей душой, он, однако, не питал нежности к женщине, так плохо заменившей ему мать. А возмужав, Поль, хоть и не слишком озабоченный своим благосостоянием, стал, однако же, с неудовольствием замечать, что мачеха не скучится на происки и всевозможные ухищрения, только бы добиться для своих детей преимуществ перед детьми от первого брака. Тот, кто стойко сопротивлялся кардиналу Ришелье, не способен был сопротивляться г-же Франсуазе. Как бы строптив человек ни был в общественной жизни, у домашнего очага он хочет мира; на склоне лет, когда борода у вас седая, так приятно проводить вечера в глубоком кресле, поставив ноги на решетку камина! А если вдобавок г-жа Франсуаза, приветливая и ненавязчивая, подносит вам стакан горячего вина, приправленного благоуханным толченым мускатом, если, со связкой ключей у пояса, она, умелая хозяйка, бесшумно управляет домом, соблюдая порядок и бережливость, всюду поспевая, неусыпно, неслышно надзирая за всем — за вещами, людьми, животными; если вдобавок она миловидна и таровата — то не следует ли улыбаться ей, предоставить действовать по своему усмотрению, выслушивать ее жалобы и становиться на ее сторону? Угодать ей — значит угождать самому себе. Выгнать из дому сына, если она об этом просит, не так уж трудно. Дети неблагодарны, они не выказывают уважения, распутничают. Ночи они проводят на балах, дни — в игорных притонах.

Поль был изгнан из отчего дома. Старый хрыч послал его не ко всем чертям, а в Шарлевиль, к родственнику. Нашел ли там Поль общество по своему вкусу? Весьма вероятно, что Арденны показали ему не в меру дикими. После двух лет изгнания ему дозволено было вернуться, под условием, что он раскается, исправится и станет аббатом. Он согласился. Это ни к чему не обязывало и давало возможность, в случае удачи, получить приход. Поль Скаррон был близок к тому, чтобы стать альковным аббатом. Эта разновидность только начинала появляться.

Несколько позже (около 1634 г.) Поль Скаррон, получив от отца — не слишком скаредного, несмотря на преклонный возраст, — довольно увесистый кошелек, отправился в Рим. В те времена на такие странствия отваживались редко, и не один путник застревал уже в Лионе. В городе пап, где куртизанок было видимо-невидимо, юному аббату жилось пресвесело. Разумеется, он уделил много внимания Колизею, триумфальным аркам, собору св. Петра, чудесам античности и Возрождения. Он любил искусства и наслаждался созерцанием прекрасного, но природная склонность подстрекала его к насмешкам и зубоскальству. В одном из предместий Рима он встретил человека на несколько лет старше его самого, серьезного, скромного, сдержанного, поражавшего своим дарованием и простотой. То был Никола Пуссен, уже тогда — гордость французской живописи. Аббат, знавший толк в живописи и сам занимавшийся ею в часы досуга, стал, не без навязчивости и упорства, приятелем этого застенчивого человека, который жил с молодой женой в уединении и усердно работал. Взор Пуссена любовно останавливался на прекрасной линии горизонта, на благородном профиле какого-нибудь здания, на четких контурах группы женщин и детей в поле. Он видел красоту вещей. У Скаррона был иной вкус: его привлекали сценки, разыгрывавшиеся в кабаках, драки грузчиков, грубые удовольствия, грубые ссоры простонародья. Он умел схватывать жизнь в ее низменных и уродливых проявлениях. В конце концов он распрощался с Римом и Пуссеном и, полный юношеских сил, снова появился в Париже.

Статный, с приятными чертами лица, наделенный гибкостью ума и физической ловкостью, доброжелательный, общительный, бескорыстный, он повсюду был желанным гостем и своим веселым нравом восхищал общество, собиравшееся в Марэ.

Марэ, часть города, совсем недавно возникшая на пустырях, где прежде были одни огороды, стал самым модным местом Парижа. Светские люди жили там в особняках с кирпичными фасадами и прогуливались под невысокими арками Королевской площади.

В Марэ молодой Скаррон расхаживал в шляпе с перьями и ботфортах с широчайшими раструбами, словно щеголь-маркиз. Свой аббатский воротничок он оставил в Риме или где-нибудь в пути. Он участвовал в балетах, играл на лютне не хуже Сент-Амана или г-на де Ланкло, дочь которого приобрела такую громкую известность \*. Красивым женщинам он рисовал их портреты-миниатюры и пил, точно немец. Талантов — хоть отбавляй! Он бывал в будуарах знатных дам, словом, без оглядки жил жизнью молодого человека того времени — времени плаща, лютни и шпаги. Некое нежное создание, по имени Селеста Палезо, пленилась столь изощренным умом и столь привлекательной внешностью; она горячо его полюбила и рассталась с ним, только когда решила уйти в монастырь.

Ему минуло двадцать семь лет, и у него не было ни малейшего желания остепениться, как вдруг он заболел — сперва лихорадкой, принудившей его долго просидеть дома, а затем — ревматизмом во всем теле. Когда, спустя несколько недель, Скаррон смог переставлять ноги, он, думая, что движение ему полезно, пошел, опираясь на палку, к обедне в церковь св. Иоанна на Гревской площади. Ковыляя по рынку, он встретил знакомого врача, пользовавшего г-жу де Сабле. После взаимных приветствий врач учтиво осведомился о его здоровье. Скаррон подробно рассказал ему о своей болезни. «Завтра утром, — заявил врач, — я вам пришлю готовое к употреблению лекарство, и можете быть уверены, оно излечит вас так быстро и основательно, что через два дня вы будете совершенно здоровы».

Действительно, на другой день Скаррон получил снадобье, которое сразу же выпил. Но спустя несколько дней у него начались невыносимые боли; ему казалось, что все мышцы охвачены огнем. Жесточайшая судорога свела ему все члены. Его разбил паралич; не отнялись только руки. У него вмиг искривились шея и поясница, ноги скрючились и стали сохнуть. Как водится, во всем обвинили медицину. Молодого врача, прописавшего лекарство, называли аптекарем самого дьявола, отравителем народа. Весьма вероятно, однако, что медицинский факультет не имел никакого отношения к этому яду,



если то был яд. Что же явилось причиной болезни Скаррона? Во всяком случае, утверждает Таллеман, он заполучил ее не при изучении схоластической философии. Возможно, Скаррон и сам не знал, откуда взялся этот роковой подарок.

Тем временем советник, его отец, окончательно рассорился с Ришелье по случаю создания новых должностей, которые он и его сотоварищи Лене, Бито и Сало наотрез отказались утвердить. По этому поводу он столь неумеренно цитировал апостола Павла, что его с тех пор называли не иначе как апостолом. Кардинал изгнал апостола и отрешил его от должности. Г-жа де Пле, оставшаяся в Париже, стала полновластно распоряжаться имуществом мужа, и аббат Скаррон был скорее рассержен, чем удивлен, когда вследствие этой перемены выплата положенного ему отцом содержания прекратилась.

Печалась о судьбе опального отца и став, под влиянием болезни, поэтом, Скаррон послал кардиналу Ришелье прошение в стихах. Оно было остроумно и заканчивалось следующими строками:

Париж. Октябрь. Написано Скарроном,  
Он стал скромней, чем был во время оно,  
А год отмечен тем, что пал Седан  
И сдался знаменитый Перпиньян <sup>1</sup>\*

Кардинал нашел датировку прошения забавной — и больше не вспоминал о нем.

Советник скончался в Туре 4 декабря 1642 года. Хуже всего было то, что он не оставил детям наследства. Его двадцать тысяч ливров годового дохода лопнули, и несчастному аббату Скаррону, пригвожденному к своему кресту, пришлось в довершение всех бедствий судиться с мачехой, г-жой де Пле, вполне оправдывавшей свою фамилию \* и самой заядлой сутягой в мире. Она была, как говорит некий персонаж, в самом подходящем для сутяжничества возрасте. Иск, который она предъявила детям своего покойного мужа,

---

<sup>1</sup> Все стихи в статье «Поль Скаррон» переведены Э. Лицейкой.

был тщательно обдуман и, по выражению судьи Дандена \*, изложен в совершенстве. Постановления суда, возражения сторон, дознания, заключения экспертов, осмотры на местах, представление документов, ходатайства о дополнении следствия — ничто не было опущено. От восхода до захода солнца Поля Скаррона, что ни день, осаждал судебный пристав с жезлом, вручавший ему вызов в суд, — а Скаррон в качестве ответчика послал в суд прошение в бурлескном стиле; \* судьей оно позабавило, но они его отклонили, и Скаррон имел удовольствие проиграть тяжбу. Больной, как Иов, и такой же нищий, он должен был вдобавок содержать своих сестер Анну и Франсуазу; обе они не имели никаких средств к жизни. Одна из них любила вино, другая — мужчин. Ни та, ни другая не была замужем. В доме пищал новорожденный. Скаррон во всеулышание называл его своим племянником и, если кто-нибудь выражал удивление, пояснял: «Он мне сродни по кварталу Марэ». Говорили, что Франсуаза родила его от герцога Тремского. Люди благожелательные уверяли, что Франсуаза тайно обвенчана с этим сиятельным лицом. Мне это неизвестно; но Франсуаза слыла умной и приятной в обращении. Сомёз причисляет ее к «жеманницам» \*. У нее была собачка по прозвищу Гийеметта. Скаррон написал бурлескное послание Гийеметте, «сучке моей сестры», — а затем предложил счесть это опечаткой и читать: «Сучке, моей сестре».

Тогда он жил на улице Двенадцати ворот, которую очень любил, не потому, что она была такая же искривленная, как он сам, а потому, что совсем неподалеку была Королевская площадь. Красоткам, которые с веерами в руках и зеркальцами у пояса прогуливались под арками на глазах у светских щеголей, рукой подать было до дома, в третьем этаже которого обитал несчастный калека. В этом уголке Марэ можно было под вечер встретить девиц весьма гостеприимных. Скаррон острил: «На улице Двенадцати ворот двенадцать потаскушек, считая обеих моих сестер за одну». Он прибавлял со вздохом, что они не умеют заставить своих посетителей раскошелиться. Пока что он их кормил и пришел бы в ярость, если кто-нибудь поверил хоть одному

слову из всего того, что он говорил о них. Он с радостью кормил бы еще многих других.

Селеста Палезо, бывшая возлюбленная Скаррона, жила вдали от мирской суеты, в монастыре Непорочного Зачатия. Монастырь разорился, и Селеста однажды утром очутилась на улице, в монашеском чепце и с узелком в руках. Тут она вспомнила изящного кавалера, некогда любимого ею, а теперь оставшегося без рук и без ног. Он радушно принял Селесту, а заодно и монахиню, пришедшую вместе с ней и не желавшую с ней расстаться. Он желал добра себе и другим. Чтобы сделать жизнь приятной для окружающих, совсем не нужно быть суровым к самому себе; остерегайтесь тех, кто сам себя истязает: они нечаянно и вас изуечат. Поль Скаррон был добряк и охотно разделял свою трапезу с другими. Он старался извлечь как можно больше радостей из того обстоятельства, что у него хоть желудок остался невредим. «Я пользуюсь тем немногим, что у меня уцелело», — говорил он, смакуя лакомые блюда. Подобно Панургу, он пристрастился к еде. Заботу о своей утробе он возложил на свой мозг и, чтобы не оставаться без обеда, стал поэтом, рифмующим на заказ, поэтом на случай. Но по крайней мере этим ремеслом он занимался умно. У него был поэтический дар, он владел искусством изящно писать о самых низменных предметах, и, наконец, у него была муза, резвая курносенькая муза. И он это хорошо знал. Больше всего он зарабатывал на «посвящениях». Он восхвалял тех, кто ему благотворительствовал, и щедро титуловал «монсеньерами» глупцов, если они ему оказывали поддержку. Так поступали в то время «замызганные» поэты, и Скаррон, хоть и безногий, вошел в их братство. Откупщик Монторон выложил десять тысяч ливров за то, что Пьер Корнель сравнил его с императором Августом! Все эти Фаре, Кольте, Сент-Аманы обычно бедствовали. Не каждый день поворачивался для них вертел харчевни; нужно было быть аббатом, как Фюретьер, Коттен или Скаррон, чтобы получить церковный приход. Тому, кто не был духовным лицом, представлялась только одна возможность: стать прислужником какого-нибудь вельможи. Сказал ведь герцог де Лонгвиль:

«Я оставляю за собой господина Шаплена». А Шаплен как поэт был в большом почете. Сколько других просиживали штаны на ларях в прихожих знати — и никто их не нанимал! Поэт Сарразен, близкий друг Скаррона, остроумный и умевший в случае надобности корчить смешные рожи, всячески забавлял принца де Конти, заменяя ему мартышку. Однажды принц ударил свою мартышку \* серебряными каминными щипцами — и уложил на месте. Этих поэтов упрекали в отсутствии гордости. Но какая уж тут гордость, когда умираешь с голоду? Звезда Поля Скаррона, маленькая тусклая звездочка, сделала его бурлескным поэтом. Тот из смертных, у кого меньше всех было причин смеяться, умел, как никто, смешить других. Его веселость в сочетании с несчастьями была для публики редкостным зрелищем. Поля Скаррона знали все. О нем говорили: «Вы его видели? Он обезножил и весь иссох. У него нет бедер». — «В самом деле?» — «Его в каком-то футляре ставят на стол, и он трещит без умолку, как сорока». — «Да что вы!» — «Его шляпа прикреплена к веревке, продетой в блок; он дергает эту веревку, то подымает ее, то опускает — так он приветствует своих гостей». — «Чудеса, да и только!» И люди показывали друг другу рисунок, где он был изображен со спины в деревянной квашне, водруженной на стол.

На самом деле голова Скаррона скрадывала его уродство. Эта голова с огромными сверкающими голубыми глазами была еще довольно благообразна. Болель в какой-то мере пощадила ее. То была голова умнейшего человека. Но тело было ужасающе изуродовано и совершенно парализовано. Он уже не владел руками, не мог отогнать муху, севшую ему на нос. Его страдания были невыносимы. Малейшее прикосновение заставляло его кричать от боли; он не мог уснуть без опиума — и был при всем том самый веселый человек во всем королевстве. Но временами, изнемогая от боли, жестоко страдая от своего уродства, он вспоминал дни молодости, когда он играл на лютне и танцевал в балетах, — и тогда его обуревало отчаяние. Как-то он сказал г-ну де Мариньи: «Ах! Если б мне можно было покончить с собой, я давно бы уже отравился!» У него бывали та-

кие приступы тоски; затем он придумывал какую-нибудь забавную штуку — и снова хохотал.

Посетив его, Гез де Бальзак писал г-ну Костару: «Болезнь не ранит его, а только щекочет. Я считаю, что он красноречиво опровергает утверждение о малодушии рода человеческого». И впрямь, еще не было случая, чтобы несокрушимый дух плясал сарабанду и матассины в парализованном теле!

В те времена в Мансе был епископ, исполненный благоволения к ближнему и к самому себе. По особой милости провидения, он управлял той епархией Франции, где водятся самые крупные, самые нежные и самые жирные каплуны. Он не желал смерти грешников; он любил поэтов, умевших пользоваться жизнью, и читал их стихи, если они были забавны. Епископ очень ценил хороший стол и был чрезвычайно разборчив в еде: телята откармливались для него на заливных лугах, куропатки присылались ему из Оверни, кролики — из Ларош-Гюйон или из Версина. Так же требователен он был и по части фруктов. В отношении вин он признавал только три марки: Аи, Го-Вилье и Аверне. Таков был епископ де Лаварден, вместе с графом д'Олонн и маркизом де Буа-Дофен образовавший «Орден трех виноградников». По всему своему складу г-н де Лаварден должен был проникнуться жалостью к несчастному Скаррону, которого бедность лишала возможности вкусно поесть; он пожаловал калеке приход в Майской епархии. В 1643 году Скаррон не без сожаления решил покинуть улицу Двенадцати ворот, посвятил кварталу Марэ прощальные стихи, бурлескные и душевные, — и был перенесен, словно тюк, в почтовую карету, отправляющуюся в Манс. Он провел там несколько лет, живя, вопреки всем правилам, не в своем приходе, а в доме каноников. Там он и находился в 1644 году, когда издал своего «Тифона» — бурлескную поэму, подражание итальянской «Гигантее» XVI века. В «Тифоне» олимпийцы говорят языком парижского рынка. Это показалось забавным. Калека удачно выбрал момент, чтобы стать бурлескным поэтом. Со времен «Астрии» все старались говорить высоким стилем \*. В особняке Рамбулье, задававшем тон, был введен в

употребление язык весьма изысканный, но совершенно непригодный для людей, живущих в подлунном мире. Некий дворянин, находясь в голубой гостиной на улице св. Фомы Луврского, вызвал всеобщее негодование тем, что произнес слово «овес», считавшееся там неблагородным. Выйдя из себя, дворянин крепко выругался и, как передают, побежал отвести душу к Скаррону. Испанская выпренность вконец испортила поэтов; они стали писать совершенно невразумительно. Все они изъяснялись по-фанфаронски, витиевато и цветисто. В театре влюбленные все были героями, и всякий раз, когда герой вздыхал по принцессе или пастушке, дуновение его вздохов пригибало к земле деревья во всей округе. Прекрасные глаза обязательно именовались светилами.

Так же вычурно говорили и в обществе. Фанфаронская манера выражаться привилась и в салонах. «На мушкетеры я извел куда больше фитилей, чем на свечи», — говорил поэт Жорж де Сюдери, а Сирано де Бержерак похвалялся, будто однажды у Нельских ворот обратил в бегство сто человек. Впоследствии Корнель, на склоне лет вспоминая эти прекрасные дни, вернулся к вкусам своей молодости и двумя строками затмил все.

Как ни страшна чума, что сеет смерть и муки,  
Но любящим сердцам ужасней боль разлуки.

Трудно подолгу говорить в таком стиле; он плохо вяжется с обычным укладом жизни. У Скаррона герои заговорили языком грузчиков. Все вздохнули с облегчением, увидев, что герои наконец обрели здравый смысл.

В ту пору, когда Поль Скаррон писал «неблагородные» поэмы и жил на доходы церкви в стране каплунов, он встретился с некоей особой весьма знатного происхождения, которая впоследствии оказала ему большую помощь.

Мария де Отфор, разлученная с королевой, которой она слишком ревностно служила, жила тогда со своим младшим братом и сестрой д'Эскар в родовом поместье. Прекрасная и мудрая Мария, невинная страдалница, склонила свои чарующие синие очи к немощному поэту. Она почувствовала к нему жалость и проявила участие.

К тому же бурлескные стихи ей не претили, а поэт не скупился на послания к ней.

В бытность Скаррона в Мансе туда приехала прого-ревшая труппа бродячих комедиантов. В каком-то игорном доме зажгли сальные свечи — и начались представления. Труппа наделала в городе немало шума. Все было как полагается: ухаживания за принцессами, затрещины повесам, пирушки, шалости, драки, поцелуи. Калека от души веселился, наблюдая такие сценки, и виденного ему было достаточно, чтобы сделать из этого книгу \*. Он и сам писал для комедиантов — в 1641 году сочинил для Французского театра две пьесы. Он создал тип Жодле \*, он умел обрисовать характер и остро чувствовал комическое. В 1646 году Скаррон покинул дом каноников и возвратился в Париж, куда все его бедствия с неизменным постоянством последовали за ним. Правда, в Париже, как он говорил, у него был «маркизат Кине». Нужно сказать, что Никола Кине, цеховой книготорговец, занимавшийся своим промыслом на паперти св. Капеллы, поблизости от книжной лавки Никола Барбена, продавал сочинения Скаррона. Но доходы от этого литературного маркизата были невелики. К счастью, г-жу де Отфор вновь призвали ко двору королевы.

Двор охотно жаловал писателям чины и должности. Равно возвышаясь и над дворянством, и над буржуазией, королева не питала к простолюдинам того презрения, которое господы и госпожи де Сотанвиль \* изливали на них с высоты своих голубятен. Вуатюр, сын виноторговца, состоял церемониймейстером по приему послов у старшего брата короля, придворным кавалером при его супруге и временами замещал дворецкого. Но на какую должность определить поэта, который даже не может сам почесать себе нос?

Скаррон, весьма изобретательный по части ходатайств, сам нашел то, что ему подходило. Доставленный в Лувр на каком-то сложном сооружении и представленный г-жой де Отфор королеве, он попросил ее величество официально назначить его своим придворным больным. Королева улыбнулась. Скаррон принял эту улыбку за утверждение в должности и на этом осно-

вании тотчас попросил квартиру в Лувре. «Для вашего величества, — так он мотивировал свою просьбу, — это прекрасный случай учредить больницу, не требующую больших затрат, ибо я один вмещаю в себе все те недуги, которые обычно представлены в больнице». Квартиры в Лувре ему не дали, но назначили пенсию. Сверх того Мазарини, хоть и мало восприимчивый ко всем тем похвалам, которые ему расточал поэт, платил ему пятьсот экю ежегодно. На беду близилось время смут.

Мазарини был ненавистен парижанам. Его гибкость вызывала в них одно лишь презрение. Мятеж носился в воздухе. 13 мая 1648 года парламент отказался зарегистрировать эдикт, относившийся к финансам. Покойный мессир Поль Скаррон, при жизни советник Главной палаты, наверно затрепетал от радости в своей могиле. Будь он в живых 26 августа того же года \*, его, несомненно, арестовали бы вместе с честнейшим Бруселем при выходе из собора после благодарственного молебствия. На следующий день, 27 августа, Париж ошетинился баррикадами, и Мазарини бежал. Все были довольны, все распевали песни, не тревожась о завтрашнем дне. То была Фронда. Это слово, появившееся неизвестно откуда, было принято всеми. Быть фрондёром — в этом чувствовался задор лихого гуляки, ловкого игрока в мяч, избивающего стражу, и парижане гордились тем, что они — фрондеры. Сидя на высоком табурете, Скаррон, парижанин с головы до пят, жадно впитывал в себя дух мятежа, веявший с улицы. Он слышал, как внизу возчики, изо всех сил стегая своих битюгов, кричали им: «Эй, живей, Мазарини!» Он разделял всеобщее воодушевление и, сидя в квашне, был завзятым фрондером. Если на столе у него заваялся экземпляр «Тифона», он мог прочесть там похвалы, на которые совсем недавно отнюдь не скупился, говоря о кардинале:

О, Юлий, Юлия великого затмивший \*,  
Алкид, что Атласу поддержкой мог бы быть.

Но Юлий перестал платить. Скаррон по природе не был неблагодарен, но отличался крайним легкомыслием. Вдобавок у него всегда можно было узнать по-



следние новости. Фронда самолично навещала его ежедневно после полудня. Кoadьютор \* (этим все сказано) приходил к Скаррону каждый день и усаживался на его крытую желтым атласом кушетку; коадьютора сопровождал его приближенный, вхожий ко двору аббат Мариньи, дамский угодник и ярый фрондер. Там читали вслух все самое интересное, что сочинялось против Мазарини. Сначала появилась «Мазаринада», затем, под самыми различными заглавиями, тысячи других «мазаринад». Этот первый памфлет, распространенный по всему городу, осведомил всех — и знатных дам и лакеев — о любовных похождениях Мазарини с зеленщицей из Алькалы и о палочных ударах, полученных вышеназванным Мазарини в связи с этими шашнями. Можно носить пурпуровую мантию и пострадать из-за прекрасных глаз зеленщицы; но памфлетист прибавлял, что кардинал спровадил Барильона на тот свет \* при помощи некоего снадобья.

Ходили упорные слухи, что первую «мазаринаду» сочинил Скаррон. Мазарини поверил этому, и на сей раз он, редко сердившийся, рассердился не на шутку. У калеки продолжали фрондировать. Забавные летучие листки получались там с пылу горячие: «Совет десяти с лишним миллионов», «Бурлескный вестник войны в Париже», «Юлиада», «Птичий щебет», «Триолеты» Сент-Амана. Эти триолеты, мастерски отточенные, избивали колкостями, направленными против Сирано де Бержерака, а он был обидчив. Сирано решил, что триолеты сочинены Скарроном, и в лагере роялистов у бедного калеки появился опасный враг \*. Сирано, пивший только воду и на редкость храбрый, к тому времени успел перебить на дуэлях десять человек. На его лице запечатлелись неоспоримые свидетельства его подвигов. В частности, длиннющий нос Сирано был весь испещрен какими-то странными шрамами, и зарубок на нем было больше, чем на тех дощечках, где разносчицы хлеба ножом отмечают товар, отпускаемый в долг. Любый враг Сирано де Бержерака был обречен. Но Скаррон не принадлежал к тем, кого можно вызывать на дуэль. Какой вид он имел бы, сидя на табурете в квашне, против нацеленной на него рапиры? Как убить

человека столь немощного? Сирано дорого дал бы за то, чтобы Скаррон был силен, как турок. Он бесился и, вынужденный в этом поединке довольствоваться пером, стал действовать им с неимоверной яростью. Он постарался дать этой ссоре широчайшую огласку. Обращаясь к парижанам, он объявил Скаррона козлом отпущения, на которого падут все политические прегрешения города, и, будучи ревностным роялистом, призывал фронтеров к покаянию. «Мятежный народ, соберись скорее, дабы увидеть грозное зрелище божественного правосудия: для всех вас мерзкий Скаррон — пример наказания, которое понесут в аду неблагодарные изменники и все те, что клеветуют на своих государей. Приходите, бурлескные писаки, и вы увидите целую больницу, заключенную в теле вашего Аполлона; неужели такое зрелище не побудит вас к покаянию? Поражайтесь мудростью предначертаний провидения; ему заранее была ведома неблагодарность парижан по отношению к королю, неблагодарность, которой предстояло обнаружиться в 1649 году, но не желая такого количества жертв, оно за сорок лет до того призвало к жизни существо столь неблагодарное, что на него одного были обрушены все те бедствия, которые заслужил целый город.

Вот уже десять лет, как Парки скрутили ему шею, но не в их власти было его задушить. Глядя на эти руки, искривленные, иссохшие, бессильно свисающие, можно принять его тело за виселицу, на которой дьявол повесил чью-то душу. И какую душу! Еще более уродливую, чем тело».

Скаррон потешался, читая эту прозу, сильно уступавшую его собственной. Сент-Аман — тот помалкивал. Он еще почесывал бока, ведь совсем недавно на Новом мосту слуги принца Конде отколотили его палками за какую-то песенку.

Распевая песни, женщины, чиновники, аббаты, вельможи и буржуа продолжали, однако, вести эту маленькую войну, день ото дня все больше запутывавшуюся и под конец ставшую совершенно непонятной для кого бы то ни было. Все устали от нее. 21 октября король торжественно вступил в свой *добрый* Париж, куда вслед

за ним бесшумно, по-итальянски, словно на цыпочках, прокрался Мазарини; он хотел лишь одного — притаиться и выждать, пока придет час снова стать всемогущим, что не замедлило произойти. Кто же остался в накладе? Не кто иной, как незадачливый поэт. Нимало не желая прибавить к длинному перечню своих мытарств звание мученика, пострадавшего за общее дело, Скаррон отрекся от Гонди, герцогинь де Монпансье и де Лонгвиль, от всей Фронды; он стал во всеуслышание каяться в своих пагубных заблуждениях и призывать сообщников ради их же блага последовать его примеру. Он внушал им:

Пора вам пасть во прах, фрондеры,  
О снисхождении моля.  
Глупцы, безумцы, горлодеры,  
Пора вам пасть во прах, фрондеры:  
Вам не сыскать нигде опоры —  
Поддержит вас одна петля.  
Пора вам пасть во прах, фрондеры,  
О снисхождении моля.

Он пытался пленить слух Мазарини восхвалениями в стихах:

Предметом Юлий был несправедливой сатиры...

Но Юлий остался глух и не возобновил раскаявшемуся поэту прежней пенсии. К счастью, Фуке назначил ему другую — в тысячу шестьсот ливров. Не состоя больше придворным больным королевы, он теперь был вправе исцелиться и решил воспользоваться этим правом. Ему посоветовали принимать ванны из требухи в больнице Шарите, в Сен-Жерменском предместье, и он поселился на улице Святых отцов, в гостинице Труа.

Каждое утро его, пораженного всеми недугами, носили в эту больницу и сажали в студенистую влагу, откуда он вылезал таким же больным, каким погружался в нее. В гостинице Труа у него оказалась соседка, с которой он подружился. То была некая г-жа де Нейян, боллезненная, скупая, богомольная старуха. У нее жила крестница, девушка необычайной красоты, совсем недавно вернувшаяся вместе с матерью из Америки. Скаррон захотел познакомиться с ней не только потому,

что она была так хороша собой, но и потому, что она прибыла из Вест-Индии, куда он решил переселиться.

Да, этот человек, неспособный сам слезть с табуретки, намерен был отплыть в Новый Свет. Чего только не придумаешь, чтобы вылечиться! Скаррон рассчитывал на солнце тропиков, чтобы снова стать таким, как все. Эту блажь ему вбил в голову некий командор де Пуанси. Командор только что прибыл с Мартиники, где, по его словам, он оставил и подагру и ревматизм; он настоятельно советовал Скаррону отправиться на поиски своих рук и ног в Вест-Индию; там они, как он уверял, немедленно сыщутся. Около 1651 года образовалась торговая компания для колонизации Кайенны. Туда должны были отправиться не то семьсот, не то восемьсот переселенцев. Скаррон вложил в это предприятие три тысячи ливров и был занесен в списки колонистов.

Будь это путешествие всего лишь веселой шуткой, оно вошло бы в число самых забавных выдумок, порожденных неисчерпаемой фантазией этого чудака. Но Скаррон, против обыкновения, не шутил. Он отправится в Кайенну, это решено бесповоротно. Своему другу Сарразену он писал: «Через месяц моя собачья судьба увлечет меня в Вест-Индию. Я внес тысячу экю в новую компанию, которой предстоит основать колонию в трех градусах от экватора, на берегах Орильяны и Ориноко! Прощай, Франция! Прощай, Париж! Прощайте, тигрицы, прикидывающиеся ангелами! Прощайте, Менаж, Сарразен, Меньи! Я отказываюсь от бурлескных стихов, от комических романов и от комедий, чтобы переселиться в страну, где не будет ни святош, ни мошенников, прикрывающихся благочестием, ни инквизиции, ни зимы, убивающей меня, ни флюсов, которые меня уродуют, ни войны, из-за которой я умираю с голоду».

Предполагалось, что добрейшая Селеста Палезо будет его сопровождать. Но Скаррон не намерен был жениться на ней в Новом Свете. Изменник, как мы сейчас увидим, вынашивал иные замыслы.

Нинон, великая Нинон должна была ехать вместе с ним. Это сушая правда. Первая партия колонистов от-

чалила в середине мая 1652 года. Ни Скаррона, ни прославленной Нинон, ни даже Селесты Палезо не было среди пассажиров.

В то время, как уже было сказано, крестница г-жи де Нейян, Франсина д'Обинье \*, незадолго перед тем вернувшаяся с матерью из Америки, жила насупротив дома Скаррона. Г-жа де Нейян, бывавшая у него, привела с собой юную Франсину, которая, войдя в комнату, расплакалась, потому что на ней было коротенькое платьице и она не знала, ни что сказать, ни как вести себя в присутствии модного поэта. Скаррон окинул девушку взглядом знатока: он мигом увидел, что она красива, умна, рассудительна, способна; он знал, что она бедна, — и тотчас решил не допустить, чтобы она ушла в монастырь, жениться на ней и увезти ее туда, куда поедет сам. Он не льстил себя надеждой быть супругом иначе как по имени, но считал, что в его доме, где бы он ни поселился, молодой, незаурядной девушке будет лучше, чем в монастыре.

Ее история, которую она премило рассказала поэту, была история многострадального юного существа, горько натерпевшегося и от жизни и от людей. Ее дед был не кто иной, как знаменитый Теодор-Агриппа д'Обинье, храбрый воин, изворотливый делец, опасный бретёр, даровитый писатель, ненадежный товарищ, человек страшный и беззастенчивый, поэт и разбойник, гордость литературы и бич общества, один из последних мелких тиранов феодальной Франции; не столь ретивый гугенот, как полагали, и достаточно вероломный, но порою в нем брала верх суровая честность, придававшая ему обличье героя Плутарха, человека античности.

Его сын Констан, очень на него похожий, не мог сравниться с ним. Он попытался было жить на отцовский лад, пуская в ход либо большую отвагу, либо большую хитрость. Но времена были не те: Ришелье, столь суровый, как мы видели, с почтенными членами парламента, не намерен был позволить этим высокородным бандитам еще дольше терзать Францию. Констан, убийца, клятвопреступник и фальшивомонетчик, а в общем — вполне порядочный дворянин, был заключен в Ниорскую тюрьму, притом на долгий срок. Находясь

в тюрьме, Констан, уже немолодой, благообразный и глубоко безнравственный, с легкостью обольстил Жанну де Кардильяк, дочь начальника тюрьмы. Раз уж это случилось, пришлось волей-неволей отдать ее за него, или, вернее, оставить ее ему. Он женился на ней в надлежащее время, и она не замедлила подарить ему дочь.

Франсина родилась в Ниорской тюрьме 27 ноября 1635 года. Спустя некоторое время заключенного выпустили. Он покинул родину, где уже не надеялся свободно применять свои таланты, и отплыл с семьей на Мартинику. В пути крошка Франсина так расхворалась, что ее сочли мертвой. Уже готовились зашить ее во флаг и выбросить за борт. Уже дымился фитиль пушки для выстрела, который должен был прогреметь в момент, когда тело погрузится в волны. Мать захотела еще раз взглянуть на Франсину, приложила к ней губами и воскликнула: «Она не умерла!» Девочка открыла глаза: она вернулась к жизни. Жанна де Кардильяк, истомленная страданиями, не была нежна с дочерью, хотя и любила ее. Франсина выучилась читать по толстому тому Плутарха, но никогда уроки не озарились улыбкой. Констан д'Обинье умер на Мартинике.

Девочку привезли во Францию и отдали на воспитание тетке, г-же де Виллет; это был яркий луч света в мрачном детстве Франсины. В замке Мюрье царили мир, милосердие, чистые радости. Каждое утро маленькая Франсина, сидя в конце подъемного моста, раздавала милостыню нищим. Но г-жа де Виллет была кальвинистка. Желая выслужиться перед святошей, королевой Анной Австрийской, г-жа де Нейян добилась того, что девочку забрали у гугенотки и отдали ей, на предмет обращения в католичество. В доме скупой крестной Франсину, прекрасную, как заря, ожидала участь Ослиной шкуры. Ее приставили ходить за домашней птицей. Каждое утро, надев черную бархатную полумаску, чтобы уберечься от загара, Франсина, в соломенной шляпе, с хворостиной в руках и корзинкой на руке, отправлялась стеречь индюков. В корзинке лежал кусок хлеба и томик четверостиший Пибрака. Ей строго-настрого запрещено было притронуться к хлебу, пока она не выучит наизусть пять четверостиший этого

Пибрака, самого скучного из всех смертных, когда-либо бывших писателями. Она жестоко голодала у г-жи де Нейян, которая, обратив ее в католичество и тем самым обеспечив ей пищу ангельскую, не считала нужным давать ей более грубую еду.

Скаррон был сострадателен. Он жалел Франсину, восхищался ее красотой, ценил ее способности: она правильно мыслила, так же правильно писала и сочиняла милые письма. Хитрец обещал дать ей сумму, необходимую для поступления в монастырь. Она прониклась признательностью к нему. Монастырская решетка представлялась ей менее мрачной, чем лицо г-жи де Нейян. Но вдруг он заявил, что не даст ей ни гроша на то, чтобы стать монахиней. Она опешила. Он пояснил: «Дело в том, что я хочу на вас жениться». Он дал ей два дня на размышление. К концу этого срока она дала согласие. Когда составляли брачный контракт, Скаррон заявил в присутствии нотариуса, что невеста приносит в приданое четыре луидора ежегодной ренты, большие, весьма лукавые глаза, прекраснейший стан, красивые руки и незаурядный ум. Затем нотариус спросил его, какое имущество он ей предоставляет. «Бессмертие», — ответил поэт. Подвенечное платье невеста заняла у подруги. Бракосочетание состоялось в мае 1652 года, в сельской церкви. Не знаю, сам ли Скаррон, или же священник потребовал от юной новообращенной вторичного отречения. Весьма возможно, что на Скаррона вдруг нашло благочестие. Если некоторые из его друзей не боялись прослыть еретиками, то он, насмешками над кардиналом навлекший на себя опасность умереть с голоду, не был ни столь богат, ни столь отважен, чтобы поссориться с небом.

Эта странная чета — девушка, прекрасная как день, и обрубок бурлескного поэта — поселилась на улице Тиксандри, в доме, возле которого начинается крытый проход, ведущий на узкую улицу Двух ворот. Дом, принадлежавший некоему Бюссину, был новый, с фасадом из камня и кирпича. Супруги Скаррон занимали третий этаж, куда с улицы вела лестница в двадцать четыре ступеньки. Квартира состояла из двух разделенных лестницей комнат, окнами на улицу. Направо жил

сам поэт, налево — его жена. В третьей комнате, выходящей, как и кухня, на узкий двор, помещался Манжен — слуга «за все про все», одновременно камердирер, лакей и секретарь, бич семьи. Своей медлительностью этот Манжен вывел бы из себя и заставил бы кощунственно ругаться даже монаха картезианца. Судите сами, какими отборными ругательствами честил слугу хозяин, не бывший монахом и при случае весьма непочтительно поминавший имя господне. Когда Скаррон, примостясь на длинном сером шезлонге и положив бумагу на дощечку, заменявшую ему стол, писал очередную песню «Вергилия наизнанку» или главу «Комического романа», он видел из своих окон больницу св. Гервасия. Обставлены комнаты были не без роскоши, ибо Скаррон старался усладить не только свое чрево, но и свои глаза, и пользоваться всеми доступными ему удовольствиями. Он любил картины, и у него было несколько прекрасных полотен, таких как «Вакханалия» и «Обращение апостола Павла», по его просьбе присланных ему из Рима Пуссеном. Но сей художник не любил бурлеска и невысоко ставил произведения, написанные в этом малоблагородном жанре. У Скаррона имелся также портрет его жены, которую Миньяр, его сосед по улице де Турнель, писал у них дома.

Паралич дал ему возможность иметь салон; в те времена у писателей это не было принято. Жюли д'Анжен собирала в «голубой гостиной» на улице св. Фомы Луврского жеманниц и светских умников, а Скаррон в своей комнате блистал остроумием и принимал весьма смешанное общество, в котором, однако, было немало красивых женщин и выдающихся мужчин. Перед домом Бюссина останавливались раззолоченные кареты. То были господа Вивонн, дю Люд, Граммон, Мортемар, Колиньи, Ринэ, д'Эльбен, Вилларсо, приезжавшие поглядеть на такую диковину. Сам он не чрезмерно гордился этой честью. «Важные господа, — говорил он, — приезжают поглазеть на меня, как ездили глазеть на слона, и проводят у меня послеобеденные часы, когда у них нет другого дела». Литераторы — те приходили пешком. Часто по пути из «Королевской шпаги» в «Львиный



ров» забегали Фаре и Сент-Аман; появлялся д'Аркур, дворянин, причастный к поэзии и входивший в компанию завзятых обжор. Иногда Скаррона навещал Сен-Павен, превративший свое Ливрийское аббатство в Телемское \*, — или великий приор Жак де Сувре, любитель вкусно пообедать и еще вкуснее поужинать. Эти люди, не возлагавшие больших надежд на загробный мир и поэтому старавшиеся создать себе рай на земле, собирались у Скаррона впятером, а то и вшестером. Их возглавлял аббат Буаробер, тоже бывавший у Скаррона запросто. Он чаще проходил под веткой остролистника, осенявшей вход в кабачок, чем под сводом церковного портала. Г-жа Корнюэль уверяла, что риза Буаробера перешита из платья Нинон. Представьте, какой шум поднимали все эти забулдыги, когда Скаррон горланил вместе с ними. Сказал ведь калека за несколько дней до свадьбы, имея в виду свою невесту: «Я не буду заниматься с ней глупостями, но узнает она их от меня немало». По всей вероятности, разговоры были более пристойны, когда их вели Сэгре, Бальзак и Сент-Эвремон, люди образованные и воспитанные. Что касается женщин, сидевших рядом с г-жой Скаррон на крытой желтым атласом кушетке, — все они имели достоинства, но каждая — свои. То были г-жи де Ласюж, де Ласаблиер, де Севинье, Нинон и Марион \*.

Нинон охотно беседовала с г-жой Скаррон, но считала, что она не создана для любви. А Нинон в этом кое-что смыслила. Сент-Эвремон довольно нескромно спросил ее, как у Франсины насчет... «Я ничего не знаю, ничего не видела, — ответила кумушка, — но я частенько предоставляла свою спальню ей и Вилларсо». Вилларсо с жаром отрицал это. «Я бы скорее, — так он говорил, — сделал дерзкое предложение королеве, нежели этой женщине». Даже Таллеману не о чем было злословить. По его словам, «госпожа Скаррон повсюду желанная гостя. Но полагают, что она еще не перешла грань». Де Шарлеваль, ее обожатель, вряд ли мог склонить ее к этому. Сей тщедушный поэт волочил за женщинами и за музами, но, по слухам, очень берег себя в общении и с теми и с другими. Об этом светском человеке, не шедшем дальше любовных интрижек и

мадригалов, Скаррон говорил, что музы кормят его одним только бланманже и куриным бульоном. Вот какие стихи де Шарлеваль посвящает Франсине:

Легко объемлет дружбу пламя,  
И я бы дерзостью считал,  
Когда б к своей прекрасной даме  
Друг втайне страстью не пылал.

Господин де Шарлеваль непостоянен; всего несколько дней назад он из своего тенистого парка отвечал другой красавице, сетовавшей на его длительное отсутствие:

Я вольно здесь дышу, я по полям блуждаю,  
На ложе из цветов внемлю журчанью струй.  
Ирида, этих мест на трон я не сменяю,  
Но я сменил бы их на нежный поцелуй.

Тем временем калека, обращаясь к г-же де Севинье, изошрялся в тончайших любезностях. После смерти маркиза де Севинье он послал прекрасной вдове письмо, в котором выражал ей и соболезнование и печаль по поводу того, что не увидит ее перед своей смертью. Маркиза сообщила ему, что навестит его, как только вернется из Роше, и очень просит его не умереть до того времени. На это поэт ответил, что, при всей его заботе о своем здоровье, он умирает, так как ему не терпится увидеть ее. Она приехала к нему и позволила целовать свои прелестные руки, которыми, по выражению ее кузена, «не слишком дорожилась».

В этом разношерстном обществе г-жа Скаррон вела себя очень благоразумно и сдержанно. Женщина с твердой волей, она неуклонно улучшала нравы, царившие в доме поэта, и заставляла своего чудаковатого мужа соблюдать приличия. Иногда она проявляла чрезмерную суровость; но будь она не так неприступна, она оказалась бы низведенной, подобно Клодине Кольте \*, на положение хозяйки гостиницы.

В полдень накрывали на стол в комнате поэта; он допускал, чтобы посетители приносили с собой всякую снедь. Г-жу Скаррон это малодостойное обыкновение корбило. Однажды граф дю Люд, потчuya жарким, вел

себя довольно бесцеремонно. Он съел его вдвоем с мужем: хозяйка дома ушла к себе.

Зачастую гости, все в той или иной мере язычники, в пост ели скоромное. Г-жа Скаррон не дотрагивалась до этих яств, довольствуясь салатом и селедкой. Однако, имея на хозяйство только пятьсот франков в год, она не гнушалась подношениями, поступавшими отовсюду. Скаррону присылали паштеты, каплунов, сыр, дрова, книги и т. д. Он расплачивался стихами, иначе говоря — полновесной монетой: ведь тогда он был во славе. Г-жа де Сюдери вывела его в своей «Клелии» под именем Скауруса, в обществе людей весьма знаменитых. Его вышедший в 1648 году «Вергилий наизнанку» восхищал и Париж и провинцию. У Скаррона нашлись толпы подражателей, на тот же лад переиначивших Лукана или Овидия.

Сам Скаррон, человек здравомыслящий и образованный, не разделял общего восторга. «Все эти выворачивания книг наизнанку, — говорил он, — и в первую очередь мой Вергилий — чистейший вздор. Возможно, великие умники, которым платят жалованье за то, чтобы они блюли чистоту и ясность нашего языка (он разумел академиков, это пожетонное племя \*), наведут порядок в этом деле, и примерным наказанием первого же дрянного пересмешника, которого, избоблив его в том, что он неисправимый приверженец бурлеска, приговорят весь остаток его дней проработать на Новом мосту, — рассеют жестокою бурю, угрожающую царству Аполлона». Тот факт, что он отождествлял себя со своими пошлыми подражателями, свидетельствует о большой снисходительности. Его «Вергилий наизнанку» презанятен. Бальзак восхищался им, как образцом грубоватой игривости. И если Буало, в ту пору молодой, но уже суровый, резко порицал комизм, заключающийся в смещении хронологии и в наделении античных богов и героев нравами пристани св. Николая и Рыбного рынка, то в тесном кругу он говорил, что начало «Вергилия наизнанку» весьма забавно. Позднее благороднейший Расин, так глубоко чувствовавший «Энеиду» мантуанца, украдкой прочел «Энеиду» парижанина и, как говорят, смеялся от всей души. Но подлинное дарование

Скаррона, его непреходящая заслуга не в этом, а в его прозе — в «Комическом романе» и в «Новеллах». «Комический роман», почерпнутый из жизни комедиантов, дававших представления в Мансе, когда Скаррон жил в доме каноников, начал выходить в свет в 1651 году. Это похождения, переплетенные с любовной интригой. Книга не закончена, и мы так и не узнаем, женился ли Дестэн на Этуали, Леандр — на Анжелике. Но так ли уж это важно? В романе талантливо даны ситуации и характеры; это произведение человека веселого и доброго, книга правдивая и вечная.

Что до «Трагикомических новелл», в основном являющихся подражанием испанским образцам, то по трактовке сюжета и по языку они подлинно принадлежат Скаррону. Мольер умно сделал, пользуясь скарбом этого насмешника. Из новеллы, озаглавленной «Лицемеры», он весьма удачно заимствовал кое-что для «Тартюфа»; для «Скупого» — из новеллы «Наказанная скупость». Обе эти вещи, вышедшие из-под пера большого мастера, поражают жизненной правдой и сжатостью. Проза Скаррона превосходна: сочная, крепко сложенная, прекрасно звучащая, непринужденная.

Современники смутно чувствовали все это, и гул славы доносился до слуха калеки. Тем не менее он попрежнему едва перебивался и терпел лишения. Зачастую кредиторы дубасили в его окованную железом дверь и галдели под окнами. Однажды эти люди со зловещими физиономиями даже осадили поэта в его жилье. Три тысячи франков, которые Фуке прислал ему через Пелиссона, получились как раз вовремя, чтобы заставить их снять осаду.

Госпожа Скаррон была в милости у супруги главного интенданта; благодаря этому она выхлопотала у Фуке для своего мужа разрешение учредить артель грузчиков, которая получила право работать у парижских застав. Разумеется, возчики клади отлично обошлись бы без этих людей, взимавших с них немалую дань; но хилый поэт, распорядившийся этими дюжими парнями, извлекал из своей должности две-три тысячи ливров в год. Был у Скаррона еще и другой источник пропитания: из-за женитьбы ему пришлось отказаться

от прихода в Мансе; но, передав его своему куму Жиро, камердинеру Менажа, он, как-никак, получал от премника тысячу экю ежегодно. Недуги мучили его все сильнее. Он удваивал, утраивал дозу опия и, однако, совершенно лишился сна. Неужели ему никогда не удастся уснуть? Размышляя о том, как он наконец обретет покой, Скаррон сочинил себе эпитафию:

Здесь скрыт от взоров прах калеки,  
Чей незавиден был удел.  
Он раньше, чем уснуть навеки,  
Все, кроме смерти, претерпел.  
Храни молчание, прохожий,  
Не потревожь страдальца сон,  
Затем, что лишь на этом ложе  
Уснул измученный Скаррон.

Пришла осень, а с ней — дожди, мрак и унылое завывание ветра в башнях церкви св. Гервасия. Он страдал невероятно. У него началась предсмертная икота. «Какую чудесную сатиру, — сказал он, — я сочиню на икоту, если выживу». Заботу о жене он поручил своему душеприказчику д'Эльбену. Некогда другой д'Эльбен был его приемником.

Он сказал Франсине: «Прощайте, вспоминайте иногда обо мне. Я не оставляю вам богатств; и хотя добродетель не приносит их, я все же уверен, что вы всегда будете добродетельны».

Он умер 6 октября 1660 года, в своей квартире на Новой улице Людовика Святого в квартале Марэ. Ему исполнилось пятьдесят лет, он был женат четыре года. Его похоронили в подземном склепе церкви св. Гервасия.

## ЖАН РАСИН

Ришелье уже завершал объединение Франции. Корнель уже создал «Сида», а Декарт «Рассуждение о методе». В год, когда появилась трагедия «Гораций» \*, уже плакал в колыбели младенец, которому суждено было стать поэтом Андромахи и Гофоллии.

Жан Расин родился в Ферте-Милоне от Жана Расина, окружного прокурора, и Жанны Сконен и был воспринят от купели 22 декабря 1739 года. Жан, его дед, служил по сбору соляного налога. Жан, его прадед, сборщик налогов в пользу королевской четы, как в их личных, так и в государственных владениях в герцогстве Валуа и с соляных амбаров Ферте-Милона и Крепи-ан-Валуа, получил дворянские грамоты. Расины велели расписать гербами окна своего дома, находившегося на улице Пешери; гербы носили изображение «серебряной крысы и лебедя в лазури». Однако художник, делавший витражи, превратил крысу в кабана, что послужило поводом для судебного процесса. Поэт Жан Расин выбросил впоследствии эту крысу или кабана, оставив на своем гербе только серебряного лебедя на лазоревом поле.

Это была семья сурового провинциального уклада, в которой нередки бывали случаи ухода девушек в монахини. Большим почетом пользовались здесь янсенисты. Витари, связанные родством с Расинами,

приютили в 1638 году изгнанных из своей обители отшельников Загородного Пор-Рояля \*. Сконены снабжали монастырь св. Женеьевы монахами и богословами.

Жану Расину было тринадцать месяцев, когда его мать умерла от родов, и три года, когда, после смерти отца, он остался на попечении своей бабки Мари де Мулен, которая, овдовев в 1649 году, удалилась в Пор-Рояль. Жана отправили тогда в коллеж города Бовэ, где он провел шесть лет под началом учителей, бывших приверженцами янсенизма. Ему исполнилось шестнадцать лет, когда бабушка и тетки, жившие в Пор-Рояле, вызвали его к себе и отдали в Гранжское училище, куда он был принят Николем и Лансело. В этой суровой школе он прошел курс словесных наук и изучил греческий язык под руководством учителя, воспевшего

...Сад полный не цветов душистых,  
Но тех питательных корней,  
Что душу делают мудрей

Расин был сиротой: Пор-Рояль заменил ему семью. Г-н Леметр называл его сыном. Известно, как добр был Николь, один из его наставников. В ту пору отшельники приобрели еще одну привлекательную черту — они стали несчастными. Они терпели гонения; их школы были распущены. Три года, проведенные в святой Пустыни, зародили в душе Расина некое тяготение к янсенизму, восторжествовавшему на склоне его жизни над всем остальным.

Ученик г-на Леметра в свободное от занятий время гулял в рощах аббатства, в обществе Софокла и Еврипида, которых он знал наизусть. Он сочинял стансы, посвященные монастырским лугам, рощам и пруду. В благочестивом и уединенном воспитании есть особая отрада для юных и восторженных душ, если только оно не заглушает их. Монастыри заражают умы слишком широкие или слишком непостоянные, чтобы целиком замкнуться в их стенах, странным недугом, не

---

<sup>1</sup> Préface du «Jardin des Racines grecques».

лишенным, впрочем, своей прелести: болезнью фантазий, опасным даром примешивать к действительности мечты, призраки, прекрасные видения и погружаться в их милое сердцу небытие. Когда г-н де Сен-Сиран в обители, где все, казалось, подтверждало его слова, говорил, что Вергилий своими прекрасными стихами навлек на себя проклятье, — в глазах чувствительного ученика тень Дидоны приобретала печальное и сладостное очарование. Религия внушает душам, исполненным страстей, еще одну страсть — страсть погубить себя.

Рассказывают, что в молчании школьных зал и в мирной тишине часовен юное воображение Расина потрясли слова любви из романа «Теаген и Хариклия». Прекрасные образы возникают перед умственным взором поэтов задолго до того, как они научаются их изображать.

Расину пополнилось девятнадцать лет, когда он вышел из Пор-Рояля, чтобы прослушать курс философии в Гаркурском коллеже. Вскоре после этого он поселился у своего дяди Витара, в особняке Люина, где стал дышать воздухом века. Он очень дружил тогда с одним аббатом, «обладавшим сердцем весьма нежным и весьма расположенным к сладостным впечатлениям любви»<sup>1</sup>. Левассер был завсегдаем у актрис, а на приемах в спальнях у знатных дам прикидывался наивным простачком. Дядя Витар питал пристрастие к любовным стихам и мадригалам. Он ссужал деньгами племянника, «средства которого были очень ограничены»<sup>2</sup>. Расин сочинял стишки, два-три раза на день ходил в кабачок и был на пути к тому, чтобы стать светским остряком. Именно в ту пору, когда он вел такой образ жизни, он и сочинил оду на бракосочетание короля под названием «Нимфа Сены».

Витар отнес ее Шаплону, ведавшему личными средствами короля \*. Шаплен указал, что не следует помещать тритонов в реку \*. Расин убрал тритонов и получил награду.

---

<sup>1</sup> Письмо Расина.

<sup>2</sup> Письмо Расина.



Двадцатидвухлетний король, невежественный, высокомерный, упрямый, забирал тогда в свои руки королевскую власть, достигшую наконец всемогущества благодаря вековому труду великих зодчих здания Франции. Людовик XIV любил женщин и власть, позднее он полюбит сады, строительство дворцов, прогулки в карете по полям сражений. Тотчас после женитьбы он принялся развлекаться сам и развлекать дворянство балетами и каруселями, являя поэтам, писавшим для театра, образец галантного и пышного двора.

Около этого времени Расин сочинил две театральные пьесы, ныне утерянные: «Амазию», написанную для одной комедиантки театра Марэ, и «Любовные похождения Овидия», замысел которых подсказала ему Бошато, за что поэт и называл ее галантно: «Овидиевой вдохновляющей Юлией» \*. Женщины завершили труд, начатый Пор-Роялем: они со своей стороны явились воспитательницами этого восприимчивого ума. Они развили в Расине ту гибкость и гармоничность, ту тонкую чувствительность, то глубокое понимание человеческого сердца, что составляло лучшее в его гении. В ту эпоху женщины были такими, какими их сделало французское общество: гордыми, кокетливыми, властными. Обычай предписывал каждому порядочному мужчине соблюдать в обращении с женщиной известную сдержанность, вежливость, рассудочность, что требовало, даже в любовных отношениях, много находчивости, ума и сообразительности.

У Расина был в ту пору сосед, которого он часто навещал: Жан де Лафонтен, живший на набережной Августинцев. Между тем тетушки молодого человека, узнав о его дурном образе жизни, стали метать в него из недр Пор-Рояля «одно отлучение за другим» <sup>1</sup>, — но тщетно, вплоть до того дня, когда Жан, чтобы расплатиться с г-ном Витаром, не принялся подыскивать себе бенефицию и не направился с этой целью в Юзес к дяде, его преподобию отцу Сконену, главному викарию кафедрального собора и приору реформированного монастыря. Это было в 1661 году, Расину исполнилось

---

<sup>1</sup> Письмо Расина.

тогда двадцать два года. Одно время он подумывал даже, не стать ли ему священником, а вместе с тем сочинял для аббата Левассера галантные стишки на тему о «купании Венеры», заглядывался в церкви на хорошеньких горожанок, делал выписки из «Одиссеи» и «Олимпийков» \*, листал «*Sumin'у*» <sup>1</sup> святого Фомы, а всего больше — читал Петрарку.

Его преподобие отец Сконен, запутавшись в тонких сетях церковных интриг, не смог помочь племяннику, и тот вернулся в Париж с пустыми руками. Позднее Расин получил несколько бенефиций из числа тех, что доступны мирянам: он стал настоятелем церквей в Эпинэ, в Сен-Жаке, в Ферте и в Сен-Никола де Шуази. Кроме того, с 1664 года ему стали выдаваться кое-какие суммы из личных средств короля.

С 1663 года Расин начал бывать при дворе и присутствовал при туалете короля. Молодой поэт, с его гибким умом, владел искусством нравиться. Он умел вести беседу на любые темы и молчал о своих произведениях. Он был красив; у него было тонкое, привлекательное, открытое лицо, колючий, острый нос — нос насмешника, иронический чувственный рот и прекрасные ласковые глаза, легкие на слезы. Мы уже знаем, что он дружил с Лафонтеном. Он сблизился с Буало и Мольером, которому отдал свою «Фиваиду», — тот поставил ее в театре Пале-Рояля. Сборы она давала скудные. Тем не менее уже эта первая пьеса, в которой молодой Расин, строго следуя за Еврипидом, подражал также Ротру и Корнелию, показала его искусным поэтом, способным изображать характеры. В ту пору Мольер, Лафонтен и Расин два-три раза в неделю собирались на квартире Депрео, на улице Голубятни. Вместе с Шапеллем, Фюретьером и несколькими придворными они бывали и в кабачках: в «Белом баране», на площади у кладбища св. Иоанна, в «Сосновой шишке», на улице Делаликорн, в «Лотарингском кресте» — и потешались там над многим, до парика Шаплена включительно.

Эти счастливые времена длились недолго. Расин, отдав театру Мольера своего «Александра», решил за-

---

<sup>1</sup> «Сумма [богословия]»\* (лат.).

тем, что комедиантам Пале-Рояля не сыграть пьесы так, как ему бы хотелось: не предупредив их, он отнес пьесу труппе Бургундского отеля, которая и принялась ее разучивать, а когда разучила, в Париже одновременно появились два «Александра». Мольер имел полное основание быть недовольным и был недоволен. Но молодой автор не мог допустить, чтобы его любимое детище подвергалось искажениям, а его поэтическая слава меркла. Острая восприимчивость к каждому впечатлению делает непостоянными и в какой-то мере вероломными самые мягкие, самые прекрасные натуры. Самые нежные связи отнюдь не являются самыми прочными — это великая истина. Расин отбил у Мольера мадемуазель Дюпарк, что окончательно их рассорило. Мадемуазель Дюпарк была комедианткой театра Пале-Рояля; говорят, что Мольер любил ее, но без взаимности. Она была красива, ей было тридцать лет. Расин находился с ней в любовной связи, он помог ей устроиться в Бургундский отель, где она сыграла роль Андромахи. Вскоре после этого она умерла от родов. Лавуазен обвиняла Расина в том, что он ее отравил \*. А его видели идущим в слезах за гробом комедиантки. Эти слезы приводят на память трогательные слова, которые Лафонтен в «Любовных похождениях Психеи» вложил в уста Расина: «Что ж, будем плакать... Героям древности тоже ведь плакать случалось»<sup>1</sup>.

«Александр» стяжал Расину поэтическую известность при дворе и в столице. Свора врагов, к которым примкнули также враги Буало и друзья Корнеля, подняла против него вой: враги будут преследовать его до самой могилы. Поэт принадлежал к людям легко ранимым, но он не упускал случая отвечать им в высокомерном тоне человека, без труда находившего, что сказать. Он слишком хорошо владел опасным искусством злить их. Он остро высмеивал и метко жалил. Самые мягкие люди отнюдь не принадлежат и к наименее насмешливым: та же нервная возбудимость, что заставляет их над многим плакать, побуждает смеяться над многим другим. Случилось так, что автор «Але-

<sup>1</sup> Ἄγαθοι ὀπίθ' ἀέχουρες ἄνδρες.

ксандра» затеял ссору, повлекшую за собой впоследствии жаркое раскаяние и слезы покаяния. В 1666 году Николь в «Мечтателях» назвал поэтов, писавших для театра, «отравителями общества». Не лучше отозвался о них несколько лет спустя, не будучи янсенистом, и Боссюэ. За спасением души и впрямь не ходят в комедию, и сказанное Николем было словом наставника. Для Расина — христианина и поэта — было очень важно, чтобы Пор-Рояль оказался неправым. Он забыл, что Николь его старый учитель, он забыл про святую Пустынь, он выступил в защиту театра в двух «небольших посланиях», являющихся своего рода «Письмами к провинциалу» поэтики. Расин спорит и высмеивает своих противников с меньшей силой и изяществом, чем Паскаль. Буало, прочтя рукопись второго послания против Пор-Рояля, который подвергался в то время преследованиям, сказал другу: «Это очень неплохо написано, но вы не подумали о том, что пишете против благороднейших людей на свете». Расин не стал печатать своего второго послания. Во всем, что касалось жизненного поведения, он слушался Буало, придерживавшегося простых и строгих правил. Буало имел на него также сильное влияние в вопросах поэзии. Запас идей Буало был невелик, но зато идеи его отличались ясностью и их легко было применить. В этом огромное преимущество для того, кто хочет вести за собою умы. Люди слишком широкого умственного кругозора запутываются в бесчисленных сложностях, сбиваются с пути, колеблются: им ведомы сомнения. Вот почему в некоторых случаях они сами идут за умами более ограниченными, но не знающими беспокойства.

«Андромаха» была представлена впервые на сцене Бургундского отеля в ноябре 1667 года. Г-жа де Севинье, не любившая Расина, плакала. Поэт поднял, как бесценную жемчужину, слезу, скатившуюся из прекрасных глаз Генриетты Английской. Трагедия привлекла внимание публики. «Повар, кучер, конюх, лакей, не было человека, до водоноши включительно, кто не хотел бы потолковать об «Андромахе»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Subligny, Préface de la Folle querelle.

В то время Расин еще хаживал в кабачок «Белого барана». Оттуда, из этого кабачка на площади у кладбища св. Иоанна, вышли «Сутяги». Незадолго перед тем ему случилось проиграть какой-то процесс, «в котором ни его судьи, ни сам он так толком и не разобрались»<sup>1</sup>. За ужином в обществе Буало и Фюретьера, которые оба прекрасно знали судейские нравы, у него зародилась мысль написать на тему о крючкотворстве фарс для Скарамуша \*. Но Скарамуш покинул Париж, и поэт сочинил на тот же сюжет комедию для Бургундского отеля (1668). На первых порах она не имела там особого успеха. Лица хорошего тона опасались, как бы не оказалось, «что они смеются не над тем, над чем полагается». Но стоило королю посмотреть «Сутяг» в Версале и посмеяться им, как Париж одумался и начал безудержно хохотать над преступным псом и слезами, проливаемыми его семьей. «Британник» появился в следующем (1669) году. В день первого представления в партере не было давки, ибо в тот самый час на Гревской площади кому-то рубили голову. Старик Корнель сидел в ложе один. Вскоре к нему присоединился Бурсо или еще кто-то из его сторонников, и Корнель принялся резко критиковать пьесу. Расин счел нужным, по примеру Теренция \*, защититься в предисловии к пьесе от нападок «старого недоброжелательного поэта», *malevoli veteris poetæ*. Вражда разгоралась, но публика оставалась к ней безучастной. Тщетно расхваливал Буало «нарвоучительные» стихи новой трагедии. Прошли годы, прежде чем «Британник» встретил лучший прием и украсил славу Расина.

По открытии сезона, после пасхального перерыва 1670 года, комедиантка, всего лишь год находившаяся в Париже и незадолго перед тем приглашенная в Бургундский отель, дублировала в роли Гермионы \* большую, умирающую Дезолье. Это была мадемуазель Мария Демар, внучка президента Нормандского парламента и жена комедианта Шанмеле. Ей исполнилось тогда двадцать шесть лет, у нее были маленькие глазки, кожа ее не отличалась белизной, но она была хорошо

---

<sup>1</sup> Р а с и н , Предисловие к «Сутягам».

сложена, имела благородную осанку, задушевно звучащий голос. Г-жа де Севинье, приходившаяся ей некоторым образом свекровью \*, говорит, что вблизи она казалась некрасивой, но, когда читала стихи, становилась прелестной. С первого же выступления она показала себя очень хорошей Гермионой, особенно в сценах сильных страстей. Ее соперница, с трудом дотащившись до театра, ушла после представления, вздыхая: «Дезолье больше не существует». Расин бросился в уборную Шанмеле и «коленипреклоненно» приветствовал актрису. Он решил доверить ей роль Береники, которую в ту пору обдумывал. В дальнейшем он поручит ей роли Роксаны, Монины, Ифигении и Федры.

У этой комедиантки был, как видно, большой талант. Славу о нем донесли до нас знаменитые свидетели. Известны стихи Буало:

Над Ифигенией, заклятью обреченной,  
Так не скорбели все в Авлиде омраченной,  
Как наши зрители, рыдавшие над ней,  
Увидев Шанмеле в трагедии твоей <sup>1</sup>.

И нельзя без восхищения вспоминать те изысканные, слова, с которыми Лафонтен обращается к мадемуазель Шанмеле, посвящая ей свою сказку «Бельфагор»:

Филида, чаровница, ваше имя  
На титульном листе стихов моих  
Поставил я, чтоб обессмертить их.  
Пускай оно летит, сливаясь с ними,  
Сквозь мрак времен! Его мы победим!  
Игрою — вы, а я — пером своим.  
Союз таких имен во тьму не канет,  
И в памяти потомков наших станет  
Царить ваш образ, как царит сейчас  
В умах, а также и в сердцах у нас.

В ком голос ваш не вызывал волненья?  
Кто вас способен превзойти в уменье  
Так постигать и потрясать сердца?

Моей душой владели б вы всецело,  
Надейся я, что вас могу пленить.  
Но мы, любя, хотим любимы быть <sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Воileau, Epître VII.

<sup>2</sup> Перевод Э. Линецкой.

Шанмеле нравилась. «Маленьким чудом»<sup>1</sup> называла ее одна придворная дама. «Скоро все сделается достоянием короля Франции и мадемуазель де Шанмеле»<sup>2</sup>, — говорит поэт. Не отличаясь строгим поведением, она навлекла на себя подозрение Нинон, которая грозилась, при содействии некоего дворянина, «отхлестать ее португесей»<sup>3</sup>. Шанмеле не могла похвастаться верностью. Но муж ее не принадлежал к людям придирчивым. Это был остроумный человек, сочинивший вместе с Лафонтеном неплохую комедию «Волшебный кубок». Он разделял, по-видимому, мнение Тибо, недоумевавшего: «Какая польза от того, ежели все эдакое знаешь?»<sup>4</sup>.

У его жены за ужинами весело проводили время и занимались той самой «чертовщиной», в которой так хорошо была осведомлена г-жа де Севинье. Люди почтенные, как Лафонтен, Буало, маркиз де Севинье, пили там шампанское, Шанмеле не отставал от них. Расин был мил хозяйке дома, как никто другой, однако не более и кой-кого из иных прочих.

В 1676 году Лафонтен писал мадемуазель де Шанмеле: «Г-н Расин никого так не любит, как вашу прелестную особу». Так продолжалось шесть, семь лет. Все дело испортил г-н де Тоннер. Его полюбили. Это был трус и плут, большой мастер на всякие проделки и издевки — словом, скверный малый. Расин, уже близкий к тому, чтоб изменить свой образ жизни, уступил ему место, и о красотке стали говорить, что Тоннер ее обезрасинил\*.

Но годы шли, ведя за собой неизгладимые перемены, и, когда на пятьдесят четвертом году жизни Шанмеле доживала в Отейле свои последние часы, поэт-христианин писал сыну: «Самым прискорбным было упорство, с каким бедняжка отказывалась покинуть комедию». И уже после того, как ту, которой довелось слышать на своем веку столько нежных слов и похвал, положили в гроб, он снова писал: «Скажу вам

---

<sup>1</sup> Г-жа де Севинье.

<sup>2</sup> Письмо Лафонтена.

<sup>3</sup> Письмо г-жи де Севинье.

<sup>4</sup> «La Coupe enchantée», scène XVIII.

кстати, что должен исправить свою ошибку перед памятью Шанмеле, умершей в достаточно добрых чувствах... глубоко раскаиваясь в своей прошлой жизни и больше всего скорбя о том, что умирает». Можно не сомневаться, убил ли в себе ветхого Адама человек, высказывавший такие мысли.

Мы уже сказали, что в 1670 году Расин работал над «Береникой». Сюжет трагедии был выбран молодой герцогиней Орлеанской \*, предложившей его одновременно и Корнелию и Расину. Она интересовалась отвлеченными предметами, она почтила слезой первое представление «Андромахи», она любила музу Расина, юную, как она сама, и свежую, как самые ранние ее воспоминания.

Генриетте хотелось, чтобы трагедия под поэтическим покровом запечатлела память о том времени, когда она принесла в Фонтенбло «радость и веселье» <sup>1</sup>, о купаниях, с которых она возвращалась верхом в обществе короля и в сопровождении множества дам, «пышно разодетых, с тысячами перьев на голове», о ночных прогулках в коляске вокруг канала, под звуки скрипок. Король начинал тогда любить ее, и «ей хотелось, чтобы он сохранил к ней такого рода привязанность, которая, будучи лишеной неистовства любви, обладала бы всей ее снисходительностью и усладой» <sup>2</sup>.

Ее радовала мысль воскресить в театральной пьесе эти красивые чувства, эти невинные увлечения. Ей хотелось хотя бы, чтобы король, которого в детстве ей сулили в мужья и который позднее тронул ее сердце, был изображен поэтами влюбленным героем. И, быть может, выбор Береники героиней поэмы был подсказан ей и впрямь очень редким чувством — воспоминанием о ее подруге Марии Манчини. Ибо племянница Мазарини, принесенная Людовиком XIV в жертву государственным интересам \*, гораздо больше самой Генриетты Английской напоминает Палестинскую царицу, которую любил Тит и с которой расстался против своей и против ее воли.

---

<sup>1</sup> Madame de la Fayette, Histoire d'Henriette d'Angleterre.

<sup>2</sup> Там же.



Герцогиня Орлеанская не увидела ни одной из двух трагедий, вдохновленных ею. Когда 21 ноября 1670 года «Береника» впервые появилась на сцене Бургундского отеля, Генриетты уже полгода как не было в живых — она увяла, «словно полевая трава»<sup>1</sup>. Трагедия Корнеля «Тит и Береника» была представлена неделю спустя в театре Мольера. Ее сыграли плохо, и она провалилась. Прелестная элегия Расина удостоилась лучшего приема.

«Баязет» появился на сцене Бургундского отеля в январе 1672 года, в «турецком платье». Во время одного из представлений Корнель сказал Сэгре: «Я остерегся бы, конечно, сказать это еще кому-либо, кроме вас, ибо стали бы говорить, что я говорю так из зависти, но обратите внимание: в «Баязете» нет ни одного действующего лица, которое обладало бы надлежащими ему чувствами — теми, которыми обладают в Константинополе». Все враги Расина начали повторять, что турки Расина не настоящие турки. Но они трогали и такими, какими были; «Баязет» удержался в театре. Разумеется, Корнель не испытывал зависти, но он неодобрительно смотрел на все эти новые произведения, целиком завладевшие Бургундским отелем, которые привлекали туда толпы зрителей и ставили его, Корнеля, перед необходимостью нести свои трагедии в театр Марэ, где их плохо играли и куда публика не ходила. Мы видели, что Расин не выносил насупленных бровей великого старца. Он отзывался о нем, конечно, слишком легкомысленно. Тем не менее пятнадцать лет спустя, когда в одну из октябрьских ночей Корнеля не стало, Расин произнес в Академии похвальное слово этому знаменитому человеку, исполненное такого высокого восхищения, которое остается непревзойденным и по сей день.

Трагедию «Митридат», шедшую в Бургундском отеле в январе 1673 года, приняли хорошо.

Двенадцатого июля того же года Расин вступил во Французскую Академию и занял там кресло Ламот-Левайера. Около того же времени по милости Кольбера поэт получил должность казначея Франции в Муленском

---

<sup>1</sup> B o s s u e t, Oraison funèbre de la duchesse d'Orléans.

податном округе. Генеральному казначею присваивалось звание кавалера и предоставлялось право быть похороненным в золотых шпорах. Летом 1674 года Людовик XIV, присутствовавший перед тем при победе в Франш-Конте, давал по случаю своего возвращения празднества в Версале. В театре, сооруженном для этих празднеств на проспекте Оранжереи, шла в первый раз «Ифигения». Сцена изображала длинную, утопающую в зелени аллею, украшенную рустованными гrotами и фонтанами с мраморными бассейнами и золотыми тритонами <sup>1</sup>. Двор рукоплескал. Полгода спустя «Ифигению» показали в Париже, которому она пришлась по вкусу не менее чем двору, и было пролито немало слез. Расин достиг самой блестящей поры своей жизни. Враги его, казалось, были побеждены. На его стороне была публика, Конде, Мортемары, король; на его стороне был Буало и разум.

Но пока поэт готовил постановку «Федры», в высших сферах замыслили его гибель. Идея заговора возникла в особняке герцогов Бульонских. Там царила одна из Манчини, отличавшаяся надменным, беспокойным, властолюбивым характером. «Она была смышленной, гладко говорила, любила поспорить, а подчас и ужалить» <sup>2</sup>. Герцогиня Бульонская хвасталась умением возводить и низводить поэтов. Ее брат, герцог Неверский, слыл остроумцем. Он сочинял маленькие стишки, приличествующие большому вельможе, которые госпожа де Севинье находила лучшими на свете. Сестра и брат были сторонниками Сэгре и Бенсерада. Они смотрели на Буало, как на врага; они недолюбливали Расина и задались целью свергнуть его. Г-жа Дезюльер, их старая муза, нашла им другого поэта: Прадона. Этот самый Прадон, бездарный и от природы завистливый, в предисловии к своему «Тамерлану» бросил дерзкий вызов Расину. Именно такой человек и был им нужен: ему тоже заказали «Федру». Он тотчас засел за работу, ему помогли, и в несколько недель все было го-

---

<sup>1</sup> Félibien, Dans les Oeuvres de Molière, publiées par M. Pauly. t. V.

<sup>2</sup> Saint-Simon, Mémoires.

тово. Но у них не было Шанмеле. Впрочем, тем лучше! Ведь если Расину и будут аплодировать, то успехом он будет обязан только своей комедиантке. Главную роль взялась исполнить мадемуазель Дюпен, и «Федра» Прадона была сыграна 3 января 1677 года труппой Генего — два дня спустя после первого представления «Федры» Расина в Бургундском отеле. Племянница Мазарини, ловкая интриганка, скупила все ложи на первые шесть представлений обеих пьес. Этот маневр стоил герцогине пятнадцать тысяч ливров, однако лишил Расина нужных ему зрителей и сделал сомнительным исход борьбы. Далее война велась при помощи сонетов. Первый был сочинен как-то после ужина в Бульонском отеле; друзья Расина, использовав те же рифмы, очень остроумно обратили сонет против герцога Неверского, чем оказали поэту большую услугу. Герцог ответил угрозами побоев, используя опять те же рифмы. Ходили даже слухи, будто Буало был избит на улице лакеями. Но тут вмешался выведенный из терпения принц Конде, — он заявил, что Расин и Буало его друзья и «он отомстит за оскорбления, которые вздумают им нанести». Бульонский особняк притих. «Федра» Расина осталась на сцене, прадоновская же не могла удержаться.

И все же победителями оказывались враги поэта. Расин отходил от театра. Он всегда отличался чувствительностью, острой возбудимостью, легко предавался печали. Малейшее порицание доставляло ему больше огорчений, чем все многочисленные похвалы — радости. Он был человеком уязвленным: ему введома была та горечь, та глубокая душевная боль, та пресыщенность жизнью, которая является уделом лучших, тех, кто вкладывает в свой труд наибольшую любовь. Люди, которые создают произведения, меньше всего грешащие суетою, лучше других видят суету всех дел человеческих. Должно платить грустью, отчаянием за то, что ты дерзнул мыслить.

К тому же Расин был христианином. Он был воспитан яansenистами. Теперь, когда молодость его прошла, унеся с собой и прекрасные виденья, витающие на пороге нашей жизни, и обманчивые, манящие желания,

и неизведанные наслаждения, он почувствовал себя одиноким, объятым грозным богом, и страх, спасительный страх, обуял его. Не вложил ли он в последнее из своих мирских творений, в свою «Федру», все смятение, все отчаяние христианской души, лишившейся благодати?

Поэт хотел стать картезианцем. Он говорил подобно Ранее: «Я не вижу других дверей, куда я мог бы постучаться, чтобы вернуться к богу, кроме дверей монастыря; после такой беспутной жизни у меня нет другого выхода, как, облекшись, в вретище и власяницу, проводить дни свои в сердечной скорби». Духовник убедил его изменить решение и посоветовал ему вступить в христианский брак. 1 июня 1677 года Расин обвенчался в церкви св. Северина с мадемуазель Катриной де Романе, дочерью Жана-Андре де Романе, мэра города Мондидье и казначея Франции. Буало и Никола Витар были свидетелями со стороны жениха. Мадемуазель де Романе не читала трагедий Расина. Это была девушка с мягким характером и уравновешенным умом.

Поскольку Расин, переменив свой образ жизни, не пошел по пути покаяния, избранному г-жой де Лонгвиль и Рансе \*, и не умер для мира, нужно признать, если хорошенько в это вдуматься, вполне естественным, что он остался при дворе и сильнее прежнего привязался к королю. Служить христианнейшему королю означало вместе с тем служить и богу. Угодать ему было формой проявления набожности. Хвала, воздаваемая королю, не была мирскою хвалою. Боссюэ возносил ее достаточно громко с амвона, нисколько не боясь соединять имена Давида и Людовика, как имена двух лиц равно любезных царю небесному. И когда в конце 1677 года стараниями г-жи де Монтеспан Расин вместе с Буало был назначен историографом короля, поэт, конечно, полагал, что ему надлежит раскрыть промысел провидения в деяниях короля и рассказать о победах, одержанных господом трудами рук Людовика.

Это не значит, что, находясь при дворе, поэту не приходилось частенько погружаться в заботы, чуждые спасению души. Врожденное искусство с легкостью

попадать в тон любого общества, талант нравиться, приятная гибкость характера, разносторонность дарований, позволявшая ему братья за любое дело, превращали этого нежного янсениста в нужного человека и вовлекали его в бесчисленные интриги гораздо больше, чем он сам того бы желал. «Он был вхож повсюду — до королевской опочивальни включительно; герцогиня Бургундская бывала рада видеть его у себя за столом»<sup>1</sup>. Он нравился г-же де Монтеспан. Приходилось поддерживать ее расположение, взяться за сочинение оперы, закончить которую у него не хватило мужества; приходилось украшать мадригалами «различные сочинения» семилетнего герцога Дюмена; приходилось порождать завистников и вновь и вновь, всюду и везде обзаводиться врагами.

Обязанности историографа предписывали Расину сопровождать короля в походах. В 1678 году он совершил поездку в Гент, в 1687 году — путешествие в Эльзас; он был при осаде Монса и Намюра и, наконец, участвовал в Нидерландском походе. 21 мая 1692 года, после смотров королевской армии и армии герцога Люксембургского, он писал Буало из лагеря под Монсом: «Я предоставил лошади везти себя, не обращая больше ни на что внимания, и от всего сердца желал одного, чтобы каждый из этих людей, которых я видел перед собой, находился бы в своей хижине или в своем доме со своей женой и детьми, а сам я у себя на улице Монсон, в своей семье».

У Расина было от Катрины де Романе семеро детей: двое мальчиков и пять девочек. Самый старший из них Жан-Батист с ранних лет проявил себя вполне рассудительным человечком, зато в своей любимой старшей дочери поэт мог видеть свой собственный портрет. У Марии-Катрины была беспокойная и нежная душа. Ласковая суровость родительского дома, религия любви, смешанной со страхом, в которой ее воспитали, зародили в ней стремление к монастырской жизни и

---

<sup>1</sup> Mémoires inédits de S p a n h e i m , cités par M. Paul Mesnard.

молитвенному экстазу. Шестнадцати лет она вступила в монастырь кармелиток, находившийся в предместье Сен-Жак. Несмотря на свою набожность, отец был этим очень огорчен. В монастыре она тяжело заболела и вернулась к родному очагу, однако лишь затем, чтобы обдумать свой уход в Пор-Рояль, куда она и на самом деле удалилась; впрочем, остаться там ей не пришлось. Отшельники больше уже никому не разрешали принимать монашество. Она писала отцу письма, «волновавшие и терзавшие его». Она появилась наконец под отчим кровом, изможденная умерщвлением плоти, приняв решение впредь никогда не надевать мирской одежды и ни с кем не встречаться. Но, мало-помалу уступая трогательной слабости, она достает свои наряды, к ней возвращается улыбка и благородная жажда умственных наслаждений, столь естественная у дочери Расина. Отец за несколько месяцев до смерти успел выдать ее замуж.

Младшая, самая красивая дочь поэта, Анна, или Нанетта, как звал ее отец, также приобрела в монастыре урсулинок в Мелёне, куда ее отдали в раннем детстве, склонность к монашеской жизни. Эта склонность стала подлинным ее призванием, которому она неуклонно следовала. Шестнадцати лет и трех месяцев от роду она приняла постриг. Отец присутствовал при свершении обряда; стоя на коленях, оплакивал он дочь, а она, боясь растрогаться, не смела оборотить к нему лица, подставляя свои прекрасные волосы под ножницы архиепископа Сенского. Расин плакал, но не сам ли он подвел свое дитя к тому алтарю, на котором он видел ее теперь, приносящей себя в жертву?

Проживи он несколько дольше, он стал бы свидетелем того, как две из трех меньших его дочерей, Бабета и Фаншона, в свою очередь умерли для света, дав монашеский обет. Грозная тень янсенистского бога распростерлась над их юными головами. И все же сколько тихих радостей и невинных удовольствий было в семье поэта! Здесь устраивались процессии, в которых девочки изображали клир; Луи, прозванный Лионвалем, изображал священника, а сам автор «Гофолии» пел, неся в руках крест. Однажды утром к нему при-

ходит конюший и передает, что его ждут к обеду в отеле Конде. Отец семейства велит принести из буфетной карпа ценою в экю. «Посудите сами, — говорит он, — могу ли я отказаться от обеда с этими милыми детьми, которые задумали угостить меня сегодня и не получают никакого удовольствия, если им придется съесть это блюдо без меня. Прошу вас как можно лучше объяснить все это его светлости». Буало принимал время от времени все семейство у себя в Отейле. После вкусного обеда он вел Мадлон, самую младшую из девочек, остроумную и насмешливую, и ее брата Лионваля гулять в Булонский лес. Он пугал их, что заведет и бросит, и дурачился вместе с ними.

Двенадцать лет спустя, после того как Расин отказался от театра, он сочинил трагедию «Эсфирь» для г-жи де Ментенон, основательницы Сен-Сирского пансионата, где она воспитывала девиц благородного происхождения, «привезенных со всех концов королевства»<sup>1</sup>. Г-же де Ментенон хотелось «развлечь своих девочек и короля»<sup>2</sup>. Она заказала Расину пьесу со стихами, которые можно было бы переложить на музыку. Сюжет требовался благочестивый, ибо, когда девочек заставили однажды декламировать «Андромаху», они исполняли свои роли с излишней пылкостью. Расин принес свою «Эсфирь». Сюжет был выбран весьма искусно. Изобразить Эсфирь, возведенную провидением на ложе царя, которого она склоняет к мудрым и праведным делам, показать ее окруженной дочерьми Сиона, «которых она пестует, не жалея ни знаний своих, ни усердия», значило дать г-же де Ментенон лицезреть себя в зеркале, обладающем достаточной магией лести. Первое представление «Эсфири» состоялось в среду 26 января 1689 года, в Сен-Сире. Театр решено было устроить в большой прихожей перед дортуарами, во втором этаже, по главной Девичьей лестнице. По обеим сторонам сцены вдоль стен, вплотную к ним, стояли скамьи, предназначавшиеся для маленьких пансионеров, носивших красные, зеленые или голубые пояса в зависимости

---

<sup>1</sup> Предисловие к «Эсфири».

<sup>2</sup> Madame de la Fayette, Mémoires.

от возраста. Между скамьями было оставлено свободное пространство для посторонних зрителей. В первом ряду стульев находилось кресло короля. На актрисах были нарядные платья в персидском вкусе, украшенные жемчугом и бриллиантами и уже отслужившие службу в королевских балетах. Хрустальные люстры освещали зал; декорации были написаны Бореном, декоратором придворных спектаклей. Королевские музыканты аккомпанировали хорам, а Нивер, органист Сен-Сира, сидел за клавесином. Расин, хорошо декламировавший стихи, сам обучал своих простодушных актрис. Прежде чем выйти на сцену, они опускались на колени и произносили *Veni Creator*<sup>1</sup>. Одной из них, игравшей роль Элизы \*, изменила память. И это в присутствии короля. «Ах! Мадемуазель, — сказал Расин, — какой вред причиняете вы моей пьесе». Девочка расплакалась. Расин бросился к ней, стал утирать ей слезы своим платком и плакал вместе с ней.

Боссюэ присутствовал на этом представлении. Второй раз он был на последнем спектакле сезона, том самом, который смотрела г-жа де Севинье. Она писала: «Расин превзошел себя; он любит бога, как прежде любил своих любовниц». Все нравилось в «Эсфири»: сюжет, стихи, музыка, актрисы, в особенности же мадемуазель де Вилетт, чей слишком уж трогательный облик и слишком уж приятная игра внушали беспокорство начальнице Сен-Сира. Двор придавал этим представлениям не меньшее значение, чем Людовик XIV и г-жа де Ментенон. Они явились крупнейшим событием года. Министры оставляли самые срочные дела, чтобы пойти послушать сен-сирских барышень.

Расин написал для Сен-Сира еще одну трагедию — «Гофолию». Однако успехи «Эсфири» и лучи светского блеска, упавшие на пансионеров, воспитываемых в благочестии, вызвали недовольство духовных пастырей г-жи де Ментенон. Враги Расина вопили о соблазне. Король, старая, все больше и больше прислушивался к советам ханжей. Девушки продекламировали «Гофолию» два-три раза в Версале, в покоях г-жи де Мен-

---

<sup>1</sup> Гряди, господи (*лат.*).



тенон перед королем, принцами крови и очень узким кругом высокопоставленных особ, оставаясь в своих сен-сирских платьях, едва украшенных лентами и жемчугом. Несколько выступлений, внешне еще более скромных, еще более интимных, состоялось в «Голубом классе» — на этом все и кончилось. Пьеса, таким образом задушенная, подверглась насмешкам врагов поэта и осталась неизвестной публике.

Переменив образ жизни, Расин помирился со своими учителями. Прежде всего он поспешил получить прощение Николая, потому что его-то он больше всего оскорбил. Затем он упал к ногам Арно, и великий ученый опустился на колени, чтобы обнять кающегося поэта. Он часто посещал Пор-Рояль и ежегодно возил туда семью на процессию в праздник тела господня; он присутствовал при перенесении сердца Арно, умершего в изгнании \*. Услыхав, что с Николем случился удар, он тотчас приехал из Версаля. Ему поручались особо деликатные дела, он вел переписку монахинь, договаривался с парижским архиепископом.

Такая привязанность к людям, которых король считал гордецами и смутьянами, вызвала при дворе негодование. Г-жа де Ментенон была не из тех женщин, которая стала бы покровительствовать янсенисту. Если правда, что Буало, никогда ничего не скрывавший, не делал тайны и из своего уважения к отшельникам, то это не могло вызвать недовольства: чудак был известен своими грубоватыми манерами, они были ему свойственны, иных от него и не ждали, их в нем любили. Но малейшая независимость в поступках или словах изумляет, вызывает раздражение, воспринимается как измена, когда ее обнаруживает человек, наделенный умом, до тех пор всегда находившим способы быть приятным.

Расин дал Людовику XIV и другой повод к недовольству; обстоятельство это долгое время скрывалось как государственная тайна и стало известно нам лишь по семейным преданиям. Поэт составил по просьбе г-жи де Ментенон, знавшей, что он способен справляться с любым делом, записку о народной нищете, вызванной войнами. Король, застав ее за чтением

записки, взял рукопись, пробежал несколько строк и спросил, кто автор. Она ответила сперва, что обещала сохранить имя его в тайне, но Людовик XIV требовал повиновения даже от любимых женщин. Услыхав, что записку написал Расин, он с гневом сказал: «Он вообразил, будто все знает. Уж не хочет ли он стать министром на том основании, что он большой поэт?»

Провинившийся поэт, предупрежденный, чтобы он некоторое время не показывался при дворе, написал г-же де Ментенон умоляющее письмо, искал случая увидеться с нею, и они встретились тайно в одной из аллей Версальского парка: «Я причина вашего несчастья, — сказала она ему. — Дайте туче пройти, и я верну вам ясные дни». Расин отвечал с покорной грустью и в том горестно пророческом тоне, каким говорят люди, жизнь которых прожита и близится к концу. Вдруг послышался стук коляски. «Это король! — воскликнула г-жа де Ментенон. — Спрячьтесь!» Злосчастный придворный скрылся в кустах. То была последняя рана, полученная этим сердцем, столь искушенным в страданиях и тревогах. Осенью 1698 года Расин стал ощущать боль в правом боку. У него образовалась опухоль около ребер. Однажды утром, читая у себя в кабинете, он почувствовал сильную головную боль; он спустился к себе в спальню и сказал детям: «Мне кажется, что у меня небольшая лихорадка, но это пустяки. Я ненадолго прилягу». Больше он уже не вставал с постели. Болезнь была длительной. Этот человек, раздражавшийся от малейшего болезненного ощущения, вследствие своей повышенной чувствительности, на сей раз переносил с кроткой покорностью самые острые боли. Если прежде он испытывал страх смерти, особенно часто мучающий людей, наделенных живым воображением, то теперь, видя ее совсем рядом, он уже не боялся умереть. Это пример того, что священники называют «состоянием в благодати». Он веровал. Христианство являет свое торжество в смерти. Поскольку оно сводит весь смысл жизни человеческой к ее развязке, оно находит для этого случая действенные способы утешения.

Предвидя близкий конец, Расин позаботился о том, чтобы обеспечить своей семье некоторые средства, и пожелал, чтобы одновременно с ним была назначена пенсия и Буало. Обнимая друга, он сказал: «Я считаю за счастье умереть раньше вас». Он попросил Ролена взять на себя наблюдение за воспитанием его сына Луи. Врачи, которые долго не могли определить природу болезни, решили вскрыть гнойник. Когда старший сын сказал умирающему, что операция должна его спасти, Расин ответил: «На все воля господня, но, уверяю вас, если бы он дал мне выбрать между жизнью и смертью, не знаю еще, что бы я выбрал; мои счета с жизнью покончены». Потому ли, что к операции прибегли слишком поздно, или потому, что природа опухоли делала операцию бесполезной, но она не удалась. Священник церкви Сент-Андре-дез-Ар совершил над Расином соборование. Святой елей коснулся очей, уст, рук и стоп того, кто любил и изведal в жизни столько прекрасных и сладостных вещей, кто сочетал в себе гордость поэта и слабость мягкой натуры. Он скончался у себя дома на улице Марэ 21 апреля 1699 года между тремя и четырьмя часами утра. Ему было от роду пятьдесят девять лет и четыре месяца.

Расин просил, чтобы его похоронили на кладбище Загородного Пор-Рояля в изножии могилы г-на Амона. Гроб был положен выше, в изголовье этой могилы; ниже не оказалось свободного места. После осквернения Пор-Рояльских могил в 1709 году \* останки Жана Расина, исторгнутые из земли, им для себя избранной, были перенесены в церковь Сент-Этьен Дюмон, где они покоятся и поныне, между останками г-на де Саси и г-на Антуана Леметра.

В той же приходской церкви хранится и разбитый надгробный памятник с эпитафией Жану Расину \*, над которой изображены рыцарский шлем и щит с геральдическим лебедем.

Жан Расин жил в ту пору, когда французский гений достиг своего высшего развития, когда язык, окончательно сформировавшись, сохранял еще всю свежесть

юности, — он жил в золотой век. Он учился у античных поэтов, они служили ему источником наслаждения, и он тесно связал свое творчество с той исполненной разума и красоты греческой и латинской традицией, которая создала такие поэтические формы, как ода, эпос, трагедия, комедия. Мягкость характера, чувственность поэта, его увлечения, интересы и самые его слабости — все в нем располагало к познанию страстей, составляющих сущность трагедии, и к выражению чувства ужаса и сострадания.

Итак, время, воспитание, природные дарования — все способствовало тому, чтобы сделать из него самого совершенного из французских поэтов и самого великого нерушимостью своего величия.

## АЛЕН-РЕНЭ ЛЕСАЖ

Он работал, чтобы жить. Вот жизнь Лесажа, рассказанная в четырех словах, стилем пресловутого доктора Зеба, который в одну строку уместил всемирную историю\*.

Ален-Ренэ Лесаж родился в Сарзо, на острове Рюйс, 8 мая 1668 года, от мэтра Клода, служившего там в окружном суде, и Жанны, законной супруги сего мэтра Клода, урожденной Бренюга.

Когда Алену пришло время учиться, его отослали в Ваннский коллеж, которым управлял ректор Брошар, бывший иезуит и хороший наставник. Мальчику не исполнилось и десяти лет, когда, в 1677 году, отец взял его за руку, чтобы вместе проводить добрую Жанну Бренюга, скончавшуюся 11 сентября, до приходской церкви Сарзо, где ее похоронили в Керленской капелле. Затем ребенок, весь в черном, вернулся в Ванн и, потратив пять лет на изучение «Наставлений» Квинтилиана и «Жизнеописаний» Плутарха, снова, волею судьбы, отправился в Керленскую часовню, где мэтра Клода похоронили рядом с его женой.

Усопший оставил сыну небольшое состояние; но опекуном был назначен брат Клода, Габриель Лесаж, и он разорил своего питомца.

Осиротевший юноша явился в Париж около 1690 года с намерением слушать в университете лекции по праву и философии. В большом городе мы его теряем из виду. Надо полагать, что он занимался не только «Практическим руководством по французской юриспруденции» и правилами построения силлогизма. Он отличался живым умом, крепким сложением, приятной наружностью. Говорят, что некая знатная дама не оставила всего этого без внимания. Напекают на любовную связь; но, в общем, о его студенческих похождениях ничего не известно. Если б он их рассказал, они остались бы в памяти у всех, и из старинной книги с красным обрезом выглянули бы очаровательные грешницы, простодушные и все же бессмертные. Но те, что, подобно Лесажу, постоянно забывают о самом себе, не пишут исповедей. Нужна большая доля гордости, чтобы унижать себя публично.

Впрочем, он рано покончил с интрижками, завязывающимися на народных гуляньях. Большая любовь захватила его и прошла через всю его жизнь.

Поселясь на той самой улице Старой Голубятни, где Лафонтен, Шапель и Расин собирались у Буало, молодой Ален-Ренэ часто навещал некоего буржуа, проживавшего в Ситэ, отца красивой и добродетельной девушки; она звалась Марией. Он полюбил ее, она ответила взаимностью. Досказать этот роман можно самыми простыми словами. Все его эпизоды отмечены в записях нескольких парижских приходов.

Семнадцатого августа 1694 года архиепископ парижский, по ходатайству Лесажа, разрешил ему без предварительных церковных оглашений вступить в брак с девицей Марией-Элизабет Гюйяр, дочерью Андре Гюйяра, парижского буржуа, и его супруги Марии Карлос, проживавших совместно в приходе св. Варфоломея.

В силу второго разрешения, данного 27 сентября того же года, венчание состоялось на следующий день в церкви св. Сульпиция — прихода, в котором тогда числился Лесаж и куда с того времени перешли и Гюйяры.

Марии минуло двадцать два года, Алену-Ренэ —

двадцать семь лет. Он состоял адвокатом при Парижском парламенте. У него не было судебных дел и, по милости дядюшки Габриеля, никаких других доходов. Мария принесла в приданое свою молодость, красоту, добродетель. Они были совсем не приметны, эти бедные дети, и так основательно затерялись в обширном королевстве, среди толпы горожан в темных одеждах, что в наши дни невозможно отыскать их след. Данше, товарищ Алена-Ренэ по университету, добрый друг Данше, отличный гуманист и хороший человек, часто бывал у молодой четы; но, нуждаясь не менее их, он отправился преподавать в Шартр.

Предполагают, что Ален-Ренэ уехал с женой в Витре и стал там секретарем дельца, взявшего на откуп не то денежные повинности крестьян, не то налог на соль. Достоверно лишь одно: в 1698 году он возвратился в Париж и поселился неподалеку от той самой церкви св. Сульпиция, где венчался и где 24 апреля был окрещен его сын Жюль-Франсуа. Лесаж нашел покровителя в лице г-на де Лионн, игумена аббатств Мармутье и Шали, приора Сен-Мартен-де-Шан, оказавшего ему некоторую помощь или по меньшей мере нравственную поддержку и уговорившего его перебраться на другой берег Сены, поближе к нему; там, в церкви св. Евстахия, 29 февраля 1700 года был окрещен третий сын Лесажа, Франсуа-Антуан.

Два года спустя у него родилась дочь. Короче говоря, он был обременен женой и четырьмя детьми, и все его имущество заключалось в его голове, умной и хорошо оснащенной.

Он очинил перо уже в первый год супружеской жизни, дабы извлечь из своей чернильницы некоторый почет, а главное — некоторую выгоду. Не придумав ничего лучшего, как перевести письма ритора Аристенета, он составил из них тощий томик, который стараниями его друга Данше был издан в Шартре. Никто не обратил внимания на эту неточную копию весьма посредственного оригинала. Нужно было искать другой источник, напасть на другую золотоносную жилу. Говорят, не кто иной, как аббат де Лионн, указал Лесажу, где копать. Он посоветовал ему изучить испанский

язык, чтобы перенести во Францию литературу, созданную за Пиренеями. Приор Сен-Мартен-де-Шан, несомненно, имел в виду комедии плаща и шпаги, произведения соперников и подражателей Кальдерона. Сначала Лесажу не повезло. Он перевел три-четыре трагедии и один роман без всякого успеха. Наконец 1707 год разрушил злые чары. В этот год Лесаж дал актерам две комедии: большую — «Дон Сезар Юрсэн» и маленькую — «Криспен — соперник своего господина». Большая, являвшаяся переводом, имела успех при дворе, а маленькая, собственного сочинения, — у городской публики. В том же году он издал у Барбена «Хромого беса» — роман, сюжет которого заимствован из Испании, но стиль — единственное, что важно, — чисто французский.

Все, кто умел читать, захотели прочесть «Хромого беса». В этой книге находили новые острые приемы изображения человеческой природы, изумительную способность схватывать самую суть явлений, и это возбудило всеобщий интерес. Даже мальчишка-слуга Буало и тот, в его Отейльском доме, тайком пожирал этот роман. Буало пригрозил выгнать мальчишку, если тот не отнесет немедленно книгу туда, где он ее взял. Добропорядочный Буало не желал проспаться хотя бы одну ночь под тем же кровом, что «Хромой бес». Весьма благоприятный для новой книги признак, если она не нравится старым критикам! Считайте, коль скоро они ее одобряют, что она не содержит ничего нового; если же они ополчаются на нее — стало быть, она оригинальна и заслуживает прочтения. Второе издание «Хромого беса», вышедшее в том же году, разошлось еще быстрее первого. Два молодых сеньора поспорили из-за последнего экземпляра и обнажили шпаги на ступенях св. Капеллы.

Семья не сидела без хлеба. Но когда этот хлеб был дочиста съеден, Лесажу пришлось снова изощрять свой ум. Он дал актерам «Тюркаре». Пьеса оказалась шедевром; поэтому они потребовали, чтобы Лесаж переделал ее по их вкусу, и не соизволили ее сыграть. Они вызвали в Лесаже омерзение и отвратили его от театра. «Тюркаре» задевал за живое общество того времени.



То была сатира на финансистов. Преемники Монторонов и Ласаблиеров задавали тон. Они всюду воровали, все оплачивали и всем владели.

«Тюркаре» читали в салонах. Герцогиня Бульонская, у которой собирались светские остроумцы, пожелала прослушать пьесу. Лесаж сильно задержался в суде из-за тяжбы, которую проиграл, и с большим опозданием пришел к герцогине; она приняла его холодно и наговорила ему колкостей. «Сударыня, — ответил ей простак Лесаж, — по моей вине вы потеряли два часа; будет только справедливо, если я возмещу вам этот ущерб». Он сунул рукопись в карман и ушел, прежде чем его успели удержать.

В 1715 году умер Людовик XIV и вышел «Жиль Блас». Действие этой «Комедии в ста различных действиях» (назовем ее так, как было названо творение Лафонтена) происходит в Испании; куртизанки в мантильях, сеньоры, величественные в своей бедности, нищие, вооруженные пищалями, все они в совершенстве разыгрывают там свои роли. Но подлинным ее предметом является человек, а он, в сущности, одинаков и в Испании и во Франции. Здесь, как и там, за великолепием немногих таится нищета всех, и плуты водятся в изобилии. Читая «Жиль Бласа», как далеки мы от «Франсиона» \*, от «Комического романа», от «Буржуазного романа!» \*

Благопристойность, учтивость, хороший тон господствуют в шедевре Лесажа от начала до самого конца, и, пожалуй, хотелось бы, чтобы стиль его был менее ровен, остроумие — менее сдержанно, чтобы иногда в нем проскальзывал элемент — не бурлеска, отнюдь нет, а плутовского романа.

Лесаж уже был глух, когда он писал эту прекрасную книгу, где в точности запечатлен шепот самолюбия и страстей, даже едва слышный. И эта книга создана человеком, который работал, чтобы жить! Дядюшка Габриель, обобравший своего племянника, и есть дядюшка «Тюркаре» и «Жиль Бласа».

Лесажу минуло сорок семь лет, он — автор двух или трех шедевров; он сотворил чудо — замечательный роман. Из своей головы, породившей целый мир, ему

приходится неустанно черпать то, что может дать пропитание его семье. Он работает и будет работать для ярмарочного театра. Там он не сталкивается с надменной тупостью актеров. Там потребляют пьесы, и он будет их поставлять. Будет мастерить грубоватые фарсы, которые Арлекин, Коломбина, Скарамуш и Пьерро разыгрывают для лакеев и горничных в балагане, между ларьком торговли веерами и фургоном цирюльника. С помощью нескольких сметливых товарищей он состряпает двадцать, тридцать, сорок, шестьдесят, семьдесят арлекинад. Это ходкий товар. Известно, о чем нужно говорить, чтобы толпа смеялась. Некоторые темы обладают свойством увеселять. Иной раз в ярмарочных куплетах рифма, намеренно неточная, подсказывает зрителю нужное, то есть непристойное словцо. Однажды актриса нечаянно произнесла такое словцо — и была на несколько дней отправлена в Сальпетриер \*. Регент \*, человек умный и свободный от предрассудков, захотел в свое удовольствие послушать эти соленные шутки и вызвал ярмарочных комедиантов к себе в Пале-Рояль.

В конце концов непонятно, почему смеются над обманутыми мужьями и над всем тем, что касается мелочей супружеской жизни, но еще менее понятно, почему бы над этим не смеяться. Поневоле начинаешь думать, что животному, именуемому человеком, свойственны некоторые смешные черты. Именно этим оно наиболее разительно отличается от всех прочих живых существ.

Вольтер заявил в печати, что «Жиль Блас» переведен с испанского. По-видимому, он был в этом уверен, и вряд ли можно предположить, что он поступил так в отместку за едкий каламбур Арлекина, который, подымая с подмостков книгу, восклицает: «Я все подбираю, как Вольтер». Однако Вольтер мог ошибиться, и испанский подлинник «Жиль Бласа» не обнаружен до сих пор.

Но для того, чтобы жить безбедно, недостаточно выводить на сцену Скарамуша и Кассандра \*. Старейший Лесаж переводит, подражает, компилирует. С 1717 по 1721 год он издает «Влюбленного Роланда» \*, в 1732 году

выходят «Гусман из Альфараче» и «Приключения господина Робера, по прозванию Бошен». С этого времени публике стало ясно, что Лесаж выдыхается. Некий наблюдательный читатель заносит в январе 1733 года в свой дневник:

«Лесаж, автор «Жиль Бласа», совсем недавно выпустил в свет «Жизнь господина де Бошена, капитана флибустьеров». Раз это сочинение г-на Лесажа, оно никак не может быть плохо написано, но нетрудно заметить по тем сюжетам, которые этот автор избирает с некоторых пор, что он теперь работает только ради того, чтобы жить, и, следовательно, уже не волен тратить на свои книги много труда и времени. Шесть-семь лет назад г-жа Рибу \* дала ему аванс в сто пистолей под четвертый том «Жиль Бласа», который еще не окончен и будет окончен не скоро».

Да, он уже не волен тратить на свои книги много труда и времени. В 1734 году он издал «Историю Эстевашила Гонсалеса», год спустя «День трех Парок», в 1736 году «Бакалавра из Саламанки». Незадачливый великий человек непрерывно черпал из своих запасов, а они уже иссякали. В 1740 году в «Найденном чемодане» он вновь поместил «Письма Аристенета», которые в молодости перевел, еще не имея достаточного опыта. Наконец в 1743 году он дошел до того, что издал томик под названием «Занимательный сборник острог». Невзирая на это, он пользовался вполне заслуженной репутацией выдающегося писателя, и все, кто его знал, любили его, ибо он был столь же добр, сколь умен. Беседовать с ним было так приятно, что когда он сидел в кофейне на улице св. Иакова, где был завсегда, все присутствующие собирались вокруг него, и многие, чтобы не упустить ни слова, взбирались на столы и стулья. Но он все же остался бедняком. Он не был в состоянии дать приданое своей дочери; она так и не вышла замуж, и ей суждено было умереть в убежище для бедных. Второй его сын был каноником. Два других — актерами; он порвал с ними. Самый младший, Питтенек, играл в ярмарочных балаганах; старший, Монмениль, срывал аплодисменты на сцене Французской

Комедии, в ролях слуг и крестьян. Достойный уважения по своему таланту и духовному складу, он позднее сблизился с отцом и вскоре после примирения, сорока восьми лет от роду, 8 сентября 1743 года внезапно умер на охоте в Ла Виллет. То был тяжкий удар для отца. Лесаж, по словам Вуазнона, хорошо его знавшего, «слишком старый, чтобы работать, слишком гордый, чтобы просить, слишком порядочный, чтобы заниматься», — удалился с женой в Булонь-сюр-Мер, к сыну канонику. Из письма, которое кавалер де Трессан без малого сорок лет спустя написал неизвестному лицу, мы узнаем многое о последних днях жизни почтенного старца.

*Париж, января 20 дня 1780 г.*

Вы просите меня дать вам некоторые сведения о последних днях знаменитого автора «Жиль Бласа» и других высоко ценимых произведений. Вот, сударь, все, что я могу вам сообщить. После битвы при Фонтенуа, в конце 1745 года, поскольку покойный король никого не назначил служить при маршале Ришелье, события и новые приказы задержали меня в Булонь-сюр-Мер, где я и остался в звании военного коменданта областей Булонь, Понтье и Пикардии.

Узнав, что г-н Лесаж, достигший почти восьмидесятилетнего возраста, и его супруга, почти одних с ним лет, проживают в Булони, я первым делом отправился к ним, чтобы воочию увидеть, в каком они положении. Оказалось, что они живут у сына, каноника булонского собора; никогда еще сыновняя привязанность не выражалась в такой нежной заботе о последних днях отца и матери, не имевших почти никаких средств, кроме весьма скромных доходов их сына. Г-н аббат Лесаж пользовался в Булони большим уважением: своими добродетелями, умом, готовностью служить ближнему он снискал любовь достойного своего епископа, г-на де Пресси, своих собратьев и всего общества. Я редко видал сходство столь разительное, как между аббатом Лесажем и его братом г-ном Монменилем; аббат даже обладал известной долей способностей и наиболее привлекательных свойств брата: никто не читал стихов с большей приятностью; он в совершенстве владел столь редким искусством разнообразить интонации, вводить те краткие паузы, которые, отнюдь не будучи декламационными, приобщают слушателей к чувствам и красотам, характерным для данного произведения.

Я знал г-на Монмениля и скорбел о его кончине; я исполнился уважения и дружелюбия к его брату; и покойная королева \*, после того как я имел честь доложить ей о положении аббата и скудости его средств, выхлопотала ему своего рода пенсию — приход.

Меня предупредили, чтобы я посетил г-на Лесажа не раньше полудня; и на примере этого старца я имел возможность наблюдать, второй раз в жизни, то воздействие, которое состояние атмосферы оказывает на наши органы в печальные дни одряхления.

Господин Лесаж, просыпавшийся, как только солнце поднималось на горизонте, оживлялся, становился бодрее, выказывал большую остроту чувств по мере того, как светило приближалось к зениту; но как только оно начинало клониться к закату, восприимчивость старца, свет его ума, деятельность его чувств соответственно слабели, и как только солнце спускалось несколько ниже горизонта, господин Лесаж впадал в своего рода летаргию, из которой его даже не пытались вывести.

Я помнил о том, что его следует навещать лишь в те часы дня, когда его ум наиболее ясен; то были послеобеденные часы; я не мог без умиления смотреть на этого достойного старца, который сохранил веселость и учтивость времен своего расцвета, а иной раз даже проявлял фантазию, отличавшую автора «Хромого беса» и «Тюркаре»; но однажды, придя позже обычного, я с прискорбием заметил, что его речь начинает походить на последнюю проповедь архиепископа Гранадского \*, — и удалился.

Господин Лесаж почти совсем оглох; я всегда заставал его сидевшим у стола, на котором лежал большой слуховой рожок; иной раз он хватал его; но когда он не надеялся, что беседа с посетителем будет приятна, рожок оставался на столе; в бытность свою комендантом области я с удовольствием видел, что он всегда пользуется им, разговаривая со мной, и этот опыт помог мне впоследствии выносить необычайное рвение, с которым пользовался рожком мой дорогой и прославленный друг, г-н де ла Кондамин.

Господин Лесаж скончался зимой 1746—1747 года. По долгу чести и службы я присутствовал на его похоронах вместе со старшими в чине офицерами, бывшими под моим началом. Его супруга не намного пережила его. Аббат Лесаж скончался несколько лет спустя, оплакиваемый его капитулом и просвещенным обществом, которое он восхищал своими добродетелями. Имею честь оставаться, и проч. и проч.

*Граф де Трессан,  
генерал-лейтенант королевской армии, член Французской Академии и Академии наук.*

Лесаж умер 17 ноября 1747 года, прожив трудовую жизнь, чистую, как его душа, тяжкую, как нужда, с которой он неустанно боролся и которую никогда не мог одолеть.

## ПРИКЛЮЧЕНИЯ АББАТА ПРЕВО

Городок Эден, расположенный в долине реки Канш, вплоть до самого 1659 года жестоко терпел от войн: \* вот почему предусмотрительно опоясался он кольцом валов и рвами. Эден незадолго перед тем был по Пиренейскому договору присоединен к Франции. Граждане города, трудолюбивые, как все северяне, варили мыло, дубили кожу, валяли войлок, а по праздничным дням выходили всей семьей погулять на утопавшие в зелени дороги, тянувшиеся среди полей пшеницы и сурепицы. У кого имелись сады, сажали деревья — и мудро поступали.

Льевен Прево был королевским прокурором области. На его обязанности лежал надзор за общественным порядком в подведомственном ему округе, посредничество в церковных тяжбах и в делах малолетних; он слыл большим знатоком по части крючкотворства. Женившись на девице Марии Дюкле, он имел от этого брака пятерых сыновей, которых воспитывал по мере сил, будучи с утра до ночи занят на королевской службе.

Антуан-Франсуа, второй из пяти братьев, появился на белый свет, где судьба уготовила ему столько приключений, 1 апреля 1697 года, чем подал, надо думать, судейской братии повод не к одной смачной шутке.

В те времена не упускали случая надуть друг друга 1 апреля; так утверждает Треву \*. Когда мальчик подрос и достиг надлежащего возраста, его отдали в эденский коллеж, во главе которого стояли в ту пору иезуиты. Он старательно учил все, что требовалось, и хорошо усвоил «Novus apparatus»<sup>1</sup> и другие книги отца Ювенция, бывшие в ту пору новинками. Отцы иезуиты, заметив его способности, задумали удержать его при себе. Они познакомили его с житиями святых ордена и историей миссионерства и набили ему голову рассказами о чудесах и мученичествах. Они действовали, по своему обыкновению, вкрадчиво и настойчиво, пуская в ход то ласки, то угрозы, смотря по обстоятельствам, и всецело завладели ребенком. Г-н прокурор, не желая, чтобы сын уступал другим в учености, послал его в Париж для повторного прохождения курса риторики в Гаркурском коллеже. Весь цвет учащихся королевства стекался сюда, дабы постигнуть сокровеннейшие красоты латинского красноречия, и не вина учителей коллежа, если не все их ученики становились маленькими Квинтилианами. Антуан сделался примерно кем-то в этом роде.

Ему исполнилось пятнадцать лет, когда, сохранив всю чистоту и невинность, он покинул Париж и отправился, с согласия отца, в Ла Флеш для прохождения монашеского искуса. Он пылал любовью к Иисусу. Есть такие пламенные натуры: они горят, не угасая, но огонь их меняет свою пищу. Не прошло и полугода, как юный неофит, самовольно оставив монастырь, предстал перед изумленным отцом. Городок Эден, вероятно, не дал Прево всего того, чего он ждал от жизни и женщин. Г-н прокурор обошелся с ним сурово, поговаривали даже, что между ними происходили крупные столкновения. И вот, в шестнадцать лет, Антуан снова разочаровывается в мирской жизни и снова стучится в двери к иезуитам. Иезуиты Ла Флеша не пожелали его принять: они не надеялись удержать его, вернее же, зная его упорство, думали, чиня препятствия, заставить его с большой стойкостью следо-

---

<sup>1</sup> «Новое приспособление» (лат.).

вать своему призванию. Он и в самом деле заупрямился; он решил просить разрешения у самого генерала и, несмотря на то, что был еще слишком юн для такого дальнего путешествия, отправился в Рим, отважно пустившись в путь один. Но не успел он еще покинуть пределов Франции, как заболел. Кошелек у него был тощий, так как почтенные хозяева гостиниц сумели без особого труда опустошить его. Благодаря любезности одного офицера юношу положили в больницу, где, подкрепившись разными отварами, он вскоре снова стал бодрым и здоровым. Видя, какой он цветущий, офицер пожалел, что такой молодец не служит отечеству. Известно, какими способами сержанты-вербовщики набирали в ту пору людей в армию. Они предлагали им выпить за здоровье короля, надевали на них полковую форменную шляпу, а засим объявляли, что они — солдаты и, ежели будут живы и не дадут маху, когда-нибудь дослужатся до сержантского, а то и до капитанского чина. Они выдавали новобранцу полагавшееся ему жалование и приглашали с толком потратить эти деньги, выпив вместе с ними за полковое знамя. Офицер, поместивший Прево в больницу, церемонился еще и того меньше: он заявил, что снабдил мальчика деньгами только потому, что тот сам попросился на военную службу. Прево волей-неволей оказался солдатом. Его заставляли маршировать; выдали мундир белого цвета; завили над ушами букли, а сзади уложили волосы в черный кошель. Он упражнялся в стрельбе из мушкета, ел из солдатского котла, спал на походной постели, ходил в наряды. Его послали бы воевать, так как все еще шла война. Разозлившись, он дезертировал<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> В данном случае я пользуюсь указаниями одного, правда не вполне надежного, поставщика новостей: автора «Journal de la Cour de Paris» («Revue rétrospective» de 1836). Я пренебрег тем, что рассказывает г. Амбруаз-Фирмен Дидо, со слов своего деда Франсуа Дидо, о столкновении, произошедшем между прокурором и сыном на лестнице. Не совсем ясно, к какому времени следует отнести эту сцену; к тому же Франсуа Дидо познакомился с аббатом, когда тот был уже стар (см. «Encyclopédie du XIX siècle», статью «Tyrographie»). При составлении настоящей заметки я охотно обращался к



После заключения мира, смерти короля и назначения герцога Орлеанского регентом юный дезертир был прощен. Он перестал скрываться и вернулся в монастырь. Его приняли с распростертыми объятиями. Ни единого упрека — только улыбки, только ласковые слова, только слезы умиления. Добрейшие отцы понимали, что людей строгостями уже не удержать. Блудный сын, растроганный такой добротой, проливал слезы по поводу пылкой встречи, устроенной ему духовными его отцами. В порыве первого рвения он сочинил латинскую оду в честь св. Франсуа-Ксавье \*, просветителя Индии. Разумеется, он насочинял бы их и в честь всех прочих святых Общества Иисуса и не только стал бы возносить им хвалу, но стал бы и подражать, прожил бы жизнь, как апостол, и умер бы в фимиаме святости в Сиаме, Кантоне, а может быть, где-нибудь и еще подальше, — не будь в королевстве женщин. Но этот дородный, полный жизненных сил молодец, веселого, сангвинического характера, имел слабость к прекрасному полу. Не умея лицемерить, не научившись одновременно служить богу и девицам, он перелез через монастырскую стену и отправился радоваться жизни со всеми встречными Манонами. Он нравился им не менее, чем они ему, ибо обладал красивым лицом, черными выразительными глазами и был неугомным шалуном.

Вернувшись, таким образом, к мирской жизни, он вполне резонно рассудил, что мундир с синими отворотами ему куда больше к лицу, нежели сутана, и возвратился в полк. На этот раз, как он впоследствии говорил, служить было и приятнее и выгоднее, чем в первый. Это означает, что он служил офицером: происхождение позволяло ему быть им. Он понюхал пороху, предавался ратным забавам и любви. Лучшей жизни и

---

анонимному очерку, помещенному в виде предисловия к «Oeuvres choisies de l'abbé Prévost», Amsterdam et Paris, 1703. Эттинже приписывает указанное исследование Пьеру-Бернару д'Эри, родившемуся в 1756 г. в Оксере. Это последнее сведение почерпнуто мною из безукоризненного труда Анри Ариса («Bibliographie de Manon Lescaut», Paris, D. Morgant et C. Fatout, 1877).

не придумаешь! Однако не все мушкетеры были людьми порядочными. Среди тех, с которыми ему доводилось играть по кабачкам в карты, встречались и мошенники. Очистив в два счета его кошелек, они исчезали, оставляя его в большом затруднении, как расплатиться за пирушку. Случалось ему попадать и в скверные истории. Г-н прокурор, отличавшийся крутым нравом, пришел в ярость из-за очередной затей сына. А тот не считал даже нужным обратиться к нему и уехал в Голландию. Здесь он встретился с девушкой, показавшейся ему самой прекрасной на свете. Он сразу воспылал к ней неопишуемой страстью. Девушка изменила ему. Он считал себя несчастнейшим из людей, да и на самом деле был несчастнейшим человеком, поскольку чувствовал себя таким. Он думал, что никогда не утешится, но в этом ошибался. В отчаянии он отказывается от своей возлюбленной, от голландок, от всех прочих женщин, от всех радостей жизни и запирается в монастыре, принадлежавшем бенедиктинскому ордену св. Мавра. Ему было тогда двадцать два года, и он уже дважды побывал солдатом и дважды иезуитом.

Бенедиктинцы, у которых шла тогда распря с иезуитами, ухватились за него, как за добычу, отнятую у неприятеля. Его появление вызвало шумный восторг. Посудите сами — ведь они похищали овцу из стада св. Игнатия \*. Прево говорил: «Я мертв. Вот моя могила». Трудно было превзойти его в смирении. Он прошел годовой искуc, в продолжение которого о нем никто ничего не знал. Г-н прокурор думал, что сына где-то носят черти, к которым он его послал, между тем как сын, распростершись на полу кельи, натруждал себе губы, не отрывая их от распятия.

По прошествии года Антуан Прево принес, со всей надлежащей торжественностью и по всей установленной форме, три монашеских обета: бедности, послушания и целомудрия. Он лежал, закрытый черным покровом, и по нем отслужили панихиду.

Конгрегация св. Мавра, генерал которой имел резиденцию в аббатстве Сен-Жермен-де-Пре в Париже, издавна вела большую научную работу. В каждом монастыре была библиотека; все монахи писали труды,

меж тем как послушники готовили из овощей пищу и убрали залы. Наиболее ученые из монахов освобождались от обязательного посещения служб, дабы не терять в *otemus*<sup>1</sup> времени, которое могло быть более целесообразно использовано на ученые изыскания. Однако иезуиты нарушали покой этого царства книг, выключившая, где только могли, до альковов включительно, тайные приказы об аресте наиболее выдающихся из бенедиктинцев.

Юный Прево вступил в конгрегацию в тот момент, когда пламя вражды только начинало разгораться. Своим присутствием он подлил масла в огонь. Кем был он в глазах отцов иезуитов, как не изменником, перебежчиком, вероотступником, дьявольским внушением переметнувшимся из лона, из самого сердца Иисусова, в мастерскую лжи, в лабораторию ереси? Ибо иезуиты обвиняли своих соперников в янсенизме, а это был самый верный способ сгноить их в Бастилии или, в лучшем случае, обречь на голодную смерть в Кельне или Гааге. Не исключено, впрочем, что некоторые основания для подобного обвинения в конечном счете и имелись. Ересь коварна, и против чар ее не всегда могут устоять и сами ученые богословы. *Tradidit mundum disputationibus eorum*<sup>2</sup>! Но это дело не наше.

Дон \* Прево, облаченный в рясу с черными наплечниками, присвоенными чадам св. Бенедикта, был послан генералом в Сент-Уэнское аббатство в Руан. В этом городе жил в ту пору один иезуит, именовавшийся Брюном, как медведь в старинном романе, и такой же грубиян, как тот. Брюн пронюхал о молодом бенедиктинце и разворчался по его адресу. Прево ответил благопристойно на неблагоприятные пасквили противника. Но этим Брюна трудно было пронять. Он заговорил в еще более резком тоне. Прево, как мы могли уже убедиться, человек горячий, рассердился и запальчиво ответил *factum*<sup>3</sup>ом, который снес типографу. Впрочем, он тотчас раскаялся в своей несдержанности и потребовал рукопись обратно от книготорговца, который,

<sup>1</sup> В молитвах (*лат.*).

<sup>2</sup> Он предоставил мир его разногласиям (*лат.*).

<sup>3</sup> Памфлетом (*лат.*).

конечно, предпочел бы ее не возвращать, ибо пасквили во все времена бойко расходятся, ежели они бойко клеветают, а человек всегда рад нападкам на ближнего. Дон Прево бросил свое сочинение в огонь. Таким образом, злобный иезуит, имея дело с благородным человеком, сохранил за собой последнее слово и мог повсюду говорить, что заставил своего противника замолчать.

Из Сент-Уэна дон Прево отправился в Амьен, чтобы принять там священнический сан. В омофоре, стихаре, епитрахили и ораре, держа в левой руке сложное священническое облачение, а в правой — свечу, приблизился он к алтарю. И епископ, обратись к нему, возгласил: «Примите ношу господню, ибо не тяжела ноша его и легко бремя его». «Связуют меня ласковые узы русских кудрей и нежных рук», — восклицает латинский элегический поэт. Пусть узы, это неважно! Важно любить их, непрестанно любить их.

Затем дон Прево был послан в Бек, близ Берне, читать курс теологии на кафедре, основанной Ансельмом и Ланфранком. В далекие времена Ансельма философия была служанкой теологии: *philosophia, ancilla theologiae*. К моменту появления дона Прево эта иерархия начинала уже рушиться. Несмотря на всю свою набожность, молодой богослов был не в силах противиться тенденциям века. Но не все ли равно, чему он обучал кучку монахов в этом полуразрушенном аббатстве. Из Бека он переехал в Сен-Жермэ, где преподавал в коллеже словесность. Надо думать, что он вел это обучение с той учтивостью и благопристойностью, печать которых лежит на всем, что он писал позднее. Жителям Эврё нужен был проповедник; они обратились к бенедиктинцам с просьбой прислать проповедника, и те направили в Эврё дона Прево. Постом он выступал с проповедью в соборе. Он говорил о соблазнах мира сего, о слабостях плоти, как человек в сих делах искушенный, и местные дамы с удовольствием слушали монаха столь приятной наружности, столь приятно говорившего о грехе.

Таким образом, дону Прево с высоты своей кафедры довелось увидеть великим постом немало умиленных, увлажненных слезами голубых и черных глаз, устрем-

ленных на него из-под напудренных локонов, кружев и бантов. Подобное зрелище сулило монаху его склада немало тех снов, что, говорят, посещают и набожнейших отшельников. Он заплатил дань этим снам в своей келье. Соблазнительные и страшные видения были частыми его гостями, и впоследствии он не мог устоять, чтобы не поведать об этих кошмарах в своих романах. Как было ему, молодому, здоровому, несущему на иноческую подушку еще неостывшие воспоминания о ночах, проведенных в Голландии, не видеть у своего ложа кортеж всех искушений св. Антония?

Нечистые видения всюду и всегда предмет ужаса для доброго монаха. Он молится, чтобы отогнать их. Он пытается постом, бичеванием, власяницей предупредить их появление. Но тщетно! С наступлением вечера смятение и тревога охватывают его. Песнопения, установленные на каждый день, выражают эту тревогу. В часы вечерних служб, когда солнце клонится к закату, монахи хором молят небо, зримое сияние которого их покидает, об избавлении от искушений ночи.

Repelle a servis tuis  
Quidquid per immunditiam  
Aut moribus se suggerit,  
Aut actibus se interserit <sup>1</sup>.

Бывали ли когда-нибудь услышаны эти молитвы? Нет. Монахи просыпаются назавтра полные стыда и отвращения. Они торопятся стряхнуть с себя греховный сон. «Да будем чисты!» — это первое пожелание утренних молитв.

Ne corpus adsit sordidum <sup>2</sup>.

Только заря могла обратить в бегство адское полчище «*caterva daemonum*». В прохладе и ясности раннего утра, свершая службу, иноки поют славословия:

Aurora jam spargit polum,  
Terris dies illabitur,

---

<sup>1</sup> Пусть своих рабов создатель  
Оградит от всех соблазнов,  
От порочных помышлений,  
От греховных искушений (*лат.*).

<sup>2</sup> Да очистим плоть от скверны (*лат.*).

Lucis resultat spiculum:  
Discedat omne lubricum,  
Phantasma noctis discedat <sup>1</sup>.

Они отгоняют прочь призраки, возникшие во мраке, но призраки вернутся вместе с мраком.

Прево был христианином, и хотя его «Кливленд» считался апологией естественной религии \*, и хотя его обвиняли в том, что в бытность свою в Голландии он будто бы перешел в протестантское вероисповедание, — я не допускаю мысли, чтобы он на самом деле испытал в жизни хоть единый час сомнений. Да что и говорить! Конечно, он верил, и вера его была тем полнее, тем незыблемее, что ее никогда не колебали размышления. Обладая богатым воображением, он принадлежал к людям, меньше всего склонным к умствованиям и философствованию. Он верил и в таинства, и в тайны, и в чудеса, и в ад; он принимал на веру решительно все, что бы ему ни рассказывали; он был убежден, что сны содержат посылаемые небом предупреждения; он не сомневался в целительной силе тайного врачевания ран, включающего, между прочим, и такой прием, как чтение второго куплета гимна «Vexilla Regis»; <sup>2</sup> с троекратным осенением себя крестным знаменем на трех словах: «*microne dīro lance æ*»; <sup>3</sup> он полагал, что существует порошок, при помощи которого можно на месте находящегося пред вами человека увидеть медведя, что пепел волчьей печени останавливает лошадь на бегу, и, наконец, обожал рассказы о привидениях, причем верил даже самым необычайным.

Закончив чтение великопостных проповедей, он перешел в церковь Белого покрывала в Париже, где в свою очередь выступал с проповедями и, как говорят, весьма удачно. Отсюда его перевели в аббатство Сен-Жермен-де-Пре, главную резиденцию Ордена, объединявшую самых ученых монахов. Ему поручили состав-

---

<sup>1</sup> В небесах заря алеет,  
День спускается на землю  
И лучи, как стрелы, мечет.  
Отступают силы ада,  
Тают призраки ночные (лат.).

<sup>2</sup> «Знамена Царя» \* (лат.).

<sup>3</sup> Жестоким острием пики (лат.).

ление «Gallia Christiana»<sup>1</sup> — обширного компилятивного труда по истории церкви, начатого в 1715 году и доведенного к тому времени до четвертого тома. Он принялся за работу с увлечением, с каким всегда отдавался делу, он подбирал материалы, компилировал, сочинял сам, он исписал свое перо, исчерпал до дна свою чернильницу и пополнил издание почти целым томом, одним из тех in-folio компактной печати, какое даже у бенедиктинцев делалось не всякий год. Трудно сказать, был ли этот том хуже или лучше остальных: «Gallia Christiana» — сочинение весьма ученое.

Когда Прево уставал писать по-латыни, он писал по-французски. Он сочинил в своей келье роман, или, вернее, двадцать романов, ибо «Записки благородного человека» содержат такое количество приключений, что их хватило бы на двадцать романов с самостоятельной завязкой и развязкой каждый. Неутомимый Прево еще не понимал тогда, что книге необходим финал. В своей книге он воздает самую громкую хвалу морали и религии, но заполняет ее также картинами нечестивого характера, а порой с ее страниц доносятся потрясающие крики страсти. В нем воскресала тяга к мирской жизни. Итак, чтобы убить в себе ветхого Адама, недостаточно было зарыться в пыль монастырской библиотеки.

Предосторожности пустые! Рок жестокий! —

как говорит Расин, любимый поэт аббата Прево. Он стал монахом с отчаянья; отчаянье прошло, а клубок остался.

В таком душевном состоянии он написал письмо к одному из своих братьев, где говорит:

«Я знаю, как слабо мое сердце, и понимаю, сколь важно ради его покоя не отдаваться занятиям бесплодной наукой, способной лишь иссушить и истомить его. Если я хочу обрести счастье в служении религии, я должен сохранить во всей силе ощущение благодати, приведшей меня к ней. Но как трудно вернуть себе и малую толику твердости, когда слабость вошла в при-

---

<sup>1</sup> «Христианская Галлия» (лат.).

вычку, и сколь тяжко добиваться победы, когда давно уже находишь радость в том, что позволяешь побеждать себя».

Это ли не слова искреннего, но лишившегося благодати христианина? Богословы недаром говорят, что благодать капризна и проделывает подобного рода шутки. Ей случается покидать своего же избранника. Следует знать также, а это известно уже со времен Паскаля, что существуют разного рода благодати \*. В частности, существует благодать, довлеющая, но недейственная. В распоряжении бедного Прево оставалась, как видно, только эта последняя.

Так как он был наделен талантом выдумывать необыкновенные приключения и хорошо их рассказывать, он часто в длинные зимние вечера развлекал монахов всяческими историями. Однажды уже и день забрезжил, а добрые отцы все еще его слушали. Прево давал волю воображению. Прево становился дурным монахом. Нашелся поседевший под клобуком старик настоятель, который заметил это, осудил и покарал, а в итоге только сильнее оттолкнул того, кого хотел вернуть. Если Прево несладко приходилось от его духовных отцов, то и от своих братьев во монашестве он также видел мало хорошего: он не избежал их интриг, зависти, наушничества, они возненавидели его, распознав в нем человека им чуждого. Да, что и говорить, он был для них слишком простосердечен. Как вы сами понимаете, он очень долго не замечал, что окружен недоброжелательством; а когда обнаружил это, монастырь стал для него окончательно невыносим. Он поделился своим душевным состоянием кое с кем из друзей и просил совета, как ему быть. Будучи пострижен по всем каноническим правилам, он не мог и думать о снятии сана. Единственным выходом из положения было признано добиваться перевода дона Прево в Клуни, где режим отличался меньшей суровостью, чем в монастыре св. Мавра. Начались хлопоты в Риме, где иной раз бывали сговорчивы. Рим направил амьенскому епископу к исполнению секретное предписание о переводе Прево, и оно, разумеется, было бы приведено в исполнение. Однако епископ не слишком торопился с этим, И вот в



один прекрасный день амьенский петенциарий, человек строгих правил и галликанец старого закала \*, зайдя в епископский кабинет, случайно увидел на столе предписание; прочитав его, он спросил, чем оно вызвано, и, выслушав объяснения его высокопреосвященства, насупив брови, сказал: «Рим щедр на милости. Мир наводнится монахами, разочаровавшимися в своем призвании, стоит только начать их слушать. Склонность дона Прево к самоволию и суетности известна. Ежели у него имеются более убедительные доводы, они будут приняты во внимание. Пока же не следует ничего предрешать». Поскольку петенциарий его высокопреосвященства изволил говорить в весьма раздраженном тоне, его высокопреосвященство, который терпеть не мог спор, положил римское предписание в ящик, где оно, быть может, покоится и поднесь.

А тем временем измученный ожиданием Прево говорил себе: «Если предписание еще не приведено в исполнение, то скоро это будет сделано. Его высокопреосвященство епископ амьенский мне друг. Можно собираться». И, рассудив так, он написал в объяснение своего отъезда три письма: одно отцу-генералу, другое — отцу-настоятелю и третье еще кому-то из монахов. Он оставил письма в своей келье, а сам, ничтоже сумняшеся, миновал, шагая прямо по грядам, огород, перепрыгнул через монастырскую стену, присоединился к друзьям, ожидавшим его в Люксембургском саду, скинул рясу и наплечник, переделся в принесенное ему платье и, передохнув немного, отправился в кабачок повеселиться с соучастниками своего побега. Он покинул кабачок лишь на следующее утро, чтобы повидать амьенского епископа, находившегося тогда в Париже. Его высокопреосвященство, которого визит Прево привел в большое замешательство, осторожно познакомил его с трудностями, возникшими на пути выполнения римского предписания. Сан обязывал его высокопреосвященство учинить монаху-расстриге выговор. Он сделал это со свойственной ему сердечностью. «Повсюду ходят слухи о вашем легкомыслии, сын мой, — сказал он. — Самым благоразумным было бы для вас вернуться в Сен-Жермен-де-Пре. Ведя себя

более осмотрительно, вы заставите смолкнуть дурные толки». Прево был изумлен.

Итак, никакого предписания, которым можно было бы оправдать его побег, не существовало. Он попал в тяжелое положение; его могли задержать и подвергнуть наказанию. Но по натуре своей он был легок на подъем. Он сложил пожитки и бежал в Голландию. Эта исконная земля изгнанников уже была ему знакома. Он жил здесь, кое-как перебиваясь, служил сначала слугой в кофейне, затем снял балаган и ставил там комедии. Он был одновременно и директором, и автором, и актером. Вот уж поистине мастер на все руки! Все его состояние заключалось тогда в той толстой рукописи, которую он писал по ночам в Сен-Жермен-де-Пре. Здесь она получила окончательную литературную шлифовку, и «Записки знатного человека» были напечатаны в Париже, а читались повсеместно. Мадмуазель Аисэ \*, как и остальные читатели, проглотившая, не отрываясь, все шесть томов романа, плакала над ним от начала до конца, а затем стала утверждать, что в книге нет ничего хорошего. Юная дикарка обожала необычайные истории, вроде этого романа, но г-жи дю Деффан и де Тенсен преподали ей уроки тонкого вкуса, и бедное дитя уже не решалось восхищаться тем, что любило. Совершенно так же поступила и публика. Она прочла книгу, но отказалась, не без некоторого, правда, основания, причислить автора к хорошим писателям.

Между тем как «Записки знатного человека», больше читаемые, чем признанные, и сурово осуждавшиеся монахами всех толков, расходились по свету, их пылкий автор, обосновавшись в Гааге, бродил под гул колоколов по мощенным кирпичом улицам или слонялся вдоль каналов по набережным, ко всему приглядываясь, подставляя лицо морскому ветру. Он случайно встретил тогда хорошенькую девушку, как оказалось, благородного происхождения, благовоспитанную и неглупую. Прево влюбляется в нее, и, не обладая она столькими качествами, он все равно влюбился бы в нее. Девица была бедна, и, хотя старалась скрыть от иностранца свою нужду, ему стало известно, что она не-

давно лишилась части скромной пенсии, на которую жила. Приятно делать добро тому, кого любишь. Он предложил ей помощь тоном человека, который боится услышать отказ, и с такой учтивостью и деликатностью, что нисколько не обидел молодую голландку.

Она не решилась огорчить отказом великодушного человека, такого же бедняка, как и она сама. Но как не полюбить благодетеля, ежели он приятный мужчина? А Прево был приятным мужчиной. Она не стала скрывать от него своих чувств и в один прекрасный день откровенно сказала ему: «Женитесь на мне». Будучи реформаткой, она представляла себе это дело нисколько не затруднительным и весьма простым. Любимой скромный служитель церкви в любом деревенском храме соединил бы их, дабы они могли делить вместе горе и радость, не спросив кто и откуда они. Но Прево крепко призадумался: жениться в Гааге на протестантке, после того как он принял в свое время постриг в Сен-Жермен-де-Пре и рукоположение в Эврё, означало бы для него поступить как нехристь. Он поделился своими сомнениями с девушкой, добавив, что женитьба на ней закроет ему бесповоротно въезд во Францию, на его родину, которую он любит и где, разумеется, хотел бы умереть. «Вы правы, — ответила она, — но я люблю вас и не покину!» А так как он уезжал в Англию, она последовала за ним.

В Гааге у него остались кое-какие долги. Он сделал их не ради удовлетворения собственных потребностей, которые были не велики, но для того, чтобы выручить нуждающихся соотечественников. Он приобрел знакомство с ними в Голландии. Он отдал им все, что у него было, и больше того, что было. В этом его упрекали в газетах.

Ступив на английский берег, Прево почувствовал, что страна эта ему по вкусу. Трудлюбивый человек, он не оставался без дела среди трудолюбивого народа. Он был пригоден к любой службе: он начал с того, что поступил воспитателем к одному молодому дворянину. Англия нравилась ему. Это — родина мрачных фантазий. Там над лугами хмурое небо. Там меланхолия вместе с утренними туманами стелется по густой тра-

ве, траве кладбищ, где пастор Эрвей влачит свою тоску, где юный Томас Грей набрасывает свои элегии. Сюда, к этим пейзажам, несет Прево думы нежной, печальной и неутомимой души, легко, однако, поддающейся волнениям и мрачным мыслям. Повседневные заботы, необходимость зарабатывать себе на существование зовут его обратно в город. В одном из парков он столкнулся с каким-то немолодым уже человеком с морщинистым лицом, который подергивался от нервного тика и был безразличен ко всему, что происходило за пределами его черепной коробки. Его толкают, никто не обращает на него внимания. Он одет, как торговец, да это и на самом деле бедный владелец типографии в Сити, но он вынашивает в своем мозгу образы, которые будут пленять собою целый век; его воображение создает Памелу, Ловеласа, Клариссу и Клементину \*. Это — Самуэль Ричардсон.

В Лондоне Прево опубликовал свой второй роман: «История Кливленда, побочного сына Кромвеля». Это — самая мрачная из всех когда-либо сочиненных повестей. Дикие пещеры, чудовищные острова, пиршества каннибалов, старуха, вскрывающая себе тупым ножом вену на руке, чтобы напоить своей кровью девочку-малютку. Прево сам перепугался, создав все эти ужасы, и упивался своим страхом.

К счастью, настроение у него вскоре переменялось, и немного времени спустя он в несколько недель сочинил маленький роман, сделав его добавлением к «Запискам знатного человека», — очевидно для того, чтобы его лучше читали. Он не придавал особого значения своему незатейливому рассказу. А это была «История кавалера де Гриё и Манон Леско». Манон любит в продолжение всей своей жизни, а остается верной неделю. Ей нужны тряпки, ужины, в ней все дышит страстью, и даже на тележке, везущей ее в Приют, она остается прелестной: ее нельзя не любить! А юный кавалер, решающийся ради нее на мошенничество и прячущий карту за манжет, разве он не внушает истинного сострадания? Эти дети оба изрядные плуты, но они любят друг друга; дайте только серьезным испытаниям, подлинным несчастьям кос-

нуться их — и они предстанут перед вами во всем своем величии. Это потому, что одна и та же любовь создает и героев и подлецов. Когда в пустыне смерть поразит милую Манон, когда от Манон останется одно лишь воспоминание, воспоминание это будет очаровательным и трогательным. И сколько людей, закрывая книгу, скажут: «О Манон! как бы я любил тебя, будь ты жива!» Все естественно, все правдиво, все верно в этой маленькой книжке. В ней нельзя изменить ни слова. Создав как нельзя более легко это чудо искусства, Прево написал две страницы назидательного содержания, чтобы предпослать их роману. Это как бы шаль, наброшенная на плечи м-ль Манон. В этом маленьком отрывке он ставит себе в заслугу то, что написал сочинение, долженствующее пойти на пользу нравам <sup>1</sup>. Не спорю, вы правы. Но эти прекрасные мысли

---

<sup>1</sup> Вот полностью этот отрывок: «Публика с большим удовольствием прочла последний том «Записок знатного человека», который содержит приключения кавалера де Гриё и Манон Леско. Мы видим здесь молодого человека, наделенного блистательными и чрезвычайно приятными качествами, как он, увлеченный безумной страстью к понравившейся ему девушке, предпочитает распутную, кочевую жизнь всем преимуществам, которых мог бы ожидать от своих талантов и своего положения; несчастного раба любви, предвидящего свои несчастья, но бессильного что-либо предпринять, дабы избежать их; живо их чувствующего, глубоко их переживающего, но пренебрегающего возможностями создать себе более счастливое существование; словом, молодого человека, порочного и вместе с тем добродетельного; мыслящего честно, а поступающего худо; любезного своими чувствами и отвратительного своим поведением. Поистине необычайный характер. Но еще более необычайный характер — Манон Леско. Ей введомо добродетель, ее даже влечет к ней, а между тем она совершает самые недостойные поступки. Она любит Кавалера де Гриё пылкой страстью, а между тем желание жить в довольстве, блистать заставляет ее изменять своим чувствам к Кавалеру, которому она предпочитает богатого Казначая. Сколько искусства понадобилось для того, чтобы тронуть читателя и внушить ему сострадание к этой испорченной девице, во внимание к суровым невгодам, которые ее постигнут! Хотя оба они очень распутны, их жалеешь, ибо порочность, им свойственная, есть следствие их слабостей и пламенности их увлечений, и к тому же они сами осуждают свое поведение, признают, что оно крайне преступно. Таким образом, автор, изображая порок, отнюдь не учит ему. Он показывает, к чему приводит неисто-

пришли вам на ум, дорогой аббат, лишь после того, как была написана книга. Пока вы водили пером, вас вдохновляли воспоминания о ваших первых увлечениях, и только. Именно так греческий романист, увидя в священной роще нимф, сочинил рассказ о любви.

Но надо было как-то существовать: это составляло предмет главной заботы автора «Манон Леско». Он задумал ради этого основать литературную газету. Подобного рода листки, целиком заполнявшиеся по большей части одним и тем же автором, встречали тогда благосклонный прием. Одна за другой возникали «Новости республики словесных наук», «Газета Треву», «Универсальная библиотека» Леклерка, «Литературная газета» Саленгра, «История трудов мужей науки» Банажа, «Французская библиотека» Камюза, «Парнасский новеллист» Дефонтена, «Литературный год» Фрерона и так далее. Аббат Прево назвал свою газету «За и против». Этим названием он брал на себя обязательство соблюдать беспристрастность. Он сдержал слово, и хотя у него были враги, он не поддался соблазну и не позволил себе ни единого резкого выпада.

---

вая страсть, делающая бесполезными доводы разума, если ты имеешь несчастье всецело отдаться ей; страсть, которая, не будучи в состоянии заглушить всецело в сердце стремление к добродетели, мешает идти по ее пути. Одним словом, настоящее сочинение разоблачает все опасности развратного образа жизни. Не найдется ни одного молодого человека, ни одной девицы, которые хотели бы походить на Кавалера и его возлюбленную. Пусть они порочны, но они изнемогают под бременем раскаяния и несчастий. Впрочем, характер Тибержа, этого добродетельного служителя церкви, друга Кавалера, заслуживает восхищения. Это мудрый человек, верующий и набожный; нежный и великодушный друг; сердце неустанно соболезнующее слабостям друга. Сколь же любезна набожность, когда она сочетается со столь прекрасными природными свойствами! Я не стану ничего говорить о слоге настоящего сочинения. Оно свободно от выдуманных словечек, жеманных выражений, софистических рассуждений, — это говорит сама природа. Сколь жалок по сравнению с ней какой-нибудь напыщенный, нарумяненный сочинитель! Наш сочинитель не ищет блеснуть умом или, вернее, тем, что принято так называть. Его слог не отличается лаконизмом, но он легкий, свободен и выразителен. Все заполняют картины и чувства, но картины эти правдивы, а чувства естественны».

Жизнь не испортила его, он оставался все таким же благородным человеком, каким мы видели его в Руане, когда, оскорбленный иезуитом, он предпочел промолчать, но не отвечать сопернику его языком. Однако насколько ему присуща была учтивость, настолько же не хватало размеренности в работе. А газета требовала ее; она скоро ему надоела, и со второго тома он поручил Лефевру де Сен-Марку составлять ее за него. Лефевр де Сен-Марк очень нуждался в заработке. Нищий офицер, нищий учитель, нищий публицист, он, сколько ни старался, не вылезал из нужды. Но ему недолго пришлось редактировать «За и против»: подписчики, заметив разницу стилей, предложили аббату снова взяться за перо. Он легко дал себя уговорить и с третьего номера третьего тома опять повел газету, вообще-то говоря, довольный тем, что заменить его оказалось не так просто, как он думал.

Поскольку его газета имела успех, он стал подвергаться травле всех остальных газет. Аббат Лангле Дюфрену писал в своем листке, что аббат Прево настоящий Медор \*, похищающий девушек и надувающий трактирщиков. Прево защищался очень сдержанно и тактично. Ему было тогда тридцать восемь лет, и на лице его уже начали проступать следы пережитых треволнений. Он вел замкнутый образ жизни, упорно работал и иногда по неделям не покидал своего кабинета. Характер у него был кроткий, немного меланхолический. Он избегал балов и празднеств; самым большим наслаждением для него было провести часок в беседе с рассудительным другом.

Но он тосковал по Франции. Не раз собирался он вернуться туда тайно; ему дали понять, что он рискует испытать там серьезные неприятности. Тогда он решил открыто просить позволения на въезд. Кардинал де Бисси и принц де Конти поддержали его ходатайство, и Прево было разрешено возвратиться в королевство, но в рясе белого духовенства. На большее он и не претендовал. Принц де Конти, желая помочь аббату, предложил ему должность своего придворного священника. Место было хорошее, однако Прево вначале

колебался принять его; он поделился с его высочеством своими сомнениями:

— Я никогда не служу обедни.

— А я никогда не хожу к обедне, — последовал ответ.

Прево принял назначение. Надо думать, что служба оставляла ему достаточно свободного времени. Он писал с утра до вечера. Он без устали сочинял романы и рассказы, представлявшие собою те же романы.

В 1736 году он закончил «Киллеринского настоятеля», о котором сам отзывался как о «рассказе, украшенном всем, что только может сделать чтение полезным и приятным». Наш аббат отнюдь не грешил сомнением и не кичился своими книгами; но, поскольку он много писал, ему хотелось, чтобы его побольше читали. Он сознавал себя хорошим работником от литературы и, как видим, решил снабдить красивой вывеской свою богатую товарами книжную лавку. Из этой лавки одна за другой вышли: «История Маргариты Анжуйской», «История современной гречанки», «Философские странствия Монкаля», «История юношеских лет командора де \*\*\*», «История Вильгельма Завоевателя», перевод «Жизнеописания Цицерона» Миддлтона, перевод «Писем Брута» и «Частных писем Цицерона», «Путешествие Роберта Леда», «Записки честного человека». Всего и не припомнишь. Прево сочинял с такой легкостью, что мог, не отрываясь от работы, принимать участие в разговоре. Его перо само ходило по бумаге.

Он мирно проводил дни в своем кабинете, пока один газетчик, имя которого осталось мне неизвестным, не обратился к нему за помощью и советами. Аббат, не умевший ни в чем никому отказывать, поплатился за это своим кошельком и пером. Дело в том, что газета, в которую он так доверчиво вошел, чем-то прогневала власти и была конфискована. В бумагах несчастного газетчика агенты полиции нашли рукописи Прево и, конечно, отправили бы его в Бастилию, ежели бы им удалось его разыскать. Принц де Конти предоставил ему возможность перебраться в Брюссель, где, к счастью, ему пришлось недолго ждать, пока эта неприятная история уладилась.



Вернувшись под родную кровлю и оправившись от этих последних в его жизни волнений, он берется за большой труд. Министр Дагессо поручает ему составить «Всеобщую историю путешествий». Во Франции начинали тогда интересоваться открытиями мореплавателей; всем захотелось узнать, как живут народы, которые живут не так, как мы. Предшествующий век не обнаруживал большого любопытства к подобным вопросам: он удовлетворялся кое-какими туманными сведениями о левантинцах, как их тогда называли. Даже о турках мало что знали. Только в самом конце века благодаря сообщениям Тавернье, Бернье и Шардена публика получила некоторое представление о Персии и Индии. В пору старости Прево все воспылали любовью к дикарям. Себя ощущали старыми и развращенными, их полагали невинными и молодыми. «У этих негров, у этих индейцев нет газет. Они не посещают Оперу. Они ходят совсем голые: это ли не восхитительно! Они не заключают при женитьбе брачных контрактов и не бывают обмануты. Расскажите нам об их хижинах, их пирогах, об их добродетелях». Китайского императора воображали себе философом, не задумываясь обратиться бы за законами к гуронам.

Добрейшему Прево не случалось ездить в Восточную Индию, однако его роман «Роберт Лед» свидетельствовал, что он умел надлежащим образом говорить о морской службе и предметах, касающихся географии, и очень увлекательно описывать нравы варварских народов. Он взялся за составление «Всеобщей истории путешествий». Такая книга уже подготавливалась в то время в Англии, и, хотя Франция находилась в состоянии войны с англичанами и встреча на море флагов обеих враждующих стран не обходилась без пушечных залпов, британское адмиралтейство не прекращало доставку французской государственной канцелярии листов «Истории путешествий» по мере выхода их из печати. Дагессо пересылал листы Прево, а последний ограничивался тем, что переводил их. К несчастью, он вскоре лишился этой помощи. Английская редакция текста, как некогда стена Карфагена, осталась незавершенной. Аббату пришлось одному продолжать этот

гигантский труд: он компилировал, компилировал и справился наконец с Америкой. Издание субсидировалось одним из генеральных откупщиков и поглотило четыре тысячи луидоров. Прево составил пятнадцать томов in-4°, не взяв за это ни гроша. Мирские блага не прельщали его. «Сада, коровы и двух кур с меня совершенно достаточно», — говорил он.

Он отличался детской наивностью и с безграничной доверчивостью полагался на своего издателя Франсуа Дидо, платившего ему за его книги из расчета луидор за лист. Это была, бесспорно, высокая цена, но смею думать, что Франсуа Дидо в убытке не оставался. Условия подписывались в кабачке, на углу улицы Ла-Юшет, обычном месте подобного рода сделок, а книги продавались в лавке под вывеской «Золотая библия», на набережной Августинцев.

Вообще же говоря, аббат Прево нужды не знал. Он получал пенсию от принца де Конде и имел свыше двадцати тысяч ливров годового дохода как настоятель монастыря. Он жил в Сен-Фирмене близ Шантильи, в доме, принадлежащем вдове одного парламентского поверенного, и любил оказывать там широкое гостеприимство друзьям, которых изысканный его ум привлекал туда в большом количестве.

Тем временем старик Ричардсон опубликовал в Лондоне «Клариссу Гарло» и «Грандиссона». Прево, издавна хорошо знакомый с английской литературой, перевел эти прелестные и трогательные романы, вдохновившие Руссо на «Новую Элоизу» и заставлявшие плакать Дидро. Однажды было замечено, что добряк Дидро чем-то опечален, его стали спрашивать: «Что с вами? Что случилось?» — осведомились о его здоровье, о денежных его обстоятельствах, о родных, о друзьях. Оказалось, что он обеспокоен судьбой Клариссы Гарло, которую оставил в опасности. Я не берусь судить, передал ли Прево лучше Летуэрнера английский текст. У меня есть некоторое подозрение, что, выбросив отдельные детали, аббат удлинил роман в целом. Он писал очень легко, но написанное быстро не всегда быстро читается. Впрочем, это не суть важно. Прево и Летуэрнер, познакомив Францию с Ричардсоном, давали

в лице Клариссы и Клементины возлюбленную каждому человеку, способному увлекаться чтением, предаваться мечтам и чистым волнениям души <sup>1</sup>.

«Кларисса» и «Грандиссон» — эти книги, сочиненные одним старцем и переведенные другим, исполнены всего самого чистого, что хранит в себе юность. Кларисса и Клементина кажутся еще невиннее, еще привлекательнее оттого, что они были представлены обществу своими престарелыми крестными отцами — Ричардсоном и Прево.

Ричардсон умер в 1761 году; настала старость и для Прево, а со старостью и степенность. Шестидесяти семи лет он написал «Мир морали», сочинение весьма серьезное, которого я не читал. Он не переставал сле-

---

<sup>1</sup> Посмотрите, как позднее, уже в самом конце века, эти трогательные женские образы будут еще ярки и свежи в воображении людей. Андре Шенье, описывая в своих прекрасных стихах грезы одинокого мечтателя, присоединит к имени Юлии имена обеих английских героинь. Он скажет:

Вновь образы пред ним проходят чередой,  
Вновь предстают ему, как в юности былой,  
Слезой омытые бессмертные виденья:  
Прекрасной Юлии печальное паденье;  
Кларисса чистая, в чье сердце никогда  
Закрасться не могли ни горечь, ни вражда,  
Чья жизнь была кротка, безропотна кончина;  
И непорочная, как небо, Клементина,  
Которая, хотя семья ее гнала,  
Рассудок потеряв, невинность сберегла.  
О, тени милые с печальными глазами,  
Как умиленно он опять следит за вами!  
Он видит вашу скорбь и с вами сам скорбит.  
Он ваших недругов злодейством их корит.  
Того, кто любит вас, он беззаветно любит  
И ненавидит тех, кто вас коварно губит.  
Но вдруг ему, увь! приходит мысль на ум,  
Что эти нежные властительницы дум —  
Всего лишь вымыслы, лишь дивные мечтанья,  
Души и гения бесплотные созданья.  
Он поднимается, шагает взад-вперед  
И волю дерзостной фантазии дает:  
Быть может, и ему назначено судьбиной  
Столкнуться где-нибудь с второю Клементиной  
И, от завистников блаженство скрыв свое,  
В уединенье жизнь прожить у ног ее.

дять за английской литературой и, уже поселившись в Сен-Фирмене, перевел повесть «Мисс Радульф Альморан и Гамлет» и «Письма Ментора». Он сочинял книги благочестивого содержания, трактаты, ставящие себе задачей обращение неверующих, ибо, как я уже говорил, он отнюдь не принадлежал к философам и богу предпочитал одних только женщин.

В пятницу 25 ноября 1763 года аббат Прево был найден в бессознательном состоянии на дороге, ведущей из Санлиса в Сен-Фирмен; его отнесли в Куртейль, в дом приходского священника, где тщетно пытались вернуть к жизни. Тело, поставленное на ночь в церковь, было на следующий день перенесено в один из деревенских домов для вскрытия хирургами, которые обнаружили «очень сильное кровоизлияние в грудную область, следовавшее от разрыва аорты и других крупных сосудов».

Бенедиктинцы, к ордену которых он принадлежал, отвели для погребения дона Антуана Прево склеп в церкви монастыря Сен-Никола д'Аси.

## БЕНЖАМЕН КОНСТАН. — «АДОЛЬФ»

Роман «Адольф» впервые был издан в 1815 году в Лондоне, где Бенжамен Констан нашел убежище после Ста дней \*. Известность автора, его репутация человека, вошедшего в моду, наделавшие немало шума великосветские похождения — все это должно было возбудить живейший интерес к произведению, еще до его опубликования прослывшему автобиографическим.

Вот что Сисмонди, тогда находившийся в Италии, писал по этому поводу графине Альбани: «Нет книги, которую мне так хотелось бы прочесть, как роман господина де Констана. Я слышу о ней уже очень давно, услышал впервые за два с лишним года до того, как он задумал ее издать. И хотя он читал ее половине Парижа, хотя мы много вращались в одном и том же кругу и я весьма к нему расположен, я не был приглашен ни на одно из этих чтений. У меня есть причины полагать, что там дано несколько портретов, оригиналы которых мне известны, и что ему нежелательно иметь в моем лице свидетеля, способного судить о сходстве».

По всей вероятности, Сисмонди не ошибался, и Бенжамен Констан в самом деле побаивался допустить в число слушателей друга, посвященного в тайны его личной жизни. Впрочем, еще и другое письмо Сисмонди

к графине Альбани подтверждает обоснованность внушаемого им недоверия, ибо в нем содержатся все те разоблачения, которых, несомненно, опасались с его стороны.

«Я воспользовался задержкой, чтобы дважды прочесть «Адольфа»; вы найдете, что это слишком много для произведения, которому вы не придаете большого значения и в котором, откровенно говоря, ни один персонаж не вызывает особого интереса. Но анализ всех движений сердца человеческого столь изумителен, столько правды в слабости героя, столько тонкого ума в наблюдениях, стиль отличается такой чистотой и силой, что чтение этой книги доставляет бесконечное удовольствие. Мне думается, я его ощущаю особенно живо, потому что на каждой странице узнаю автора, и ни одна исповедь не представляла мне столь схожего изображения. Он делает понятными для нас все свои недостатки, но не оправдывает их, и, по-видимому, у него нет намерения заставить нас полюбить их. Весьма возможно, что некогда он был влюблен более страстно, чем он это живописует в своей книге; но когда я познакомился с ним, он был таким, как Адольф, и, столь же мало любя, — не менее необуздан, не менее склонен затем из добрых чувств умиротворять лаской и снова обманывать ту, кого изранил. Портрет Элленоры он, несомненно, хотел лишить всякого сходства. Он изменил все, что ее касается, — родину, положение в свете, наружность, склад ума. Ни в обстоятельствах ее жизни, ни в ее облике нет ничего, что напоминало бы подлинную Элленору; \* поэтому в ходе повествования она в некоторых отношениях оказывается совсем иной, чем он нам ее обрисовал сначала. Но по требовательности и пылкости в любовных отношениях ее нельзя не узнать. Эта близость, выставляемая напоказ, это главенство страсти, повинувшись которой они терзали друг друга всем самым оскорбительным, что только могут подсказать гнев и ненависть, — вот история их обоих.

Уже одно это сходство слишком разительно, чтобы все прочие изменения не оказались напрасными.

У автора не было столь же веских оснований переиначивать второстепенные персонажи. Поэтому не-

трудно подставить соответствующие имена. Отец Бенжамена был в точности таков, каким он его изобразил. Пожилая женщина, с которой он был близок в юности, очень им любимая и умершая у него на глазах, — некая госпожа де Шарьер, автор премилых романов. Услужливая приятельница, которая, якобы стараясь помирить его с Эленорой, еще сильнее их рассорила, — госпожа Рекамье. Граф П. — целиком вымышлен, и в самом деле, хотя вначале он кажется важным действующим лицом, автор не придал ему никаких характерных черт и не предоставляет ему сколько-нибудь видной роли».

Однако другие современники высказывались не так определенно, как Сисмонди. Некоторые из них, чьими суждениями позднее вдохновился господин де Ломени, сочли прообразом Эленоры некую г-жу Линдсей, с которой у Бенжамена в молодые годы была мимолетная связь. «То была, — пишет Шатобриан, — ирландка по происхождению. У нее был трезвый ум, резковатый нрав, изящный стан, приятная наружность, характер благородный и возвышенный; видные эмигранты охотно проводили вечера у камина этой последней из всех Нинон».

Весьма возможно, что некоторые черты заимствованы у этой личности, для нас, впрочем, оставшейся неясной, но героиней драмы, развертывающейся в «Адольфe», бесспорно была не она.

Порывистое, вспылчивое, неспособное смириться создание, которое нам изобразили, никак не могло быть тождественно с независимой женщиной, которую вольность ее жизни вынуждала вести себя не столь властно. И если роману, столь совершенному, можно было бы сделать хоть какой-нибудь упрек, — я думаю, он заключался бы именно в этом.

Эленора, поначалу изображенная кроткой, сдержанной, считающейся с общественным мнением, вскоре отбрасывает все то, в чем заключалась неяркая прелесть ее облика. Нет единства между скромной женщиной, появляющейся в начале повести, и шумливой жертвой, безмерно выставяющей напоказ свое отчаяние, конец которому полагает только смерть. Совершенно

очевидно, что в известный момент, когда ситуация становится нестерпимой, истина прорывается сквозь вымысел, предназначенный облекать и скрывать ее. Под несколько тусклой и расплывчатой маской Эллелены мы угадываем знакомое, с резкими чертами лицо, вокруг которого витают воспоминания о слишком кратких радостях и невероятном пресыщении. Тогда первый образ — возлюбленной смиренной и трогательной — совершенно вытесняется иным — образом женщины, которая, вся трепеща от гнева, потрясая факелом мщения, своей неукротимой яростью преследует того, кто ее разлюбил.

Почти сто лет прошло с тех пор, как впервые был издан «Адольф», и столь несходные между собой поколения, сменившиеся с тех пор, нимало не изменяли своего отношения к этой странной книге. Она по-прежнему восхищает всех; герой непрестанно подвергается самым суровым нападкам. Без малого сто лет душевная черствость Адольфа, его жестокость, неблагодарность, которою он отвечает на самопожертвование несравненной Эллелены, не перестают возмущать благородные души. Почему же, перечитывая эту историю одной любви, я ощутил бесконечную жалость к мнимому палачу и он показался мне самой многострадальной из жертв? Порождено ли это чувство неким порочным заблуждением, или же, наоборот, все каким-то странным образом обманывались насчет героя, которого живейшая чувствительность и крайняя щепетильность отдали во власть женщины деспотической и полной страстного себялюбия? Бедный, бедный Адольф, кто свою молодость, свою жизнь, свой душевный покой отдал на растерзание ненасытной любовнице, пожирающей его без остатка! Она его любит, спору нет, но какой свирепой, беспощадной, непереносимой любовью! Как мало смирения, как мало затаенной стыдливости, как мало той гордости, которая «не позволяет быть навязчивой», у этой героини, на склоне лет обманывающей себя, упорствующей, неистовствующей, не ведая, что любви даны крылья и ее нельзя держать под замком, чтобы заставить сказать те слова, которые она не хочет затвердить. Есть в «Дневнике» Бенжамена Константа



рассуждения о судебном иске, изложенном александрийским стихом; эти рассуждения — как бы комментарии к жалобам Элленоры.

Как далеки мы уже от XVIII века, от его милых поводов, его очаровательного легкомыслия, его изящества и скептицизма! А старики того времени, в молодости, при старом режиме читавшие «Опасные связи» — разве не вспоминалось им, что Вальмон, как-никак, человек светский, говорил возлюбленной, к которой уже охладел: «Всем пресыщаешься, ангел мой». И ангелу волей-неволей приходилось смириться, утешиться или же, если скорбь была неутолима, удалиться и умереть в одиночестве, как это сделала президентша.

Несомненно, эти люди умели владеть собой, быть мужественными, держаться с достоинством; они не оглашали целое столетие своими воплями и стонами. Они могли быть ветрены и распутны, — они никогда не были трусами. Но выстрел Вертера нашел многочисленных подражателей, и любовь стала чем-то трагическим, от чего полагалось умирать с шумом.

Заставив несчастного Адольфа влачить возле нее жизнь, полную горечи, разочарований и унижений, Элленора наконец решает умереть, чтобы обречь его на неизбывные муки совести. Бенжамен Констан, человек весьма учтивый, все сделал честь честью: он пожертвовал собой и красивую роль предоставил героине. Но раздражение, да и злопамятство зачастую оказываются сильнее его; они непрестанно дают себя знать. Все дело в том, что в этой смятенной душе, опустошенной столькими губительными веяниями, душе, уже неспособной приносить плоды, все еще жила одна добродетель: искренность. Этот человек, злосчастьем своей жизни вынуждаемый все время обманывать, никогда не лжет самому себе. Он судит себя сурово, беспощадно, нимало себя не улажая столь модным в наши дни выставлением напоказ сердечных ран. Без малейшего тщеславия рассказывает он нам о своих проступках; он не считает свою историю чем-то единственным в своем роде, но воображает, что его страдания необычайны, изумительно прекрасны, а ошибки своей психологической исключительностью

должны восхищать знатоков. Он очень просто и очень строго смотрит на самого себя; вот почему мы склонны быть снисходительны к нему. Да, бесспорно, у Адольфа была душа слабая, жадно тянувшаяся к счастью и неспособная его удержать. Это натура пылкая и бесплодная — прекрасные видения блекли, едва соприкоснувшись с ней. Препятствия вдохновляли его, воспаляли желание; успех оставлял в нем лишь усталость и пресыщение. Но по крайней мере он всегда сам становился первой своей жертвой, и не было в нем ни холодной жестокости распутника, ни еще более жестокой бездумности любовника, разочаровавшегося в своей мечте. Он весь пронизан тревогой, весь истерзан раскаянием, и страдание той, кого он уже разлюбил, отдается в нем и мучит его.

Повторяю: этот влюбленный, с душой столь сухой, несчастный пленник угасшей любви, в моих глазах — мученик сострадания и долготерпения, и наша жалость всецело сосредоточивается на нем, а не на тиранической особе, теснящей и угнетающей его.

«Чувства человека неясны и разноречивы; они слагаются из множества изменчивых впечатлений, ускользающих от наблюдателя, и слова, всегда слишком грубые и слишком общие, могут, разумеется, их обозначать, но не способны их определять». Так говорит Адольф, и бесспорно — его душа более любой другой способна своей изменчивостью и сложностью поставить наблюдателя в тупик. Все в ней представляется мимолетным, зыбким, противоречивым. Вспыхивает страсть, и тут же появляется трезвый расчет. Сказав: «Горе тому, кто в первые мгновения любовной связи не верит, что эта связь будет вечной!» — он, какими-нибудь тремя страницами дальше, прибавляет: «Я понимал, что мы не можем соединиться навсегда». Когда он советует своей возлюбленной соблюдать осторожность, этот совет уже подсказан ему томительной скукой. И, однако, эту душу, волнуемую столь различными движениями, наблюдает ум пытливый, пронизательный, неподкупный. Душа истерзана и омрачена, но ум остается ясным, кажется, что в этом человеке борются два начала, что, стоя на рубеже двух столетий, он подвер-

гается прямо противоположным воздействиям каждого из них; что под покровом страсти в нем сохранился скептицизм и он уже не может ни безраздельно отдаться страсти, ни быть всего лишь холодным скептиком.

Впрочем, нам даются точные разъяснения.

«В доме моего отца я усвоил довольно циничное отношение к женщинам. Строго соблюдая внешние приличия, отец, однако, зачастую позволял себе легкомысленные суждения о любовных связях; он смотрел на них как на развлечения, если не дозволенные, то во всяком случае простительные...» И дальше: «Ему представлялось, что, пока речь не идет о женитьбе, можно без всякого стеснения сойтись с любой женщиной — а затем бросить ее».

Итак, представим себе молодого человека, воспитанного в таких правилах, проникшегося неверием в том возрасте, когда большинство еще сохраняет веру, и брошенного в накаленную грозную атмосферу XIX века. Да, в нем было больше жара, нежели мощи, больше восторженности, нежели постоянства; все те порывы, что возносятся ввысь и воодушевляют, сочетались в нем с пронизательностью, охлаждающей пыл, и в этом, быть может, почти целиком заключается тайна души Адольфа, одной из самых тревожных, какие когда-либо были. Это натура слишком сложная, чтобы можно было определить ее одной формулой, слишком гибкая и подвижная, чтобы быть запечатленной в четких контурах, слишком мятущаяся, чтобы всегда оставаться похожей на себя.

«Тот, кто стал бы читать в моем сердце, — пишет Адольф, — когда Эленоры не было со мной, счел бы меня холодным, бездушным соблазнителем; тот, кто увидел бы меня рядом с ней, принял бы меня за непойтного, смятенного, страстного обожателя. И то и другое суждение было бы ошибочно: в человеке нет полного единства, и он почти никогда не бывает ни совершенно искренним, ни совершенно лживым».

Нашего героя часто упрекали в этой своеобразной неспособности, обрекавшей его ни к чему не привязываться и, подобно разбитому зеркалу, давать лишь искаженное отображение; в этой роковой черте его характера

усматривали некую ущербность, некое тяготеющее над ним проклятие. Но так ли уж ошибочно предположить, что сама эта ущербность — доказательство чрезвычайной изысканности ума, которому претят пошлость, глупость, тривиальные невзгоды, рано или поздно обнаруживающиеся и сказывающиеся во всем?

Адольф не сумел, как это делал Ренэ, его прославленный современник \*, предаваться самообольщению и разыгрывать перед самим собой блистательную комедию; у него не было пленительного дарования, не было лиризма, отличающих автора «Ренэ» и «Начезов»; но вкус у него был вернее, ощущения острее, движения души более искренни. Аббат Морелле \*, последний представитель былого французского вкуса, не мог бы ни к чему придраться на безупречных страницах «Адольфа». И нет сомнения, именно этот вкус нередко причинял человеку столь утонченному немалые страдания; декламация, ходульные речи, напыщенность коробили этот ум, пронизанный присущим нашему народу безыскусственным изяществом.

В литературном отношении Адольф останется шедевром. Форма этой повести — прозрачна, гибка и утонченна; в ней нет и следа вычурности; глубина мысли нигде не идет во вред простоте стиля. А главное — ничто не выдает литератора, и это, думается нам, восхитительно. Ибо, как бы литератор ни был одарен, он — профессионал, и это накладывает свою печать на его произведения.

## ИЗ СБОРНИКА «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ И ЛИТЕРАТУРЫ»

### «ПРИНЦЕССА КЛЕВСКАЯ» ГОСПОЖИ ДЕ ЛАФАЙЕТ

#### *ПРЕДИСЛОВИЕ*

«Принцесса Клевская» появилась весной 1678 года у Клода Барбена, во Дворце правосудия на второй паперти св. Капеллы. Это была хорошая марка; Барбен издавал самых видных авторов — Буало, Лафонтена, Расина. На его прилавке лежали свежие оттиски «Федры»; он только что пустил в продажу первый том «Басен» в новом издании и к осени обещал пятое, значительно расширенное издание «Максим» Ларошфуко. Барбен был не Эльзевир; он трудился не для ученых и знатоков, а для двора и города. Его книги, сработанные без особого изящества, предназначались для хождения по рукам. Он хитроумно разделил «Принцессу Клевскую» на четыре томика, напечатанных очень крупным шрифтом, — конечно, для того, чтобы добрые люди как можно дороже заплатили за это долгожданное произведение, которое уже заранее расхваливалось, а может быть, и для того, чтобы дамам удобнее было уносить в свои уединенные беседки и зеркальные салоны легкие томики этой книги, написанной для них одной из них.

«Принцесса Клевская» вышла в свет без имени автора. Приличия ради не следовало выставлять имя

придворной дамы на заглавном листе книги, которую продавали в лавочках Дворца правосудия и на улице св. Иакова. Но ни для кого не было тайной, что «Принцесса Клевская» написана г-жой де Лафайет.

Считалось, что к этой книге приложил руку герцог де Ларошфуко, чьей подругой была г-жа де Лафайет, а может быть, над романом поработал и Сэгре <sup>1</sup>. Сэгре, бедный дворянин и академик, действительно одно время состоял при г-же де Лафайет на положении благородного и изящного приживальщика. В 1670 году он подписал своим именем книгу «Заида, испанская история» <sup>2</sup>, которую г-н Гюэ и все светское общество громогласно приписывали г-же де Лафайет и которую славный дворянин, очевидно, в избытке дружеских чувств, назвал позднее «своей Заидой». В конце концов он действительно мог набросать план «Заиды» и даже написать несколько страниц. Легко себе представить, что Сэгре трудился над этой живописной испанской историей, но совершенно непонятно, какое отношение мог он иметь к «Принцессе Клевской», произведению совсем другого

---

<sup>1</sup> Тексту книги были предпосланы следующие строки, которые ничего не отрицали, ничего не признавали и содержали невыполненное обещание:

«ОТ КНИГОПРОДАВЦА К ЧИТАТЕЛЮ»

Несмотря на то, что повесть эта получила признание со стороны читателей, автор не решился объявить свое имя; он боится, как бы имя это не умалило успех книги. Он по опыту знает, что посредственное мнение, сложившееся об авторе, порой приводит к осуждению его книги, и знает также, что высокая репутация автора часто придает цену и его произведениям. Вот почему он решился остаться в неизвестности, в коей пребывал и доньше, дабы легче было свободно и справедливо оценить его книгу; он откроет свое имя позднее, если сия история полюбит публике, как я на то надеюсь».

В XVIII веке еще не думали, что г-жа де Лафайет единственный автор «Принцессы Клевской». Гордон де Персель пишет в своей «Библиотеке романов» (1734): «Принцесса Клевская» принадлежит Франциску VI, герцогу де Ларошфуко, графине де Лафайет и Жану Рено де Сэгре» (т. II, 81).

<sup>2</sup> *Zayde, histoire espagnole, par M. de Segrais, avec un traité sur l'Origine des Romains, par M. Huet. A Paris, chez Claude Barbin, au Palais, sur le second Perron de la Sainte-Chappelle, M. DC. LXX. Avec privilège du Roi, 2 vol, petit in-8.*

характера. Сэгре навсегда сохранил пристрастие к чувствительности и красивости, то есть как раз к тому, чего нет в романе 1678 года. Нельзя даже с уверенностью сказать, что в глубине души Сэгре одобрял такую простую манеру повествования. Должно быть, ему куда больше нравилась «Заида», «его Заида», где были необычайные происшествия, кораблекрушения, пираты, страшные пустыни, где безупречные влюбленные вздыхали во дворцах, расписанных аллегорическими фигурами. Когда вышла в свет «Принцесса Киевская», Сэгре уже два года как жил в своем родном городе Кане.

Вероятно, книга была написана до того, как он покинул дом г-жи де Лафайет, но если он и представлял ей при случае свое перо в качестве секретаря, то все же это была не его книга, не «его принцесса». Что касается герцога де Ларошфуко, то, как известно, он был признанным другом г-жи де Лафайет. Свет уважал их открытую связь, и действительно некоторые обстоятельства смягчали двусмысленность этой близости. Герцог был стар, г-жа де Лафайет — уже не молода и никогда не отличалась красотой; оба были больны, немощны, почти умирали. Наконец он принадлежал к знатному роду, она славилась благочестием. Естественно было предположить, что они вместе пишут свои романы, подобно тому как брат короля \* и г-жа Дасье с глазу на глаз изучали греческий язык. К тому же было известно, что герцог охотно читает небылицы. Он даже говорил, — после того как его любили г-жа де Ласаблиер, г-жа де Лонгвиль и г-жа де Лафайет, — что нашел любовь только в книгах. Ему приписывали участие в создании «Принцессы Клевской» единственно по той причине, что это было вероятно, но никто не знал ни меры этого участия, ни того, имело ли оно место вообще. Лично я не думаю, чтобы он тут что-нибудь учинил или сочинил. Он обладал высоким, но ограниченным воображением; он брался за все, и все ускользало у него из рук. К тому же он чувствовал себя бесконечно усталым. А г-жа де Лафайет, каждую минуту готовая отдать богу душу, потерявшая сон и аппетит, исхудалая, полумертвая, тем не менее с увлечением действовала и с увлечением писала.

Среди прочих своих занятий она двенадцать лет управляла Савойей, — путем переписки, как секретный агент регентши \*. Гюз утверждает, что видел собственными глазами, как она писала «Заиду»; г-жа де Севинье, ее самый интимный друг, ни минуты не колеблясь, называет ее автором «Принцессы де Монпансье» <sup>1</sup> и «Принцессы Клевской», и мне неизвестно, что кто-либо, кроме самой г-жи де Лафайет, оспаривал столь правдоподобную версию. Даже самые близкие друзья графини не знали о ее сношениях с Савойским двором; это обстоятельство ускользнуло и от внимания ее биографов. Даже Сент-Бев, — а ему редко изменяет чутье, — не подозревал о политических интригах г-жи де Лафайет и считал, что жизнь ее целиком заполняли благочестие, переписка и глубокая сердечная привязанность.

Без малого восемь лет тому назад г-н А. Д. Переро опубликовал письма г-жи де Лафайет, обнаруженные им в архивах Турина <sup>2</sup>. В этих письмах подруга герцога де Ларошфуко предстает в новом свете: больше занятая житейскими заботами и политикой, более деловитая, чем полагали раньше. Конечно, она трудится для Франции и в награду за свои услуги просит самую малость, но читатель поражен, открыв в ней такую склонность к интригам, и вынужден признать, что добрейшая г-жа де Севинье, изображавшая ее столь правдивой, совсем не знала свою подругу. Я вовсе не хочу сказать, что г-жа де Лафайет не была правдива. Но она безусловно была весьма скрытной и успешно вводила в заблуждение общество. Все вокруг думали, что она постоянно погружена в смутные мечты; ее прозвали Туманом; а в действительности это был самый трезвый, самый практический ум. Да, конечно, она была правдива. Но в одном случае мы никак не можем ей поверить — в том случае, когда она отрицает, что на-

<sup>1</sup> «La Princesse de Montpensier». A Paris, chez Charles de Sercy, au Palais, dans la salle Dauphine, à la Bonne-Foi couronnée. MDCLXII. Avec privilège du Roi. Petit in-8.

<sup>2</sup> Lettre inédite di madame de Lafayette. Torino, 1880, in-8. Cf. aussi l'article d'Arvede Barine dans la «Revue des Deux Mondes» du 15 septembre 1880.



писала «Принцессу Клевскую». Такое отрицание содержится в ее письме от 30 апреля 1678 года <sup>1</sup> к секретарю регентши Савойской Лешерену, с которым графиня состояла в дипломатической переписке. Вот интересное место из этого письма:

«Лет пятнадцать тому назад вышла в свет некая книжица, с коей большей части публики угодно было связать мое имя, — вот причина того, что ныне мне приписывают и «Принцессу Клевскую». Но, уверяю Вас, что я не имею к этому ни малейшего отношения. Господин де Ларошфуко, которого тоже хотели выдать за автора этой книги, участвовал в ее создании не более, чем я; он столько раз в этом клялся, что не верить ему невозможно, особенно в отношении такой вещи, в коей можно бы признаться без стыда. Что касается меня, то подозрение сие я считаю весьма для себя лестным, и думаю, что признала бы своей эту книгу, ежели была бы уверена, что подлинный автор с меня не взыщет. Я нахожу, что она очень мила, хорошо написана и притом не приглажена сверх меры, что в ней есть чарующая тонкость чувства, так что ее стоит не раз перечитать, а главное, я нахожу в ней превосходное изображение придворного общества и его жизни; тут нет ничего натянутого и выспренного — следовательно, это не роман; собственно говоря, это мемуары, и я слыхала, что таково и было прежде название книги, но потом его изменили. Вот, сударь, мое суждение о «Принцессе Клевской»; я прошу Вас высказать и свое, ибо из-за книги этой все насмерть перессорились; одни осуждают в ней как раз то, чем восхищаются другие; а потому, что бы Вы ни сказали, не опасайтесь остаться со своим мнением в одиночестве».

Из этого письма видно, что г-жа де Лафайет не хотела, чтобы знали, — по крайней мере в Савоие, — что она является автором этой книги и что заглавие ее придумано Клодом Барбеном, книгопродавцем-типографом

---

<sup>1</sup> Привилегия на издание в течение двадцати лет «Принцессы Клевской», полученная Клодом Барбеном, датирована 16 января 1678 г. На ней имеется следующая пометка: «Завершено печатанием в первый раз 8 марта 1678 года».

из Дворца правосудия. Она отрекается сразу и от «Принцессы Клевской» и от «Заиды» \*, опубликованной пятнадцать, даже семнадцать лет тому назад <sup>1</sup>. Она не желает, чтобы к этому примешивали ни ее самое, ни г-на де Ларошфуко, чьи клятвы она удостоверяет. Но она вовсе не презирает то, от чего отказывается. По ее словам, выходит, что она не написала «Принцессу Клевскую», но охотно сделала бы это, что она почти готова украсть книгу у настоящего автора. Она расхваливает ее не меньше, а то и больше, чем мы. Будь она искренна, она напоминала бы ту простодушную девушку, которая, вздыхая, говорила: «Дети — это такая прелесть! Как жаль, что это позорно!» Не смотрела ли г-жа де Лафайет на «Принцессу Клевскую» как на приятный грех, как на милое бесчестье? Я готов в это поверить. Позднее многочисленные примеры подобного отречения мы находим у Вольтера \*. Но Вольтер лгал, не испытывая особой неловкости. Он делал это с тем особым изяществом, которое дается лишь прирожденными свойствами ума. Этот великий враг предрассудков, не задумываясь, ставил ложь на службу истине. Иногда он даже лгал ради удовольствия, вопреки предписанию такого знатока в этой области, как г-н Талейран, который имел обыкновение говорить: «Ложь — это такая превосходная вещь, что не следует злоупотреблять ею». Как бы то ни было, совершенно ясно, почему Вольтер отказывался от той или другой своей книги. Но отречение г-жи де Лафайет удивляет нас, тем более что оно исходит от самой «правдивой» из женщин; его труднее объяснить, и мотивы его не бросятся в глаза. Арвед Барин <sup>2</sup> предполагает, что г-жа де Лафайет опасалась прогневать регентшу Савойскую, принадлежавшую к роду герцогов Немурских, признавшись в написании романа, в котором один из Немуров выведен как первый красавец своего времени, но кра-

---

<sup>1</sup> Мы уже говорили, что «Заида» относится к 1670 г. Она переиздавалась в 1705 и 1719 гг.

<sup>2</sup> В цитированной выше статье в «Revue des Deux Mondes» от 15 сентября 1880 г.

савец, замешанный в бесконечном множестве любовных приключений.

Вот уж излишняя деликатность, на наш взгляд! У регентши Марии де Немур, Госпожи Правительницы, как ее называли, тоже было бесконечное множество любовных приключений, и она не давала себе труда их скрывать. Герцог Немурский точно так же не мог бы оскорбить ее своим поведением, как не понравиться ей своей внешностью. И даже если бы она столь же усердно разыгрывала недотрогу, сколь мало была ею в действительности, то не родилась еще на свет такая чувствительная ханжа, которая краснела бы за какого-то герцога Немурского в своем роду.

Я бы скорее допустил, что г-жа де Лафайет, которой доставляло удовольствие писать, ибо она хорошо писала, боялась прослыть писательницей, особенно при дворе. Надо признаться, что это она была ханжа и недотрога. Дело в том, что около 1678 года женщины-писательницы не пользовались добрым именем. По возрасту и по связям г-жа де Лафайет принадлежала к блистательному обществу Фронды. В ту пору, когда она еще называлась мадемуазель де Лавернь и затмевала познаниями в латыни своего учителя Менажа, тон задавал особняк Рамбулье, высший свет был помешан на литературной славе и разбирался в тонкостях чувств не меньше, чем в тонкостях ума. Мода требовала, чтобы в женщинах блеск остроумия сочетался с безупречностью нравов. Слыть ученой значило слыть добродетельной; ученость — в античном смысле слова, как ее тогда понимали, — состояла из риторики, астрономии и целомудрия. Так же понимала это слово и мадемуазель де Лавернь, и она хотела, чтобы ее считали ученой. После замужества, не принесшего ей радости, она зачастила в будуары, где великосветские жеманницы красовались друг перед другом, кичась своим презрением к чувственным удовольствиям. Так обстояли дела, когда она выпустила «Принцессу де Монпансье». Но как раз в это время вкусы общества стали меняться. Новое поколение сурово отнеслось к блистательным дамам, которых прежде так восхваляли, и довольно решительно потребовало, чтобы

женщины вернулись к домашним делам. На светских жеманниц со всех сторон посыпались насмешки. На них обрушились одновременно Мольер и аббат Депюр\*. Г-жа де Лафайет, будучи весьма дальновидной, спрятала свою латынь и подчинилась новым веяниям, хотя и чувствовала в себе писательский дар. И если в разгар этих перемен, когда сама Мадлена де Скюдери, эта прославленная Сафо, слыла смехотворной особой, г-жа де Лафайет все же рискнула опубликовать «Заиду», то она сделала это лишь приняв уже известные нам предосторожности и под маской г-на де Сэгре. Даже спустя восемнадцать лет особа, оберегавшая свою репутацию столь ревностно, как г-жа де Лафайет, вынуждена была, печатаясь, соблюдать некоторую осмотрительность. Женщин-писательниц считали тогда женщинами легких нравов, — и не без основания. Г-жа Дешулье отличалась легкомыслием, и г-жа Ласюз тоже. Мадемуазель де Вильдье жила с каким-то офицером. Ученые дамы, как г-жа де Ласаблиер, нередко уступали чувству. Г-жа де Лафайет больше не хотела, чтобы ее считали ученой, и вступала теперь в пределы Республики Словесности только под двойным покрывалом. К тому же она была богобоязненна и принадлежала к кружку Пор-Рояля. А там питали отвращение к романам. Г-н Николь, самый мягкий человек на свете, в ту пору говорил:

«Сочинитель романов и театральный поэт \* — это публичный отравитель, отравитель не тел, а верующих душ, и должно смотреть на него как на лицо виновное в бесчисленных духовных убийствах, кои он уже совершил или может совершить своими вредоносными писаниями». Как видите, г-жа де Лафайет в конце концов имела некоторые основания не признаваться слишком открыто в том, что она автор «Принцессы Клевской».

Эта книга появилась в атмосфере полутайны и имела огромный успех. Целый сезон она служила темой для разговоров в обществе. Г-жа де Лафайет не преувеличивала, говоря, что «все насмерть перессорилось из-за этой книги». Юный Валенкур, друг Расина, раскритиковал ее в статье, которую приписали преподобному отцу Бугуру, а некий аббат Шарм ответил ему хвалеб-

ной статье, автором которой считали Барбье д'Окура Бурсо переделал книгу в трагедию, ибо во Франции все, что модно, в конце концов тащат на подмостки.

Что ж, никогда еще не бывало столь заслуженного успеха. Г-жа де Лафайет первая ввела в роман жизненную правду; она первая нарисовала подлинно человеческие характеры и естественные чувства. И благодаря этому она заняла почетное место в хоре классиков, вторя Мольеру, Буало, Расину, которые приблизили муз к природе и истине. «Андромаха» относится к 1667 году; «Принцесса Клевская» — к 1678 году; с этих дат начинается литература нового времени. «Принцесса Клевская» — первый французский роман, интерес которого основан на правде страстей.

Но если присущее этому роману изящество стиля и мысли свидетельствует о пришествии Расина с его Мониной и Береникой \*, то следует помнить, что по духу своего творчества г-жа де Лафайет в меньшей степени принадлежит поколению Фронды и Корнеля. В самой простоте своей она остается героичной и, подобно автору «Цинны», хранит возвышенный и доблестный жизненный идеал. Ее героиня, как и Эмилия \*, — это, в сущности, «очаровательная фурия», фурия женской чистоты, если хотите, что не мешает нам разглядеть змеиные головы в ее пышных белокурых кудрях. По своим философским воззрениям г-жа де Лафайет — последовательница Корнеля и тяготеет к прошлому, как это обычно бывает с женщинами, чья молодость уже позади. Расин — и в этом главный вклад в литературу его могучего и чарующего гения, — Расин выводит героев и героинь трагедии как трогательные жертвы сердца и чувства. Корнель довел до абсурда экзальтацию воли; Расин показал всемогущество страстей, и с этой точки зрения он был, неведомо для себя, самым дерзким новатором. Он принес в поэзию новую, небывалую, глубокую правду. Современники не смогли как следует

---

<sup>1</sup> *Lettres à madame la marquise de... sur le sujet de la Princesse de Clèves*, Paris, 1678, in-12.

*Conversations sur la critique de la Princesse de Clèves*, Paris, 1679, in-12.

понять это. Даже таких, как Сент-Эвремон, кто, казалось бы, в полной мере должен был проникнуться новой философией, — и тех остановили литературные предрассудки. Не удивительно, что и г-жа де Севинье бездумно пренебрегла поэтическими творениями, величие которых далеко превосходило ее понимание. Ее добрая подруга г-жа де Лафайет была несравненно рассудительнее и умнее; она разбиралась в таких вещах, о которых маркиза и не подозревала. Тем не менее в анализе страстей она придерживалась, и придерживалась сознательно, психологического метода, разработанного Корнелем и прециозной литературой. Что таила она в глубине души? Никто никогда не узнает. Эта правдивая особа была непроницаема. Ее не знал даже собственный духовник. Я готов заподозрить эту добродетельную и набожную придворную даму, осыпаемую королевскими милостями, в том, что она сомневалась в добродетели, мало верила в бога и — что особенно удивительно для той эпохи — ненавидела короля. По моим догадкам, она была ужасная вольнодумка. Она не выдала своей тайны даже в «Принцессе Клевской».

Я не стану анализировать этот роман; он известен и тем, кто не читал его. Все знают, что действие происходит при дворе Генриха III, но что изображенные там нравы — это на самом деле слегка идеализированные нравы высшего общества, которое окружало автора. Люди семнадцатого столетия ни в малой мере не обладали чувством прошлого и под старинными либо чужеземными именами невольно выводили самих себя. Так и г-жа де Лафайет, нимало не смущаясь, придает современникам Валуа язык и нравы придворных Людовика XIV. Я не говорю, что она не знала эпоху Валуа; я говорю, что она плохо ее чувствовала. И можно только радоваться, что она не изобразила эту эпоху: там был бы вымученный плод эрудиции, здесь же свободно развернулся ее талант. Едва ли есть необходимость напоминать простую фабулу, заполняющую прелестную книжечку г-жи де Лафайет. Принцесса Клевская, самая красивая дама при дворе, любима герцогом Немурским, самым безупречным кавалером в королевстве. Последний, в прошлом опытный любезник, становится

робок, едва лишь полюбил. Он прячет свою страсть, но принцесса Клевская ее угадывает и невольно разделяет. Чтобы укрепиться в борьбе с опасностью, навстречу которой влечет ее сердце, она, не колеблясь, признается мужу, что любит герцога Немурского, что боится его и боится самое себя. Муж сперва успокаивает и утешает ее; но затем, вследствие неосторожности и нескромности герцога Немурского, он воображает себя обманутым и умирает с горя. Вдова его не думает, что эта смерть вернула ей свободу. Она остается верна памяти мужа, которого никогда не любила.

Ее поступок по многим причинам кажется достойным восхищения. И, однако, нельзя не признать, что принцесса Клевская очень уж высоко ставит добродетель, если считает не слишком дорогой ценой за нее смерть мужа и отчаяние любовника (я употребляю это слово в том смысле, какой оно имело в XVII веке).

«Что вы об этом думаете?» — спросил я одну женщину, чьим смелым и проницательным умом я восхищаюсь \*. Вот что она мне ответила:

«Принцесса Клевская — настоящая героиня особняка Рамбулье, только без принятого там жеманства. Она божественна, как Клелия и как Артениса \*. Красота ее несравненна, а душа не знает слабости. Но принцесса Клевская не выдуманная героиня, и причины ее поступков коренятся в реальной жизни, — тут не требуется прибегать к вымыслу. Ее тревоги и заботы очень человечны, в них нет ничего идеального; самые земные добродетели — благоразумие и рассудительность — дают направление ее жизни и упорядочивают ее чувства. Но, пожалуй, еще больше, чем благоразумие, ей служит охраной сознание своего высокого положения в обществе, сознание, которым она так глубоко проникнута. Ей в высшей степени свойственно преклонение перед внешними приличиями, и может статься, что она принимает высокомерно-гордую позу, надеясь смягчить этим свои тайные страдания. Мне думается, что этой прекрасной даме, чей душевный мир и в особенности мораль были не так сложны, как наши, жизнь представлялась ярко освещенным парадным салоном, через который надо пройти, сохраняя достоинство

и благородство. Потом с величественным реверансом следует удалиться — и все кончено. Это торжество этикета, этикета, который может быть доведен до героизма, потому что иногда нужно больше мужества и больше твердости духа, чтобы улыбаться на балу, чем для того, чтобы улыбаться на поле сражения. Принцесса Клевская обладает такого рода мужеством, оно доходит у нее до самозабвения, до самоуничтожения. Ей незнакома слабость, но незнакома и жалость. Она допускает отчаяние и смерть двоих людей, из которых по крайней мере одного она любит. Она не испытывает угрызений совести, потому что осталась безупречной и ничто настоящему не нарушило стройного единства ее поведения. Она являет собой живое свидетельство того, к чему приводят весьма твердые социальные принципы и весьма суровые житейские правила, когда для человека нет ничего выше этих принципов. Она являет собой также пример, — быть может, и поучительный, но плачевный, пример того, что могут сделать с человеческим счастьем мораль и добродетель. Перед лицом этой верной, но безжалостной души начинаешь мечтать о других, о героинях любви пусть слабых, пусть преступных, но зато таких нежных. И спрашиваешь себя, не основывается ли эта кичливая добродетель на гордыне, которая служит ей утешением во всем, даже в творимом ею зле».

Самое оригинальное в поведении принцессы Клевской — это, конечно, ее признание мужу в любви к другому. Надо сказать, что, с точки зрения простой гуманности, ей тут нечем гордиться, ибо это признание является главной причиной смерти принца Клевского. Если бы она промолчала, он бы не умер; больше того, он жил бы спокойно и счастливо, среди сладостных иллюзий. Но нужно было во что бы то ни стало оставаться правдивой. Такого же мнения придерживалась одна знаменитая женщина, повторившая эту сцену спустя сто лет. Г-жа Ролан тридцати девяти лет от роду познала «пылкую привязанность к мужественной душе, властвовавшей над могучим телом». Человек, которого она любила, обладал, как и она, крайне обостренным чувством долга. То был депутат Бюзо, Они



любили, не принадлежа друг другу. У г-жи Ролан был муж, двадцатью годами старше ее, дряхлый, кутавший свое старое тело в рваные лохмотья. Она сочла себя обязанной, по примеру принцессы Клевской, признаться этому горемыке, что она любит другого. Признание, сделанное столь беспомощному супругу, не грозило обернуться трагически; с этой точки зрения г-жа Ролан покажется, быть может, менее неосторожной, чем принцесса Клевская. Однако и ей не пришлось радоваться такой откровенности. Она признает это в своих мемуарах: «Я нежно люблю и почитаю своего мужа, как чувствительная дочь любит добродетельного отца, ради которого она готова пожертвовать любовником; но я встретила человека, который мог бы быть этим любовником, и, оставаясь верна своему долгу, по простоте душевной не сумела скрыть то чувство, коим я жертвовала. Мой муж, крайне уязвимый и в привязанностях своих и в самолюбии, не смог вынести мысли о том, что владычеству его нанесен хоть малейший урон: воображение его омрачилось; его ревность стала меня раздражать; счастье улетело от нас. Он меня обожал, я жертвовала собой ради него, и оба мы были несчастны. Будь я свободна, я неотступно следовала бы за ним повсюду, чтобы смягчить его горести и утешить его старость: душа, подобная моей, не жертвует наполовину. Но Ролан ожесточается при одной мысли о жертве с моей стороны, само сознание, что я приношу ему жертву, разрушает все его блаженство: он страдает от того, что принимает ее, — и не может без нее обойтись»

Ролан от этого не умер. Говорят, что это была возвышенная душа и что он обещал в один прекрасный день освободить место тому, кого любят, если любовь окажется непреодолимой <sup>2</sup>. Г-жа Ролан тоже была воз-

---

<sup>1</sup> «Mémories de madame Roland», édition Dauban. Plon, 1864, стр. 172—173. В последующих изданиях это место было выпущено.

<sup>2</sup> «Предание, заслуживающее некоторого доверия, гласит, что он объявил о своем решении когда-нибудь удалиться, если ей не удастся погасить эту любовь, — героическое решение, с которым она не согласилась». (Etude sur madame Roland, par A. Dauban. Plon, 1864, in-8, p. CXCIV.)

вышенная душа и заранее отказалась от такой великодушной жертвы. Однако, при всей своей возвышенности, они постоянно раздражались и ссорились друг с другом. Супружеская жизнь шла из рук вон плохо; но наступило 31 мая \* и принесло новые заботы, потопив их домашние дразги в общественных потрясениях.

Насколько мне известно, жестокая откровенность принцессы Клевской не имела других подражателей, кроме г-жи Ролан. Не смею утверждать, что об этом стоит пожалеть. И все же, чтобы быть справедливым, — если это вообще возможно, — надо отметить, что г-жа Ролан действовала так же, как принцесса Киевская, но не имела к этому таких же серьезных оснований. Принцесса Клевская, доверяясь мужу, была в отчаянии, она просила у него помощи, умоляла о поддержке. Г-жа Ролан хотела только одного — покрасоваться своей страстью. А это совсем другое дело. Что же касается г-жи де Лафайет, то она была так довольна трагическим признанием своей героини, что написала впоследствии еще одну новеллу специально для того, чтобы показать другую женщину, совершающую подобное же признание при еще более тягостных обстоятельствах, ибо она виновна в измене и исповедуется мужу, которого обманула. Графиня де Танд <sup>1</sup>, избравшая в качестве поверенного своих слабостей своего собственного мужа, превосходит по героической искренности самое г-жу Ролан.

Вот вам еще одна правдивая женщина. Забавно, что эти правдивые женщины — плод воображения женщины, которая не исповедовалась даже своему исповеднику.

*Анатоль Франс.*

Р. S. Мне как будто удалось соблюсти чувство меры. Кажется, я по справедливости выразил свое восхищение «Принцессой Клевской» и воздал должное г-жи де Лафайет. Но мало быть справедливым. По отношению к женщине и к шедевру требуется нечто иное, чем

---

<sup>1</sup> Насколько мне известно, «Графиня де Танд» не была опубликована при жизни г-жи де Лафайет.

справедливость. Меня мучает совесть. Я боюсь, что пренебрег той вежливостью, той любезностью, без которой даже сама изящная словесность казалась бы грубой и неотесанной. Вот почему, вспомнив, что Огюст Конт включил «Принцессу Клевскую» в «Позитивистскую библиотеку», я взял на себя смелость просить уважаемого наследника учителя — человека, стоящего ныне во главе позитивистов, написать мне несколько слов об этой принцессе, которою он, как мне известно, восхищается с пылкостью, основанной на глубоком ее понимании. Г-н Пьер Лаффит соблаговолил мне ответить. Вот его письмо; \* оно послужит поправкой к моему предисловию. Только такого письма и мог я ожидать от философа, воодушевленного, подобно древнему Эпикуру, пламенным энтузиазмом разума.

## ИРОДИАДА ГЮСТАВА ФЛОБЕРА

### ПРЕДИСЛОВИЕ

#### I

#### *Иродиада в истории*

Внук бедного сторожа в Аскалонском храме, похищенного арабскими разбойниками; сын раба, который, снискав благоволение своих господ, стал поставщиком римской армии и обогатился на поставках провианта, — сей идумеянин \* создал в Иудее царство тем же способом, каким создают состояние, добившись хитростью и отвагой священного венца Соломона и Иосафата \*. Умелый правитель, разумный хозяин, искусный руководитель общественных работ, человек черствый и жестокий, он построил храм, основал Цезарею, кормил народ в голодные годы и перебил всех своих врагов. Это был Ирод Великий.

В глубокой старости, на тридцать восьмом году царствования, его поразила страшная болезнь, в чем иудеи узрели возмездие за его грехи и безбожие. Пожираемый изнурительной лихорадкой, он испытывал зверский голод, который ничем нельзя было утолить; резкая боль раздирала его внутренности; ноги его вспухли и посинели. Он задыхался; дыхание его отравляло воздух. Говорили, что на животе у него уже завелись черви.

И все же он хотел жить и царствовать. Врачи послали его за Иордан, в Каллирое, где воды из горячих источников впадают в смоляное озеро. Там его посадили в чан с лечебным маслом, от чего он чуть не умер. Он велел отнести себя в Иерихон, — там, хоть и разлагаясь заживо, но еще дыша, он словно ожил, чтобы предать мучительной казни своего сына Антипатра, который незадолго до того хотел отравить его и уже вообразил себя царем Иудейским. Антипатр погиб накануне свершения своей мечты. Это было последней радостью старого Ирода: пять дней спустя он встретился в Шеоле \* с бесчисленными своими жертвами, с избранниками народа, с священниками, законниками, слугами, родственниками, женой, сыновьями, Гирканом, Созмом, Костобаром, Тероном, Иудой, Матфеем, Александром, Аристовудом, Антипатром и красавицей Мариамной, которую он продолжал любить после ее смерти и тело которой хранилось в меду <sup>2</sup>.

Сперва он указал на Ирода Антипу, сына своего от Мальтасеи Самаритянки, как на единственного своего преемника. В новом же завещании, продиктованном незадолго до смерти, он разделил государство между тремя из оставшихся в живых сыновей. Архелая он назначил царем, а Иерусалим — столицей его царства; Ирода Филиппа — тетрархом \* Трахонитиды, Голонитиды и Батанеи; Ирода Антипу — тетрархом Галилеи и Перееи. Но могущество идумеянина всегда зависело лишь от дружбы его с Римом. Завещание обрело силу только после утверждения его императором. Архелай и Антипа, которых отец для получения образования посылал в Рим, как истые питомцы римлян, возымели ясное представление о том, что такое величие Империи. Едва Ирод Великий, препоясанный пурпурной тесьмой, с короной на голове и скипетром в руке, был

---

<sup>1</sup> Флавий, Иуд. древн., XVII, VIII — О иуд. войнах, I, XXI.

<sup>2</sup> То, что говорит Флавий о плане умирающего Ирода истребить всех старейшин в роду иудейском, заключенных в иерихонском цирке, не кажется мне достоверным, несмотря на глоссу из Талмуда, приведенную Ф. де Сольси в своей Истории Ирода (F. de S a u l c y, Histoire d' Hérode, 1867, in-8, p. 272).

перенесен в траурный покой замка Иродиона, как любимый сын его Архелай уже задумал защищать перед Августом свои притязания на все государство. С великой поспешностью он подавил возмущение набожных иудеев, которым надоело чувствовать на себе руку Исава \*, — они хотели прогнать сына нечестивца, осквернившего могилу Давида \* и установившего на портике храма изображение римского орла. Второпях он переребил и правых и виновных и отбыл в Италию со своей теткой Саломеей и всей семьей, с целью увидеть императора и просить у него власти и права на царство.

Тотчас же Антипа, в сопровождении родных и советников, последовал за ним в Рим, чтобы также предъявить свои права на все отцовское наследие. По тайному наущению старой Саломеи, которая сопровождала Архелая лишь затем, чтобы предать его, Антипа должен был оспаривать перед лицом Августа законность второго завещания, составленного, по его словам, тогда, когда разум Ирода Великого уже угас, хотя жизнь еще не покинула тело.

Август терпеливо выслушал смиренные мольбы и хитрые доводы, жалобы и споры этих азиатов; он проглотил не поморщившись сей горький мед Идумеи. Затем, отпустив и тех и других с ласковым напутствием, добрый государь утвердил завещание Ирода, за тем лишь исключением, что сын, отмеченный наибольшим благоволением усопшего, должен был удовольствоваться званием этнарха \*<sup>1</sup>.

Архелай возвратился в Иерусалим и вступил во владение своей этнархией, ополчившейся против него с мрачным фанатизмом. В глазах религиозного и гордого народа он был безбожником и чужаком. Чтобы восторжествовать над этой ненавистью и злобой, он бы должен был обладать коварством и смелостью своего отца. Архелай же погрузился в полусонную негу, прерываемую время от времени ужасающими насилиями. Привыкнув упорно грызть железные удила, иудеи и

---

<sup>1</sup> Николай Дамасский, цитируемый Сольси, там же, стр. 377.

самаритяне без особого труда перетерли столь слабую узду. Их бесконечные жалобы наскучили Августу, и спустя десять лет он низложил Архелая и сослал его в Вену, в Галлии, где идумеянин мог в свое удовольствие возжигать благовония в храме Августа и Ливии (год 6-й после Р. Х.).

Брат его Филипп преуспел больше. Этот сын Ирода и Клеопатры Иерусалимской был снисходительным и мягким начальником. В отношении горцев Гермона он выказал беспримерную в семье Ирода доброту.

Тем временем Антипа, тетрарх Галилеи и Переи, жил требовательным гостем у своего нищего народа. Отдавшись сладостному безделью неприступного восточного владыки, он обдумывал тонкие блюда и выгодные для себя хитрые ходы. У него были два недостатка, из-за которых он чувствовал себя глубоко несчастным: трусость и легковерие.

Согласно обычаю всех Иродов, он воздавал Цезарю публичные почести, и почести эти казались галилеянам кощунством. Он объявил покровительницей одного из своих городов Юлию, дочь Августа, челу которой больше пристал бы венок вакханки, нежели сей венец с зубцами из городских башен.

Когда императором стал Тиберий, Антипа постарался войти в милость к новому повелителю мира. На берегу Генисаретского озера, среди холмов, покрытых виноградниками и лавровыми рощами, он воздвиг настоящий римский город, с колоннами, статуями, храмами, мозаикой, и назвал его Тибериадой в честь Тиберия (год 17-й после Р. Х.).

Государь, чувствительный к таким знакам внимания, сохранил к тетрарху дружеское отношение, которому никогда не изменял. Но нищие и набожные галилеяне молча, с изумлением взирали издали на эти портики, на изваяния горящими ненавистью глазами.

Антипа взял себе в жены дочь Гарета, эмира Петры, которому были подвластны арабы из песчаных пустынь между Мертвым и Красным морями. Дочь эмира заняла первое место в гареме тетрарха. Во время одной из своих поездок в Италию (известно, что он ездил туда неоднократно) он посетил Ирода, брата

своего по отцу и сына второй Мариамны, которая была дочерью Симона первосвященника. Обойденный отцом в завещании, Ирод жил, как частное лицо, в богатстве, со своей женой Иродиадой, которая в то же время приходилась ему и Антипе племянницей, ибо была дочерью их брата Аристовула, умерщвленного Иродом Великим<sup>1</sup>.

В тихом своем доме внука царя Иудейского терзалась тоской. Ей глубоко претила унижительность ее положения. Она чувствовала себя рожденной повелевать народами из недр своих дворцов, огромных, как города, с множеством садов и фонтанов, вершить искусней, чем мужчины, великими делами при помощи евнухов и вольноотпущенников, подавать знак палачу, владеть сундуками, полными звонкой монеты, обладать драгоценностями, жемчугами, золотой посудой и воинами — все это было образом царской власти, жившим в душе сирийки\*.

Увидев Антипу, она подумала, что ей, быть может, представляется выход из положения, которое возмущало ее. Иродиаде пришло в голову влюбить в себя тетрарха. Она была лукава и прекрасна и сразу преуспела в этом. Воспламененный желанием, он обещал

---

<sup>1</sup> Она была дочерью Аристовула и Береники — дочери Саломеи, сестры Ирода. На изображении генеалогического дерева, составленного Ф. де Сольси для своей «Истории Ирода, царя иудейского» (Nachette, 1867, in-8°), есть следующее упоминание:

а) «Иродиада обручена, но не обвенчана с Иродом, сыном царя Ирода и Мариамны, дочери Симона. Она расстается с ним тотчас же после рождения Саломеи и выходит замуж за тетрарха Антипу». Но на той же странице мы читаем:

б) «Ирод, обрученный и обвенчанный с Иродиадой, дочерью Аристовула и Береники».

в) «Антипа... берет в жены: 1) Н... дочь Аретаса, короля Аравии, которой затем дает развод; 2) Иродиаду, оставившую Ирода, своего первого мужа».

Там, между а, б и в существует противоречие, тем более разительное, что оно обнаруживается в двух местах, близко стоящих друг к другу на генеалогическом дереве. Думаю, что пометка: *обручена, но не обвенчана*, — ошибочна; Флавий говорит именно о том, что Иродиада была обвенчана с Иродом, сыном Ирода Великого и Мариамны.



взять ее в жены, дав, по возвращении из Рима, развод дочери Гарета.

План этот, державшийся в тайне, был, однако, раскрыт арабской царевной. Решив избежать позора, она притворилась, будто ничего не знает, и попросила у тетрарха позволения отправиться в Махеруз, укрепления которого охраняли тогда солдаты эмира Петры. Это позволение ей было дано. Прибыв в Махеруз, она приказала конным кочевникам проводить ее оттуда, сменяясь от племени к племени, до Петры, где она поведала своему отцу о нанесенном ей оскорблении. Эмир дал клятву отомстить за нее и стал поджидать удобного случая<sup>1</sup>.

Тем временем Иродиада, оставив мужа, от которого имела дочь, но не ожидала больше ни славы, ни власти, стала женой тетрарха. К наполовину кровосмесительным союзам, привлекавшим гордую, отравленную кровь Иродов, на сей раз добавилось прелюбодеяние. Ибо этот брак был не чем иным, как дерзким прелюбодеянием. Богобоязненные галилеяне пронились к нему глубочайшим отвращением. И все, кто соблюдал закон и жил по заповедям бога, все простолюдины, все бедняки краснели от стыда, видя вознесенными над собой этого мужчину и эту женщину. Надменная Иродиада, чувствуя, как нарастает вокруг нее прилив народного возмущения, замкнулась в мрачном высокомерии. Но в глубине души она затаила женскую ненависть к иудейству неусыпную и мелочную.

В те времена умы в Иудее были возбуждены пророчествами. Многие ждали наступления царства божьего на земле. Эти люди были умеренны в еде, целомудренны и не боялись смерти. К пятнадцатому году принципата Тиберия по всей Иудее прошел слух о молодом назарее \* по имени Иоканан, или Иоанн, родом из древнего города Геброна, хранящего в своих скалах, там, где начинается пустыня, усыпальницы Авраама и Сарры, Исаака и Ревекки, Иакова и Лии. Иоканан, сын Захарии, был из рода священников. Как надлежит назарею, он соблюдал суровое воздержание, которое

---

<sup>1</sup> Флавий, Иуд. древн., XVIII, VII.

подготавливает тело к восприятию духа божия. Удалившись в пустыню, он жил там в одной из пещер, где бьют из-под земли ключи, над которыми склоняют свои черные ветви рожковые деревья; он носил одежду из верблюжьего волоса, перетянутую на чреслах кожаным поясом, а пищей его были акриды и дикий мед.

Стремление к святости, обаяние аскетизма, чары голода и жажды обладали тогда неотразимой силой. Многие люди, искавшие необычных путей, навещали в его обители сына Захарии, свершавшего подвиг искупления. Он проповедовал им. То был глас вопиющего в пустыне. Казалось, говорит пророк Илия, не вкушивший смерти и возвратившийся для спасения народа. Иоканан установил обряд, который заключался в частых омовениях. Он окунал своих учеников в волны Иордана и кропил водой их голову. Потому и прозван был Крестителем. К нему без числа приходили паломники, люди всяких сект и всякого звания. Иисус Назарянин и многие ессеи \* прилепились сердцем к молодому проповеднику.

Священники, фарисеи \*, ученые любопытствовали послушать его. Он говорил им с суровостью:

— Порождения ехидны, кто научил вас бежать от грядущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния вашего.

Он ни во что не ставил звание сына Авраамова, которым они так гордились.

— Ибо господь, — говорил он, — может из камней придорожных воздвигнуть детей Аврааму.

Он в туманных словах возвещал о днях мести и гнева:

— Уж и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь <sup>1</sup>.

Он наставлял, как надо делить свое добро:

— Пусть тот, у кого две рубашки, даст одну тому, у кого ее нет, и пусть тот, у кого есть еда, сделает так же.

---

<sup>1</sup> Матф., III, 7, 8, 9, 10.

Эти речи показались опасными тетрарху, который еще больше испугался, когда Иоканан обошелся с ним и его Иродиадой, как Илия из Тисбы с Ахавом и Иезавелью \*.

Креститель осмелился сказать тетрарху:

— Не должно тебе иметь жену брата твоего <sup>1</sup>.

Иродиада, и без того полная ярости против иудеев, вопящих в пыли у ее золотых сандалий, потеряла терпение, Иоканан был схвачен и препровожден в Махеруз.

То была огромная крепость на восток от Мертвого моря, расположенная в диком уезде и заключавшая внутри великолепный дворец. Ходили рассказы, что в окрестностях, по глади смоляных озер, среди превращенных в соляные столбы мужчин и женщин, бродят рефаимы и демоны, вместе с сыновьями великанов.

Там-то и содержался назарей, с оковами на ногах, по восточному обычаю, во дворе, под сводом ворот, где все проходившие мимо служители могли его видеть и слышать.

Его навещали ученики <sup>2</sup>. Никогда он не обличал тетрарха с большим неистовством; он повторял:

— Антипа, не должно тебе иметь жену брата твоего.

Тетрарх не знал, что ему делать с этим страшным человеком. Можно ли отпустить его на свободу? Ведь он будет вопить перед народом о развращенности Иродов! Ибо он никогда не замолчит.

Иродиада говорила: «Нужно убить его». Но при мысли об этом Антипа дрожал от страха. Убить человека, который крестил людей в Иордане, изгонял бесов, проповествовал! Убить божьего святого!

---

<sup>1</sup> Марк, VI, 18.

<sup>2</sup> «Достоверно одно: что заключение было длительным и что Иоанн в недрах своей тюрьмы сохранил большую свободу действия» (Ренан, Жизнь Иисуса). «Тюрьма на Востоке ничего не имеет общего с одиночным заключением: осужденный, скованный по ногам, содержится у всех на виду, во дворе или открытом помещении, и разговаривает со всеми, кто проходит мимо него» (там же).

А что, если это и вправду сошедший с неба Илия тисбеец! Влекомый таинственным очарованием, Антипа часто приходил к своему пленнику; стоя перед ним, он с удивлением слушал слова, опаляющие, как дыхание пустыни, где они зародились. Этот аскет внушал ему страх и в то же время возбуждал необыкновенный интерес.

Антипа становился в тупик перед этим поразительным существом, постигшим при помощи поста и магических обрядов тайны, которые навсегда останутся недоступными для большинства людей. Он задавал ему вопросы, просил откровений, знамений, спрашивал его советов. Он охотно сделал бы его своим звездочетом и волхвом <sup>1</sup>. Между государем и назареем установилась какая-то короткость отношений. И Иоканан без устали оглашал крепость своими гневными речами.

Иродиада поняла, что без помощи какого-либо необычного средства ей не заполнить голову Крестителя. Ее увядающая красота уже не имела былой силы над постаревшим Иродом. Требовалось иное оружие. К счастью, у нее была дочь, — дочь от первого брака, — Саломея, такая же красавица, как некогда ее мать.

В том году (год 30-й после Р. Х.) день рождения Ирода Антипы застал его в Махерузе. В честь этого праздника он дал во дворце, построенном Иродом Великим, один из тех бесконечно длящихся пиров, где приятный запах яств и винные пары дурманят головы.

Иродиада, которой обычай воспрещал присутствовать на пирах, выжидала в глубине гарема удобной минуты, чтобы начать действовать. Когда, по ее расчетам, праздник уже приближался к концу, она выслала к пирующим дочь свою Саломею, которая стала плясать перед тетрархом и его гостями. То был медленный чувственный танец, из тех, стародавнюю традицию которых хранит Восток, — мимическая любовная сцена, где ноги танцовщицы едва переступают, тогда как тело выражает всю истому и безумство сладострастия.

---

<sup>1</sup> «Ибо Ирод, зная, что он муж праведный и святой, боялся его, уважал, многое делал по его совету и охотно слушал его» (Марк, VI, 20).

Молодая, искусная в приемах плотского обольщения, царевна очень понравилась Антипе, и он, с осторожностью человека, разум которого затуманен хмелем, сказал ей:

— Проси, чего хочешь, я дам тебе.

И поклялся:

— Чего бы ты ни просила, я дам тебе, даже до половины моего царства.

Саломея вышла, как было ей ранее приказано, чтобы спросить совета у матери, с беспокойством ожидавшей ее в гареме, потом, возвратившись, стала перед Антипой и с улыбкой повторила слова, подсказанные Иродиадой:

— Дай мне вот на этом блюде голову Иоканана Крестителя.

Она показала на одну из широких чаш для фруктов и печений, которыми был уставлен стол <sup>1</sup>.

Тетрарх, огорченный и недовольный этой просьбой, заколебался. Ему хотелось бы и на этот раз спасти назаря. Но он дал торжественное обещание; если б он отказал в столь заслуженной награде, все гости стали бы свидетелями его вероломства и посмеялись бы над его слабостью. Вино придало ему мужества. Он сделал знак палачу, который всегда был при нем. Палач вышел. Несколько минут спустя он вернулся, неся на столовом блюде голову Крестителя, и подал ее девушке <sup>2</sup>. Саломея приняла ее и отнесла к матери.

Лет через шесть после пира в Махерузе эмир Петры, терпеливо обдумывавший свою месть, нарочно затеял с тетрархом ссору по поводу границ земель Гамалы. Когда разразилась война, тетрарх располагал лишь маленьким отрядом наемных солдат, пополнившимся разбойниками, которых Ирод Филипп прогнал из горной местности. Этот сброд постыдно бежал от арабских всадников. Иудеи узрели в этом поражении карающую

---

<sup>1</sup> Небольшие подносы, на которых подают к столу напитки и кушанья на Востоке (Ренан, Жизнь Иисуса).

<sup>2</sup> Матф., III, 14 и след. Марк, VI, 21 и след.

Св. Иероним говорит, что Иродиада проколола иглоками язык, называвший ее Иезавелью, но св. Иероним, знакомый со светскими книгами, читал о смерти Цицерона\*.

десницу господню, ибо они не забыли смерть Иоканана Крестителя \*.

Антипа видел уже, как люди, стекающиеся из пустыни, разбивают лагери вокруг Махеруза, а конница старого эмира топчет поля галилейские. В страхе он написал Тиберию. Император сохранил дружеские чувства к основателю Тибериады. Помимо того, тетрархия принадлежала Империи, которая не могла допустить внезапного нападения арабов. И Луций Вителлий, наместник Сирии, получил приказ идти с двумя легионами на Петру. Он собрал свои войска в Птолемаиде, на севере провинции, намереваясь пройти через Иудею.

Но богатые люди и священники стали просить, чтобы он отказался от этого плана. Иудеи, сказали они, не могут без возмущения видеть на своей земле знамена с изображением Цезаря, ибо изображения эти противны закону. Вителлий, благосклонно относившийся к иудеям, не настаивал и дал приказ легионам следовать вдоль пустыни.

Узнав, что римляне идут на Петру, эмир встревожился и спросил совета у волхвов, и те ответили: «Прежде, чем римляне войдут в Петру, один из трех — тот, кто объявил войну, или тот, кто начал ее, или тот, против кого она начата, — умрет».

Если действительно арабские маги сказали так, их предсказание сбылось. В Иерусалиме Вителлий узнал о смерти Тиберия и о восшествии Гая на императорский престол \*. Он тотчас же призвал обратно свои находившиеся уже в пути легионы и послал их на зимние квартиры. Сам же, приведя иудеев к присяге Гаю, вернулся в Антиохию и занялся Артабаном, мятежным

---

<sup>1</sup> Иосиф Флавий, не описавший смерть Иоанна Крестителя, говорит: «Многие иудеи подумали, что поражение армии Ирода было ниспослано богом в наказание за Иоанна, прозванного Крестителем» (Иуд. древн. VII, VII). Там же Флавий говорит о Крестителе в таких выражениях: «Это был человек великого благочестия, который призывал иудеев приобщиться добродетели, учиться справедливости и, угодив этим богу, принять крещение, не довольствуясь тем, что не впадают больше в какой-либо грех, но добавив чистоту телесную к чистоте духовной».

царем Парфии, который готовился к войне и всюду собирал боевое снаряжение — даже у друзей римского народа.

Смерть Тиберия повлекла за собой падение Ирода и Иродиады.

У Иродиады был брат Агриппа, интриган и делец, человек на редкость ловкий и расточительный до безрассудства; разорившись в Риме, он влачил жалкое существование в своем дворце в Галате, перейдя после устриц из Лукринского озера на финики и сухой виноград.

Тетрарх, чтобы помочь ему вернуться к достойному образу жизни, назначил его главным судьей Тибериады и определил денежное содержание. Но как-то за ужином Антипа, опьянев от вина, обнаружил всю тупость и низменность своей души, попрекнув брата Иродиады добром, которое он ему сделал, и обозвав попрошайкой.

Разъяренный Агриппа бросил в лицо этому грубому пьянице динарии и знаки отличия и покинул Галилею. Оставшись без средств, он возвратился в Италию, чтобы вновь попытаться нажить себе состояние. Появившись в Риме к концу принципата Тиберия, он сумел войти в милость государя, хотя тот питал отвращение к расточителям и мотам. Но Агриппа был столь учтив, что никто не мог перед ним устоять. Сопровождая в качестве приближенного угрюмого императора в сады Тускулума и по холмистым дорогам Капри, иудей размышлял о своем будущем. Жил тогда в Италии один юноша знатного рода, целомудренный и скромный, который ел солдатскую пищу и носил обувь солдата; то был сын Германика и Агриппины, кумир народа и легионов, надежда Рима.

Агриппа, державший нос по ветру, переметнулся на сторону молодого Калигулы, вкрался к нему в доверие, сумев ему понравиться, вскоре хорошо распознал его и убедился, что этот мальчик с невинным лицом обладает растленной душой. Тогда он сказал ему: «Тиберий слишком зажился».

К несчастью для Агриппы, эти слова были переданы старому императору, и он велел посадить

в тюрьму учтивого азиата. За Агриппой был установлен довольно строгий надзор. С ним могло приключиться и худшее. Избранный после смерти Тиберия императором, Калигула отнюдь не позабыл о своем друге, томившемся в заключении уже целых шесть месяцев.

Он приказал выпустить его из темницы, призвал к себе во дворец и сказал ему: «Прикажи обрезать себе волосы, я хочу возложить на твою голову венец». Он отдал ему тетрархию Голонитиды и Батанеи, оставшуюся свободной после смерти Филиппа; более того, он добавил к ней соседние земли и царские регалии.

Когда Агриппа, в венце тетрарха, вернулся на родину, которую покинул большим бедняком, нежели какой-нибудь виноградарь из Назареи, его встретили с великим изумлением, и все восхищались человеком, который был так удачлив в делах. Иродиада просто иссохла от досады; видя, как брат ее шествует ныне, пышно разодетый, подобно великому царю персидскому, она бледнела от зависти. Эта честолюбица терзала робкого Антипу, требуя, чтобы он отправился в Рим и просил таких же регалий.

— Если ты мог примириться с менее высоким положением, чем было у твоего отца, — говорила она ему, — то хотя бы теперь добивайся привилегии, право на которую тебе дает происхождение; не соглашайся стоять ниже человека, бравшего когда-то у тебя на пропитание; и не трусь, при твоих богатствах, приложив старания, ты не можешь не достичь того, что приобрел он, живший в такой нужде, ничего не имея за душой! Едем в Рим и не пожалеем для этой цели ни труда, ни затрат, ибо беречь сокровища — меньшее наслаждение, нежели приобрести на них царство <sup>1</sup>.

Антипа любил покой. Эта затея страшила его. Ему тем более не хотелось отправляться со своими притязаниями во дворец к самому цезарю, что с некоторых пор он снабжал вооружением парфянского царя; на эту

---

<sup>1</sup> Ф л а в и й , Иуд. древн., XVIII, IX.



опасную сделку толкнула его ненасытная жадность. Производя оружие для Артабана, он опасался, и совершенно справедливо, как бы не дошел об этом слух до императорского советчика. Однако, по слабости характера, он поддавался уговорам.

Он отбыл в Вечный город с Иродиадой, воскресившей в пути весь пышный обиход Клеопатры во время ее плавания по Кидну\*.

Как только Агриппа узнал об отъезде своих завистников, он тотчас же отправил одного из вольноотпущенников, по имени Фортунат, с письмом и подарками к Калигуле. Попутный ветер помог Фортунату прибыть в Путеол одновременно с Антипой.

Калигула лечился тогда водами в Байях. Тетрарх и его супруга успели всего только приветствовать императора, а Фортунат уже вручил цезарю письмо Агриппы, обвинявшее тетрарха в том, что он покровительствует Артабану и вероломно копит в своих арсеналах вооружение для семидесяти тысяч человек.

Обеспокоенный этим донесением, с которым он тут же ознакомился, Калигула призвал к себе тетрарха и спросил, правда ли, что он может вооружить семьдесят тысяч воинов? Смущенный Антипа не стал отрицать. Уже одно это уличало его в измене; цезарь лишил его тетрархии, которую подарил доносчику, и отправил злосчастного Ирода в изгнание, в галльский город Лион. По отношению же к сестре любезного его сердцу Агриппы он показал себя доброжелательным и великодушным. Он не только не распространил на нее опалу, наложенную им на тетрарха, но предложил отдать ей имущество изгнанника. При этом крушении всей своей жизни Иродиада проявила благородство. Она отказалась от милостей цезаря.

— Отнестись ко мне так, как ты это сделал, — сказала она, — достойно тебя. Но любовь моя к мужу не позволяет мне воспользоваться твоей добротой. Я имела свою долю в его благоденствии, и было бы несправедливо, если бы я покинула его в несчастье<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Ф л а в и й , Иуд. древн., XVIII, XI.

Иродиада сделала, как сказала: она последовала за своим мужем в изгнание. Оба они умерли в неизвестности, где-то в Испании <sup>1</sup>.

## II

### *Иродиада и Гюстав Флобер*

Вот все, что нам известно об Антипе и Иродиаде. Иосиф Флавий — почти единственный источник рассказа. Что касается смерти св. Иоанна Крестителя, то о ней сказано лишь в синоптических евангелиях \*. Мне незачем просить прощения за то, что я представил события так просто и без прикрас. Другой покажет их очарование, их колдовскую силу. Другой явит нам видение, полное мрачного блеска. После всего, что мы изложили выше, мы знаем, из какого бледного повествования Иосифа Флавия поэт (Флоберу подобает это имя) извлек образы Антипы и Иродиады, которые он дал в своей сдержанной и сильной манере, производящей такое большое впечатление; мы видим, как, соблюдая единство времени и места, собрал он разбросанные и вялые сцены и вписал в столь тесную раму огромное полотно. Пожалуй, это историческое введение весьма выгодно для Флобера. Из него явствует, что сей могущественный заклинатель духов умел придать смутным теням истории формы и краски и что рассказ его — чудесная поэма <sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Этот абзац пытается примирить два места из Иосифа Флавия; в действительности они противоречат друг другу. В Иуд. древн., XVIII, IX мы читаем: «Он (Калигула) приговорил его (Антипу) к вечному поселению в Лионе, городе Галлии». Но в «О иуд. войнах» мы находим: «Император дал Агриппе его тетрархию (тетрархию Антипы). И он (Антипа) бежал в Испанию; жена сопровождала его, и там он умер».

<sup>2</sup> Gustave Flaubert. Trois contes: Un Coeur simple, la Légende de saint Julien l'Hospitalier, Hérodiades. Paris, G. Charpentier et Cie, éditeurs, 1877, 248 pages, plus le faux-titre et la table.

Иродиада в этом томе начинается со 165 стр. и кончается 248-й.

Автор «Саламбо», необыкновенно взыскательный к себе, особенно добивался исторической точности. Для каждой сцены своих романов и рассказов он пускался в бесконечные исследования. Было бы большой ошибкой думать, что для «Иродиады» он удовлетворился тем, что перелистал Флавия. Скажу без преувеличения, что он прочел по меньшей мере пятьдесят томов, прежде чем взялся за перо. Исайя \* вдохновил его на речи, вложенные им в уста Иоканана. Светоний помог найти основные черты двух образов \*, — о них я должен сказать несколько слов.

Луций Вителлий, наместник Сирии, о котором я бегло упомянул в моем историческом введении, играет важную роль в рассказе «Иродиада». Это был умный правитель, но низкий человек. Он дважды назначался консулом и цензором в годы принципата Клавдия. Както, желая угодить императору, он попросил у Мессалины милостивого разрешения разуть ее. Он снял у нее с ноги башмачок и не захотел его вернуть. Держа башмачок под тогой, он непрестанно осыпал его поцелуями. Сын его Авл, описанный Флобером с такой выразительностью, был возведен на престол войсками и заступил место Отона. Он и вправду был таким же чревоугодником, как в рассказе; известно, что Авл — автор блюда, состоявшего из печени камбалы, павлиньих мозгов, язычков фламинго и молок морских миног и названного «щитом Минервы».

Было бы интересно привести обстоятельства, при которых этот превосходный писатель задумал свою «Иродиаду». Но об этом нам ничего не удалось узнать. Может статься, Флобер, получивший воспитание в Руане и часто ездивший туда позже, впервые возымел мысль об этом трагическом рассказе, когда увидел Саломею Руанского собора. Ее скульптурное изображение находится на фронтоне левых дверей западного фасада, среди сцен, рисующих историю св. Иоанна Крестителя. Она танцует, стоя на голове, вернее, на руках. Поза эта создала ей среди руанцев известность, которую иным способом ей бы не приобрести. Ибо в ней нет ничего привлекательного. Опрокинутая головой вниз,

в длинном своем платье, она кажется какой-то монахиней средневековья, одержимой дьяволом. И все же отнюдь не об этой скверной скульптуре думал Флобер, когда писал в своей «Иродиаде» заключительную фразу самого чудесного из когда-либо сделанных описаний танца: «Она упала на руки, пятками вверх и так пробежала по помосту, словно огромный скарабей».

Как бы там ни было, Флобер взял на себя в тот день трудную задачу. Обрисовать на нескольких страницах Рим, Иудею, евангелие! Но этот сильный человек искал трудностей. Могучая натура толкала его на борьбу со своим творением. И снова он вышел победителем из поединка с ангелом \*.

### III

#### *Иродиада и г-н Жорж Рошгросс*

Дело было уже не в том, чтобы, давая пластическое истолкование «Иродиады» Гюстава Флобера, представить Ирода и Саломею как легендарные образы, согласно традиции христианской живописи; не подходило здесь и воспроизведение прелестной грезы, которою Гирландайо украсил во Флоренции хоры Санта-Мария-Новелла, — мы видим там загадочную дочь Иродиады танцующей у стола богатого флорентинца, со знатными городскими дамами по правую свою руку, и вельможами, банкирами и даже несколькими состоятельными ремесленниками — по левую. Не нужно было ни представлять себе, подобно Бернардино Луини и нашему Гюставу Моро, какую-то изысканную и зловещую патрицианку, ни увлекаться зрелищем отрубленных голов вместе с Бодлером и утонченным Жаном Лорреном. Надлежало лишь стать археологом и проникнуться иудейской стариной.

Господин А. Ферру, у которого всегда превосходные идеи, был осенен наилучшей из них в тот день, когда, пожелав дать библиофилам роскошное издание «Иродиады», он попросил г-на Жоржа Рошгросса сделать

эскизы для иллюстраций к этому прекрасному рассказу.

Еще совсем молодой (он родился в 1859 г.), г-н Рошгросс создал себе в современной живописи значительное и блестящее положение благодаря неистощимому богатству своей фантазии, искусству обширных композиций, столь редкому в наши дни, своим почти волшебным умением воскрешать то время, где к истории примешивается миф, своей склонностью развертывать трагические сцены на фоне живописной обстановки и пылкостью чувств среди археологических редкостей.

Самый характер его дарования подготовил г-на Жоржа Рошгросса к тому, чтобы иллюстрировать «Иродиаду». Он оказался к этому предрасположен также по причине любви и восхищения, которые с детских лет привязывали его к Гюставу Флоберу. Пасынок Теодора де Банвиля, г-н Рошгросс воспитывался в атмосфере глубокого преклонения перед поэзией и искусством; ему пошел только одиннадцатый год, когда, прочитав «Саламбо», он написал акварелью карфагенский порт, — то был странный, примитивный, занятный, детский и поэтический рисунок, который его мать показывала всем, справедливо им восторгаясь. Уже тогда Жорж Рошгросс обнаружил богатое и редкое изображение, единственный в своем роде дар видения. Надежды, подаваемые им тогда, не были отнюдь напрасными.

И плоды оказались прекрасней цветов\*.

Мне нет нужды ссылаться на «Смерть Вителлия», выставленную в Салоне в 1882 году, или на «Андромаху», которая была показана там же в следующем году, на «Жакерию» (1885), на «Безумие царя Навуходоносора» (1886), «После охоты» (1887), «Бал во время чумы» (1887). Нужно лишь отметить, что в том же 1887 году г-н Жорж Рошгросс успел закончить картину — «Саломея, танцующая перед царем Иродом», вызвавшую заслуженное восхищение.

Не буду ссылаться и на то, что молодой мастер уже успел оправдать себя как акварелист и иллюстратор,

скажу вам лишь одно: ознакомьтесь внимательно с этой книгой. Она подобна роскошному дворцу, привратником которого являюсь я, а великолепным декоратором — г-н Рошгросс. Каждая из его композиций, гравированная с тонким изяществом легким и точным резцом г-на Шамполиона, обдумана и выполнена художником, как картина с натуры, — горячо и терпеливо. Это работа, занявшая более года. Оригинальные его акварели, — мы их видели зимой 1892 года у Франсиса Пети, — достойны творца «Андромахи», «Вителлия» и «Валтасарова пира».

## АЛЬФОНС ДОДЕ

### *Этюд*

Здесь, на смертном ложе, покрытом пальмовыми ветвями и розами, после пятнадцати лет мучений, вновь обрел он свою буколическую красоту божественного пастушка. Он предстал перед своими друзьями таким, каким они запомнят его навсегда, — очаровательным и молодым.

Альфонс Доде родился в величественном городе Ниме, украшенном античными колоннами, садами и светом. Он рос среди «тутовых и оливковых рощ и виноградников», в «печальной тиши этих огромных равнин». Он вдыхал воздух, «напоенный мистралем». Он любил «густые платаны среди деревенских просторов, белую пыль больших дорог, лаванду на обожженных солнцем холмах». Он наслаждался жизнью на этой благоуханной земле, которая похожа на Грецию. Это был пылкий и насмешливый ребенок, маленький фавн.

Однако родители его отнюдь не жили счастливо среди лесов, как люди золотого века. Доде и Рейно, его предки с отцовской и материнской стороны, уже давно поселившиеся в Лангедоке, были купцами и фабрикантами. Обе эти семьи, набожные и роялистски настроенные, подарили Нимской епархии нескольких священников. Альфонс, самый младший из четверых

детей, был еще совсем малюткой, когда дела его отца, владельца фабрики шелковых тканей, пошатнулись, и он разорился. Тогда маленький фавн познал нужду, черную городскую нужду. Она приходила постепенно на мрачные улицы Лиона, куда переехала семья. Изящный и изнеженный ребенок подвергся, жестокому испытанию, непрерывным атакам нищеты. Его пропустили через мельничные жернова, а он остался невредим. Ибо это был алмаз.

Шестнадцать лет он стал классным наставником в Але. Горячий и мечтательный юноша, с длинными волосами латинского пастуха, слишком красивый, слишком тонкий, слишком изысканный, слишком своеобразный, чтобы не вызывать ненависти у пошляков, в этом коллеже небольшого городка был вынужден сносить грубые выходки молодых северных горцев, вероломство преподавателей, презрение буржуазных семейств. Все относились к нему, как тот несправедливый хозяин, что упрятал в сундук соловья муз.

Избранник муз, дитя, в ком зреет дар поэта,  
Чье светлое чело, когда наступит лето,  
Оденет грустный плющ и гордый лавр увьет,  
Еще меж пастухов в безвестности живет.

Но не думайте, пожалуйста, что болезненный мальчик оказался слабым и побежденным. Этот провинциальный учитель обладал обаянием, перед которым нельзя устоять. У него были темперамент и воля. Это Флориан, но уже не паж \*, а шестнадцатилетний наставник, под коломянковой блузой которого скрывается пастушок из эклоги \* капитан драгунов, Керубино и Ловелас, если только можно представить себе Ловеласа без вероломства и злобы. Доде в ранней юности — Флориан. Я говорю все это не для того, чтобы мимоходом похвалить его искрометную юность, которая так пугала и в то же время восхищала старшего брата, обладавшего поистине материнской душой. Прочтите-ка «Приключения молодого испанца» \*, а потом перечитайте «Малыша». И вы убедитесь, что у этих двух французов с юга, Флориана и Доде, в пору их безусой юности, есть родственные черты: тот же влюбленный и



задиристый вид, те же повадки молодых петушков. Это сходство, само собой разумеется, тотчас же стирается и пропадает, ибо в двадцать лет Альфонс Доде выглядит уже совсем по-иному, чем возлюбленный Эстеллы. Доде может быть отождествлен с Флорианом не тогда, когда он пишет свои первые сказки: «Красная шапочка», «Кладбищенский соловей», «Амур-трубач» — и свои первые неувядаемые стихи, а когда его воодушевляет молодой задор, когда его влекут к себе наслаждения и опасности. В глубине его души есть отвага и дерзновение. И живи он в другие времена, этот прекрасный писатель мог бы быть мушкетером и оставаться им до конца жизни. Отметим, однако, что, будучи еще совсем ребенком, он обладал способностью раздваиваться: он смотрит на себя со стороны, наблюдает за собой, критикует себя, а иной раз пародирует и высмеивает. Ему свойствен также таинственный дар, неизлечимый недуг поэтов. У него потребность непрерывно изливать свою всегда переполненную душу, ему необходимо говорить, петь, писать. Поэтому в восемнадцать лет он отправился из Лиона в Париж, куда его звал старший брат \*, добрый брат.

Он прожил там в нужде и безвестности — сперва в маленькой комнатухе близ Сената, а потом под самой крышей старого дома, который примыкал в ту пору к колокольне Сен-Жермен-де-Пре, в течение всех этих лет трудов и надежд, о которых он рассказал нам с такой чарующей искренностью. Вокруг Одеона ему встречались вначале лишь слабые и ограниченные люди, — среди них было несколько озлобленных, и все же он не стал таким, как они. Чувствительный и упорный, покладистый и трудолюбивый, он набрел на свою жилу и держался ее. Сказки, которые он отдал в старый «Фигаро» Вильмесана, были началом его литературной карьеры. В этой трудной жизни, безалаберной и суматошной, его спасала привычка к уединению. Он соблюдал ее, как верующий соблюдает обряды, переходя внезапно от богемного образа жизни к жизни затворника. Он запирался на три, четыре, шесть месяцев в какой-нибудь деревенской комнатке или на мельнице Монтабан, которую увековечил \*, или на острове Муано,

к которому он подплывал на лодке, ибо был гребцом, как Мопассан.

В этих убежищах, окруженный тишиной, он работал над своими произведениями, непосредственность и изящество которых свидетельствуют о большом искусстве и глубоких раздумьях.

Творя, он испытывал болезненную, ни с чем не сравнимую радость. Он сам сказал об этом, а ему нужно верить, ибо он был прямодушен и обладал к тому же большим умом. И он выделял как самые счастливые «эти суровые часы — лучшие, как говорил он, в его жизни».

Он писал и чувствовал с прекрасной непосредственностью ребенка. Он работал бы слишком легко, не будь у него естественной неудовлетворенности, знакомой каждой благородной душе, не зная он мучительной тоски избранных умов. Он боялся своей легкости трувера \*. Это его собственное выражение. Он не сказал трубадура, вероятно, потому, что не писал на южном диалекте, как его друг Поль Арен, который был и трувером и трубадуром. Альфонс Доде — *trouvere* в буквальном смысле этого слова. У него всегда были богатые находки, но этому предшествовал сокровенный и глубокий труд. Он долго вынашивал в себе замыслы и осуществлял их постепенно. Его первые рассказы (все, да и он сам, еще до меня заметили это) являются набросками к большим произведениям, написанным впоследствии. В «Роберте Эльмоне» уже дана зарисовка потрясающей сцены смерти герцога Мора из «Набоба», которая напоминает страницы Сен-Симона. Шедевры Доде развивались, как растения. Из завязи медленно, уверенно вылезал ствол, ветви, листья и цветы.

Я познакомился с Альфонсом Доде в ту пору, когда он не знал еще ни славы, ни страдания. И я убежден, что никогда ни одно живое существо не любило такой пламенной и такой щедрой любовью природу и искусство, не наслаждалось вселенной так радостно, так сильно и так нежно. Лишь тот, кто видел, как эта лучезарная душа искрилась и переливалась в его живом и сильном теле, может понять смысл слов, которые ше-

потом произнес Доде, измученный пятнадцатью годами страданий, за несколько дней до смерти:

«Я по справедливости наказан за то, что слишком любил жизнь».

Значит, Тэн не видел его в последние годы Империи, Тэн, который всюду разыскивал «красивых, юных и сильных, чтобы любоваться ими», — говорит Морис Баррес. Еще хорошо, что милый Теодор де Банвиль дал в своих «Парижских камеях» небольшой портрет, который я привожу:

«Изумительной красоты голова; матовая, теплого янтарного оттенка кожа, прямые, шелковые брови; горящий взгляд с поволокой, одновременно влажный и жгучий, погруженный в мечту, — он никого не видит, по смотреть на него — наслаждение; чувственный, задумчивый пунцовый рот, мягкая юношеская бородка, пышная копна темных волос, маленькие изящные уши дополняют этот мужественный, несмотря на его чисто женскую грацию, облик».

Доде стал знаменит в 1873 году, когда появился «Фромон Младший и Рислер Старший». Но уже ряд лет он пишет свои книги не в уединенных уголках близ Сены или Роны. Он обрел радостный покой, блаженную тишину у себя дома, подле той, о которой сказал:

«Она сама такая художница, она приняла такое участие во всем, что я написал! Нет ни одной страницы, которую она не исправила бы, не подретушировала, не присыпала бы слегка своей красивой золотисто-голубой пудрой».

Госпожа Доде, Юлия Алар, причастная, как явствует из этого свидетельства, к работам своего мужа, проявила себя в отличных стихах и чудесной прозе, как своеобразная художница, одаренная совершенно исключительной восприимчивостью.

Под ее мягким, сильным и добрым влиянием, в этом прелестном уголке, созданном для трудов, написал Альфонс Доде целый ряд своих больших произведений, долго вынашиваемых, давно задуманных и полных воодушевления: «Фромон», «Жак», «Набоб», «Короли в изгнании», «Нума Руместан», «Сафо», «Евангелистка», «Бессмертный» — романы нравов, исторические

очерки, произведения, исполненные искусства и правды, прекрасно написанные картины, гармоничные по своей композиции, причем все образы в них списаны с натуры.

Писать с натуры — таков был единственный метод Альфонса Доде. Все усилия художника слова, вся его воля, вся его энергия были направлены на то, чтобы уловить, отобразить эту природу, это человечество, которое он так любил. Его близорукие глаза, как и глаза Теофиля Готье, воспринимали форму и оттенки совершенно безупречно, ничего не упуская. От маленького фавна из Нима у него сохранилась почти звериная способность улавливать все звуки и все запахи в их бесконечном разнообразии. А его обогащенный, смятенный, наполненный образами ум непрерывно стремился проникнуть в тайну человеческих душ. Все, что он видел, все, что он слышал наиболее характерного, он записывал в свои тетрадки, о которых так много говорили и значение которых он сам объяснял так:

«С натуры! Никогда я не знал другого метода работы. Подобно тому как художники тщательно берегут свои альбомы зарисовок, где наспех набросаны силуэты, позы, ракурсы, какое-нибудь движение руки, точно так же и я вот уже тридцать лет собираю великое множество маленьких тетрадок, где наблюдения, мысли выражены иной раз лишь одной скупой строчкой, но она напомнит какой-нибудь жест, интонацию, которые впоследствии будут развернуты и расширены в соответствии с требованиями большого произведения. В Париже, в путешествии, в деревне я совершенно бездумно заполнял эти страницы, даже не помышляя о будущей работе, материал для которой скапливается в них...»

И поистине достойно восхищения, что у этого наблюдателя с таким верным и точным глазом, писавшего с натуры, совсем нет жестокости, нет язвительности, что он никогда не омрачает жизнь, не смотрит на мир сквозь черные очки. Это происходило потому, что он любил людей и, разумеется, относился к ним снисходительно. «Я научился, — говорил он, — любить народ с его пороками — этим следствием нищеты и не-

вежества». Портреты, нарисованные им в исторических романах, написаны с знакомых лиц в веселой манере, которая обнаруживает врожденную доброжелательность. Назову «Нуму Руместана», «Набоба», «Королей в изгнании». Некоторые эпизоды в них раскрывают для нас нравы современников лучше, чем любое историческое сочинение, подобно тому как «Пир у Тримальхиона» \* дает нам большее представление о римлянах времен Нерона, чем Тацит.

«Смерть и похороны герцога Мора (я цитирую г-на Эрнеста Доде), посещение тунисским беим замка Набоба, мастерская Фелиции Руис, агентство Левис, ночная разведка, путешествие в родной город Нумы Руместана, ставшего министром, — вот история в лучшем смысле этого слова; не официальная история фактов, но та история страстей, чаяний, желаний, стремлений, которая помогает понять эти факты».

В Альфонсе Доде есть что-то от Сен-Симона и от Мишле. Этот джентльмен, которому политика внушала ужас и отвращение, пожалуй, лучше, чем кто-либо из наших романистов, осведомлен о всех мельчайших государственных тайнах, о всех сокровенных побуждениях политических воротил, и он правильнее всех понял ничтожество властей предрержащих. Отнюдь не потому, что ему нравилось унижать высокопоставленных. Ему незнакома была злоба. Но он поднимал униженных, он воодушевлял слабых, он любил маленьких людей. Его пылкая душа была исполнена сострадания. Эта умиленная проповедь милосердия и любви отталкивает некоторых, но зато великое множество безвестных читателей восхищается его книгами, наслаждается ими, как словом евангелия. Он был трогателен; он был народен. Бесспорно, кое-где он, в силу своей любви к людям, невольно впадает в патетику; но это не поза, он и вправду умел плакать.

Он умел плакать и смеяться. В смехе его было что-то музыкальное и легкое, напоминающее насмешливую свирель молодого сатира в лесу. Я еще ничего не сказал о его единственном и несравненном произведении, о произведении, задуманном еще в юности, над которым он упорно работал почти до того самого дня,

когда оборвалась его жизнь, — о «Тартарене из Тараскона», о трех «Тартаренах». Здесь он дал нам нашего Дон-Кихота или творение почти равное ему. Пожалуй, в этого тройного Тартарена вложено больше всего таланта и доброты, пожалуй, в нем больше всего выражена творческая индивидуальность Доде. Тартарен — народный тип, как Гаргантюа. Его все знают, он всем близок. Он может нравиться и изысканным умам и неучам. Он рожден на радость всему миру. А каким простодушием насыщена эта огромная жизнерадостность! Ничего злобного, ничего напоминающего резкую сатиру Севера; это прекрасная «шутка», насмешливое посвистывание птиц под черными соснами, в голубом лазурном небе, нечто крылатое, нечто божественное.

Последние страницы этой счастливой, благодетельной книги, наполненной такой искренней веселостью, Альфонс Доде писал в те дни, когда внезапная и жестокая болезнь начала разрушать ударами невидимого копья одну из самых совершенных нервных систем, когда-либо созданных природой. Его тело, одаренное чудесной способностью ощущать радость и скорбь, в течение пятнадцати лет испытывало нестерпимые, непрерывные муки. Но он страдал молча, боясь потревожить кого-нибудь стоном, и лишь близкие друзья догадывались о его страданиях по вдруг исчезнувшей, словно угасшей улыбке, по вдруг повисшей руке, по предсмертному поту на его челе.

Но я оскорбил бы священную печаль его семьи, если бы не сказал здесь, какими заботами окружали больного чудесная жена, прелестная, еще совсем юная дочь, превосходные сыновья, из которых младшего влекло к искусству, а старший был уже известным молодым писателем \*, — они окутывали нежностью дорогого любимого человека, на их глазах постепенно уходившего из жизни. Я умолкаю, но кого бы не растрогало, что один из его сыновей, изучивший медицину и имевший врачебный опыт, сам ухаживал за отцом, поддерживая его и окружая сыновней любовью, сознавая в то же время, как физиолог, что его пациент приговорен.

В часы медленного разрушения тела, среди непрерывного угасания, Альфонс Доде умудрился сохранить самое драгоценное сокровище своей жизни — способность любить и восхищаться, испытывать радость от завершённой работы, — даже жизнерадостность, героическую жизнерадостность. У него ещё был вкус к жизни; он боялся не смерти, которая незримо стояла подле него, а лишь помутнения, потери рассудка. Эта беда миновала его. Он сохранил до конца свой живой и ясный ум, чарующее остроумие, присущую ему поэтическую окрыленность. За несколько часов до смерти он ещё писал, вернее диктовал, во всеоружии своего таланта и разума. И он послал своим друзьям, я это знаю, последний привет неизменно доброжелательного ума.

Мы не увидим больше его милое лицо, мы не услышим больше его певучий голос, сопровождаемый выразительным жестом тонкого мимического актера. Альфонс Доде ушел, оставив в этом мире свои творения, множество живых образов: Даржантона, доктора Риваля, Рислера, Сидонию, Делобеля, Нуму Руместана, Бомпара, Элизе Меропа герцога де Мора, Тома Левиса, Монпавона, а также этого доброго великана, который точно сошел со страниц народного предания или легенды, — Тартарена из Тараскона.

## МОГИЛА МОЛЬЕРА

*В ознаменование двести восемьдесят шестой  
годовщины со дня рождения Мольера  
(1622—1908)*

Семнадцатого февраля 1673 года представление фарса «Мнимый больной» закончилось трагедией: Жан-Батист Поклен де Мольер агонизировал на сцене театра. Благожелательные боги милостиво ниспослали королю комиков истинно корнелевскую кончину. Но священники проявили суровость к усопшему, который при жизни заставлял людей смеяться; они не простили ему того, что он превратил театральные подмостки в кафедру, откуда убедительно звучала проповедь здравого смысла. Священнослужители Греции, восседавшие на мраморных сидениях в театре Диониса \*, воздвигли бы ему алтари; наши священнослужители не пожелали предоставить праху Мольера очистительную воду и отказали ему в тех традиционных формулах, которые утишают тоску манов \*, бродящих вокруг могил.

Некоторые выдающиеся умы века постарались сплести ему замысловатые венки, как это делали поэты-гуманисты эпохи Возрождения. Выдержав испытание временем, многие из этих венков сохраняют до сих пор блеск своих лавров.



Вот один из них: его сплетал осторожной рукой отец Богур, иезуит и острослов, который читал подряд с одинаковым рвением как постановления соборов и писания отцов церкви, так и творения Мольера и Де-прео:

Актер, кому на сцене равных нет,  
Неподражаемый поэт,  
Ты здравый смысл в маркизах-фатах  
Умел своей насмешкой пробуждать  
И чванство выскочек богатых  
Каскадом едких шуток охлаждать.  
Ханжей, играя лицемера,  
Ты обличил и пристыдил.  
Ты прециозниц убедил,  
Что быть должна в жеманстве мера.  
Как мизантроп, сей враг людей,  
Так и крестьянин недалекий,  
Смеясь над пьесою твоей,  
Из чтенья для себя могли извлечь уроки.  
Исправил город ты, наставил двор.  
Но какова твоя награда?  
Краснеть французам с этих пор  
За их неблагодарность надо.  
Хоть соплеменникам своим  
Ты подарил вовек бессмертное искусство,  
Но был бы ты еще славней, поведав им,  
Что черствым их сердцам и душам их сухим  
Признательность — совсем неведомое чувство

Нет ничего удивительного, что отец Богур хвалит великого комедиографа за то, что он наставлял на путь истинный маркизов, мещан, жеманниц, поселян: сей иезуит часто бывал и при дворе, и в городе и хорошо знал нравы своего времени; куда поразительнее, что он одобряет Мольера и за то, что тот исправлял ханжей. Как видно, его преподобие принимал Тартюфа за янсениста. В этом случае кажущееся недоразумение легко объяснимо. Янсенисты щеголяли своей суровостью, а непомерная суровость способствует лицемерию.

Вслед за этими стихами дилетанта вспомним стихи великого поэта. Лафонтен, несмотря на рассеянный образ жизни, был глубоко взволнован смертью своего

---

<sup>1</sup> Перевод Ю. Корнеева.

друга Мольера; он покинул поля, леса, своих животных, чтобы разделить скорбь, которую был охвачен театр. Вот очаровательная эпитафия, которую написал для надгробия Мольера этот оригинал, поселивший Мудрость и Граций в зверинце Эзопа:

Теренций, Плавт лежат здесь, в сей могиле,  
Хотя мы в ней Мольера только зрим.  
Его талант от них неотделим:  
Они втроем французов веселили.  
Мольер почил. И вместе с ним почил  
Теренций, Плавт. Их вместе погребли.  
И, сколько б мы ни тратили усилий,  
Они надолго в мир иной ушли <sup>1</sup>.

Эта поэтическая эпитафия вдохновлена галльскими музами Маро и Пассера \*; парные рифмы водят здесь хоровод Гениев и Амура над гробом ученика Эпикура и Гассенди.

После полевых цветов следует подобрать пальмовую ветвь, положенную на могилу мудрейшим из критиков. Депрео посвятил манам Мольера александрийские стихи, прямодушные и мужественные, как он сам. Мы имеем в виду начало послания к Расину, в котором друг Мольера, Лафонтена, Конде, Ламуаньона и преследуемых отшельников Пор-Рояля явил свой разум во всем его величии и благородстве:

Расин, какой восторг даруешь ты сердцам,  
Когда твои стихи актер читает нам!  
Над Ифигенией, закланью обреченной,  
Так не скорбели все в Авлиде омраченной,  
Как наши зрители, рыдавшие над ней,  
Увидев Шанмеле в трагедии твоей.  
Но помни все-таки, что дивные творенья  
Тебе всеобщего не сыщут одобренья:  
Ведь возле гения, идущего путем,  
Который был толпе доселе незнаком,  
Безостановочно плетет интрига сети.  
Его соперники, мигая в ярком свете,  
Как стая воронья, кружат над головой...  
Вернейшие друзья — и те поднимают вой.  
И лишь у вырытой на кладбище могилы,  
Когда безмолвствуют смущенные зоилы,

---

<sup>1</sup> Перевод Я. Лесюка.

Все постигают вдруг, какой угас певец,  
И возложить спешат ему на гроб венец.  
Пока дощатый гроб и горсть земли печальной  
Не скрыли навсегда Мольера прах опальный,  
Его комедии, что все сегодня чтут,  
С презреньем отвергал тупой и чванный шут.  
Надвев роскошные придворные одежды,  
На представленье шли тупицы и невежды,  
И пьеса новая, где каждый стих блистал,  
Была обречена их кликой на провал.  
Иного зрелища хотелось бы вельможе,  
Графиня в ужасе бежала вон из ложи,  
Маркиз, узнав ханже суровый приговор,  
Готов был автора отправить на костер,  
И не жалел виконт проклятий самых черных  
За то, что осмеять поэт посмел придворных...  
Но Парка ножницы безжалостно взяла,  
И навсегда его от нас укрыла мгла.  
Тогда признали все Мольера чудный гений.  
Меж тем Комедия, простертая на сцене,  
Давно немотствует, и некому помочь  
Ей снова встать с колен и горе превозмочь <sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Перевод Э. Линецкой.

## СТЕНДАЛЬ

### *Этюд*

Вскоре после торжественного открытия памятника Стендалю \* в Люксембургском саду один мой задушевный друг, большой поклонник Стендаля, спросил меня, люблю ли я, как должно, всем сердцем, этого прелестного человека.

— Он один из наименее равнодушных и наиболее общительных людей, каких я когда-либо видел, — ответил я, — и тем, что я редко встречался с ним, я лишил себя большого удовольствия. Мы находим в нем естественность, а она всего сильнее пленяет. Он всегда правдив, а когда лжет, что с ним порой случается, без этого нельзя: в жизни ложь — неизбежная необходимость, без лжи не было бы ни искусства, ни красоты, ни любви. Так вот, когда он лжет, он все тот же правдивый, естественный и верный себе, сердечный, откровенный и самый учтивый человек на свете. Вам ясно, что я люблю его. И я восхищаюсь им, хотя восхищение не всегда идет об руку с дружбой. Дружба держится запросто, она любит улыбку и веселье; ее привлекают радостные лица и открытые сердца, она бежит от мрачных, замкнутых душ; мы восхищаемся Паска-

лем, но не любим его. Стендаля мы любим, и нам приятно перечитывать творения этого беспокойнейшего из умов.

— Но почему же вы ни разу не сказали этого? — с живостью спросил мой друг. — Почему никогда ничего не написали о нем?

Я ответил, что совершенно безразлично, говорил я или не говорил о Стендале, что я не мог этого сделать по причине, о которой уже упомянул: я слишком мало знал его; но что есть множество превосходных писателей, которые тщательно его изучали, — им-то и надлежит ознакомить с ним публику.

Словом, я привел разумные доводы, но и на этот раз они, по обыкновению, не подействовали на моего друга. Разумные доводы еще никогда никого не убеждали. По слабости характера, а также из чувства дружбы, я уступил, подумав, что в конце концов несколько страничек, о которых меня просят, не такая уж важность, чтобы долго об этом спорить, и что они явятся свидетельством моей симпатии к «Ревю де Пари». Приходится держать слово <sup>1</sup>.

За дело, Пиериды! \*

Взволнованный, охваченный священным поэтическим восторгом, я прежде всего воздам хвалу икрам моего героя.

Помнится, в минувшем столетии Арсен Гуссэ не без восхищения сказал нам как-то, что у Стендаля красивые ноги. И действительно, на забавном портрете, который Анри Монье, по неизвестной мне причине, поместил в начале «Вечеров в Нельи» \*, наш автор, облаченный во фрак и короткие штаны, обнаруживает бесподобные икры. Он высоко ценил это преимущество и подчеркивал его умелым выбором своих костюмов для верховой езды. Он сокрушается по поводу чашки кофе с молоком, пролитой на прекрасные новые панталоны. Над этим не надо смеяться. В царствование Людовика XIV красивая мужская нога была в такой же чести, как красивая женская ножка, и даже Сен-Симон не преминул отметить, что у шевалье де Рогана были

---

<sup>1</sup> Эти строки впервые появились в «Ревю де Пари».

самые красивые ноги во всем королевстве. На портрете короля работы Риго художник подтянул полу его плаща, чтобы показать во всей красе его ляжку. В эпоху Мюрата, Жюно, Лассаля признанием пользовались колленки. Почему же Бейль должен был пренебрегать сими дарами природы? С тех пор наше общество стало проявлять в этом вопросе какую-то пуританскую строгость, но спорт и атлетика могут, пожалуй, снова возродить у нас культ физической красоты; и, кто знает, какие преимущества сулят нашим красавцам мужчинам войны, которые — увы! — готовит нам безумие народов? Бейль откровенно радовался преимуществам, предоставленным ему природой. При всем том с его портретов глядит на нас толстое и круглое, непривлекательное и даже немного смешное лицо, оживленное маленькими искрящимися глазами. Но это не могло повредить ему во мнении женщин, которыми он увлекался до безумия. Обычно женщины придают мало значения правильности черт лица у мужчины. Он обладал гораздо более серьезным недостатком: робостью — самым досадным из всех. Если вы хотите, чтобы в вас сильно влюблились, сильно и часто, можете быть кривым, горбатым, хромым, каким угодно, но только не робким. Робость — враг любви, и болезнь эта почти неизлечима.

Благодаря премудрому г-ну Полю Арбле, сделавшему богатый и бесценный вклад в биографию нашего писателя, мы знаем точно и во всех подробностях о любви двадцатилетнего Бейля к мадемуазель Викторине Мунье. В этом возрасте он, подобно Керубино, говорил: «Я вас люблю», — деревьям, облакам и ветру. Самым необыкновенным в этой страсти, длившейся пять лет, было то, что влюбленный хотя и слышал единственный раз, как его любимая играла на фортепьяно в концерте, но никогда ее не видел. Он представлял ее себе изящной, чуть худощавой. Однажды он узнал от своего друга, что она толста и некрасива. Это открытие весьма удивило его. Таким же образом рыцарь Ламанчский, исполненный любви к даме своего сердца Дульсинея, спросил оруженосца, нравится ли она ему. «У нее перламутровые глаза», — ответил Санчо,

повергнув этим Дон-Кихота в тягостное недоумение; и тогда рыцарь спросил, не перламутровые ли у нее зубки, ибо если вдуматься, то перламутровые глаза приличнее иметь рыбе, нежели даме. Молодой Бейль пошел на самые хитрые уловки, чтобы тронуть Викторину Мунье. Через пять лет, иссохнув от «любовного ныла и слез», он впервые узрел ее, или думал, что узрел, и обратился к ней с банальным вопросом, на который она, как ему показалось, ответила, — пусть только жестом. Он предположил, что его платье и манеры эlegantного парижанина произвели на нее большое впечатление, но не был уверен, узнала ли она его. Так кончилась великая любовь Бейля к Викторине Мунье.

Благодаря тому же г-ну Арбле мы ознакомились, среди иного прочего, и с дневником, где мы могли проследить историю миланского увлечения писателя, которое после многих лет бесплодных домогательств увенчалось любовью графини Анджелы Пьетрагуа, ставшей за это время менее красивой, зато более величественной. Наконец-то он был любим; г-н Арбле подозревает, что не бескорыстно, Анджела была плутовка, а муж ее — сводник. Тем не менее Бейль безмятежно наслаждался своей победой. Он был проникателен, но не более, чем это естественно для человека, и именно потому, что он всегда естествен, он всегда нам нравится. Он предстает перед нами как великий любовник. Дама, барышня, горожанка, крестьянка — его не страшит ни чрезмерная пылкость, ни чрезмерная холодность. Особенную же склонность он питает к трактирным служанкам.

Это нелегко давалось влюбленному, которым всегда могла овладеть былая робость. По счастью, он обладал характером и волей и благодаря упорной работе над собой стал смелее. Это достижение он счел столь значительным, что построил на нем целую систему. Он открыто проповедовал, что женщину всегда можно взять приступом и что атака в таких поединках — прямой долг мужчины, который не может от него уклониться, не навлекая на себя позора. Он наставлял молодежь в сих важных делах и отводил юнцам пять

минут на то, чтобы сказать женщине: «Я вас люблю». Такова была теория, на практике же он оставался трубадуром. Его друг Проспер Мериме знал за ним, уже на склоне его лет, две любви-страсти и всегда видел его влюбленным или воображающим, что он влюблен. Не знаю почему, но мне сейчас пришли на память слова г-на Ренана, произнесенные им однажды вечером под розовым кустом: сравнив нравы мусульман с нравами христиан, этот мудрый человек сказал: «Европейцы являют собой пример прискорбной нерешительности во всем, что касается соединения полов».

Чувства Бейля приобретали неслыханную, неистовую силу. Его мать, которую он потерял еще в детстве, внушала ему страсть, доходившую до самого пылкого обожания; к своему отцу он питал лютую ненависть; город Гренобль, где он увидел свет, казался ему ужасным. В двадцать лет он стал военным, страстно увлекшись этой профессией, и отправился в Италию \* адъютантом при генерале Мишо. Именно в это время Поль-Луи \* служил там конным канониром. На военной службе пользовались тогда большой свободой. Бейль мог жить в свое удовольствие и бродяжничать сколько вздумается. Он оказался не лучшим солдатом, чем Поль-Луи, но был смелее и при случае умел проявлять хладнокровие и отвагу.

В Милане, в годы войны, изобретательный случай создал мотив для виньетки во вкусе Шарле — забавника Шарле из «Мемориала» \*. Этому случаю угодно было свести в одной ложе театра «Ла Скала» молодого пухлощекоего офицера, коренастого, румяного, с тугими икрами, и старика долговязого и меланхолического генерала артиллерии: Анри Бейля и Шодерло де Лакло. С детских лет Бейль усердно штудировал «Опасные связи» в качестве руководства, составленного опытным соблазнителем. А мы знаем от графа Тилли — одного из самых преданных учеников Вальмона о том, — что Лакло встретил в Гренобле некую г-жу де Монмор, послужившую ему прототипом для г-жи де Мертейль из «Опасных связей», причем Тилли уверяет, что по своей развращенности оригинал стоил



копии. Но г-жа де Мертейль окривела и так пострадала от оспы, что лицо ее стало уродливым, под стать ее душе. Этого требовало искусство, которое желает быть нравственным. А г-жа де Монмор теряет свою красоту с годами, как все женщины. Это не возмездие. Она прихрамывает, но дети, которых она угощает засахаренными орешками, не боятся ее. Она сама природа, а природа не ведаёт нравственности: она не вознаграждает и не наказывает. Хотелось бы знать, обратил ли на это внимание великий друг истины Бейль, когда он беседовал с Лакло? К тому времени он уже интересовался литературой, но был полон сомнений, не зная, кем ему стать — негоциантом или чиновником, и пока старался лишь овладеть искусством жить, которое в конечном счете является самым трудным и самым полезным из всех искусств. И вот, приступая к делу своей жизни, — а оно и составляло его жизнь, — он совершал путешествие по Италии. И путешествовал он, во-первых, чтобы познать людей, и главным образом женщин, во-вторых, чтобы познакомиться с природой и искусствами, взяв благой пример с председателя Бросса, с той лишь разницей, что председатель сократил количество своих наблюдений, как и надлежит судьбе, который намерен вернуться к сроку в свой город Дижон, ибо

Блажен, кто как Улисс прекрасный путь свершил,  
тогда как Бейль задержался, позабыв обо всем на  
этой родине сладострастия, и стал гражданином мира.

Согражданин я каждого, кто мыслит \*.

Наслаждаться всем, что видит глаз, — вот единственная забота во время его прогулок по прекраснейшей из стран. Это край любви. О том, как любил он там, мы довольно ясно дали понять в этом беглом наброске. И все же он не был эпикурейцем, ибо быть им с такой страстью, с таким неистовством, значит вовсе им не быть. Менее сдержанный в своих чувствах, менее просвещенный, чем председатель де Бросс, менее одаренный в области искусства, он раньше всего полюбил итальянскую музыку. Бейль не был музыкантом, но

живо воспринимал мелодию. Однако то, что он написал о Россини \*, кажется сейчас весьма устарелым и вызывает улыбку. Причиной здесь служит предмет исследования. Поразительно, что это свойственное птицам и людям искусство, которое, казалось бы, должно, как у птиц, так и у людей, свидетельствовать о неизблемости прекрасного в природе, наоборот, более всего страдает от изменчивости вкуса и непостоянства чувств. Возможно ли это? Ведь музыка подчинена лишь закону чисел, ей надлежит быть бесспорной, как арифметика, — а она послушна всем капризам моды! Я очень хотел бы, чтобы кто-либо из музыкантов-философов объяснил мне эту странность. Словом, Стендаль недурно судил о музыке. В живописи он разбирался хуже: у него было слабое зрение, он не обладал ни чувством цвета, ни чувством линии. Но, приложив старания, он в конце концов познал наслаждение живописью. В силу своего развития, ума, чуткости, а также благодаря возвышенности этого ума, всегда тяготевшего к прекрасному, он стал знатоком ее. Он хвалил Корреджо, и мы признательны ему за это. Он восхищался Рафаэлем, которого мы ныне из чувства ложного стыда не хвалим, ибо сей художник недостаточно сложен.

Одним из величайших заблуждений Стендаля является его вера в то, что искусство художника и ваятеля имеют единственной своей целью выражение чувств и изображение страстей. В ту же ошибку впал и Дидро. Он хотел перед картиной испытывать волнение. Он требовал, чтобы Грез заставлял его проливать слезы, а если Грезу это не удавалось, он осыпал его упреками. Бейль совершенно так же требует от искусства эмоций и ничего больше. Его не интересуют ни богатство красок, ни верность рисунка, ни манера письма, ни характер образов. Он равнодушен к «фактуре». Картина должна исторгать у него рыдания, наполнять душу гневом, любовью, обожанием, погружать в экстаз, в противном случае — ее место на чердаке. В это самое время в Милане лорд Байрон плакал перед «Агарью» Гершена. Ибо все эти блестящие умы не имели достаточно глубоких познаний в искусстве. Они походили на г-на Пуарье, который растрогался до слез

перед полотном, изображавшим, как ньюфаундленд спасает ребенка; по этому поводу зять его, маркиз де Прель, заметил, что картина, изображающая, как крошат лук, тоже вызывает слезы. У Бейля об искусстве несколько упрощенное и банальное представление. Искусство должно волновать лишь одним: зрелищем красоты. При своих же склонностях наш любитель искусства совершенно не мог воспринимать произведения античных времен; они казались ему холодными и невыразительными.

Если бы он нуждался в оправдании, мы могли бы сказать, что в его время эллинское искусство еще не было достаточно изучено. Винкельман не видел ничего помимо Аполлона Бельведерского и не имел представления о греческом мраморе. Шатобриан несколько не просвещеннее его. В своем «Путешествии» \* он относит фронтоны Парфенона к эпохе Адриана. Ныне эти шедевры доступны для любого невежды, оскорбляющего их своим восхищением.

У Бейля был любимый скульптор: новейший художник, его современник, Канова, осиянный тогда европейской славой. Бейль открыто заявлял, что восхищается им и глубоко его чтит. Канова обладал изяществом и благородством. Однако хотелось бы знать, что думал в душе Бейль, влюбленный в природу, об этом ревностном блюстителе нравственности, об этом ваятеле, который был добродетельнее самого Торвальдсена; а ведь тот придавал нагому телу большее целомудрие, чем то могут сделать обычные покрывала и драпировки, и превращал своих богинь в подобие канделябров.

Что до архитектуры, то Бейль, несмотря на близорукость, находил в ней удовольствие и неплохо о ней судил. В его описаниях собора св. Петра в Риме и колоннады Бернини много здравого смысла и чувства. Если не считать Миланского собора, который, при всей своей красоте, особого восхищения не вызывает, в Италии нет, в сущности, великих памятников готического искусства. Наш знаток не сокрушался об этом. Он терпеть не мог христианское искусство. Он не выносил ничего печального и в отношении соборов разделял

чувства Фенелона, который в своем «Диалоге о красноречии» сравнивает скверную проповедь с готической церковью. Только Мериме научил его отличать романскую арку от стрельчатой. Археолог, изучавший аббатство Престола господня и церковь св. Савена, молодой Мериме, холодный насмешник, указывающий плотному краснолицему человеку с туго обтянутыми икрами на романскую абсиду, украшенную отрубленными головами, — вот вам другой превосходный сюжет для виньетки! Нам он представляется романтическим и выполненным в жестокой, сатанической манере тех литографий, которыми Эжен Делакруа иллюстрировал гетевского Фауста \*. Вместо объяснения под рисунком может быть начертано готическими буквами, в стиле 1830 года:

«С т е н д . Нет, я не люблю печального искусства.

М е р . То, что забавляет, не печально. Поглядите только на всю эту чертовщину!»

Стареющий Бейль довольствовался Персье и Фонтенем \* и не искал избавления от жизненной скуки в занятиях христианским искусством.

Искусство, любовь, дружба, наука — таковы развлечения этого светского человека. Хотя жизнь его не была омрачена какими-либо ужасными несчастьями, но она и не была свободна от зол, связанных с человеческим существованием, — и от самого страшного из них, потребности мыслить. Ему пришлось, конечно, испытать физические и нравственные страдания, но он переносил их с тем обычным мужеством и веселым стоицизмом, что лежали в основе его характера.

Казалось, у него не хватало терпения только на одно в этой жизни: на общение с глупцами. Их он боялся еще больше, чем злых людей. И был совершенно прав. «Глупые, — говаривал Ламенне, — опаснее злых. Эти порой делают передышку; глупые же — никогда». Ну, конечно, глупец опаснее злого человека. Это он приносит вам дурную весть, это он — неподкупный судья — осуждает невинного, или — знаменитый врач — убивает больного; это он — причина войн и эпидемий — приносит жертвы жестоким богам, это он стирает на картине Корреджо прелестное лицо Ио \*,

это он — примерный супруг, — поджаривая на медленном огне, убивает свою несчастную жену. Он — природный враг науки, красоты, свободы. Но если Стендаль благодаря своей ловкости и энергии ускользает иногда от преследований глушцов, он — увьи! — не может избежать непрошеного гостя, ставшего бичом его жизни; этот гость, невидимый и молчаливый, — скука, скука, невыносимая скука, худший из наших врагов: рядом с ней грусть в своих колеблющихся вуалях, в игре теней, нам кажется почти привлекательной; скука же — ничем не прикрыта, безлична, бесформенна, безгласна; и в нашей быстролетной жизни она преследует нас извечно. Почему же этот неотлучный товарищ, льнувший к большинству людей и избирающий самые просвещенные умы, кажется всем таким ужасным? Не потому ли, что он толкует с нами о человеческой жизни, бытии и раскрывает нам нашу сущность? Стендаль также был знаком с ним и даже более, чем кто-либо другой; но, разумеется, не говорил о нем так, как это делаю сейчас я, чтобы не ошибиться, приписав все меланхолии, и не впасть в настроения Сенанкура \*. Я обязан принести эту дань уважения его характеру. Добавим в заключение, что он оборонялся от жестокой скуки тем, что писал обо всем и о самом себе. Но в старости он обрел двух врагов: одиночество и нужду, которые приводили к нему за руку это чудовище. Его жизнь в Чивитта-Веккиа, где он служил чиновником, была отравлена скукой.

По самой сути своих воззрений, Бейль — сын XVIII века. Ученик Гельвеция и Кондильяка, он так же легко обходился без бога в своей философии, как Лаплас — в своей механике. Некая дама сказала об Андре Шенье, что он с наслаждением был атеистом; Бейль был им во всяком случае с удовлетворением, без всякой рисовки и без малейшего желания обратить род человеческий в свою веру. Поэтому он менее всего был склонен приобретать последователей, и если бы даже считал, что у него полные пригоршни истин, он не разжал бы пальцев. К взглядам людей он относился с почтительным пренебрежением.

Что до правительства, то он всегда являлся сторонником революции. В ранней юности он был якобинцем, чтит Брута и взирал на Наполеона глазами Арены \*. С годами эти чувства смягчились. Среди его бумаг уцелели отрывки рассказа, свидетельствующие о пылком восхищении, которое вызывал в нем победитель при Маренго. Однако и в должности чиновника он остался республиканцем и либералом и в тесном кругу выглядел каким-то Каде-Гассикуром \*. Бурбоны внушили ему отвращение, стойкость которого была примечательной в те времена, когда непостоянство умов, превосходившее изменчивость судеб, доставило памфлетистам материал для «Лексикона флюгеров» \*, более объемистого, нежели «Королевский альманах». При Реставрации он выражал горячие дружеские чувства Беранже и Манюэлю \*, ненавидел священников и рисовал на своих нотных тетрадах гасильники, чтобы передать при помощи этой эмблемы дух Конгрегации \*. Он примирился с Июльской монархией \*, которая пожаловала ему, как чиновнику, орден, доставив ему тем чувствительное удовольствие. Те, кто вздумает усомниться в этом, дадут повод подумать, что они плохо знают людей, или воображают, что великие умы лишены слабостей, свойственных умам заурядным: здесь они ошибаются.

Есть в его характере черта, настолько заметная, что о ней нельзя не упомянуть, давая его портрет, даже если это незаконченный торопливый набросок. Он был осторожен, сдержан и до странности заботливо скрывал свои поступки. Впутанный в бесконечные любовные приключения, он, разумеется, старался сохранить тайну. Но, разбирая его бумаги, мы тотчас же замечаем, что он поступал подобно многим другим влюбленным, которые хотят все утаить и все рассказать. Быть может, он боялся полиции, шпионов, сыщиков? Действия современных ему правительств оправдывали такие опасения. В 1820 году австрийская полиция, решив, что он вступил в общество карбонариев, выслала его из Милана. Конечно, против этого нужно было принимать меры предосторожности. Да, конечно, но хитрости Стендаля были весьма своеобразны — в них столько

ребяческого, что их можно принять за игру, Стендаль явно забавлялся. Нужно ли удивляться тому, что человек незаурядный развлекается подобным образом? Только глупцы никогда не позволяют себе мальчишеских выходов. Этот крупный романист среди медлительного, спокойного течения своей жизни создавал себе иллюзию самых страшных опасностей, которым он подвергается, подобно своему Фабрицио. Вот откуда эти придуманные фамилии, инициалы, псевдонимы, загадочные слова, английские или итальянские фразы, эти вымаранные чернилами или соскобленные ножом имена, — словом, весь этот наивный арсенал тайны, который так затрудняет чтение его рукописей и является причиной отчаяния и наслаждения его издателей; ибо издатель тоже любит приключения. Все мы любим приключения.

Есть гениальные люди, возбуждающие больший интерес, чем их произведения, например, Лейбниц; есть и другие, заинтересовывающие лишь тем, что ими написано, например, Лесаж. Мне кажется, что, читая Бейля, ищешь именно самого Бейля и предпочитаешь его, каков он есть, самым прекрасным из выдуманных им героев. И все же он — несравненный мастер эссе и крупнейший романист, замечательный также своим пристрастием к необычному и презрением к правдоподобию, которым он зачастую жертвует ради чего-то более великого. Искусство Бейля, столь восхитительное в «Красном и черном» и в «Пармской обители», не является провозвестником того искусства романистов, которое преобладало во второй половине XIX столетия; оно гораздо ближе к искусству Ричардсона, Жан-Жака, Лакло, Бенжамена Констана и Гёте, хотя бы по необыкновенно тщательному описанию чувств. В Бейле нет ничего, что напоминало бы Бальзака — более зрелого писателя, хоть он и был моложе Бейля на шестнадцать лет, — Бальзака, умевшего так живописать, сообщавшего такие сочные краски и людям и вещам; в нем нет ничего похожего и на Вальтера Скотта, который был старше их обоих, — об этом плодовитом мастере декораций надлежит упомянуть, ибо в их время он был властителем дум и сердец во всем мире.

Нам известно, что Стендаль долго обдумывал свой замысел и никогда не прилагал особых стараний, чтобы улучшить свой стиль, и что все его книги написаны им в один присест. Он сам дал это понять, сказав однажды, что рассчитывает на последовательность мыслей, а не на выбор выражений, и нисколько не думает о стиле. Следует ли отсюда, что он писал нехорошо? Отнюдь нет. Фенелон тоже не работал над своим стилем, он почти не исправлял фраз, а когда исправлял, то портил. И Стендалю Фенелон был милее всех писателей

XVII века; это мнение разделяли многие другие. Мы, стало быть, знаем, что Бейль, подобно Фенелону, ценил в стиле только естественность. Из этого следует лишь, что он не был художником, а если и был, то во всяком случае не большим, чем Фенелон. По всей видимости, даже меньшим. Но существует множество способов писать, и в этом можно отлично преуспеть без всякого искусства, — ведь встречаются порой великие писатели без всяких поправок, на манер Генриха IV в его «Письмах» \* и Сен-Симона в его «Мемуарах».

Снова вопрос: значит, Бейль писал хорошо? Спеша ответить на него без всяких уверток и колебаний, скажу сразу, что никто во времена Бейля хорошо не писал, что французский язык был безнадежно испорчен и что любой писатель начала XIX века — Шатобриан, равно как и Маршанжи, — повторяю, любой писатель писал плохо, за исключением одного только Поля-Луи Курье; но это особый случай. Поняв, что французский язык погиб, Поль-Луи Курье смастерил для собственного употребления наречие при помощи отрывков из Амио и Лафонтена. Это совершенно обратное тому, что сделал наш миланец; оба писателя настолько несходны друг с другом, насколько это возможно для современников.

В конце концов, настаиваете вы, Бейль писал хорошо? Или он писал плохо?

Так вот! Поищите французскую речь в какой-нибудь главе «Пантагрюэля», или в «Опытах» Монтеня, или на одной из страничек старика Амио, изыщество которого Расин отчаялся воспроизвести, и вы тотчас же почувствуете, что в последующие времена уже не найти та-



кого блеска, такой прелести. побыстрее перелистайте их и перейдите к великим векам. И если вы выберете примером хорошего стиля «Беседу маршала д'Окенкура с отцом Канне» \*, «Комический роман», «Письма Расина о мнимых ересях», «Характеры» Лабрюйера, «Воспоминания» г-жи де Келюс, то вы увидите, что Бейль не пишет хорошо. Если вы возьмете за образец «Персидские письма», «Опыт о нравах», «Повести» Вольтера, «Размышления одинокого путника» или «Письмо о слепых», то вы увидите, что Бейль не пишет хорошо. Но если вы сравните его — и это будет правильно и справедливо — с каким-либо его современником, притом из самых лучших, самых искусных и наиболее одаренных, вы найдете, что он пишет хорошо, что он пишет очень хорошо, и убедитесь, что простотой речи и ясностью языка он превосходит Шатобриана.

Катастрофическое ухудшение языка, начавшееся в годы юности Мирабо, усилилось в эпоху революции, вопреки гигантам ораторского искусства, как Верньо, Сен-Жюст, Робеспьер, рядом с которыми наши современные ораторы кажутся крикливыми мальчишками, — вопреки Камиллю Демулену, автору последнего хорошо написанного памфлета \*, который суждено было прочесть Франции. Эта болезнь еще более обострилась при Империи и Реставрации; она сказалась ужасающим образом на сочинениях Тьера и Гизо.

В те прискорбные времена писатели, еще сохранившие чутье языка и любовь к форме, постарались избежать этого бедствия: каждый из них, по примеру Поля Луи, создал для себя язык по своему вкусу и возможностям, и принялся всеми средствами добиваться своеобразия. Оригинальность, которую в XVII веке любители могли найти лишь в выборе и строе идей, теперь почиталась в словах и оборотах фраз, в словаре писателя и его синтаксисе. То было зло, если считать, что язык создан для всех ушей, и всякое своеобразие должно быть в нем исключено. Но, так или иначе, нужно было исправлять язык, и для выполнения этого дела нашлись добрые мастера, были среди них даже изумительные. К сожалению, чересчур диковинная оригинальность порой мешает ясности речи; чрезмерная изысканность

и старательность повредили ее естественности и простоте. И равнодушие Стендаля к своему стилю сделалось с тех пор еще более явным.

Всякий упадок печален. Должно сожалеть о судьбе Бозция или Павла Орозия. Но поостережемся оплакивать прежде времени гибель французской литературы. Тацит не писал в век Августа, однако мы читаем его с большим удовольствием и волнением, чем Тита Ливия. Это неплохое утешение для наших историков. Полагаю еще одно, и довольно ценное, нашим романистам и рассказчикам: пусть вспомнят о Петронии, об изящном Петронии, который процветал при Нероне и которого г-н Саломон Рейнак \* заставил родиться, если я не ошибаюсь, в еще более подлую эпоху.

Касательно поэтов, у которых свой особенный язык и закат которых не был таким равномерным и длительным, как у прозаиков, я ничего не скажу. Бейль увел меня от них; он ничего не смыслил в поэзии. Это был враг Аполлона, настоящий Марсий \*.

**ПОЛЬ-ЛУИ КУШУ.  
МУДРЕЦЫ И ПОЭТЫ АЗИИ**

*ПРЕДИСЛОВИЕ*

**I**

Господин Поль-Луи Кушу, бывший ученик Высшей Нормальной школы, кандидат философии, доктор медицины, опубликовал еще в ранней молодости, в 1902 году, книгу, в которой уже обнаруживается, к чему тяготеет его ум, непрерывно увлекающийся, пылкий и любознательный, но постоянно сосредоточенный в одной определенной области, и здесь — последовательный и поистине разносторонний. Книга эта — весьма интересно задуманный очерк о Спинозе. Считая всякое философское учение фактом истории, автор устанавливает причинную связь между трудами этого еврея, изгнанного из Амстердама, и внешними обстоятельствами; он знакомит нас со средой, в которой жил Спиноза, и развертывает перед нами ряд ярких, живых картин. Таким образом, призвание г-на Кушу проявилось с первых же его шагов в науке. В дальнейшем он стал серьезно изучать психиатрию, занялся лабораторными исследованиями и даже открыл неизвестную бактерию. Но все

---

<sup>1</sup> Alcan, édit.

приобретенные им знания он отдает служению современной Клио \* и увлекается историей нравственных идей, которые образуют духовную основу каждого поколения.

Вот почему он стал изучать происхождение христианства. Достигнув зенита жизни, он посвящает годы своей великолепной зрелости работе над книгой, которая покажет с новой точки зрения темные истоки религии, завоевавшей огромную часть мира. То, что мне удалось узнать об этой книге, подготовляемой к печати, внушает живой интерес и восторг, какой всегда ощущаешь, предвкушая значительное явление.

Nescio quid majus nascitur...<sup>1</sup>

Я умолкаю: вещать тоном оракула — дурной вкус. Однако пронизательные умы в Европе и Америке считают, что усиленное толкование библейских текстов, которым занимаются вот уже триста лет, скоро приведет к самым неожиданным для широкой публики выводам... Восхищения и всяческой похвалы достойны люди, которые в поте лица своего, преодолевая почти непреодолимые препятствия, окруженные равнодушием или враждебностью толпы, ищут ту единственную истину, что необходима для свободы умов и душевного покоя!

## II

Но я еще не до конца охарактеризовал доктора Кушу, ибо не показал вам его второе «я» — его демона, который постоянно нашептывает ему что-то на ухо и распоряжается им по своему усмотрению. Это тот самый демон, что некогда побудил старика Геродота объездить все страны, известные в ту пору грекам, побывать у варваров, познакомиться с их нравами, и снабжал его материалами для рассказов; тот самый демон, что не дает покоя любознательным и непосредственным умам, стремящимся писать с натуры; демон путешест-

---

<sup>1</sup> Родается нечто более великое... \* (лат.).

венников, который привел к Великому Моголу Марко Поло, презревшего и тяжкий труд, и бесчисленные опасности. В наши дни нетрудно стать Марко Поло. Поощряемый духом своего времени, доктор Кушу с ранней юности начал разъезжать по всему свету. Книга, которую я предлагаю вашему вниманию, — «Мудрецы и поэты Азии», — многим обязана его демону. Заглавие ее не совсем точно, но зато «улит чудесное путешествие — и не обманывает нас. Действительно, она состоит из четырех очерков — три посвящены Японии, где автор жил, а один — Китаю, в котором он побывал.

Как медленно познаем мы планету, на которой живем, а ведь она самая маленькая в своей системе, да и система эта не из самых больших в космосе! Еще совсем недавно европеец не мог найти в философии истории упоминания о Дальнем Востоке. О нем нет речи в «Рассуждениях о всеобщей истории» Боссюэ. Гений Вольтера разгадал Китай; но он его совсем не знал; в XVIII веке это была недосыгаемая для нас страна. Эрнест Ренан, при всей разносторонности и пытливости своего ума, мало интересовался Китаем. Никто в годы моей юности не рассказывал мне о величии, красоте и богатстве древней восточной цивилизации. Мы знали о существовании Китая лишь благодаря фарфору, хотя понятия не имели, к какой эпохе он относится, а о Японии — благодаря гравюрам, которыми безмерно восхищались. Г-ну Полю-Луи Кушу первому довелось объездить, изучить Китай и на досуге подумать об увиденном им Китае и преобразившейся Японии, которая вышла победительницей из войны с Россией, соперничает с Соединенными Штатами, заняла место среди мировых держав и стала грозной благодаря своему флоту, армии и дипломатии.

Увидев Японию, г-н Кушу сразу же полюбил ее, и не за ловкость, не за то удивительное проворство, с которым она перенимала оружие европейцев, чтобы потом бить их этим же оружием, а за тонкое восприятие красоты, за учтивость, за искусство жить изящно и за понимание природы, несравненное по своей глубине. И не будь он так любознателен, не будь у него потребности

видеть весь мир, он, быть может, подобно Лафкадио Гирну, остался бы в Японии и до конца дней своих праздновал бы вместе с этим народом, почитателем пейзажа, праздники первого снега и вишен в цвету.

### III

Книга его начинается статьей, озаглавленной «Атмосфера Японии». Здесь речь идет о восприятии природы японцами и о месте, которое занимает искусство в этой стране, где все население — поэты, художники и музыканты. Они пишут и рисуют одной и той же кисточкой, рассказывает нам г-н Кушу, и поэзия их проста и незатейлива. Искусство доступно всем. Женщина-дровосек, несущая на голове небольшую вязанку хвороста, непременно воткнет в нее несколько красных листочков. Это — страна живописи. Одно движение кисточки — и появляется живой зверек. То, что умеет делать в Италии один лишь Пизанелло, постоянно делали в Японии на протяжении многих веков. Автор приписывает это умение изображать домашних животных и диких зверей присущей азиатам любви ко всему одушевленному. Японцы не считают, что по своей сущности они чем-то отличаются от зверей. Как мне мил этот народ! Он не порвал связей, роднящих человека со всем одушевленным в природе, с тем, что является подлинной природой; он поддерживает общение с жизнью вселенной, с животными и растениями; он не ушел гордыни ради в пустые просторы метафизики.

### IV

После этих любовно и прелестным стилем написанных страниц следует отрывок о японской музе, посвященный в основном «хокку» — стихотворению определенной формы, состоящему из семнадцати слогов. Стало быть, это совсем крохотное стихотворение, — по сравнению с ним наш европейский сонет кажется эпической. Необходимо, чтобы эти семнадцать слогов шли от

самого сердца. В Японии поэты говорят тем же языком, что и народ; этот язык понимает, на нем говорит крестьянин. При всей своей краткости «хокку», по-видимому, ласкает слух и трогает сердца. Басё \* — одновременно Эпиктет и Марк Аврелий Японии — владеет в совершенстве этим жанром. Хочется сказать, что жанр этот сродни греческой эпиграмме. Но Мелеагр больший художник, чем Басё. Во всяком случае, г-ну Кушу, гораздо лучше, чем мы, разбирающемуся в «хокку», он нравится больше. Г-н Кушу приводит довольно много этих прелестных крохотных стихотворений, живой ритм которых он превозносит. С присущей ему силой убеждения он во время войны внушил одному из друзей идею передать свои переживания в траншеях этим размером, излюбленным японцами, и г-ну Вокансу удалось выразить в форме «хокку» очень глубокие чувства<sup>1</sup>.

## V

Третий раздел сборника озаглавлен «Родина японцев». Это — дневник автора, который в феврале 1904 года, когда вспыхнула война между Японией и Россией, как раз находился в Токио. Его наспех сделанные заметки представляют огромный интерес для людей, живших во Франции и Англии в августовские и сентябрьские дни 1914 года, и содержат бесценные страницы для тех немногих, кто умеет философски осмысливать ход человеческой истории. Они, вероятно, заметят, что в массе своей люди, находящиеся примерно на одном уровне культуры, мало чем отличаются друг от друга и поступают в одних и тех же обстоятельствах почти одинаково. Вот люди желтой расы собираются сражаться с могучим противником. Наблюдая за ними, слушая их, любой француз, как и англичанин, мне думается, если только он не ослеплен гордыней, увидит себя в них, как в зеркале. Перед лицом врага всех людей охватывает то же чувство патриотизма, та же вера

---

<sup>1</sup> Juliep V o c a n c e , Cent visions de guerre.

в свои силы, тот же энтузиазм. Ниппон провозгласил, что он сражается за цивилизацию, — таким образом, японцы первые нашли формулу, которую союзники позаимствуют впоследствии в час великого столкновения народов. Все партии объединились в одну; лишь социалисты возражают, но их никто не слушает. Особенно воинственно настроены коммерсанты: они понимают, что война доходное дело. Правительство отменяет гарантии парламента и вводит цензуру для книг и газет. Бонзы дарят солдатам амулеты на счастье совершенно так же, как десять лет спустя французские священники будут раздавать в траншеях иконки с изображением богоматери. Пущены в обращение военные боны, и крупные держатели из патриотизма блестяще обделывают казну. Частные лица вносят свое золото в государственную казну. Ярмарочные балаганы в Токио, где японские зеваки за гроши могут полюбоваться тем, как убивают русских, напоминают, по-моему, сверкающий огнями «Ампир», где лондонские буржуа аплодировали клоуну, избивавшему кулаками куклу, похожую на президента Крюгера.

Если вам хочется отметить и различия, то, пожалуй, следует обратить внимание на то, что японцы отдавали государству свои богатства с щедростью, несвойственной европейцам. Нужно признать, что во многих случаях они проявляли чисто азиатское презрение к смерти, невиданное в наших краях. Поражает также рыцарский дух, унаследованный ими от старых самураев, который особенно ярко проявился в тот день, когда русский посол покидал Токио, окруженный почестями и осыпанный подарками; зачастую этот дух выражался и в отменной вежливости к врагу. Однако следует принять во внимание, что японцы не вели длительных войн с Россией и не пострадали от них, а также и то, что с самого начала военных действий японцам сопутствовала удача; поэтому им нетрудно было проявлять великодушие. Впрочем, тон их совершенно изменился, когда они узнали, что русские пустили ко дну два коммерческих судна и занимаются морским разбоем. С той поры они стали относиться к русским, как к варварам — к готам и вандалам.



Не следовало бы проводить слишком глубокие параллели между народами, которые никогда не действовали в одинаковых условиях. Однако для такого рода сравнений военная обстановка подходит больше, нежели мирная, ибо она обнаруживает примитивную сущность человечества и показывает людскую массу в совместном действии. Наконец, когда под влиянием историка-философа мы начинаем размышлять о человечестве, существующем во времени и пространстве, то перед нами невольно возникает вопрос: уж нет ли между всеми смертными, оказавшимися во власти повелевающей необходимости, во все времена и на всей планете большого сходства в самом главном, — несмотря на различия, вызванные расовой принадлежностью, климатом и своеобразными условиями жизни. Кажется, древние особенно ценили такого рода сходство. В XVII и XVIII веках старались обнаружить в человеке черты, роднящие его с другими людьми, невзирая на разницу, их обличий. Но внезапно романтики, с Вальтером Скоттом во главе, устремив взоры в далекие горизонты, стали лучше видеть различия между людьми, чем сходство между ними. Огюстен Тьерри — ссылаюсь на него, как на историка, возрождавшего прошлое, который даже в смутные времена сохранял чувство меры и верный тон, — явно предпочитает различия, ибо в своих зарисовках он сгущает местный колорит. В одной из глав он укоряет своего предшественника, старого Анкетилля, за изображение всех французов от Хлодвига до Людовика XIV на одно лицо. Но вскоре Сент-Бев, великий знаток душ, придет к выводу, что чем больше изучаешь историю, тем больше убеждаешься, что люди и явления всегда очень сходны между собой, невзирая на различие форм и костюма \*. Благодаря стремительным успехам исторических наук романтические отрепья сбро-

---

<sup>1</sup> Чтобы лучше понять то, что мы говорим здесь, сравните историю Мезаре и Ролена с историческими трудами обоих Тьерри \* и Мишле (Гизо придерживается старой школы). Вы будете еще больше поражены, если сопоставите «Телемака» Фенелона и «Сето» аббата Терасона с «Мучениками» Шатобриана и «Саламбо» Флобера.

шены в мусорную яму. Но как бы сходны ни были между собою люди, тем не менее, как справедливо говорят в народе, все чужестранное кажется странным. Г-н Кушу обладает исключительным даром описывать исторические события в соответствии с требованиями современной мысли, он философ и художник, ему удастся одинаково хорошо отображать и общее и частное.

## VI

Мы подходим к четвертому и последнему разделу книги «Мудрецы и поэты». Автор переносит нас из Японии в Китай, в огромный и старый Китай, где при Сунской династии, по словам г-на Кушу, появилась такая утонченность чувств, какой не знает остальной мир. Это рассказ о посещении, следовало бы сказать паломничестве, на могилу Конфуция в Кинфеу. Автор сам любит и внушает нам любовь к этому старому мудрецу, который мало говорил о небесном провидении, ничего не говорил о том, чего никто не знает, ограничивался в своих наставлениях тем, как надо вести себя в жизни и в делах общественных, и, еще до стоиков, проповедовал любовь к роду человеческому. Г-н Поль-Луи Кушу предвидит и призывает тот день, когда избранные всех народов сольются наконец в одну семью и воздадут хвалу на одном и том же алтаре и Конфуцию и Сократу. Таково заключение этой книги, которая, хоть и состоит из отдельных статей, образует по духу и по мысли единое целое.

## VII

Прелесть г-на Кушу заключается в той редчайшей способности живо представлять себе минувшее и далекое, которой обладали Ренан и Ферро; \* это сообщает истории интерес, делает из нее живое зрелище. Он одарен прекрасным воображением, столь же необходимым историку, как и поэту, ибо без воображения нельзя

ничего увидеть, нельзя ничего понять. У него есть изобретательность в глубоком значении этого слова, — искусство находить и открывать то, что скрыто. И очень пронизательный ум, который смотрит в корень вещей, хотя кажется, будто он лишь коснулся их, так легко он это делает. Его ум от природы склонен к доброжелательности, но это не значит, что он проявляет излишнюю снисходительность к отдельным людям, стараясь быть справедливым; нет, это более высокая доброжелательность, она сродни ренановской: она отдана человечеству, безымянной толпе. Любовь в нем сияет, как светильник, и рассеивает мрак, наступивший после того, как угасла вера. Он любит в людях все, даже их слабости и заблуждения, а иногда он словно просит прощения за то, что не разделяет их ошибок.

С ним произошло то же самое, что и с большинством людей, наделенных созерцательным складом ума, которые слишком развили свою способность понимания. Видя причину явлений, они готовы примириться с этими явлениями. Им нелегко бороться с тем, что они не одобряют; они словно проникаются мыслями народа, как бы ни противоречили эти мысли их собственным, и принимают его предрассудки. Полемику они ненавидят, они боятся терять время на споры — и поступают мудро. Если древние скандинавы имели основания верить в чудодейственное свойство рун, если слово, высеченное на камне, может влиять на судьбу мира, то кто же лучше, чем эти мудрецы, сумеет написать это слово? А впрочем, разве они не пишут его непрерывно, помимо своей воли, и разве их мысль не преобразует человеческое общество?

Господин Кушу пишет без всякой манерности, без усилий, с прекрасной непосредственностью и неотразимым изяществом; его ясный стиль озаряет, окрашивает, оживляет предметы; подобно той Венере, к которой вызывает величайший из латинских поэтов \*, он заставляет распускаться цветы, излучает сияние, пронизывает сердца ласковым пламенем любви.

## ИЗ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ»

(Серия пятая)

### ВОСПОМИНАНИЯ О ШАНФЛЕРИ

О недавно скончавшемся Шанфлери здесь уже говорилось немало. Но человек он был непонятный и странный, поэтому, надеюсь, и мне позволено будет сказать несколько слов о нем самом и о его произведениях. Как-никак, речь идет об основоположнике реализма, словом — о предке.

Я встретил его впервые лет двадцать тому назад, на набережной Вольтера, в редакции журнала, сотрудником которого я стал неосмотрительно, по молодости лет. То был роскошный журнал, рассчитанный на библиофилов \* и особенно — на библиоманов; в нем говорилось об инкунабулах, о переплетах XVI века и старинной ксилографии \*. Леру де Ленси печатал в нем пространные, высоко ценимые статьи, особенность которых заключалась в том, что все они были посвящены Гролье. Сей Гролье, живший в середине XVI века, слыл страстным любителем книг и медалей; он вызывал у наших библиофилов острый и не вполне понятный интерес. Журнал занимался также некоторыми редкими изданиями, и тогда поля отдельных экземпляров измерялись с точностью до миллиметра. Специальный сотрудник описывал гербы, вытесненные в виде суперэкс-либрисов на старинных переплетах. Сотрудник этот — весьма, впрочем, обходительный человек — был ярый

демократ. Проказница судьба связала его с геральдикой, и он всегда пребывал в окружении корон и гербов, которые не мог видеть без содрогания. Поэтому он беспрестанно содрогался. И работу свою, столь, казалось бы, спокойную, он выполнял с судорогой, склонившись над столом и нахмурившись. Целыми днями описывал он молоты на гербах Майи, лилии Лавальеров, башенки Помпадуров и прочие фигуры на пестром, черном, золотом, лазоревом, серебряном или зеленом поле. Он занимался этим, чтобы жить. А ведь жить надо; так по крайней мере говорят, так все считают. Но в своей конторке, под справочниками д'Озье и Ла Шене-Дебуа \*, он тайком хранил милый его сердцу синий томик с описанием заговора Бабефа, отца социализма, и между двумя описаниями гербов украдкой прочитывал в нем несколько строк. Это было его лекарство, оно подкрепляло его. Я питал к этому человеку тайное расположение. Не то, чтобы я, подобно ему, преклонялся перед Бабефом и Дарте; свирепая любовь к равенству отнюдь не возжигала во мне священного гнева. Но я тоже чувствовал, что не создан для работы, которую послала мне судьба. Меня мало трогали инкунабулы, гравюры на дереве, переплеты с тиснением и Гролье. Душа моя была полна возвышенных, чарующих грез; к шуршанию листов, трепетавшей в ночной синеве, примешивались неведомые голоса; мне чудились чьи-то белые очертания, скользящие в сумраке, и незримые мирты юности благоухали в воздухе, которым я дышал. Все это были темы, неподходящие для библиографического журнала. Я страдал от этого, страдал жестоко.

Однажды я увидел Шанфлери, — он принес в редакцию свою статью.

Он был мрачный, сухой, неприветливый; лицо деревянное, в длинных косых морщинах; рот впалый, губы ввалившиеся, усы — жеванные и пережеванные, вид таинственный, как у марионетки из Гиньоля \*. В нем было что-то зловещее и тем не менее забавное. Он молчал. Но взгляд у него был живой, уверенный, умный: взгляд знатока.

Он вытащил из кармана неудобочитаемую рукопись, испещренную, как мне показалось на первый взгляд,

какой-то мерovingской скорописью VII века. Ибо почерк этого писателя, как и он сам, был на редкость чудной, корявый и изломанный. В парижских типографиях насчитывалось не более пяти-шести наборщиков, умевших разбирать это мелкое, замысловатое письмо, — совершенно необыкновенное, волнующее, как тайна или как мистификация, и вполне соответствующее человеку, в глубине души которого таился *мистагог*.

Статья была посвящена старинным вывескам. Шанфлери, влюбленный во всякий хлам, приложил к статье — как сейчас вижу — старую трухлявую доску с грубо вырезанными на ней ножами, резаками, бритвами и перочинными ножичками; с нее когда-то печатались виньетки для счетов некоего ножовщика, — царствие ему небесное, — торговавшего ножевым товаром во времена Дидро-отца \*.

Эта страшная и трогательная реликвия вполне отвечала вкусу Шанфлери, который любил в искусстве лишь то, что воплощено в наивных образах народных картинок.

Что же касается самой статьи, то она вся состояла из мелких заметок, вырезанных, затем наклеенных на большие листы бумаги. Ни вступления, ни выводов.

Шанфлери как критик тут перед нами весь: сплошь одни заметки. Никаких общих мыслей. К 1869 году, когда мне суждено было встретиться с ним, он уже вполне определился как писатель. Он окончательно упразднил литературу. Он уже не сочинял: он собирал заметки. Собирал неистово.

Вечно ищущий, вечно что-то вынюхивающий, он забирался всюду, где скопилась какая-либо рухлядь, и, бегая с молчаливым, осторожным кошачьим проворством между стопками старой посуды, все записывал, записывал, записывал. Во всем мире никто так ловко не мог бы обнаружить щербатое блюдо с изображением св. Варнавы и описать находку.

Его «История карикатуры», которую я сейчас перелистал, представляет собою диковинный ворох мелких заметок. По полному отсутствию стиля и мыслей чувствуется, что автор пишет так не без умысла; сразу угадываешь в нем остряка, который втихомолку забав-

ляется и шутит. Ибо Шанфлери был, по-своему, остроумный человек. Он был наделен своеобразным талантом насмеяться над людьми. Его романы «Моленшарские буржуа», «Страдания учителя Дельтея» представляют собою мистификации, единственный недостаток которых состоит в том, что они чуточку длинноваты. Если бы обезьяны — существа лукавые — вздумали писать, они писали бы именно так. Когда Шанфлери пишет о смешном, он совсем как обезьяна — никогда не смеется.

А теперь я покажу вам, что в этом человеке жило несколько человек и что этот извращенный реалист был поэтом с большой фантазией. Если Шанфлери и выдумал натурализм, так только для того, чтобы потешиться над окружающими. Сам он ни в малейшей степени не интересовался ни повседневным ходом событий, ни будничной жизнью людей. У него был от природы причудливый ум, вкус к необычному, врожденная склонность к музыке, дар мимиста, а в душе его таилось что-то странное, отражавшееся и на его лице. Он любил Гофмана, рассказы которого забавляли и смущали все его поколение, и, в сущности, сам напоминал какой-то гофманский персонаж. Он был наделен особым даром — или, вернее сказать, его когда-то сглазили: все, к чему бы он ни прикоснулся, тотчас же начинало диковинным образом кривляться; даже самые обыденные вещи под его пером принимали какое-то странное обличье. Достаточно ему было упомянуть о метле в руках прислуги, как сразу возникала мысль о шабаше. В самых простых его поступках и словах есть что-то дьявольское, и я не уверен, не замешана ли нечистая сила в приключении бедняги Тренгля \*, который отправился на маскарад в костюме черта, подвергся нападению крестьян, вооруженных вилами, и вынужден был, спасения ради, удирать от них на спине разъяренного быка. Заметки, которые этот человек наносил на бумагу меровингскими письменами, повторяю, казались какой-то тарабарщиной. У него потустороннее всегда идет рука об руку с тривиальным, и он слишком гримасничает, чтобы быть совсем пошлым. Его искусство напоминает мастеров XIII века, которые изготовляли

водосточные трубы в виде всевозможных чудовищ; тщетно старались они придать этим чудовищам вид непристойный или жуткий — от них всегда веяло грустью.

Не знаю, какую тайну этот молчаливый старик унес с собою на уютное маленькое кладбище в Севре, где он ныне покоится. Однако подозреваю, что автор «Моленшарских буржуа» был изрядный насмешник: в лице его сквозила печаль, свойственная всем великим шутникам, и, думается мне, три четверти его книг были написаны только в насмешку. У меня перед глазами превосходный очерк, посвященный Шанфлери более двадцати лет тому назад Альсидом Дюзолье; очерк включен им в книгу «Наши литераторы», представляющую собою по существу литературные мемуары. Альсид Дюзолье хорошо знал Шанфлери и судит о нем с какой-то особой, благожелательной строгостью; он подчеркивает редкостную силу иронии, которой был наделен создатель натурализма. «Под серьезной, холодной внешностью Шанфлери, — говорит он, — скрывается шаловливая, лукавая натура, иной раз прорывающаяся наружу; он остряк и шутник. Порой в нем с былою мощью просыпается тот отчаянный мистификатор, который около 1840 года слыл грозой Лана \*, тот неутомимый шалопай, который столько ночей занимался тем, что похищал вывески и ставни в своем родном городе». И Альсид Дюзолье очень забавно рассказывает, как Шанфлери, нарядившись стариком академиком, в прическе а ля Луи-Филипп и в пышном белом галстуке, скрывавшем подбородок, явился к г-же Ансело и представился как Флорестан Дюфур, «распорядитель Тулузской Литературной академии, командированный в Париж по поэтическим делам». Он был приглашен ученой дамой на вечерний прием и тут, прислонившись к камину, дрожащим голосом прошептал стихи, в которых сетовал на нынешний упадок трагедии.

Я не настаиваю на правдоподобности этого анекдота; за достоверность его не ручается и сам г-н Дюзолье. Но я уверен, что Шанфлери — величайший мистификатор.



Не лишенный некоторого дара выразительности и некоторого своеобразия, он старался писать плохо и пытался к совершенству стиля дьявольское презрение. Ему, как колдуньям, нравилось преимущественно безобразное, однако он на свой лад был художником и в области безобразного отличался тонким вкусом.

Как создатель натурализма, он мог бы в какой-то мере тешиться ролью вождя этой школы; но он был чересчур сварлив, чтобы терпеть учеников, и жил одиноко, как Диоген.

Натуралисты имели бы полное право объявить его своим предтечей. Но они предпочитают не говорить о нем: этот предок чересчур уж похож на бедного родственника.

## ПОЛЬ ВЕРЛЕН. — «МОИ БОЛЬНИЦЫ»

В этой тоненькой книжечке (в ней всего около семидесяти страниц) поэт с очевидной искренностью делится своими больничными воспоминаниями. Как известно, за последние семь-восемь лет Поль Верлен много раз побывал у Бруссэ, Тенона, Кошена, в Сент-Антуане и Венсенне \*. Он, однако, отнюдь не похож на какого-нибудь Эжезипа Моро, Жильбера или Мальфилатра. Он не принадлежит к числу чахоточных лириков \*. Говоря о том, что он называет «Мои больницы», не следует впадать в жалобный тон и стенать:

Увы! Рука перо держать не в силах.  
Бедняк Жильбер, как много ты страдал!

На долю бедного Лелиана \*, конечно, тоже выпало немало невзгод. Однако он ни в малейшей степени не похож на юного поэта, страдающего худосочием. Он полон сил, таланта и пороков. Это старый бродяга еще на редкость крепкий. Когда он ночью блуждает по улицам, его ноги, одревеневшие от застарелого ревматизма, стучат по тротуарам, словно бронзовые.

И этим-то шагом, — крепкий, гордый, с высоко поднятой головой, — он входит, когда ему заблагорассудится, в больницу. «Частичный анкилоз левого коленного сустава, вызванный ревматическим артритом». Как видите, это вовсе не Жильбер, не Мальфилатр и не

Моро. Это скорее Диоген. И Верлен, живи он в Коринфе, выкатывал бы свою бочку под мирты, чтобы проспать ночь при мерцании звезд. Но, живя среди нас, в дождливом, холодном климате, среди народов деловитых и предусмотрительных, он вместо старой бочки, валяющейся на коринфской дороге, где недавно проехали куртизанки, подыскивает себе больничную койку в каком-нибудь мрачном предместье Парижа и, не раздумывая, завладевает ею. И поступает он так не стыдясь, отнюдь не усматривая в этом общественной деградации, не чувствуя себя деклассированным.

Да! Поль Верлен, выходец из почтенной буржуазной семьи, сын военного инженера, никогда не обладал ни буржуазным мироощущением, ни классовым инстинктом. Больше того — у него всегда было весьма смутное представление об общественной жизни. Люди кажутся ему отнюдь не связанными с ним совокупностью прав, обязанностей и интересов. Он взирает на них как на шествие марионеток или китайских теней. Мы слегка забавляем его. Он присутствует при зрелище общественной жизни как славный турок, немного одурманенный табаком, присутствует на представлении «Карагеца» \*. Славный турок смеется в непристойных местах, засыпает при палочных ударах, а очнувшись, высказывает о пьесе порой нелепые, порой мудрые суждения. Но как он расхохотался бы, если бы кому-нибудь вздумалось сказать ему: «Друг мой, ведь и самито вы марионетка вроде тех, которых только что видели; вы тоже должны сыграть в пьесе какую-нибудь роль — будь то роль паши или погонщика верблюдов». Однако, если бы человек стал чересчур на этом настаивать, славный турок треснул бы его трубкой по голове. А уж это никуда не годится. Поль Верлен похож на такого славного турка. Ему кажется, будто он не участвует в пьесе, которую все мы разыгрываем в обществе. Он — зритель, зритель одновременно и наивный и умный. Поль Верлен — гордый и великолепный дикарь.

Чем может ему повредить пребывание в больницах?

Там ему сопутствует слава. В больнице Сент-Антуан доктор Гарпе прописывает ему прежде всего перо, чернила, бумагу и книги. В той же больнице палата, где лежал поэт, стала называться палатой Декадентов.

Верлена навещают там самые блистательные люди. Морис Баррес сожалеет, что не может проводить у его изголовья все воскресенья. Восторженные юноши приходят сюда, чтобы приветствовать на нумерованной койке своего учителя. Художники наперебой делают зарисовки и пишут его портреты. Г-н Казальс показывает его нам в бумажном колпаке, возле высокого светлого окна. Г-н Арман-Жан изображает его сидящим на кровати и кутающимся в казенный халат, который силою искусства преобразается в магическую докторскую мантию. Репортеры осаждают его. Они расспрашивают его о декадентах и символистах. По словам самого г-на Верлена, некий корреспондент однажды задал ему неожиданный вопрос:

— Господин Верлен, каково ваше мнение о светских женщинах?

Да, это — слава. Но когда Поль Верлен говорит, что это нельзя назвать счастьем, мы без труда верим ему. Кто-то несколько легкомысленно заметил, что его участи можно позавидовать; на это поэт, не умиляясь сверх меры самим собою (он не элегик), ответил, что люди, по-видимому, думают, будто он довольствуется весьма малым.

«Ведь люди эти, — говорит он, — считают, что для меня, которого приветствует, которого, осмелюсь сказать, любит вся литературная молодежь, такое уж большое счастье влачить зрелые годы жизни среди приторного запаха йодоформа и фенола, в общении с совершенно чуждыми людьми, терпеть чуть насмешливую снисходительность врачей и практикантов, — словом, пребывать в атмосфере отчаянного убожества — у самой последней черты!»

И нельзя отрицать, что в этой жалобе — если только это жалоба — звучит законная гордость, непогрешимое чувство меры, правильное понимание окружающего, редкостная тонкость суждения и тот резковатый разум,

который мы с удивлением обнаруживаем иногда у гениальных безумцев.

Итак, переступая порог больницы, приходится (даже поэту) расстаться с милым весельем и непринужденным смехом. Поступление в больницу иной раз связано с весьма тягостными впечатлениями. В виде примера упомяну прием, который встретил бедный Лелиан в больнице Лабрус, куда его однажды привели нужда и недуг. Свободна была одна-единственная койка, зато койка необыкновенная. Сколько ни перебивало на ней больных — ни один с нее не поднялся. Всякий, кому она доставалась, на ней умирал.

«Столь зловещая особенность, — говорит Верлен, — привела к тому, что беспримерно гостеприимная койка приобрела какую-то особую значительность и внушала *sui generis*<sup>1</sup> суеверное чувство. Словом, охотников на эту койку не находилось».

И поэт добавляет:

«Но выбора у меня не было. Оставалось либо согласиться, либо отказаться. Мне хотелось отказаться; но согласиться значило избежать еще худшего, — и я согласился».

Предшественник поэта не опроверг приметы.

Поэт видел его.

— Когда я вошел в палату, мой предшественник еще лежал на койке, — ни красивый, ни безобразный, вообще никакой. Длинное узкое тело, обернутое в простыню, с узелком у подбородка, без креста на груди, лежало прямо на матраце, на железной кровати без полога... Принесли носилки, так называемый «ящик для домино», крытые брезентом неопределенного цвета, напоминающего рогожку для матрацев; на них водрузили ношу и — марш в анатомичку! Несколько минут спустя я расположился на этом «пыльнике», только что служившем смертным одром, и слово из больничного жаргона, которое я тут употребил, вполне оправдывается, если вспомнить *pulvis es et in pulverem reverteris*<sup>2</sup> католической Церкви.

---

<sup>1</sup> Своего рода (*лат.*).

<sup>2</sup> Из земли взят и в землю отыдеши (*лат.*).

Итак, поэт занял место покойника. И он хвалится этим как «своего рода маленьким кошунством». «Подумайте только, — добавляет он с мрачной удаley, — подумайте только! Я заткнул за пояс лафонтеновского пройдоху, который надел на себя сапоги человека, притворившегося мертвым. Я превзошел басенного продавца медвежьей шкуры, я посадил в калошу почтеннейшего юре Жана Шуара \*; я даже и не надеваю сапоги взаправду умершего — к чему мне это. Нет, я просто-напросто ложусь в его постель, в постель *моего* покойника, ложусь — поймите — в *его* постель, в постель еще совсем... холодную».

И все же он сохранил о своих больницах уж не такое плохое воспоминание. Прежде всего несчастный бедняк находил здесь приют. В конце концов он оценил то обстоятельство, что «в этих домах скорби находишься в полной безопасности». Он охотно отказывался от свободы, которою иной раз злоупотреблял, и без труда подчинялся установленному распорядку, ибо, как гласит четверостишие, написанное им к своему портрету:

Он столько мерз и голодал,  
Что от несчастий под конец  
Со старым каторжником стал  
Душою схож былой гордец.

Именно в больницах писал он стихи; он творит теперь почти что только здесь; его поэтическая, причудливая фантазия преобразует просторную, холодную и пустынную палату. Однажды ночью он заметил в ней магические эффекты лунного света, словно в фессалийской долине. Фантазия — великое лекарство от мук земной юдоли. И вот, вспоминая долгие, печальные и унылые часы, проведенные в больнице, Верлен спрашивает себя: не скажет ли со временем он, старый, неутомимый, отчаянный бродяга: «То были золотые дни».

Но поймите правильно: самым сладостным в этом существовании был для него тот монастырский дух, который порождается здесь строгим распорядком и бедностью. Он сам сказал: «К этой жизни привыкаешь; она напоминает жизнь в монастыре, но — увы! — без

молитв и без устава, который вменяется соблюдать из послушания».

Я недавно говорил, что Поль Верлен киник. С таким же основанием я мог бы сказать: он — мистик. От одного до другого не так уж далеко. Сходство между философами вроде Антисфена или Диогена и итальянскими нищенствующими братьями столь очевидно, что его заметили даже те, кто не хотел бы видеть. Киник и мистик Поль Верлен принадлежит к числу тех, царствие коих не от мира сего; он из обширного семейства любовников нищеты. Св. Франциск, несомненно, признал бы его своим духовным чадом и, пожалуй, особо отметил бы среди своих учеников. И как знать, может быть, Поль Верлен стал бы под власницей великим святым, как он среди нас стал великим поэтом? Разумеется, на первых порах он задал бы своему наставнику немало хлопот. По вечерам он иной раз убежал бы из священной Порциункулы \*. Но добрый св. Франциск отправился бы за ним даже в самые отвратительные сиенские притоны, чтобы вернуть его, кающегося, в обитель нищеты.

Есть что-то почти святое в простых словах, сказанных однажды Полем Верленом людям, которые пришли навестить его в больнице.

— Поговорим, — сказал он. — Я здесь у себя дома.

Потом, обернувшись к несчастным больным, лежавшим на жалких койках, поправился:

— У нас дома.

В этом грешнике быстро обнаруживаешь его первооснову — человека с непорочной душой, а в его рассказах, зачастую совершенно несуразных и на редкость путаных, та или иная сценка вдруг напоминает своей набожной простотой какую-нибудь старинную легенду. И у него это отнюдь не надумано. Как в отношении зла, так и в отношении добра он человек совсем иного склада, нежели все мы. Он верующий; он чист сердцем. В больнице Сент-Антуан, где он провел три месяца из-за ревматизма в запястье, его соседом был солдат из африканского батальона. И поэт рассказывает нам:

— Какой ужасный человек! Весь зарос бородой и не верит ни в бога, ни в черта. Я время от времени

говорил ему, что должен же быть там, наверху, кто-то помысленнее нас и что напрасно он не верует в него и на него не надеется.

Эта маленькая речь — совсем в духе милой старинной агиографии \*. Чтобы превратить ее в законченную легенду, остается только добавить самую малость, сущий пустяк: какое-нибудь чудо, которое сразу обратило бы на путь истины и свирепого солдата, и сиделок, и директора больницы. Если оставить в стороне это чудо, Поль Верлен, сам того не подозревая, рассказал историю совсем в духе Иакова Ворогинского \*. Порочный и простодушный, он всегда правдив; неподражаемая нотка правды и составляет прелесть этой книжечки, с ее нелепым, вздорным синтаксисом и чудесной мелодичностью, надрывающей сердце.



## ЭЛЬВИРА<sup>1</sup>

### *Диалог*

Пьер. Я только что прочел разочаровывающую книгу. Феликс Реиссье испортил мне Ламартина. Он показал мне его подростком и юношей, восторженным и великодушным, и вместе с тем непостоянным, своевольным, скорым и на любовь и на забвение, с пылкой и ветреной душой, переходящей от увлечения к увлечению. Я не доволен и тем, что автор сорвал покрывала и рассеял таинственность, которой были окутаны для меня Эльвира и Грациелла.

Поль. Ламартин, каким он предстает перед нами в этой книге — изменчивый, томный, мечтательный, мятущийся, беспрестанно взволнованный красотой людей и мира, терзаемый упоительными муками, все же остается одним из прекраснейших созданий, когда-либо существовавших в мире, одним из великолепнейших образцов человечества. Феликс Реиссье не оклеветал ни самого поэта, ни страстную и нежную Эльвиру, как не оклеветал и бедную неаполитанскую девочку-табачницу, которая при жизни своей занимала столь мало места в душе поэта. Грациелла только еще начинала существовать для Ламартина, когда уже стала всего лишь мечтой \*. Если со временем напечатают некоторые письма, виденные мной лет десять тому назад у Этьена

---

<sup>1</sup> La Jeunesse de Lamartine, d'après des documents nouveaux et des lettres inédites, par Félix Reyssié, 1 vol. in-18°, 1892.

Шаравэ, станет яснее характер отношений, которые случайно, во время путешествия, завязались у двадцатилетнего юноши из почтенной семьи с дочерью неаполитанского рыбака. Уверяю вас, ничего значительного в этой связи не было. Феликс Реиссье не проявил ни вероломства, ни даже нескромности. Он сказал правду, и мне кажется, что, вопреки новым документам, которые он упоминает в заголовке книги, он не сказал ничего такого, что уже не было бы известно.

Пьер. По-видимому, он действительно сказал правду. Именно этого-то я ему и не прощаю. Я думаю, как Бернарден де Сен-Пьер и де Вогюэ, что людям не надо говорить правду. Неведение — необходимое условие не то что счастья, а самого существования. Если бы мы знали все, мы не в состоянии были бы мириться с жизнью ни одного часа. Чувства, делающие ее для нас приятной или хотя бы сносной, порождаются обманом и питаются иллюзиями. Любопытство вспугивает любовь, и со светильника Психеи беспрестанно капает жгучее масло. Наши муки возрастают вместе с познаниями; они становятся все острее по мере того, как обогащается наш ум. Господин Ренан, вслед за многими другими, сказал: «Noli me tangere»<sup>1</sup> — последнее слово и земной и небесной любви».

Поль. Однако вы не станете отрицать, что инстинкт властно понуждает нас к познанию. Мы хотим знать, и это желание законно и естественно. Жизнь, в общем, не что иное, как подступ к знанию. Дойдя до определенной степени умственного совершенства, мы живем уже только любопытством. Вы говорите, что мы не могли бы любить то, что вполне познали бы; действительно, живые существа и вещи утратили бы для нас прелесть, если бы мы получили о них точные и, следовательно, математические данные. Но этого можно не опасаться, и мы еще далеки от того, чтобы свести весь мир к неопровержимым формулам. В нем всегда будет достаточно неопределенного и таинственного, чтобы вызывать упоительное чувство удивления перед гением и красотой. Но нельзя также любить а

---

<sup>1</sup> «Не тронь меня» (лат.).

то, чего не знаешь. Поэт сказал: «Познать, чтобы любить!» Если паче чаяния мы в этом мире зыбких теней уловили несколько истин, мы можем безбоязненно разжать руки перед людьми и обронить то немногое, что в них накопилось.

Пьер. Нет! Все нет! Надо прежде всего проверить, что именно оказалось у нас в руках — цветы или гадюки. Если бы какой-нибудь человек, обладая, подобно богу, истиной, совершенной истиной, выронил ее из рук, мир был бы уничтожен на месте и вселенная тотчас исчезла бы, как тень. Ведь мир всего лишь тень, иллюзия, обман, мгла, дым! Божественная истина, словно приговор Страшного суда, обратила бы его в пепел. Ну и пусть! Однако вы не притязаете на обладание абсолютной истиной. Вы только радуетесь, что нашли истины относительные, очень мелкие — несколько камушков из какой-то неведомой мозаики, о которых даже не решитесь утверждать — изображали ли они нос или ногу. И вы хотите, чтобы я за эти камушки расплатился ценою моих мечтаний о красоте и добродетели? Слуга покорный! Оставьте свои истины при себе, при мне останется мой идеал. А главное, не приносите мне истин из архивов, истин из рукописей, истин из старых любовных писем и старых нотариальных документов, которыми вы заслоняете от нас поэзию и историю. Правдива только легенда. Поэт живет только в своих стихах. Вся Эльвира — в строфах, которые обессмертили ее. Не говорите мне, что она жила обыкновенной жизнью и что ее звали госпожа Ш...

Поль. А я хочу знать ее имя, ее действительную жизнь, ее истинную историю, и эта история будет трогательной уже по одному тому, что она истинна. Ибо в самом факте рождения и жизни уже есть нечто волнующее и величественное. Пусть мне покажут ее портрет, ее письма, ее веер, драгоценности, которые она носила, которые согревались от соприкосновения с ее шеей, с руками, ныне уже ставшими прахом, комнату, в которой она жила и которую я мысленно вижу, представляя себе ее мебель красного дерева с бронзой в стиле Директории, ее псише, обои с медальонами, изображающими сцены из греческой жизни; пусть мне

покажут всех этих свидетелей ее жизни, которые говорят нам даже с большей грустью, чем сам поэт: «Ее уже нет среди живых». Неужели вы не чувствуете глубокой и нежной грусти, когда улавливаете в старинных письмах реяние исчезнувших душ, когда видите в реликвиях прошлого некогда любимые черты, которых ныне уже нет и которых не будет никогда? Что мне до идеальной Эльвиры? Меня интересует только та, которая жила, страдала, действительно любила, — словом, госпожа Ша...

Пьер. Умоляю, не произносите ее имени! Вы испортите мне «Озеро», «Распятие» и «Бессмертие», вы замутите чистейший из всех родников поэзии, струившихся в наше время и во все времена. Все подобные биографические и критические исследования, подобные изыскания относительно жизни и произведений писателя, все эти нескромные разоблачения не что иное, как оскорбление его творчества и покушение на идеал. Чтобы полностью, без помех, в чистом виде наслаждаться стихотворением, надо находиться в полном неведении о том, когда и где оно было написано. Излишне даже знать имя автора. Из всех изображений поэтов лишь одно удовлетворяет меня — это изображение Гомера, потому что оно создано только на основании того представления, какое «Илиада» и «Одиссея» дают об их авторе. Это действительно похожий портрет, ибо это портрет его поэзии.

Поль. Я воспринимаю поэзию и искусство совсем иначе. Стихотворение, статуя, картина, симфония для меня только намек, сам по себе пустой и приобретающий ценность лишь потому, что напоминает нечто живое, минувшее, непоправимое. Не умея воспринимать красоту, взятую вне пространства и времени, я начинаю наслаждаться произведениями человеческого духа лишь с того момента, как мне удастся обнаружить связи, соединяющие их с жизнью. И как раз эти места стыка с жизнью интересуют меня больше всего. Грубые глиняные изделия из Гиссарлыка \* углубили мою любовь к «Илиаде»; и я полнее наслаждаюсь «Божественной Комедией» благодаря всему, что мне известно о жизни Флоренции XIII столетия. Человка, и только

человека, ищу я в художнике. Что такое самая прекрасная поэма, как не реликвия? Гёте выразил глубокую мысль: «Все непреходящие произведения — произведения на случай» \*. Да и вообще-то существуют только произведения на случай, так как все они зависят от того места и того момента, где и когда были созданы. Невозможно ни понять, ни любить их сознательной любовью, не зная места, времени и условий их возникновения.

Самонадеянная глупость — воображать, будто ты создал произведение искусства, совершенно свободное от внешней зависимости. Самое высокое среди этих произведений ценно только своими связями с жизнью. Чем отчетливей я эти связи воспринимаю, тем больший интерес представляет для меня данное произведение. И «Озеро» Ламартина начинает волновать меня, лишь когда я убеждаюсь, что эта ода была вдохновлена нежной плотью, кровью и душой госпожи Шар...

Пьер. Госпожи Шарль — будь по-вашему. Но неужели, чтобы почувствовать поэтичность «Озера», вам действительно необходимо знать, что Эльвира, дочь офицера Великой армии, воспитывалась в институте Сен-Дени и что она вышла замуж за старого профессора физики, академика Шарля? Ему было семьдесят лет. Нам показывают его причесанным на прямой пробор, с прядями волос наподобие голубиных крыльев, с тонкими, насмешливыми губами, в шелковом сюртуке стального цвета, с тростью, увенчанной набалдашником из слоновой кости. И так уж вам нравятся эти «голубиные крылья» над «Озером»?

Поль. Во всяком случае, они помогают понять и даже полюбить в поэзии Ламартина то, что связано в ней с модой тысяча восемьсот шестнадцатого года. «Голубиные крылья» господина Шарля вызывают представление о локонах его жены, и становится понятным, что стихотворение, воспевающее молодую женщину в локонах, не может быть похожим на любовные стихи, которые пишутся теперь (если еще пишутся любовные стихи) в честь женщин завитых и с лихо закрученным шиньоном.

Пьер. Все думают, что вы любитель поэзии, а вы просто археолог. Вам грезятся исторические картины.

Насчет «голубиных крыльев» и локонов я с вами, пожалуй, соглашусь. Но что скажете вы об оде «Дух»? Всегда считали, что она вдохновлена чисто религиозным чувством, а теперь оказывается, что она посвящена де Боналю только потому, что он был частым гостем в салоне госпожи Шарль. А как отнестись к тому, что поэт, оказывается, поцеловал супругу академика? Правда, господин Александр \*, превосходнейший человек, полагает, что поцелуй был вполне невинный, ибо влюбленные обменялись им под звездами, и, следовательно, в нем было столько же небесного, сколько и земного. По совести говоря, согласиться с рассуждениями господина Александра довольно трудно. А еще две строфы, найденные среди бумаг поэта?

Умолкла. Мы сердца и взоры наши слили \*,  
И замер в воздухе последний отзвук слов.  
А души на крылах экстаза воспарили  
К вратам иных миров.  
Не говорили мы; блаженства бесконечность  
Была для наших душ безмерна и свята.  
И билась в лад сердца, и лепетали — «Вечность!»  
Слиянные уста <sup>1</sup>.

А вариант из тех же черновиков, где вместо «возвышенных восторгов» сказано «возвышенные наслаждения», хотя «восторги» звучит, конечно, более целомудренно? А прогулки Ламартина и госпожи Шарль в Медонском и Венсенском лесах? Разве все это грубо не возвращает Эльвиру на землю?

Поль. Да Эльвира, по-видимому, и не была ангелом. Она любила, страдала, умерла \*. Этого вполне достаточно, чтобы тронуть нас. вспомните, что байроновский Сарданапал, уже лежа на погребальном костре, сказал юной гречанке Мирре. Он сказал: «Если ты страшишься сквозь языки пламени броситься в неизвестное, знай, что я из-за этого буду любить тебя не меньше, а может быть даже и больше, ибо ты покорна природе».

Неужели госпожа Шарль утратила всю свою прелесть из-за того, что была покорна любви? Неужели,

---

<sup>1</sup> В статье «Эльвира» все стихи переведены И. Гуровой.

читая «Озеро» хотя бы и в его официальном варианте, вы не уловили хрупкости Эльвиры? Однако мне кажется, что поэт немного скомпрометировал ее уже в «Новых Размышлениях», где имеются следующие стихи, эгегический тон которых напоминает Проперция и Бертона: \*

Еще блаженней миг, когда, смеясь сквозь слезы \*,  
Ты на колена мне склоняешься главой,  
И томным взором я впиваю облик твой,  
Как жадная пчела нектар впивает розы.

Как видите, бедный Феликс Реиссье, которого обвиняют в профанации, приподнял покрывало, уже сильно порванное.

Пьер. Конечно. Но Эльвире прощаешь то, чего не прощаешь госпоже Шарль. Госпожа Шарль ездила на свидания. Чтобы отправиться в Венсенн, она пользовалась наемной каретой. А когда она возвращалась в Академию, ее встречал старый ученый с прической в виде голубиных крыльев и мило, тонко улыбался ей. Такие истории огорчают меня. Мне испортили даже эпизод с распятием.

Тебя я поднял с губ хладеющих ее... \*

Так нет же! Поэт не отнял распятия от губ Эльвиры: распятие принес ему его друг, наперсник их любви. Опять разочарование!

Поль. Но уж это-то разочарование принес вам не Феликс Реиссье! Ламартин сам сказал вполне определенно: «Мой друг господин де В. (де Вирьё), присутствовавший при ее кончине, принес мне от ее имени распятие, к которому она приложилась в последние минуты». Да и без этого признания было ясно, что в стихотворении сцена описана не с натуры. Вспомните следующую строфу:

И спутанных волос лаская пряди, ветер  
Скрывал и открывал любимые черты:  
Так кипариса тень скользит в неверном свете  
По мрамору плиты.

Это не правда и не выдается за правду. Госпожа Шарль умирала во дворце Мазарини, в комнате, где, конечно, не было сквозняка. Но поэт-идеалист не забо-

тился о реализме. Он даже не упомянул о цвете волос своей подруги и обессмертил ее, не оставив нам ее более или менее осязаемого образа.

Пьер. Вот это-то и превосходно. В Эльвире нет ничего личного, ничего такого, что выделяло бы ее или могло бы старить, — словом, нет ничего от госпожи Шарль. И в этом ее красота.

Поль. Ошибаетесь. Невольно и сам того не сознавая, Ламартин особенностью стиля и своего собственного чувства нарисовал в этих строках смутный, но захватывающий образ французской женщины эпохи Первой империи. Эльвира «Озера» и «Распятия» действительно дочь военного, воспитанница института Сен-Дени, молодая жена престарелого ученого, который занимался надуванием аэростатов. Это госпожа Шарль. И именно этим-то она и пленяет, трогает нас, ибо именно в силу этого она правдива.

Пьер. Мне надо идти. Всего хорошего. Наш разговор значительно утвердил меня в моих взглядах.

Поль. А я утвердился в своих. Прощайте.



## СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Социализм не новость. Я мог бы привести тому немало исторических и философских доказательств, однако достаточно напомнить, что в нашем мире вообще никогда не бывает ничего нового. Эта мысль тоже не нова, но ею проникаешься тем более, чем внимательнее изучаешь прошлое. Она успокаивает и печалит. Однако если социализм и не новость, то он, что называется на языке дурного тона, «актуален». О нем говорят, о нем пишут; им занято все наше общество. Это излюбленная тема разговоров людей и мыслящих и немыслящих. Теодор де Визева \* утверждает, что даже бездельники не вполне к нему равнодушны. «Богатые сынки, пышущие здоровьем и силой, располагающие годовой рентой в двести тысяч франков, — говорит он, — отрываются от чтения «Беговой газеты», чтобы взяться за «Социалиста» г-на Геда или за «Социалистическое обозрение» г-на Малона».

Им интересуются даже светские женщины, и скоро он у них превратится в моду, подобно тому как при Людовике XVI модны были экономисты и попугаи. Вот увидите — они станут приглашать к обеду ораторов, подвизающихся в публичных собраниях. И ораторы к ним пойдут, потому что, вопреки своим свирепым бородам и непреклонным убеждениям, они

слабовольны и потому что никакому мужчине, даже социалисту, не устоять против женской улыбки. Пока что социализм проник в «Ша-Нуар» \*, и одно это — уже знамение времени. Каждый вечер в этом эlegantном кабаре китайские тени Мориса Доннэ сначала легко и даже ласково высмеивают декантескую поэзию и модные пороки, а затем вдруг начинают весело и пышно чувствовать труд, всеобщий мир и объединение народов. На Марсовом поле, которое некогда было свидетелем других, жестоко обманутых надежд \*, Аристофан из «Ша-Нуар» \* воздвигает под звуки оглушительной музыки символический дворец тружеников. Вслед за тем он показывает древний собор Богоматери, сияющий ослепительной славой, и делает это, конечно, для того, чтобы примирить старый мир с новым и сочетать мистицизм с социализмом в общем апофеозе во вкусе г-на де Мена \*.

Как видите, в «Ша-Нуар» можно найти все идеи и все мечты нашего времени, вплоть до союза социализма с Церковью.

Это, думается мне, — начало поэтических и великосветских изысканностей социализма. Ибо никак нельзя назвать ни изысканными, ни великосветскими стихи Ж. Аллемана, Жюль Геда или даже песенки Ж.-Б. Клемана, как и некоторые огненные строфы Луизы Мишель.

Господин Аллеман, вождь «аллеманистов» \*, рабочий-печатник, сосланный после Коммуны на остров Ну, написал там гимн, несомненно подсказанный ему возвышенной и благожелательной мыслью:

Святая истина, сияй  
Людскому роду, как светило,  
И на знаменах начертай:  
«Любовь и братство — наша сила!»

Господин Жюль Гед обратился к Жозефену Пеладану с негодующими строфами, в которых весьма дурно отзывается о платонических героях Сара. Это, говорит он.

Отнюдь не человек, а то, чем стать сегодня  
Принудили его, согбенного нуждой,  
Деизм и собственность и вера в рай господний,  
Где праздность ждет людей за адский труд земной.

Жюль Гед, сын учителя, не чужд литературе. У него внешность поэта-южанина, и в частной беседе он, говорят, изъясняется отвлеченным и точным языком, отличающимся безупречной чистотой. Возможно. Но стихи его небезупречны. Те, что выходят из-под пера мадемуазель Луизы Мишель, немного лучше. В них есть порыв.

Неисчислимы наши силы \*,  
И мы опять придем назад.  
Как духи мщенья из могилы,  
Мы встанем вновь, за рядом ряд.

Не правда ли, эта строфа развеивается, словно черное знамя? Но я не стану цитировать дальше, чтобы не повторять слова, дышащие ненавистью. Что же касается г-на Ж.-Б. Клемана, то он песенник, весьма популярный на рабочих банкетах. Я знаком лишь с небольшим числом его песенок, но, насколько могу судить, ему присущ мрачный и резкий стиль. Вот первый куплет из «Нищего»:

Душою — сущие ягнятки  
Те, кто влачат ярмо забот:  
Хоть жребий выпал им несладкий,  
Они покорны, словно скот,  
И, чтоб в отчаянье не впасть,  
Поют себе и пляшут власть.

В этом духе писали еще старые рабочие поэты, например Эжезип Моро; возможно, что «Нищий» не хуже песенки «Господин Пайяр», которую некогда так охотно распевали в мастерских. Трудно судить о песне, когда спокойно читаешь ее за письменным столом.

В общем, пролетарская литература нашего времени, по-видимому, не отличается ни своеобразием, ни богатством. Но ничем не следует пренебрегать, и люди более проницательные, быть может, обнаружат в ней качества, которых мне не удалось уловить.

Как бы то ни было, на этой неделе социалистическая литература обогатилась новым произведением — «Прозрение Андре Савене». Заметим сразу же, что автор его — не пролетарий. Это человек, занимающийся гуманитарными науками, а также весьма почтенный писатель, известный своими литературными и философ-

скими трудами, это превосходный биограф Вольтера, — словом, речь идет о г-не Жорже Ренаре. Каждый имеет возможность оценить проникновенную ясность и остроту его ума. Но только лично знакомые с ним знают, что не найти сердца более честного, более независимого, более надежного. И все-таки его социалистический роман не привел меня в восторг. Это роман написанный мыслителем. Мир его ограничен четырьмя стенами рабочего кабинета.

О, если бы для познания людей достаточно было одного ума — с какой легкостью проникал бы г-н Ренар в человеческие сердца и души! Но чтобы чувствовать жизнь, нужна особая интуиция, а даже самые умные не всегда ею одарены. В книге г-на Ренара изображается рабочее собрание. Это место написано, как и все остальное, очень умно и рассудительно, однако лишено выпуклости и движения. Куда предпочтительнее, по-моему, «Зал Граффара» \* Жана Бери, где бушуют страсти, дымят трубки и коптят лампы! Сцена, конечно, не лишена комизма. Но как глубок, как правдив ее комизм! Какая в нем грусть! В этой поразительной картине есть образ, который дает более яркое представление о рабочем-социалисте, чем десятка два исторических или теоретических сочинений. Это образ маленького плешивого человечка с большой головой и узенькими плечами, который сидит в президиуме, закутав шею кашне; он, несомненно, мастер и к тому же человек глубоко убежденный, болезненный и бесполой, он — пролетарский аскет, он — праведник, чтимый в своем кругу, целомудренный и фанатичный, как праведники первых веков христианской церкви. Сразу чувствуешь в нем апостола и при виде его понимаешь, что в народе зародилась новая религия.

Героя именно такого склада и с такими свойствами мне и хотелось бы видеть в романе г-на Ренара, а я нахожу в нем лишь старого коммунара, человека весьма почтенного, но примечательного скорее пышностью бороды, нежели обширностью идей. И этот патриарх бунта, преподнесенный г-ном Ренаром в идеальном и несколько умильном духе религиозной живописи, право же, представляется весьма маловырази-

тельным рядом с теми зарисовками социалистов, которые сделал с натуры Поль Ренуар для иллюстрированных журналов, или с теми, что набросал г-н де Визева в своих весьма живых и остроумных очерках «Социалистическое движение в Европе». Насколько г-н де Визева превосходит г-на Ренара в красочности, когда показывает нам г-на Геда, появляющегося на сцене театра в Шательро во время собрания: «Настоящий черт из ярмарочного ларчика, черный, бородатый, взлохмаченный; он так и режет слово за словом и сопровождает сухую, автоматическую речь сухими, автоматическими жестами — совсем так, словно только что выскочил из стола!»

Господин Ренар — человек благородных чувств, жаждущий справедливости. Он сам себя определяет, когда говорит: «Я всеми силами боролся с эгоизмом, ненавистью, ложью и сектантским духом всюду, где встречал их». Он написал свою книгу для того, чтобы провозгласить требования идеальной справедливости. И перед взором его, говорят, всегда горел девиз: «Война мнениям! Мир людям!» Да позволит он мне заметить, что далеко не все части его романа в точности соответствуют его намерениям. Он изображает в «Прозрении Андре Савене» обоюдную ненависть рабочих и буржуа, ненависть несуществующую — по крайней мере в Париже.

Читая его книгу, можно поверить в какие-то кастовые предрассудки и во врожденную неприязнь, в то время как в действительности существует лишь противоречие интересов. Он судит об этом, основываясь на речах, которые слышал на собраниях. Но если бы он позаботился писать с натуры, то заметил бы, что в Париже личные отношения между рабочими и буржуа носят, в общем, непринужденный, дружелюбный, а часто и сердечный характер. И это наблюдение, быть может, побудило бы его придать некоторым местам романа менее резкое и горькое звучание. Он жаждет социальных преобразований и хочет, чтобы они были мирными и все возрастающими. Но трудно говорить о мире тому, кто, как г-н Ренар, всюду видит ожесточенную войну. И, наконец, раз его роман — роман

идейный, да позволит он заметить, что к его великодушным устремлениям примешивается немало иллюзий и опрометчивости. Когда он утверждает, что социальная проблема сводится к созданию наилучших условий жизни для наибольшего количества людей, он вполне прав; но он самообольщается, когда воображает, будто защищает новую идею, ибо во все времена только непостижимо злой человек мог думать иначе. Если мнения расходятся — то лишь в отношении средств, ведущих к этой цели, а отнюдь не в отношении самой цели. Г-н Ренар — социалист; он помышляет об одном только распределении благ. А следовало бы подумать и о том, что же именно надо будет распределить.

Он возвещает, он ждет, он видит уже великие перемены. Это — вечное заблуждение пророчествующего ума; великих перемен не будет, не будет никогда — я имею в виду перемены скорые и внезапные. Все экономические сдвиги совершаются с милосердной медлительностью процессов природы. Ибо, что ни говорите, в области цивилизации, как и в природе, нами руководит необходимость. Хорошие или дурные, с нашей точки зрения, вещи — всегда таковы, какими им надлежит быть. Наш общественный строй — результат предыдущих и в то же время, равно как и он, — причина всех последующих. Значит, он в чем-то схож с предыдущими, точно так же как и последующие будут кое-чем напоминать нынешний. Конечно, неустойчивость — первое условие жизни; все, что живет, беспрестанно видоизменяется, но видоизменяется незаметно и для нас почти неощутимо.

Всякое движение вперед совершается медленно и равномерно. Такой порядок оберегает жизнь. Он, правда, не удовлетворяет ни умы, жаждущие нового, ни сердца, взыскующие идеала. Но так устроен мир! Приходится этому подчиниться. Это не значит, что надлежит сложить руки. Я довольно резко высказал г-ну Ренару свое мнение. Надо же мне отметить хотя бы одну из великодушных, благородных мыслей, которые щедро рассеяны в его книге. Какому человеку доброй воли не захочется сказать вместе с ним: «Для маленьких, для обездоленных, для слабых — все больше и

больше справедливости, все больше сочувствия, все больше братской нежности, — вот чего надо беспрестанно добиваться?»?

Будем же к этому стремиться, будем трудиться над тем, что считаем полезным и хорошим, но не рассчитывая на внезапный волшебный успех и не предаваясь социально-апокалиптическим бредням: апокалипсисы ошеломляют и обманывают. Не будем ждать чуда. Ограничимся задачей по мере наших слабых возможностей содействовать прогрессу медленному, зато верному, которого мы, быть может, сами и не увидим, но которого не может ускорить никакая человеческая сила. Пьер Лаффит однажды высказал следующую мудрую мысль:

«Подлинные улучшения никогда не даются даром. Их можно добиться только путем постоянного стремления к усовершенствованию умственному и нравственному. Оно совершается медленно, но бесповоротно; это тернистый путь, как говорит Данте, но он ведет к желанной цели».

## ПАМЯТНИК БОДЛЕРУ

Мысль поставить памятник Бодлеру вызвала совершенно неожиданное негодование. Споры сопровождались таким шумом, правда, лишь благодаря тому, что вспыхнули в тихие дни парламентских каникул. Как бы то ни было — газеты разъярились, и литературный мир раскололся на два лагеря. Если умы не успокоятся — не миновать гражданской войны, и на бульваре Сен-Мишель начнутся рукопашные схватки. Как положено во всех братоубийственных войнах, каждой из сторон надо подумать о том, какой бы присвоить себе отличительный знак, — хоть тот или иной цветок, например. Бодлеристы могли бы украсить свои шляпы веточкой наперстянки, ядовитые гроздь которой в деревне называют «перчатками богородицы» за яркость их длинных лиловых венчиков. Они послужили бы, если угодно, эмблемой «Цветов зла». Что же касается антибодлеристов, то не мне быть их советчиком, поскольку я не из их лагеря. Пожалуй, они могли бы опознавать друг друга по белой лилии, которую держали бы в руке. Этот символ им вполне под стать, раз они становятся на защиту непорочности, оскорбленной Бодлером.

Они отрицают заслуги поэта не начисто. Они — поневоле и нехотя — признают, что он был не вполне чужд искусству, они не отказывают ему в некотором таланте, но, говорят они, он обратил его во зло. Они возражают против почестей, которые собираются воз-



дать его памяти, против сооружения памятника, материал которого, по их мнению, лучше бы употребить на увековечение образов добродетели или могущества. И все эти возражения делаются скорее во имя морали, чем во имя хорошего вкуса.

Первым, со свойственной ему резкостью, начал атаку г-н Брюнетьер. В сущности, он возобновил давнишнюю распрю. Вознамерясь лет пять-шесть тому назад поразить Бодлера насмерть и, быть может, вообразив, что и в самом деле убил его, он теперь вовсе не склонен отужинать с его статуей. Это было бы проделкой безбожника. А ведь всем известно, к чему приводят такие проделки. Г-н Брюнетьер слишком глубокомысленный человек, чтобы шутить со своими жертвами. Да ему вообще несвойственно шутить.

Никого не удивит, что он ратует за мораль и подчиняет ей литературу, как уже подчинил ей науку, ибо всем памятно, как несколько лет тому назад он восстал против философов, не согласующих своих доктрин с общепринятой моралью. И все же я не вполне понимаю, что именно, в этой плоскости, ставит он в упрек автору «Цветов зла». Не стремясь найти в этих стихотворениях целостную доктрину и не рассчитывая извлечь из них определенную этику, в них все же можно проследить некоторые устремления, распознать в них известное чувство. И вот оказывается, что чувство это — чувство христианское, что устремления эти — устремления строго католические, и что поэт нередко высказывается как богослов. Когда г-н Брюнетьер зловеще отчеркивает строфы «Падали» и объявляет их гнусными, мне очень хочется крикнуть ему:

— Осторожнее! То, что возмущает вас, — всего лишь общепризнанная истина; ее утверждали все отцы Церкви, все богословы, ее выражали в стихах все средневековые поэты, вплоть до Франсуа Вийона:

Плоть женщин сладости полна, и т. д.

А если вам нет дела до этих поэтов и до отцов Церкви, я опять-таки скажу:

— Осторожнее! Это чистейший Боссюэ. А уж им-то вы восторгаетесь, бог мне свидетель. Вы любите его,

вы цените его как истинный знаток. Вы изучали его и посвятили ему великолепные статьи, статьи, полные силы и знаний. Вы говорили об «Уклонениях»\* языком, достойным этой великой книги. Словом, когда речь шла о Боссюэ, вы всегда были безупречны. Как же ненавидите вы в «Цветах зла» то, что так цените в «Надгробных словах»?

Бодлер.

И все-таки должны вы стать как падаль эта,  
Как этот смрадный ком гнилья,  
Звезда моих очей, подательница света,  
Мой ангел и мечта моя.  
Да, чудо грации, вы станете такою,  
Когда придет ваш смертный час  
И в землю жирную, заросшую травую,  
На слой костей положат вас.

. . . . .

Боссюэ. «Утром она цвела \*. Сколько было в ней прелести! — вы знаете это. К вечеру она уже превратилась в засохший цветок... И вот, как ни прекрасно было это сердце, вот она перед нами, принцесса, которой все любовались, которую все любили! Вот она, такая, какую ее сделала смерть; но и то небольшое, что осталось от нее, скоро исчезнет... Наша плоть быстро меняет облик. Наше тело принимает другое наименование; и даже трупом, говорит Тертуллиан, оно зовется недолго, ибо слово это все еще указывает на какое-то подобие человека, тело становится неизвестно чем, чем-то таким, чему нет имени ни на одном языке».

Я не первый, разумеется, провожу эту столь естественную, ничуть не надуманную параллель. Можно бы распространить ее и на выводы, к которым приходят как духовный оратор, так и мирской поэт.

Боссюэ. «Но верно ли то, что я говорю? Значит, человек, которого бог создал по своему подобию, всего лишь тень?»

Бодлер.

Тогда, краса моя, вам испятнают тело  
Лобзанья жадные червей,  
Но скажете вы им, что, хоть оно истлело,  
Любовь жива в душе моей.

Не будет преувеличением сказать, что после Бре-бёфа, после Корнеля, автора «Подражания Христу» \*, после Годо и Ж.-Б. Руссо — Бодлер был последним по времени католическим поэтом. Наиболее образованные и вдумчивые его современники не заблуждались на этот счет. Некий великий, хоть и неведомый человек, оставивший в пивных Латинского квартала память о своем красноречии, достойном кафедры, и о своей философической бороде, — а именно Дюламон, воспитанный на творениях св. Фомы, одним из первых заметил общее между философией Бодлера и христианским богословием. Он впитывал в себя «Цветы зла» и наслаждался ими как руководством, предназначенным для кающихся грешников. Он находил в них подтверждение ортодоксального учения о том, что падший человек стал жертвою зла и что «первоисточники его существа осквернены: тело — чувственностью, душа — нескромным любопытством и гордынею». Барбе д'Орвилли, последний мушкетер Церкви, тоже почуял приправленную пряностями христианскую сущность поэта: он понимал, что Бодлер, вслед за старинными казуистами, изобразил мир таким, каким он стал после грехопадения. Проникновенная, глубокая вера в первородный грех служит основой его поэтического вдохновения, всецело заполоненного злом и не ведающего иного спасения и искупления, кроме одного только страдания.

Благословен господь, пославший нам страданье —  
Лекарство от греха, божественный настой,  
Что приучает нас в юдоли мирозданья  
К экстазам неземным своею чистотой.

Господин Брюнетьер, как видно, плохой христианин, раз он даже не подозревает об этих истинах. Да и в самом деле, это ум, истоки которого нельзя искать ранее Декарта. Тем более я вправе упрекнуть его в том, что он не распознал в поэзии Бодлера нравственного учения Боссюэ, изложенного в классических стихах учеником Буало. Ибо у Бодлера фактура Никола Буало — и этого опять-таки не заметил г-н Брюнетьер. Но я не хочу злоупотреблять своим преимуществом и боюсь, как бы не умалить свою несомненную победу

ненужными щегольскими выпадами. Я только обращаю внимание на то, что Бодлер был христианин и что мораль его — это мораль богословов. Не стану утверждать, что он был хорошим христианином и соглашусь с моим противником, что он изображал пороки с такой снисходительностью, которую вряд ли можно оправдать требованиями поучительности, что он чрезмерно упивался прелестью греха и с какой-то, пожалуй, дьявольской радостью открывал редкостные преступления и диковинные пороки. Бодлера нельзя отнести к числу тех ясных, спокойных, прозрачных умов, которые несут с собою умиротворение. В его глубинах есть нечто будоражащее; я отнюдь не утверждаю, что у него душа апостола. Я охотно признаю, что в его морали есть нечто имморальное. Но, думается мне, в мире никогда и не бывало морального поэта; во всяком случае, таким нельзя назвать ни Вергилия, ни Шекспира, ни Расина, ни вообще кого-либо из тех, кого человечество чтит как выразителей его страстей и истолкователей его тайн. Все они были безразличны к морали, как безразлична к ней и природа, говорящая их устами.

В XVII веке янсенист Барбье д'Окур, человек большого ума и образованности, утверждал, что все поэты — совратители народа \*.

Расин, который сам мучился сознанием своей греховности, как только переставал сочинять трагедии, с горечью ответил ему, что можно быть поэтом и отнюдь не возмущать души. Однако д'Окур лукаво возразил:

— Вы гневаетесь, сударь, когда говорят, что ваша муза — совратительница. Но вы разгневались бы куда больше, если бы вам сказали, что она сама невинность.

Поэзия Бодлера не имморальнее всякой другой. Но она создана не для юных, наивных душ, не для широкой публики, не для яркого света и вольного воздуха. Она потаенная и требует мудрых, тонких ценителей, которые будут наслаждаться ею за затворенной дверью.

## СТЕФАН МАЛЛАРМЕ. — «СТИХИ И ПРОЗА»

«Вот странный, сложный, восхитительный Стефан Малларме, невысокого роста, со спокойными жреческими жестами, опускающий бархатные ресницы на глаза, похожие на глаза влюбленной овечки, и мечтающий о поэзии, которая будет музыкой, о стихах, которые будут восприниматься как симфония». Так поэт, и не кто иной, как Франсуа Коппе, рисовал лет десять тому назад портрет своего товарища по Парнасу \*. Уже тогда Стефана Малларме в кругу ценителей считали певцом восхитительных и таинственных песен. Катюль Мендес мило говорил, что это, выражаясь школьным языком, «трудный автор».

Ни у кого из соприкасавшихся со Стефаном Малларме не возникало подозрение, что поэт умышленно прибегает к непонятности и из гордости стремится облечь себя туманом. Для друзей это был человек очень простой, очень скромный, отнюдь не стремящийся выделяться и изумлять окружающих. Нельзя было подозревать и о наличии какого-либо расстройства в его тонком, проникновенном интеллекте. В его речах всегда сказывался изящный, мечтательный, неизменно кроткий ум, вдумчивый и способный к восприятию пространств рассуждений. Следовательно, основ и причин исключительности этого поэта надо

было с сочувственным вниманием искать в самой его философии. Стефан Малларме превосходный логик, и не так уж трудно было отыскать законы, управляющие его умом — одним из интереснейших и своеобразнейших среди умов нынешних деятелей искусства. Он — платоник. Вот в чем весь секрет.

Не мне принадлежит честь этого открытия. Многие уже отмечали это и, в частности, Жюль Леметр в следующих строках, сверкающих изысканной ясностью его ума: «Стефан Малларме (я цитирую страницу из «Современников» \*) — отчаянный платоник. Он верит в бесчисленные, непрменные и неповторимые связи между видимым и невидимым... Он верит в своего рода исконную мировую гармонию, в силу которой определенные абстрактные идеи должны вызывать в совершенных умах определенные, соответствующие этим идеям символы. Или, другими словами, он верит, что точные соответствия между миром абстрактным и миром физическим установлены извечно, что божественный разум несет в себе синоптическую картину всех этих незбылемых параллелей и что, когда поэт их открывает, они возникают в его сознании с такой очевидностью, что уже нет надобности их доказывать». Следовательно, он темен наподобие гностиков или кабалистов, потому что для него, как и для них, все в природе лишь знак и соответствие. И, конечно, основная тайна, ключ к искусству Малларме, заключается именно в его теории аналогий. Эту теорию он разработал и в основном опубликовал, ибо, как я уже говорил, у него ум последовательный и систематичный. Теперь вы, пожалуй, спросите, берусь ли я все объяснить в его творчестве, значительная часть которого представляется загадочной. На это я отвечу, что объяснить не берусь, но из этого не следует, что я, как глупец, воображаю, будто непонятное для меня невразумительно вообще. Наоборот, я полагаю, что стоит только вооружиться ключом, и эти великолепные замкнутые покои станут доступны. Но я не платоник, я не гностик и плохо разбираюсь в систематических аналогиях. Вселенная изумляет меня скорее своей явной непоследовательностью, чем скрытой гармонией. Я не понимаю философии абсолюта и,

следовательно, отнюдь не пригоден для истолкования трудных мест в произведениях Стефана Малларме, подобно тому как в средние века во Флоренции толковали Данте. К счастью, не столь уж необходимы глоссы и комментарии, чтобы наслаждаться многими строфами редкостного поэта «Иродиады» и «Послеполуденного отдыха фавна». Для этого достаточно немного чувства. Любить несколько строф, упиваться несколькими отрывками — это тонкое наслаждение, вполне соответствующее той склонности к лени или по меньшей мере к беспечности, которую я не могу в себе побороть. Итак, не посвящая ночей, как говорит Андре Шенье, «ученым бдениям» и выискиванию простого или тройственного смысла того или иного стихотворения \* (например,

Обломок царственный забвенных катастроф...),

мы, если хотите, подойдем к творчеству г-на Малларме с наиболее доступной его стороны, с самого гостеприимного его берега, напоминающего Вергилиевы лучезарные уголки, излюбленные альционами.

Прежде всего — рискуя огорчить поэта — я приведу одно из его юношеских стихотворений, изящный маленький памятник его ранней манеры, не включенный им в сборник избранных произведений, который назван в заголовке настоящей статьи. Это сонет в жеманном стиле, в стиле изящном и изощренном, который прочтут, я уверен, с большим удовольствием; он не утратил бы своего аромата даже в самой благоухающей антологии, собранной на берегах Линьона любимым поэтом пасторальной школы:

#### ПРОСЬБА

На чашке вашей стать я Гебой был бы рад,  
Чтоб вы меня могли прижать к губам в кармине.  
Однако я — поэт и даже не аббат,  
А потому на севр не нанесен поныне.

Хоть я, увы, не ваш любимый шоколад,  
Не ваша дерзкая болонка, герцогиня,  
Но раз вы дарите мне шаловливый взгляд  
Рукой художника причесанной богини,

Прошу я вас, кто шлет на пажити сердец  
Стада малиновых улыбок, тех овец,  
Что вносят бляньем безумье в души наши,

Прошу... и пусть Буше на веере потом  
Изобразит меня нарядным пастушком...  
Прошу позволить мне пасти улыбки ваши.

Это — драгоценная безделушка, это — чудо ювелирного мастерства. Г-н Малларме будет не прав, если откажется от этих ранних стихотворений, вышедших из его нежных рук. Ему все равно не удастся скрыть, что он ювелир. Он ювелир, был им и будет. Он остается золотых дел мастером, даже когда парит в облаках. Как отличный пример его второй манеры я приведу «Морской ветер», где, кажется, нет ничего, что могло бы смутить простого читателя, и всякому в этом стихотворении понравится непринужденная ясность образов:

Все книги я прочел; печалью плоть томится.  
Бежать! Теперь познал я опьяненье птицы  
Меж туч и пенных брызг неведомой волны.  
Пускай сады еще в глазах отражены,  
Но сердце, где звучит ночами голос моря,  
Не в силах удержать ничто, — ни лампа, споря  
С бумагой, что ее лучом обнажена,  
Ни юная, дитя кормящая жена.  
Плыву! Отваливай, о стимер, зыбля реи,  
В широты дальние неси меня скорее!  
Неистребимая надеждами тоска  
Поныне верует в прощальный взмах платка.  
Стволы и этих мачт, приманок урагана,  
Быть может, накренит жестокость океана  
Над шлюпками без мачт, вдали от островков...  
О сердце, внемли же напеву моряков!

Я только что упомянул о второй манере Малларме. Быть может, я не прав, и это стихотворение, так же как и те, которые я приведу ниже, напоминает скорее раннее творчество Малларме, чем более позднее, и в самом деле поднимающееся ввысь чересчур круто, чтобы пройти по нему в нашей краткой и легкой прогулке. Но на том склоне, которым мы ограничиваемся, нам захочется остановиться при виде меланхолического образа женщины, преобразенной мифологическим вдохновением поэта в осенний пейзаж:



## ВЗДОХ

Мой дух к тебе, сестра, — к челу, где видит сны  
Спокойная печаль осенней желтизны,  
И к беглым небесам божественного взгляда  
Взлетели, как фонтан под грустной сенью сада,  
Лазури верный, шлет свой вздох прощальный к ней!  
К лазури октября, поры прозрачных дней,  
Глядящихся в пруды, где лик их томный тонет,  
Где листья медные пред смертью ветер гонит,  
Поверхность прочертив холодной бороздой,  
И. солнце блеклое влачится над водой.

Я восхищен этим поэтом; он бесконечно дорог мне даже в самых мимолетных озарениях, в самых кратких сверканиях, которые исходят от его стихов. Я люблю россыпь и осколки его творчества. Я считаю его, в некоторых мелких отрывках, непревзойденным поэтом. Что же касается его творчества в целом, я предоставляю судить о нем тем, кто, живя в непосредственном общении с поэтом, может внимательнее следить за развитием его мысли. Чтобы толковать его в частности, надо быть его учеником.

Лично мне особенно нравятся незаконченные произведения г-на Малларме. Признаюсь, я бесконечно люблю все, что не закончено; мне кажется, что в мире существуют одни лишь фрагменты и обломки; они-то и дают чутким душам представление о совершенстве. Два наиболее обширных стихотворения называются «Иродиада» и «Послеполуденный отдых фавна».

В «Иродиаде» — вся прелесть, присущая фрагментам, и я наслаждаюсь в ней даже тем, чего не понимаю. Увы! надо ли в конце концов так уж хорошо понимать, чтобы любить? Разве таинственность иной раз не действует заодно с поэзией? Когда-то я требовал от стихов точного смысла. Я наслаждался ими не только душой. Это была ошибка. Со временем я понял, что совершенно излишне испрашивать согласия у разума, прежде чем наслаждаться чем бы то ни было.

«Послеполуденный отдых фавна» по сравнению с «Иродиадой» произведение более законченное. Откровенно говоря, я понимаю его не вполне. Но в цветистом, теплом его сумраке я различаю мысль, что желание —

радость более упоительная, чем удовлетворение желания. И эта мысль, по-моему, высказана почти совсем ясно в следующих восхитительных аллегорических стихах:

Опять, лукавая свирель, орудье бегства,  
Попробуй расцвести на берегах былых!  
Я ж буду длить рассказ, горд шумом слов своих,  
Пока, языческих богинь живописуя,  
С их тени пояс вновь мечтой не отрешу я.  
Так, если соком лоз себя я опьяню  
И сожаление уловкой отгоню,  
Я к небу подниму со смехом гроздь пустую,  
И кожу светлую плодов, хмельной, надую,  
И вплоть до сумерек смотрю через нее...

Все стихотворение «Послеполуденный отдых фавна» представляется мне глубоко философским. Будь я стариком и живи в провинции, я написал бы к нему комментарий тома в два in-8°. Это было бы приятнейшим времяпрепровождением. Но мне еще не слышится, как ракановскому Тирсису \*, дружественный голос, советующий удалиться на покой. Я должен продолжать, не останавливаясь на символике фавна г-на Малларме. Кроме того, мне хочется поскорее сделать вам сюрприз и предложить вашему вниманию Малларме совершенно ясного, простого, прозрачного и все же по-прежнему очаровательного. Это будет Малларме в прозе, в прозе изысканной и нежной. Что же мне выбрать? Предомно немало удачных, легких страниц, отмеченных одновременно и геометрической и поэтической ясностью. Когда г-н Малларме пишет прозой, он нарочито невразумителен. Вероятно, тут сказывается презрение к обыденной речи. Но не в этом дело. Люди часто бывают совершенны именно в том, чем они пренебрегают. В «Кандиде» больше таланта и совершенства, чем в «Опыте о нравах». Вот, например, прелестная страница, начинающаяся так:

«Кому же принадлежали эти фарфоровые часы \*, которые отстают и бьют тринадцать ударов среди гирлянд и божков? Подумай: ведь они некогда приехали сюда из Саксонии, совершив долгий путь в дилижансах».

Эта ясная греза полна очарования, и она открывает нам истинную природу г-на Малларме: он склонен к ясному, определенным мечтаньям. Но еще лучше обратить ваше внимание на следующий маленький шедевр; законченностью отделки он напоминает стихотворения в прозе Бодлера и вместе с тем очень характерен для г-на Малларме эллиптическим изложением мысли, сжатостью образов и плавным ритмом.

### ОСЕННЯЯ ЖАЛОБА

С тех пор как Мария покинула меня, переселившись на другую звезду (на Орион? на Альтаир? или на тебя, зеленая Венера?) — мне всегда по душе было уединение. Сколько долгих дней провел я в одиночестве со своим котом! Говоря «одиночество», я подразумеваю отсутствие материального существа, кот же мой — спутник мистический, дух. Итак, я вполне могу сказать, что провел долгие дни в одиночестве со своим котом и в одиночестве с каким-нибудь из последних писателей эпохи упадка Рима; ибо с тех пор как белое создание перестало существовать, мне странно, необычайно полубилось все, что выражается словом: крушение. Так, любимое мое время года — это последние, истомленные дни лета, на самом пороге осени, а любимое время дня, время моих прогулок, — это час, когда солнце отдыхает, прежде чем исчезнуть, когда его медно-желтые лучи ложатся на серые стены, а медно-красные — на стекла окон. Так же и в литературе мой ум ищет улады в умирающей поэзии последних дней Рима, но тех дней, когда еще не чувствуется ни малейших признаков обновляющего приближения варваров и не слышится лепета детской латыни первых христианских писаний.

Итак, я читал одно из этих драгоценных стихотворений (густые румяна которых пленяют меня больше, чем свежий румянец юности) и погружал руку в мех чистого животного, как вдруг у меня под окном томно и грустно запела шарманка. Она играла в большой тополевой аллее, листья которой казались мне угрюмыми даже летом, с тех пор как Мария прошла здесь, сопутствуемая свечами, в последний раз. Шарманка — инструмент грустящих; и в самом деле — рожь сверкает, скрипка пронизывает раненую душу светом, шарманка же, заигравшая в сумерках воспоминаний, погрузила меня в глубокие грезы. Вот она залепетала какую-то простенькую веселую мелодию, радующую сердца пригородных обывателей, мелодию старомодную, избитую. Почему же этот убогий напев так глубоко западает мне в душу и трогает до слез, словно романтическая баллада? Я не спеша упивался им и даже не бросил из окна монетки, — так я боялся пошевелиться и увидеть, что шарманка поет сама по себе.

Поэт ли, прозаик ли — и всегда поэт, — Стефан Малларме, как вы теперь убедились, может быть понят и вне того кружка, где его считают боговдохновенным и где ему внимают как мудрецу. Он оказал огромное влияние на молодое поколение поэтов. Господа Вьеле-Грифен, Шарль Морис, Дюжарден, Мокель, Ретте считают его непревзойденным мастером, а один из них сказал: «В искусстве он — наша живая совесть».

Нам, не принадлежащим к числу тех, кто вхож в это святилище и кто набожно поклоняется кумиру, хотелось бы, чтобы творчество мастера и его учение были не так зашифрованы и сокровенны. Но как не уважать эту душу — гордую и нежную, непреклонную и благожелательную? Как не поддаться прелести этого таланта, который сквозь сумрак излучает сияние, составляющее достоинство алмазов и драгоценных камней, и сверкает лучами, пронзающими сердце?

**ПУБЛИЦИСТИКА**  
**РЕЧИ**  
**ПИСЬМА**



## РЕЧЬ В ЗАЩИТУ ПОДПОЛКОВНИКА ПИКАРА

*3 декабря 1889 г.*

Граждане!

Мы собрались здесь, чтобы защищать справедливость, мы собрались здесь, чтобы потребовать полного восстановления законности. Мы собрались здесь, чтобы не допустить новых беззаконий, еще более чудовищных, чем прежние.

Какую силу противопоставляем мы нашим противникам? Какие средства используем для достижения своей цели? Силу мысли, могущество разума.

Мысль подобна легкому дуновению, но дуновение это опрокидывает все. Разум, даже если его притесняют и пренебрегают им, в конечном счете всегда одерживает верх, ибо жить без него невозможно.

Разум окажется на нашей стороне, — ибо он уже на нашей стороне.

После того как один военный суд осудил невинного человека, а другой военный суд оправдал преступника, тем самым осудив невинного вторично, нельзя допустить, чтобы третий военный суд подтвердил два незаконных приговора третьим, еще более незаконным, и наказал человека, виновного в героической любви к истине и в беззаветном служении справедливости.

Подполковник Пикар пожертвовал всем, чтобы удовлетворить требованию возмущенной совести; в этом состоит его преступление. Оно снискало ему уважение Франции и всего мира. Свет уже брезжит. Победа Пикара явится торжеством света.

Однако если мы уверены в конечном торжестве того дела, которому мы здесь служим, у нас вместе с тем достаточно оснований тревожиться за последствия безрассудных действий, которые влекут наших противников в бездну. Мы страшимся последней несправедливости или роковой ошибки. Нам страшно не за полковника Пикара, величие которого в этих испытаниях лишь растет; нам страшно за его судей, за родину, за человечество. Мы вправе опасаться всего; для этого у нас довольно причин. Разве в течение последней недели обвинители Пикара не дали нам нового разительного примера извращения истины? Разве мы не слышали, как генерал Мерсье назвал пустыми ухищрениями негодующие протесты французской мысли, составшей против лжи и несправедливости?

Этому бывшему министру, отвергнутому своими же коллегами, со всех сторон кричат: «На вас падает серьезное подозрение в том, что вы пошли на гнусный подлог \*, чтобы отдать под суд ни в чем не повинного человека, в том, что вы инспирировали его осуждение, не предоставив ему защиты, в том наконец, что вы совершили должностное преступление». И что же этот субъект нашелся сказать в ответ? Что все это пустые ухищрения! Он не оправдывается, не просит прощения, не возмущается, не молчит. Боясь отрицать и боясь признаться, он пытается нас запугать и угрожает нам мнимыми опасностями. А уж если эти опасности действительно существуют, то они являются делом его собственных рук и делом рук ему подобных.

Граждане!

Такому затмению умов, примеров которого можно было бы привести еще очень много, мы должны противопоставить рассудок, непоколебимый рассудок. Скажем врагам истины, являющимся в то же время врагами армии и отечества, скажем им: перестаньте поддерживать это непрочное здание лжи, которое грозит



обрушиться на ваши головы. Преследование Пикара настолько чудовищно, что даже оправдание его не могло бы в полной мере восстановить справедливость. Довольно! Положите конец лжи и безрассудству! Прислушайтесь! Поймите! Внемлите предостережению первых вспышек молнии, разрывающей тучи, и поберегитесь надвигающейся грозы.

А вы, граждане, пришедшие сюда, чтобы защищать право, вы должны говорить только на языке разума и справедливости. Но пусть голос ваш прозвучит как раскат грома.

### **РЕЧЬ НА ПРАЗДНИКЕ НАРОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА «РАБОЧИЕ ВЕЧЕРА»**

*1900 г.*

Граждане!

Осознав, что невежество ведет к самой унижительной зависимости, вы пожелали от него освободиться. Понимая, что когда человек ничего не знает, он ничего и не может, и что необразованность подобна мрачной тюрьме, вы решили эту тюрьму разрушить. Вы попытались сделать это самостоятельно, своими собственными силами, без посторонней помощи и поддержки. Ваши усилия увенчались успехом. В течение четырех лет упорной работы, по мере того как расширялись ваши познания, вам пришлось также расширять и свою учебную аудиторию, ибо за это время к вам примкнуло немало новых товарищей. Начатое вами дело живет и разрастается. Вы дали ему простое и вместе с тем самое прекрасное наименование, назвав свои вечера: «Самообразование после работы».

Название это прекрасно, ибо прекрасно то, что за ним скрывается. Самообразование после работы: в этом сказываются непреклонность вашей воли, замечательные качества вашего ума и сердца. Учиться, в общем, не такое уж трудное дело, когда для этого имеется достаточно свободного времени; учение становится поистине увлекательным, когда это единственное наше занятие. Но чтобы сесть за книгу после напряженного и

утомительного трудового дня, — для этого требуется большое усилие и выдержка.

Вы, граждане, сделали это усилие, у вас хватило выдержки, причем вы взялись за учение умело и энергично. Метод, которому вы следовали, превосходен. Не имея иной помощи, кроме той, какую могут оказать книги, вы прежде всего познакомились с положением нашей планеты во вселенной и бросили взгляд на другие миры, рассеянные в беспредельном пространстве. Разорвав пелену теологических представлений о небе, вы разрушили вместе с тем и былые суеверия. Употребив год на знакомство с истинным положением Земли среди других миров, вы в течение года изучали ее строение. Вы увидели, что жизнь, подобно античной Венере, возникла из горячей пены древнейших морей. В ту пору жизнь на земле была представлена простейшими организмами, постепенное изменение которых привело к современной фауне и флоре. Вы проследили, звено за звеном, всю цепь этого развития — от моллюсков и рыб до высших млекопитающих и человека. И в этой области вы отказались от теологических представлений, основанных на нелепых выдумках, и пришли к научному пониманию вопроса о происхождении человека. Вы видели, до чего слабым был род человеческий на заре своего существования, и вы восхищались долгими и настойчивыми усилиями, которые понадобились нашему столь немощному когда-то племени, чтобы создать мысль, искусство, красоту. Взгляд, брошенный в далекое прошлое, помог вам лучше понять, какую работу нам еще предстоит совершить, чтобы окончательно выйти из былого варварства и на смену звериному царству войны установить на земле человеческое царство, царство справедливости и мира.

Третий год вы посвятили изучению анатомии. Мне передавали, что наука об органах нашего тела и их функциях вас очень заинтересовала. Меня это не удивляет и очень радует, ибо неведение законов органической жизни порождало на протяжении столетий варварские предрассудки и жестокие обычаи, которые не отмерли еще и по сию пору.

И только после трех лет систематического самообра-

зования вы приступили к занятиям с преподавателями-специалистами, к слушанию лекций по различным естественным наукам и по истории. На одном из таких занятий я присутствовал. Я был в равной мере восхищен и тем, как м-ль Бергши рассказывала вам о взятии Бастилии, и тем, как вы ее слушали, и, наконец, теми справедливыми замечаниями, которые вы, по своему обыкновению, сделали после лекции.

Вас, граждане, следует похвалить за ту энергию, которую вы проявили в предпринятом вами деле просвещения, и за ту организованность, с которой вы его осуществили. Одобрения заслуживает наконец и то, что вы постарались предостеречь себя от слишком поспешных выводов из полученных вами начальных знаний и от неуместного их применения. Вы пожелали пребывать в сфере чистой мысли и отвлеченных раздумий. Тем самым вы проявили мудрость. Однако если силой тащить науку в беспокойный мир общественного бытия — значит наносить ей оскорбление, то, с другой стороны, не обращаться к ней для выяснения законов жизни и принципов поведения — значит недооценивать ее великие возможности. Помните, граждане, что мы живем в такое время, когда социальные условия в целом еще зависят от верований и предрассудков, не только чуждых науке, но и противоположных ей; что научные представления должны заменить собою представления теологические во всех областях нашей деятельности и что дело, к которому вы столь благородно приступили, окажется напрасным, если во всех своих личных и общественных поступках вы не будете исходить из того понимания природы, какое сложилось у вас в результате добросовестного ее изучения. Помните, что против науки, которую вы так любите и которая придает вам столько сил, ополчилась сегодня несметная армия ретроградов, возглавляемая монахами-фанатиками. Помните, что теократический дух яростно атакует сегодня дух научного познания. Помните, что сейчас необходимо позаботиться о защите всех наших свобод и Республики, которая служит их единственной гарантией, и что именно нас, как поется в «Марсельезе», хотя бы снова превратить в рабов.

Пренебрегать возможностью использовать научные данные в общественной жизни — это значит принижать значение науки. Наука помогает нам в борьбе с фанатизмом в любых его проявлениях; она помогает нам создать свой собственный идеал справедливости, ничего не заимствуя из ошибочных систем и варварских традиций; наконец она побуждает нас отстаивать как высшее благо нашу свободу, которой грозит опасность. Вы, граждане, слишком преданно любите науку, чтобы не прислушаться к ее голосу.

### РЕЧЬ НА ПРЕДСТАВЛЕНИИ В «ГРАЖДАНСКОМ ТЕАТРЕ»

*13 апреля 1900 г.*

Гражданки, граждане!

Я взял слово лишь для того, чтобы предоставить его Жоресу. Не менее, чем вы, я горю нетерпением услышать его. Он будет говорить о судьбах искусства в связи с прогрессом демократии. Тема эта не могла не привлечь внимания такого ума, как его ум, который глубоко волнуют проблемы справедливости и красоты. Между идеей справедливости и идеей красоты существует порою едва уловимая, но никогда не прерывающаяся, тонкая, но прочная связь; и подобно тому как свежесть листы и пышность цветов дерева зависят от соков, питающих его ствол и ветви, развитие искусства определяется внутренним строением общества. Однако прежде, чем мы услышим мощный голос Жореса — отражение его могучего интеллекта, его речь, которая раскроет перед нами глубочайшие связи, тонкими нитями опутывающие социальное древо от его вершины до самого корня, я хотел бы, если позволите, в немногих словах подготовить вас к постижению самого понятия искусства в его единстве и полноте. Быть может, не бесполезно сразу представить перед вами искусство в целом и соединить в вашем сознании все его компоненты после того, как оно долгое время изображалось в искаженном виде, после того, как его пытались рассечь на

две части, которые раздельно не могут существовать; после того, как было выдуманно деление на высшие и низшие искусства, из коих одни назвали *изящными*, а другие *прикладными*, разумеется, давая тем самым понять, что последние, слишком связанные материалом, не возвышаются до уровня чистой красоты; как будто бы красота не возникает из соотношений и соответствий и не черпает в материале единственное средство для своего выражения! Деление это, внушенное порочной кастовой психологией, есть неравенство, столь же несправедливое, столь же нелепое, как и любое другое неравенство, постоянно насаждаемое среди людей и не имеющее корней в самой природе. На деле это деление принесло не меньший вред тем видам искусства, которые помещались наверху, чем тем из них, которым отводилось место внизу. Ибо, если прикладные искусства от этого обеднели и опошлись, если с высот царственной гармонии подлинного мастерства они низошли до угождения грубым капризам роскоши и на время даже утратили вкус и стремление к тому, чтобы облагородить предметы, необходимые для жизни, то изящные искусства, оказавшись в одиночестве и в привилегированном положении, подверглись опасностям, порождаемым одиночеством, и им стала грозить участь всех привилегированных, тех, кому суждено влачить жалкое и бесплодное существование. Искусству угрожали два чудовища: художник, который не является мастером, и мастер, который не является художником.

Сотрем же, граждане, эти нелепые различия, опрокинем этот ненужный барьер и обозрим неделимое в своей единой основе искусство во всех его бесконечных проявлениях. Нет, не существует двух разновидностей искусства, искусств прикладных и изящных! Существует единое искусство, которое есть в одно и то же время мастерство и красота и которое, создавая вокруг нас прекрасные формы, выражая прекрасные мысли, стремится придать очарование нашей жизни. Художник и мастер творят одно и то же доброе дело: они способны тому, чтобы сделать человеческое существова-

ние приятным и радостным, тому, чтобы придать изящный и благородный облик нашему жилищу, городу, саду.

Они схожи друг с другом по своему призванию. Они друг с другом сотрудничают. Если признать, что ювелир Бенвенуто Челлини, лепщик Бернар Палисси, эмальер Пенико, гравер и чеканщик Брио, краснодеревец Буль, садовник Ленотр, — ограничиваясь хотя бы только старыми мастерами, — действительно создали замечательные произведения, то творчество ювелира, лепщика, эмальера, чеканщика, краснодеревца и садовника точно так же принадлежит изящным искусствам, как и творчество живописца, скульптора, архитектора. Но ведь вы, граждане, согласны с тем, что мастер, который нашел контуры для вазы и добился прозрачности эмали, собрат художнику, который создал линии статуи или выбрал тона для картины.

Приходите же вы, облакающие обыденные вещи в изящный наряд, приходите дружной гурьбой, приходите, граверы и литографы, формовщики глины, гипса, стекла и металла, шрифтолитейщики и типографы, печатники по ткани и бумаге, декораторы, ювелиры, лепщики, резчики по дереву, вышивальщики, ковровщики, футлярщики, переплетчики, мастера, художники — утешители, дающие нам наслаждение гармонией форм и очарованием красок, благодетели человечества, приходите вместе с живописцами, скульпторами и архитекторами! Крепко взявшись за руки, держите вместе с ними путь в страну будущего.

Оно сулит нам больше справедливости и счастья. Для него и во имя его вам предстоит работать. Более разумное и более счастливое общество создаст, быть может, более светлое и более прекрасное искусство. Художники, мастера, объединяйтесь, сплывайтесь! Вместе ищите, вместе думайте. Слейте воедино ваши думы и ваши искания. Пусть тысячи и тысячи созидающих мыслей, тысячи и тысячи мыслящих рук работают в мире и согласии.

Слово предоставляется Жану Жоресу.

## РЕЧЬ ПО СЛУЧАЮ ОТКРЫТИЯ НАРОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА «ПРОБУЖДЕНИЕ»

4 марта 1900 г.

Граждане!

Продолжая медленно идти вперед, преодолевая препятствия на пути к завоеванию власти и общественного влияния, пролетариат понял, что он должен уже теперь овладеть наукой и взять в свои руки то могучее оружие, которое дается знанием.

Всюду, в Париже и в провинции, возникают и множатся народные университеты, имеющие задачей приобщить трудящихся к духовным сокровищам, до сих пор составлявшим достояние буржуазии.

Ваш университет Первого и Второго округа, воодушевляемый благородным энтузиазмом, вступает в это великое движение с полным сознанием его важности. Вы поняли, что полезна лишь та деятельность, которая озарена светом науки. В самом деле, что такое наука? Что такое механика, физика, физиология, биология, как не познание природы и человека, или, точнее говоря, познание связей между человеком и природой и самих законов жизни? Вы понимаете, как важно для нас знать эти законы, чтобы подчиняться только тем из них, которые действительно непреложны, а не тем произвольным, подчас унижительным и тягостным «законам», которые навязаны нам невежеством и заблуждением. Естественные условия, вытекающие из устройства нашей планеты и нашего организма, до такой степени неотвратимы, что нам следует остерегаться зависимости от условий, которые сверх того навязываются нам произвольно. Предупрежденные наукой, мы готовы подчиниться природе вещей, и это добровольное подчинение является единственным, на которое мы согласны.

Невежество потому так и отвратительно, что оно дает пищу предрассудкам, отвлекающим нас от выполнения наших подлинных обязанностей, навязывая обязанности ложные, настолько обременительные, а подчас пагубные и жестокие, что в царстве невежества даже самые порядочные люди невольно становятся преступ-

никами. История религии дает тому бесчисленное количество примеров: человеческие жертвоприношения, религиозные войны, преследования, сжигание на костре, монашеские обеты, отвратительные обряды, порожденные не столько злонравием людей, сколько их глупостью. Если задуматься над несчастьями, которые с незапамятных времен и до наших все еще варварских дней одолевают злополучное человечество, то причину их мы почти всегда найдем в ложном истолковании явлений природы и в какой-либо из религиозных доктрин, которые дают окружающему нас миру дикое и абсурдное объяснение. Физическое убожество влечет за собой несовершенство моральное, и этого достаточно, чтобы людские поколения столетиями рождались и умирали в пучине страданий и горя.

В пору своего долгого детства народы находились в кабале у страшных призраков, которых они сами себе придумали. И если мы начинаем наконец выбирать из теологического мрака, то полностью из его пределов мы еще не вышли. Иначе говоря, в медленном и неслаженном продвижении человеческого рода вперед начало каравана уже вступило в сияющие области науки, тогда как хвост его еще плетется среди густого тумана суеверий, в темном краю, наполненном злыми духами и привидениями.

Да, вы правы, граждане, что становитесь во главе каравана! Вы правы, что стремитесь к свету и обращаетесь за советом к науке! Конечно, после тяжелого трудового дня вам остается всего несколько вечерних часов на то, чтобы посоветоваться с ней, этой наукой, которая медленно отвечает на наши вопросы и неторопливо, одну за другой, выдает свои бесчисленные тайны. Все мы вынуждены мириться с тем, что мы получаем от нее лишь крупинцы истины. Но в науке следует учиться метод и результаты. Из ее результатов вы извлечете все, что сможете. Что же касается метода, который дороже результатов, ибо он обеспечил эти результаты и обеспечит еще бесконечное множество других, — то метод вы сумеете усвоить, и он направит вашу мысль по верному пути в любых исканиях, которые вы сочтете полезными.



Граждане, название, которое вы дали вашему университету, убедительно показывает, что вы понимаете, что наступило время проявить зоркость в науке. Вы назвали его «Пробуждением», безусловно сознавая, что пришла пора рассеять призраки ночи и насторожиться в готовности защищать права разума от врагов науки и Республику от тех странных либералов, которые требуют свободы не иначе, как в ущерб свободе.

На мою долю выпала честь объявить о вашем благородном намерении и поздравить вас с вашим начинанием.

Я сделал это с радостью и по возможности в немногих словах. Я считал бы себя виноватым перед вами, если бы задержал, пусть даже на мгновение, тот час, когда вы услышите могучий голос Жореса.

## РЕЧЬ ПО СЛУЧАЮ ПЯТИСОТЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГУТЕНБЕРГА

1900 г.

Граждане!

Мы считаем за честь присоединиться к празднествам, которыми Страсбург и Майнц торжественно отмечают пятисотлетие со дня рождения Гутенберга.

Мне казалось, что по такому случаю уместно было бы рассказать вам как можно подробнее о деятельности великого изобретателя. Всех вас это интересует, и все вы хорошо в этом осведомлены, вы, неутомимые продолжатели Ульриха Геринга и Михеля Кранца \*. А посему я могу сразу же приступить к сути дела.

Иоганн, сын Фриэле Генсфлейша и Эльзы Гутенберг, родился около 1400 года в Майнце. Он носил фамилию матери; это имя ему суждено было прославить. Выходец из патрицианской семьи, он покинул родной город в 1420 году после победы народной партии. Мы не знаем, чем он занимался в течение первых тринадцати лет своего изгнания, ставшего после амнистии 1431 года изгнанием добровольным. Однако известно, что в 1434 году он жил в Страсбурге и там настойчиво доби-

вался ренты, которую муниципальные власти Майнца не спешили ему выплатить.

Уже тогда он работал или приступал к работе над изобретением, которое держал в секрете, как тайну искусства и ремесла. В ту пору не существовало ни одной мастерской, которая не имела бы своих секретов, и свято хранить эти секреты ученики и подмастерья клялись на евангелии. Можно предполагать, что Гутенбергу удалось то, к чему он стремился, ибо он взял себе партнеров, чтобы осуществить свое изобретение.. Он заключил сделку с неким Гансом Рифом, который ссужал ему средства и получал право на одну треть выручки. Вскоре условия были изменены, так как к делу присоединились Андрей Дритцен и Андрей Хейльманн, и предполагаемый доход следовало поделить на четыре части. Свои изделия компаньоны рассчитывали сбыть на ярмарке в Аахене, назначенной на 1439 год. Однако торжище на год отложили, и это несколько разочаровало кредиторов. К тому же Андрею Хейльманну и Андрею Дритцену показалось, будто Гутенберг скрывает от них некоторые из своих секретов. Сделка была расторгнута. Затем, получив от Гутенберга обещание, что он не станет скрывать от них ни одного известного ему секрета, они заключили новое соглашение и стали работать совместно. Андрей Дритцен умер, и, как полагают, прежде, чем удалось довести дело до конца. Его братья и наследники предъявили претензии на наследство, но так как Гутенберг им отказал, в 1439 году они начали против него тяжбу, которую проиграли. Однако ехать на ярмарку было уже поздно, и из этой затеи ничего не вышло.

В чем же состоял секрет Гутенберга? Об этом можно судить по некоторым высказываниям свидетелей и судей, выступавших на процессе. Там говорилось о каких-то «формах», о «свинце», о «прессе» и о том, «что нужно, чтобы прессовать» (trucken). Поскольку речь идет о каком-то изобретении Гутенберга, можно думать, что этот пресс, эти формы и этот свинец предназначались для печатания книг и что секрет его и был секретом книгопечатания. Правда, один из свидетелей показал, что секрет касался изготовления зеркал. Однако

Библиофил Жакоб \* высказывает остроумное предположение, что зеркало, о котором говорит свидетель, это «Зерцало спасения» (*Speculum humanae salvationis*), широко распространенный в то время молитвенник, так что вполне можно было рассчитывать продать его в большом количестве на аахенской ярмарке. И если догадка Библиофила верна, то, следовательно, Гутенберг работал над своим великим изобретением еще до 1439 года. В этот период мы теряем его из виду и вновь встречаем лишь спустя девять лет в Майнце, где он под залог занимает сто пятьдесят гульденов. Для осуществления своего замысла он тратил большие деньги, и недостаток средств причинял ему большие огорчения. В 1450 году он вступает в сделку с золотых дел мастером Иоганном Фустом. Вот условия их соглашения: Иоганн Фуст и Иоганн Гутенберг заключали товарищество сроком на пять лет; Иоганн Фуст одновременно предоставлял Гутенбергу восемьсот гульденов из шести процентов под оборудование и обязывался ежегодно выплачивать триста гульденов на расходы по найму рабочих, на аренду помещения, отопление, пергамент, краски и прочее, получая за это право участвовать в прибылях. Но так как первоначальные затраты превысили ожидания, Гутенбергу пришлось в 1452 году заключить новое соглашение со своим кредитором, который отказался от получения процентов, причитавшихся ему по первому контракту, и сразу же внес сумму в восемьсот гульденов с тем условием, что он таким образом освобождается от уплаты ежегодных взносов, предусмотренных ранее. Предприятие изобиловало трудностями. «Несовершенство литер, — говорит А. Кефер, — их неровность, плохой пресс, похожий на виноградный жом, тормозили работу Гутенберга и Фуста. Служивший у Фуста Петер Шеффер из Гернстейма придумал более простой и совершенный способ изготовления шрифтов, ставших теперь разнообразнее». Таким образом, Гутенберг получил возможность печатать книги, применяя известные ему секреты. Но так как он не ставил на книгах своего имени, с уверенностью определить их удастся не всегда. Он напечатал «Библию». Это не вызывает сомнений. Предполагают, что это большая биб-

лия, состоящая из 1282 страниц и напечатанная в два столбца по сорок две строки на странице, известная под названием Мазариниевой библии \*. Это прекрасная книга; сделать ее мог только очень искусный мастер при помощи замечательных инструментов.

В то время папа Николай V давал индульгенции верующим, которые своими деньгами помогали кипрскому королю в крестовом походе против Турции. Николай V был настоящим ученым-гуманистом и замечательным библиофилом. Он не пренебрегал выгодами своего высокого положения, так что пожертвования не полностью шли на нужды христианских армий: некоторую часть его святейшество использовал для приобретения разрисованных манускриптов. Случилось так, что один из сборщиков денег, вносимых верующими в обмен на получение индульгенций, некий Павлиний Цапп, находился в то время в Майнце. Узнав, что Иоганн Гутенберг занимается печатанием, он решил поручить ему изготовление папских грамот, которые продавались верующим и в которых добрые люди могли прочесть, что на этом и на том свете они освобождаются от наказания за свои грехи, разумеется, в том случае, если признаются в них и покаются. Гутенберг выпустил два издания этих грамот. Применявшиеся им шрифты можно еще узнать во многих донатах. Грамматика, составленная в IV веке Элием Донатом, была первой книгой, которая давалась в руки маленьким школярам. Обучение начиналось с «Ars grammatica»<sup>1</sup>, откуда и пошло выражение: «Черти тогда еще зубрили свой донат». Поэтому книга имела очень широкое распространение. До изобретения подвижных литер донаты вырезались на деревянных досках и печатались как эстампы.

В Голландии донаты начиная с 1450 года печатались с помощью подвижных литер. Автор «Кельнской хроники», вышедшей в 1499 году, по этому поводу замечает: «Хотя искусство печатания в том виде, в каком пользуются им теперь, было открыто в Майнце, все-таки впервые мысль о нем возникла в Голландии. Тол-

---

<sup>1</sup> «Грамматическое искусство» (лат.).

чок ей дали донаты, которые еще раньше печатались в этой стране. От этих донат ведет свое начало «искусство печатания». Это верно, и открытие книгопечатания, как и все другие открытия, принадлежит многим людям. Ни одно изобретение в его полном и законченном виде никогда не возникало в мозгу одного человека.

Можно сказать, что в середине XV века идея книгопечатания носилась в воздухе. Аббат Рекен обнаружил недавно, что пражский ювелир по имени Прокопий Вальдфогель, поселившийся в 1444 году в Авиньоне, обучал тамошнего жителя, еврея Давина из Кадерусса, мастерству «искусственного письма». В 1446 году Прокопий Вальдфогель обещал снабдить этого еврея всем необходимым. Он заявил, что у него есть два стальных алфавита, две железные формы, стальной винт, сорок восемь форм из олова и различные другие формы, относящиеся к искусству печатания, *diversas alias formas ad artem scribendi pertinentes*. Отсюда ясно, что искусство, которому суждено было изменить мир, готово было родиться в Авиньоне, в Гарлеме, в Страсбурге, а возможно и в других местах христианского мира. Однако жизнь оно обрело и проявило всю свою силу несколько позже, во второй мастерской Иоганна Гутенберга в Майнце.

«Zum Jungen», дом, доставшийся Иоганну в наследство от дяди, дом, в котором он установил свои прессы, — вот где на самом деле родилось книгопечатание.

Этому человеку, наделенному столь изобретательным умом и столь сильной волей, открывшему искусство, значения которого он сам по-настоящему не понимал, не довелось воспользоваться плодами своих трудов. Проработав пять лет вместе с Фустом, он оказался не в состоянии выполнить обязательств, взятых на себя в отношении компаньона. Последний, будучи человеком богатым и суровым, предъявил ему иск и выиграл дело. 6 ноября 1455 года суд приговорил Иоганна Гутенберга либо возместить полученную ссуду вместе с процентами, либо отказаться от своего типографского оборудования. Не имея возможности вернуть Иоганну Фусту долг, он передал ему свою типографию и навсегда покинул дом «Zum Jungen», который так просла-

вил. Он поселился в доме Гутенбергов «Bonimontis», принадлежавшем его матери. Он не отказался от искусства, которое создал и которое не давало ему средств к жизни. Он печатал книги с помощью одного из своих родственников по фамилии Бехтермунтце. Автор опубликованной в Риме «Хроники римских пап» утверждает, что в 1459 году Гутенберг печатал по триста оттисков ежедневно.

В 1465 году Адольф фон Нассау сделал его своим придворным, тем самым воздав должное его заслугам, а не состоянию, ибо в то время Гутенберг пребывал в нужде.

Он умер в Майнце в феврале 1468 года и был похоронен в монастыре францисканцев.

Спустя два года после его смерти магистр искусств Мартин Фрибургер из Кольмара, рабочие Ульрих Геринг из Констанцы и Михель Кранц, прибывшие в Париж для устройства там первой типографии, оставили в его пользу свидетельство, которое Гийом Фише, доктор Сорбонны, изложил в одном письме следующим образом:

«Они рассказывают, что неподалеку от города Майнца жил некий Иоганн по прозвищу Бонемонтанус, который первым из всех придумал способ печатания, позволяющий делать книги не с помощью тростника, как в старину, не пером, как это делаем мы сами, а при помощи медных букв, быстро, аккуратно, красиво (*expedite, polite et pulchre*)».

Несмотря на то что в наших сведениях о жизни Иоганна Гутенберга много неясного и недостоверного, он останется для нас изобретателем книгопечатания до тех пор, пока не удастся оспорить издание им Мазариниевой библии, ибо эта библия является первым памятником сложившегося и сильного искусства, между тем как донаты и другие печатные произведения, которые ей предшествовали, представляют собою не более чем опыты еще грубых и неумелых рук.

Такова, граждане, насколько мы можем о ней судить, деятельность Иоганна Гутенберга. Результаты ее намного превзошли ожидания этого старого труженика.

Быстро разнесся по всему свету однажды выраженную мысль, печать в наше время стала самым мощным орудием прогресса науки и цивилизации.

**РЕЧЬ, ПРОИЗНЕСЕННАЯ НА ПРАЗДНЕСТВЕ  
В ЧЕСТЬ ДИДРО, ДРУГА НАРОДА,  
В ЗАЛЕ ВАГРАМ**

*29 июля 1900 г.*

Граждане!

Наши друзья, знаменитые ученые, собрались здесь, чтобы рассказать нам о Дидро-философе и о Дидро-ученом. Не мне говорить о Дидро как о предшественнике Ламарка и Дарвина — это сделает Дюкло. Фердинанд Бюиссон и Габриель Сеайль \* скажут вам о философе, который предпочитал трезвое изучение фактов бесплодным поискам причин и учил, что у природы следует спрашивать не «Почему это так?», как спрашивают малые дети, а «Каким образом это так?», подобно химикам и физикам.

Я же буду говорить только об одном. Я хотел бы показать вам образ Дидро — друга народа.

Этот сын ножовщика из Лангра был превосходный человек. Современник Вольтера и Руссо, он был лучшим из людей в лучшую из эпох. Он страстно любил математические и физические науки, искусства и ремесла. Познать, чтобы полюбить, — вот к чему он стремился всю свою жизнь. Он любил людей и мирные их труды. Он задумал великое дело — возвеличить ремесла, которые принижала военная, гражданская и церковная аристократия. «Энциклопедия», план которой он задумал столь гениально и столь смело осуществлял, представляет собой первый великий перечень трудов, принесенных пролетариатом в дар обществу. А с каким пылом, с каким рвением, с каким знанием дела Дидро и его сподвижники составляли перечень — об этом свидетельствует известный проспект «Энциклопедии».

«Составители сего, — говорится в нем, — обратились к самым искусным рабочим Парижа и всего французского королевства. Они, не щадя своих сил, обходили мастерские, расспрашивали, записывали под диктовку, старались развить мысли рабочих, найти слова, свойственные их профессии, составляли и уточняли таблицы, беседовали с теми, кто предоставлял им свои

записи, и (необходимая предосторожность!) проверяли то, что одни выражали плохо, темно или иной раз неверно, в долгих и частых беседах с другими».

К этому Дидро прибавляет:

«В мастерские посылались рисовальщики; делались чертежи машин и инструментов; не упускалось ничего, что могло помочь наглядному с ними ознакомлению».

Граждане!

В час, когда враги знания, мира и свободы ополчились против Республики и грозят раздавить демократию, обрушив на нее все, что не мыслит вовсе или мыслит, как бы уничтожить мысль, вам пришла счастливая идея почтить память философа, который учил людей радости труда, радости знания и любви, который всем своим существом был обращен к будущему и который провозгласил новую эру — эру пришествия пролетариата, создания умиротворенного и утешенного мира.

Проницательный взгляд Дидро предвидел наши теперешние битвы и наши грядущие победы. Дидро с энтузиазмом и упорством создавал родословную труда, дабы поставить ее выше родословной дворян и великих мира сего. Его цель была совершенно ясна, хотя она была и необычна по тем временам.

«Нужно, — говорил он, — чтобы свободные искусства, до сих пор столь усердно воспевавшие самих себя, ныне прославили искусства механические, вывели их из унижительного положения, в котором они так долго пребывали по вине предрассудков».

И вот в середине XVIII века началось прославление ремесел — явление странное, небывалое, чудесное. До той поры ремесленники смиренно сгибали спины под тяжестью векового презрения. Но Дидро крикнул им:

«Распрямите спины! Вы презираете себя только потому, что вас презирали другие. Но от вашей судьбы зависит судьба всего человечества».

Дидро включил в свою «Энциклопедию» определение рабочего-поденщика. Вот оно:

«Поденщик — рабочий, который применяет ручной труд и которому плата выдается поденно. Этот род людей составляет огромное большинство нации. Их судьбой должно в первую очередь заняться хорошее прави-



тельство. Если поденщик несчастен, то несчастна вся нация».

Можно сказать без преувеличения, что Дидро, память которого мы чтим сегодня, Дидро, который умер 116 лет тому назад, — близок нам, как никто, что он наш, что он великий слуга народа, защитник пролетариата.

Победа пролетариата неизбежна. Отдалить ее могут не столько действия наших разобщенных противников, сколько наши собственные раздоры и несовершенство наших методов. Она неизбежна, потому что самый ход вещей, сама жизнь предreshает и подготавливает ее. Она будет логична, разумна, полна гармонии. Она уже вырисовывается над миром с непреложной ясностью геометрического построения.

## РЕЧЬ НА ОТКРЫТИИ КООПЕРАТИВНОЙ СТОЛОВОЙ

1900 г.

Граждане,

вы смело двинулись вперед. Вы уже сделали первый шаг по тому необозримому пути, что ведет к светлому будущему. Ваш кооператив будет жить. И будет жить потому, что он есть детище пролетариата, а ныне, в нашем обществе, эгоистическом и бесплодном, один лишь пролетариат является носителем созидательной энергии.

Во все времена пролетариат был тем неиссякаемым кладезем сил, которым широко пользовались господствующие и правящие классы.

Отныне сам пролетариат хочет управлять своей собственной силой и направить ее себе во благо. Что может быть законнее этого желания? Таков основополагающий принцип всех кооперативных объединений.

Но вы сами знаете, граждане, для того чтобы извлечь из этого принципа все заложенные в нем возможности, для того чтобы добиться успеха в предпринятом

вами деле, у которого так много врагов, придется проявить немало мудрости и приложить немало усилий. Вы не отступите, и вы добьетесь успеха.

Вас поддержит пролетарское население квартала, которое сумело доказать свою приверженность к республике и социализму, послав в муниципальный совет честных социалистов и честных республиканцев; замечательные пролетарии XV округа знают и никогда не забудут, что кооперативное предприятие, открытие которого мы отмечаем сегодня, есть дело рук социалистов и республиканцев и заслуживает тем самым всеобщей симпатии.

Подымаю свой бокал за процветание вновь открытой кооперативной столовой XV округа.

## **ПИСЬМО В ОТВЕТ НА АНКЕТУ О ДЕСПОТИЗМЕ РУССКОГО САМОДЕРЖАВИЯ**

*1901 г.*

Только за то, что русские рабочие, русские студенты требуют хоть немного справедливости, хоть немного свободы, хоть немного правды, их отправляют на ка-торгу, их убивают.

Царское правительство совершило в Петербурге, в Харькове огромное преступление, и преступление это сродни безумию. Ибо безумно то правительство, которое расправляется с разумом. Надо воистину лишиться рассудка, дабы полагать, будто, расправляясь с теми, кто мыслит, и с теми, кто вооружен знаниями, с теми, кто пытается мыслить, и с теми, кто хочет знать, можно одновременно расправиться с мыслью и знанием. В их лице только приобретают себе двух непримиримых и бессмертных врагов.

Раз начавшись, духовная жизнь России не остановится, ничто не способно затормозить ее умственного и социального развития. Час ее свободы пробьет. Слепое сопротивление теократии может лишь превратить

этот момент в трагедию, но никто не властен помешать тому, чтобы пробил час свободы.

Я прочел в «Паж Либр» слова кроткого и негибаемого Толстого \*, обращенные к царским министрам:

Но вот уже более 30 лет ловят, заключают, казнят, ссылают этих людей тысячами, количество их все увеличивается, и недовольство существующим строем жизни не только растет, но все расширяется и захватило теперь уже миллионы людей рабочего народа, огромное большинство всего народа.

Но разве царские министры прислушаются к голосу Толстого?

И на сей раз свершится закон истории: русская демократия кровью оплатит свою свободу. Склоняемся перед ней со скорбью и восхищением.

*Анатоль Франс.*

## **РЕЧЬ НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ТИПОГРАФИИ «ОСВОБОЖДЕНИЕ»**

*1901 г.*

Товарищи,

я смело могу назвать себя одним из ваших; типографские цеха будят во мне давние и милые сердцу воспоминания. Отец мой был книгоиздателем. Еще ребенком я таскал в типографию рукописи; молодым человеком я занимался печатанием книг и держал корректуры. Прежде чем править свои собственные гранки, я выправил немало чужих. Я был бы весьма сносным фактором. Будь я помоложе, я попросился бы к вам в типографию.

Но не только по славным воспоминаниям дорого мне ваше искусство. Я считаю его самым прекрасным из всех существующих в мире искусств. Вы, конечно, знаете, что говорил по этому поводу наш добрый Пантагрюэль.

Устами Рабле Пантагрюэль уверял \*, что книгопечатание было изобретено человеком по внушению

ангельскому, как бы в противовес пороку, изобретенному по дьявольскому наущению. Само собой разумеется, незачем и говорить, что слово «ангельское» не следует здесь принимать в буквальном его смысле. Рабле не верил ни в ангелов, ни в чертей. Этим словом он хотел лишь восславить искусство, распространяющее по свету знания и мысль, и заклеить орудия войны. И, видно, книгопечатание и впрямь было чудеснейшим изобретением, раз оно еще в пеленках наводило на мракобесов священный ужас. В течение всего XVI века Сорбонна усердно сжигала книги, а нередко заодно с ними и самого печатника.

Говорят, что книгопечатание якобы приносит столько же зла, сколько творит добра, ибо наряду с хорошими книгами печатают и плохие, а наряду с распространением знаний и истины, оно распространяет ложь и заблуждения. Это было бы верно, если бы лжи было так же выгодно предстать перед нами при полном свете, как выгодно это истине. Но это отнюдь не так. Заблуждения зреют в тени, а знание пышно расцветает в лучах света. Конечно, книгопечатание за четыре века своего существования не рассеяло старых заблуждений и древних суеверий. Да и не могло оно этого сделать; это противоречило бы самой природе вещей. Завоевания истин, способствующих благу человека, дело длительное и трудное, а род человеческий мучительно и лишь постепенно выходит из состояния первобытного варварства. Можно даже сказать, что тип общества, выработанный людьми после стольких веков усилий и страданий, не что иное, как организованное варварство, узаконенное насилие, введенная в систему несправедливость.

Так думаете и вы, товарищи. И вы решили установить справедливость хотя бы в одном уголке старого мира; вы решили привести в согласие ваши действия и ваши мысли; вы пожелали, чтобы плоды ваших трудов распределялись по справедливости. Это прекрасное, но и трудное предприятие. Берегитесь, товарищи, вы сами поставили себя вне общепринятого порядка: вы сами обрекли себя на бессрочное служение истине.

**ПРЕДИСЛОВИЕ К «СКАЗКАМ ДЛЯ  
МОЕЙ СЕСТРЫ»  
ЭЖЕЗИППА МОРО**

*20 мая 1901 г.*

Эжезипп Моро посвятил эти сказки своей сестре. Так называл он Луизу Лебо, дочь книгоиздателя из Прована, у которого поэт служил по выходе из Авонской семинарии корректором; и тогда же он полюбил Луизу самой нежной и самой чистой любовью.

В сущности, оба они были просто детьми. Эжезиппу не исполнилось еще и восемнадцати лет, когда он покинул дом господина Лебо и поступил в качестве наборщика к Фермену Дидо. Вот что пишет он в 1829 году из Парижа своей названной сестричке:

«Комната моя мала и холодна, но на ночь я укутываю шею платком, который касался вашей шейки, и не чувствую более холода».

В июле 1830 года вместе со своими товарищами он пошел на баррикады и выстрелил в солдат; ему показалось, что один солдат упал. Эжезипп не выдержал, он бросил наземь свое ружье.

Вечером того же дня он пишет: «Моя сестра! Я убил одного человека, но зато спасу другого».

Со слов его друга, господина Сент-Мари-Марокотта, мы знаем, что Эжезипп подобрал раненого швейцарца, спрятал его у себя и, чтобы тот мог уйти незнанным, отдал ему свой сюртук, свой единственный сюртук.

Во время забастовки, начавшейся после революции, он покинул типографию и поступил в качестве класного надзирателя в пансион Лаббе. Там он стал ненавидеть общество, получил отвращение к жизни и серьезно заболел.

По выходе из больницы он, голодный, блуждает по улицам Парижа, спит под деревом в Булонском лесу или в лодках с углем, стоявших на причале у набережной Сены.

В дни волнений 1834 года \* он без оружия, скрестив на груди руки, бродит вокруг баррикад, в надежде, что его сразит шальная пуля.

Умирая от усталости и голода, он пишет Луизе: «Почему суждено мне расстаться с вами, сестра?.. Бедная моя сестренка, вы пожертвовали ради меня своими привязанностями, и, вспоминая об этом, я еще сильнее полюбил вас. Да, я вас люблю, ибо вы окружали меня незаслуженной заботой и нежностью, за которые я не в силах ничем отплатить. Я люблю вас, ибо вам я обязан теми немногими счастливыми днями, что выпали мне на долю, и что бы со мной ни случилось, до последнего своего вздоха я буду любить вас. Адреса своего не сообщаю, бог знает, где придется мне провести завтрашнюю ночь!»

Несчастный бродяга нашел на несколько дней отдох в Проване у фермерши мадам Жерар, а потом вновь началась нищета, не оставлявшая поэта до самой смерти.

Моро не был настоящим типографским работником: это был ребенок, это был больной, это был поэт.

Если в наши дни его сатиры кажутся нам недостаточно сильными, то объясняется это тем, что Моро и впрямь был не силен по части ненависти. Но он оставил нам две-три изящные песенки, которые не забудутся никогда, а его сказки в прозе до сих пор сохраняют свою наивную прелесть и трогательную грацию.

Эжезипп Моро писал сказки в самые черные дни своей жизни, насчитывавшей так мало светлых часов. За кусок хлеба он отдавал их в «Журналь де демуазель», в «Журналь дез анфан», в «Сише». Рассказы «Маленькие башмачки», «Омела и дуб», названные сначала «Макариа» или «Гераклиды», «Племянник фруктощицы» появились в 1836 году, а «Десятая муза», известная в наши дни под названием «Тереза Сьюр», — в 1837 году.

Эжезипп скончался в больнице для бедных 20 декабря 1838 года. За гробом его шло много народу: это собрались друзья поэта, уже не опасавшиеся более, что бедняга будет им в тягость.

## ИЗБРАННЫЕ СТРАНИЦЫ МУЛЬТАТУЛИ

### *Рецензия*

1901 г.

Эдуард Деккер, голландец по национальности, долгое время служивший в колониальной администрации на Яве, опубликовал по возвращении на родину под псевдонимом Мультатули роман «Макс Хавелаар», в котором он разоблачил произвол колониальных властей в Нидерландской Ост-Индии. Соотечественник Мультатули Александр Коген тоже жил на Яве. Вот почему он лучше других мог познакомить нас с Мультатули и его творчеством. Он и постарался сделать это в настоящей книге, которую я с удовольствием предлагаю вниманию читателей: она содержит очерк о жизни Деккера, а также избранные страницы из произведений писателя в переводе на французский язык.

Мультатули известен не только как автор «Макса Хавелаара». Он оставил после себя много произведений о политике и морали, о деловой жизни и быте голландцев. Александр Коген, человек независимого образа мыслей, не рассматривает суждения Мультатули как законченную философскую систему и никому не навязывает этих суждений — ни писателю, ни нам. Более того, он предупреждал меня, что, стремясь в первую очередь познакомить читателей со своим любимым автором, он выбрал не те страницы, в которых Мультатули больше всего походит на него, а те страницы, в которых писатель больше всего походит на себя. Переводчики и составители антологий бывают обычно менее беспристрастны: писатель нравится им лишь в том случае, если он хоть немного походит на них.

Мультатули пленил Александра Когена своей полной откровенностью и поразительным чистосердечием. Мультатули на редкость своеобразный писатель: он говорит то, что думает. Таких людей очень мало в Голландии, да и не только в Голландии. Во всех странах и во все времена число мыслящих людей было весьма ограничено, а тех, кто дерзал высказывать свои

дерзновенные мысли, было и того меньше. Откровенность нигде не поощряется. Это самая антисоциальная из добродетелей.

Мультатули любит отыскивать истоки наиболее распространённых идей, и эти изыскания очень часто приводят его на путь неожиданных и ценных открытий. Он отметил, между прочим, что все или почти все общепринятые добродетели носят, в сущности, экономический характер. Но лучше всего предоставить слово самому. Несмотря на свой пессимизм, он обладает подкупающей жизнерадостностью, а его горький юмор как нельзя более занимателен.

Этот голландец, писавший в период между 1859 и 1887 годами, несколько напоминает своей манерой французских авторов XVIII века. Он похож на дореволюционных философов смелостью взглядов, свободомыслием, живым, ярким языком и доброжелательной иронией. Он насмехается над «одержимыми» почти так же весело, как наши философы насмехались над иезуитами и капуцинами. Он также любит восточные сказки. Некоторые из его апологов не менее интересны, чем апологи аббата Бланше. По примеру наших философов, охотно прибегавших к форме диалогов с китайцами и браминами, ему нравится вести поучительные беседы с яванцами. Так и кажется, что некоторые его страницы написаны голландским Вольтером, быть может, Вольтером несколько грубоватым для нас, но не лишенным обаяния.

Не будучи знакомы с их литературой, ни слова не понимая по-голландски, мы знаем, однако, что голландцы были великолепными мастерами в области комической поэзии и сатиры. Голландские живописцы наглядно доказали это: Терборх, Питер де Хоох и Веермер Дельфтский — превосходные бытописатели. Ян Стен — подлинный Мольер в живописи.

И можно определенно сказать, что Мультатули, которого открыл для нас Александр Коген, является, как и они, остроумным художником, откровенно изображающим человека и общество, но только он пользуется при этом не кистью, а пером.



**РЕЧЬ НА ПРАЗДНОВАНИИ СТОЛЕТИЯ  
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
ВИКТОРА ГЮГО**

1902 г.

Гражданки и граждане,  
первого июня 1885 года гроб, установленный под Триумфальной аркой, был привезен в Пантеон, сопровождаемый народом Парижа, представителями Франции и всего мыслящего человечества. По всему пути следования этого траурного и торжественного шествия трепетало в свете дня пламя фонарей, приглушенное крепом. Толпы шли мимо столбов, на которых были прибиты щиты с надписями, где на сей раз мы читали не названия битв, а заглавия книг. Ибо почести, воздававшиеся дотоле лишь королям и императорам, властелинам и завоевателям, взволнованный утратой народ воздавал ныне человеку труда и мысли, чья власть заключалась лишь в слове.

«Мыслителю!» Надпись эта десятки раз повторялась на стягах, которые несли за гробом ушедшего от нас гения. И не по приказу отцов города состоялась эта церемония — она была рождена величественным движением народной души и отметила собой новую эру в истории человечества. Если с незапамятных времен такими церемониалами восславляли могущество и насилие, то теперь мы впервые увидели торжественный corteж, сопровождающий в последний путь кроткую власть ума и воздающий должное славе чистой души. Красно-речивые похороны, великолепный символ революционной идеи! Они были знаком того, что народ отныне противопоставляет в сердце своем свободную мысль — догме, свободу — неограниченной власти, справедливость и мир — войне, любовь и братство — ненависти.

Подобно тому как столетие назад народ Франции взял приступом Бастилию, ныне наш народ, торжественно славя Виктора Гюго, смутно почувствовал смысл своего деяния, понял, что славит он не столько поэта, как бы он ни был велик, сколько самое поэзию и красоту, и что если он чтит старца, рассыпавшего перед

людьми все обилие своей мысли и слова, то лишь для того, чтобы признать в лице поэта высшую власть слова и мысли. С тем же самым чувством, с той же самой мыслью, граждане, мы отмечаем сегодня столетие со дня рождения Виктора Гюго. Само собой разумеется, мы не намерены превращать поэта в некоего бога и воздержимся от всякого идолопоклонства, даже в отношении великих людей, хотя оно наиболее простительно. Мы поостережемся противопоставлять старым догмам догму новую и подменять власть теолога и священника властью мыслителя и поэта. Мы отлично знаем, что все люди подвержены слабостям, что им свойственно ошибаться, что у них всех бывают дни смятения и мрачные часы. Мы не откажем самым великим и самым достойным из них в священном праве на слабость духа и неуверенность мысли. Ошибаются и самые мудрые. Не будем же человека почитать богом.

Виктор Гюго в меньшей степени, чем кто-либо другой, может дать нам материал для построения доктрины или наметить ясное направление общественно-политической жизни. Мысль его, одновременно яркая и туманная, щедрая, противоречивая, огромная, но не оформившаяся, подобно мысли толпы, воплотила в себе мысль целого века, чьим звонким эхом, по его собственному выражению, был поэт. Мы уважаем здесь и чтим не просто одного человека, но целое столетие Франции и человечества, XIX век, чьи мечты, иллюзии, заблуждения, прозрения, любовь и ненависть, опасения и чаяния он выразил полнее, чем кто-либо другой.

Детство Гюго совпало с годами, когда Франция, изнуренная войнами, вновь стала монархией, он был роялистом при двух королях; потом, после Июльской революции, он почувствовал себя либеральным приверженцем королевской власти. Но уже тогда живая, хотя неосознанная симпатия влекла его на сторону народа. И позже он мог говорить, правда, несколько насилуя даты, что был социалистом, прежде чем стать республиканцем. Республиканцем он сделался лишь в 1849 году. Быть может, он и сам не сознавал до конца причины происшедших в нем перемен. Вот что он говорит об этом впоследствии:

«Свобода мне открылась поверженной. После тринадцатого июля \*, когда я увидел Республику, лежащую во прахе, высокая ее правда тронула и поразила меня тем чувствительнее, что она уже агонизировала. Вот тогда-то я и пошел за ней».

С этого дня Гюго страстно защищал республику словом и делом. В 1850 году господин де Фаллу \*, министр просвещения, представил на утверждение Законодательного собрания законопроект о передаче образования в руки духовенства. Как и в наши дни, клерикалы утверждали, что акт этот вызван-де необходимостью обеспечить свободу преподавания. Виктор Гюго, член Собрания, обрушился на этот закон, вскрыл его подлинную сущность, заявив, что это «ловушка церковников, прикрытая красивым именем». Разрешите привести несколько фраз из его речи.

Обращаясь к клерикалам, Виктор Гюго говорил:

«...Нет ни одного поэта, писателя, философа, мыслителя, которого вы признавали бы. И все, что было написано, открыто, взлелеяно в мечтах, умозаключено, изобретено, озарено светом, подсказано воображением гения, все сокровища цивилизации, вековое наследие поколений, всеобщее достояние людей мыслящих, — все это вы отбрасываете прочь!»

«...И вы же требуете свободу преподавания! Давайте будем искренни и установим, какой именно свободы требуете вы, — вы требуете свободы мешать просвещению»...

«...А, вот как, вы хотите, чтобы вам отдали в обучение народ! Что ж, прекрасно! Посмотрите на ваших учеников. Посмотрите на дело рук ваших. Во что вы превратили Италию? Во что вы превратили Испанию?»

Если среди политических выступлений Виктора Гюго я выбираю те, что относятся к 1850 году, то лишь потому, что 1902 год (хотелось бы надеяться, что благодаря вашей мудрости и вашей энергии это предзнаменование не сбудется!) чем-то напоминает 1850-й. Сходство это было бы еще более зловещим, если бы в 1902 году мы имели, как тогда, клерикальную и реакционную палату.

Вот каким образом, граждане, воспоминания о Викторе Гюго вдруг и помимо нашего желания возвращают нас к нынешнему часу, смутному часу, когда враги демократической республики и социальной справедливости пытаются восстановить власть церкви и царство привилегий. Сегодня, как и накануне тогдашнего государственного переворота, все реакционеры, и явные и скрытые, группируются вокруг монахов и священников, вооружают против свободы ложь, клевету и коррупцию. И как в 1850 году, так и во все времена враги свободы ссылаются именно на свободу. С ее именем на устах пытаются они ее и задушить. Подобно пророку, который скрывает свое лицо, зная, что никто не поверит ему, увидев его без покрывала, эти господа скрывают свое подлинное имя под именем либералов.

Граждане, ваш прямой долг разоблачить мошенников и лицемеров и спасти республику, республику, которую мы защищаем, не такую, какую видим ее ныне, а такую, какую она может и должна стать, республику, которую мы хотим сохранить в качестве необходимого орудия реформ и прогресса, республику, которая станет завтра республикой демократической и социальной и приведет нас к республике всемирной, той республике будущего, которую возвестил Виктор Гюго в дни своего царственного заката.

«На смену битвам, — пророчески говорил он, — придут научные открытия; народы будут не завоевывать, а расти и просвещаться; не будет больше воинов, будут труженики; наступит час научных исканий, учения, изобретений; перестанут славить взаимное уничтожение. Так на смену убийцам придут созидатели».

Граждане, эту республику, возвещенную великим поэтом, чье столетие со дня рождения мы празднуем сегодня, эту идеальную и необходимую всем республику, вам, граждане, надлежит защищать, расчистить ей путь, ускорить ее приход, борясь с духом эгоизма и насилия, в чем бы он ни проявлял себя, и трудиться не покладая рук за социальную справедливость и подлинную свободу, ту свободу, которая не терпит свободы посягательств на свободу.

## РЕЧЬ О СВОБОДЕ ВЫБОРОВ

1902 г.

Граждане,  
у каждого народа есть сказочка для детей младшего возраста. Это сказочка о чуде-богатыре. Кажется, в лотарингском варианте сказки богатырь, потерпев поражение в своем естественном обличье, превращается в дракона; когда же и в этом виде его сражает враг, он оборачивается уткой. Когда я прочел расклеенные на стенах листки с программой националистов, мне сразу же вспомнился этот богатырь. Мы с вами видели на бульварах и улицах наших националистов, мечущих из глаз молнии, изрыгающих из ноздрей и пасти пламя. Драконы-устрашители, они распростерли надо всем городом свои крылья и нацелились на нас своими страшными когтями. Однако они потерпели поражение и вот теперь возрождаются в ином обличье, для следующей схватки, аккуратно пригладив свои взлохмаченные перья; вид у них самый ручной, а голос вполне домашний и мирный. Воистину чудесная метаморфоза!

В своем первом обличье, помните, граждане, это были сушие гиппогрифы и пугала — великаны, людоеды, лакомые до человеческого мяса. И разговор у них был один — «распотрошить» мирных граждан. Они разгуливали по улицам, круша республиканцев, и на них дружественным оком, с растроганной улыбкой взирал господин Мелин \*. Господин Мелин с неподражаемой благожелательностью улыбался нарождающемуся национализму, помните, граждане? И под многообещающей этой улыбкой национализм вырос, поднял свою увенчанную плюмажем голову выше крыш, подобно господину и госпоже Гайян во старинном граде Дуэ \*. Зеваки, поварята, иезуитские выкормыши следовали за ним торжественным кортежем, испуская пронзительные вопли.

На похоронах президента Фора произошел шумный скандал \*. Даже лошадь, и та примкнула к этой банде, некий кавалерийский конь. Как видно, существуют на свете и лошади, настроенные националистически! В эти смутные дни национализм, еще полный молодых

сил, сеял смуту, устраивал стычки, организовывал волнения, замышляя перевороты. Он готовился убить республику и рассчитывал зарыть ее в могилу вместе с покойным президентом. Но тут он дал маху. Тогда он открыл свою огромную, как Триумфальная арка, пасть. Аппетит у него был не хуже, чем у Гаргантюа, и он намеревался слопать целиком весь парламент. Возникли даже опасения, что новый президент будет ему всего на один глоток. «Бедняга Лубе, — вздыхали парижане, — одно ему осталось: спрятаться в дупле людоедова зуба».

Каким образом за такой короткий срок националисты ухитрились столь радикально изменить свои нравы и лексикон? Их теперь прямо не узнать: никого убивать они уже не желают, ни словом не обмолвятся, что пора-де «потрошить» мирных граждан. И дубинки в их руках что-то не видно. Они полны уважения к парламентским институтам, к сенату, даже к шляпам, и к тем полны уважения \*. Прочтите их воззвания, и вы искренне удивитесь: ни о войнах, ни об избениях, ни о «потрошении» даже речи нет. Только и разговору, что о свободе, терпимости, экономии и сокращении сроков военной службы. Они желают лишь смены кабинета — не больше. Мысль, как видите, не бог весть какая глубокая. Они вовсе не утверждают в своих воззваниях, что свалят республику, они утверждают даже, что хотят ее реформировать. О плебисците — ни звука. Больше того! Все националисты стали республиканцами. Среди них имеются теперь и радикалы для избирателей радикалов, и социалисты для избирателей социалистов, и анархисты для избирателей анархистов. Если хорошенько приглядеться, то мы обнаружим там кандидатов, именующих себя империалистами, националистами-республиканцами и даже таких кандидатов, что объявили себя монархистами-националистами республиканского толка.

Когда слушаешь их теперешние речи, когда видишь их лицемерно-умильные физиономии, так и подмывает сказать им то, что сказал Сганарель своему хозяину: \* «Сударь, а вы мне куда больше нравились таким, каким были раньше». И впрямь, они были куда приятнее,

когда потрясали своей заржавленной папирой, чем теперь, когда наигрывают на флейте. Но под кого бы ни рядились эти фанфароны и ханжи, кричат ли они: «Да здравствует король!» или «Да здравствует республика!», они все те же, что и раньше, и сердце у них все то же.

Граждане, мимо нас проходит снова процессия Лиги \*. Вы уже видели три года назад, как пронесла она тогда первые свои знамена. Монахи, подоткнув рясы, шествовали в стальных кольчугах, студенты Сорбонны бросали в ошеломленную толпу демагогические выкрики, шли вояки-хвастуны, шапкозакидатели и сосискоглотатели. А теперь они проходят мимо нас в качестве кандидатов и идут себе тихие, медоточивые, елейные, а главное, маленькие-маленькие, чтобы удобнее было проскользнуть в щель избирательной урны.

Мимо вас проходит процессия Лиги. Это армия монахов. Все эти люди состоят на службе у монахов. Когда они пытаются уверить вас, что они-де республиканцы, это значит, что они намерены навязать вам республику монахов; когда они требуют свободы, они требуют ее для монахов, чтобы те могли ускользнуть от закона; когда они провозглашают свободу обучения, они подразумевают свободу для монахов воспитывать детей в ненависти и презрении к светскому обществу, и когда они прославляют терпимость, значит хотят заставить республику терпеть козни монахов.

Они кандидаты монахов во всех одеяниях: черных, белых, бело-черных, черно-белых, орехового цвета, цвета инжира и изюма. Их свобода имеет свое имя. Это свобода Фаллу. Они кандидаты тех самых монахов, что сожрали Италию, сожрали Испанию и которым республика, отличающаяся большим долготерпением, нежели старая монархия, позволила кишеть и плодиться на своем теле. Они кандидаты иезуитов, которые, проявив почти сказочное терпение, сумели за тридцать лет \* создать, натаскать, обучить и вооружить в самой же Франции Францию папскую и науськать ее на Францию. Они кандидаты тех монахов, тех свирепых чернецов из «Ла Круа» \*, которые на наших глазах три года назад разожгли гражданскую войну среди призревшего их народа. Они кандидаты монахов, которые, желая оплатить

расходы своих благочестивых кандидатур, нищенствуют и кляччат, как только они одни умеют клячить, во все века, повсюду, повсеместно, соборно. Они кандидаты римского отечества. Они кандидаты того яростного и скрытого клерикализма, который, овладев каким-нибудь народом, владычествует над ним и насаждает дух прошлого, пуская в ход все оружие минувших времен, все силы реакции, все формы насилия, все формы лжи, силы невежества и оглупления.

Граждане, будем начеку! Когда клерикализм кладет на народ свою лапу, он уже больше не разожмет ее. Поглядите на Бельгию. В один прекрасный день он поймал ее врасплох. С тех пор прошло двадцать лет, а он все еще держит ее в своих когтях \*. И кто знает, ценой каких усилий захваченная им нация вырвется из его лап!

Граждане, вы будете голосовать против националистов, за кандидатов, полностью и целиком республиканских, а не за тех унылых и бесцветных кандидатов, которые качаются по воле волн между национализмом и республикой. И вы не допустите, чтобы наши голоса растворились в сиянии либерализма, того самого либерализма, который свято чтит всяческий гнет и любое беззаконие. Вы отдадите ваши голоса кандидату, который, будь то радикал, радикал-социалист или социалист, требует подлинной свободы, той свободы, которая не терпит свобод, идущих в ущерб свободе. Вы смело вручите свои голоса тем, кто старается установить социальную справедливость во всей ее широте и добиться всеобщего мира с помощью союза трудящихся. Вам скажут, что эти люди, мол, утописты. Но экономисты, на которых они ссылаются, заблуждаются меньше, чем экономисты старых школ, а главное, они сумели исправить свои заблуждения... А если они даже были утопистами, что из того? Если бы в прошлом не существовало утопистов, люди и поныне жили бы в пещерах, нагие и жалкие. Не кто иной, как утописты, наметили план первого града. Следует, напротив того, от души пожалеть те политические партии, у которых нет своих утопистов. Благородные мечты рождают благотворительную реальность. Утопия — фактор прогресса и прообраза лучшего будущего.



Вы будете голосовать за кандидатов республики, за кандидатов радикалов, радикалов-социалистов и социалистов.

То, что осталось мне сказать, вы, граждане, скажете вместе со мной. Мы вместе с вами будем приветствовать кандидатуру Франсиса де Прессансе \* из Лиона. Благодаря своим знаниям международной политики, благодаря глубокому знакомству с экономикой, своему широкому и великодушному уму Франсис де Прессансе окажет в качестве члена парламента огромные услуги своей стране. Его большое сердце и неукротимая энергия составят честь, партии социальной справедливости, всей республиканской партии.

## РЕЧЬ НА СОБРАНИИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

*4 мая 1902 г.*

Граждане,

кому из нас в детстве дядя, старый друг нашей семьи не показывал вечером на стене зайчика, который широко раскрывал свой светлый глазок и ловко шевелил ушами? Но, обернувшись, мы, разочарованные, убеждались в том, что тень зайчика на стене отбрасывают две скрещенные дядины руки. Точно так же, если избиратели, которым показывают тень националистического зайчика, обернутся, они увидят, что это манипулируют две сцепленные руки — клерикализма и реакции и что необыкновенный зайчик — их создание. Базиль и Гамель не только показывают зайчика, но еще и надеются его даром слова. Они заставляют его говорить... Говорить так, чтобы не сболтнуть лишнего. Вовсе не обязательно, чтобы зайчики говорили лишнее. А то зрители чересчур скоро поймут, что этими невинными устами вещают голоса реакционеров и клерикалов, голоса королевских молодчиков и святых отцов-погромщиков из «Ла Круа». Вы отлично знаете, что именно заставят они сказать зайчика. Они заставят его сказать: «Да здравствует республика!», «Да здравствует свобода!» Но мы понимаем, что это значит. Мы знаем, что

их республика будет националистической, республикой монахов, Черной республикой.

А когда националисты кричат: «Да здравствует свобода!» — мы знаем, что следует разуметь под этими словами. Свобода, которой они добиваются, это свобода для монахов, чтобы те могли свободно ускользнуть от закона; если требуют они свободного обучения, то лишь затем, чтобы монахи свободно обучали детей ненависти и презрению к светскому обществу; если восславляют они терпимость, значит наверняка хотят принудить республику молча сносить козни монахов.

Граждане, результаты голосования в вашем избирательном округе свидетельствуют о том, что вы угадали, чьи руки показывают вам на стене тень зайчика. По первому туру националисты остались в меньшинстве. Республика зовет вас ко второй победе.

Если бросить взгляд на Францию в целом, то в день 27 апреля \* силы национализма были рассеяны. Национализм был лишь тенью, а ныне даже тень эта исчезает. Партия монахов израсходовала впустую многие миллионы и лгала направо, обманув, однако, лишь очень немногих. Уже сейчас большинство против нее. После первого же тура голосования мы имеем антиклерикальное большинство. Пусть членам Лиги Черной республики удалось одержать кое-где несколько беспорочных побед. В восточной части страны, где национализм особенно силен, он завоевал только своих собственных сторонников и после угроз уничтожить всех соперников сокрушил лишь своего могущественного союзника, свое второе «я» — меланизм. Таким образом, национализм сослужил себе самому плохую службу. Он потерял рассудок и способность рассуждать, и невольно на память приходит тот зверь, который, по словам старых охотников, сжирает, обезумев от голода, свои собственные лапы, даже не заметив урона.

Враги республики уже не могут скрыть своего поражения. Напрасно монахи вещают с амвонов, напрасно попы выносят напоказ святые дары, напрасно дамы-сборщицы кланчат милостыню во имя короля; благодаря крестьянину, благодаря рабочему, благодаря про-

летариату городов и сел националисты потерпели непоправимый крах. И мы можем порадоваться от всей души, ибо победа, которую мы одержали 27 апреля и которую мы закрепим 11 мая, есть не что иное, как победа духа над грубой силой, прекрасная победа разума и добра.

Для того чтобы иметь право говорить таким образом, надо знать национализм и понять его подспудные мысли.

Ибо эта длинноухая тень, заполонившая все стены и заборы Франции, обозначает некую идею, — идею смехотворную и все же опасную. Необходимо проникнуть в смысл этого символа. Весьма важно знать, что же в действительности представляет собой национализм. Поэтому-то, граждане, попрошу вас выслушать точное его определение.

Мне хотелось бы напомнить вам одну старую историю. Постараюсь не злоупотребить вашим вниманием.

Три года назад, видя, как наши грозные националисты размахивают на улицах руками наподобие ветряных мельниц и ревут наподобие ослов, я решил обсудить этот вопрос с одним из моих друзей — философом.

— Эта порода лигистов, — заявил я ему, — весьма обременительна, неизящна, нескромна и назойлива. Их вожди, которые никак не могут договориться между собой и не понимают самих себя, утверждают, что скоро будут стоять у кормила власти. Верно ли это?

Мой друг философ ответил мне:

— Не думаю, чтобы республикой когда-либо могли завладеть трублионы.

Так называл он националистов и, без сомнения, был прав, ибо не имел обыкновения бросать слов на ветер.

— Трублионы, — продолжал он, не способны завоевать что-либо. Их победу так же трудно себе представить, как победу стаи саранчи или полчища майских жуков. Трублионизм посвирепствует и пройдет, и если можно сказать о нем, что он свирепствует, то лишь в том смысле, в каком говорят об эпидемии оспы или тифа.

И мудрый друг мой, покачивая головой, печально добавил:

— Но никто не знает, когда прекратится зараза, никто не знает, какой вред нанесет она ослабевшему и усталому населению.

Подумав с минуту, он продолжал горьким тоном:

— Сами по себе трублионы — ничто, но за ними стоят страшные силы человечества: темные силы невежества и ненависти. До сих пор еще дают себя знать остатки древнего варварства и жестокости. В течение многих столетий своего доисторического существования люди ютились на деревьях или в пещерах, на берегу потоков и слишком долго были людоедами, так что первобытный инстинкт, лишь усыпленный веками легкой жизни, просыпается в них порой, и бывлой вкус к убийству себе подобных нет-нет да и пощекочет им небо и ноздри. Этот природный и подспудно живущий в нас инстинкт трублионы стараются возбудить, потекают ему, раздувают его. Они стараются воскресить в жизни все, что, казалось бы, заглохло в душе человека цивилизованного и мыслящего, — я имею в виду лицемерие и жестокость дикаря, нелепые предрассудки, грубый фетишизм, свирепое чародейство древних веков. Они возвращают простодушных и слабых к варварским временам, к жестокому кастовому строю, к тем темным эпохам, когда люди одного племени простирались ниц перед вождями разодетыми в перья и приносили руками жрецов человеческие жертвы своим богам, столь же темным и свирепым, как они сами.

Так говорил мой друг философ. Он был совершенно прав, но он сказал не все. Разрешите мне дополнить его мысль.

Очень важно знать, откуда держит путь сей благочестивый караван. Он выпустил на Париж стаю клеветы и оскорблений, которые еще и поныне заслоняют от нас небо, будто скопище гигантских летучих мышей. И неужели мы позволим этим людям оскорблять республиканцев и социалистов, клеветать на них и не скажем им: кто вы такие, почему вы лжете и кто платит вам за вашу ложь? Нет. Мы добьемся, чтобы их суть стала ясна всем.

Национализм — это средоточие всех реакционных и клерикальных сил. Он — партия всех и всяческих на-

силий и зверств. Он — партия гражданской войны и войны с чужеземными державами.

Национализм партия гражданской войны: вы могли убедиться в этом на похоронах президента Фора, когда один из их вожаков, в отношении к которому ныне они проявляют самую черную неблагодарность, повис на узде кавалерийского коня. Мы достаточно нагляделись на национализм, когда носители священных дубинок избивали на улицах республиканцев под снисходительным оком господина Мелина. Мелин был отцом националистов, и еще неизвестно, кто лучше: папаша или его сынки. Национализм есть партия войны с иностранными державами. Вожди его сеют ненависть между народами, они разжигают гнев людей простодушных и темных; по всякому поводу и без всякого повода они поднимают тревогу и тем обманывают истинных патриотов. Безусловно, народ обязан обороняться, когда на него нападают, а у Франции есть что защищать, и не только свои богатства и свой земли, но также свой гений и свою мысль. Но кто же на нас нападает? Кого хотят утратить эти фанфароны, грозно вращая глазами? Они напоминают тех маленьких собачек, что усердно брешут на добродушных лошадей и на проворных велосипедистов. Над ними посмеиваются, но, будь они покрупнее ростом, их провокационное твяканье могло бы привести к конфликтам.

Они — образец чудовищного варварства, каким является вражда к тому или иному народу, к той или иной расе, другими словами, они наделены даром бессмысленной ненависти, которую человек разумный может постичь лишь путем абстракции. Они и рождаются из абстракции. Но и абстракцию они ненавидят.

Еще можно понять человека, который сражается с ветряными мельницами. Завидев на горизонте этих крылатых властелинов долин, рыцарь Печального образа решил, что перед ним великаны. Иллюзия более или менее понятная. Но ненавидеть разумное существо, народ, расу — это же безумие! Это уж сродни некоей неистовой мифологии, человеконенавистнической аллегории. Нельзя ненавидеть целый народ, коль скоро он включает в себя все мыслимые противоположности —

женщин и мужчин, стариков и детей, богатых и бедных, ленивых и трудолюбивых, злодеев и людей достойных... Раса! Но ведь раса состоит из весьма различных и несхожих между собой индивидуумов. Ненавидеть расу — значит ненавидеть без разбора всех людей, как бы они ни были непохожи друг на друга. Питать такие чувства глупо. Для того чтобы иметь предмет ненависти, надо представить его себе воочию. Как же националисты представляют себе расы и народы? Мне пришла в голову одна мысль. Все вы видели на площади Согласия те статуи, что изображают города Франции в виде нескладных, массивных и тяжеловесных женщин. Лет двадцать назад какой-то человек ночной порой вскарабкался на колени к одной из этих дам, — если не ошибаюсь, к той, что символизирует собой город Лилль, — и отбил ей нос. Застигнутый на месте преступления полицейским, он объяснил, что не мог выносить вида этой женщины. Подозреваю, что и националисты представляют себе чужие нации и расы в облике этих статуй с площади Согласия — то есть в облике огромных нескладных бабищ. Такие люди смешны, но и опасны. Национализм есть партия войны, ибо он партия прошлого, а прошлое прошло под знаком войн и жило насилием. Национализм — партия войны, поскольку он изо всех своих сил старается затормозить успехи миролюбивой демократии. Есть одна лишь сила, способная обеспечить всеобщий мир с помощью надежных, я бы сказал даже научных методов, и сила эта — пролетариат. Объединение трудящихся принесет мир всему миру.

Националисты — враги мира, так же как они враги социализма, демократии и республики. Но, говоря об их ненависти, я невольно льщу им. Даже ненависть эта не их собственное достояние. Она внушена им со стороны. Ненависть эта старинного римского происхождения, старинная ненависть пап и монахов. Их антисемитизм не что иное, как обратная сторона клерикализма, а их национализм распространяется только на поповскую Галлию.

Весь этот дух варварства, инстинкт бешенства и лжи националисты, которые сами по себе ничто, переняли от

монахов, — ибо там первоисточник всех этих зол, — переняли от иезуитов, тех бешеных чернецов, которые, будучи изгнаны, разжигали во Франции гражданскую войну. Они унаследовали эти дары от всех приспешников реакции и угнетения — своих вдохновителей и вожаков.

Граждане Пятнадцатого округа, необходимо довершить начатое вами. Необходимо довершить разгром монахов, патриотов-потрошителей, королевских молодчиков. Необходимо добить трублионов. Объединяйтесь против них! Чтобы победить, нужно как можно теснее сплотиться вокруг имени Аллемана.

Граждане, я встречался с моим другом Аллеманом в первые дни националистического разгула. Аллемана ни на минуту, не в пример прочим, не обманули басни лжепатриотов и представителей римской партии. С первого же часа он энергично боролся против замаскированных клерикалов. И в первом туре он победил с вашей помощью и через ваше посредство.

Завтра победа останется за вами, и это будет вашей немалой заслугой перед демократической и социальной республикой.

## **РЕЧЬ, ПРОИЗНЕСЕННАЯ НА ПОХОРОНАХ ЭМИЛЯ ЗОЛЯ НА КЛАДБИЩЕ МОНМАРТР**

*5 октября 1902 г.*

Господа!

Выступая здесь, у этой могилы, по просьбе друзей Эмиля Золя, я хочу прежде всего принести от их имени дань уважения и выразить сочувствие той, что в течение сорока лет была его подругой жизни, той, что делила и облегчала трудность его первых шагов, делила радость дней его славы и, забывая о себе, поддерживала его в часы тревог и тяжелых испытаний.

Господа!

Пусть та честь, которую я воздаю Эмилю Золя от имени его друзей, смягчит нашу общую скорбь. Не жа-

лобами и причитаниями должны мы чтить людей, оставляющих по себе неизгладимую память, но мощной хвалой и правдивым рассказом об их жизни и творчестве.

Творчество Золя грандиозно. Председатель Общества литераторов \* охарактеризовал его в своей речи с предельной точностью. Министр народного просвещения прекрасно объяснил нам его идейный и моральный смысл. Позвольте и мне вкратце изложить свое мнение.

Господа, здание его творчества строилось у нас на глазах, и оно поражало величием своих очертаний. Им любовались, ему удивлялись, его хвалили, его бранили. Хвала и брань вылетали из уст с одинаковой силой. Многие (в том числе и я) бросали могучему художнику пусть искренние, но все же несправедливые упреки. А здание все росло и росло.

Теперь, когда творчество Золя встает перед нами во всей своей величественности, мы можем проникнуть в его сущность. Творчество Золя дышит добротой. Золя был добр. Как все великие люди, он сочетал в себе величие и простоту. Он был глубоко нравственный человек. Когда он рисовал порок, его кистью водили суровость и целомудрие. Сквозь чисто внешний пессимизм, сквозь мрачный колорит, лежащий на некоторых его страницах, отчетливо проступают глубокий оптимизм и упрямая вера в победу разума и справедливости. Его романы, представляющие собой исследования социолога, полны беспощадной ненависти к праздному и легкомысленному обществу, к порочной и тлетворной аристократии и бичуют главное зло нашего времени: могущество денег. Он был демократом, он никогда не льстил народу — он указывал ему на оковы, которые на него налагает невежество, и предостерегал от опасности, которую таит в себе алкоголь, отупляющий и отнимающий у него средства борьбы с угнетением, нищетой и позором рабства. Он нападал на общественное зло всюду, где бы он его ни находил. Вот куда была направлена его ненависть. В свои последние романы он вложил всю свою страстную любовь к человечеству. Он предугадывал и предвидел новое, лучшее общество.

Он хотел, чтобы все большее число людей на земле устремлялось к счастью. Он возлагал надежды на че-



ловеческую мысль, на науку. Он верил, что новая сила, машина, постепенно освободит трудящееся человечество.

Этот убежденный реалист был в глубине души пламенным идеалистом. По тому размаху, какого достигло его творчество, Золя можно сравнить только с Толстым. Это как бы два больших Города, воздвигнутых искусством на крайних полюсах европейской мысли. Оба эти города великодушны и миролюбивы. Но город Толстого — это город непротivления. Город Золя — это город труда.

Слава пришла к Золя, когда он был еще совсем молод. Он был спокоен и знаменит, он пожинал плоды своих трудов, а потом вдруг отказался и от покоя, и от любимой работы, и от безмятежных радостей жизни. Надгробные слова должны быть торжественны и мирны, сопровождающие их жесты должны быть спокойны и плавны. Но вы знаете, господа, что только справедливость приносит с собой спокойствие, только в истине можно найти покой. Я имею в виду не философскую истину, предмет наших вечных споров, но истину моральную, доступную всем, ибо она относительна, ибо она осязаема, ибо она соответствует нашей природе и находится от нас так близко, что ребенок может до нее дотянуться. Я не погрешу против справедливости, если буду хвалить то, что она сама повелевает мне хвалить и что достойно хвалы. Я не обойду истину трусливым молчанием. Да и к чему нам молчать? Разве те, кто клеветает на него, молчат? Я скажу лишь то, что следует сказать над гробом Золя, но я скажу все, что следует сказать.

Прежде чем вспомнить о начатой им борьбе за справедливость и за истину, могу ли я умолчать о тех людях, которые делали все для того, чтобы погубить невинного человека, и, чувствуя, что час его спасения будет часом их гибели, с решимостью отчаяния начали травить его? Могу ли я не разоблачить их, если я хочу показать вам беззащитного и безоружного Золя, возвышающегося над их толпой? Могу ли я умолчать об их коварстве? Это значило бы умолчать о его героической прямоте. Могу ли я умолчать об их преступлениях? Это

значило бы умолчать о его честности. Могу ли я умолчать о наносившихся ими оскорблениях и о распространявшейся ими клевете? Это значило бы умолчать о том, как он был вознагражден, и о том, какие почести воздавались ему. Могу ли я умолчать об их позоре? Это значило бы умолчать об его славе. Нет, я скажу все!

С тем спокойствием и той твердостью, какую внушает зрелище смерти, я напомню вам мрачные дни, когда эгоизм и страх заседали в совете министров. Было известно, что совершена несправедливость, но ее прикрывали и защищали столь грозные силы, явные и тайные, что даже наиболее стойкие заколебались. Те, кто обязан был говорить, хранили молчание. Лучшие, не боясь за себя, боялись навлечь сокрушительные удары на свою партию. Сбитый с толку чудовищными измышлениями, подстрекаемый напыщенными и гнусными речами, народ, поверив, что его предали, волновался. Законодатели мнений наперебой пытались оправдать ошибку, которую они не считали возможным исправить. Тучи сгущались. Царила зловещая тишина. И вот тогда-то Золя и послал президенту республики свое строго обдуманное и убийственно-меткое письмо \*, разоблачавшее подлог и злоупотребление.

Вы знаете, с какой яростью ополчились на него преступники, их бесчестные покровители, их невольные соучастники, коалиция всех реакционных сил и обманутая толпа, и вы видели, как доверчивые люди по простоте душевной присоединялись к отвратительному шествию наемных крикунов. Вы слышали яростный вой и злобные выкрики, преследовавшие Золя даже в зале суда, где под бряцание сабель, сознательно закрывая глаза на обстоятельства дела и основываясь на ложных показаниях, судьи умышленно затягивали его процесс.

Здесь присутствуют некоторые из тех, кто был тогда с ним и подвергался тем же опасностям: пусть они скажут, какого еще праведника оскорбляли больше, чем его? И пусть они скажут, с какой твердостью он терпел эти оскорбления! Пусть они скажут, изменила ли ему

хоть раз его могучая доброта, его суровая жалость, его нежность и была ли поколеблена его стойкость.

В то гнусное время многие честные граждане теряли надежду на спасение родины и на ее нравственное возрождение. Не только республиканцы, защитники существующего строя, предавались отчаянию. Один из наиболее ярых противников этого строя, непримиримый социалист, воскликнул с горечью: «Если наше общество до такой степени развращено, то его грязные обломки не годятся даже на фундамент нового общества». Справедливость, честь, мысль — все, казалось, погибло.

И все было спасено. Золя не только выявил судебную ошибку, — он разоблачил заговор всех сторонников насилия и угнетения, сплотившихся во имя того, чтобы убить во Франции социальную справедливость, республиканскую идею и свободную мысль. Его смелая речь пробудила Францию.

Благотворные последствия его выступления неисчислимы. Они раскрываются перед нами теперь во всем своем величии и во всей своей мощи. Они простираются бесконечно далеко: они вызвали к жизни движение в пользу социальной справедливости, которое уже не остановится. От него рождается новый порядок вещей, основанный на подлинной справедливости и на более глубоком понимании прав каждого из нас.

Господа!

В мире есть только одна страна, где могли произойти все эти великие события. Велик гений нашей родины! Прекрасна душа Франции, которая в минувшие века разъяснила Европе и всему миру, что такое право! Франция — это страна коронованного разума и благих идей, страна праведных судей и гуманных философов, родина Тюрго, Монтескье, Вольтера и Мальзерб. Золя оказал важную услугу отечеству, не утратив веры в его правосудие.

Не будем скорбеть над тем, как много пришлось ему вытерпеть и выстрадать. Мы должны завидовать ему. Взнесенная над самой чудовищной грудой оскорблений, какую когда-либо воздвигали глупость, невежество и злоба, слава его достигает беспредельной вышины.

Позавидуем же ему: его грандиозные творения и совершенный им великий подвиг служат украшением родины и всего мира. Позавидуем ему: судьба и его собственное сердце уготовали ему величайший жребий — *он был этапом в сознании человечества.*

## С Л О В О   О   С Т Е Й Н Л Е Н Е

1902 г.

Стейнлен мой большой друг. И для того чтобы говорить о нем со всей объективностью, я перенесусь мыслью в те далекие времена, которые, как мне кажется сейчас, никогда и не существовали, в те времена, когда я еще не был с ним знаком. Он пришел ко мне как-то зимним утром, в то время года, когда за окном видны четкие скелеты стволов и ветвей деревьев, окутанных туманной дымкой. Он показался мне совсем молодым, чуть-чуть боязливым и полным неосознанной грации, присущей только душам, щедро наделенным наивностью. Я обнаружил в нем очень милую и забавную смесь деревенской простоты и тонкости, простодушия и проницательности, энергии и кротости, окончательно меня пленивших. Я тут же полюбил этого человека, которым до того восхищался как художником.

Таланту Стейнлена прежде всего свойственна искренность. Искренность суровая, даже чуть-чуть дикарская. В искусстве рисунка, такого четкого, такого свободного, выполненного чистыми, ничем не приукрашенными линиями, Стейнлен нашел свой подлинный, естественный язык. Карандаш его столь послушно выражает все изгибы душевных чувств, что художнику удается передать любые эмоции, вплоть до самого сокровенного трепета. Можно сказать, что Стейнлен сам переживал, перестрадал, прожил жизнь тех существ, которых показывает нам живыми и страдающими.

Он не ищет ни навязчивых эффектов, ни искусственного синтеза, до чего так охочи другие художники: свое

искусство, прежде всего идущее от души, прежде всего инстинктивное, он отдал на изображение нашей старой Земли, несчастного человечества во всем его многообразии, становлении и движении. И образы эти порождены простой, честной, благородной душой, исполненной любви к человеческому роду. Стейнлен любит обездоленных и умеет их рисовать. Кажется, сама жалость струится с его пальцев, столь искусных в изображении несчастных. Он нежен и кроток. Но он и свиреп. Когда он изображает злых, когда он пишет картины социальной несправедливости, эгоизма, скупости, жестокости, его карандаш горит, пылает, мечет молнии. Он страшен, как сама справедливость-мстительница. Эта ненависть сродни любви.

Любовь — вот что заложено в основу его таланта, столь взволнованного, столь глубокого и столь правдивого. Стейнлен любит жизнь, людей, животных, вещи; он любит их любовью пламенной, нежной, суровой и глубокой. Он живет в природе, и природа живет в нем. Отсюда величие его произведений, величие, смягченное нежностью.

## ПИСЬМО ЖЕРО-РИШАРУ

*Капиан, 30 ноября 1902 г.*

Дорогой друг!

Я очень охотно ответил бы на призыв межфедерального комитета. Более чем когда-либо я чувствую, что если мы наконец избавимся от отвратительного господства церковников и богачей, то произойдет это благодаря социалистам, и что только они сумеют нас от них освободить. На них вся надежда. Я был бы счастлив находиться 21 декабря вместе с Жоресом и нашими друзьями. Но состояние здоровья не позволяет мне вернуться в Париж.

Передайте мои извинения Жоресу, которого я люблю и которым восхищаюсь.

*Анатоль Франс.*

## ПИСЬМО К УЧАСТНИКАМ МИТИНГА В ЗАЩИТУ НЕВИННО ОСУЖДЕННЫХ ИСПАНСКИХ КРЕСТЬЯН

1903 г.

Граждане!

Присоединяя свой голос к голосу отважных жителей Лас-Казаса, солидарный с благороднейшими умами Испании, которая останется рыцарственной страной, став к тому же и страной либеральной, во имя справедливости и человеколюбия я протестую вместе с Клемансо, Жоресом, Прессансе, Пьером Кийром \*, вместе со всеми вами против осуждения жителей Андалузии, обвиненных в вымышленном заговоре, и вместе с вами требую свободы восьми невинным жертвам, подвергающимся ужасным мучениям на каторге в Сеуте.

К великой радости республиканской Франции, Испания, освободившаяся от религиозной инквизиции, освобождается и от инквизиции социальной.

*Анатоль Франс.*

## РЕЧЬ НА ПОХОРОНАХ ШАРЛЯ ЛОНГЕ

1903 г.

Одно, только одно слово прощания. Тридцать пять лет назад познакомился я с благородным, славным, добрым Шарлем Лонге. В то время он был таким же, каким мы знали его еще вчера, полным молодых сил, горячим поборником любви и справедливости. Хотя он умер шестидесятилетним, можно сказать, что он умер молодым, ибо прожитые годы были бессильны погасить в нем жар сердца и ясность мысли. Вот почему так мучительна боль нашей утраты; мы скорбим о кончине друга, ушедшего от нас в расцвете жизненных сил.

Это был человек твердого закала. Жестокие испытания, славные и горькие неудачи, тяжкий труд пропагандиста не сломили его. Он обладал оптимизмом труженников и смельчаков. Никогда не терял он веры в народное дело, ни разу не усомнился в прогрессе социаль-

ной справедливости в мире, захваченном новыми идеями, где подспудно борются враждебные силы.

Не поддаваясь обаянию опасных иллюзий, мы можем, по-видимому, утверждать, что у нас достаточно оснований для глубокого оптимизма. Ибо мы видим, как во Франции, в Германии, в Англии, в Соединенных Штатах, невзирая на препятствия, которые воздвигают на пути пролетариата правящие и имущие классы, он закономерно развертывает свои неисчерпаемые силы и медленно, но уверенно готовится к завоеванию власти в умиротворенном мире.

Вот, граждане, какие идеи витают над этой могилой.

Шарль Лонге обладал живым умом и свободным духом. Как журналист, он поставил на службу социалистической партии всю свою кипучую энергию, весь свой литературный талант, свою способность к самопожертвованию. Он оставил достойных его детей.

Дети Шарля Лонге, пусть же память о том, каким был ваш отец, хоть немного облегчит для вас горечь утраты!

## **«СОВМЕСТИМ ЛИ ПАТРИОТИЗМ С ЛЮБОВЬЮ К ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ?»**

*(Ответ на анкету Поля Гзелля)*

*15 января 1904 г.*

Прекрасное чувство всеобщего братства не ново. Его прославляли поэты римской поры. Ближе к нашему времени Фенелон писал: \* «Свою семью я люблю больше, чем себя, свою родину больше, чем семью, человечество больше, чем свою родину».

Я думаю, что сегодня народы белой расы достаточно ясно сознают кровное родство, связывающее их между собой. Мы хорошо знаем, что все мы братья, и отдаем себе отчет в том, насколько преступно убивать друг друга. Но на это нас толкают плохо организованные отношения между народами. В самом деле, необходимые для жизни предметы, производство которых само по себе сложно и утомительно, при нынешнем состоянии мира производятся без всякой системы и рас-

пределяются совершенно неразумно. Плохо налаженное распределение этих полезных продуктов вынуждает различные народы проявлять заботу о самих себе, в результате чего наряду с общей стесненностью постепенно усугубляются стесненные обстоятельства каждого из них.

Наше положение несколько напоминает положение старинных греческих городов. Все они очень гордились общностью своего происхождения, которое сближало их, когда приходилось бороться против варваров. Но они вели непрерывные войны между собою, чтобы добиться господства одного города над другими. Когда все они оказались под римским владычеством, они перестали строить друг другу козни; это доказывает, что, для того чтобы они жили в согласии, им не доставало лишь хорошо налаженного общего управления.

То же самое, несомненно, произойдет и с европейскими народами. Связывающие их уже теперь братские чувства смогут беспрепятственно развиваться в интересах всемирной цивилизации с того дня, когда взаимоотношения между ними будут наконец урегулированы посредством хорошего административного и экономического механизма.

## ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ АЛЬБЕРТУ ЛАНГЕНУ

*1904 г.*

Дорогой господин Ланген!

Вы просите у меня краткую автобиографию. Если доктору Зебу, как вам известно, удалось резюмировать всемирную историю в одной-единственной фразе, то я проявил бы крайнее неумение, если бы не смог изложить своей собственной истории в нескольких строках.

Я родился на набережной Малакэ, против Лувра, среди сокровищ наук и искусств. Отец мой был книгопродавцем. В корпорации книгопродавцев считалось



непреложной истиной, что книгопродавец должен торговать книгами, а не читать их. Мой отец много читал. Ему не удалось разбогатеть.

Очень рано я почувствовал тягу к знаниям. Мне хотелось знать все. Именно поэтому я и не стал ученым. Ученый уже в ранней молодости должен примириться с мыслью о том, что об огромном окружающем его мире ему суждено знать очень немногое. Как-то раз в музее Зоологического сада я спросил у одного крупного геолога про клык мамонта. «Это не в моей витрине» \*, — резонно ответил этот типичный для своего круга человек. Мне же никогда не удавалось отказать себе в удовольствии заглянуть в чужие витрины.

Я не буду говорить о своих школьных занятиях. С моей точки зрения, есть только одна полезная для умственного развития школа — не учиться в школе вообще. Когда я стал уже достаточно взрослым, чтобы самому решать свою судьбу, я пытался заниматься всем, чем угодно, но только не литературой, и принялся писать лишь после того, как убедился, что это единственное занятие, для которого я пригоден.

Говорят, что я пишу хорошо. Если это действительно так, то я объясняю это двумя причинами. Во-первых, я много прислушивался к речи ремесленников и людей из народа. Языку учат нас они. И, напротив, светские люди и учителя говорят на языке искусственном и фальшивом. Вторая причина, по которой я, быть может, пишу неплохо, заключается в том, что я никогда не старался украсить свой язык и всегда стремился точно выражать свои мысли.

Я поступил в библиотеку Сената. Для меня это не было напрасно потерянным временем, ибо там я научился разбираться в политике и сделал кое-какие наблюдения, позволившие мне впоследствии самостоятельно судить о многих социальных вопросах.

В этот период Виктор Гюго был сенатором \*. Я приглаждался к нему. Все говорили мне, что ему свойственна великая гордыня и мелкое тщеславие. Однако вскоре я заметил, что все мои коллеги, служащие Сената, привратники, истопники не менее горды и куда более тщеславны, чем он.

Я занимал в Люксембургском дворце скромную должность с жалованием двести франков в месяц. Как ни странно, но и эта должность создала мне врагов. Как всегда бывает, враги эти оказались для меня весьма полезны: они меня вынудили подать в отставку, и я обрел свободу и независимость для литературных занятий. Наши враги — лучшие кузнецы нашего счастья.

Став свободным, я много путешествовал, особенно по Италии. Я без конца наслаждался зрелищем стран, городов, картин, статуй. Я видел Египет, Грецию. Мои глаза напильсь красотою до опьянения.

Мне кажется, что я обладаю довольно ясным умом. Я — ученик Кондильяка. И когда мне говорят, что у него нет больше учеников, я отвечаю словами Мартена из «Кандида»: «Остался я!»

Ни на одну минуту я не дал ввести себя в заблуждение преступникам из генерального штаба, которые изощрялись во лжи и подлогах ради того, чтобы погубить невинного человека. Я нашел единомышленников в лице многих французских социалистов, которые понимали, что дело ничем не примечательного офицера еврея может породить большое общественное движение. Я всегда сочувствовал обездоленным и уважал труд. Я с живейшим участием слежу за усилиями пролетариата всех стран, борющегося за свое освобождение. Я знаю, что это освобождение явится делом самих пролетариев, и с радостью повторяю слова Ансиля \*, замечательного человека, которым я восхищаюсь: «Единение трудящихся принесет мир всему человечеству».

«Разбирайтесь сами, я не хочу  
быть судьей в этом»

*Деяния апостолов, гл. XVIII, стих  
14 и 15.*

## ЦЕРКОВЬ И РЕСПУБЛИКА

1905 г.

Господин Комб, человек весьма сведущий в церковных делах, недавно в разговоре с одним журналистом обсуждал интереснейшее мнение римской курии о конкордате \*. По словам первого министра французской республики, Пий IX и Антонелли \* утверждали, что конкордат является не двусторонним договором, а уступкой Святейшего престола, и что, следовательно, папа может в любую минуту взять обратно власть, дарованную им лишь под давлением необходимости.

И он добавил:

— Это мнение, по-моему, еще очень распространено в Риме.

Я готов согласиться с г-ном Комбом. Но для большей убедительности следует углубиться в каноническое право вплоть до крещения Константина \*, что мы и делаем по возможности бегло. Тема эта серьезная, быть может, она окажется не слишком скучной.

## Глава I

### *Об отношении римско-католической церкви с государствами*

Римско-католическая церковь — сила одновременно духовная и светская. Ее право главенствовать над миром основано на канонических текстах евангелия, на традициях церкви первых веков, на даре Константина \*, на священных канонах и священных декреталях \*.

Чем бы она ни владела — обширной территорией или одним дворцом, римско-католическая церковь есть не что иное, как государство. Это светская власть, отличающаяся от всякой другой власти лишь тем, что она не ставит никаких пределов своему владычеству и не может сделать этого, не отказываясь от своего божественного происхождения, не искажая своего характера, не предавая и не отрицая самое себя. В отличие от других вполне земных государств, которые приспособляются к условиям, созданным человеком и природой, и подчиняют свою волю, свои действия и свои законы внешним обстоятельствам, церковь не может ни поступиться своим могуществом, которое, по ее неизменному учению, даровано ей свыше, ни отказаться от прав, якобы полученных от бога.

Ее происхождение, каким она его изображает, облекает ее гражданской и политической властью над миром. Ведь, будучи духовной властью, она является в то же время властью светской, ибо, для того чтобы действительно подчинить себе души, должна подчинить их телесную оболочку. И действительно, трудно представить себе господство над духом без господства над плотью. Церковь поистине возвышается над всем сущим; она поистине все охватывает и всюду проникает. Она властвует над всем земным, но сама есть создание земное. И когда наши государственные мужи и наши законодатели требуют, чтобы церковь ограничила свое владычество областью духа, уверяя нас при этом, что она не преминет их послушаться и только выиграет от этого, они либо чересчур наивны, либо попросту издеваются над ней или над нами. Во времена декретов \*

Артур Ранк, который отнюдь не слывет простаком и никогда не насмехается над республикой, беседовал однажды у большого камина Люксембургского дворца с одним из своих будущих коллег, сенатором Шенелон, самым ревностным и искренним членом католической партии.

— Согласитесь со мной, — сказал ему Ранк, что религия — частное дело каждого, вопрос личной совести, и мы легко договоримся обо всем остальном.

Услышав эти слова, сенатор-католик вскочил с места и возмущенно воскликнул:

— Ни за что на свете! Слышите? Ни за что! Католическая религия — частное дело? Нет! Религия — дело общественное, сударь, общественное, и она — всемогуща.

Тогда возле большого камина Люксембургского дворца старик Шенелон выразил сущность римско-католической доктрины. И слыша порой, как министр вероисповеданий заявляет, будто епископы должны ограничить свою деятельность лишь духовной сферой, мы понимаем: министр либо не знает, что такое католический епископ, либо делает вид, что не знает этого.

Церковь, по ее мнению, указывает человечеству его конечную цель и ведет людей к этой цели. Она считает своей миссией спасение мира и предписывает ради этого особые формулы и обряды; она установила правила, касающиеся брака, употребления пищи, праздников, воспитания детей, предназначала, что следует писать, говорить и думать. Но, для того чтобы обеспечить соблюдение этих правил, относящихся скорее к области управления государствами, чем к области духа, церковь должна контролировать деятельность правительств всех стран и занимать место в государственном аппарате всех народов.

Епископ сезский в своем пастырском послании от августа 1904 года прекрасно определил это столь высокое и своеобразное положение церкви:

«Церковь имеет непреложные права на человека, равно как и на все общество. Эти права даны ей богом, и никто не может их отнять... Церковь представляет власть бога на земле и распространяет эту власть на

души и тела пасомых ею людей как в вопросах совести, так и во всех общественных вопросах, причастных к сфере духа».

Всякой обязанности соответствует определенное право. Одна только обладая истиной, церковь берет на себя задачу распространять ее и бороться с заблуждениями. Но она не могла бы справиться с этой задачей, не прибегая к помощи светской власти, или, говоря ее языком, не обращаясь к земным владыкам.

Нельзя сказать о церкви, что некогда она поручала светскому правосудию приводить в исполнение вынесенные ею приговоры, а теперь отказалась от этого права. Она никогда не отказывается от своих прав. Нельзя сказать также, что она изменилась. Она никогда не меняется. Все в мире движется, она одна остается неподвижной, и когда удивляются этому, ее служители говорят о чуде. В наши дни, как и в старину, она присваивает себе светскую власть прямую и косвенную, называя ее более точно политическим и физическим карательным правом. Интересно ознакомиться по нескольким недавно опубликованным текстам с ее мнением в этом вопросе. В 1864 году иезуит Жерар Шнееманн заявил на страницах газеты своего ордена, «Чивильта католика», что церкви подобает и даже приличествует обуздывать непокорных, применяя к ним вполне ощутимые кары, как-то: штрафы, посты, бичевание, заключение в тюрьму без суда и следствия. «Если церковь, — говорит он, — обладает внешней юрисдикцией, — а это истинная правда, — она должна налагать телесные наказания». И святой отец доказывает, что церковь не только может, но и обязана это делать. «Пристрастие ко всему земному, поистине оскорбительное для установленного церковью порядка, недостаточно подавлять чисто духовными наказаниями, лишая душу важных для нее благ, — пишет он, — ибо такого рода наказания меньше всего влияют как раз на самых тяжких преступников; следовательно, если порядок должен быть восстановлен всюду, где он был нарушен, если тот, кто впал в грех, должен искупить свою вину и пострадать, невесте Иисуса Христа надлежит подвергнуть его ощутимым для тела наказаниям».

Без права карать как светская власть, церковь, по определению отца Шнееманна, не устоит до конца веков. Что касается границ ее юрисдикции, она одна имеет право их определять, и всякий, кто оспаривает это право, восстает против бога. Отец Шнееманн не без грусти замечает по этому поводу, что современное общество не внемлет столь спасительным истинам и отнюдь не собирается согласовывать с ними свое поведение. «Мы видим, — говорит он, — что государство не всегда выполняет божественные предначертания. Людская злоба мешает этому. Вот почему прискорбно свелось на нет право церкви пользоваться материальной силой и применять к виновным телесные наказания». Отец иезуит выражает здесь подлинное мнение руководителей католицизма. Церковь всегда утверждала и утверждает, что светская власть обязана сжигать еретиков и что людская злоба — единственная причина, мешающая этому. Современные папы придерживаются такого же мнения о конгрегации Священной канцелярии, как их предшественники Иннокентий III и Павел III. В середине XIX века (1853 г.) тот же орган иезуитов «Чивильта католика» изображал инквизицию венцом социального совершенства. А газета «Юнивер», издаваемая Луи Вейо \*, восхищалась «божественной справедливостью» инквизиции и превозносила ее как «подлинное чудо». Луи Вейо всеми силами призывал блаженную «реставрацию», настаивая, как оно и подобает ученому богослову, на праве папы занять свое прежнее положение среди всех наций мира. И римская курия действительно осуществила это право в 1862 году, заключив конкордат с республикой Эквадор. В восьми статьях этого соглашения предусматривалось, что светские власти обязаны беспрекословно приводить в исполнение любой приговор, который будет вынесен духовными трибуналами. Не подлежит сомнению, что церковь охотно восстановила бы инквизицию во всех европейских государствах, но, как говорит газета Вейо, они недостойны этого.

Лет двадцать тому назад я совершенно случайно услышал в Бурбонском дворце \* речь какого-то правого депутата, разоблачавшего с трибуны безобразия, тво-

рящиеся в Париже. Заметив на одном ярмарочном балагане вывеску «Ужасы инквизиции», он требовал от министра, чтобы тот покарал со всей строгостью закона столь явное оскорбление католической веры. Министр заявил в ответ, что, написав на своем балагане «Ужасы инквизиции», владелец его лишь воспользовался одной из свобод, гарантированных законом, и что его собрат вполне мог написать на другом балагане «Благодеяния инквизиции». Этим министром был Вальдек-Руссо. Он отвечал на запрос тоном серьезным, дерзким, ледяным. Смех прокатился по собранию. Если б в зале присутствовал нунций, он, быть может, не нашел бы смешным ни вопрос, ни ответ.

Папа — носитель верховной власти; короли, императоры — лишь его наместники. Если сравнить папу с императором, то, по выражению Иннокентия, папа подобен солнцу, а император — луне.

Мнения церкви остались такими же, какими они были десять веков тому назад. Говоря языком своего далекого предшественника св. Льва Великого \*, Пий IX заявил в энциклике \* *Quanta Cura*: <sup>1</sup> «Могущество было дано империям не только для управления миром, а преимущественно для оказания помощи церкви». Поистине, удивительно постоянство, проявляемое папами в борьбе с теми правительствами, которые отказывают им в полном повиновении и предоставляют некоторую свободу народам. Иннокентий III осудил английскую Великую хартию \*. Иннокентий X отказался признать Вестфальский мир \*, гарантировавший протестантам свободу вероисповедания. Григорий XVI встретил бельгийскую конституцию 1832 года энцикликой, заявив в ней о нелепости свободы совести и тлетворности свободы печати. Рим метал громы и молнии против испанских законов о свободе вероисповедания и даже против конституции католической Австрии, назвав ее омерзительной, *abominabilis*, ибо она позволяла протестантам и иудеям открывать для своих единоверцев учебные и воспитательные заведения. Наконец,

---

<sup>1</sup> Как много заботы (*лат.*).



Рим осуждает все современные государства Европы, кроме России. В параграфе 80 Силлабуса \* говорится: «Те погрязли в преступных заблуждениях, кто считает, что папа может и должен пойти на уступки и примириться с прогрессом, либерализмом и современной цивилизацией, *cum progresso, cum liberalismo, et cum recenti civilitate sese reconciliare et componere*».

Всякая власть, независимая от папы, есть власть незаконная, всякая власть, выходящая из его повиновения, есть власть преступная. Во время недавней борьбы монахов против французской республики доминиканец Дидон говорил генералам от имени церкви, что чересчур снисходительное правительство должно быть низложено, и угрожал отрешением от власти злощастному Феликсу Форю и его министрам, которые проявили излишнюю мягкость к презренным людям, посмевающим иметь собственное представление о справедливости; поступая так, монах следовал церковной традиции и двадцать третьему предложению Силлабуса, гласившему, что папы по-прежнему властны свергать королей и приносить в дар, кому им вздумается, народы и королевства. По примеру Григория VII, Пий X может и должен сказать: «Церковь даровала корону Петру, а Петр дарует ее Рудольфу» \*.

В евангелии говорится об одном великом грехе, которому нет прощения, и богословы поясняют, что этот тяжкий грех есть отчаяние. Церковь остерегается его совершать: она никогда не отчаивается. Оставаясь неизменной и видя, как все вокруг нее меняется, она терпеливо ждет, чтобы добро победило зло и чтобы народы, разум которых помрачен наукой и размышлением, вновь узрели свет веры. Вот что она говорит устами иезуитов:

«Христианские государства не существуют более, общество людей вновь стало языческим, оно подобно телу из глины, ждущему дыхания божьего. Но с помощью всевышнего нет ничего невозможного. Мы знаем из пророческих видений Иезекииля, что бог вдохнул жизнь в сухие кости. Эти сухие кости — политическая власть, парламенты, всеобщее избирательное право, гражданские браки и муниципальные советы.

Университеты — не сухие, а смердящие кости, и страшная зараза распространяется от их учения, соблазнительного и тлетворного. Однако эти кости могут быть призваны к жизни, если они услышат слово божие, иначе говоря, если признают божественный закон, который им будет объявлен великим и непогрешимым целителем — папой»

Но до тех пор, пока народы не исправились, как будет поступать с ними церковь? Возможно ли соглашение между католическим Римом и современными государствами? Рим — это добро, они — зло. Рим — жизнь и истина, они — ложь и смерть. Есть ли что-нибудь общее между истиной и ложью? Может ли жизнь подписывать договоры со смертью, Рим вести переговоры с Французской республикой? Но тут следует установить различие и обратиться к урокам богословов, чтобы провести грань между поступками гражданской власти и ее сущностью. Если судить по ее поступкам, гражданская власть бывает отвратительной, гнусной, мерзкой. Но если рассматривать ее по существу, она божественна, ибо всякая власть от бога, и только от бога. Недаром папа Лев XIII признал в своей энциклике от 1892 года, что правительство Карно — божественного происхождения. Власть как дурных, так и хороших правителей ниспослана богом, и римско-католическая церковь может спокойно вступать в переговоры и с теми и с другими. Поэтому ее дипломатия столь же универсальная, как и она сама.

Ее советники и министры — люди искушенные; они бывают очень ловки и порой не лишены коварства. Рим не всегда рекомендует им высказывать свою мысль до конца. Ведь церковь человечна и божественна, она одновременно принадлежит небу и земле и, преследуя духовные цели, достигает их мирскими путями. Действовать без должной осторожности — значит искушать

---

<sup>1</sup> «Civiltà», 1868, III, p. 265. Я цитирую «Civiltà» по книге: La Papauté, son origine au Moyen Age et son développement jusqu'en 1870, par Ignace de Doellinger, avec notes par J. Friedrich, trad. par A. Giraud-Teulon, 1904.

бога, утверждают теологи. По мнению отцов-иезуитов, которых я уже неоднократно цитировал, церковь должна считаться с фактами, принимать во внимание обстоятельства и терпеть одно зло во избежание другого, еще худшего зла.

Вот что говорит по этому поводу епископ сеэзский: церковь пользуется властью, данной ей богом, но когда «обстоятельства позволяют (привожу текст дословно) и даже вменяют ей в обязанность уступать крупницы этой власти ради достижения большего блага, она охотно делает это. Разрешая в качестве верховной власти все религиозные вопросы, а также вопросы, по сути своей и духовного и материального порядка, она вступает в переговоры с законными правительствами по обоюдному с ними согласию».

Но прежде чем исследовать, в какой мере церковь обязана соблюдать заключенные ею договоры, следует установить, каковы эти договоры, и выяснить, действительно ли они были заключены между равноправными сторонами, или же они похожи скорее на ряд беспрестанно отменяемых уступок, которые неограниченная властительница делает своему народу. Ведь, будучи универсальной, церковь, в сущности, не может поддерживать международные связи: ее отношения с государствами неизбежно сводятся к отношениям между центром и провинциями.

Конечно, она вступает в переговоры с законными правительствами по обоюдному с ними согласию. Но церковь немощна и нага, она нищая. Она кротко переносит самые жестокие испытания и смиренно терпит унижения. Она уступает силе. И навеки сохраняет право отменять уступки, вырванные у нее по слабости. Она всегда может сказать, что подписала договор по принуждению. Ведь всякое правительство, вступающее с ней в переговоры, принуждает, насилует ее: оно ставит условия, вместо того чтобы повиноваться, и спорит со своей низложенной властительницей, тогда как следовало бы целовать прах у ее ног. Вот почему она всегда имеет право сослаться на отсутствие свободы выбора. И действительно, церковь никогда не бывает сво-

бодна, если приказывает не она. Ей стоит только заявить, что она не имела права отчуждать ни малейшей крупицы своих владений и своей власти, что это всем известно и что не следовало вести с ней переговоры, и она будет права.

## Глава II

### *Обзор отношений французского государства с церковью при Третьей республике со времени ее основания до 1897 года*

Когда республика была провозглашена во Франции в третий раз \*, галликанской церкви уже не существовало; само воспоминание о ней успело изгладиться. Церковь галлов была некогда провинцией римско-католической церкви. Конвенции 1801 года \* превратили ее в государственную церковь. Епископы, которым конкордат дал ранг и полномочия высших сановников, повиновались только Риму. Монахи не признавали другой власти, кроме власти папы. Эта иноземная церковь владела несметными богатствами, обширными угодиями, многочисленными заведениями. Она главенствовала в важнейших ведомствах государства: в министерстве вероисповеданий, как религия большинства французов; в министерстве просвещения, где отвоевала у университета все три ступени обучения; в странно-приимных и больничных заведениях, обслуживаемых монахами; в армии, которую она пополняла офицерами, окончившими ее школы. Влияние религии на общественное мнение было, пожалуй, не столь сильным и не столь распространенным. Крестьяне, никогда не любившие церкви, перестали ее бояться, но по-прежнему относились к ней не слишком дружелюбно; за исключением бывших шуанских провинций, паству священника составляли лишь женщины и дети. Рабочие ненавидели церковь. Однако к ней вернулись молодые буржуа, потомки вольтерьянцев 1830 года. Пример был дан величайшим государственным деятелем буржуазии Тьером, который, испугавшись появления красных на улице, спрятался под мантией епископа

Дюпанлу. Хозяева заводов, негоцианты, землевладельцы, мелкие и крупные рантье просили у религии защиты против сорвавшихся с цепи социалистов. В 1871 году церковь вновь обрела своего давнишнего союзника — страх.

В недрах самого правительства она обрела, кроме того, другую союзницу — спиритуалистическую философию. Министры правительства, созданного 4 сентября, проявили большую слабость перед лицом церкви, чем министры Империи. Они походили на епископов, выведенных Сен-Симоном, которые «питали отвращение к догматам французской церкви, ибо история первых времен христианства была для них книгой за семью печатями».

В 1872 году во Франции произошло нечто небывалое даже для царствования Карла X \*. Список намеченных епископов был представлен папе; нунций был допущен к участию в их назначениях, что, по условиям конкордата, считалось прерогативой французского правительства, а затем все были весьма удивлены, увидев среди епископов одних ярких ультрамонтанов \*. Но это еще не все: некоторые министры вероисповеданий, менее сговорчивые, чем Кремье и Жюль Симон, стали настаивать на том, чтобы курия приняла их кандидатов. Однако епископы, предложенные гражданскими властями, из кожи лезли вон, чтобы заслужить прощение Рима: стоило их назначить, как они проявляли воинствующее ультрамонтанство и относились к Республике как к недругу. Что тут было делать? И все же предварительное соглашение, как говорили в те времена, и вмешательство нунция в выбор епископов были досадным правонарушением и закрепляли вмешательство иностранного владыки в дела Республики.

Следует отдать справедливость римско-католической церкви: она сохранила полную независимость по отношению к республиканцам-либералам, к философам-спиритуалистам и кротким евреям, — всем тем, кто поступил в ее пользу правами государства.

Неправда, будто церковь осуждает республиканский образ правления. Она считает, напротив, что и в республике и в монархии власть дарована богом, который

учредил ее для поощрения или наказания народов и во всяком случае для их спасения, ибо наказание спасительно для виновных. Хорошие правительства остаются верны своему божественному происхождению: это теократии. Дурные правительства забывают о нем или же отрекаются от него. Последние вверяют часть прав, принадлежащих богу, либо тирану, либо народам. Народы обязаны одинаковым повиновением всякой власти, будь она худшая из худших или лучшая из лучших. Одна лишь церковь имеет право низлагать дурных монархов и предавать смерти тиранов. Таково ее истинное учение.

Церковь не считает, что республика плоха сама по себе. Она признает ее плохой, когда та провозглашает свободу совести, свободу обучения и свободу печати. Можно ли удивляться после этого, что церковь приложила все силы, чтобы свергнуть Французскую республику — государство в ее глазах самое отвратительное из всех современных государств, ибо оно намеревалось отдать в руки мирян народное образование, правосудие и социально-благотворительные учреждения? Все надежды церкви сосредоточились теперь во Фросдорфе, где дремал и охотился чудо-ребенок \*, которого шестьдесят лет тому назад бог послал Франции ради ее спасения.

Мрачные выборы 1871 года \*, происходившие под дулами немецких орудий, оказались первым торжеством церкви. Крестьяне желали мира. Опасаясь республиканцев, которые, как и Виктор Гюго, были приверженцами национальной обороны, они предпочитали голосовать за старых монархистов, неповинных в ошибках Империи и поражениях Республики. Голосами этих миролюбцев и было создано Национальное собрание, отдавшее Францию во власть ордена Сердца Иисусова \*. Под сенью вновь избранного Собрания епископы, монахи и священники трудились над восстановлением монархии. Крестьяне предоставляли им действовать, предпочитая голубых красным и меньше опасаясь восстановления Десятины, чем раздела имущества. После разгрома Коммуны и истребления восьмидесяти тысяч

пролетариев республика держалась лишь на плечах президента Тьера, маленького, хитрого, эгоистичного и жестокого старичка, защищавшего ее без благородства и чести, но упорно и ловко, как свою личную собственность. Тьер пал. В клерикальных кругах поговаривали о скором въезде в Париж Генриха V \*. Любовались экипажем и лошадьми короля. Священнослужители изучали церемониал коронавания, а в замках знатные дамы вышивали на белых перевязях золотые лилии. Монархия, основанная на божественном праве, была создана. Граф де Шамбор сам разрушил ее, и притом безвозвратно, отвергнув трехцветное знамя — предмет национального культа. Духовенство обратилось тогда к Орлеанам \*, которые, несмотря на немецкую тяжело-весность своего главы, были опасными претендентами на престол из-за своих миллиардов и широкой поддержки буржуазии. Ограниченный солдат, которым Национальное собрание заменило Тьера, совершил переворот 16 мая \*, переворот грубый и робкий, явно направляемый рукой духовенства. Люди, которых он включил в правительство, были не только монархистами, но и сторонниками парламентаризма; они не пожелали прибегнуть к силе, что показалось невероятным решительно всем, в том числе и префектам. Тогдашние республиканцы, люди весьма посредственные как государственные деятели, оказались превосходны в оппозиции. Они вступили в борьбу с монархистами, проявив при этом строжайшую дисциплину и редкое усердие. Общественное мнение в городах было за них; крестьяне постепенно возвращались к ним. Выборы снова привели их к власти.

Тьера уже не было в живых. Гамбетта, одержавший победу на выборах благодаря своему пламенному красноречию, стал руководителем общественного мнения и первым лицом в республике. От него в первую очередь зависела политика нового правительства по отношению к старой церкви. Денонсирует ли он конкордат, докажет ли необходимость порвать узы, издавна связывавшие двух соперниц — церковь и республику? Он был далек от этого.

— Почему вы не хотите отделения церкви от государства? — спросил у него однажды Иасент Луазон, сам отошедший от церкви под градом оскорблений.

— Это был бы конец света, — ответил Гамбетта. — Духовенство, сплотившее вокруг себя все реакционные силы, оказалось бы сильнее нас.

Духовенство, верное конкордату, действительно сплотило вокруг себя все реакционные силы! И Гамбетта прекрасно знал это. Но он предвидел, кроме того, и непосредственные трудности. Его партия страшилась этого отделения. Во главе правительства победителей стоял старик Дюфор, набожный католик, сторонник конкордата. Армия была за церковь. А кто посмел бы тронуть армию после недавнего поражения и накануне предполагаемого реванша? К тому же Гамбетта при своей внешней революционности был глубоко консервативен. Он помышлял лишь о продолжении церковной политики Наполеона I, Июльского правительства и Наполеона III. Он не знал, не представлял себе иной политики. Это был властный человек. В то время как горячее великодушное сердце толкало его на заключение дружеских союзов со всеми государствами, внутренний голос предостерегающе говорил, что следует шадить церковь — естественную союзницу всякой власти. И он выступил с громким девизом: «Клерикализм — вот главный враг!» Но это был лишь звук горна, звавшего атаковать пустоту; объявляя клерикализм врагом, Гамбетта отводил от церкви удары республиканцев и направлял их на призрак, на плод своей фантазии. Отныне церковная политика Третьей республики была определена<sup>1</sup>.

В 1880 году министр просвещения Жюль Ферри представил в парламент законопроект о высшем образовании, в седьмой статье которого говорилось, что члены конгрегаций \*, не признанных государством,

---

<sup>1</sup> «Антиклерикализм — постоянное, неизменное и необходимое состояние государств; он находит свое выражение в бесконечном ряде актов и столь же мало похож на программу правительства, как понятия добродетели, чести, ума». Вальдек-Руссо, Письмо к Мильерану (Waldeck-Rousseau, Lettre à M. Millerand, dans «Le Temps» du 13 octobre 1901).



лишаются права обучать молодежь. Сенат вычеркнул эту статью. Палата депутатов, верная антиклерикальной политике Гамбетты, потребовала в специальном постановлении роспуска незаконно существовавших конгрегаций. И президент республики — в то время им был Гриви — подписал декреты о роспуске конгрегаций, против которых высказалась Палата. Большинство монахов отказалось повиноваться; они утверждали, что не могут этого сделать, что закон несправедлив и что подчиниться несправедливости — значит стать ее соучастником. Доминиканцы и капуцины отступили только перед силой или, точнее, перед символом силы. Префект полиции Андриё лично явился в светло-серых перчатках, чтобы изгнать иезуитов из дома, который они занимали на Севрской улице. На следующий день все они вернулись обратно. Это было первое гонение церкви при Третьей республике. Оно длилось с июня по сентябрь.

По замыслу Жюль Ферри и его сотрудников, это гонение было показательным, игрушечным. Очевидно, в то время Жюль Ферри еще не выработал плана, который он осуществил впоследствии. Но он уже упрямо стремился к управлению, к власти. У него были две основные черты государственного деятеля: работоспособность и упорство. Он умел воплотить в жизнь задуманное, и если его выступление против монахов грешило явной слабостью, то это было преднамеренно, и, шадя церковь, он следовал своим честолюбивым замыслам. Став во главе правительства после смерти Гамбетты, он проявил себя империалистом на английский лад, толкнул Францию на завоевание далеких стран, на снаряжение колониальных экспедиций, уносивших в едином порыве к славе и богатству солдат, деньги, товары и католические миссии. Теперь он уже угождал епископам и не закрывал больше монастырей. «Белые отцы» \* стали его сотрудниками. Для него опасность заключалась не в монахах. Она вырисовывалась слева, грозила со скамей, на которых сидели радикалы. В те времена Клемансо наносил удар за ударом оппортунистической политике. Позже ему сказали как-то:

— Вы опрокидывали все министерства!..

На что Клемансо ответил:

— Нет, одно-единственное и всегда то же самое.

И он был прав, особенно в отношении духовенства. Церковная политика оппортунистов неизменно заключалась в тайных сделках с конгрегациями и в притворных нападениях на них. Оппортунисты похвалялись антиклерикализмом, но если это слово действительно обязывало их поддерживать суверенитет светского государства, то невольно встает вопрос: неужели они так плохо знали римско-католическую церковь, что надеялись без особых усилий ограничить ее деятельность духовной сферой, словно она не вела постоянной борьбы за право руководить нравами, то есть за суверенитет над светским государством? Они хотели подчинить ее своей власти посредством конкордата 1801 года, не замечая, что конкордат определял исключительно отношения папы и французского государства с галликанской церковью и что галликанской церкви давно не существует. Они относились с непоколебимой верой к законодательному труду Первого консула \* и потому неизменно ошибались. Больно было видеть, как узко трактуют они конкордат, как упрощенно понимают его, полагая, что можно справиться полицейскими мерами с организацией, которая на протяжении веков вела за собой, подчиняла и подавляла бесчисленное множество людей и сохранила даже в дряхлости остаток силы, некогда сгибавшей императоров. Что они сделали с тех пор, как пришли к власти, на что решились в борьбе с противником, прозванным в 1826 году «церковной партией», имени которого они не осмеливались произнести? Они урезали содержание епископов, уничтожили стипендии в семинариях, кое-где упразднили должности викариев и капелланов и, наконец, из года в год сокращали бюджет министерства вероисповеданий, снизив его на шесть-семь миллионов. Они разгневали врага, так и не ослабив его. Их стали ненавидеть, но не боялись.

На выборах 1885 года, как и в прежние годы, духовенство открыто поддержало кандидатов-монархистов, которые были избраны в еще большем количестве, чем

прежде, и заметно воспряли духом. Гобле, человек честный, вспыльчивый и ограниченный, получил портфель министра вероисповеданий в кабинете Фрейсине, состоявшем из радикалов и оппортунистов. Гобле постарался обуздать возмущенную церковь оружием конкордата. Он упразднил все должности викариев и в ответ на нападки епископов, называвших его гонителем и злодеем, предал двух из них суду Государственного совета, который признал и того и другого виновными в превышении власти, что их нисколько не огорчило. Словом, радикал Гобле поступил точно так же, как оппортунисты. Да и мог ли он поступать иначе при режиме конкордата и при тогдашних нравах? Конечно, нет.

Республиканские правители не имели влияния ни на церковь, ни на суд, ни на армию. Скандал, разразившийся в Елисейском дворце \*, где спокойно дремал престарелый президент Греви, запятнал их всех. Величайшая опора республики — народ нехотя поддерживал существующий порядок, в то время как республика, удовлетворенная дарованными ею свободами, нисколько не заботилась о социальной справедливости, а в рабочем вопросе осталась даже от Империи. Моложавому красавцу генералу стоило только появиться на вороном коне в шляпе с белым плюмажем, чтобы вызвать неумеренные восторги толпы. Но Буланже позорно скомпрометировал претендента на престол \* и бесславным концом своей карьеры погубил все надежды роялистов. Лев XIII, сохранивший до глубокой старости тонкость дипломата и проницательность политика, понял, что дело роялизма проиграно навсегда. Папа принял меры, чтобы отвлечь от него французское духовенство. Говорят, что, указывая однажды на распятие, он промолвил:

— Вот единственный труп, к которому привержена церковь.

И он решительно порвал всякую связь с трупом роялизма. Свои взгляды он изложил в энциклике 1892 года:

«Мы признаем за благо и, более того, за дело крайней необходимости возвысить голос, дабы обратиться с

увещаниями не только ко всем католикам, но и ко всем честным и разумным французам. Да отойдут они как можно дальше от источника всяческих политических распрей и да посвятят свои силы умиротворению отечества! Светская власть по сути своей есть от бога и только от бога!..

Итак, когда учреждены правительства, представляющие незыблемую светскую власть, требования общественного блага позволяют и даже предписывают принять эту власть... Однако законы так сильно отличаются от установленной власти или формы правления, что при превосходной форме правления может быть мерзостное законодательство и, напротив, при несовершенной форме правления встречается законодательство, достойное всяких похвал...

Такова почва, на которой должны сплотиться воедино, позабыв о политических распрях, все благонамеренные люди, дабы дозволенными и пристойными средствами бороться с пагубными ошибками законодательства. Уважение, к которому обязывает светская власть, не может воспрепятствовать этому».

Таким образом, старик папа предлагал католикам отказаться от бесплодного штурма республики, признать ее легальность и, если возможно, войти в правительство, чтобы содействовать изменению существующих законов в пользу церкви. Эти настоятельные советы внесли сначала большое смятение в ряды католиков. Только самые проникательные люди поняли их. Вскоре послание папы французским кардиналам подтвердило энциклику. Де Мун и некоторые его друзья присоединились к политике главы церкви и по приказу свыше превратились в республиканцев. В Палате депутатов под руководством Пиу образовалась правая республиканская группировка, которая признала конституцию, оставив за собой право оспаривать любой закон, направленный против церкви. Но многие провинциальные католики и роялисты, неспособные понять эту политику, так явно высказывали ей свое неодобрение, что лепта св. Петра оказалась заметно урезанной. В Бретани и в Анжу благочестивые дамы молились об обращении папы на путь истинный.

Республиканские министры поверили или сделали вид, что поверили, будто Лев XIII — либерал. Эта величайшая глупость осталась незамеченной, так плохо знают во Франции, что представляет собой папа. И министры спокойно поздравляли себя с проявленной ими мудростью, давшей возможность умному папе примириться с республикой. Поистине, во времена президента Карно, весьма достойного представителя крупной буржуазии, республика была безмерно довольна собой. Она торжествовала, считая, что ей удалось объединить основные силы общества. Она была горда тем, что к ней приходят дворяне и священники. По примеру старых монархий, она величественно простирала над церковью свою покровительственную руку.

В 1894 году министром вероисповеданий стал ученик Гамбетты, ничем, однако, не напоминавший Жюль Ферри; это был человек мягкий, простой, отнюдь не честолюбивый, лишенный всяких империалистических устремлений и любивший потолковать за кружкой пива о немецкой философии. Он был очень умен; несколько тяжеловесное добродушие притупляло остроту его насмешливого ума. Он читал больше, чем обыкновенно читают политики. Ему были знакомы книги Ламенне и речи Монталамбера \*, он интересовался церковными делами. На посту министра он охотно беседовал с епископами, и, так как у него была добрая и чувствительная душа, он полюбил их. Он поверил, что они также тонки и умеренны, как и он сам, и возомнил себя теологом, как они. Наконец, будучи стар, утомлен, тучен, он стал думать лишь о том, чтобы жить с Римом в мире и согласии.

Таким образом, Спюллеру казалось, что при нем в министерстве повеяло новым духом, на самом деле это было лишь благодушием и самоуспокоенностью, свойственным министрам, которым льстят и которые сами себя обольщают.

На всем протяжении этого благословенного мира, среди этого ничем не нарушаемого спокойствия римско-католическая церковь готовилась нанести республике сокрушительный удар.

### Глава III

#### О деятельности церкви во Франции в 1897—1899 годах

В 1897-году всю страну взволновало одно дело, затронувшее армию, ее штабы и военные советы. Оно вызвало такую борьбу страстей, что может сравниться лишь с буллой «Unigenitus»<sup>1</sup>, возбудившей за сто семьдесят четыре года до этого (что я с удовольствием отмечаю) горячие споры французов о правде и неправде. Дело Дрейфуса, возникшее на основе негласного судопроизводства, было опасно хотя бы тем, что окружавшая его тайна способствовала распространению лжи. У его истоков мы видим антисемитов, которые уже некоторое время нарушали спокойствие Франции. Могло показаться странным, что в мирное время среди доброжелательного и терпимого народа нашлись люди, способные пробудить заглохшую расовую ненависть и разжечь религиозную войну, если бы не было известно, откуда взялись эти люди, как две капли воды похожие на посланцев римско-католической церкви. К антисемитам вскоре присоединилась многочисленная «Черная партия», которая сеяла зловещие слухи в гостиных, в предместьях, в деревнях, распространяла тревожные вести, говорила о заговоре и предательстве, затрагивала патриотические чувства народа, лишала его уверенности в себе, мало-помалу преисполняя гневом и страхом. Ее приверженцы еще не показывались при ярком свете дня, образуя во мраке огромную неясную массу, среди которой нетрудно было угадать нечто, похожее на рясы облеченных в доспехи монахов — членов Лиги. Но когда «Черная партия» сплотила все силы контрреволюции, объединила множество недовольных республикой и погнала перед собой ту чело-веческую пыль, которую взметает порыв безумия, овладевающий массами, она поднялась наконец во весь рост, огромная, многоликая, и приняла громкое имя Национализм.

Доверчивость людей безгранична. Смущенные и обозленные люди толпами попадались в ловушку,

<sup>1</sup> «Единокорожденный» \* (лат.).

расставленную антисемитами. Многие республиканцы, руководители общественного мнения, уныло следовали за ними. Срок деятельности Национального собрания подходил к концу в атмосфере глухого беспокойства, при полном молчании правительства, жертвы или сообщника «Черной партии», в рядах которого националисты имели своих заложников. Приближались всеобщие выборы. Монахи выступили открыто. Они не потеряли терпения, нет. Терпение никогда не покидает служителей бога. Но они отбросили всякую осторожность как ненужную обузу и с головой ушли в политическую борьбу. В поход двинулось все католическое воинство. Запрещенные конгрегации, чувствуя себя свободнее остальных, орудовали особенно дерзко. Их действия подготавливались исподволь. Ведь все поступки духовенства отличаются постоянством и последовательностью. Для завоевания светской власти во Франции церковь уже несколько лет использовала свои боевые отряды — непризнанные правительством конгрегации. И количество этих конгрегаций беспрестанно росло в наводненной монахами Франции.

И тут на сцене вновь появились старые враги светской власти — иезуиты, гонимые и вездесущие, о которых адвокат Паскье говорил во времена Генриха IV, что они стремятся лишь к одному — разорить государство, появились иезуиты, эти «главные зачинщики» всех наших смут. Не подлежит сомнению, что именно они руководили вначале действиями антисемитов. Позже их можно было встретить в военном министерстве, где они плели интриги, чтобы спасти попавших в отчаянное положение чиновников, готовых на все, лишь бы скрыть истину. Иезуиты видели к тому же в деле Дрейфуса свою священную цель. Они рассчитывали на него, чтобы исправить преступление, совершенное Учредительным собранием \*, считая, что предательство еврея заставит возмущенную и дрожащую от страха Францию лишиться гражданских прав иудеев и протестантов, восстановив законодательным путем единство вероисповедания в интересах истинных католиков. На этот раз иезуиты приложили меньше труда, чем обычно, чтобы замести следы. По-видимому, отец

Дю Лак оказался человеком недостаточно скрытным, а быть может, они слишком полагались на успех, ведь заодно с монахами действовали даже их враги — многие вольнодумцы и республиканцы.

Орден св. Доминика \*, учрежденный для борьбы с ересью, оказался верен своей первоначальной миссии. Проповедники-доминиканцы громили нечестивцев с необычайной страстностью, хотя и не без осмотрительности. Теперь они были довольны республикой и многого ждали от министерства Мелина. Проповедник Момюс недвусмысленно писал в своей книге «О католиках и политических свободах»: «Если политика кабинета восторжествует, она окажется неизмеримо выгоднее для церкви, чем возврат к старому порядку».

Между тем еще усерднее, чем иезуиты и братья-проповедники, трудились на пользу святой «революции» ассумпционисты \*. Это был новый монашеский орден, основанный приблизительно в 1850 году. Ассумпционисты отличались резкими и грубыми манерами и с виду походили на крестьян. Они выдавали себя за бедняков, за нищих и, как птицы небесные, якобы питались чем бог пошлет. На самом деле у них было четырнадцать монастырей с оборотным капиталом, превышавшим миллион франков. Точные сведения об этих монахах можно найти в протоколе судебного процесса, который был возбужден против них. Ассумпционисты разбогатели на торговле чудесами св. Антония. Известно, как исказили современные ханжи облик этого смелого и милосердного францисканца, который в свой суровый и мрачный век посвятил жизнь защите бедняков от скаредности епископов и жестокости государей. Теперь при посредстве монахов святой находит за приличное вознаграждение потерянные деньги и не только деньги, но также драгоценности и ключи. Я знаю в Бордо одного домовладельца, которому он помог найти жильца, и одну даму, которой он помог найти привязанность. Чтобы поставить свое дело на широкую ногу, ассумпционисты стали выпускать газету «Ла Круа», написанную в стиле папаша Дюшена \* и украшенную виньеткой, на которой традиционный торговец печками был заменен распятым Христом, и для вящего заблуждения



простаков этот символ придавал грязным оскорблениям и гнусной клевете монахов слащавость нравоучительных текстов и величие литургических обрядов. Вскоре газеты под названием «Ла Круа» появились во всех департаментах, распространяя по деревням вместе с обликом распятого грубую ложь и ругань. Типография ордена «Дом доброй печати» выпускала большое количество журналов, альманахов и брошюр по религиозной и политической пропаганде. Ассумпционисты владели многими предприятиями и заведениями. Кроме того, они основали несколько братств, чтобы содействовать торговле коммерсантов-католиков и, разоряя мелких лавочников, возвращать их на стезю добродетели; основали ряд ассоциаций дворян, которые в обмен на клятву послушания получали грамоту, подписанную на алтаре; основали наконец избирательный союз католиков, известный впоследствии под названием Комитета справедливости-равенства. Этот комитет принимал непосредственное участие во всех выборах — муниципальных, всеобщих, кантональных и президентских, громя неверующих по примеру средневековых крестоносцев, громивших мусульман. «Чтобы следить за ходом избирательной кампании, — говорит Вальдек-Руссо, — у них было в каждой коммуне по агенту или агентству». Девяносто шесть католических кружков и общество Богоматери, покровительницы армии, располагавшее капиталом в полтора миллиона франков, присоединились к монахам-ассумпционистам.

Республиканцы — сторонники парламентаризма — не сумели вовремя встать между избирателями и националистами. Они дали антисемитам овладеть общественным мнением, так как побоялись опровергнуть их мерзкую ложь, и теперь следили с удивлением и беспокойством за наступлением «черной армии». Произнеся речь в Палате депутатов 16 ноября 1897 года, Леон Буржуа разоблачил растущую наглость конгрегаций; он с ужасом отметил огромное влияние католиков на армию, рассказал, что в городах, где стоят воинские гарнизоны, офицеры ходят к обедне из страха помешать своему продвижению по службе и посылают детей в школы монахов, которые воспитывают их в

ненависти и презрения к гражданской власти. Палата постановила напечатать и расклеить эту речь. Но не безумием ли было думать, что удастся справиться с монахами, укрывшимися за преступлениями генерального штаба, не вырвав у них неодолимого оружия лжи?! Можно ли было покончить с всемогущими конгрегациями, когда никто не решался смело взглянуть на их чудовищную военную машину — дело Дрейфуса?! Дерзкая отвага монахов, которая, казалось, дошла до предела, продолжала расти. Они подстрекали и обольщали растерявшиеся массы, прибегая к грубой клевете и лживым обещаниям. Они вступали в роялистские заговоры не ради реставрации монархии — нет, это было бы бесцельно, — а для установления военной диктатуры и организации материальной силы, душой которой были бы они сами. Они вмешивались в уличные беспорядки, нанимали смутьянов. Каждый вечер по парижским бульварам проходили банды «королевских молодчиков», кричавших «Да здравствует армия!» на пользу католической церкви.

Почти повсюду выборы проходили в атмосфере, созданной делом Дрейфуса, среди невиданного смятения, угроз и нападок, и если кровь не была пролита, то исключительно потому, что в характере у французов много умеренности и вывести их из себя не так-то легко. Республиканцы с трудом вышли победителями из этой унижительной борьбы, сопровождаемые градом оскорблений и клеветнических выдумок; при этом они потеряли некоторых из своих руководителей и уступили кое-где место обнаглевшему противнику.

Опасность вырисовывалась все яснее. Республиканцы, заседавшие в парламенте, поняли это, но они еще не видели, не хотели видеть непосредственную причину своей слабости, своего падения. Они еще не чувствовали всей суровой правды слов, сказанных одним из их собратьев Морисом Лебоном; отказываясь выдвигать свою кандидатуру, так как условием этого выдвижения было молчание о деле Дрейфуса, он заявил:

— Такая крупная партия, как республиканская, не может оставлять безнаказанным нарушение высших

принципов законности и справедливости, не потеряв при этом права на существование.

Несмотря на усилия таких людей, как Ранк, Жорес, Клемансо, Трарьё, Прессансе, «Черной партии» удалось поддержать согласие республиканцев и националистов по делу Дрейфуса. Для нее это было главным, ибо, пока существует согласие, республиканцы, находящиеся у власти, не преминут лить воду на мельницу своих врагов и будут помимо воли сообщниками монахов.

Вот почему, когда пал глава правительства \*, с непреодолимым упорством направлявший республиканцев к их политическому и моральному краху, причем они не смели ни свергнуть его, ни поддержать, и бразды правления были переданы Анри Бриссону, старому, глубоко честному республиканцу, непримиримому врагу монахов, последнему все же пришлось разделить власть с националистами и поручить их ставленнику Кавеньяку руководство военным министерством, где орудовали члены конгрегаций.

Монахи были полны отваги. У них имелось дело Дрейфуса, благословенное дело, созданное, думали они, самим богом, чтобы вернуть Францию на путь католицизма. Доминиканец Дидон, директор школы Альберта Великого, произнес при распределении наград, происходивших под председательством генералиссимуса Жамона, страстную схоластическую речь. С пылом св. Петра великомученика и с мудростью св. Фомы Аквинского он призывал в ней к насилию против тех, кто посмел не только думать самостоятельно, но и высказывать свои взгляды, а это согласно католической церкви поистине достойно осуждения в делах веры. Однако, что не является делом веры с тех пор, как папа объявлен непогрешимым \* и в области религии и в области нравов? Отец Дидон предупреждал правительство, что, терпя беспорядки, оно потворствует им, возвещал кровавые репрессии против тех, кто посмеет словом или делом нападать на армию, и рассматривал как нападки на нее то, что было в действительности лишь смелым разоблачением судебной ошибки. Наконец, он возвещал, что гражданская власть должна

находиться в подчинении у духовной власти, и ставил мирских владык в непосредственную зависимость от духовных руководителей.

— Следует ли давать волю дурным? — спрашивал этот красноречивый монах. — Нет, бесспорно! Когда исчерпаны все доводы убеждения, когда любовь бессильна, надо вооружиться мечом и, потрясая им, устрашать, разить, карать: справедливость должна восторжествовать даже путем принуждения. Прибегнуть к силе порой дозволено и законно, более того, необходимо, и тогда сила перестает быть насилием и превращается в благодетельную и святую стойкость.

Высшее искусство правления состоит в том, чтобы знать истинный час, когда терпимость становится попустительством. Горе тем, кто скрывает свою преступную слабость под покровом мнимой законности, горе тем, чей меч притупился, чья доброта перешла в благодушие! Страна, объятая мучительной тревогой, заклемит и отбросит их за то, что они не захотели хотя бы ценой крови защитить и спасти ее.

...Вот почему, милостивые государи, Франция бережет и лелеет свою армию как святая святых; она чтит армию, и гнев ее будет ужасен, репрессии кровавы, если святотатцы посмеют посягнуть на это бесценное сокровище. Вопреки интеллектуализму, похваляющемуся своим пренебрежением к силе, вопреки обезумевшей свободе, которая нетерпеливо восстает против силы, вопреки притязаниям «гражданственности» (да простится мне этот варваризм), желающей подчинить себе военную власть, вопреки космополитизму, не признающему законов человечества, которое само провидение и природа разделили на самостоятельные нации, вопреки всем софизмам, всем заблуждениям дурно направленных умов, вопреки жертвам, которых требует национальная армия, Франция хочет иметь свою армию, хочет видеть ее сильной, непобедимой и возлагает на нее самые большие, самые возвышенные надежды...

В этой исступленной речи заключалось целое учение: доминиканец осуждал политические свободы и свободу мысли, повторяя положения Силлабуса в форме призыва к гражданской войне. Генералиссимус

французской армии молча слушал, как монах подстрекает солдат к мятежам и избиениям. И так, на этот раз белая ряса Лакордера вновь олицетворяла собой свободу, свободу теократии под защитой меча Франции. Анри Бриссон недолго продержался у власти. И все же благодаря проявленной энергии он продержался достаточно, чтобы выполнить свой долг и добиться пересмотра процесса 1894 года \*, а это стало необходимым после признаний и самоубийства полковника Анри.

Не хватает слов, чтобы описать министерство Дюпюи, которое пришло на смену министерству Бриссона. Это был разгром, хаос, крушение. Республика стремительно катилась вниз, увлекаемая делом Дрейфуса, которое с воим раздували националисты, подталкиваемые римско-католическими бандами. В городах были пущены в ход резиновые дубинки и баядосы, а трость, угрожающе поднятая аристократом, продавала шляпу на президенте Лубе \*.

Республиканцам пришлось задуматься, и после глубоких размышлений они поняли, что болезнь, неожиданно принявшая столь острую форму, была глухой и серьезной болезнью, болезнью застарелой, которая коренилась в законе от 15 марта 1850 года \*. Правда, он был частично аннулирован, но его последствия давали себя чувствовать все сильнее и сильнее. В общем, закон Фаллу обладал одним свойством, редко присущим законам, а именно, действенностью. Чтобы провести его, со стороны тогдашних ультрамонтанов потребовалась редкая предусмотрительность и необычайная ловкость, а также понимание взаимосвязи событий и чувство времени — качества, которые встречаются теперь лишь в церковной политике. И, конечно, ультрамонтаны ничего не добились бы без помощи своих противников, в которой им не было отказано. Они получили — и не в последний раз — помощь либералов. Ведь либералы, как и все прочие смертные, подвержены страху. Революция, опрокинувшая Июльскую монархию, еще не отгрелась, и в клубах ораторы говорили жуткие вещи о коммунизме и разделе имущества. Просвещенные буржуа, которые некогда спокойно

жили под защитой правительства, разоблачая интриги иезуитов, перешли теперь на сторону ультрамонтанов из страха перед красными. Итак, закон Фаллу был детищем усердия и страха.

В подготовительной комиссии аббат Дюпанлу говорил:

— Дело конгрегации есть дело справедливости и добродетели.

На что старый вольтерьянец Тьер отвечал, обращаясь к своему собрату Кузену:

— Послушайте, Кузен, а ведь аббат прав: мы сражались против справедливости и добродетели и теперь обязаны исправить это.

И философ Кузен восклицал:

— Ну так бросимся же поскорее к ногам епископов!

Закон Фаллу отдал во власть церкви все три ступени народного образования и водрузил на голову Франции тиару обскурантизма. Не стоит вспоминать здесь ни о жестоких притеснениях, которым подверглось высшее образование, ни о том, как епископы в бараний рог сгибали незлобивых профессоров Высшей Нормальной школы. Не стоит вспоминать также, что за одно слово, сказанное против католической ортодоксии, Ренан был лишен кафедры \* во Французском коллеже. Достаточно рассказать, во что превратил закон Фаллу низшее и среднее образование. В десятках сотен коммун народные школы были отданы конгрегациям. «Грамота о послушании» оказалась важнее диплома на право преподавания, и часть народа была воспитана в невежестве, в духе ложных доктрин. Иезуиты и марианы, у которых учились дети дворян, привлекли в свои заведения также сыновей богатой и тщеславной буржуазии, которая, стремясь походить на знать, не нашла ничего лучше, как подражать ее пред-рассудкам. Монахи особенно тщательно готовили молодых людей к поступлению в морские и военные школы. Университет — прекрасный отец, но как только дети вышли из-под его опеки, они его больше не интересуют. Напротив, монахи никогда не покидают своих учеников. Об этом много раз говорилось до меня

и, в частности, в прекрасной книге Жозефа Рейнака <sup>1</sup>. Они следят за своими питомцами в течение всей жизни, женят их, содействуют их административной и военной карьере, продвигают в крупной торговле и промышленности, оказывают помощь в адвокатуре, в медицине, на научном поприще. Таким образом, они обеспечивают себе связи во всех слоях общества, во всех государственных органах, создавая разветвленную сеть агентов. Один посетитель, войдя в келью отца Дю Лака, увидел на его письменном столе только одну книгу — «Военный ежегодник».

#### Глава IV

##### *Министерство Вальдека-Руссо и министерство Комба. Закон об ассоциациях*

Министерство республиканской концентрации было образовано во главе с Вальдеком-Руссо. В этом человеке все видели защитника гражданских прав и независимости республики и не только потому, что он пользовался славой прекрасного законоведа и опытного государственного деятеля, наделенного редким умом и блестящим ораторским талантом. Еще в 1883 году при обсуждении проекта Дюфора об ассоциациях Вальдек-Руссо, тогда министр внутренних дел в кабинете Жюля Ферри, боролся в Сенате против засилия монахов, а от нового министерства ожидали как раз возврата к недолговечной политике Жюля Ферри. Кроме того, Вальдек-Руссо был единодушно признан человеком умеренным и либеральным. Все знали, что под его руководством республиканская концентрация не приведет к ущемлению существующих свобод. Наконец большинство в Палате состояло помимо радикалов и социалистов из миролюбивых, точнее сговорчивых, республиканцев, а в любом парламенте гораздо легче навязать крайним группировкам умеренного вождя,

---

<sup>1</sup> «Histoire de l'Affaire Dreyfus», 1903, t. III, p. 25.

нежели умеренным группировкам вождя менее умеренного, чем они сами.

Когда Вальдек-Руссо предстал перед Палатой со своими коллегами, он был встречен бранью и улюлюканьем националистов. Но гораздо обиднее было то, что ему отказали в поддержке его лучшие друзья — либеральные республиканцы. Ибо в качестве либералов они намеревались защищать вместе с националистами свободу привилегий и господства, в чем проявилась не столько их принципиальность, сколько умение играть словами. А как известно, доктринеры не брезгают этой игрой. Таким образом, республиканское большинство в Палате было не слишком велико, но оно все же оказалось достаточным, чтобы министерство Вальдека-Руссо три года продержалось у власти.

Основным делом этого министерства был закон об ассоциациях от 1 июля 1901 года, согласно которому ни одна конгрегация не могла быть основана без разрешения. Конгрегации, существовавшие в момент издания закона, но не утвержденные и не признанные правительством, были обязаны испросить соответствующее разрешение. Конгрегации, которые не выполнили этого требования в установленные сроки, равно как и конгрегации, не получившие разрешения, считались распущенными. Продажа их имущества осуществлялась через суд. Кроме того, члены всех запрещенных конгрегаций лишались права обучения. Это был закон столь традиционный и столь французский, что в нем нетрудно было усмотреть дух и положения, встречающиеся во всем нашем законодательстве. Вот почему, когда читаешь его, кажется, будто прежние законоведы говорят языком наших дней, а Вальдек-Руссо изъясняется, как было принято в старину. Статья 14 закона от 1 июля 1901 года есть не что иное, как статья 7 закона Жюля Ферри. Изложение обоснований, в сущности, повторяется и в докладной записке, составленной министром Второй империи Руланом, и в выступлении Комба перед Сенатом 21 марта 1903 года. В 1847 году министр Сальванди предложил законопроект, гласивший, что «члены



запрещенных конгрегаций не могут ни руководить частными учебными заведениями, ни выполнять в них какие бы то ни было обязанности». А Одилон Барро говорил по этому поводу:

— Я не хочу быть более терпимым, чем Учредительное собрание, и не допущу, чтобы моя страна покрывалась сетью конгрегаций и монастырей перед лицом безмолвного и немощного закона. Во времена Реставрации, столь благосклонной к монахам, конгрегации согласно закону 1825 года не имели права создавать своих общин без специального указа, а уже существующие общины могли открывать новые школы лишь с особого разрешения. Правда, при старом режиме богатые аббатства, которые король жаловал во временное пользование своим министрам, незаконным сыновьям, фаворитам и любовницам, не были подвластны законам. Но в этом случае, как всегда, когда парламент мог проявить свою волю, он принимал для блага государства решения, которые были воспроизведены потом в законе от 1 июля 1901 года.

В эдикте 1749 года, составленном хранителем королевской печати Дагессо, предусматривалось, что ни одно учреждение капитула, будь то коллеж, семинария или монашеская община, не может быть создано без соизволения самого короля. Все имущественные пожертвования, сделанные в пользу религиозных учреждений, признавались недействительными, если заинтересованные лица не успевали вовремя заручиться особой королевской грамотой; однако им предоставлялось право испросить эту грамоту, если даритель был еще жив. Иначе имущество религиозных учреждений продавалось с торгов и вырученные деньги поступали в королевскую казну. Этот эдикт, в сущности, лишь повторял старинные ордонансы. Этьен Паке говорит в книге III главе XLIV своего «Исследования о Франции»:

«Религиозным общинам не разрешается вступать во владение светским имуществом и присоединять его к своим доходам, а потому они не могут принимать пожертвования и завещания, а также совершать купчие сделки без разрешения короля, по воле которого они

обязаны в любую минуту возвратить приобретенное имущество, дабы оно не стало неотчуждаемой собственностью».

После этого длинного перечня законов трудно поверить, что закон от 1 июля 1901 года является чем-то особенным; и действительно, в нем нет ничего необычного. Напротив, с беспокойством замечаешь, насколько он похож на другие, не оправдавшие себя законы, и начинаешь опасаться, что его статьи, оставшиеся на бумаге при режимах, которые внушали папе доверие или страх, пожалуй, окажутся вовсе недействительными, когда дело коснется защиты такого режима, который церковь ненавидит лютой ненавистью и которого почти не боится. Стоит ли говорить о том, что закон от 1 июля 1901 года, лишний раз подтвердивший один из наиболее старинных и незыблемых принципов общественного права во Франции, был встречен «Черной партией» как гнусное покушение на свободу. Вальдек-Руссо мужественно предложил этот закон и с блеском провел его в обеих палатах. Оставалось лишь осуществить закон, когда истек срок полномочий Национального собрания.

Пока в палатах шли прения, монахи вновь приложили все усилия, чтобы выиграть избирательную кампанию. Иезуитов нельзя упрекнуть в том, что они действовали под покровом тайны. Один из них, отец Кубэ, произнес 25 апреля 1901 года в Лурде, перед зуавами Пате, проповедь, в которой увещевал избирателей «обнажить меч, дабы отделить добрых от злых», взывал к Лурдской богоматери, величая ее «девой воительницей», и восклицал с бравым видом: «К оружию, под хоругвями «Сердца Иисусова!» Хоругвь не знамение мира, а знамение войны».

Эта проповедь была напечатана под заглавием «Избирательный меч» и распространена в тысячах экземпляров. Впрочем, дело не ограничилось Лурдом и отцом Кубэ. С благословения епископов, сторонников конкордата, монахи произносили во всех епархиях политические проповеди. И нельзя не согласиться с Леоном Шеном, умным и самостоятельно мыслящим

католиком, что такие речи очень помогли Вальдеку-Руссо провести в Сенате закон об ассоциациях

Этот закон оказал огромное влияние на майские выборы 1902 года. В борьбе участвовали, в сущности, две группировки: правительственная и церковная, причем духовные лица без устали плели интриги и в совершенстве владели оружием клеветы. Правительство было прозвано «иностранным министерством» и «министерством Дрейфуса», иначе говоря, правительством измены. Ибо судебная ошибка 1894 года была главным козырем «Черных».

Националисты вошли в новую Палату, сильно отличающуюся по своему составу от предыдущей, несколько утомленные предвыборной борьбой, но зато в еще большем количестве, чем прежде. Нельзя сказать, чтобы они были избраны только противниками республики, ибо сами объявили себя республиканцами, вернее, сумели собрать голоса как осмотрительных врагов демократии, так и ее обманутых друзей. В известном смысле националисты могли считаться республиканцами, так как были, сознательно или нет, орудием «Черной партии», стремившейся не уничтожить республику, а завладеть ею. Между тем прогрессисты, отказавшиеся поддержать министерство Вальдека-Руссо в деле республиканской концентрации и в борьбе с клерикализмом, потеряли более четверти избирателей, которые отдали свои голоса националистам или радикалам в надежде найти либо явных противников, либо последовательных защитников политики правительства. Этот факт был чреват важными последствиями. Нетрудно было предугадать, что партия, украшением которой служит крупный талант Рибо и сильный характер Рено-Мольера, будет отныне бесславно тащиться где-то в хвосте клерикализма.

В конце концов большинство депутатов высказалось в пользу правительства гражданской концентрации. И вскоре выяснилось, что это большинство численно превосходит предыдущие, а главное, более решительно

---

<sup>1</sup> Léon Chaîne, Les Catholiques français et leurs difficultés actuelles, 1903.

настроено. Одержав победу, Вальдек-Руссо отстранился от власти.

В «Жизнеописаниях» Плутарха говорится, в частности, о Солоне:

«Когда законы были введены, каждый день стали приходить к Солону люди, которые хвалили или осуждали их и советовали ему прибавить к ним или исключить из них что-нибудь. Но больше всего было таких, которые приходили его спрашивать или поговорить с ним о законах и просили научить их и объяснить, что значит то и в каком смысле понимать другое. Видя, что сделать это трудно, а не сделать — значило бы возбудить неудовольствие, он пожелал избавиться от затруднений и спастись от неудовольствия и порицаний своих сограждан, ибо, как он сам сказал:

В больших делах, само собой,  
На вкус не угодишь любой.

Поэтому под предлогом торговых дел, будто бы требующих его длительного отсутствия, он испросил у афинян позволения удалиться на десять лет и оставил город».

Вальдек-Руссо тоже отправился путешествовать, но не из робости, а по другим соображениям. Он сослался на то, что выполнил свою программу и восстановил общественный порядок. Порядок, конечно, был восстановлен на улицах. Но причины смуты по-прежнему коренились в умах людей, а ведь предстояло осуществить закон об ассоциациях — задача трудная, но необходимая.

Она выпала на долю бывшего министра просвещения, сенатора Эмиля Комба, которого Вальдек-Руссо предложил на пост председателя Совета министров. Палата знала, чего можно было ждать от Комба, знал это и Вальдек-Руссо. Как председатель комиссии по выработке закона об ассоциациях, Комб выступил 21 июня 1901 года в Сенате в защиту статьи 14 этого закона, подтвердившей «недееспособность запрещенных конгрегаций в деле просвещения». С тех пор он не только не скрывал своих взглядов, но пользовался всяким удобным случаем, чтобы высказывать их.

Весной 1902 года Жюль Юрэ открыл на страницах «Фигаро» опрос о секуляризации школы. Он отправился прежде всего к Комбу и в тиши Люксембургского дворца задал ему несколько вопросов о преимуществах и неудобствах государственной монополии в области обучения.

— Если свобода обучения сохранится, несмотря на отмену закона Фаллу, думаете ли вы воспрепятствовать религиозному обучению и какие меры собираетесь принять для этого? — спросил он председателя Совета.

Комб ответил:

— В законе об ассоциациях это предусмотрено. Если правительство применит закон так, как он задуман, религиозному обучению придет конец.

Это интервью появилось в «Фигаро» 18 марта. И все же Вальдек-Руссо упрекал впоследствии Комба в том, что он превратил закон по контролю над конгрегациями в закон, направленный против них.

С июня по август Комб приказал закрыть на основании закона 1901 года сто двадцать семь неутвержденных школ, которые возникли уже после издания этого закона. В августе он приказал закрыть все школы, которые нарушили закон, не испросив разрешения в течение трехмесячного срока. Эти меры вызвали удивление и негодование «Черных». Удивление было искренним. Я бы сказал даже, что оно было естественным, так как в то время не допускали и мысли, чтобы правительство могло применить закон, ущемляющий права конгрегаций. Это попросту не было принято. Велико было и возмущение умеренных депутатов Палаты. Один из них, человек по природе мягкий, назвал закон преступлением против свободы и человечности. Но это следует, конечно, понимать в парламентском смысле. Черное духовенство стало готовиться к публичным выступлениям. Под яркими лучами июльского солнца процессии святых братьев потянулись по улицам городов и по деревням. В Париже аристократы толпами сопровождали изгоняемых из школ монахинь. Сильные духом женщины, вроде тех, о которых говорится в Писании, устремлялись через Елисейские поля к министерству внутренних дел и

напрасной надежде удовлетворить свою жажду мученичества. В Бретани католические комитеты организовали сопротивление закону. Служители церкви призывали женщин и детей к возмездию, подстрекали к борьбе крестьян, опьяневших от религии и водки, создавали отряды, днем и ночью охранявшие школы. Священники под командованием офицеров в отставке строили баррикады и копали рвы вокруг школьных зданий, а завидев полицейского комиссара, отлученного от церкви, направляли в него струю смрадной жидкости, в луже которой некогда умер нечестивый Арий. В одной из коммун викарий лег на землю во дворе школы, и жандармам пришлось унести его, как мешок с картофелем.

«Такова обычная тактика клерикальных партий, — говорит Ренан в своей «Истории израильского народа». — Они заставляют светскую власть принимать крайние меры, а затем выдают эти меры за возмутительное насилие над личностью».

Вот случай, показывающий, до какого неистовства довело бретонских католиков подстрекательство духовенства. Некий священник вылил лохань помоев на голову полицейского комиссара. В память об этом подвиге прихожане собрали по подписке деньги и преподнесли ценный подарок своему духовному отцу. Вспомним, кроме того, что офицеры не желали повиноваться законным приказам начальства, что ханжи в мундирах бомбардировали военное министерство прошениями об отставке. Вспомним о возмутительных приговорах судей, которые отказывались применять закон к членам конгрегаций, и мы поймем, что до восстановления порядка, о котором говорил Вальдек-Руссо, было еще довольно далеко.

Комб, безразличный к оскорблениям и угрозам, продолжал начатое дело. Палаты имели право принимать или отклонять ходатайства конгрегаций, непризнанных по закону 1901 года. Но эти ходатайства были так многочисленны, что не хватило бы и десяти лет, чтобы рассмотреть каждое из них в отдельности и по каждому вынести специальное решение. В этом случае закон попросту остался бы на бумаге, но вряд ли

таково было намерение законодателя даже в вопросе о конгрегациях. По согласованию с Государственным советом, правительство выработало проект ходатайства, составленный таким образом, что палатам оставалось только голосовать «за» или «против», причем ходатайство, отклоненное одной из палат, не разрешалось представлять на рассмотрение другой, ибо с момента отклонения оно считалось аннулированным.

Кроме того, правительство разделило конгрегации на три группы: просветительные, благотворительные и чисто религиозные — и для каждой из этих групп выработало специальный проект прошения.

Это нанесло огромный ущерб правым партиям, так как отныне закон можно было осуществить; поэтому они выставили против него ряд юридических аргументов, на которые министр ответил в своем выступлении в Палате 18 марта 1903 года. Вот наиболее важные места из его речи:

«Соглашаясь на метод коллективного голосования, вы не идете вразрез ни с буквой, ни с духом закона от июля 1901 года. Не будем останавливаться на частностях, а сразу перейдем к существу дела.

Разъяснение вопроса вы найдете в двух статьях закона. В статье тринадцатой, где говорится, что ни одна конгрегация не может существовать без разрешения, полученного в законном порядке. В статье восемнадцатой, где предусматривается, что конгрегации, которым было отказано в разрешении, считаются официально распущенными. Но в законе нет ни одного слова, обязывающего вас отвечать на однородные ходатайства рядом самостоятельных и последовательных отказов.

Вопрос о просветительных конгрегациях встает перед вами как принципиальный вопрос, ибо он касается одновременно высших интересов республики и свободы обучения. Итак, в данном случае вам предстоит разрешить принципиальный вопрос...

Разумеется, правительству пришлось пойти на рассмотрение каждого ходатайства в отдельности. Оно вынуждено было так поступить по двум причинам. Во-первых... существует специальное приложение к

закону от 1 июля 1901 года, вменяющее в обязанность правительству рассматривать не прошения конгрегаций вообще, а каждое прошение в отдельности и представлять его в форме законопроекта на утверждение одной из двух палат Национального собрания. Во-вторых, долг повелевал нам разобраться в содержании, в характере и в истинном значении каждого ходатайства, а уже затем просветить на этот счет и вас.

Поступая так, милостивые государи, мы сделали то же, что сделали до нас и другие правительства, ибо закон 1901 года не является новшеством: он только повторяет и подтверждает ранее существовавшее законодательство.

Между старым и новым законодательством имеется все же различие: прежние законы не обязывали правительство представлять на рассмотрение палат ходатайства конгрегаций, оставляя последние совершенно беззащитными в случае его отказа. Напротив, новое законодательство вменяет в обязанность правительству предлагать эти ходатайства вашему вниманию. Но ни в старых, ни в новых текстах нет ни слова о том, что вы должны в последовательном порядке обсуждать однородные ходатайства, которые правительство рекомендует вам отклонить по соображениям принципиального порядка.

Милостивые государи, эти принципиальные соображения должны преобладать над личными и групповыми интересами. Если убеждения подскажут вам согласиться с ними, будет не только бесцельно, но и неуместно заставлять правительство двадцать пять раз подниматься на трибуну и зачитывать двадцать пять одинаковых ответов на двадцать пять тождественных ходатайств.

По согласованию с комиссией правительство выработало процедуру, в которой, по его глубокому убеждению, нет ничего противоречащего закону. Республиканское большинство Палаты не захочет отказать правительству в своем доверии и, лишив его этого доверия, сделать невозможным продолжение возложенной на него задачи...



Палата отклонит без колебаний ходатайства просветительных конгрегаций. Она отклонит их все сразу, не теряя времени на то, чтобы рассматривать каждое из них в отдельности.

Такое рассмотрение заняло бы, поверьте мне, не только весь срок полномочий настоящего Национального собрания, но и весь срок полномочий будущего Национального собрания.

Независимо от того, правильно или неправильно вы поступили, предоставив законодательной власти сказать свое решающее слово по вопросу о ходатайствах конгрегаций, вы находитесь теперь перед совершившимся фактом. Но если вы, милостивые государи, пожелаете заняться обсуждением каждого ходатайства в отдельности, вам придется внести в порядок дня заседаний Палаты четыреста пятьдесят один законопроект.

Помимо невозможности взять на себя такую задачу, не отказавшись от всякой другой работы, рассмотрение всех ходатайств оказалось бы делом бесконечно скучным, ибо сквозь пестроту названий и форм неизменно проступают одни и те же характерные черты. Повсюду за кажущимся разнообразием уставов кроется то же направление мыслей, проявляется та же воля, зреют те же контрреволюционные надежды. По своему идейному содержанию все эти ассоциации скроены по одной мерке, все они имеют ту же сущность, те же стремления, ту же цель.

Дух старого времени, дух реакции вызвал их к жизни на обломках старого мира, как живое отрицание основных принципов современности.

Дух же современного общества, дух революции должен отбросить их в прошлое, навеки осужденное доктринами и нравами демократии».

Неожиданно оказалось, что Комб не был согласен по этому пункту со своим предшественником; однако нельзя было отрицать, что Вальдек-Руссо пользуется огромным авторитетом в деле истолкования закона, который он сам предложил и провел. Вернувшись из длительного путешествия, Вальдек-Руссо решил, правда с запозданием, высказать свое мнение. В сущности, оно

скорее могло удовлетворить тех, кто был против закона, чем тех, кто голосовал за него. Вальдек-Руссо разъяснил, что согласно намерениям законодателя каждое ходатайство следует обсуждать в отдельности и представлять затем на рассмотрение обеих палат. И он не скрыл, что исполнительной власти надлежит весьма щедро выдавать разрешения, что отказ должен быть исключением, а не правилом и что, наконец, не следует «превращать закон по контролю над конгрегациями в закон, направленный против них».

Взгляды бывшего председателя Палаты обрели в этот поздний час изящество чисто умозрительного построения и прелесть небрежной игры мысли. Но, несмотря на бесстрастный и даже безучастный тон, которым они были высказаны, эти взгляды преисполнили нежданных надежд всех тех, кто стоял за предоставление свобод и привилегий конгрегациям. И таковы были юридические познания, авторитет и ораторский талант Вальдека-Руссо, что волнение охватило Сенат, Палату и общественность. Ко всеобщему удивлению, оказалось, что и друзья и враги неправильно поняли намерения этого государственного человека и что закон, из-за которого во Франции больше полугода не прекращались раздоры, был совсем не тем, за что его принимали. Вопреки очевидности, Вальдек-Руссо считал (и теперь это стало известным), что после изгнания наиболее деятельных и неистовых монахов, прозванных им самим «дельцами» и «заговорщиками», а также невежественных фанатиков-ассумпционистов, которых не решался признать даже папа, республика прекрасно уживется со множеством остальных монахов, занимающихся благотворительностью, обучением и чисто религиозными делами. Мысль странная для столь рассудительного человека, ибо при таком толковании закон от 1 июля 1901 года превратился бы, как сказал сам Вальдек-Руссо, в закон по контролированию, proibив у монахов всех нераспущенных конгрегаций надежду на утверждение и даже признание, что ни одно правительство, даже правительство Реставрации, не осмелилось бы им предоставить в столь широком объеме. И действительно, Вальдеку-Руссо оставалось

теперь лишь войти в соглашение со Святейшим престолом — а оно не замедлило бы состояться, — чтобы заключить конкордат еще более невыгодный, чем конкордат 1801 года, признать черное духовенство, как Первый консул признал белое духовенство, повергнуть Францию к стопам «праведника» в лице Пия VII и самому стать наконец Бонапартом монахов. Программа умиротворения, конечно, широкая и великодушная, но полная подводных камней, которую даже Наполеон нашел бы рискованной, хотя он мог прибегнуть в борьбе с враждебной партией к мерам, недоступным республике, а именно к расстрелу братьев-конспираторов и к посылке в полк чересчур непоседливых послушников. Но что за поразительная непоследовательность в воззрениях такого строгого законодателя, как Вальдек-Руссо! Избавив нас сперва от монахов-заговорщиков и от монахов-дельцов, он навязывал нам теперь государственных монахов! Хоть и нельзя было не признать огромных услуг, которые Вальдек-Руссо оказал Франции, приходилось защищать теперь созданный им закон от него самого.

## Глава V

### *Дальнейшая деятельность министерства Комба*

Программа министерства Комба предусматривала отмену закона Фаллу, от которого, по правде сказать, мало что оставалось. При обсуждении в Совете проекта Шомье, всецело удовлетворявшего республиканскую партию, был поднят вопрос о свободе обучения, вызвавший столкновение между сторонниками и противниками монополии школы. Комб несколько раз высказывал свои мысли о свободе обучения. Он не относит ее «к числу основных прав, неотделимых от личности гражданина». Он утверждает, «что общественная власть обязана осуществлять этот принцип и определять границы его применения». Он считает, что «право обучения — это знак доверия со стороны общественной власти», и охотно повторяет слова Виктора Кузена: «Право обучения есть полномочие, предоставляемое общест-

венной властью». Он допускает возможность условий, неблагоприятных для педагога, и признает, что, выходя из общества и отказываясь от собственной воли, человек становится неспособным формировать юную волю социального существа. Этот случай вполне применим к монахам. Белое духовенство, не говоря уже о том, что его трудно отличить от черного духовенства, тоже дает обеты, ведет особый образ жизни, подчиняется духовному руководству; вот почему его наставления об общественной морали и нравственности не внушают доверия. Итак, взгляды Комба, естественно, привели его к требованию полной секуляризации народного образования, конечно, в той мере, в какой это допускалось состоянием государственных финансов.

Став председателем Совета министров, Комб остался верен мнению, которое он высказал Жюлю Ферри 18 марта 1902 года: «Если правительство применит закон об ассоциациях так, как он задуман, религиозному обучению придет конец».

Можно, пожалуй, сказать, что в этих словах кроется недоверие к христианской морали; но прежде всего следует спросить себя, действительно ли существует единая христианская мораль, и тогда выяснится, быть может, что христианская мораль не одна, а их несколько. Несмотря на кажущуюся устойчивость христианства, его догматы сильно изменились, но еще больше изменился дух учения. И в этом нет ничего удивительного. Ведь христианству девятнадцать веков. Изменись оно меньше, оно не было бы столь долговечным. Христианство прошло через многие народы и расы, пережило как варварские, так и утонченные цивилизации, извело три последовательных формы труда: рабство, крепостничество и наемный труд — и на протяжении столетий приспособлялось к различным общественным условиям. В силу необходимости много раз менялся и дух учения. Но дело сейчас не в этом. Ограничимся более простой задачей. Посмотрим, что говорят о добре и зле невежественные монахи и простоватые сестры, обучая в школе маленьких детей. Несомненно, их христианская мораль может показаться наивной. Следует, однако, принять в расчет простоду-

шие преподавателя и учеников и не попасть в смешное положение, обнаружив в неискушенных словах доброго монаха чудищ мрачной теологии. И все же, присматриваясь к делу поближе, с удивлением и грустью замечаешь, что учителям-монахам не хватает мягкости и великодушия, что понятие о долге выглядит у них корыстным, эгоистическим и сухим и что, наконец, добро почти исключительно сводится к повторению ничтожных обрядов и нелепых формул. Но славный монах в этом не повинен. Христианское учение обязывает его прежде всего связывать души людей с богом, а уж потом объединять их между собой узами любви и сострадания.

Наивная мораль монахов имеет тот существенный недостаток, что она внушает детям страх, пугает юные умы изображением адского пламени и мук грешников, а также угрозой тяжких наказаний. Монахи говорят своим ученикам, что избежать вечного огня можно не иначе, как соблюдая ряд мелочных и сложных правил, среди которых нет места бескорыстию. Передо мной лежит небольшая книжка религиозного содержания с картинками. Здесь только и видишь, что костры, раскаленные уголья да рогатых дьяволов, вооруженных вилами и вертелами. При взгляде на эти картинки становится смешно. На самом деле, это отвратительно. Есть нечто принципиально бесчеловечное в морали монахов; но для большей наглядности приведем пример.

Я возьму этот пример из жизни духовных конгрегаций, которым закон дал право по бюджетным, а отнюдь не религиозным соображениям, еще долгое время вести начальными школами, отнятыми у запрещенных конгрегаций. Я обращаюсь к монашескому ордену, у которого особенно много школ и учеников в нашей стране, столь богатой монашескими заведениями. Я приведу лишь одну фразу, сказанную монахом, но постараюсь передать ее как можно точнее: она стоит того. Вот в чем дело.

Осенью 1895 года, находясь в Сент-Эмильоне, я побывал в доме г-жи Букэ. Эта дама, как известно, целый месяц прятала у себя в подземной галерее семь осуж-

денных жирондистов. Ее самоотверженность погубила ее и не спасла беглецов. Она была гильотинирована в Бордо. Валади, Саль, Гаде и Барбару погибли у нее в доме. Бюзо и Петсион покончили самоубийством в поле ржи, где их трупы были найдены, наполовину съеденные собаками. Одному Луве удалось бежать. Итак, девять лет тому назад, когда я посетил старый дом Букэ, в нем помещалась школа невежествующих монахов; окна низкого здания под черепичной крышей грустно смотрели на жалкий, обнесенный оградой садик, в котором росли буковые и тисовые деревья. Все было пустынно кругом, так как каникулы еще не кончились. Меня принял отец настоятель.

Это был низенький старичок с быстрым, живым взглядом, выразивший свои мысли ясно и кратко. Он любезно провел меня в дом, устройство которого несколько не изменилось со смерти г-жи Букэ. В одной из комнат сохранился даже камин XVIII века, на гладком белом мраморе которого красовался в рамке из жемчугов инициал «Б» семейства Букэ. Настоятель сказал мне, что он много слышал об этой даме, а один адвокат из Бордо даже подарил ему книгу, в которой говорится о ней. Мы спустились в подземную галерею, на известняковые стены которой падал откуда-то сверху белесый свет.

— Вот здесь, — сказал мне монах, — прятались в течение месяца семь жирондистов, объявленных вне закона. Они спускались сюда и выходили наружу через колодец, который вы видели в саду; он до сих пор называется «колодцем жирондистов».

Мы разговорились. Мой собеседник был чрезвычайно осторожен в выборе слов и опасался высказывать свои суждения. Но уже по одному тому, как монах излагал факты, мне показалось, что он знает об истории революции в своем департаменте несколько больше, чем следовало ожидать от такого, казалось бы, мало любознательного человека.

Тщательно избегая касаться в разговоре убеждений и доктрин, я сказал ему несколько слов об этих жирондистах, красноречивых, молодых, взлетевших так вы-

соко в глазах общественного мнения и все потерявших, всеми покинутых, поставленных вне закона, но до конца жизни безгранично преданных своему проигранному делу и в ожидании смерти заботившихся лишь о том, чтобы оставить по себе достойную память. Я с сочувствием произнес имя славной женщины, которая кормила их в голодное время, сама получая скудный паек, и рисковала навлечь на себя подозрение всякий раз, как отправлялась на поиски продуктов; и все же она прятала у себя беглецов и не боялась того, что один тогдашний республиканец назвал «заразой мученичества».

Отец настоятель выслушал меня весьма внимательно и некоторое время молчал, скрестив руки на груди и опустив глаза.

Затем он поднял голову и, перебирая в руках ключи, промолвил:

— Сколько я ни размышляю, не нахожу ни с той, ни с другой стороны достойных похвалы деяний или добрых дел. Вижу лишь силу человеческих характеров.

Я был восхищен. В нескольких словах настоятеля заключалось целое учение. Этот простой старик выразил спокойно, кротко чувства глубокой и святой бесчеловечности, которые были внушены ему с детства. Ведь он был монах и верил, что дела без веры мертвы есть. Не думаю, чтобы он мог иссушить и ожесточить сердца мальчиков-жирондистов, находящихся под его ферулой в старом доме семейства Букэ. Не следует предполагать такую силу ни в одной доктрине. Но как имел обыкновение повторять аббат Морелле, слыша о самоистязаниях кающихся грешников: «Уж если это не фанатизм, то я попросил бы мне дать его определение».

Вот почему мы с радостью услышали заявление министра вероисповеданий о том, что детям преподаются в светской школе «принципы морали, поистине прочной, ибо она свободна от всякой догмы, и поистине возвышенной, ибо она не имеет иного источника, кроме вечных и незыблемых понятий о справедливости, долге и праве».

## Глава VI

### *Дальнейшая деятельность министерства Комба. Дипломатическая нота папы государствам. Два епископа — сторонника конкордата, попавшие в немилость*

На выборах радикалы и социалисты получили большинство голосов \*, и количество сторонников отделения церкви от государства в Палате увеличилось.

Один из депутатов, Франсис де Прессансе, человек широкого ума и большого сердца, прекрасно осведомленный к тому же о современном положении в Европе, выступил с хорошо разработанным проектом — первой и сложной попыткой создать закон, обеспечивающий одновременно и свободу совести и права государства (7 апреля 1903 г.).

Довольно много законопроектов было представлено всеми группами Палаты, кроме правых роялистов и католиков. Палата передала их на рассмотрение специальной комиссии, которая ничтожным большинством голосов высказалась за отделение церкви от государства. Эта комиссия поручила социалисту Аристиду Бриану представить доклад, который мог бы лечь в основу широкого обсуждения.

К этому времени Лев XIII умер. Под давлением австрийского правительства конклав избрал папой архиепископа венецианского Сарто, который принял имя Пия X, указывая этим, что он будет следовать политике первого «непогрешимого». В начале его понтификата Ватикан вызвал трения с Францией, взволновавшие всю страну. Стоит упомянуть об этом не потому, что они важны сами по себе, а из-за вызванных ими последствий.

Узнав, что президент Лубе прибыл в Рим \* ко двору итальянского короля, папа направил правительствам христианских государств протест против этого поступка, которым французский президент демонстративно признавал права итальянского народа на город Рим, — оскорбление тем более чувствительное для Святейшего престола, что оно исходило от «старшей дочери церкви». Увы! Неужели христианская Галлия, осыпанная папой



благоденствиями и одаренная привилегиями, оказалась столь неблагоприятной и ее глава восседает теперь за одним столом с герцогом савойским, незаконным обладателем вотчины св. Петра! \* Римская курия искони требовала возврата светских владений папы, но эти дипломатические шаги, не поддержанные ни силой оружия, ни вмешательством других государств, никого не беспокоили. Однако на этот раз заявление было сделано в такой форме, что произвело во Франции впечатление, которого, по всей вероятности, не ожидали ни Пий X, ни его советники. Народы раздражительны и горды. Недаром скульпторы изображают их в виде разъяренных женщин. Во Франции же по многим причинам общественное мнение было до крайности чувствительно ко всему, что касалось внешней политики страны. Итальянский король, собиравшийся, по-видимому, выйти из Тройственного союза \* и побывавший недавно в Париже с молодой женой, пользовался всеобщей симпатией, и очень немногие, даже среди католиков, посмели бы упрекнуть его в том, что он не почитался с даром Константина Великого папе Сильвестру. Итак, вмешательство иностранной курии в дружеские отношения французского народа было признано недопустимым, и Франция восприняла поступок Святейшего престола как оскорбление национального достоинства. Следует признать, что на этот раз папа был плохо вдохновлен свыше, ибо его нота поставила в неловкое положение даже обычных защитников Святейшего престола. В самом деле, самые ревностные французские католики принадлежат к партиям, щеголяющим чрезмерным патриотизмом. Они не без горечи вспоминали, что теперешний папа был избран при поддержке Австрии вместо кардинала Рамполла, кандидата французской стороны. Но для церкви было хуже другое: умеренные республиканцы, или, как они сами себя называют, либералы, отмежевались в этом деле от католиков, хотя обычно и в жизни и в Палате обе партии выступают заодно. Среди либералов можно было назвать нескольких бывших министров иностранных дел. Повинуясь своему профессиональному долгу, они признали, что правительство обязано отклонить протест

папы. Этот протест вызвал еще большее неудовольствие, когда оказалось, что в экземпляре, посланном на Кэ д'Орсе \*, не хватает одного параграфа, имеющегося в экземплярах, направленных прочим католическим государствам. А между тем в нем шла речь об отзыве нунция из Парижа и давалось понять, что если папа не порвал дипломатических отношений с Францией, то лишь потому, что ожидает скорых перемен в политике этой страны. В конце концов папа снискал больше порицаний, чем похвал, и его защитникам ничего больше не осталось, как говорить, что он святой. Радикалы и социалисты явно радовались поступку папы. Они обратились к правительству с просьбой отозвать нашего посла при Ватикане и денонсировать конкордат, чтобы достойно ответить на послание Пия X.

В то время среди французских епископов было два прелата, во всех своих действиях опиравшихся на конкордат. Они считали, что обязаны повиновением и правительству республики, назначившему их, и папе, от которого получили свое каноническое посвящение. На обоих епископов были поданы жалобы в римскую курию. Монсеньер Ле Нордез обвинялся во франкмасонстве. И хотя он горячо отрицал свою принадлежность к этой гнусной секте, клир и паства с ужасом принуждены были от него, а маленькие дети не стали принимать из его рук святой елей, укрепляющий человека в вере. Монсеньер Жеэ, у которого вышли неприятности с отцами-иезуитами вверенной ему епархии, был громко и открыто заподозрен в том, что в разговоре с настоятельницей кармелитского монастыря держал речи, неподобающие его сану.

Один из кардиналов потребовал, чтобы оба прелата явились в конгрегацию Священной канцелярии. Епископы выразили сожаление, что не могут тотчас же выполнить этот приказ, сославшись на плохое состояние своего здоровья, расшатанного столь тяжкими испытаниями и скорбью о том, что они потеряли милость Святейшего отца.

Они предлагали представить свое оправдание в письменном виде. Суд инквизиции терпелив и полон снисхождения. Но он бдителен. Оба епископа получили

приказ явиться в Рим под страхом отрешения, то есть запрета исполнять обязанности, налагаемые их саном.

Епископы были сторонниками конкордата и остались ими в столь бедственном положении. Вынужденные одновременно повиноваться папе, который призывал их в Рим, и французскому правительству, запрещающему епископам покидать без разрешения свои епархии, они сочли за лучшее отнести полученные письма в министерство вероисповеданий. Оба письма были составлены по-итальянски, подписаны статс-секретарем Ватикана Мерри дель Вале, и на конвертах были наклеены почтовые марки итальянского королевства. Епископы ознакомили г-на Дюмэ с содержанием этих писем, согласно разделу III, параграфу XX Органических статей и вопреки предписаниям буллы «*Apostolicae Sedis*»<sup>1</sup>.

— Что такое?! — воскликнул г-н Дюмэ. — Кардинал вызывает вас на суд Священной канцелярии? Это противоречит французским законам! Мы не допускаем иностранного вмешательства в наши внутренние дела. Вы не предстанете перед судом. Оставайтесь!

Вот каким путем правительство узнало о том, что святая инквизиция производит следствие по делу двух епископов — сторонников конкордата. Но если бы епископы Жеэ и Ле Нордез полностью сообразовали свои действия с буллой *Apostolicae Sedis*, папа отбил бы их у Франции, да так, что министр вероисповеданий этого бы даже не заметил.

Монсеньер Жеэ не лишен здравого смысла; у монсеньера Ле Нордеза его еще больше, во всяком случае соображает он быстрее. Он первый решил, что для епископа авторитет г-на Дюмэ не входит ни в какое сравнение с авторитетом монсеньера Мерри дель Вале, а раз невозможно одновременно удовлетворить и римскую курию и министерство вероисповеданий, следует подчиниться римской курии. Министр прекратил им выдачу содержания, а папа лишил их юрисдикции. Перед отъездом монсеньер Жеэ сделал следующее торжественное заявление:

---

<sup>1</sup> Престола апостолического (*лат.*).

— Назначенный властью духовной и властью светской епископом лавальским, — сказал он, — я не считал себя вправе оставить свою епархию без вельможи или против воли одной из них... Я уезжаю, сожалея о том, что моя жертва не станет залогом их примирения, и горько сетую на многих католиков, упорно мешающих мне согласовать верность доброго пастыря и долг доброго француза.

Эти слова достойны праведника и трогают своей кротостью. Но если бы можно было проникнуть в глубину души и сердца этого прелата, истинного приверженца «Гражданского статута для духовенства», то мы, наверно, узнали бы, что, переправляясь через Альпы, он обернулся в сторону своего земного отечества и с грустью подумал:

«Я посетил г-на Дюмэ, а теперь должен предстать перед судом Священной канцелярии. Позади меня остались епископы, которые в каждом пастырском послании величают министра вероисповеданий Домицианом, Иродом, Робеспьером, Нероном, Варравой и Олибрием \*. Они живут окруженные почитанием верующих. Рим ценит их добродетели и поучения. Если бы я подражал их апостольскому рвению, то до сих пор носил бы митру и вкушал бы в Лавале радости бытия у кармелиток».

По прибытии в Рим монсеньер Жеэ был принят статс-секретарем Святейшего престола Мерри дель Валем, но нашел его «более холодным, нежели мрамор усыпальницы».

— Ваше преосвященство, — сказал ему епископ, — я не бунтовщик и не еретик, а всего лишь скромный французский епископ, у которого и в помыслах не было посягать на верховную власть Рима. Но я восемь лет терпел гонения за то, что повиновался законам своей родины, и не желаю, чтобы мой последний поступок явился отрицанием всей прожитой жизни, а моя личность — предлогом распри между двумя силами, которым я одновременно поклялся повиноваться, принимая посвящение. Если вопреки моему нестерпимому положению я не прибыл к вам ранее, то лишь потому, что хотел дожидаться дня, когда смогу принести мир-

ную жертву во имя единения духовной и мирской власти.

Кардинал ответил:

— Вам придется сложить с себя сан.

Монсеньер Жеэ выразил полную готовность повиноваться.

— Я пришел, чтобы отдать себя в ваши руки, — ответил он. — Делайте со мной, что пожелаете, все будет лучше той мучительной неизвестности, в которой я обретаюсь.

Однако он почтительно спросил, не будет ли правильнее, если курия отрешит его от сана с согласия министерства г-на Дюмэ; и заметил весьма справедливо, что, не желая действовать в этом вопросе совместно с французским правительством, его преосвященство ускоряет отделение церкви от государства.

Кардинал повторил:

— Вам придется сложить с себя сан.

Несчастный епископ стал заверять статс-секретаря Ватикана в своей безусловной покорности.

— Но мне все же хотелось бы знать, — заметил он, — почему я осужден без права апелляции и защиты. Неужели же у Священной канцелярии имеются непроверяемые доказательства моей мнимой безнравственности?

— Дело не в этих пустяках! — воскликнул кардинал, пожимая плечами. — Но вы выдали мирским владыкам тайну церкви<sup>1</sup>.

Статс-секретарь Ватикана говорил как священнослужитель, взвешивающий тяжесть каждого греха. Впрочем, не надо быть тонким казуистом, чтобы понять следующую простую истину: согрешить с кармелиткой — зло куда меньшее, чем довести до сведения г-на Дюмэ решения Святейшего престола.

Передав свои епархии в руки статс-секретаря Ватикана, монсеньер Ле Нордез и монсеньер Жеэ бросились к ногам его святейшества, который не отказал в прощении своим раскаявшимся сынам.

---

<sup>1</sup> Au Tribunal de Rome, par F.-J. Mouthon, dans «Le Matin» du 16 septembre 1904.

Эти два прелата нанесли, однако, больший вред конкордату, пытаясь соблюдать его, чем другие епископы, непрерывно его нарушавшие.

В ответ на действия римской курии в деле с двумя французскими епископами председатель Совета министров отозвал французского посла при Святейшем престоле. Палаты одобрили разрыв дипломатических отношений с Ватиканом. Нунций представил свои отзывные грамоты.

Это не что иное, как «гонения на Иисуса Христа», воскликнул епископ марсельский Андрие. По его словам, во Франции «со времен террора» не видели ничего подобного, вернулись дни Робеспьера и Нерона; действия правительства «вопиют о мщениии». Епископ возвещал, что «страшная кара постигнет страну, которая могла допустить подобное преступление».

## Глава VII

### *Дальнейшая деятельность министерства Комба. Переговоры, предшествовавшие отделению церкви от государства. Несколько слов о конкордате*

До сих пор Комб собирался, казалось, разрешать церковные вопросы в духе конкордата 1801 года. По правде говоря, он столкнулся с большими затруднениями. Он строго соблюдал конкордат, в то время как римская курия его беспрестанно нарушала. Она отвергла епископов, предложенных Империей, и в еще большем количестве епископов, предложенных Республикой. Она отвергала все кандидатуры, представляемые Комбом.

Обычно нунций являлся к нему в министерство.

— Укажите мне другие имена, — говорил он, — мы побеседуем и еще раз все обсудим прежде, чем принимать решение.

И нунций заявлял, что для него это вопрос принципиальный. Но принципиальным вопрос был также для Комба, и, ссылаясь на закон, он отказывался под-

чиняться Риму при назначении епископов, ибо это назначение было прерогативой французского правительства.

Его кандидаты были отвергнуты без всяких объяснений, и восемь епископских кафедр оставались вакантными.

После известного послания папы католическим государствам и истории с двумя епископами Комб перестал верить в возможность сохранения конкордата.

Он принял у себя в Поне, где отдыхал летом, редактора венской газеты «Нейе Фрейе Прессе» и сообщил ему о своих изменившихся взглядах.

— Отделение церкви от государства не заставит себя ждать, — сказал он, — я считаю его теперь неизбежным. Мысль об отделении церкви широко распространилась за последние два года, и, хотя, как известно, я не был ранее его сторонником, мне пришлось примириться с этой необходимостью.

Комб прибавил, что проект Бриана кажется ему прекрасной основой для дискуссии, и высказал пожелание, чтобы некоторые положения этого проекта были «сформулированы в духе более широком и свободном».

Это заявление, сделанное им в частном порядке, Комб повторил в июне месяце того же года уже как председатель Совета министров в своем выступлении в Осере.

Теперь следует сказать несколько слов о том, чем был конкордат при его заключении, чем он стал впоследствии, и посмотреть, какие у Франции есть основания для того, чтобы сохранить его или же денонсировать.

Введенный в 1790 году Гражданский статут для духовенства оставался в силе в течение четырех лет, если только можно говорить о силе законов в разгар революции, среди заговоров, восстаний, убийств и казней. Этот декрет послужил причиной раскола французской церкви, служители которой разделились на непокорных и присягнувших, то есть на сторонников старого и на сторонников нового порядка <sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> О Гражданском статуте для духовенства см. превосходную и глубокую книгу, автор которой отличается прекрасным

Закон от 3 вентоза III года (21 февраля 1795г.), принятый Конвентом по докладу Буасси д'Англа, порывал все узы, связывавшие церковь и государство. Порвать узы было нетрудно, но как фактически разъединить эти две силы? Они буквально держали друг друга за глотку. После отделения шла все та же жестокая борьба, что и до него. В IV году Стоффле сражался в Анжу, Шаретт \* в Вандее, мобильные отряды вели борьбу с разбойниками и расстреливали священников-шуанов. Непокорных служителей церкви разыскивали, судили, гильотинировали. Отряды «Жегю» и «Солнце» наводили ужас на весь Юго-Запад; граф д'Артуа стоял с английским флотом у острова Йё.

Что могло дать отделение церкви от государства среди этого террора, среди этих насилий? Одно несомненно: после пяти лет гражданской войны непокорное духовенство, объявленное вне закона, преследуемое, подвергавшееся гонениям, оказалось сильнее своих врагов. Против него были законодатели и закон. За него — население деревень, тронутое несчастьями священнослужителей. За него были жалость и почитание простых людей, покровительство спекулянтов и скупщиков национальных земель, ставших контрреволюционерами, поддержка роялистов, избивавших якобинцев, и благосклонность прекрасных термидорианок. В течение вандейера V года в тридцати двух тысячах коммун были вновь открыты церкви, и богослужение в них совершалось по большей части непокорными священниками.

Как раз в это время (конец 1796 года или начало 1797 года) молодой генерал Бонапарт писал генералу Кларку:

«Во Франции люди опять стали приверженцами римско-католической церкви. Нам, чего доброго, придется обратиться к самому папе, иначе священники, а следовательно и деревня, которую им снова удалось

---

знанием истории: Edme Champion, *La Séparation de l'Eglise et de l'Etat en 1794, Introduction à l'Histoire religieuse de la Révolution française*, 1903.



подчинить своей власти, не окажут поддержки революции».

В этих словах впервые проскальзывает мысль о пакте, который Бонапарту суждено было заключить пять лет спустя; бросается в глаза правильность его суждений и двойственность намечаемых средств. Молодой генерал видит опасность. Во весь рост встает католическая церковь, она грозит революции, республике и, быть может, подготавливает возвращение Бурбонов. Чтобы предотвратить зло, необходимо образовать новое галликанское духовенство, сызнова начать загубленное дело Учредительного собрания. И если нельзя без папы создать церковь в духе декрета 1790 года, надо создать ее при помощи папы. Успех возможен. Все дело в том, чтобы обмануть «старую лису». Такова основная мысль конкордата.

По замыслу Бонапарта, конкордат означал реставрацию галликанской церкви. Подлинные цели Первого консула не вызывают ни малейших сомнений; чтобы убедиться в этом, надо лишь прочесть параграф XXIV Органических статей \*. «Лицам, избранным для того, чтобы вести обучение в семинариях, следует подписать Декларацию \* французского духовенства от 1682 года... Они обязуются преподавать учение церкви так, как оно там изложено; епископы должны направлять законным порядком засвидетельствованную копию этого документа государственному советнику, ведающему делами вероисповеданий».

Между тем декларация 1682 года, снова введенная в действие конкордатом, предусматривает, что папа не имеет никакой власти в светских делах, не может ни прямо, ни косвенно низлагать королей; что постановления Констанцкого собора о компетенции церковных соборов полностью остаются в силе; что верховный первосвященник должен управлять церковью только на основе канонов, не посягая ни на одно из положений и прав, признанных галликанской церковью, и что, наконец, суждения папы по вопросам веры могут оспариваться, но лишь до тех пор, пока они не подтверждены церковью.

Консул восстановил таким образом все свободы галликанской церкви. Но разве не был, в сущности, конкордат Гражданским статутом 1790 года, правда, с некоторыми поправками, сильно изменявшими его дух? Да и трудно было ожидать, чтобы властный солдат, атеист, исполненный суеверий, восстановил национальную церковь с той же целью, с которой это сделали десять лет тому назад философски и религиозно настроенные законодатели, воспитанные на евангельской морали.

Но фактически молодой консул возродил Гражданский статут 1790 года, а вместе с ним и клятву, даваемую священниками. Он обязал епископов не только присягать в верности конституции, но и выполнять функции шпионов светского правительства, становясь доносчиками и сикофантами. «Клянусь и обещаю богу перед святым евангелием, — говорится в этой присяге, — хранить верность и повиноваться правительству, опирающемуся на конституцию Французской республики. Обещаю также не иметь никаких сношений с врагами Республики, не присутствовать ни на каком совете, не поддерживать никаких действий ни внутри страны, ни вне ее, направленных против общественного спокойствия. Узнав же, что в моей епархии или за ее пределами замышляются козни против государства, обязуюсь тут же довести об этом до сведения правительства».

Не останавливаясь на этом вопросе, я должен признать, что не могу понять своим слабым разумом, почему эта клятва является более канонической, чем прежняя.

Консул восстановил Гражданский статут 1790 года с духовенством на жаловании. Он принудил папу признать, что духовенство, как таковое, не имеет более ни имущества, ни права на существование в качестве самостоятельного сословия. Однако он тут же оговорился, что священнослужители получают от правительства надлежащее содержание, в котором нельзя было усмотреть ни вознаграждение за понесенные убытки, ни попытку их возместить, ни доход с земель, подвергшихся нацио-

нализации; ведь поскольку духовенство, первое сословие в королевстве, перестало существовать, духовенство республики не являлось ни его продолжателем, ни представителем, ни преемником; и, не будучи ни государством, ни сословием, ни корпорацией, было лишено как права наследования, так и права владения.

Учредительное собрание уничтожило монашеские ордена; конкордат подтверждает его решение, даже не называя этих орденов. Учредительное собрание уничтожило привилегии духовенства, доходы с церковного имущества, должности приоров и каноников; конкордат подтверждает это решение, оставляя все же при каждом соборе капитул, который он закрепляет за епископом. Учредительное собрание отняло у духовенства регистрацию рождений, браков и смертей; конкордат не возвращает приходам ведение записей гражданского состояния. Наконец, если конкордат восстановил архиепископский сан, упраздненный до этого наряду с привилегиями старого режима, то обращение «сударь» и «гражданин» к епископам и архиепископам, черный фрак французского покроя, который они будут носить отныне вместе с наперстным крестом, напоминают церковь 1790 года.

Но вот что странно: Гражданский статут для духовенства — причина, как говорят, всех несчастий, выпавших за десять лет на долю церкви и республики, Гражданский статут — этот неисчерпаемый источник беспорядков и насилий, губительный для религии, ненавистный французам, родине, предмет омерзения в глазах Святейшего престола — стал делом согласия и мира, милым сердцу добрых граждан, приятным папе, как только Первый консул превратил его в орудие власти.

Поразительно, что один папа одобрил в 1801 году обычаи и нравы, которые другой папа осудил в 1790 году. Однако не стоит слишком удивляться этому. По некоторым пунктам конкордат сильно отличается от Гражданского статута. И пункты эти немаловажны. Он отличается прежде всего своей замечательной преамбулой, в которой, между прочим, говорится:

«Республиканское правительство признает, что римско-католическая апостольская религия есть религия огромного большинства французских граждан».

Законодатель констатирует факт, но не делает из него никаких выводов. И невольно спрашиваешь себя: зачем он написал это? А для того, чтобы, ничего не сказав, угодить папе. Для того, чтобы сохранить свободу совести и осторожно обойти притязания Святейшего престола. И все же это заявление имело большую цену для римско-католической церкви, ибо позволило Людовику XVIII, даровавшему в 1814 году хартию своему народу, заявить в ней, что католическая религия есть религия французской нации, а это свело на нет права двух других официально признанных религий и поставило духовную жизнь страны под верховное руководство папы. Конкордат отличался от Гражданского статута еще по одному пункту, имевшему более постоянное и практическое значение.

Члены Учредительного собрания, среди которых были и янсенисты, надеялись восстановить обычаи церкви первых веков. Взяв пример с церковью Утрехта, Девентера и Гарлема, в которых господствовало выборное начало, они постановили, что епископы будут избираться паствой без всякой апробации со стороны верховного первосвященника. По их мнению, достаточно было предупреждать его о новых назначениях. Первый консул принял иное решение по этому вопросу. Правда, он тоже не пожелал, чтобы епископы назначались Святейшим престолом, но, лишив этого права народ, попросту присвоил его себе. Итак, по конкордату священники назначались епископами, а епископы солдатам. Но каноническое посвящение было вновь передано папе. Так конкордат вернул Святейшему престолу прерогативу, отнятую у него Учредительным собранием. Первый консул был уверен, что заставит папу давать каноническое посвящение всем, угодным ему, Бонапарту, епископам. И для начала он принудил Пия VII дать это посвящение десяти епископам — сторонникам Гражданского статута, иными словами, самозванцам и раскольникам, отлученным от церкви, и отказать в нем

сорока епископам, не пожелавшим дать присягу из боязни ослушаться Святейшего престола. Папа выпил чашу унижения до дна. Он благословил «козлиц» и отвернулся от «агнцев». И, отрекшись от справедливости, совершив беззаконие, он снова стал духовным главой французской церкви. Теперь его право давать каноническое посвящение было внесено в законы французского государства; более того, он установил на основе столь памятного прецедента, что может пользоваться своим правом как ему вздумается, ибо по заключению конкордата даровал инвеституру самозванцам и лишил ее верных пастырей, исповедников веры, мучеников 1793 года, причем светское государство по потребовало у него на этот счет никаких объяснений<sup>1</sup>.

Что делает теперь министр вероисповеданий французского государства, назначая епископов? Он лишь месит глину, поставляет податливую массу, из которой должен получиться епископ. Только его святейшество папа может оживить эту глину, вдохнуть в нее сакраментальную душу. Министр вероисповеданий знает это. Вот почему он с беспокойством смотрит на свое незавершенное создание, похожее на бездушную форму, ожидающую, как жизни, канонического посвящения. Правда, случалось и при старом режиме, что папа отказывался утверждать епископов, предложенных королем. Но король рассматривал этот отказ как нетерпимое превышение власти. Гражданский статут для духовенства устранил подобные затруднения.

Итак, Пий VII извлек немало выгод из конкордата, и если он даровал взамен больше, чем следовало, то всегда мог сослаться на то, что подчинился силе и сделал для блага церкви уступки, которые впоследствии легко будет признать недействительными.

Конкордат был провозглашен законом республики 18 жерминаля X года. Этот закон включал в себя, помимо конкордата, Органические статьи католицизма.

---

<sup>1</sup> Все это изложено ясно и убедительно А. Дебидуром в его првосходной книге, которая была мне очень полезна (Histoire des rapports de l'Eglise et de l'Etat en France de 1789 à 1870, par A. Debidour, 1898).

Сюда вошли также Органические статьи протестантизма. Это было сделано для того, чтобы показать, вопреки преамбуле, признававшей католицизм религией подавляющего большинства французов, что свобода совести по-прежнему остается в силе в Республике.

Выступая однажды в Палате депутатов, Ламартин сказал, что конкордат был реакционным документом и политической ошибкой. Он говорил высокопарно. На самом деле, конкордат, лишенный римской пышности и консульского величия, был всего-навсего итальянской буффонадой, разыгранной вторым сыном адвоката из Аяччо и римским священником. Сам Бонапарт чувствовал весь комизм этой пьесы. Когда на торжественном собрании ему вручили наконец от кардинала Капраны подписанный документ соглашения, он, по словам очевидцев, расхохотался, корча гримасы. И все же соль комедии от него ускользнула. Он полагал, что обманул «старую лису», но оказался обманутым сам.

Неосторожный консул думал, что ему удалось восстановить с пользой для себя галликанскую церковь, а вместо этого он устроил во Франции отделение римско-католической церкви. Он создал духовенство, неспособное противиться ему, неспособное противиться папе, духовенство жалкое и раболепное, служащее одновременно двум господам и вынужденное изменять одному хозяину, чтобы угодить другому. Он создал духовенство, которое возглашало *Te Deum*<sup>1</sup> при каждой его победе, но в дни испытаний отвернулось от императора, в 1814 году нацепило белую розетку, а в 1815 году подняло против него Вандею.

Этот пронизательный человек вскоре заметил, что его перехитрили. Недаром он любил говорить, обращаясь к аббату Прату, своему духовнику:

«То, что я заключил конкордат, — самая большая ошибка моего правления».

Вдобавок он обольщался, утверждая, что заключил конкордат. Если соглашение такого порядка предусмат-

---

<sup>1</sup> Тебе, богу [славим] (*лат.*) — благодарственный католический гимн.

ривает взаимное понимание и согласие обеих договаривающихся сторон, то закон 18 жерминаля X года не является конкордатом <sup>1</sup>. Этот закон содержит, правда, семнадцать статей соглашения, состоявшегося между французским правительством и папой Пием VII, 26 мессидора IX года. Но он содержит также 76 Органических статей католицизма. Неизвестно, был ли осведомлен о них папа. Вернее всего, что нет. Во всяком случае, он их не одобрил. Не сделали этого и его преемники. Все папы — от Пия VII до Пня X — протестовали против Органических статей.

Кардинал Мерри дель Валь совершенно справедливо заметил в своей беседе с французским поверенным в делах, состоявшейся 26 июля 1904 года, что Святейший престол «неустанно протестовал против Органических статей». Он подчеркнул, кроме того, что эти статьи были односторонним актом французского правительства, актом, совершенно отличным от конкордата.

Итак, не следует называть конкордатом закон 18 жерминаля X года. Правильнее будет сказать, что из 93-х статей этого закона, относящихся к католическому культу, 17 статей представляют собой проект конкордата.

Невозможно читать без удивления Органические статьи, ибо мы видим в них невообразимую смесь гражданского и канонического права. Для пояснения духа конкордата я приводил выше одну из Органических статей, а именно статью двадцать четвертую, содержащую всю доктрину галликанской церкви от св. Бернара до Боссюэ \*. И эта статья, трактующая о компетенции соборов и о правах папы в вопросах веры, никогда не была одобрена Пием VII, — он ее даже не видел! Органические статьи касаются главным образом административных и теологических вопросов. Это ларчик, куда Бонапарт спрятал, смеясь, все то, что он хотел скрыть от папы.

---

<sup>1</sup> «Соглашение. Таково было название этого акта при его составлении: *Bulla confirmationis conventionis, etc...* Но затем ему совершенно неправильно присвоили название конкордата». — Так говорит один из представителей «Малой церкви» («*De la nouvelle Eglise de France*». Paris, 1816, p. 6, note).

Еще один примечательный факт: соглашение 26 мессидора IX года было одобрено папой, а предусмотренные в нем санкции вошли в Органические статьи, принятые 18 жерминаля X года, которых папа никогда не одобрял. И вот что из этого вышло: французское правительство не могло прибегнуть ни к одной легальной санкции, не возбудив негодования курии. И если государство обязано применять Органические статьи, поскольку этого требует закон, то церковь должна протестовать против этого применения, ибо она отвергает самый принцип Органических статей. Таков режим согласия, установленный в 1801 году <sup>1</sup>.

Бонапарт, надо сознаться, вовсе не нуждался в одобренных папой текстах, чтобы держать в повиновении духовенство. Он мог по своему усмотрению заключать священников в тюрьму, высылать их и даже похитить папу или взять Рим. Но он недостаточно думал о том, что такое положение будет длиться не вечно, и создал большие неприятности для своих преемников.

Пункт семидесятый этих странных Органических статей гласит, что «всякий священнослужитель, получающий содержание от государства, будет лишен этого содержания, если он откажется без всякого законного основания от поручаемых ему обязанностей». Пункт шестой Органических статей гласит, что «дело будет предложено на рассмотрение Государственного совета во всех случаях злоупотребления властью со стороны настоятелей монастырей и прочих священнослужителей».

Здесь конкордат (оставим ему это смехотворное название) руководствуется уже не революционными обычаями, а установлениями старого режима: он желает наделить Государственный совет правом парламентов, компетенция которых простиралась также и на церковные вопросы. Неужели Бонапарт думал, что епископы

---

<sup>1</sup> Господин Олар пишет в одной из своих статей («L'Aurore», du 16 аут 1904), что Бонапарт лично передал проект Органических статей кардиналу-легату Капраре, дозволив ему внести в них кое-какие изменения; но последний представил папе лишь неполное и неточное резюме проекта.



когда-нибудь признают за Государственным советом дисциплинарную власть и примут порицание, выраженное собранием мирян? Что касается отмены содержания священнослужителей, то неужели он не предвидел, что верующие своими щедротами сторицей вознаградят обиженных пастырей?

Конкордат ни в коей мере не может обязывать папу. В самом деле, конкордат имел бы смысл, если бы он был французским законом, если бы у нас имелись галликанская церковь, галликанский государственный совет, галликанское правительство. Но у нас нет ничего подобного, и даже смысл этих названий ныне утерян. Сомневаюсь, чтобы мои замечания были правильно поняты, — разве только они случайно попадут на глаза какому-нибудь ученому священнослужителю или престарелому законоведу.

Если бы галликанская церковь была восстановлена, как мечтал о том легкомысленный консул, острие конкордата было бы направлено в наши дни против Рима, и национальный собор раз двадцать за последние сорок лет осудил бы папу-узурпатора, папу, установившего новые догматы и, вопреки канонам церкви, провозгласившего собственную непогрешимость.

Бонапарт и его глубокомысленные советники до такой степени просчитались, что теперь трудно понять, какие у них были намерения. Создать галликанскую церковь в 1801 году! Да генерал Бонапарт грезил наяву! Когда духовенство являлось самостоятельным сословием в государстве, когда церковь владела третью французских земель, а также имуществом стоимостью в четыре миллиарда и руководила светской властью, она могла быть галликанской. И все же иногда иезуиты оказывались сильнее ее. Наконец, это была французская церковь. Но духовенство без денег и без земель неизбежно будет лишь сборищем боготворящих Рим пастырей или жалких раскольников.

Свободное и отделенное от государства французское духовенство готово было впасть в ересь. Конкордат заставил его боготворить Рим.

## Глава VIII

### *Должно ли произойти отделение церкви от государства?*

Согласно одному весьма распространенному мнению свободные страны должны отделиться от церкви. По этому поводу г-н Рибо писал одному католическому деятелю:

«Отделение церкви от государства произойдет рано или поздно, ибо это в духе современных идей».

Анатоль Леруа-Болье сказал:

«Отделение церкви есть неизбежный конец процесса секуляризации современных государств».

Я мог бы привести в подтверждение этой мысли ряд других свидетельств, правда, менее веских.

Но почему отделение церкви от государства должно рано или поздно произойти? Почему секуляризованные государства неминуемо приходят к этому? Дело в том, что процесс цивилизации все более разграничивает светскую и духовную власть в государстве. В первобытном обществе жрец является в то же время и царем. По мере своего развития народы порывают путы теократии, связывавшие их в период детства.

Таковы причины общего порядка. Они покажутся убедительными только людям, склонным к абстрактному мышлению. Но имеются еще и причины частного порядка, гораздо более наглядные. Их надо искать как в духе, так и в организации современного католицизма. В свое время они уже были изложены. Итальянский министр Мингетти, человек умеренный, религиозный, осветил их с точки зрения государственного человека, историка и философа.

Отметив, с каким нетерпением свободные страны стремятся порвать узы, связывающие их с церковью, он сказал: «Причина этого кроется в тех столкновениях, которые возникают повсюду между духовенством и мирянами. Католическая церковь, шедшая некогда во главе науки и общества, постепенно стала отходить от них и в конце концов объявила войну обоим. Чем больше она теряла верующих, тем сильнее поработчала оставшихся в ее власти... На протяжении трех послед-

них веков папство старается упразднить, как нечто опасное, всякое юридическое участие мирян и даже духовенства в управлении церковью, и полицейский надзор стал теперь основным делом религии. Силлабус и торжественное провозглашение непогрешимости являются, к несчастью, не только последними результатами этой политики, но и, несомненно, ее ярчайшим выражением. В самом деле, Силлабус перечисляет один за другим, предавая их анафеме, все основные принципы современных конституций и все права, особенно ревниво оберегаемые народами»<sup>1</sup>.

В этом же смысле высказался Эмиль Оливье, заявив, что после Силлабуса конкордат перестал существовать. Действительно, могло ли современное государство поддерживать соглашение с властью, его же осуждающей?

Отделение произошло не сразу, потому что на деле все получается не так просто, как кажется: ведь люди руководствуются не только разумом, но также привычками и предрассудками, и дух консерватизма еще очень силен в обществе. Но было ясно для всякого вдумчивого человека, что согласие между церковью и государством становится все более затруднительным и ненадежным.

Умеренные республиканцы, которые далеко не столь рассудительны, как они полагают, решили, что для полного согласия между церковью и государством необходимо одно условие: церкви следует ограничиться духовной властью, а государству — светской, и указанные границы должны строго соблюдаться. Границы духовной и светской власти? Старый режим не знал их. Бонапарт также, да и никто другой. Дело в том, что их не существует. Духовное начало познается лишь тогда, когда оно проявляется в мирских делах. Чтобы не теоретизировать попусту, надо было бы говорить о разграничении гражданского и канонического права. Но если бы республиканский министр стал изъясняться с такой определенностью, все сразу поняли бы, что он

---

<sup>1</sup> L'Etat et l'Eglise, par Minghetti, trad. par Louis Bourguet, et précédé d'une introduction par Emile de Laveleye, 1882, p. 44.

признает чужеземные законы. В самом деле, конкордат принуждает его к этому, и, не имея среди своих советников, как это было у Людовика IX, Карла VII, Филиппа Красивого, Людовика XIV и Карла X, докторов права, ученейших теологов и хитроумнейших богословов, министр поневоле подчиняется чужеземному законодательству, которого он даже не знает. Свободомыслящие светские министры, обсуждающие с курией вопросы богословия и вероисповедования?! Что за абсурд! А вместе с тем им не остается ничего иного при режиме, установленном конкордатом. Итак, министру вероисповеданий — жертве невольного коварства Наполеона, подмешавшего теологию к французскому законодательству, например, изысканному г-ну Лейгу — приходится спорить с нунцием по вопросу о том, *Papa est dominus omnium beneficiorum*<sup>1</sup>, не имея под рукой ни собора, ни синода, ни епископа, ни богослова, ни даже, как Бонапарт, какого-нибудь осла в митре, вроде Феша, чтобы растолковать ему *decisiones Rotae Merlini*<sup>2</sup>. Это забавно и вместе с тем досадно.

Быть может, по своему невежеству или равнодушию наши свободомыслящие министры сделали больше уступок римско-католической церкви, чем королевские министры при всем их усердии и доброжелательстве.

Они примирились с тем, что до сих пор считалось недопустимым, они примирились с вмешательством папы в наши внутренние дела. Да что я? Они одобрили это вмешательство. Когда Лев XIII вздумал поддерживать республику на основании тех прав, которые могли послужить ему для борьбы с нею, и сделал это, по его собственному признанию, лишь для того, чтобы изменить наши законы, республиканское правительство официально выразило ему свою признательность и с благодарностью приняло то, чего прежние короли никогда не допустили бы.

Право же, все политические партии Франции козыряют папой друг перед другом!

---

<sup>1</sup> Является ли папа господином всех бенефиций (*лат.*).

<sup>2</sup> Определения Рота Мерлини (*лат.*).

— Папа со мной, — говорил Жюль Ферри, — папа республиканец и сторонник колониальной политики.

— Берегитесь, как бы папа не отнял у вас протектората над христианами Востока, — говорят католики.

Папа имеет огромную власть во Франции с тех пор, как там не знают, что такое папа. Конкордат стал опасностью для государства с тех пор, как государство не знает, что такое конкордат.

«Вести переговоры по вопросам вероисповедания с чужеземным главою церкви, к которой принадлежат французские граждане, брать по отношению к этому чужеземцу денежные и другие обязательства, значит поступаться суверенитетом государства и допускать иностранное вмешательство в наши внутренние дела»<sup>1</sup>.

Вот первая причина, по которой следует денонсировать конкордат. Но есть и другие.

Я был еще очень молод во времена переписи, проведенной правительством «морального порядка»; \* государство проявило тогда редкое любопытство, интересуясь не только социальным положением граждан, но также их вероисповеданием. Уполномоченный явился на чердак, где я жил. Он задал мне вопросы, предусмотренные министром. И по мере того как я говорил, он записывал мои ответы на большом листе бумаги, специально для того предназначенном. На вопрос о вероисповедании я ответил, что не исповедую никакой религии. Пришедший был человек робкий и мягкий. Он через силу улыбнулся.

— Пусть так, — пробормотал он, — но я вас очень прошу выбрать какую-нибудь религию ради исправности моих записей.

Я любезно ответил ему, что исповедую буддизм, и в то время это действительно было так. Перед людьми ищущими, беспокойными, лобознательными каждый день открывается какой-нибудь новый аспект божественного начала. К чему нам была бы свобода мысли, если бы мы не пользовались ею для того, чтобы познавать истину каждой религии?

---

<sup>1</sup> F. de Pressensé, Proposition de loi sur la séparation, 7 avril 1903, Exposé des motifs, p. 8.

— Вы исповедуете буддизм? — переспросил он.

— Да, сударь, буддизм.

Он пососал кончик своего карандаша и с выражением тяжкого недоумения перевел взгляд с опросного листа на «буддиста».

— Дело в том, что у меня нет графы для буддизма, — промолвил он со вздохом.

И в самом деле, на его листе имелись всего три графы для вероисповеданий. Государство признает, по-видимому, лишь три формы почитания божества.

В нашей стране есть одна священная должность. Человек, занимающий ее, распоряжается религиозными культурами и простирает свою власть на католическую церковь, на протестантский храм и на синагогу; он ведает дарохранительницей, в которой содержится сосуд со святым причастием, простой алтарь Аугсбургского вероисповедания и свитки Торы \*. Он признает три великие истины. Но почему не четыре, не пять и даже более? Он католик, иудей и лютеранин. Но почему также и не мусульманин? Ведь это наиболее распространенная религия под французским флагом <sup>1</sup>. Почему он не буддист, не фетишист, не гебр? Он ведает только тремя религиями. А почему не всеми?

Если вы спросите его об этом, он ответит без тени смущения, что в канцелярии министерства имеются ящики и зеленые папки для епископов, евангелических пасторов и раввинов, но нет ни ящиков, ни папок для лам, муэдзинов и бонз; что в глазах администрации существуют лишь три религии, а все прочие не существуют; что в канцелярии известны только три религии и что их всегда будет только три, ибо неподвижность и долговечность — столпы министерства.

---

<sup>1</sup> Следует сознаться во имя справедливости, что министр вероисповеданий, являясь одновременно католиком, протестантом и иудеем, за последние 23 года стал также и мусульманином. Министр признал истину Корана декретом 26 августа — 6 сентября 1881 г., как он признал ранее истину Ветхого и Нового завета. Вследствие чего государство стало платить содержание служителям этой четвертой религии: муфтиям, имамам, бах-хазабам, мударрам и т. д.

Этого пожелал Бонапарт. В силу закона 18 жерминаля X года о католической и протестантской религиях и в силу декретов от 17 марта и 21 декабря 1808 года об иудейской религии, министр вероисповеданий, подобно отцу из прекрасной иудейской притчи, имеет три кольца \*. Он не открывает нам, какое кольцо лучше, в чем заключается мудрость, о которой оно говорит. Но если у него не одно кольцо, а больше, то почему только три? Отец наш небесный дал своим сыновьям больше трех колец, но сыновья так и не узнали, которое из них настоящее. Господин министр вероисповеданий, почему у вас нет всех колец, дарованных нашим отцом небесным? Вы выплачиваете содержание служителям некоторых культов и ничего не платите остальным. Почему? Уж не выдаете ли вы себя за арбитра религиозной истины? Не можете вы серьезно считать, что все три религии владеют истиной, когда каждая из них обрекает на вечные муки тех, кто исповедует две другие. Известно ли вам, господин министр, что думает об иудеях католическая церковь? Вы, конечно, не раз видели на порталах наших соборов изображение распятого Христа, а по сторонам от него двух женщин со знаками королевского достоинства. Одна держится прямо и полна достоинства. Это — церковь. Другая стоит нетвердо. На глазах у нее повязка, венец упал с головы, скипетр выскользнул из рук. Это — синагога. А между тем вы субсидируете и ту и другую. Известно ли вам, что думает о реформатах католическая церковь? Вы, наверно, обратили внимание в кафедральном соборе Оша на одно из чудеснейших кресел с изображением свиньи, говорящей с кафедры, и на имя «Кальвин», четко вырезанное по дереву. А между тем вы субсидируете и католическую и реформатскую церковь! Не кажется ли вам, что вы несколько преувеличиваете долю нелепостей, необходимых при управлении людьми, и вступаете в противоречие с общественным правом французов?

Государство выплачивает пятьдесят миллионов франков в год католической церкви; предоставляет ей епархии и церкви с их колоколами, утварью, сокрови-

пами и кафедрами, откуда священники проповедают свои истины. Несправедливо, когда все граждане способствуют поддержанию религии, которую не все они исповедуют. Эмиль Оливье отвечает на это, что в любом обществе имеются учреждения, приносящие пользу не всем его членам <sup>1</sup>. Но дело тут вовсе не в принципе солидарности налогоплательщиков. Нельзя не согласиться, что существует огромная разница между субсидией, выдаваемой церкви, и субсидией, выдаваемой театру. Миллионы, расходуемые на вероисповедания, не только финансовый вопрос. Это также вопрос свободы совести.

Превращая религию в общественный институт, вы обеспечите ей благосклонность администрации и уважение граждан. Более того, вы признаете власть папы уже одним тем, что ведете с ним переговоры. Вы признаете его власть как в духовной, так и в светской области. И епископ Бардель был прав, когда говорил, что, вступая в соглашение с церковью, государство «признает ее существование, деятельность и права — все вплоть до божественного характера ее возникновение и ее цели».

А если наряду с этим государство признает существование и божественный характер двух других религий — это уж его дело, а не дело Рима. Нелепость остается на его совести и не может быть приписана католической церкви.

Заклучив конкордат, светское государство показало, что оно признает и исповедует римско-католическую апостольскую религию.

Неужели же это означает сообразовать свои поступки с общественным правом демократии, отрицающей власть церкви?! <sup>2</sup> Вот еще одно веское основание для того, чтобы денонсировать конкордат.

Ясно, что государство вправе это сделать. Одностороннее расторжение договора — акт, предусмотренный

---

<sup>1</sup> E. Ollivier, Nouveau droit ecclésiastique français, 1885. pp. 581—582.

<sup>2</sup> F. de Pressensé, Proposition de loi sur la séparation, 7 avril, 1903, Exposé des motifs, p. 8.



и дозволенный законом <sup>1</sup>. Договор, заключенный между коллективными организмами, не может вечно оставаться в силе против воли одной из сторон; и если даже отдельные люди не берут на себя договорные обязательства до конца своей короткой жизни, то разве могут навеки связывать себя государства, которые долговечней длинного ряда поколений? Что касается конкордата, то республике нет нужды изыскивать причины, позволяющие его денонсировать, ибо Святейший престол уже сделал это своими беспрестанными отказами соблюдать невыгодные статьи соглашения. По крайней мере таков взгляд французского правительства; но это еще не все. Истина заключается в том, что Рим никогда не признавал конкордата, поскольку Пий VII и его преемники неизменно отказывались принимать Органические статьи, составляющие единое целое с конкордатом.

Вот почему, когда я говорю о необходимости денонсировать договор, точнее видимость договора, который не существует и никогда не будет существовать, не следует понимать эти слова в строго юридическом смысле. Слова не должны быть более устойчивы, чем понятия, которые они отображают.

## Глава IX

### *Как должно произойти отделение церкви от государства?*

Иные утверждали вполне серьезно, что после отмены конкордата государство не сможет воздействовать через епископов на проповеди и поступки духовенства. Но конкордат, собственно говоря, не дает государству возможности влиять на епископов. На основании Органических статей, не признанных папой, правительство имеет право заявить устами ученых богословов — членов Государственного совета, что такой-то епископ

---

<sup>1</sup> Concordat ou Séparation, par G. Noblemaire, 1904, p. 190. Cf. aussi: La Séparation de l'Eglise et de l'Etat, par J. Dartigue, 1885.

виновен в превышении власти, если он действительно нарушил законы республики. Однако этому никто не верит — ни сам епископ, ни паства, ибо Государственный совет не является для них авторитетом в церковных вопросах и к тому же осуждение духовного лица светской властью запрещено статьей 41 Силлабуса. Правительство присваивает себе еще и другое право, с которым курия считается столь же мало. Оно лишает непокорных епископов и священников содержания, предусмотренного конкордатом, — поступок не очень порядочный и, главное, недействительный, ибо путем пожертвований верующие не преминут возместить эти деньги священнослужителям. Вот к чему сводится власть министра вероисповеданий над епископом.

Приводя доводы в пользу отмены конкордата, я забыл главное, а именно, что конкордата нет и никогда не было.

И Рим прекрасно это знает. Для него конкордат никогда не был договором. Это паспорт, документ, дающий ему кое-какие гарантии и право свободного передвижения по территории Французской республики. Вот почему он дорожит конкордатом. Без этой бумажки с приметам и именем владельца Святейший престол не узнали бы во Франции.

В аллокуции, обращенной к Консистории 27 сентября 1852 года, и в статье 55 Силлабуса от 8 декабря 1864 года Пий IX признал, что требование об отделении церкви от государства и государства от церкви есть одна из важнейших ошибок нашего времени.

В самом деле, церковь вовсе не желает, чтобы ее вытеснили из государств, где она мнит себя владычицей. Если по условиям конкордата церковь и не руководит делами во Франции, она но крайней мере в них участвует. Конкордат — последний и драгоценный признак ее былого единения с государством и та уловка, при помощи которой она еще надеется вернуть себе руководство нравами и призвать к повиновению светскую власть. На основании конкордата президент Лубе, этот преемник Карла Великого, является в христианской Галлии светским наместником папы. Если он не вполне подчинен церкви, если он не обнажает меча,

дабы вернуть Петру его вотчину, виновны в этом коварство президента и наше злосчастное время. Но этому испытанию может прийти конец. Если же расторгнуть конкордат, святейший престол потеряет единственный документ, на основании которого он еще может участвовать в управлении республикой, и лишится всякого влияния во Франции.

Рим хочет сохранить самый принцип конкордата как остаток своего старинного права вершить суд инквизиции, а также потому, что отделение церкви его пугает. Лев XIII считал, что расторжение конкордата будет подлинным бедствием <sup>1</sup>. Во Франции некоторые из его политических единомышленников проявили сначала достаточно такта, чтобы скрыть свои опасения. Но перед надвигающейся опасностью они забыли об осторожности и сосредоточили все помыслы на том, чтобы ее предотвратить. Духовенство единодушно требует сохранения закона, который само же не соблюдает, а французские епископы наперебой оплакивают расторжение конкордата, ставшее необходимым по их собственной вине. Прелат Физе считает, что после отмены конкордата придет конец религии, а епископ Дюбийяр страшится, что прохладные души совсем потеряют веру. Он надеется, правда, что горячо верующие души воспламят еще горячее. Но таких душ мало.

Тем, кто утверждает, будто церковь станет сильнее после отделения, следовало бы сперва показать, что она выиграет, потеряв бюджет в пятьдесят миллионов франков. Где она найдет эти пятьдесят миллионов? А потом? Крестьяне прижимисты, буржуа и так обременены взносами на дела благочестия: лепта св. Петра, поддержка конгрегаций, ультрамонтанского обучения. Одно благотворительное общество, основанное в кемперской епархии, уже выплачивает регулярно пятьдесят тысяч франков священнослужителям, лишенным вспомоществования государства. А как тяжело будет духовенству просить денег у дворянчиков и богатых вдов! Один священник из Лавала заранее

---

<sup>1</sup> G. Noblemaire, *loc. cit.*, p. 184.

содрогается при мысли об этом, хоть и сохраняет свойственное ему бодрое и веселое настроение.

«Сегодня государство выплачивает нам содержание, не требуя никакого отчета в том, как мы израсходовали полученные деньги, — пишет он. — Завтра, когда мы будем иметь дело с комитетами, нам то и дело придется отчитываться перед председателем, стараясь угодить Петру и не прогневить Павла. Горе нам, если мы восстановим против себя какую-нибудь влиятельную святошу. Тирания республики сменится тиранией ханжей»<sup>1</sup>.

Де Ланессан полагает, что французский народ не способен на крупные жертвы во имя религии; вера его недостаточно сильна. Трудно подсчитать число истинных католиков. Не знаю, откуда Тэн взял приводимую им цифру, но он утверждает, что на тридцать восемь миллионов французов приходится четыре миллиона католиков, строго соблюдающих религиозные обряды, в том числе много женщин и детей. Впрочем, это возможно. Епископ орлеанский Дюпанлу считает, что из трехсот пятидесяти тысяч католиков его епархии только тридцать семь тысяч причащаются на страстной неделе. Аббат Бугрен дает приблизительно такую же цифру.

Один из правых депутатов Жюль Делафосс, человек весьма почтенный, отметил поразительное равнодушие к религиозным обрядам среди крестьян, живущих в Лимузене, особенно в той его части, которая расположена между реками Эндр и Крёз.

«В каждой коммуне по-прежнему имеется церковь, — пишет он, — но, кроме священника, в ней почти никто не бывает. В коммуне, где я жил, на воскресной службе присутствовали только я сам и мои домашние. Не было видно ни женщин, ни девушек, ни молодых людей. Даже дети, готовящиеся к первому причастию, не ходят к обедне! Впрочем, среди населения не замечается никакой враждебности к религии. Дело тут даже не в равнодушии, ибо в такие праздники,

---

<sup>1</sup> Article de M. Eric Bernard, dans «Le Siècle» du 3 août 1904.

как пасха, день всех святых и рождество, в церкви бывает полным-полно. Крестьяне крестят своих детей, посылают их к первому причастию, а также женятся и хоронят близких по католическому обряду. Но все это делается чисто механически, и современные люди не примешивают к церковным обрядам ни чувства, ни веры, связанных с этими актами»<sup>1</sup>.

Опрос, организованный газетой «Бриар», охватил 416 коммун Бри с населением в 216000 человек. Из ответов на заданные вопросы выяснилось, что только 5200 человек, то есть два процента всех жителей, исполняют религиозные обряды<sup>2</sup>.

В известной мне восточной части Жиронды все женщины с детьми ходят по воскресеньям к обедне. Мужчины обычно остаются на площади пред церковью и беседуют о своих делах.

Но на тридцать миллионов французов такие сведения поневоле придется признать неполными и отрывочными; к тому же они, возможно, и ошибочны. К обедне ходят по многим причинам и далеко не всегда из благочестия. Тщеславие, мода, расчет, а также ханжество влекут прихожан в церковь. Напротив, некоторые люди, которые не исповедуются, не причащаются и не посещают церковных служб, вовсе не являются противниками религии, они лишь прохладно относятся к ней, это, говоря языком священнослужителей, «грешники, в душе которых вера еще не совсем мертва».

Но даже если мы сосчитаем верующих, разве это поможет нам узнать, какими силами располагает церковь? Эти силы уже не зависят от примитивной веры народов. Римско-католическая религия свелась по вине иезуитов к нескольким грубым суевериям и к механическому, чисто внешнему исполнению обрядов. Она потеряла весь свой нравственный авторитет. Она опирается на силу привычки, на традицию, на обычай. Она извлекает пользу из всеобщего равнодушия. Для многих людей как в городе, так и в деревне церковь —

---

<sup>1</sup> Цитата приведена Клемансо («L'Aurore» 19 octobre 1904).

<sup>2</sup> «Pages libres» du 1-er octobre 1904.

учреждение скорее гражданское, чем религиозное, — нечто среднее между мэрией и концертным залом. В церкви совершаются браки, в нее приносят новорожденных и усопших. Женщины показывают там свои туалеты. Наконец в наши дни духовенство пользуется поддержкой всех власть имущих. Крупные землевладельцы, промышленники, финансисты, богатые евреи — вот столпы римско-католической церкви. Это сила, но сила не слишком большая в такой стране, как наша, где мало бедняков.

Предложение Прессансе, хорошо обдуманное и работанное, предложение Ревейо, разумное и умеренное, проект комиссии, которому по праву присвоено имя докладчика Аристиды Бриана, проект, внесенный правительством в то время, как я пишу эти строки, — все эти документы предусматривают, несмотря на многочисленные расхождения, один и тот же порядок: после отделения государство будет иметь дело не с церковью, а с «Гражданскими обществами по отправлению культа», подчиненными закону об ассоциациях 1901 года.

Неправильно было бы считать, что государство явится в какой-то мере должником «Гражданских обществ». Выдача духовенству содержания, гарантированного конкордатом, прекращается вместе с отменой конкордата, и суммы, предусмотренные в нем, не переходят к другому юридическому лицу. Выше мы говорили о том, что содержание духовенства не носит ни характера возмещения убытков, ни уплаты процентов с долга, сделанного Национальным собранием в 1790 году. Аббат Одеден восклицает, что церковь подвергается грабежу, что она этого не допустит. Но его вопли не будут услышаны. Государство убеждено, что оно ничего не должно духовенству.

— Я не думаю, — сказал Шарль Дюпюи, — чтобы суммы, выдаваемые священнослужителям, могли рассматриваться как долг государства, и притом неоплатный долг.

«Гражданские общества по отправлению культа» будут вольны открывать церкви и изыскивать средства, чтобы нанимать или строить здания для религиозных целей. Из предосторожности, признанной необходимой

Мингетти и Лавелеем, проект Бриана ограничивает и эти суммы и способы их получения. Однако он гарантирует «Гражданским обществам» определенную дотацию из доходов фабрик и монастырей, безоговорочно закрепляет за ними здания церквей для отправления католического культа и предусматривает пожизненную пенсию старым и немощным священникам. Но, конечно, вопрос о пенсиях духовным лицам будет поставлен на голосование Палаты не раньше, чем вопрос о пенсиях рабочим.

В мою задачу отнюдь не входит подробное рассмотрение всех представленных проектов. Этой сложной и длительной работой должны заняться опытные законоведы. Но я считаю своим долгом сделать одно полезное предупреждение; я считаю своим долгом заявить, что необходимо тщательно избегать всякого подobia Гражданского статута для духовенства; что следует остерегаться, как страшной опасности, создания духовного государства в светском государстве <sup>1</sup>, ибо мы расторгаем конкордат вовсе не для того, чтобы тотчас же воссоздать его без папы.

Следовало бы сделать еще много замечаний. Можно спросить, например, имеет ли право государство отказываться без всякой компенсации от сорока пяти тысяч церквей с домами епископов, священников, с духовными семинариями, арендная стоимость которых превосходит сто миллионов? Само собою разумеется, что республика не собирается наживаться на отделении от церкви. Но в конце концов уместно ли так богато одарять в ущерб нации общества, ведающие отправление культа? Неужели пример Бельгии нас ничему не научил? В Бельгии государство отделилось от церкви, но столько ей платит, что само оказалось ослабленным. Неужели вы желаете отделения на бельгийский лад?

К чему давать церкви то, что ей не причитается, и отказывать в том, на что она имеет право?

Правильнее, разумнее всего было бы установить для церкви режим свободы. Мы сказали бы даже, что ей

---

<sup>1</sup> Voir à ce sujet les articles de Clemenceau dans «L'Aurore» et ceux de Ranc dans «Le Radical» (octobre, novembre et décembre 1904).

надо дать свободу, не будь это требование чисто метафизическим, ибо оно не представляет ничего осязаемого, реального. В государстве нет свободы вообще, а есть несколько друг друга ограничивающих свобод. Вот почему мы говорим, что надо предоставить церкви все существующие свободы.

С тех пор как во Франции ожидается расторжение конкордата, многие светские либеральные деятели, среди которых выделяется Ренэ Гобле, предлагают принять за девиз: «Свободная церковь в свободном государстве». Этой формуле более сорока лет; она принадлежит Монталамберу, который пояснил ее словами: «Свобода церкви, основанная на общественных свободах»<sup>1</sup>. После присоединения папских государств к Италии Кавур переименовал эту фразу. Она приобрела в его устах новый смысл и стала чисто итальянской, то есть остроумно-злой. Отныне она звучала так: «Лишая папу вотчины св. Петра, король целует у него ноги». В этих словах заключена вся политика савойской династии, которая подверглась отлучению в Риме и заставила благословить себя в Турине. Вот как Гобле объясняет смысл приведенной формулы:

«Свободная церковь в свободном государстве означает свободу вероисповедания, при которой государство не имеет больше дела с церковью, церковь — с государством, а служители различных культов подчиняются тем же законам, что и прочие граждане».

Однако епископ Дюбийяр называет это предложение утопией, а Ранк — глупостью. Такое же мнение было высказано еще до них графом Генрихом Арнимом. По его словам, *Chiesa libera in Stato libero*<sup>2</sup> есть не что иное, как *Chiesa armata in Stato disarmato*<sup>3</sup>. Фаге с его блестящим, а иногда и беспощадным умом высказал по этому поводу очень правильную мысль: «Свободная церковь — это партия». Конечно, это партия,

---

<sup>1</sup> Voir L'Eglise libre dans l'Etat libre, discours prononcé au Congrès catholique de Malines par le comte de Montalembert, 1863, pp. 177 et suiv.

<sup>2</sup> Свободная церковь в свободном государстве (*итал.*).

<sup>3</sup> Вооруженная церковь в безоружном государстве (*итал.*).



но также и администрация. Это организованная партия, государство в государстве, власть.

Раздаются требования о подчинении церкви общему праву. Требования вполне справедливые, но, к сожалению, общее право применимо лишь к категории людей, которые ничем не занимаются и ничего собой не представляют. Иначе оно теряет всякий смысл, ибо для каждого положения в обществе существует специальное право. Я не первый отметил это. Имеются специальные законы для врачей, для фармацевтов, для слесарей. А ведь, с точки зрения закона, епископ — лицо не менее значительное, чем слесарь. Каждый из нас то и дело выходит из сферы действия общего права. А разве сама церковь желает сообразоваться с ним? Она требует общего права, когда ей это выгодно. Отрекается от общего права, когда находит его стеснительным. Противоречия ума, логика сердца! Церковь настаивает на общем праве ради того, чтобы свободно создавать свои ассоциации; отказывается от него из осторожности, как, например, от закона 1901 года, который ограничивал доходы ассоциаций одними членскими взносами. Она настаивает на нем, словно съемщик, который хочет избежать ремонта арендуемого здания; она отказывается от него, если домовладелец волен выбирать съемщика и назначать любую арендную плату. Она настаивает на нем, чтобы обеспечить свободу религиозных обрядов, она отказывается от него, если согласие связано с предварительными обязательствами<sup>1</sup>.

Не думайте, что вы удовлетворите церковь, дав ей свободу. Правда, она примирилась со свободой в Соединенных Штатах. Но дело в том, что католическая религия является там религией меньшинства, и свобода дает церкви возможность преуспевать и богатеть, а религиозным общинам развиваться с поразительной быстротой. Кроме того, в Америке католическая церковь существует наряду с другими христианскими вероисповеданиями и почти во всех штатах пользуется таким же покровительством, как и они. Во Франции,

---

<sup>1</sup> Cf. Aristide Briand, dans «L'Humanité» du 30 septembre 1904.

где она является религией большинства, ей мало свободы: она желает быть неограниченной владычицей.

Церковь окажется лютым врагом того правительства, которое ее освободит. Но не следует бояться будущего, постараемся лучше его предусмотреть. После расторжения конкордата папа станет единственным главою церкви во Франции. Единовластно назначая епископов, он, по всей вероятности, будет выбирать их среди монашеских орденов и заменять иезуитами, ассумпционистами и капуцинами епископов-сторонников конкордата по мере того, как они будут умирать. Управление епархиями постепенно перейдет в руки монахов, и они применят там свои деловые способности, склонность к интригам, коммерческий талант, превосходящий коммерческий талант евреев, свою любовь к проишкам, козням, заговорам, тайным махинациям. У нас будут коварные епископы, необузданные епископы. Некоторые из них прибегнут, по-видимому, к той демагогии, которую использовали парижская и департаментские газеты «Ла Круа», произведя глубокое впечатление на республику своими резкими и грубыми выпадами.

Церковь станет призывать к насилию. Ей понадобятся мученики. Она возложит все свои упования на религиозную войну. Ведь первое отделение, происшедшее в третьем году, благоприятствовало религии, так как ему предшествовал террор и сопутствовало издание кровавых законов. Преследуя священников, государство вдохнуло в них новые силы. Оно победит их только безграничной терпимостью.

Не нужно ни преследований, ни притеснений. Законы бывают действительны лишь при условии, что они столь же мягки, сколь и тверды. Если мы проявим достаточно мудрости, то глубокая справедливость наших законов и поступков умерит гнев и ненависть отделившейся от государства церкви. При свободе печати пастырские обращения, призывающие к смуте, потонут среди потока других статей. При свободе собраний мятежные проповеди потеряют все свое значение.

Сила отделения кроется в нем самом, а вовсе не в строгости предусмотренных законом мер. Отделение подрывает самый принцип существования церкви.

Основой римско-католической религии служит ее единство. В католических странах необходимое для церкви единство обеспечивается светской властью. Это государство, заключившее конкордат, оберегает церковь от раскола.

Государство заботится о том, чтобы выбирать среди епископов и священников подлинных ревнителей Рима и отстранять священнослужителей, неугодных Святейшему престолу. Государство восхваляет как истинных пастырей тех из них, кто поносит его в своих проповедях. Такая заботливость чрезмерна. После отделения государству уже не придется делить епископов на правоверных и инакомыслящих, и верующие сами разберутся, какой епископ им больше по душе. Духовная власть папы неограниченна. Но всякая духовная власть нуждается в светской власти для того, чтобы полностью проявлять себя. Именно таково мнение церкви. Свобода, естественно, порождает разнообразие. После отмены конкордата никто не будет уничтожать в зародыше диссидентские церкви. Возникнут и разрастутся множество соперничающих друг с другом сект. Единство вероисповедания будет нарушено.

Лишив христиан своей высокой милости, император Юлиан не стал их преследовать. Он вернул из ссылки епископов-ариан, и тотчас же церковь Христову стали раздирать внутренние распри.

В 1874 году Эрнест Ренан писал с глубоким знанием религиозных вопросов:

«Свобода, я подразумеваю истинную свободу, при которой уже невозможны ни покровительство, ни преследование, нарушит религиозное единство в его опаснейшем выражении. Католическое единство... основывается только на покровительстве государств... Конкордат весьма полезен церкви, ибо, заключая его, государство дает определенные гарантии и этим прикрывает религию даже тогда, когда на деле преследует ее. Мудрость заключается в том, чтобы уничтожить одним ударом и гарантии и стеснительные для церкви законы. Распри — вот основная слабость крупной религиозной общины, у которой нет внешней силы, чтобы поддержать свое единство. Религиозная община обычно

владеет имуществом и имеет юридическое лицо. Раскол церкви невозможен до тех пор, пока государственная власть поддерживает ее, заявляя, например, что считает католиками лишь тех, кто чтит папу и признает те или иные догматы. Но в тот день, когда государство перестанет придавать догматическое значение наименованию церкви, в тот день, когда оно разделит принадлежащую им собственность соразмерно их числу, когда спорящие стороны предстанут перед судом и скажут, что не могут больше жить вместе, все сразу изменится»<sup>1</sup>.

А если враждующие церкви пожелают призвать государство в качестве судьи, то государство может ответить на их мольбы мудрыми словами проконсула Ахайи:\*

«Если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас, но когда идет спор об учении и об именах и о законе вашем, то разбирайтесь сами; я не хочу быть судьей в этом»<sup>2</sup>.

## Глава X

### *Заключение*

После того как Бонапарт восстановил во Франции католическое вероисповедание, все последующие правительства лишь увеличивали богатство и власть церкви, и не всегда из благочестия или желания ей служить. Несмотря на свою любовь к церкви, Реставрация сделала для нее меньше, чем сделали из корысти и страха Июльское правительство и Вторая империя. И, конечно, какой-нибудь Виллель не мог оказать ей таких же огромных услуг, как Гизо \*. Что касается Третьей республики, то она появилась на свет среди мук Версальского собрания, отдавшего Францию во власть ордена Сердца Иисусова, она выросла под угрозой римской опасности, которую не всегда могла предотвратить и

<sup>1</sup> Ernest Renan, *Mélanges religieux et historiques*, 1904, p. 53.

<sup>2</sup> «Деяния апостолов», гл. XVIII, стих. 14 и 15.

которой не всегда умела смотреть в лицо; опасность эта до сих пор еще тяготеет над ней.

Затвердевшая оболочка слов, выражающих живые понятия, направляет мысль по ложному пути и служит причиной многих ошибочных суждений.

Слова «папа» и «церковь» остались, но они почти не отражают тех понятий, которые существовали сто и даже каких-нибудь тридцать лет тому назад. После 1869 года, после Ватиканского собора и ухода верховного первосвященника в свою духовную крепость родилось новое папство. На смену папе-королю пришел папа-бог. Новый догмат непогрешимости, казавшийся сначала плодом религиозного помешательства, был на самом деле ловким политическим ходом.

Обнарожденный в то время, когда Пий IX терял последние крохи своих королевских владений, этот догмат заменял утраченное господство над легациями временным господством над всем миром. Навсегда исчезая в Ватикане, этом неприступном, чуть ли не призрачном дворце, папа, казалось, говорил:

— Пусть я отдам Рим нечестивцам и меня нигде не будет на земле, я все же останусь повсюду, и моим Римом будет весь мир.

Что за неудержимая экспансия отрешившегося от материальной оболочки папства! Но если непогрешимость папы в делах веры относится к области теологии, то непогрешимость папы в делах нравственности относится к области политики; это власть над душами людей, это захват светского руководства обществом, это Силлабус, навязанный государством в виде конституционного акта.

Бред? Нисколько! Реальная действительность. Не один Пий IX совершил этот переворот и не его кардиналы, а церкви всех стран вместе взятые, — сама Церковь. И, для того чтобы овладеть душами людей и народов на всем земном шаре, папство мобилизовало целую армию, не превзойденную доселе по искусству своих военачальников и строгости дисциплины: армию епископов, священников, монахов, низшего духовенства.

Конечно, папство издревле стремилось к всемирному господству и мечтало о том, чтобы наложить на

весь земной шар печать наместника св. Петра. Начиная с XII века папы оспаривали у королей управление французским королевством. Но чем был тогдашний папа по сравнению с теперешним?

— Вы не владыка епископов, а один из них, — говорил папе св. Бернар.

И, повторяя эти слова, Боссюэ добавляет:

— Вот как имели обыкновение говорить благочестивейшие из нас.

Желая помериться силами с чужеземной церковью, французские короли опирались на свою церковь, самую богатую и многочисленную из всех церквей христианского мира. Накануне революции духовенство, первое сословие в государстве, представляло собой армию в сто тысяч человек, оно владело недвижимым имуществом стоимостью в три миллиарда франков и доходом в сто миллионов от сбора «десятины». Это была непобедимая сила в руках короля. Он не всегда одинаково пользовался ею; иногда направлял церковь против папы, а иногда сговаривался с папой, чтобы урезать церковные права, или же предоставлял церкви перейти на сторону папы, подчинившись губительному влиянию ее руководителей. Таким образом, Людовик XIV, неизменно противопоставлявший Святейшему престолу галликанские вольности, стал, к сожалению, под старость ультрамонтаном. Но в случае необходимости парламенты защищали королевскую власть от самого короля. И все же государство неизменно обретало свою церковь, когда надо было давать отпор узурпаторским действиям римского владыки. А какие имеются у вас средства обороны, уважаемые министры-демократы? Галликанская церковь перекочевала за границу. У вас есть лишь ультрамонтанская милиция, священники и монахи — эти солдаты папского воинства, обосновавшиеся в беззащитной республике.

Епископы — ваши враги, и к тому же враги разгневанные. Старик Монталамбер, горячо верующий католик и великодушный защитник Святейшего престола, не мог видеть без боли и ужаса, как безвольно склоняют голову перед папой-узурпатором французские епископы. За несколько месяцев до смерти он писал

одному немецкому католику: «Вы не можете себе представить, в какую бездну рабоплепия скатилось французское духовенство!» Теперь церковь во Франции еще больше рабоплепствует перед Римом. Теперь папа еще настойчивее стремится к господству. Он боится вас меньше, чем Наполеона III, которого все же привел к гибели и к национальному краху <sup>1</sup>, а ненавидит гораздо больше. Папа был безжалостен к императору, потому что император хоть и много давал Риму, но не отдал ему всего. Обратитесь мысленно к этому предзнаменованию и подумайте о том, что еще большая угроза нависла над вами. Ведь когда католические государства раскаивались, и раскаивались вовремя, они еще могли сдать на милость папы. Но вы даже не можете ждать прощения; в его глазах вы — ничто, ибо вы более не католики. Он осудил вас безвозвратно и торопится привести приговор в исполнение. Вы побеждены им, вы его пленники. С каждым днем увеличивает он свою оккупационную армию; с каждым днем расширяет он свои завоевания. Он уже отвоевал у вас большую часть буржуазии; он захватывает целые города, берет приступом заводы; у него есть свои люди, и вы это прекрасно знаете, — в вашем управлении, в ваших министерствах, в ваших судах, в командовании вашей армии. Не просите у него мира, он не хочет мира, не может вам даровать его. Если бы по отношению к нему вы придерживались правил своих предшественников и проводили бы политику Реставрации, Июльской монархии и Второй империи, то дали бы ему достаточно, чтобы еще укрепить его могущество, но слишком мало для того, чтобы умиротворить его; вы же только создали себе грозного врага. Остерегайтесь идти на малейшие уступки — он вам ничего не уступит. На этот раз он помышляет не о том, чтобы заставить светскую власть содействовать его намерениям и славе, а о том, чтобы

---

<sup>1</sup> «Поддержка светской власти папы стоила нам Эльзаса и Лотарингии... Если бы мы отказались от этой поддержки, то немедленно бы заключили выгодный союз; дело было только за нами». Речь принца Наполеона в Палате в 1876 г. (*Histoire des Français, par Théophile Lavalée, t. VII, par Maurice Dreyfous, p. 19.*)

уничтожить ее за неверность. Он желает занять ваше место, вытеснить вас. Светская власть папы была позором человечества, а ваша церковь открыто стремится восстановить ее; она хочет превратить Францию в провинцию всемирного папского государства. Она уже воздвигла на Монмартрском холме храм св. Петра своего нового Рима\*.

Но откуда у церкви силы, которые она обращает против вас? Да от вас же самих! Это вы поддерживаете посредством конкордата ее организацию, ее единство. Это вы создаете из нее светскую власть. Это вы противопоставляете церковь республике и сталкиваете светскую власть Франции и светскую власть Рима. Это вы даете ей в руки оружие, которым она поражает вас же самих. Чего вы ждете, чтобы отнять у нее это оружие? Управляемая вами, она господствует во всех ваших управлениях. Разорвите узы, которыми вы привязываете ее к государству, разбейте формы, посредством которых вы придаете ей видимость крупного политического организма, и вы увидите, что вскоре она растворится в лучах свободы.



## ВЫСТУПЛЕНИЕ НА МИТИНГЕ В ЗАЩИТУ РУССКОГО НАРОДА

*27 января 1905 г.*

Граждане!

Я не собираюсь воскрешать перед вами те страшные сцены, которые вот уже пять дней наполняют ваши сердца возмущением, гневом и жалостью. Я не собираюсь рассказывать вам, как царь убивал людей, умиравших от голода, в нищете, и виновных перед ним лишь в том, что они, в отчаянии, обратились к нему, как к родному отцу. На их горячие мольбы, на их сыновние просьбы, на их слезы он ответил казацкими нагайками и солдатскими пулями. Эти пули пробили его собственный портрет, который нес священник Гапон. Сам того не желая, царь убил царя. Царь убил царя и царизм. Из крови, что окрасила невский лед, родятся миллионы борцов, и они отомстят за убитых. Царь убил царя и побудил народ к революции, которая уничтожит царизм. Николая Александровича больше нет, и весь мир навеки проклянет его память.

Вы — по крайней мере те, что собрались здесь, — счастливей многих своих соотечественников: когда вы думаете о петербургских мучениках, угрызения совести не примешиваются к вашей скорби. Вы не из тех, кто с наглым бесстыдством и плохо замаскированной

хитростью создал чудовищный союз деспота с Республикой \*, кто скрыл под блестящей оболочкой патриотизма доходные финансовые операции и кто подбивал мелких держателей на покупку царского займа с таким яростным упорством, что мы вправе сказать, что это наша мелкая буржуазия оплатила маньчжурскую войну и бойню, учиненную в Петербурге и в Риге. Нет, вы не кричали: «Да здравствует царь!» — и не устремлялись под копыта лошадей, которые везли по нашим улицам и бульварам московского медведя и служившего ему вожакom елисейского индюка \*.

Как своевременно, граждане, раздался ваш крик возмущения, загладивший вчерашний позор! И какое облегчение для общественной совести видеть, как французские рабочие протягивают русскому пролетариату руки, никогда не аплодировавшие его убийцам!

Граждане, вот уже пять дней царское правительство избивает рабочих и сажает в тюрьмы интеллигенцию, действующую заодно с рабочими. Мы видим, что революция продолжает наступать и уже не остановится. К несчастью, ничто не предвещает того, что она будет быстрой и бескровной. Великолепное и страшное зрелище! Студенческая молодежь вместе с профессорами присоединяется к пролетариату, чтобы разделить с ним победу или смерть; встают, содрогаясь от гнева, народы-страдальцы, истекающие кровью под кнутом палача; необъятное пустынное пространство Российской империи оглашается криком, вырывающимся из груди угнетенных, могучим вздохом, идущим из глубины славянского сердца, столь нежного и столь мужественного. Царизму нанесен смертельный удар. Увы! Кто знает, сколько еще человеческих жизней растерзает он в яростной своей агонии! Поэтому с таким скорбным сочувствием, с такой мучительной тревогой приносим мы русским революционерам дань уважения и клятву верности.

Но, граждане, осудить царизм и оплакать его жертвы — это еще не все. Если русские, которые своим мужественным спокойствием, своим изумительным прямодушием, своей истинной добротой заслужили лучшие условия жизни и счастливейший жребий, все

еще подчинены власти, чью тупую жестокость и опустошительную алчность ничто не в силах превзойти, — если нигде в мире нет такого гнусного правительства, как в царской России, то народам, которые считают себя свободными, и, конечно, не без оснований, как, например, французский народ, завоевавший некоторые политические свободы и даже некоторые социальные права, — всем этим народам, или почти всем, угрожает по крайней мере частичный и временный возврат угнетения и насилия, с наибольшей полнотой воплощенных в царизме. Я не хочу преувеличивать. По сравнению с царской Россией, Франция — свободна, Европа — свободна. Но отсюда еще не следует, что европейский пролетариат в какой бы то ни было степени гарантирован от вылазок варварской, безрассудной реакции. Если в России — царизм, то в Англии, в Германии, в Соединенных Штатах Америки — империализм, в Бельгии — клерикализм, в Италии — реакция, во Франции — национализм.

Эти смертоносные силы нависли над всеми королевствами, над всеми империями, над всеми республиками. Они угрожают нашей стране, как и многим другим. Нам не следует обольщаться. К чему мы пришли по прошествии ста с лишним лет, после того как было пролито столько крови? Слова не должны обманывать нас, название «Республика» не должно вводить нас в заблуждение. Разве первый президент Республики, этот кровавадный старец \*, не бросил разгромленные под Метцем и Седаном войска на Париж, где они перебили тридцать тысяч безоружных пролетариев? Разве буржуазная Республика, столь жестокая к рабочим, которые возлюбили ее до того, что отдали за нее жизнь, — разве она не расстреляла четырнадцать лет назад фурмийских забастовщиков? \* Разве ее министры, все эти Ферри, Дюпои, Мелины, больше заботятся о пролетариате, чем министры монархии и империи в Англии или в Германии?

Взгляните на наших министров, на руководителей нашей государственной политики. Неспособные сломить мощь военной касты, храбрые на словах, они прикрывают болтовней свое бессилие. К их груди пристав-

лена генеральская сабля, гражданским правительством командует высший военный совет. Вожди армии безбоязненно призывают к мятежу. Сегодня некий генерал оскорблен тем, что его приняли за республиканца; \* завтра некий лейтенант грубо провоцирует редакторов социалистических газет и народных депутатов; послезавтра некий штаб-офицер на заседании военного суда оплакивает то время, когда на улицах Парижа, после расправы, учиненной в мае 1871 года, прохожие расступались перед офицерами — победителями Коммуны. Все говорит за то, что вот-вот вспыхнет военно-националистский мятеж. И вряд ли, граждане, можно предотвратить опасность, доверив портфель военного министра биржевому маклеру \*. Нет! Пока наша демократия не уничтожит монархические по происхождению и по духу военные учреждения, до тех пор угроза будет висеть над французским пролетариатом.

Вы знаете, граждане, что в деле защиты своих интересов, в деле своего освобождения пролетариат может положиться только на себя. В борьбе против всяческого угнетения, в борьбе против царизма, против империализма, против национализма — пролетарии всего мира должны сплотиться тесней. Все должны сплотиться в борьбе против всемирного триумvirата: попа, солдата и финансиста.

Полюбуйтесь на наших националистов. Они — католики, милитаристы и капиталисты и в силу этого — интернационалисты в кубе. Интернационалисты по своей религии, глава которой — Рим; интернационалисты — благодаря капиталам, у которых нет родины; интернационалисты — в силу братства по оружию, братства, объединяющего генералов всех армий мира: русские Стессели и японские Ноги \*, которых император Вильгельм, чтобы утвердить гегемонию Германии над вооруженным миром, украшает своими черными орлами, протягивают друг другу руки над горами солдатских тел. Вот кто у нас беспрестанно провозглашает священный культ отечества! Но кому не понятно, что под именами национализма и патриотизма скрывается всемирная коалиция сил реакции и угнетения, интернационал насилия и рабства! И вот этому интер-

националу, граждане, мы должны противопоставить интернационал пролетариев, интернационал свободы, гармоничного труда и мира.

Возвращаясь к тому, что нас заставило здесь собраться, я предлагаю послать братский привет русским революционерам.

## **ВЫСТУПЛЕНИЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКОМ МИТИНГЕ В ЗАЩИТУ РУССКОГО НАРОДА**

*3 февраля 1905 г.*

Товарищи!

Почему митинги следуют за митингами, почему свободные люди находят нужным собираться, почему эти собрания стекаются все, кто трудится и кто мыслит в нашей стране? Что вызвало благородную речь, которую вы только что выслушали? Откуда это волнение, откуда этот трепет негодования? Почему в Германии, в Италии, в Соединенных Штатах Америки ученые и мыслители содрогаются вместе с нами при известии о преступлении, совершенном за границей, вдали от нас?

Потому что иноземных преступлений отныне не существует, потому что далеких преступлений отныне не существует, потому что люди стали ближе друг к другу, потому что цивилизация и наука уничтожили интеллектуальную и моральную разобщенность.

Потому что, вопреки чудовищным вооружениям, несмотря на старинные предрассудки и исконный эгоизм богатых людей, несмотря на остатки варварства, драпирующегося ныне в тогу воинственности и национализма, народы чувствуют, что они стали ближе друг к другу, и желают жить в мире. Потому что мировая солидарность вот-вот родится, или, вернее, возродится, ибо вы узнаете в ней ту любовь к людям, которую проповедовал Рим, языческий Рим, научивший нас всему; потому что широкое и постоянное движение объединяет и вновь связывает рабочих всего мира; потому что великое слово социалистического учения облетело

народы: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Объединение трудящихся — залог мира во всем мире».

Благое слово! Мощное слово! Ибо знаете, товарищи: в этот час на обломках рухнувшего аристократического строя и вымирающих каст, на руинах капиталистического общества поднимается мирный труженик-пролетариат, и завтра он станет хозяином целого мира.

Знамение новых времен мы видим в том, товарищи, что свист пуль, которые сразили на берегу Невы русских рабочих, услышали все. Знамение новых времен мы видим в том, что этот вопль всеобщего негодования, направленного против царя, который... Впрочем, стоит ли говорить об этом ничтожестве? К чему клеймить его? В тот кровавый день царь убил царя.

Царь умер. И это лишь призрак его, ненавистный и жалкий призрак, там, в Царскосельском дворце, стены которого дышат злодейством и ужасом, с цинической наглостью «простил» убитым по его приказу рабочим их «преступление», которое заключалось в том, что они обратились к нему за помощью, как к родному отцу. Не будем больше говорить о последнем Романове: участь его решена. Великих князей, его вдохновителей и соучастников, еще более виновных, чем он, мы предоставим судить народу, который они безжалостно обманули, ограбили, унизили, истерзали. Пусть судит их Россия! Великие князья больше не приедут веселиться в Париж. Не будем говорить о великих князьях.

«Вы слишком поздно смолкли, — указывают нам. — Вы слишком много говорили. Ваш крик возмущения слишком явно угрожает существованию союза, драгоценного для нас союза».

На это мы ответим. На это нам есть что ответить. Союз... Если речь идет о том, чтобы вступить в союз с мужественным, храбрым, великодушным русским народом, — с каким восторгом мы раскроем ему объятия, с какой готовностью мы предложим ему дружбу! С какой радостью вошли бы мы вместе с ним в братство объединенных народов! Наше же республиканское правительство, в котором так сильны монархические традиции, не предлагает нам союза с Россией, — нет, оно навязало нам союз с царем. Но каковы последствия этого

союза, столь шумного и вместе с тем столь таинственного, с самого начала преследовавшего интересы реакционной буржуазии; ратифицированного модницами, которые на улице Мира бросали с балконов цветы кронштадтским офицерам; позднее превознесенного, наперекор здравому смыслу и собственному достоинству, тщеславным и глупым главой нашего государства; \* использованного без зазрения совести алчными финансистами, которые, не задумываясь, рискнули положить французские сбережения в дырявые кассы грабительской империи, — каковы последствия этого союза? Ужасная война на Дальнем Востоке, война, которую мы в своем безумии подготовили совместно с царской Россией, моля судьбу только о том, чтобы наш союзник и друг не потянул нас за собой в Маньчжурию и не заставил разделить с ним страшные бедствия.

Нет, не чванливым министрам давать нам уроки дипломатии и патриотизма! Французский народ не намерен объединяться с царем против какого бы то ни было народа ни на Западе, ни на Востоке. Французский народ — друг всех народов, будь то народ Англии или Германии, России или Японии. Революционная Франция, социалистическая Франция, новая Франция может сказать о себе словами благородной героини Софокла: \* «Я призвана разделить любовь, но не злобу».

Союз Франции с царем встревожил весь мир, воспламенил Дальний Восток, повлек за собой ужасающие разрушения. Нам же он ничего не принес, кроме опасности царизма. Царизм — это эпидемия. В своем поступательном движении он напоминает средневековую чуму, катившуюся, подобно черному солнцу, с Востока на Запад. Мы видели, как, перекинувшись из России, зараза царизма передалась если не всей Германии, то во всяком случае императору Вильгельму и помещикам с берегов Шпрее. Затем она добралась и до Франции. У нас в стране она приняла, быть может, более мягкую, но зато крайне упорную и назойливую форму — форму национализма. Он немало способствовал той реакционной лихорадке, приступ которой мы наблюдаем сейчас, — последствия его могут быть серьезны.

У меня нет никакого желания подробно останавливаться на наших политических и парламентских недугах. Я хочу закончить свою краткую речь замечаниями более общего, высшего порядка, замечаниями, которые должны больше прийтись по душе этой юной и отзывчивой аудитории.

Юноши и девушки, учащаяся молодежь, товарищи! Скоро вы смените нас и займете наше место в жизни и в обществе. Вы будете счастливей нас и сделаете больше, чем мы. Но по крайней мере одному мы научили вас, и я умоляю не забыть этого урока. Я с гордостью заявляю, что мы показали вам великолепный пример, приняв участие в деле, которое оказалось для Франции более почетным, чем победа, и которое тоже явилось победой, победой справедливости. (Ибо мы чувствуем себя победителями при виде стольких перебежчиков, стремящихся вступить в наши ряды.) Защищая невинного страдальца против всех сил власти и общественного мнения, мы научили вас не подчинять их доводам доводы своего разума. Мы научили вас не подавлять в себе голоса совести. Мы научили вас, — я призываю в свидетели господина Пенлеве и ваших любимых учителей, которые сидят рядом с ним, — мы научили вас не сгибаться перед могущественным преступлением. Мы научили вас провозглашать истину так, чтобы голос ее звучал сильнее бряцания сабель и рева толпы. Мы научили вас, как должны поступать мужественные люди, когда судьи безмолвствуют, а министры лгут. И в этом, несмотря на наши слабости, на наши заблуждения и ошибки, мы оказались хорошими учителями.

Но вы не нуждаетесь в моих наставлениях; ведь вы сами позвали нас сюда, и все вы, ученики и учителя, крепко спаяны общностью мыслей и чувств. Есть великая мудрость в том, чтобы сохранить склонность к мечтанию. Мечты придают миру интерес и смысл. Мечты, если они последовательны и разумны, становятся еще прекраснее, когда они создают реальный мир по своему образу и подобию. Вот почему, покидая вас, я бережно унесу с собой мечту о том, что вы и после нас будете



трудиться над объединением народов и над устройством мирной жизни на земном шаре, наконец изученном и вымеренном людьми.

## ПИСЬМО К ГОСПОДИНУ ВЕРДЕНУ

*25 февраля 1905 г.*

Милостивый государь,

Я с волнением прочел вашу книгу под заглавием «Те, кого презирают». Это задушевное и вместе с тем патетическое повествование о судьбах евреев в России поражает всеми свойствами, присущими жизненной правде.

Вы — писатель могучего дарования, потому что вы писатель искренний.

Вы подняли серьезный вопрос. Выведа на страницах книги представителей угнетенного народа, вы открыли одну из причин возникновения язвы, разъедающей угнетателей, вы показали Россию, стонущую под гнетом религиозного и социального террора.

Вы подтвердили глубокую истину, заключающуюся в том, что общество, построенное на несправедливости, неизбежно становится жертвой этой несправедливости.

Действие разворачивается в книге с эпической широтой, от чудовищных еврейских погромов, организованных во многих местах царской империи, до Маньчжурской войны, во время которой не только закатилась звезда царизма, но и рухнула старая воинствующая политика Европы, еще по-прежнему феодальной.

И этот роман, богатый исследованиями о политической и социальной жизни, все же остается настоящим романом, он захватывает, волнует, и я не мог читать его без слез.

Он написан общедоступным языком и, несомненно, тронет все сердца. Ведь, несмотря на то, что это умная книга, чувства занимают в ней первое место.

Значительные, разнообразные, грандиозные события, лежащие в основе книги, постоянно преломляются сквозь призму личной, семейной драмы.

Вы дали нам почувствовать, Жорж Верден, все возмущение, всю боль поруганного и истерзанного человека. Ваша книга показывает жизнь такой, какова она есть!

И наконец, ваш роман прекрасен в своей правдивости еще и потому, что в нем изображена с прелестной сдержанностью любовь — любовь целомудренная, спокойная, чистая и глубокая, пример которой постоянно дают в своей тяжелой трудовой жизни неимущие студенты и студентки России.

*Анатоль Франс.*

## **РЕЧЬ НА МИТИНГЕ ПРОТЕСТА ПРОТИВ НОВОГО ЦАРСКОГО ЗАЙМА**

*18 марта 1905 г.*

Граждане!

Начиная с 22 января 1905 года, этой зловещей даты, события в России неуклонно шли к своей роковой развязке. В Маньчжурии произошли бедствия, которых надо было ожидать с самого начала. Главнокомандующий Куропаткин потерпел целый ряд поражений, которые он, в бытность свою военным министром, несомненно, сам же и подготовил. После этого царь поручил другому вояке \* дальнейшую организацию катастрофы. В это время во всей России на протесты интеллигенции, на справедливые и выстраданные требования рабочих, на смелый ропот угнетенных народностей — на все это полиция, единственный орган власти в Российской империи, который еще держится на ногах, всюду исподтишка отвечала насилием.

Поражение — на внешнем фронте. Внутри — революция. Подобно алоэ, царизм распустился махровым цветом, и теперь ему остается только умереть.

Наши друзья сообщают нам в своих письмах: «По всей России идет бойня». Достаточно быть просто человеком, чтобы возмутиться такими преступлениями перед человечеством. У нас же, французов, к несчастью, имеются особые причины для того, чтобы быть

потрясенными до самого основания, для того, чтобы возмутиться до глубины души. В нашем негодовании слышится голос встревоженной совести. Мы чувствуем себя в известной мере виновными в безумствах и жестокостях царизма. Мы помогли ему совершить их, предоставив в его распоряжение сумму, неслыханную по величине и по заложенным в ней возможностям: девять миллиардов. Факт непостижимый и, однако, достоверный: за десять лет своекорыстное искусство наших «патриотов» из финансового ведомства сумело вынуть девять с лишним миллиардов из французских сбережений и вручить их правительству, чьи финансы — бесконтрольны, чьи заповеди — бесчестны.

Что же сделала царская Россия с этими богатствами? Экономные буржуа, мелкие рантье, неутомимые держатели русских займов, на что пошли ваши деньги? На оборудование промышленности великого, юного и трудолюбивого народа? На извлечение из все еще девственных недр земли ее неиссякаемых богатств? На производство новых ценностей, на поощрение труда, на облегчение и улучшение условий существования? Нет! Нет! Вашими деньгами вскормлена алчная и глупая политика: на ваши деньги куплены пушки, захваченные японцами под Мукденом, крейсера и броненосцы, потопленные со всем экипажем в Корейском проливе \*. Вашими деньгами оплачено избиение петербургских рабочих, их жен и детей. В настоящий момент вашими деньгами оплачивают учиняемые властями армянские погромы в Баку, расстрелы студентов в Томске, резню, официально организованную царским правительством в Саратове, в Курске, в Казани.

Итак, французские буржуа, счастливые и спокойные кредиторы царя, вот на что идут ваши деньги, вот каковы их плоды! Разумеется, вы желали бы для них иного употребления. Давая деньги, вы еще ничего не знали. Теперь вы знаете, теперь вы предупреждены. Не начинайте же все сызнова.

Как раз сейчас русское правительство ведет переговоры с нашими крупнейшими кредитными банками о новом займе в полмиллиарда. Непроницаемой тайной окутаны эти переговоры. В то время как первые займы

были ознаменованы парадами военных судов, пышными тостами в честь императора и президента, царским гимном, «Марсельезой», трофеями в виде оружия и знамен, эта последняя финансовая операция подготавливается втихомолку, в банковских кабинетах, где с озабоченными лицами восседают за зелеными столами финансовые тузы. Добьются ли они успеха под защитой полумрака и тишины? Финансисты, как правило, обладают коротким умом, их предусмотрительность никогда не поднимается над их личными интересами. Наши же финансисты, не довольствуясь тем, что за десять лет они перевели в Россию большую часть народного достояния, конечно, готовы за большие проценты предоставить заем издыхающему царизму и разместить его наивыгоднейшим для себя способом среди тех, кого одурачила подкупленная пресса. Это они называют единением французского и европейского патриотизма. Но на этот раз они рискуют тем, что наша страна очутится на краю гибели.

Сознают ли они, что значит подписаться на новый царский заем, от которого отказались германские финансисты? Подписать на него — это значит подписаться под самой бессмысленной и жестокой войной; это значит подписаться под угнетением целого народа, это значит подписаться под преступлением и безумием. Нет, нельзя допустить размещения во Франции этого займа войны и репрессий, займа бедствий и сумасшествия, займа расстрелов и побищ, кровавого займа! Соглашаться на него преступно. Подумайте об этом!

Россия — необъятная страна, она обладает неисчислимыми богатствами. Она в любой момент сможет уплатить проценты по капиталам, которые она получила. С этой стороны бояться нечего. Но царизм? Его дни сочтены. Царь и его царство, быть может, завтра же будут свергнуты.

Народное правительство, которое придет ему на смену, не откажется от долга, числящегося за Россией. Оно не отречется от обязательств, принятых на себя Россией до того дня, когда было совершено преступление. Но оно не признает займов, произведенных после 22 января 1905 года. Свободомыслящая партия заявила

об этом в воззвании, подписанном целым рядом лиц и, в частности, Максимом Горьким. Будущее русское правительство не признает займа побойщ и гражданской войны. Пусть это предостережение послужит вам на пользу. Я сказал то, что надо было сказать и что сказала бы вся наша печать, будь она свободной. Но большинство газет молчат. Однако я не вправе утверждать, что сказал об этом первый, первым подал тревожный сигнал. За примером ходить недалеко: Жан Фино, человек в высшей степени проникательный и осторожный, в своей статье, появившейся недавно в редактируемой им газете «Ревю», сказал об этом достаточно сильно: «Все говорит против нового русского займа. Он не отвечает ни нашим материальным, ни нашим моральным интересам. Дело заключается в том, чтобы, во-первых, избежать банкротства и спасти честь Франции, во-вторых».

Сказано так сильно, что к этому нечего прибавить; мы же обратимся к мелким вкладчикам с такими словами: «Не волнуйтесь. Но будьте начеку. На царском рубле — кровь, и он падает».

Пагубный для России, царизм представляет собой опасность для всех цивилизованных народов, и у его союзников нет никаких оснований для того, чтобы меньше его бояться. Откроем же, граждане, наше собрание, единодушно объявив себя врагами царя и друзьями России.

## **ВОЗЗВАНИЕ В ЗАЩИТУ МАКСИМА ГОРЬКОГО**

*Апрель 1905 г.*

Ко всем свободным людям:

Великий писатель Максим Горький, обвиняемый в заговоре против государственной безопасности, в ближайшее время предстанет перед закрытым судом.

Его преступление заключается в том, что он хотел, пока еще было время, стать между заряженными винтовками и обнаженной грудью безоружных рабочих.

Царское правительство желает, чтобы он искупил свою «вину». Виновники бойни, те, кто из трусости допустил ее, те, кто замыслил ее и приказал начать, те, кто зверски приводил приказ в исполнение, объединились для того, чтобы в лице Горького нанести удар всему, что они ненавидят: мысли, гражданскому мужеству и любви к народу.

Совесть цивилизованного мира не может отнестись спокойно к этому узаконенному злодейству. Горький, одна из бесчисленных жертв царизма, в настоящее время олицетворяет собой естественные права человеческой личности: право мыслить, право творить, право открыто содействовать общему благу. Все люди, достойные называться людьми, должны защищать в лице Горького эти священные права.

## **РЕЧЬ НА СОБРАНИИ В ПОЛЬЗУ ЖЕРТВ РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ**

*12 ноября 1905 г.*

Гражданки и граждане,

Мы — смутьяны, мы — негодяи. Мы высказываем то, о чем все остальные только думают. Мы говорим сегодня то, что все остальные скажут завтра. Мы миролюбивы: это не преступление. Все или почти все французы миролюбивы. Преступление заключается не в миролюбии, а в том, чтобы говорить о нем прямо, просто, недвусмысленно, без прикрас.

Будем, однако, справедливы: в миролюбии можно сознаться даже у нас во Франции, но при одном условии: необходимо облечь свои мысли в форму благопристойную, хотя и грозную, и высказать их тоном свирепым, непримиримым. Наши государственные мужи, наши министры никогда не изменяют этому правилу: самые незлобивые из них, даже министры сельского хозяйства, никогда не высказываются в пользу длительного мира без того, чтобы не воздать хвалы воинским доблестям. И, выступая перед избирателями, депутаты неизменно превозносят лишь мир воинственный.

Так в ответ на приглашение участвовать в одном патриотическом празднестве депутат и бывший министр Рибо послал красноречивое письмо с отказом, в котором разоблачал миролюбивые идеи Жореса и его друзей. Господин Рибо находит, что в этих идеях предусмотрены известные ограничения, которые он не может принять. Уже одно слово «разоружение» пугает этого мнительного патриота. Каждая фраза его письма звучит как строфа «Марсельезы». Он с негодованием отклоняет мир, близкий сердцу социалистов, видя в нем оскорбление родине и себе самому в качестве бывшего министра иностранных дел. Неужели господин Рибо — человек воинственный? Неужели он горит желанием отправить наши войска к границам государства? Нет! Он тоже хочет мира. Но мира торжественного, славного и блестящего, как сражение. Господин Рибо не менее миролюбив, чем Жорес. Только миролюбие Жореса бесхитростное. Миролюбие же господина Рибо напыщенное. И вот что знаменательно. Все во Франции хотят мира. Но в то время, как маленькие люди, социалисты и пролетарии, вроде нас, довольствуются миром в рабочей блузе, у крупной буржуазии более благородные вкусы, и она требует мира, украшенного воинскими отличиями и регалиями славы.

Мы содержим армию исключительно для того, чтобы избежать войны, — таково мнение, весьма распространенное в нашей стране. Даже высшее французское офицерство придерживается его. Это выявилось со всей очевидностью во время одного громкого дела, о котором не лишне здесь напомнить, а именно во время дела Дрейфуса. Когда автор «Я обвиняю» предстал перед судом присяжных \*, некий ревностный генерал, желавший добиться осуждения Золя, обратился к присяжным заседателям со следующей коварной речью:

«Господа присяжные заседатели, оправдание Золя означает невиновность Дрейфуса; невиновность Дрейфуса означает войну. Неужели вы хотите, чтобы мы повели ваших сыновей на бойню?»

Нет, присяжные заседатели департамента Сена не хотели этого. Вот почему они осудили Золя, несмотря на его невиновность, Золя, говорившего правду, Золя,

честного человека и великого гражданина. «Пусть лучше этот человек отправится в тюрьму, только бы не было войны с Германией», — думали они. Как видно, эти буржуа считали, что мир стоит купить даже ценой несправедливости.

Ограничимся этими примерами. Все признают теперь, что Франция миролюбивая страна. Только, говоря это, обычно добавляют: «Одна ласточка весны не делает. Один народ мира тоже не делает».

Да, конечно, но остается узнать, одна ли Франция в целом свете привержена миру. Взгляните на Германию. Это воинственная страна. Она имеет превосходную армию, лучшую армию в мире... Мы тоже. Все страны имеют лучшую армию в мире. Но у Германии есть нечто большее. У нее на императорском престоле сидит капрал, великий капрал, законченный капрал, не капрал, а совершенство, император и бог всех капралов, капрал Гогенцоллерн, капрал Лоэнгрин \*. У Вильгельма душа и усы капрала, по своему положению и характеру он предназначен для ведения войны. Но разве он воевал хоть раз за все пятнадцать лет своего царствования? Нет. Он занимался поэзией, живописью, навигацией, музыкой, красноречием, эквилибристикой, скульптурой, теологией, танцами — решительно всем, за исключением войны. А почему? Да, очевидно, потому, что в Германии и во всей Европе произошли какие-то перемены. Потому что за последние сорок лет развитие крупной промышленности привело к развитию и организации пролетариата как в Германии, так и в остальной Европе, и если промышленники и финансисты не всегда бывают миролюбивы, то пролетариат неизменно стоит за мир. Потому, наконец, что в рейхстаге имеется социалистическое меньшинство, проникнутое духом интернационализма и мира, и что это меньшинство все увеличивается.

Допустим, скажете вы, что Германия стала сторонницей мира под влиянием своего пролетариата. Но Россия!

Россия? Должен сознаться, что русское правительство нельзя отнести к числу третейских судей и мудрых посредников в спорах между державами. Да,



конечно, русское правительство нарушило покой во всем мире. Если оно и не объявило войны Японии, то пожелало ее, вызвало, приняло в ней участие! Как же иначе рассматривать тот факт, что оно послало на смерть множество людей и сделало это неорганизованно, без системы, плана и руководства? Да, русское правительство бросилось очертя голову в войну, которую оно даже не подготовило, и война принесла ему грандиозные поражения и непоправимые бедствия. Но, к счастью, русское правительство — единственное в своем роде: такого правительства больше нет. Надо сказать к чести человеческого рода, что царизм только один. А скоро и его не будет. Да, царизм, представший перед судом истории и приговоренный ею, сам ввязался в войну. Но он гибнет от этого. Долготерпеливый, мужественный, великодушный русский народ, сражающийся в этот час за свою свободу, русские рабочие, ученые, торговцы, студенты — эти доблестные герои и бесчисленные мученики ведут освободительную борьбу и совершают под возгласы «Да здравствует мир!» (Слышите ли вы их?) революцию, которая изменит сознание людей и положит конец смуте и несчастьям, вызванным в Европе и во всем мире варварством и алчностью царизма.

Медленно, неравномерно народы земного шара все же идут к миру. Несомненно, войны еще будут. Кроважидные инстинкты и врожденная жадность, гордыня и голод, терзавшие человечество на протяжении столетий веков, еще будут терзать его. Народные массы еще не обрели нужного равновесия. Взаимное проникновение народов еще недостаточно планомерно, чтобы обеспечить всеобщее благосостояние, основанное на свободе и широком обмене; человек еще не научился повсюду уважать человека.

Хотя царизм существует, к счастью, только в России, — империализм еще господствует в обоих полушариях. Следует опасаться гордыни империалистов и безумия колонизаторов. Следует опасаться во Франции невежественных и грубых националистов. Граждане, верьте мне! Остерегайтесь «думеризма» \*. «Думеризм», несомненно, смешон, но он и опасен. Ведь мелкие

людишки служат порой причиной ужасных бедствий. Бойтесь «думеризма». Опасайтесь крупных финансовых и военных авантюр. Опасайтесь побед и сделок \* Франции, уже восемьдесят лет подвизающейся в Марокко.

Вот видите, сколько у нас поводов для опасений. Все же, граждане, мы верим в грядущий мир на земле. И эти надежды основаны не на мечтах и пожеланиях, а на изучении общественных явлений и на выводах исторического материализма.

Всеобщий мир придет не потому, что человечество станет лучше (на это трудно надеяться), а потому, что новое положение вещей, новые веяния в науке и новая экономическая необходимость заставят людей пребывать в состоянии мира так же, как прежние условия жизни навязывали им состояние войны.

Продолжая намеченную кривую, мы можем предсказать установление более тесных и совершенных связей между всеми нациями и всеми народами, рациональную организацию труда и создание Соединенных Штатов Мира. Нет, это не греза, разлетающаяся в прах при первых лучах солнца, не пустая иллюзия!

Напротив, грезят и обольщаются те, кто, живя за счет милитаризма и бесчеловечной колонизации, считает, что современный порядок, или, точнее, беспорядок, будет существовать вечно... Но правда ли, они так думают?... Нет! Они прекрасно понимают, что войне придет конец. Они знают, кто ее погубит и как это произойдет. Они знают, что пролетарии всех народов вскоре соединятся и образуют единый мировой пролетариат и что согласно великому учению социализма объединение трудящихся будет означать установление мира во всем мире.

## **ОТВЕТ НА АНКЕТУ «МОРАЛЬ БЕЗ БОГА»**

*15 ноября 1905 г.*

Прежде всего установим, что такое мораль.

Мораль — это правила нравственного поведения. Нравственность же — это привычки. Следовательно, мораль — это правила, руководящие нашими привычками.

Нравственным люди называют то, что им привычно. Безнравственным — то, с чем они не освоились.

Старые привычки дороги людям и кажутся им священными: в этом источник религии. Вот почему религиозная мораль соответствует древнему состоянию нравственности. Это справедливо для всех культов. И именно в этом смысле Лукреций сказал, что религия порождает преступления.

У христианских народов, особенно у народов, исповедующих католицизм, богословская мораль выражает собой раннюю эпоху цивилизации. Эту мораль почитают, но она мало понятна, и на деле с ней не считаются.

Право, которое является не чем иным, как практической моралью, приведенной в систему, не зависит в Европе ни от какой церковной идеи. Итальянский министр Мингетти весьма верно заметил, что Кодекс Наполеона воспроизводит значительную часть римского, то есть дохристианского права, а в остальном продиктован духом XVIII века.

У нас есть уже не просто мораль, но и моральные правила, не зависящие от религиозных догматов.

Однако эти правила не могут быть постоянными. Нравы изменяются непрерывно, а вместе с ними изменяется и мораль, которая является лишь общим их выражением. Законы должны следовать за нравами.

## **ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СУДА НА ПРОЦЕССЕ АНТИМИЛИТАРИСТОВ**

*27 декабря 1905 г.*

Господин председатель,

Я не имею возможности присутствовать на заседании суда, в чем приношу вам свои извинения.

Будь я на суде, я просил бы разрешения сказать следующее:

Неужели у нас все еще преследуют за убеждения? Разумно ли карать так строго за простое воззвание?

Нельзя же запретить людям думать. Какой смысл запрещать им говорить то, что они думают? Предоставьте им оружие слова, если не хотите, чтобы они взяли за другое оружие.

Господа присяжные, будьте осторожны! За этими преследованиями кроются подлые махинации избирательной кампании \*. Патриотизм — весьма удобная программа, избавляющая от необходимости проводить какие бы то ни было реформы.

Господа присяжные, вы не станете соучастниками политиканов, играющих на патриотизме, злейших врагов своей родины!

Примите, господин председатель, уверения в моем глубоком уважении.

*Анатоль Франс.*

## **ЗА МИР, ПРОТИВ ТАЙНОЙ ДИПЛОМАТИИ**

*Речь на митинге, созванном газетой «Юманите»*

*19 января 1906 г.*

Мы собрались, чтобы обсудить международное положение Французской республики, а также последствия тайной дипломатии в демократической стране. С этим непосредственно связан вопрос безопасности нашей страны, и, прежде чем предоставить слово Жоресу и Сеайлю, я хочу сделать несколько предварительных замечаний. Я буду краток. Я скажу лишь самое необходимое и буду счастлив, если мне удастся выразить нашу общую мысль. Я вправе на это надеяться, так как у социалистов не может быть разных подходов к вопросу мира и войны.

Мы не хотим, чтобы мир был нарушен. Гневными упреками, насмешками и сарказмами осыпали нас «уравновешенные» люди и «серьезные» газеты за наше требование мира. А между тем даже те, кто особенно нас порицает, в сущности не враги миру — они так же не хотят войны, как и мы. Они хотят устранить опасность, но не желают ее уничтожить. Они хотят

сохранить снаряд заряженным, но не желают, чтобы он разорвался. Главари реакционных партий, редакторы националистических и умеренных газет умышленно пугают народ войной.

Распространяя зловещие слухи, они сами верят им лишь наполовину, а часто и не верят вовсе. Но они заинтересованы в том, чтобы заставить верить народ. Это им выгодно в политическом и финансовом отношении. Когда народу угрожает война, нашествие неприятеля, народом легко управлять, он не требует тогда никаких социальных реформ. И если все же найдутся рабочие, которые настойчиво потребуют у министров и у депутатов какого-нибудь закона о профсоюзах или о восьмичасовом рабочем дне, те им ответят: «Пролетарии! Сейчас не время думать об улучшении условий вашего существования — сейчас надо думать о том, как бы изготовить побольше орудий».

Что могут возразить на это пролетарии?

Народ под угрозой войны и нашествия вражеских полчищ не станет разбираться в качестве военного снаряжения и в качестве продуктов. А что же может быть лучше для финансовых и промышленных синдикатов? Патриотизм открывает для них неиссякаемые источники барыша. Угроза войны — хлеб насущный для реакции. Угроза войны наносит социализму больший ущерб, чем речи и выборы в буржуазный парламент за двадцатилетний период.

Вот почему мы не верим, когда нам говорят:

— Берегитесь! Скоро война!

— Война? С кем?

— С Германией. Разве вы не слышите угроз свирепого кайзера?

— Да, мы всё слышим и всё прекрасно понимаем. Кайзер — «великий» политик, и поступает он так же, как поступают «великие» политики нашей Республики: он хочет держать народ в постоянном страхе перед войной — страхе, который ему, кайзеру, на руку.

Германский народ не хочет войны. Кто уверяет нас в обратном, тот лжет.

Французский народ тоже не хочет войны. Это сомнению не подлежит.

Разве мы дети? Разве нам нужно говорить: «Будьте пайньки, а не то страшный людоед Алхесирас вас съест!»?

Нет, граждане, страшный людоед Алхесирас никого не съест. И пусть наше правительство воздержится от частого повторения одной и той же угрозы, имеющей целью держать нас в повиновении: «Берегитесь, ула-ны!» Придет час настоящей опасности — и никто ему не поверит.

Наши министры ошибаются, думая, что дипломатия демократической страны не должна ничем отличаться от дипломатии абсолютной монархии.

Мы живем в стране, где общественное мнение играет большую роль. Нам говорят, что мы вольны распоряжаться своей судьбой, что избирательный бюллетень делает нас господами положения. Нам говорят: у нас республика; значит, нечего бояться, что власть наперекор нам вовлечет нас в военные авантюры. Говорят, будто конституция охраняет нас от подобных неожиданностей. Действительно, пункт восьмой конституции 1875 года, касающийся отношений с иностранными государствами, гласит:

«Президент республики ведет переговоры и утверждает договоры, о которых он ставит в известность палату депутатов, как только ему это дозволят интересы и безопасность страны.

Мирные договоры, торговые и финансовые договоры вступают в силу только после голосования в обеих палатах».

Таково содержание восьмого пункта. Посмотрим, как же он применяется на деле. В интересах страны, в интересах ее безопасности президент республики все еще не вправе ознакомить наш парламент с франко-русским договором. Между тем этот договор и последовавшие за ним займы уже нанесли нашей стране убыток в несколько миллиардов франков, но этого мало: франко-русский договор готовит новые займы для преступного самодержавия, а для нас — неизгладимый позор. Этот договор, заключенный двенадцать лет назад и до сих пор еще нам неизвестный, мог вовлечь нас в войну с Англией и Японией, так как есть основание

думать, что наше вооруженное вмешательство было в нем оговорено.

Правда, для нашего успокоения существует девятый пункт той же конституции, где говорится:

«Президент республики не имеет права объявлять войну без предварительного на то согласия обеих палат».

Утешение плохое, поскольку у цивилизованных народов существует обычай открывать военные действия без объявления войны.

Действительно, народ в наше время имеет так же мало прав заключать мир и объявлять войну, как и при Наполеоне или при Людовике XIV.

Нас уверяют, что мы господа положения, что мы вольны распоряжаться своей судьбой, нам неустанно твердят, что никто не вовлечет нас в войну без нашего ведома, как это бывало во времена Империи. И что же? В один прекрасный день, а именно во вторник 6 июня 1905 года, мы вдруг узнаём, что наш министр иностранных дел в кабинете Лубе, — а ведь Лубе далеко до Наполеона! — бестрепетной рукой подготовлял страшное столкновение народов, подготовлял кровавые битвы\*.

И об этой грозившей нам войне мы узнали не по смутной тревоге доверчивого народа. Нет, сам председатель совета министров Рувье известил сенаторов и депутатов. И объявил он об этом, как о самом обыкновенном событии.

— Если б Делькасе остался в министерстве еще одни сутки, война была бы неизбежна, — сказал он. — Но теперь можете быть спокойны: я потушил огонь.

Вот что узнали мы в тот незабвенный день. А еще говорят, что мы господа положения! Что же было бы, если бы мы не были господами положения?

Недавно я слышал прелюбопытный разговор. Один старый сенатор, довольно воинственно настроенный, объяснял кучке молодых медиков и дипломатов, что честь Франции зависит от исхода дела, которым занята в настоящий момент наша дипломатия.

— Мне об этом известно, — заявил он.

На вопрос, откуда ему это известно, он ответил:

— Благодаря болтливости одного из послов.

Нравы нашей дипломатии нисколько не изменились со времен Людовика XV. Если бы господин Шуазель \* мог воскреснуть и снова занять пост министра иностранных дел, он нашел бы министерство таким, каким покинул его в 1764 году. А между тем во Франции произошли с тех пор большие перемены. Взять хотя бы армию она уже больше не состоит из наемных немецких и швейцарских солдат, не состоит она и из несчастных бедняков, которых вербовали прежде на улице. Этого нельзя не принять во внимание. Если объявляет войну дипломатия, то ведут ее солдаты. Отсюда следует, что для новой армии нужна и новая дипломатия — дипломатия явная и открытая для армии граждан, дипломатия народная для армии республиканцев.

О, я уже слышу возмущенные крики всех причастных к дипломатии:

— Это безумие! Это недопустимо! Наша тайна принадлежит не только нам, она принадлежит и другим народам! Мы не имеем права ее разглашать! Дипломатия не может стать народным достоянием.

— Пусть это невозможное требование, но это требование необходимое. А все необходимое осуществить легко, можете мне поверить!

— Но ведь это вызовет революцию!

— Революцию? Да на нее-то мы и надеемся!

Революция необходима.

Слепы те, кто не видит надвигающейся опасности! Большинство пролетариата имеет основания опасаться, что не сегодня-завтра наша страна в интересах капиталистов примет участие в далеких военных экспедициях, что вот-вот начнется побоище. Да и как же пролетариату не опасаться? На развалинах прошлого, на обломках аристократии и духовенства воцарился капитал. Он господствует над империями, господствует над республиками.

Пролетариат, что бы ему ни говорили, что бы ни говорил он сам, по-прежнему проявляет заботу о национальной обороне. Но за Тюбини и Лорандо \* пролетариат не пойдет.



Только открытая дипломатия, дипломатия при свете дня, способна в минуту опасности объединить все силы страны.

Да, мы требуем, чтобы дипломатия стала именно такой. Более, чем кто-либо, мы заинтересованы в том, чтобы духовные и нравственные сокровища Франции остались неприкосновенными; заинтересованы в обороне страны философии и революции, страны, в которой таятся обильные семена социальной справедливости. Мы хотим, чтобы все граждане, без исключения, чтобы все пролетарии содействовали этому, чтобы они отдали все свои силы на служение подлинным интересам страны, чтобы они послужили им верой и правдой, и мы не можем допустить, чтобы эти интересы оставались тайной французского министерства иностранных дел.

## **ПРОТИВ КОЛОНИАЛЬНОГО ВАРВАРСТВА**

*Речь на митинге, организованном  
«Лигой защиты прав человека и гражданина»*

*30 января 1906 г.*

Гражданки, граждане!

Двадцать пять лет тому назад глава французской миссии в Западной Африке, Саворньян де Бразза, который своим мужеством, добротой и прямодушием завоевал доверие и уважение черных племен, убедил их царька Макоко принять протекторат Франции. В знак примирения негритянский вождь повелел вырыть среди поля глубокую яму и, когда все туземные военачальники бросили туда свое оружие, произнес такие слова:

— Мы похоронили войну так глубоко, что она уже не выйдет из могилы ни при нас, ни при детях наших.

На земляном холме, покрывшем копыя и стрелы, посадили дерево, и тогда Бразза сказал:

— Да воцарится мир, и да не нарушат его никогда, как никогда не вырастут на этом дереве ни железо, ни порох.

Перед вами выступит сейчас господин Фелисьен Шалле, один из членов миссии Бразза. Не мне, а ему предстоит рассказать вам о туземцах и об их судьбе.

Среди жителей Конго, различных племен, нравов и обычаев, широко распространены религиозные культы; туземцы поклоняются фетишам и исполняют сложные, нередко чудовищные по своей жестокости, колдовские обряды. Они искусны в ремеслах. Они приручили диких баранов, коз и кабанов. Их общественный строй основан на рабстве и многоженстве. Тридцать лет назад он сильно напоминал общественный строй греков, как он описан в «Илиаде». По свидетельству Поля Шелю, туземные вожди говорят столь же искусно и красноречиво, как цари, герои Гомера.

Эти чернокожие, бесспорно, слишком уж пристрастились к пальмовому вину и водке. Есть среди них люди жадные и хитрые, но встречается немало честных и великодушных. Доктор Баро-Форльер, долго живший в их среде, утверждает, что в большинстве своем они добры, кротки и охотно работают с белыми, если те терпеливо их обучают.

— Они не дикари, — говорит доктор Баро-Форльер, — это люди, которые на несколько веков отстали от цивилизации, это наши младшие братья... Наш долг дать им разумное воспитание.

И что же? Эти младенческие племена, которые Бразза покорил своей справедливостью, благородством и верностью слову, эти чернокожие, доверившиеся покровительству Франции, ныне преданы, отданы на разграбление алчным, свирепым торгашам; оставлены без всякой защиты; ныне они принуждены терпеть издевательства развращенных и жестоких европейцев, одичавших от алкоголя, болотной лихорадки и нестерпимого зноя, они подчинены режиму убийства, грабежа и насилия. Вот какое воспитание мы даем этим невежественным душам, вот какой морали мы их учим.

Несчастные существа, беспомощные и жалкие, попали в руки извергов, которые истязают их, но не могут истребить; какими же извергами станут когда-нибудь они сами!

Дело чести Франции и всего человечества положить конец их мучениям.

О, мы отлично знаем, что чернокожие «Свободного государства Конго», рабы его величества короля Бельгии, терпят не менее жестокие муки. Мы отлично знаем, что в Африке, в Азии, во всех колониях, какому бы государству они ни принадлежали, раздаются те же стоны, те же жалобные вопли, обращенные к бесстрастному небу. Мы знаем, увы, эту старую и страшную историю. Вот уже четыре столетия христианские народы состязаются между собой в истреблении красной, желтой и черной расы. Это и называется современной цивилизацией.

Белые общаются с черными и желтыми только для того, чтобы поработить их и уничтожить. Народы, которые мы называем варварскими, знают нас лишь по нашим преступлениям. Мы не думаем, конечно, что на злополучной африканской земле под нашим республиканским флагом совершается больше жестокостей, чем под флагом империй и королевств. Но нам, французам, следует прежде всего разоблачить преступления, совершенные от имени Франции; это дело нашей чести, к тому же, если мы станем говорить о своей стране, о своих собственных делах, есть хоть некоторая надежда, что наш голос будет услышан.

Надо ли, граждане, доказывать вам все это? Те же доводы приводил мой высокочтимый брат Поль Виолле, снискавший всеобщее уважение своим благородным характером и глубокой верой. Те же доводы приводил гражданин Франсуа де Прессансе, речь которого, как и многих других, отличалась сердечным жаром и ясностью мысли.

— Я принадлежу к тем, — сказал он, — кто считает обязанностью каждого гражданина смело обличать преступления, за которые несет ответственность его страна; трусливое молчание сделало бы его соучастником этих злодеяний.

И он добавил:

— Если в этом состоит наш священный долг, еще более непререкаемый и обязательный для Франции, страны Революции, чем для любого другого государ-

ства, то разве мы вправе забыть о справедливой борьбе других народов: о том, что бельгийцы развернули кампанию против правителя Конго; о том, что англичане XVIII века, во главе с Питтом, Фоксом, Берком и Шериданом, единодушно требовали покарать Уоррена Гастингса \*, хотя он преподнес своей родине поистине королевский подарок — Индию; о том, что даже Германия Вильгельма осудила дикие жестокости африканского конкистадора, доктора Петерса; о том, как в Голландии разящее перо Мультиатули беспощадно клеймило злодеяния колонизаторов.

И мы тоже будем настойчиво и неустанно обличать беззакония и преступления администрации французских колоний. Мы будем обличать их с помощью тех должностных лиц, — а они есть, и их много, — которые в стране с гнилым климатом, в удручающем одиночестве, сумели уберечься от тоски, отчаянья, умственного расстройства, страхов, губительных галлюцинаций, сумели остаться справедливыми и разумными. Настойчиво и неустанно будем мы клеймить преступления и добиваться искоренения гнусного режима, который благоприятствует и потакает им.

Настойчиво и неустанно будем мы выступать в защиту прав человека для желтых и черных народов, населяющих наши колониальные владения. Мы потребуем справедливости во имя человечества, которое нельзя оскорблять безнаказанно, во имя родины, интересы которой страдают из-за варварства колонизаторов.

Вам, гражданин Руане, принадлежат знаменательные слова: «С помощью жестокости, алчности и利хорабства ничего создать нельзя». В самом деле, если Франция владеет обширными землями в далеких краях, если каждому ясно, что политика колониальная составляет основу капиталистической политики, то мы вправе спросить у финансистов и правителей: «Не сошли ли вы с ума?» Как можете вы допускать истребление чернокожих туземцев, которых вам нечем заменить и чьими трудами создается ваше богатство! Разве вы не видите, что с уничтожением коренного населения замирает торговля, пропадают даром сокровища земных недр? Не безрассудно ли на этих землях, сулящих вам

столько блестящих возможностей, сеять смерть, нищету и горе, пожиная себе на беду лишь ненависть и возмущение?

Всякое преступление неизбежно таит в себе опасность. Вы не можете сказать африканским неграм:

«Исследователи Африки всегда будут расстреливать вас из ружей и заживо сжигать в ваших хижинах; кичливый христианский солдат всегда будет забавы ради резать на куски ваших жен; неунывающий моряк, прибывший из-за туманного моря, всегда будет вспарывать ударом ноги животы ваших малышей, единственно для того, чтобы поразмяться».

Вы не можете с полной уверенностью утверждать, что треть человечества обречена вечно терпеть унижения. Ведь нашелся народ, который заставил белых уважать желтых. Кто осмелится предсказать, что ни один из черных народов не заставит когда-нибудь белых и желтых проникнуться уважением к чернокожим?

Кто знает, до каких пределов пойдет развитие одной из великих человеческих рас? Негры, в отличие от краснокожих, не вымирают, входя в соприкосновение с европейцами. Сейчас они стоят на низшей ступени цивилизации; они еще не достигли высокого культурного уровня. Ну, а мы, давно ли мы сами стали цивилизованными?

Ведь и у белых людей был период пещер и свайных построек. Они были тогда дикими и ходили нагишом. Они сушили на солнце грубые глиняные сосуды. Их вожди устраивали празднества, сопровождавшиеся дикими плясками. В те времена не было иных ученых, кроме колдунов. Но впоследствии белые воздвигли Парфенон, создали геометрию и подчинили свою мысль законам гармонии. Какой пророк может предсказать двумстам миллионам африканских негров, что их потомки никогда не станут обитать в довольстве и могуществе на берегах озер и великих рек?»

Может быть, вы помните, что рассказывал Пьер Кийяр о молодом китайце, который выступил на конгрессе в Люцерне? «Мы были мирным народом, — сказал он. — Что вы сделали с нами? Вы принуждаете нас

защищаться. Вы принуждаете нас стать такими же дикарями, как вы сами».

Немцы, голландцы, бельгийцы, англичане, итальянцы, французы, европейцы, христиане! Неужели нам мало недавнего страшного урока, этого грозного предостережения? Неужели мы будем и впредь восстанавливать против себя народы Африки и Азии, возбуждать в них неугасимый гнев, неутолимую ненависть, неужели будем готовить себе в отдаленном, но неминуемом будущем грозные полчища врагов?

Пусть подымут свой голос трудящиеся всех народов, пролетарии всех стран, пусть дух демократии и социализма, веющий в старой Европе, внушит державам и правителям более человечную и более мудрую колониальную политику!

## **РЕЧЬ НА КОНФЕРЕНЦИИ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛ**

*22 февраля 1906 г.*

Гражданки учительницы!  
Граждане учителя!

Делегаты местных учительских объединений и Совет синдикатов департамента Сены удостоили меня высокой чести председательствовать на этой конференции, и я сочту приятным долгом предоставить слово уважаемым гражданам Ренэ Рену, Фердинанду Бюиссону и Жану Жоресу, чьи славные и дорогие всем вам имена стоят в повестке дня. Но прежде следует объяснить вам цель этого собрания. Постараюсь сделать это в немногих словах и насколько возможно точнее, руководствуясь манифестом синдиката учителей, где столь ясно и четко изложены ваши требования.

Когда, к удивлению капиталистического общества, начало разрастаться могучее движение рабочей солидарности, которое теперь уже ничто не в силах остановить; когда дух гуманности, мягкий и неотразимый, как разум, властный, как любовь, побудил трудящихся

организовать оборонительный союз — надежный оплот против всех ударов реакции, тогда государственные служащие и рабочие, те, кто строчит пером, и те, кто орудует киркой, единодушно устремились на этот спасительный путь; объединившись между собой и примкнув к пролетариям, они показали тем самым, что ищут в братской сплоченности гарантий своей независимости.

Взаимоотношения между центральной федерацией и федерациями региональными прекрасно выражены в статье одного умнейшего общественного деятеля, большого знатока законов, статье, достойной всяческого внимания.

Вот его слова, напечатанные в «Ревю сосьялист» в январе 1906 года.

«Если все попытки сбросить ярмо государственной власти до сих пор проваливались самым плачевным образом, то это объясняется неправильной постановкой вопроса. Либералы и республиканцы, занятые исключительно политической борьбой, не понимали, что действуют наперекор великому экономическому процессу современности, и требовали местных свобод там, где надо было создать профессиональные организации.

Самая тесная, самая естественная солидарность та, что возникает между людьми, объединенными одной и той же профессией. Эту связь и осуществляет синдикат. Для нас важнее всего защищать наши средства существования, охранять труд, который обеспечивает нам жизнь. Эту возможность и предоставляет нам синдикат».

Так говорит Поль Бонкур \*, намечая в общих чертах пути и методы освободительного движения при помощи синдикатов и федераций.

Граждане учителя, ваша великая заслуга в том, что вы приняли ревностное участие в этой дружной борьбе и создали крепкую организацию пролетариата школ рука об руку с пролетариатом канцелярий, налогового управления и железных дорог.

Вы действовали энергично и последовательно. Ваши Содружества, подобно свободе, родились непобедимыми. Вам не пришлось защищать их от произвола властей.

Напротив, в дни борьбы министры обращались за помощью именно к Содружествам. С самого начала было ясно, что из ваших объединений вырастут когда-нибудь синдикаты. И государство не помышляло пресекать ваши устремления и ограничивать ваши надежды. Не было и речи о том, чтобы лишить вас преимуществ того закона 1884 года \*, который, как говорят, «благодаря упорству одного крупного юриста клином врезался в деспотически тесные рамки наполеоновского кодекса».

С тех пор сменилось немало министров. Нынешние власти, вероятно, взирают на вас уже не столь благосклонным оком. Во всяком случае, они расходятся во мнениях на ваш счет. Господин Рувье яростно требует лишить вас права объединяться в синдикаты, а господин Дюбиф оставляет вам это право под тем великолепным предлогом, будто вы не облечены никакой властью, в противоположность почтовым служащим, которые хотя бы имеют право составлять протоколы.

Но бог с ними. Ведь нынешние министры тоже сойдут со сцены. А вы останетесь. И вы будете упорно добиваться полной и неоспоримой правоспособности синдикатов. Только правоспособный синдикат может избавить вас от опеки министерства. Вам это слишком хорошо известно: управление начальных школ находится в руках политиканов, которые назначают и увольняют учителей при посредстве правительственных чиновников.

«Разве можем мы питать доверие к администраторам, которые откровенно сознаются, что не способны управлять?» — с горечью спрашивает один из делегатов, гражданин Глей.

Стыдно подумать, что бюрократы, не имеющие никакого понятия о начальном обучении, составляют для вас учебные программы и рассылают списки книг — и каких книг! — для преподавателей и учеников.

Граждане учителя, вы высоко оцениваете роль синдикализма. Вы видите в нем не только организацию, дающую вам возможность защищать свои профессиональные интересы. Вы ищете в нем главным образом преимуществ общественного порядка.



«Синдикаты, — говорится в вашем манифесте, — должны обращать на пользу коллектива общественные обязанности, которые исполняют его члены.

Синдикаты должны готовить кадры будущих автономных организаций, которым государство, под своим контролем и под их взаимным контролем, постепенно передает муниципальные функции».

С этой благородной целью, с этими широкими замыслами вы добиваетесь права вступить во Всеобщую конфедерацию труда\*.

Вы хотите регистрироваться на бирже труда по специальности, в звании преподавателей. И вы правы. Биржа труда — необходимый посреднический орган рабочего класса, и все организации трудящихся имеют право и обязаны вступить в него.

Вам заранее известно, граждане, какое бурное противодействие окажут вашим планам защитники современного правопорядка. Вернее, следует сказать — современного беспорядка. Как?! — завопят консервативные газеты. Синдикаты и федерации государственных служащих?! Да ведь это захват власти, это засилье народных объединений, наподобие тех цеховых корпораций, против которых много веков безуспешно боролась абсолютная монархия и которые удалось сокрушить только революции.

И вот наши либеральные буржуа, потомки революционеров восьмидесят девятого года, объявляют войну корпоративным установлениям!

Что касается нас, социалистов, мы полагаем, что муниципальные органы должны быть автономны и руководство ими должно быть передано в руки корпораций, действующих совершенно независимо под наблюдением государства; мы будем следовать за вами до конца в вашей славной борьбе.

Чем было государство до сих пор? Правящей властью.

Чем оно должно быть? Контролирующим органом.

Ваш основной принцип состоит в том, что вопросы продвижения служащих, их перемещения по должности, размер их оклада должны быть согласованы между их делегатами и начальниками, подобно тому как вопросы

заработной платы фабричного рабочего обсуждаются между синдикатом и предпринимателем.

Каких только вздорных предлогов не выдумывают, чтобы лишить ваши синдикаты правоспособности! Доходят до утверждений, будто вы воспользуетесь своими правами для забастовок, как будто право бастовать вытекает из правоспособности синдикатов! Между тем во время стачек, которые из года в год неизбежно будут учащаться и расширяться, вы единодушно сочтете своим долгом взять на себя заботу и попечение о детях пролетариев.

Граждане учителя!

Благодаря вашей активной борьбе, вливающейся в общую борьбу всего пролетариата, разрозненные силы объединяются, их воодушевляют общие идеи, и скоро на смену старому закону произвола и грубого насилия придет новый закон, закон мирного согласия, закон плодотворной солидарности.

Да здравствует синдикат учителей!

## **ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ Е. СЕМЕНОВА «СТРАНИЦЫ ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ КОНТРЕВОЛЮЦИИ»**

*Париж, 1906 г.*

Смотря на Россию издалека, мы лишены возможности настолько ясно распознать ее нынешние силы, обстановку и сам характер происходящего, чтобы правильно судить о тактике ее партий; с нашей стороны было бы неумно вмешиваться в дела людей, с головою ушедших в борьбу не на жизнь, а на смерть, борьбу, которая, не прекращаясь, кипит там, в этом раскаленном мраке, где блуждают неясные призраки смертей и побед. Однако, не намереваясь вмешиваться в их дела, не пытаясь разобраться во всех этих бесчисленных партиях, столь несхожих ни в теории, ни в практике, а то и враждующих со дня своего зарождения, но в целом работающих на общее дело, мы можем все-таки выделить выступление социалистов.

Оно было внезапным и решительным. Словно вспышка, слепящая глаза.

Русские пролетарии взяли в руки оружие пролетариев и действовали им так мощно и умело, что нанесли смертельный удар по самому могучему режиму насилия и террора. На глазах изумленного мира они объявили всеобщую политическую забастовку, и в час испытания эта забастовка оказалась сильнее ружей и пушек. Мы изумлены и охвачены тревогой за судьбу великого неповиновения, неповиновения, которое русские рабочие осмелились оказать своему издыхающему правительству.

Множество людей, сплошь обреченных на безысходную, беспросветную нищету, на пытки холода и недоедания, борется за свою жизнь и за дело победы, зная, что не на что больше рассчитывать, кроме своей негибаемой готовности страдать, — видел ли мир что-нибудь более величественное?

Всеобщая политическая забастовка, забастовка пролетариев и объединившихся с ними интеллигентов, за какие-нибудь несколько дней победила царизм. И это чудовище мощи, высокомерия, роскоши рухнуло под ударом рабочих, закаленных голодом. Забастовка была победоносной, царь уступил. Он обещал Конституцию, свободы...

Известно, что последовало за этим, — мы знаем, как царские приспешники, чтобы свести на нет царские обещания, устроили страшную резню — резню рабочих, студентов, интеллигентов и евреев. Одновременно в тридцати городах вооруженные черносотенцы маршировали по улицам, неся портреты царя и национальные флаги. При участии полицейских и охранки дни и ночи черносотенцы убивали, насильовали, грабили и выжигали целые еврейские кварталы. Так было в Баку, в Одессе, в Киеве, в Николаеве, в Елизаветграде, в Ростове-на-Дону, в Саратове, в Томске, в Твери, в Екатеринославе, в Тифлисе. Затем было сообщено, что все спокойно.

А несчастным евреям, чудом избежавшим смерти, оставалось только плакать у пепелищ своих домов, над

трупам задушенных отцов и матерей. Слезы этих несчастных, кровь этих убитых вопиют, и мы слышим их. Мы исповедуем религию человечности. Для нас нет ни евреев, ни христиан. Для нас есть только палачи и жертвы.

Мертвецы Киева и Баку, Саратова и Одессы, призраки убитых в Гомеле и Белостоке, поднимайтесь, покажите всем богатым и счастливым людям на этой земле свои искалеченные трупы, поднимайтесь снова и снова, до тех пор, пока весь мир не содрогнется от ужаса!

Сколько еще продлится бешеная агония царизма? Каких еще конвульсий можно ждать от этого чудовища? Какой режим будет ему наследовать? Чем оккупятся муки русских борцов за свободу? Неужели напрасно проливалась благородная кровь русских интеллигентов и рабочих, кровь, которая еще дымит на камнях улиц, у алтарей независимости и свободы?

Но каким бы ни был исход этого беспримерного и трагического положения, несомненно одно: отныне русские пролетарии имеют решающее влияние на судьбы своей страны и судьбы мира. Русская революция — это революция всемирная.

Она показала всемирному пролетариату его возможности и цели, его силы и его судьбы. Она угрожает всем системам угнетения, всем видам эксплуатации человека человеком. Она расшатала престолы. В старой Австрии грохочет революция. Немецкая социал-демократия — организация могучая, но тем не менее до сих пор остававшаяся благодушной и пассивной, — тоже смотрит на Санкт-Петербург и Москву и начинает волноваться.

Бебель сказал об этом канцлеру и депутатам Империи, и на этот раз предсказания старого социалиста кайзеру были весьма мрачны: «Имейте в виду: революционный взрыв, происшедший в России, останется жить в сознании немецкого рабочего».

А почему молчим мы, французы? Разве наш политический и общественный строй так хорош, что нам

незачем раздумывать над великими переменами, происходящими в мире? Разве у нас нет своих черных банд? Разве так далеки для нас времена Мелина и Дюпюи, когда националистический террор царил в Париже и монах-доминиканец публично призывал главнокомандующего французской армией к расправе над республиканцами?

Мы умеем различать и не теряем чувства меры. Наши общественные дела — лишь легкая комедия по сравнению с мрачной русской драмой. На берегах Невы, Вислы, Волги — вот где решается в этот момент судьба новой Европы и будущее человечества. Происходит удивительная перемена в понятиях и идеях. В 1789 году наши братья преподали Европе урок буржуазной революции, а ныне русские пролетарии в свою очередь дают нам уроки революции социалистической.

И теперь, когда эти благородные люди, которых нам не надо ни подстрекать, ни сдерживать, борются и страдают во имя освобождения России и целого мира, французский пролетариат должен заявить о своей солидарности с пролетариатом русским. Необходимо понять свой долг и исполнить его до конца. Если наши правители, наши господствующие классы в один прекрасный день попытаются оказать царизму в его борьбе с Революцией военную, дипломатическую или денежную поддержку, французский пролетариат должен выступить против этого со всей решительностью. Поклянемся оказать помощь и поддержку революции, грохот которой, пускай издалека, слышит уже наше ухо, ибо нет больше на земле расстояния, способного разделить народы. Пошлем же братский привет и великую благодарность России, которая борется за свое освобождение; Финляндии, столь упорно отвоевывающей свои права, попранные царем-клятвопреступником; Польше, которая с изумительным героизмом и мудростью добивается независимости, проявляя вместе с тем и должное чувство солидарности, и пусть в полную силу звучит великое новое слово: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь, чтобы подготовить приход новой эры, эры социальной справедливости и всеобщего мира».

## ПИСЬМО К ГОРЬКОМУ

22 апреля 1906 г.

Максим Горький!

Приветствую и чту Вас как поэта и человека действия, имевшего счастье пострадать за дело, которому служит Ваш гений. Дело это восторжествует — воля и любовь созидают жизнь. Сны гениев — истина. Пророчества великих людей сбываются с потрясающей и буквальной точностью. Чаще всего они исполняются неожиданно и необычно. Но их неизменно порождает мысль.

Максим Горький! За Вас в нашей стране самые гордые сердца, самые высокие души. В качестве председателя Общества друзей русского народа я шлю Вам пожелания успеха в освободительной революции и, признаюсь, с горечью и негодованием думаю о том, что французские капиталисты могли дать деньги правительству палачей, терзающему Ваш великодушный народ.

По-видимому, только одни французские финансисты и склонны снабжать русское правительство деньгами — разумеется, на ростовщических условиях. Они уже не рассчитывают разместить этот новый заем так же легко, как прежние.

Франция богата и живет на свою ренту... Но Франция заключает и невыгодные сделки, что вообще часто случается с банкирами. Она ссудила России миллиарды, которые царское правительство разбрасывало потом по всей Маньчжурии. Проценты по займу оно всегда погашало за счет новых займов. И пока царское правительство существует, займодавцы будут давать ему займы. К счастью, новое правительство, которое сменит его, отнесется к делу гораздо осторожнее. Наши мелкие держатели русских займов потерпят убытки. Быть может, они и не все потеряют. Но как им не стыдно снабжать деньгами правительство, прибегающее к расстрелам и избиениям?..

Прошу верить искренности моей симпатии и моего преклонения перед Вами лично и перед Вашими друзьями.

*Анатоль Франс.*

## ПИСЬМО ДЛЯ СБОРНИКА «ПРОТИВ СМЕРТНОЙ КАЗНИ»

29 мая 1906 г.

Возможно ли? После событий в Маньчжурии надо говорить вашим бюрократам-палачам, чтобы они щадили кровь русского народа? Через сто пятьдесят лет после Беккарии и Ж.-Ж. Руссо приходится убеждать европейцев в гнусности смертной казни?

Пусть трепещут ваши судьи: они не судят — они убивают. Они обвиняют свои жертвы в покушении на общественный порядок. А между тем в России нет общественного порядка. Напрасно судьи пытаются смыть кровь со своих рук, ссылаясь на законы, более смертоносные, чем японские снаряды. Эти бесчеловечные, драконовские законы оправдывают любые мятежи и восстания. Они ставят русский народ в положение самозащиты, заставляя его бороться против исступленных зверств агонизирующего царизма.

## РЕЧЬ НА ОБЕДЕ В ЧЕСТЬ ОСНОВАНИЯ ЖУРНАЛА «ЛЕТТР»

15 июня 1906 г.

Милостивые государыни, милостивые государи!

Лет тридцать тому назад я прочитал однажды на первой странице одной старинной книги с гербом Карла IX сонет, который приписывают самому Карлу IX, — во-первых, потому, что сонет не очень хорош, а во-вторых, потому, что почерк в этой записи напоминает подпись короля.

В этом сонете король, обращаясь к некоей даме, говорит ей: «Я люблю вас, я глубоко люблю вас, но совсем не умею сказать вам об этом, ибо Венера родилась из пены морской и первыми ее обожателями были рыбы, кои немы. Я подобен этим подданным пеннорожденной Венеры».

Я тоже отвечу друзьям, отнесшимся ко мне столь благосклонно, что я очень люблю их и что именно это мешает мне ясно выразить им мои чувства. Я почти не умею изъясняться иначе как с пером в руке и без конца зачеркивая написанное... Помарок никто не

видит, ибо я рву черновики; но когда я делаю «помарки» в разговоре, то это невыносимо и для меня и особенно для моих слушателей.

Несмотря на это, мне очень хочется поблагодарить господина Брандеса \*, который говорил обо мне сейчас с такой теплотой. Я очень ему обязан. Он научил меня множеству крайне полезных вещей. Я встречал его всюду, где требовались мужество и действенные усилия. В качестве историка литературы и критика он преподавал всем нам нечто очень важное. Господин Брандес показал нам, что подлинная история — это история литературы. В этом у него были предшественники, но их доказательства отличались меньшей ясностью и четкостью. Он показал нам, что литература, иначе говоря, история человеческого духа, проявившего себя в самых прекрасных своих творениях, и есть настоящая история и что события литературы (я беру слово «литература» в его наиболее высоком и широком смысле) являются самыми значительными событиями человеческой истории, событиями, которыми вызываются другие...

Мне остается еще поблагодарить моего дорогого Фернана Грега. Когда я познакомился с ним, ему было пятнадцать лет. И я думаю, что все эти пятнадцать лет он был поэтом, ибо родился поэтом, и я знал его всегда как поэта... Он владеет драгоценным даром ритмической речи, искусством певца.

С тех пор я его больше не терял из виду. Когда он писал прекрасные стихи о болезни, он сам, по-видимому, страдал, сам был немного болен.

С ним приключилось чудо...

Все вы знаете маленькую сказку про египетского юношу, который вложил свое сердце в куст акации. А он, поэт, вложил свою боль в стихи, и она утихла, ибо это хорошие стихи. Он становится могучим, искусно владея всеми струнами лиры.

Я счастлив, что ему оказывает поддержку мой друг Поль Ребу, которому я и приношу свои поздравления. Я буду краток, чтобы пощадить его душевную стыдливость. Он тонок и в то же время неистов. Он чувствует нежно и сильно. С ним, с Фернаном Грегом, с поэтами,



писателями, художниками, окружающими меня в этот момент, журнал «Леттр» преуспеет в силе и красоте.

Я дам ему один отличный совет.

Когда журнал молод, когда журнал в возрасте любви, ему нужно сильно любить и столь же сильно ненавидеть, ибо всякая любовь, не удвоенная ненавистью, не есть подлинная любовь. Одной любовью к красоте вы ничего не достигнете; нужно еще хранить в своей душе вечно живую ненависть к уродству, к старому, древнему уродству...

Я считаю себя участником вашего журнала, и я пью за всех его сотрудников. Поскольку я не могу, к моему глубокому сожалению, чокнуться со всеми гостями, не взыщите, если я символически чокнусь с вашей любезной сотрудницей госпожой Марсель Тинайр.

## РЕЧЬ НА МИТИНГЕ РАБОТНИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ

*13 июля 1906 г.*

Товарищи,

благодарю вас, — не за то, что вы пригласили меня вести ваше собрание, ибо здесь не может быть ни ведущего, ни ведомых: у нас с вами иная забота, нежели распределение заседательских почестей, — речь идет о решении жизненно важных вопросов; я благодарю вас за то, что вы дали мне возможность быть с вами и выступить в вашу защиту.

Размышление и опыт с каждым днем отдаляют меня от всего искусственного и ложного, от всего суетного и бесплодного, и непрерывно приближают меня к тому, что истинно, прочно и плодотворно. Вот почему я чувствую себя так радостно здесь, в мире действительности, в мире труда.

Я хочу коротко, в нескольких словах исповедаться перед вами. К социализму привело меня дело Дрейфуса. Восемь лет тому назад, услышав из уст Золя о преступных действиях Генерального штаба, я был охва-

чен удивлением и ужасом. Я не мог молчать. Так я вступил на путь борьбы за правое дело. Вот почему, прежде чем перейти к рассмотрению касающихся вас вопросов, я предлагаю заклеить позором самого отвратительного и наглого среди злодеев — генерала Мерсье\*.

Товарищи, вы собрались здесь, чтобы обсудить предложения относительно условий вашего труда в будущей системе электрификации Парижа. Какова будет эта система? Мы можем это предвидеть. Мы знаем, что национализации не произойдет. Древние греки говорили, что будущее в руках у богов. Национализация тоже зависит от бога, и он, по всей вероятности, долго еще будет задерживать ее, прежде чем выпустит из своих рук. Признаюсь, я не очень огорчен за вас. Весь дух организации таков, что рабочие ничего не выиграли бы от подобной формы управления. Говорят, что в муниципальном совете социалисты составляют большинство. Так говорят, но это не очень-то заметно. Один из моих собратьев по перу, читая на днях закон о бюджете Большого Парижа, обнаружил в статье о служащих странные специальности. Так, там упомянуты агенты и младшие агенты. И если младший агент не ощущает по-настоящему своей неполноценности, то это потому, что он недостаточно задумывался над наименованием своей должности. В этом законе упоминается и профессия чернорабочих. Вы слышите: люди, профессия которых — страдать. Они, как видно, находятся на самой последней ступени социальной лестницы, иначе мы, вероятно, увидели бы еще ниже людей, профессия которых — подвергаться пыткам и казням.

Итак, поскольку национализация отложена до лучших времен, на смену упраздненным концессиям придут новые, которым вы и предъявите свои требования. Вы сформулировали их с большой мудростью. Своей стойкостью вы добьетесь их полного удовлетворения.

Уже в самом начале вы утверждаете тот дух солидарности, который одушевляет и укрепляет вас. Вы требуете, чтобы при новом правлении рабочие и служащие сохранили завоеванное ими положение, и в то же

время вы настаиваете на уравнивании в правах с муниципальными работниками. Вы требуете восьмичасовой рабочий день. Вы предлагаете гуманные правила для молодых рабочих, больных и тех, кто отбывает воинскую повинность.

Не входя в детали ваших требований, я укажу еще на несколько статей, которые вы не позволите вымарать концессионерам.

Статья восьмая. Официальное признание профсоюза новой Компанией. Учреждение арбитражной комиссии по урегулированию конфликтов между администрацией и рабочими.

Если Компания отвергнет эти предложения, вы ответите: «Так, значит, вы хотите забастовку? Мы предлагаем вам средства избежать ее, устранить ее навсегда. И вы их отвергаете! Вы будете нести всю ответственность за неразрешимые конфликты и разорительную борьбу».

Вот, что вы скажете. И мне будет любопытно услышать ответ ваших хозяев.

Что касается статьи девятой: «Персонал участвует в прибылях предприятия», — то худшее, что можно сказать о ней, это что она пропитана правительственным, официальным духом. Кажется, будто ее продиктовал вам сам министр, член кабинета Сарьена. У нас звучат еще в ушах чеканные слова министра общественных работ господина Барту о необходимости законодательства, обеспечивающего рабочим, занятым на общественных работах, в горнорудных концессиях, — словом, в тех отраслях, которые зависят от государства, — участие в прибылях. И мы, конечно, не забыли речи Роанна, в которой министр народного образования в отношении законных прибылей уподобил труд капиталу, придав, впрочем, своему сравнению краткую, таинственную и интригующую форму загадки.

Но к чему я говорю это? К тому, товарищи, что статья девятая ваших требований получила уже заранее не только министерскую санкцию, но и санкцию хозяев. По счастливой случайности оказалось, что один из претендентов на городскую концессию (предприя-

тие, которое потребует вашего содействия), и, несомненно, не из тех претендентов, кому был оказан наилучший прием, господин Мильде разработал целый план, хитроумный и смелый, дабы обеспечить рабочим те выгоды, которые вы для них требуете. «Нужно, — заявил в своем недавнем послании господин Мильде, — чтобы промышленники хорошенько осознали, что в наше время преданность рабочих можно завоевать лишь с помощью их участия в прибылях».

И господин Мильде задумал основать кассу объединенных предпринимателей с тем, чтобы гарантировать рабочим коллективную прибыль от общей суммы прибыли, которую дает данная отрасль промышленности в целом.

Вот уж действительно редкое и чудесное единодушие! Правительство, хозяева, рабочие — все довольны друг другом. Только... только не следовало бы сопровождать участие рабочих в прибылях уменьшением их заработной платы. Ведь простая и грубая истина состоит в том, что, пока существует наемный труд, главным для рабочего будет его заработок.

Товарищи, необходимо также, чтобы Компания утвердила десятую и следующие статьи ваших требований, содержащие положение о пенсиях, с указанием на ретроактивность \* для всего наличного персонала. Ибо то, чего вы требуете в ваших статьях, гуманно, и нельзя отклонить их, не оскорбив чувства человечности.

Будьте настойчивы, и вы добьетесь справедливости: ваша сила в профсоюзном единстве. Ваша сила в союзе, основанном на самой тесной, самой насыщенной, самой естественной и самой прочной солидарности. Вы все, или почти все, являетесь членами профсоюзов, и благодаря этому ваша корпорация представляет собой превосходный и мощный организм.

Рабочие, не входящие в профсоюзы, обречены на вечный страх и страдания. Рабочие, не входящие в профсоюзы, не способны на стойкое сопротивление. Это своего рода рабочая пыль. Она колеблется от малейшего хозяйского дуновения, от малейшего усилия капиталистов.

Заканчивая свою дружескую вступительную речь, я хочу, с вашего разрешения, передать слова одобрения и приветствия председателям и секретарям трех профсоюзов электриков и особенно секретарю Профсоюза работников электропромышленности департамента Сены Эмилио Пато, который в первые же дни по выходе на свободу \* встал на решительную защиту интересов своих товарищей.

Я не дожидался сегодняшнего дня, чтобы публично выразить свой протест против гнусных преследований. Я и раньше восставал против приговора, одновременно глупого и жестокого, делающего честь тому, на кого он обрушивается.

Каков же должен быть умственный уровень этих судей, этих присяжных, которые преследуют и осуждают человека только за то, что он думает иначе, нежели они, и которые тшчатся заключить идеи в тюрьму!

...Но я слышу, как Эмиль Пато говорит мне: «Оставим это. Речь идет о вещах более важных. Речь идет о том, чтобы определить условия, в которых завтра будут работать наши товарищи».

## **РЕЧЬ В ЗАЩИТУ ФРАНСИСКО ФЕРРЕРА**

*5 января 1907 г.*

Граждане,  
Франсиско Феррер, томящийся ныне в испанской тюрьме, обвинен в причастности к мадридскому покушению. Это ложное обвинение. Франсиско Феррер не участвовал в этом покушении, а между тем ему грозит смертная казнь.

В чем же его преступление?

Преступление его в том, что он является республиканцем, социалистом, вольнодумцем. Его преступление в том, что он организовал в Барселоне светское обучение \*, воспитав тысячи детей в независимом духе; его преступление в том, что он основал школу и открыл книжный магазин.

Вот почему королевский прокурор Бесерра хочет послать его на эшафот!

Разоблачить перед всем миром столь чудовищное беззаконие — значит не дать ему осуществиться.

Всемирная демократия вырвет Франсиско Феррера из рук палачей.

Граждане, я от всего сердца сочувствую тому справедливому и гуманному акту, который вы совершаете сегодня, и я шлю свой братский привет всем вам и испанским депутатам, которые к вам присоединились.

*Анатоль Франс.*

## ОТЕЧЕСТВО И ИНТЕРНАЦИОНАЛ

*8 февраля 1908 г.*

В те времена, когда жила Орлеанская дева, слова отечество не существовало. Говорили просто: королевская Франция. И никто, даже законодатели, не имели точного представления о ее постоянно изменявшихся границах. В нравах и обычаях царило огромное разнообразие. Между феодалами то и дело вспыхивали раздоры. И все же в сердцах людей Жила любовь к родной земле и ненависть к чужестранцам. Если Столетняя война и не родила в душах французов чувство национальной гордости, она много способствовала развитию этого чувства.

В диалоге Алена Шартье «*Quadrilogue investif*»<sup>1</sup> Франция, которую можно узнать лишь по эмблемам дворянства, духовенства и третьего сословия, украшающим ее пышное, но ужасающе разодранное и испачканное платье, умоляет эти три сословия не дать ей погибнуть. «Вас связывают узы католической веры, — увещевает она, — и естество ваше повелевает вам прежде всего охранять край, где вы рождены, и защищать землю сеньора, под властью которого вы увидели свет и вкусили жизнь». И это не просто изречение

<sup>1</sup> «Спор в четыре голоса» \* (*старофранц.*).

ученого гуманиста, хорошо сведущего в старинных добродетелях. Французские простолюдины дорого ценили право служить стране, где они родились. «Допустим ли мы, чтобы король был изгнан со своей земли и мы стали англичанами?» — восклицает в 1428 году лотарингский воин. Вассалы французской Лилии, так же как вассалы английского Леопарда, считали себя обязанными верностью своему законному сеньору. Но если сеньория, к которой примыкали их феоды, терпела какой-либо ущерб, они довольно легко приноравливались к этому, ибо сеньория увеличивалась или уменьшалась в зависимости от могущества или богатства ее владельца, в силу его доброй воли или прав, — она могла расчлняться с помощью браков, пожалований или наследований и отчуждаться по различным контрактам.

Жители Парижа в знак радости, по случаю соглашения в Бретиньи \*, значительно сокращавшего владения короля Иоанна, усыпали улицы города цветами и колосьями. Фактически сеньоры меняли своего сюзерена, как только им это было нужно. Ювенал Дезурсен \* рассказывает в своей хронике о молодой вдове, которая после захвата Нормандии англичанами покинула вместе с тремя детьми свои владения, не желая быть подданной чужеземного короля. Но много ли нормандских сеньоров отказались, подобно этой вдове, стать вассалами давних врагов королевства? Члены королевского дома отнюдь не всегда являли собой пример верности королю. Так герцог Бурбонский от имени всех принцев королевской крови, оказавшихся вместе с ним в плену, предложил английскому королю Генриху V отправиться во Францию для переговоров о сдаче Гарфлера, а в случае отказа королевского Совета изыскивая согласие признать Генриха королем Франции.

Каждый думал прежде всего о себе. Кто владел землей, был связан с землей; его враг был его сосед; горожанин ничего не знал, кроме города; крестьянин даже и не замечал, как один хозяин сменялся другим. Три названных сословия не были достаточно связаны между собой, чтобы образовать государство в современном смысле этого слова.

Мало-помалу королевская власть объединила всех французов. И по мере того как крепло королевство, связь между ними становилась все теснее.

В XVI и XVII веках это желание мыслить и действовать сообща, на основе которого и возникают великие народы, стало очень пылким, во всяком случае в семьях, из которых выходили офицеры королевской гвардии; оно передалось даже людям более низкого сословия.

Рабле выводит Франсуа Вийона и английского короля \* в небольшом анекдоте, проникнутом таким удачным воинским бахвальством, что он вполне мог бы быть рассказан каким-нибудь наполеоновским гренадером у бивачного костра. В предисловии к своей поэме Шаплен \* говорит о тех минутах, когда «Родине, общей нашей матери, нужны все ее сыновья». Здесь старый поэт выражается уже совсем как будущий автор «Марсельезы» \*.

Нельзя отрицать, что при старом режиме чувство патриотизма существовало. Однако то, что привнесла в это чувство Революция, было поистине огромно. Она привнесла в него идею национального единства и общности территории. Она распространила на всех право собственности, принадлежавшее до тех пор лишь немногим, распределила, так сказать, родину между всеми ее гражданами. Дав крестьянам право на владение землей, новый режим в то же время возложил на них обязанность защищать свою собственность — фактическую или возможную. Каждый, кто владеет землей или желает владеть ею, вынужден взяться за оружие. Едва успел француз вкусить от прав человека и гражданина, едва обзавелся или надумал обзавестись собственным домком да местом под солнцем, как коалиционные войска Европы пришли «вергнуть Францию в былое рабство». И тогда патриот стал солдатом. Двадцать три военных года \* с их роковым чередованием побед и поражений укрепили в наших предках чувство любви к отчизне и ненависти к чужестранцам. С тех пор развитие промышленности привело отдельные страны к все возрастающему с каж-



дым днем соперничеству друг с другом. Современные способы производства, обостряя противоречия между государствами, породили империализм, колониальную экспансию и политику вооруженного мира.

Но сколько противоположных сил участвует в этом мощном процессе созидания нового порядка вещей! Крупная промышленность вызвала к жизни во всех странах новый класс, — не имея ни собственности, ни надежды на нее, лишенный всех житейских благ, даже дневного света, он не боится, как боится того крестьянство и буржуазия, созданная революцией, что его придет ограбить какой-нибудь враг извне; так как у него нет богатств, за которые приходится дрожать, он без всякого страха и ненависти взирает на другие народы.

В то же время на всех рынках мира воцарилось господство крупных финансистов, которые, хотя часто лицемерно, заявляют о своей преданности старым традициям, всей своей деятельностью являются разрушителями национальных и патриотических чувств.

Во Франции, как и во всех других странах, всемирный характер капитала породил интернационализм трудящихся и космополитизм финансистов.

Ныне, как и две тысячи лет тому назад, черты будущего обнаруживаются не в делах великих мира сего, а в еще неясно выраженном движении трудящихся масс. Народы не бесконечно будут терпеть этот столь тяжкий для них вооруженный мир. Мы видим, как с каждым днем всемирный труд все больше объединяется.

Я верю в грядущее единство всех народов и призываю его с той страстной любовью к человечеству, которая, вспыхнув когда-то в Риме в душах современников Эпиктета и Сенеки и заглушенная столькими веками европейского варварства, вновь зажглась в сердцах лучших людей нового времени. И пусть твердят мне, что все это одни лишь иллюзии, рожденные мечтой и желанием: ведь желание рождает жизнь, а то, о чем мечтали философы, осуществляет будущее. И, однако, надо быть поистине безумцем, чтобы утверждать, будто уже сегодня возможен безоблачный мир. Жестокая и все

возрастающая конкуренция в области промышленности и торговли заставляет предвидеть будущие столкновения, и мы ничем не гарантированы, что в один прекрасный день Франция не окажется вовлеченной в какую-либо европейскую или международную коалицию. И необходимость обеспечить себе защиту немало усиливает те большие трудности, которые рождает социальный строй, основанный на конкуренции товаров и антагонизме классов.

Защитники абсолютной монархии движимы страхом, правительства демократические опираются на силы доброй воли. В основе каждого самоотверженного поступка лежит либо страх, либо личный интерес. Для того чтобы французский пролетариат в день опасности геройски защищал свою республику, необходимо, чтобы он чувствовал себя в ней счастливым или хотя бы мог питать на это надежду. А зачем обманывать себя? Ныне жизнь рабочего во Франции не лучше, чем в Германии, и гораздо хуже, чем в Англии и Америке.

## РЕЧЬ НА БАНКЕТЕ «ОБЩЕСТВА ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИИ»

*8 марта 1908 г.*

Мой дорогой председатель!

Я весьма тронут теми незаслуженно лестными словами, с которыми вы сооблаговолили обратиться ко мне; я горжусь ими в особенности потому, что знаю вас как человека прямого, искреннего, непримиримого врага всякого лицемерия, даже когда оно кажется невинным. Однако есть ли на свете хоть один ум, свободный от заблуждений? Вы заблуждаетесь на мой счет, дорогой Олар \*, вы явно ко мне пристрастны. И какой же момент вы для этого выбрали? Когда я только что собирался сослаться на вас, как на пример неподкупной честности, как на чистейший образец беспристрастного историка... Ну что ж! Я все-таки не отступлюсь от своего намерения. Вы любите правду, вы ищете ее со

страстным упорством и пристальным вниманием; вы обладаете редким талантом ее находить.

Недавно я читал и перечитывал вашу новую книгу об источниках Тэна: это замечательный труд, это шедевр исторической критики. Вы проявляете себя кропотливым исследователем, но без мелочности, ибо все затронутые вами подробности имеют глубокое значение. Ни одна книга не может лучше предостеречь от опасности всяких систем. Сами вы сумели избежать этой опасности. Вы не допускаете ни мертвых схем, ни предвзятых мнений. Конечно, у вас твердые убеждения и сильные страсти; но все строго подчинено долгу объективного историка. На этом основаны солидность ваших исследований, блеск ваших лекций, величие вашего труда.

Милостивые государыни, милостивые государи, дорогие друзья!

Вот уже двадцать лет, как основано Общество истории революции, которое упрочилось и достигло расцвета благодаря вашим стараниям. Перечислить славные имена, которые пестовали его в колыбели, значило бы перегрузить мою краткую речь гербовником всей Третьей республики. Назову только милого моему сердцу Этьена Шаравэ \*, вашего первого казначея и самого ревностного сотрудника. Всякий, кто знал его, не мог не ценить его усердия, его глубоких познаний, его доброты и навсегда сохранит о нем память. Я же, друг его детства, не перестану скорбеть о нем до конца своей жизни. Ныне, по прошествии восьми лет с его кончины, после долгих горестных испытаний, я еще большее ощущаю эту утрату. Он столько знал, знал так хорошо и так охотно делился своими знаниями.

Однако горечь этой потери отчасти смягчается тем, что должность покойного исполняет и его примеру следует брат его Ноэль, достойный наследник семейства Шаравэ, которое в течение шестидесяти лет усердно трудилось на благо науки и истории.

Ах, господа и дорогие товарищи! Какое же серьезное и трудное искусство — история! Она требует от тех, кто посвятил себя ей, самых противоположных качеств: спокойствия, самоуглубления и широкой осведомлен-

ности в современных событиях; неугасимой страсти и невозмутимого хладнокровия. Все эти трудно достижимые достоинства необходимы не только для того, чтобы писать историю, но также и для множества предварительных работ — подготовки материалов, объединения их, толкования памятников, публикации документов; ведь не публикуют же документы без отбора, без осмысления, без предварительной концепции, без хотя бы смутного прозрения. Чтобы действительно найти что-либо, надо составить себе идею того, что ищешь, то есть идею предвзятую. Это первая опасность, влекущая за собою множество других.

Именно эти опасности, эти невероятные трудности, встречающиеся на пути историков, и делают необходимым и полезным основанное вами Общество. Оно объединяет направления, поддерживает усилия, примиряет разногласия. Каждый приносит туда свои знания, каждый черпает оттуда новые сведения. И там царит дух гармонии.

В президиуме, редакционном комитете и среди членов вашего Общества, господа и дорогие друзья, насчитывается слишком много знаменитых имен, чтобы я мог всех их перечислить. Я упомяну, в знак дружбы и благодарности, лишь тех, кто мне особенно близок и чьи книги я особенно ценю: старого моего товарища Мориса Турне, знакомого мне с юных лет и уже тогда поражавшего точностью и изяществом своих образцовых работ; Камиля Блока, всегда готового, как мне известно по опыту, помочь своими знаниями любому, кто к нему обратится; Эдма Шампюна, благодаря которому я глубже понял Монтеня, что не так-то легко: ведь Монтень, хотя и описал в «Опытах» самого себя, дал нам о себе представление столь же смутное, как лунный свет, дробящийся на волнах; Дебидура, чьи труды о церкви и государстве разъяснили обществу важнейшие законы Третьей республики; Сейнобоса, Мориса Дюмулена, Марселена Пелле, Жоржа Каена, Робике, Армана, Брета, Дежана, Дуарша, Фердинанда Дрейфуса, Жака Гийома, Матуше, Александра Тютёя с сыном Луи, Жюльена Тьерсо, Эмиля Буржуа, Клода Перу, издавшего письма г-жи Ролан с обширными

комментариями — настоящей энциклопедией жирондизма; моего дорогого собрата Жюля Кларти; \* наконец, Жореса, столь великого своим умом и трудами, столь красноречивого, столь доблестного, книги которого о революции и о войне 1870 года заслужили, я уверен в этом, ваше глубокое уважение; и еще многих и многих неутомимых тружеников в вашем грандиозном деле.

Я преклоняюсь перед величием вашей задачи, господа и дорогие друзья! Все библиотеки, все книгохранилища кажутся жалкими в сравнении с теми архивами, откуда вы черпаете свои знания. Вы перерыли целые горы документов. Вы истинные титаны истории. И я с чувством глубокого восхищения провозглашаю тост за Общество истории революции, за его председателя, президиум, редакционный комитет, за всех его членов, единодушно и беззаветно преданных изучению величайшей эпохи в истории Франции и всего человечества.

## РЕЧЬ НА БАНКЕТЕ ОБЩЕСТВА «ИСКУССТВО ДЛЯ ВСЕХ»

*4 апреля 1908 г.*

Дорогие товарищи!

Вы поняли, что только искусство придает цену жизни. Искусство для всех — это значит жизнь для всех, жизнь прекрасная, жизнь, прожитая не даром. Да, искусство должно принадлежать всем, ибо оно всеобщее достояние, ибо все создают его — как ремесленник, так и художник. Художник и ремесленник равны перед лицом красоты: они вместе воплощают ее; изящные искусства и художественные ремесла неотделимы друг от друга. Это великое искусство, источник всех радостей, венец всех добродетелей, единственный смысл, который я по крайней мере мог найти в человеческой жизни.

Если скажут, что искусство — роскошь, то это самый благородный, единственно благородный вид рос-

коши, и, в силу высшей справедливости, роскошь эта недоступна скупому богачу, жадному стяжателю. Богач живет среди сокровищ искусства, не видя их. Напрасно он окружает себя шедеврами, напрасно вывешивает в своих галереях, собирает в своих залах все великолепие форм и красок, напрасно накапливает самые драгоценные по материалу, самые совершенные по стилю произведения, — он ими не наслаждается. Он держит красоту в плену, но не владеет ею. Ему никогда не изведать наслаждения прекрасным.

Это наслаждение доступно лишь бескорыстным и возвышенным душам, и в особенности тем, быть может, кто с рождения не избалован благами земными. Но для того, чтобы наслаждаться красотой, нужен известный досуг и спокойствие. Может ли душа отдаваться эстетическим восторгам, когда тело изнемогает от усталости и страданий?

Искусство требует покоя и отдыха от забот, а эти блага наше общество неохотно предоставляет тем, кто кормит его трудами рук своих.

Друзья мои, товарищи, здесь не место излагать идеи и доктрины, которые мне дороги и с каждым годом становятся все дороже. Но я позволю себе по крайней мере закончить свою краткую речь словами надежды.

Увы! Зрелище сегодняшних событий не может принести нам радости, гордости и утешения. Все вокруг мрачно и тревожно: дух безумия и заблуждения овладел нашими демократическими правителями. Можно подумать, что густая пелена скрывает от их глаз страшную картину социальной действительности. Они считают, что, отрицая борьбу классов, делают и говорят все, что от них требуется. И те, кто особенно яростно отвергает даже мысль об этой борьбе, сегодня сами подают зловещий сигнал к ней \*. Но события развертываются согласно неумолимым законам истории. Ничто не в силах задержать неизбежного движения прогресса. И я верю, настанет день, когда в обществе более совершенном, чем наше, каждый будет мирно наслаждаться плодами своего труда. И тогда искусство действительно станет достоянием всех, и дело ваше, дорогие товарищи, восторгествует.

## БЕССИЛИЕ ПАРЛАМЕНТА

(Ответ на анкету журнала «Ла Ревю»)

15 апреля 1908 г.

Один министр (позволю себе не называть его), с которым я беседовал недавно о нынешнем положении, вызывающем в вас такое беспокойство, сказал мне: «Чего же вы от нас хотите? Министерство финансов фактически находится в крупных кредитных банках, военное министерство — в различных комиссиях, министерство народного просвещения — в институтах Академии, морское министерство — на заводах Крезо \*, и так далее...»

Если министры вынуждены бездействовать, то парламент не может иметь никакого влияния. Так было во все времена. Меня не разубедят примеры Августа или Тиберия. Тиберий обладал большим умом, еще более выдающимся, чем полагал Тацит. Однако он был побежден, так же как был побежден и сам Сенат. Сила богатства, как всегда, восторжествовала... В мирное время всем управляют финансисты, во время войны — военные. Парламент же является, если можно так выразиться, лишь слабым отражением власти богачей. Все министры, в большей или меньшей степени, — только пешки в руках финансистов.

И все же я не верю в возможность переворота, в успех монархической реакции. Республиканские идеи слишком глубоко укоренились среди нас. Вопросы конституционного строя, которые вас волнуют, значительно сложнее во Франции, чем где-либо в других странах, особенно в Англии... Лично я не вижу в настоящий момент, какой выход можно предложить из создавшегося положения. Недавно предложенные избирательные реформы слишком незначительны. Даже пропорциональное представительство не принесло бы сейчас никаких существенных изменений...

Наше время напоминает период Учредительного собрания; и нам действительно кажется, будто мы живем в ту эпоху. Все эти проблемы требуют серьезных размышлений, к которым наше общественное мнение

совершенно не подготовлено. Если ввести всеобщее избирательное право, это вызовет резкий протест. Вот каково положение дел. Повторяю, этот вопрос представляется мне, во всяком случае в данный момент, неразрешимым.

## ЛЕВ ТОЛСТОЙ

*15 апреля 1908 г.*

Склоним головы перед Толстым, чья величайшая, царственно-прекрасная мысль парит ныне над всем человечеством.

Создатель эпических полотен Толстой — наш общий учитель во всем, что касается описания внешних проявлений характеров и скрытых движений души; он наш общий учитель по богатству созданных им образов и по силе творческого воображения; он наш общий учитель по безошибочному отбору тех обстоятельств, которые дают читателю ощущение жизни во всей ее бесконечной сложности. И эти отличительные черты толстовского гения мы видим в произведениях всех периодов его деятельности.

Толстой служит нам также неподражаемым примером нравственного благородства, мужества и великодушия. С героическим спокойствием и грозной добротой он разоблачил все преступления общества, которое требует от законов лишь одного — закрепить присущую ему несправедливость и насилие. И, поступая так, он оказался лучшим среди лучших.

Не обладая святостью Толстого, мы не скажем, пожалуй, что душевная простота и смирение суть лекарства от всех мирских зол, и все же, неся слова справедливости в страшные города-гиганты нашего бронзового века, мы сохраним в сердце образ великого Пана, образ евангельского патриарха из Ясной Поляны, этого нового полубога полей и лесов.

Древней Греции потребовалось содружество городов-государств и гармоническая смена веков, чтобы породить Гомера, в России же природа сразу совершила



это чудо, создав Толстого — душу и голос огромного народа, источник, из которого на протяжении столетий будут утолять жажду дети, взрослые люди и пастыри людей.

## РЕЧЬ НА ВЕЧЕРЕ ОБЩЕСТВА ПОМОЩИ РУССКИМ ЭМИГРАНТАМ

*17 апреля 1908 г.*

Милостивые государыни! Товарищи!

Я явился сюда в качестве друга угнетенной России, чтобы принести скромную дань уважения Вере Фигнер.

Воспитанная в роскоши, образованная, красивая, молодая, она посвятила свою жизнь облегчению чужих страданий и в благородном порыве примкнула к тем бесстрашным людям, которые в семидесятых годах, находясь под постоянной угрозой преследований и смерти, боролись за освобождение самого несчастного из народов. От добрых дел к террористическим актам! Печать была в то время рабыней самодержавия; нечего было и думать пропагандировать свои идеи при помощи книг или свободного слова; никакой возможности вернуть легальную деятельность; никакой надежды примкнуть к какому-нибудь течению или возглавить его; никакого мирного способа открыть путь гуманной идее, благородному порыву, просветительной или социальной теории. Справедливость принуждена была встать на путь насилия. Милосердие должно было выказать себя беспощадным.

Революционеры не отступили от своей задачи. Всем известны их подвиги и их судьба.

Тридцати лет от роду, в расцвете молодости и красоты, Вера Фигнер была заключена в Петропавловскую крепость, в тюрьму — эту обитель ужаса и отчаянья, где узники, замурованные в казематах, как в склепе, не жили, а медленно умирали, в эту могилу, в которой они обретали небытие, не обретая покоя. Вера Фигнер спокойно и твердо вошла в одиночную камеру страш-

ной темницы, из которой заключенных мог освободить только смертный приговор, самоубийство или безумие. В одно время с ней в крепости содержалась Людмила Волькенштейн, которую достаточно ясно характеризует следующий штрих.

Как и все арестанты, Людмила Волькенштейн находилась в одиночном заключении, в полной изоляции, лишенная всякого общения с внешним миром.

Однажды к ней в камеру вошел генерал Шебеко, известный недостойным поведением с заключенными.

— Ваша матушка... — сказал он.

Она прервала его.

— Вы генерал Шебеко?

— Да.

— Так я ничего не хочу слышать из ваших уст, даже известий о моей матери.

Узники Шлиссельбурга в конце концов добились права переговариваться между собой, даже встречаться, даже возделывать небольшой участок земли. Какой ценой? Ценою упорных усилий и неслыханной настойчивости. Иногда они заставляли тюремщиков идти на уступки, объявляя голодовку и отказываясь от всякой пищи. Вера Фигнер принимала участие в этих забастовках и по несколько дней ничего не ела.

Один из заключенных \*, чтобы выразить протест против тюремных порядков, пропитал свои одежды керосином, поджег их и сгорел заживо.

Как только в крепости начали открываться двери одиночных склепов, как только живые мертвецы получили возможность общаться друг с другом, Вера Фигнер благодаря своей милой доброте стала радостью и утешением своих товарищей. Многих из них она спасла от отчаянья, помешательства, от добровольной смерти. Здесь, в тюрьме, она держалась героически, так же просто и естественно, как и прежде, в своей опасной подпольной деятельности. О, величие русской души! Русским людям героизм присущ от природы, близок, привычен, это их хлеб насущный.

Неужели столько невыразимых страданий, добровольных лишений, самоотверженных подвигов пропало даром? Неужели кровь мучеников лилась напрасно?

Неужели стоны жертв, оглашавшие гулкие своды крепости, не найдут отклика? Неужели, подобно узникам Шлиссельбурга, мы должны оставить всякую надежду? Или же нам вскоре суждено увидеть, как занимается на горизонте заря нового дня? Не мне, а вам об этом судить. На эти вопросы, которые так меня волнуют, я не берусь ответить.

К нам во Францию доходят лишь самые смутные и неточные сведения о событиях в России, и, говоря о них с вами, я поневоле осторожен; я боюсь, как бы мои дружеские похвалы и восторги не показались призывом к борьбе, к опасностям, которые грозят вам одним, к жертвам, которые вы одни принесете. Наконец, есть на свете подвиги, перед которыми все слова кажутся докучным и назойливым жужжанием насекомых.

Вот почему я сдержу выражения своей горячей симпатии и ограничусь одним лишь замечанием, — если оно справедливо, мы все объединимся в общей надежде. Насколько можно судить издали, все говорит о том, что эра революции в России еще не завершилась и самодержавие не одержало решительной победы, — ведь оно не в состоянии справиться ни с промышленным кризисом, ни с кризисом аграрным, разоряющими вашу великую страну.

Свирепый террор, аресты, ссылки, казни, кровавая бойня, да разве все это знаки победы? Нет и нет! Страшная битва продолжается. И я вынужден сказать, к стыду республиканской Франции и либеральной Европы, что борьба не была бы столь неравной и, может быть, поражение царизма стало бы более близким и неизбежным, если бы капиталы, накопленные на Западе международной финансовой олигархией, не служили поддержкой тупому и жестокому правительству, способствуя угнетению ста сорока миллионов человек. Но в конце концов царское правительство рухнет под все возрастающей тяжестью своих несметных долгов. Нет, революция не остановится на пути, и кровь мучеников не будет пролита напрасно!

Однако мы не обольщаемся, мы знаем, что сулит нам судьба. Надо всегда идти вперед, всегда бороться.

Мы гонимся за счастьем, которое вечно от нас ускользает.

Неужели вы думаете, что здесь, во Франции, после стольких победоносных революций, после завоеваний стольких свобод, которых вам все еще не хватает, нам уже нечего больше желать, уже не к чему стремиться и что мы вправе наконец спокойно наслаждаться плодами нашей мудрости и справедливости? Нет, это было бы опасным заблуждением, и сама жизнь не замедлила бы его рассеять. Ибо в этот самый час зарождается новый порядок вещей, и если хорошенько прислушаться, мы уловим первые подземные толчки, которые вскоре глубоко всколыхнут почву.

Милостивые государыни! Товарищи!

Я не собирался произносить длинных речей. Вера Фигнер, как все вы знаете, не только героиня русской революции; она также рассказчик, поэт и, кроме того, — как сообщил нам ее биограф, представляя ее французской публике, — замечательная артистка, глубокая и вдохновенная. Ее-то мы и пришли послушать.

## **РЕЧЬ НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ НАРОДНОЙ БИБЛИОТЕКИ В КИБЕРОНЕ**

*30 августа 1908 г.*

Милостивые государыни и милостивые госуда-  
ри!

В последние дни стоило лишь мне выйти на улицы городка Пор-Мариа, как в глаза мне бросалась афиша, которая повергала меня в страх и трепет: там было сказано, что состоится моя беседа. Беседа! Я терялся и приходил в ужас; ведь по свойственной мне робости я чувствую себя гораздо лучше на берегу «грозного моря», чем в зале заседаний. Беседа! Для этого я не гожусь. Не то, чтобы я не любил беседовать (я отнюдь не молчалив, и, боюсь, меня даже считают немного болтливым); я охотно беседую, но терпеть не могу разглагольствовать один. Монологи приводят меня в ужас.

Милостивые государыни и милостивые государи, если вы хотите поговорить со мной, я с удовольствием вставлю словечко. Но выступать одному у меня не хватит ни мужества, ни сил.

Однако делать нечего, надо исполнить эту обязанность, которая, не в пример прочим, является обязанностью приятной.

Мне в самом деле очень приятно и лестно принести поздравления учредителям библиотеки в Кибероне, их председателю почтенному господину Шанару, которого жители Киберона много раз избирали мэром, свидетельствуя этим свое к нему доверие; вице-президенту Ле Фюру, господину Давиду, доктору Соважу, выступившему с такой блестящей, искусно построенной речью; казначею господину Дуйару; секретарю библиотеки господину Крефу; директору мужской школы, который так достойно и усердно трудится на своем поприще, — скромном и усердно зрящим выгодам и пользы деятельности, но самом почетном и благородном, какое только может избрать преданный своей родине гражданин, — на поприще воспитания человека. В пятнадцатом веке, когда заходила речь о реформах (а о реформах и тогда говорили; о реформах говорили всегда), знаменитый Герсон, канцлер Парижского университета, неизменно повторял: «Надо начинать с детей». И прославленный Герсон стал школьным учителем.

Было бы слишком долго, милостивые государыни и милостивые государи, перечислять всех членов благотворительного общества и жертвователей, которые помогли основать библиотеку на этом песчаном скалистом полуострове, где о берег разбиваются волны, где дует целебный морской ветер. Я нашел в списке имя уважаемого доктора де Клолмадека, который один из первых полюбил и оценил красоты этого побережья, когда оно еще было пустынным и неизвестным.

Назвав доктора де Клолмадека, я не могу удержаться, чтобы не напомнить хотя бы вкратце обо всем, что он сделал для Киберона и Бретани. Этот крупный хирург, пользующийся заслуженной известностью, посвящал редкие часы досуга, остававшиеся от работы, глубоким исследованиям по истории своей родины Бре-

тани. Он открыл нам эти древние гранитные земли такими, какими они были еще до появления человека и его памятников. В своих превосходных работах о заливе Морбиана, которые еще недавно хвалил мне мой друг и брат Сеар, господин де Клосмадек описал первоначальный рельеф местности, непохожий на нынешний, ибо, увы, все меняется, все разрушается, даже камни. Скалы и те недолговечны, и жизнь вселенной не что иное, как ряд непрерывных превращений. Громадные и загадочные мегалитические памятники, которые возвышаются здесь, охраняя тайны доисторических веков, господин Клосмадек изучал с тою же тщательностью и добросовестностью, какие свойственны всем его трудам, и если он не объясняет нам их происхождения, не устанавливает точно эпоху и их назначение, это только доказывает его научную честность и глубокий ум. Мало сказать! Это доказывает его мужество, ибо требуется немало мужества, чтобы, будучи другом Анри Мартена и говоря о дольменах, менгирах, кромлехах и курганах, признаться, что ты еще многого не знаешь, что после стольких исследований и изысканий, после долгих раскопок и бессонных ночей, проведенных над изучением документов, ты еще не разгадал тайны чудовищных каменных сфинксов. Клосмадек занимался не только этими гигантами, которых святой Корнелий обратил в камни на полях Карнака; он изучал материалы по истории Ванна в эпоху революции и восстановил правду о Киберонских событиях \*, искаженную вследствие невежества или пристрастия. Его книга с начала до конца проникнута любовью к истине. Она вдохновенна и беспристрастна, как и подобает серьезному труду. Юному генералу \*, чей прекрасный бронзовый памятник возвышается над берегом, — он изображен с непокрытой головой, с лицом, обращенным к морю, со шпагой в руке, задумчивый, спокойный, опечаленный своею победой, — ученый воздал достойную его хвалу, скупую и сдержанную, основываясь лишь на фактах и цифрах. Я рад представившемуся мне случаю приветствовать господина де Клосмадека, строгого историка, друга истины, благородного и серьезного ученого.

Милостивые государыни и милостивые государи! Мы должны горячо поздравить всех, кто помогал основать здесь библиотеку. В этом вопросе, мне кажется, я вправе быть судьей: я люблю библиотеки, люблю в них засиживаться, умею и уходить оттуда вовремя. В этом не раз меня упрекали, но я только горжусь этим. Надо быть библиотечным читателем, но не библиотечной крысой.

Бывают иногда удивительно удачные совпадения, когда случай неожиданно приходит нам на помощь. Третьего дня один преподаватель из Орлеана, приехавший отдохнуть на вашем прекрасном пляже, любезно преподнес мне речь орлеанского библиотекаря, господина Каньеля, на церемонии раздачи школьных наград; в своем «Похвальном слове библиотеке» он говорит именно то, что я хотел бы сказать, и гораздо лучше, чем я мог бы выразить. Это большая удача как для вас, так и для меня.

Я прочту вам отрывок.

«Меня глубоко удивляет, что большинство из вас так мало знает наши книжные сокровища, несмотря на то, что мы стараемся сделать их как можно доступнее и приучить вас пользоваться ими. Приходите же в наши обширные книгохранилища. Знайте, что там собиралось в течение многих веков все самое лучшее, самое полезное, чего достигло человечество в познании истины и красоты. Не считайте себя незванными гостями на пиру мудрецов. Займите там уготованное вам место. И тогда, с глазу на глаз с прекрасными творениями поэтов, ученых, артистов, историков всех времен и народов, вы правильно оцените свои способности, и вашим взорам откроются новые, широкие, неведомые горизонты.

Приходите в библиотеки, обиталище знания. Не страшитесь необъятных владений науки, удивляйтесь скорее тому, насколько в наши дни расчищены к ней пути, насколько легок к ней доступ. Как удобно бродить по светлым и просторным ее дорогам, которые развертываются перед вами во время долгих изысканий, словно аллеи чудесного парка. Вы можете отыскать тенистый уголок и отдохнуть, ибо там даже отдых целителен.

Ах, если бы я показал вам бесконечно сложные лабиринты знания прошлых веков, куда можно было проникнуть лишь по крутым тропинкам, продираясь сквозь тернии схоластики, ценою мучительных усилий, изранив руки до крови. Угрюмая, неприступная, это все же была наука, и, чтобы приблизиться к ней, Этьен Доле и Анн Дю Бур \* пренебрегали грозной опасностью, не боялись пыток и самой смерти. Чего бы только не дали они за те бесценные сокровища, которые предоставляются вам так щедро и достаются без всякого труда!

Книги — это летопись народов. Они передают из века в век несметные богатства опыта, накопленного всем человечеством. Они обращены не к одним ученым, которые находят в них пищу для возвышенных и плодотворных размышлений. Они приходят на помощь самым скромным из нас, они облегчают работу на любом поприще. Книги способны удовлетворить все вкусы, утолить любую жажду».

Какие благородные мысли и как они прекрасно выражены!

Но не будем обольщаться. Не будем требовать от книг секрет счастья, не станем искать в них способ мудро править миром или хотя бы собственным домом, не станем искать истину, ибо в книгах нет истины или же — что еще хуже — в них скрыто несколько истин, много истин, целые полчища, огромные, враждующие, сражающиеся армии, чудовищная рукопашная схватка разноречивых истин. Вам кажется, будто в удобной, строго охраняемой, хорошо организованной библиотеке стоит тишина. Какое поверхностное и легкомысленное заключение! Прислушайтесь хорошенько, и вы уловите громкий говор, более оглушительный, чем в самом бурном собрании. Не приходилось ли вам, господин Креф, сидя здесь зимними вечерами, слышать странный шум в тех отделах вашей библиотеки, которые вы перевезли из Лориана и разместили на полках с таким умением и знанием дела? Не доносились ли до вас крики и вопли книг, собранных здесь благодаря щедрости киберонцев. Насколько я знаю, книг здесь еще не более пятисот, но они уже спорят и кричат,



точно жители большого города. Книги говорят все разом и на всех языках мира. Есть среди них легкомысленные и серьезные, веселые и печальные, краткие и многословные. Но среди них не найдется и двух, согласных между собою. Они спорят обо всем: о боге, природе и человеке, о времени, числе и пространстве, о познаваемом и непознаваемом; они все обсуждают, все оспаривают, все утверждают, все отрицают. Сейчас у вас их всего пятьсот, господин Креф, завтра их будет тысяча, полторы тысячи, десять тысяч: это значит, что будет тысяча, полторы тысячи, десять тысяч различных и непримиримых мнений об одном и том же предмете... И я еще плохо считаю — я забываю, что книги не только противоречат одна другой, они на каждом шагу противоречат самим себе, и это доводит до бесконечности недоверность суждений и изменчивость мысли...

Ну что же, это и есть самое лучшее в книгах, это и есть самое полезное, именно этим книги оказывают нам неоценимую услугу и величайшее благодеяние, именно поэтому вы хорошо сделали, господа, что открыли в Кибероне народную библиотеку. Ибо чему учат нас эти бесконечные заблуждения человеческой мысли, эти постоянные противоречия даже в самых точных науках? Не увидим ли мы в них лишь повод для бесплодных сомнений и горечи отрицания? Нет, господа, мы откроем в них справедливый и надежный закон и из всех этих противоречивых истин извлечем великую моральную истину: мы поймем, что красота и величие человеческого разума в том и состоит, чтобы без отдыха, без передышки, не зная усталости, не страшась опасностей, вечно искать истину, которая вечно от него ускользает. Преклоняясь перед благородными усилиями разума и не надеясь овладеть абсолютной истиной, мы обретем самую прекрасную, самую кроткую, самую мудрую из добродетелей — терпимость. Вот чему можно научиться в библиотеке.

Мы — люди свободолюбивые и не нападаем на чужие искренние убеждения; мы уважаем все виды верований и надежд. Но мы хотим и требуем такого же уважения, такой же свободы для наших воззрений, как и

для противоположных, и мы будем всеми силами, всеми средствами поддерживать те учреждения, где свято охраняют нашу свободу и свободу для всех.

## СТРАХ

*Киберон (Бретань), начало сентября 1908 г.*

Страх — болезнь заразная. Когда это бедствие разразится, то первыми оно достигает мелких буржуа и мелких торговцев, составляющих в городах большинство избирателей. Нет никого легчевернее, беспокойнее, трусливее лавочника, никто не поддается панике так легко. Какое-нибудь случайное преступление, совершенное в его квартале, драка рабочих на соседнем дровяном складе, разогнанное властями собрание, которое расходится с пением «Интернационала», — все это приводит обывателя в трепет, и он уже требует суровых законов, беспощадного суда, каторги, эшафота, сильного правительства, диктатора, императора, короля.

А когда лавочник трусит, депутат приходит в ужас и становится злым. Политиканы правительственной партии, сенаторы, депутаты-министры и депутаты из министерств все разом начинают добиваться самых жестоких мер против врагов общественного порядка, которые так напугали их избирателей. Министерские приверженцы — самые боязливые, малодушные и опасные из депутатов. Это наглая, подлая и бессердечная порода, способная от страха пойти на любую низость, на любую жестокость.

И вот события в Дравее \* до смерти напугали этих жалких избирателей, жалких депутатов и жалких сенаторов. Причем испугало их вовсе не самое столкновение между драгунами и землекопами. Такие вещи бывали и раньше. Их привело в ужас то, как ответила Всеобщая конфедерация труда на сабельные удары и ружейные залпы. Этого еще никогда не случалось, это было ново и поразительно. Газеты, правда, сообщали, что не все повиновались приказу Конфедерации труда,

когда она объявила всеобщую стачку; массовая забастовка не удалась, но среди пролетариата начались волнения, и рабочих охватило чувство горячей солидарности; частично бастовали работники типографий, объявили двухчасовую забастовку работники Электрической компании. Вот это-то и напугало обывателей. Они выражали свой страх в интерpellациях, письмах, газетных статьях, пылких речах. Во время последней сессии Департаментского совета от западных, восточных, северных и южных департаментов поступили требования распустить Всеобщую конфедерацию труда, а умеренные устроили овацию Клемансо, как спасителю отечества.

Но страх — плохой советчик. Лучше бы всем этим трусам успокоиться до открытия новой сессии парламента. Иначе они наделают глупостей. Если теперь же не наступит успокоения, то радикалы и полурадикалы, составляющие большинство, положат на стол председателя целую кипу предложений против так называемых происков Всеобщей конфедерации труда; будут там проекты жестокие и умеренные, неумелые и ловкие, безобидные и предательские. Но все до одного неизбежно будут представлены на суд правых партий.

Как ни глубоко увязло правительство в борьбе с рабочим движением, как ни склонен Клемансо к резкому вмешательству \*, я все же не верю, что в среде министров найдется достаточное большинство, чтобы совместно с правыми лишить рабочих права объединяться в союзы и свести на нет дело Вальдека-Руссо \*. Всякое наступление на права, достигнутые рабочим классом, поставило бы двух министров-социалистов, Вивиани и Бриана, в самое неловкое положение. Их министерская лояльность подверглась бы на этот раз серьезному испытанию. Меня уверяют, что они выдержат его с честью. И действительно, они уже доказали свою благонадежность, присоединившись к политике, которая в значительной степени направлена против социалистов. В одной из своих речей во время каникул, — эти господа любят высказывать на досуге великие мысли, — министр земледелия г-н Рюо заявил, что правительство испытывает глубокую антипатию как к учению коллек-

тивистов, так и к ним лично. Говоря так, г-н Рюо, очевидно, упустил из виду своих двух коллег, министров труда и юстиции, Вивиани и Бриана. А может быть, он просто забыл, что они коллективисты, и подобная забывчивость вполне понятна. Так или иначе, слова г-на Рюо показывают, какая путаница в голове у людей, причем то восторженное доверие, которое питают, и не без оснований, противники социализма к правительству, имеющему в своем составе двух социалистов, еще не самое любопытное явление в современной обстановке.

Вчера я встретил за городом, в доме у друзей, одного из членов правительства, довольно влиятельного министра, обладателя некоего важного портфеля; это человек умный, ловкий, опытный в делах, большой знаток всех тонкостей политики, умеющий владеть собой и управлять своим штатом, проницательный, осторожный и сверх того рыцарски любезный. Вы сами понимаете, что этот человек, такой, каким я вам его описал, не открыл мне своих мыслей, и уж во всяком случае не открыл их до конца. Он не был со мной совершенно искренен, но все-таки сказал мне одну вещь, — и я бы очень удивился, если бы он этого не сказал. Поболтав некоторое время о рыбной ловле, охоте, о госпоже X... и мадемуазель Z..., мы наконец заговорили о политике, точно люди предающиеся постыдному пороку, которые невольно переводят на него разговор, точно преступники, которых неудержимо тянет вернуться на место преступления. Итак, мы заговорили о политике. Мы не беседовали ни о встрече Фальера с Николаем II, ни о завтраке Клемансо с королем Эдуардом. Это тайны слишком высоких сфер, и, так как вся прелесть их в загадочности, их следует созерцать молча. Стоит ли говорить, что я ни словом не упомянул о Марокко. Этого требовала простая учтивость: нужно быть последним грубияном, чтобы намекать человеку на то, что может его только унижить и рассердить. Мы беседовали о Всеобщей конфедерации труда. Мой министр никогда не был социалистом, а потому я не рисковал привести его в замешательство, расспрашивая о синдикализме и всеобщей забастовке.

Перейдя к демонстрациям в Дравее, он сделал вид, будто знает об этом гораздо больше, чем говорит, и дал мне понять, что деятельность Конфедерации труда ему подозрительна, что здесь, возможно, замешаны политические интриги, рука заговорщиков, золото врагов республики. Наконец он готов видеть в этом чуть ли не заговор роялистов.

Я предвидел, что он представит дело в таком свете; он достаточно ловок, чтобы понимать всю выгоду подобной версии, и достаточно хитер, чтобы скрыть свою заинтересованность, или, вернее, заинтересованность своего правительства. Министерство, которое без разбора сажает в тюрьму руководящих деятелей Всеобщей конфедерации труда да еще собирается затеять политический судебный процесс, получит все козыри в руки, если будет утверждать, что дело идет не о рабочих союзах, не о требованиях рабочих, а о спасении республики. В этом будет больше величия, красоты, благородства. Всеобщая конфедерация труда получит не только обвинительный приговор, она будет смешана с грязью, опозорена. А правительству это пойдет только на пользу.

И смотрите, как удачно все складывается: в эти самые дни роялисты вдруг зашевелились. Претендент на престол прибыл в Ваграм \*, чтобы лично осмотреть поле сражения. Какая-то утренняя газета отправляет к принцу известного репортера, и тот публикует интервью, составленное в сочувственном и почтительном тоне. Националисты издают в Париже свой листок, напичканный доктринами и переполненный руганью. Роялистская молодежь устраивает банкеты и на параде 14 июля кричит: «Да здравствует король!» Жюль Леметр открыто объявляет себя роялистом. Все эти симптомы, правда, еще очень слабы. При анализе современной ситуации можно обнаружить, как говорят химики, лишь незначительные следы роялистского движения. Этого мало, чтобы объявить республику в опасности; но этого достаточно, чтобы сильное правительство начало ее спасать.

«Вы забываете о республике!» — сказал мой собеседник министр таким же проникновенным и кротким

тоном, каким священники говорят: «Вы забываете о боге!»

Боже мой, я не обладаю проницательностью министра и не замечаю, чтобы республика была в опасности. Можно только сказать, что как в парламенте, так и по всей стране идет движение слева направо, что государство мало заботится о реформах, в частности налоговой системы, и что ветер демократии слабеет. Можно сказать еще, что, хотя на последних муниципальных выборах в целом победа осталась за республиканцами, реакция без боя завладела Парижем и фактически им управляет. Но если присмотреться поближе, легко заметить, что вовсе не политические причины отдали столицу на расправу реакционным и клерикальным чиновникам. Все эти господа — ловкие дельцы. Реакционеры и республиканцы отлично сговариваются между собой в городской ратуше, точно жулики на ярмарке, и если существуют заговоры, то заговорщиками оказываются не принц Гамель или принц Виктор, а подрядчики общественных работ. Наконец, главное состоит в том, что рабочего теперь перестала интересовать республика, которая, со своей стороны, никогда особенно им не интересовалась. Он платит ей той же монетой. В парламенте широко представлены интересы финансистов, промышленников, землевладельцев; но интересы рабочих, при нынешнем составе парламентских социалистов, там вовсе не представлены. Добавлю, что по многим причинам, для подробного изложения которых не хватило бы целого тома, они и не могут быть представлены; в этом-то и состоит наиболее странная особенность современного положения. Суть в том, что рабочие теперь не имеют ни малейшего желания жертвовать ради республики, как в феврале 1848 года \*, тремя месяцами бедствий и нищеты. Мой собеседник министр утверждает, что они уже не такие стойкие республиканцы, как прежде. Возможно, но они еще того менее бонапартисты, еще того менее роялисты. И прочитав в своей газете, что принц Гамель отправился в Австрию, чтобы приготовить новое сражение при Ваграме, пролетарий, наверное, только усмехнется, — судя по его равнодушию к

военной славе и по явному отвращению к международным войнам, — и спокойно предоставит этому пылкому подражателю Наполеона тешиться тактическими упреждениями. Необходимо еще добавить, что, если нынешний режим теряет симпатии рабочих, он зато приобретает популярность у промышленников и крестьян. Что же касается финансистов, как евреев, так и христиан, то с их стороны было бы большой глупостью и черной неблагодарностью не любить нашей республики и не служить ей. Они ею управляют, и они же извлекают из нее доходы.

Итак, правительству совершенно нечего бояться, и, мне кажется, мой министр, знающий силу и слабость партий, в сущности, не испытывает настоящего беспокойства. Но он все же не отказывается от своих слов. По его мнению, за демонстрациями в Дравее и забастовкой в Пато кроется что-то подозрительное. Но, право же, он привел мне слишком мало фактов, чтобы я мог в это поверить. Если бы во Всеобщей конфедерации труда открыли заговор агентов-роялистов, это стало бы уже известно, и остроумному министру не пришлось бы прибегать к смутным догадкам, в сравнении с которыми лучистое вещество Крукса, против, атомный туман показались бы плотной материей. Впрочем, несмотря на то, что он человек умный, а может быть именно поэтому, он казался неуверенным, растерянным, нерешительным и, по-видимому, не испытывал никакой охоты ввязываться в борьбу с рабочими организациями. И то сказать, если ты министр — есть о чем подумать и даже побеспокоиться: никогда не знаешь, к чему это приведет.

Ибо нельзя отмахнуться от этого дела, нельзя же сказать, что это пустяки, — просто «какая-то женщина утопилась». Дело идет не больше не меньше как о борьбе между трудом и капиталом, о страшной ожесточенной борьбе, которая разворачивается с переменным успехом во всех странах мира. Может показаться на первый взгляд, что конституционное правительство, как, например, наше или английское, скорее, чем правительство самодержавное, способно поддерживать равновесие между капиталом и трудом. Но это далеко не

так. Ему это не только трудно, но и невозможно, так как конституционное многопартийное правительство зависит от большинства, а большинство всегда склоняется на ту или другую сторону. Нет надобности говорить вам, на чьей стороне парламентское большинство во Франции. Всегда и повсюду, даже в самых демократических демократиях, оно на стороне имущих классов.

Мой собеседник отлично это знает; он видит, до каких крайностей можно дойти. И ему это неприятно. Кроме того, при всей своей опытности и образованности, он совсем не знает рабочего вопроса; и никто из его коллег этого не знает. Если он обратится к Бриану или Вивиани, те ответят, что такого вопроса не существует. Гамбетта, когда был у власти, тоже отрицал социальную проблему. Мой министр действует наугад, ощупью, в потемках. Долгое время находясь на правительственных должностях, он к этому привык. Как бы то ни было, он неохотно занимается делами рабочих организаций. Ведь он принадлежит к партии, которая в июньские дни уже разобрала и упорядочила проблемы труда. И как человек очень добрый, очень гуманный, он предпочитает верить, подобно Бриану, что никакого рабочего вопроса вообще не существует.

И вдруг события этого кровавого дня в Дравее, глупые и жестокие репрессии против участников безобидной по существу демонстрации, аресты нескольких человек из числа тех, кто выражал сочувствие пострадавшим, вызвали в рабочих массах широкую волну возмущения и лучше всякой пропаганды возвеличили Всеобщую конфедерацию труда. Она была еще слабой организацией. Что это было? Небольшой состав участников, много добрых намерений и мало возможностей, душа без тела. Главным образом она служила местом встречи для разрозненных сил. Она объединяла больше маленьких синдикатов, чем крупных, и была так слабо организована, что ее решения принимались меньшинством голосов, а это уже нечто вроде аристократии. Кто-то очень метко сказал про Конфедерацию, что под ее окнами народу много, а в доме никого нет, Тем не



мене она играла важную роль. Для пролетариата это был пылающий очаг, главный центр притяжения. Когда юноша, вскормленный волчицей на берегах Тибра, провел плугом борозду вокруг жалких пастушеских хижин в Лациуме, он создал лишь небольшой поселок, и все-таки Рим был основан.

Вполне понятно, что мой министр озадачен. Он слишком осмотрителен, чтобы кричать вместе с толпой обывателей, которым страх придает храбрости: «К оружию! Хватайте ружья и заступы! Надо покончить с Конфедерацией труда!» Разумеется, ее можно распустить, уничтожить, вырвать с корнем, но гораздо труднее помешать ей возродиться. Она необходимое следствие синдикализма, а какому же правительству во Франции теперь под силу сокрушить синдикализм! Наши власти и хотели бы этого, да не могут. Для подобной задачи пришлось бы просить Николая прислать своих казаков. Я знаю, что их опять будут осыпать цветами на Елисейских полях, как в 1815 году, но синдикализм все-таки возродится, так как это одна из необходимых форм современной общественной жизни.

Его плохо знают, о нем неверно судят, его плохо понимают. Правители и политики от страха представляют его себе в искаженном виде. Синдикализм еще находится в процессе развития, его формы неопределенны, многообразны, многолики, во Франции он не так жизнеспособен, силен, уверен в своих методах и возможностях, как в Англии или в Германии. Однако в нем можно различить три основных направления, которые я и хочу отметить. Я знаю, что это сухая тема, что литературу о синдикализме читают неохотно, но я знаю также, как важно понять мысли, чувства, стремления огромного и неизвестного нам рабочего мира. Во французском синдикализме, еще неясном и бесформенном, можно различить правое крыло, центр и левое крыло. Мои определения имеют то неудобство, что при всяком определении вещи представляются более точно и ясно разграниченными, чем они есть на самом деле. Но еще большее неудобство не давать

никаких определений; здравомыслящему человеку претит всякая неясность. Итак, допустим, что в настоящее время во французском синдикализме выявляются три партии, три доктрины. На правом крыле — реформисты вроде Кейфера и Федерации работников книжного дела. Они ожидают улучшения жизненных условий пролетариата только от правительственных реформ. В центре — основная масса рабочих, как, например, шахтеры, — независимых от правительственных и парламентских влияний; они действуют организованно и планомерно, без резких политических выступлений, без применения силы. Левые, наиболее непримиримые, не надеясь добиться никаких реформ иначе как силой, признают необходимость революционной борьбы.

Как замечает мой друг Л. Ниель, синдикализм соприкасается с политикой лишь своими крайностями. Он соприкасается с ней на правом крыле, которое признает парламентаризм, и на левом — ибо оно отрицает парламентаризм. Зато в центре — это синдикализм в чистом виде, столь же чуждый правящим партиям, как и партиям оппозиционным; он остается исключительно и всецело профессиональным движением.

В глазах лучших знатоков рабочего движения именно этот синдикализм имеет все возрастающие шансы взять верх. Лояльный синдикализм и синдикализм революционный, по некоторым признакам, слабеют, и оба крыла огромной армии стягиваются к центру. Последние события как будто подтверждают это мнение. Кейфер, например, — реформист, парламентарий и член умеренной партии, к тому же человек благородный и высокообразованный, — оказал Федерации работников книжного дела важные услуги, которых никто не может отрицать, но за последнее время его влияние заметно ослабло. Судя по всему, Парижская секция одерживает победу, а вместе с ней почти во всех объединениях типографских работников Франции одерживает победу подлинный синдикализм, стоящий в стороне от политической борьбы, от законодательной и парламентской власти. Это один показатель. А вот и

другой. Федерация шахтеров принадлежит к реформистам и парламентариям; но в результате присоединения к Всеобщей конфедерации труда она, вероятно, несколько охладит к парламентаризму, причем г-н Бали, сам парламентарий и даже депутат, немало способствовал этому охлаждению. Он справедливо полагает, что шахтеры не станут от этого революционерами, зато будут не столь яркими реформистами. Это еще не все. Умеренная и реформистская Федерация торговых служащих склоняется влево, судя по резолюциям, принятым ею на конгрессе в Руане.

В то же время мы видим, как левые, революционные федерации склоняются в противоположную сторону. Синдикат булочников департамента Сены, известный своей непримиримостью, ожесточенностью и терроризмом, согласился принять метод референдума, что сближает его с шахтерами и с центром. Корпорация парижских землекопов, примыкавшая к Федерации строительных рабочих, довольно запальчивой и резкой, во время последней забастовки предложила предпринимателям разрешить конфликт, подписав коллективный договор. Хотя это предложение и не было принято, оно указывает на известную умеренность. Надо ли приводить частные примеры того, как дух благоразумия, не имея возможности положить конец борьбе, старается ее упорядочить? Грифюлес, посаженный в тюрьму за участие в демонстрации в Дравее, на самом деле протестовал против демонстрации, считая ее бесполезной и опасно революционной. Сам грозный Пуже заявил недавно, что он считает жестокость и преследования вредным методом пропаганды.

Итак, во Франции со всех сторон обнаруживается стремление создать мирный синдикализм, который держался бы в стороне от политики, синдикализм чисто практический и корпоративный... Правда, именно этого у нас больше всего и боятся. И, кроме того, среди обывателей уже поднялся шум. Мелкий буржуа испугался, депутат струсил, а страх — плохой советчик. Вероятно, этим и объясняется, почему у моего министра был такой встревоженный вид.

## ПРЕДИСЛОВИЕ К БРОШЮРЕ ЭБЕРЛИНА-ДАРСИ

*«Очерк коллективистского общества»*

*Конец 1908 г.*

Если бы около 1680 года кто-нибудь спросил у рас- судительного парижского буржуа, у Никола Буало- Депрео например, что он думает о богатстве, тот без сомнения ответил бы так:

«Истинное богатство только в недвижимом имуще- стве. Покупайте земли, взимайте оброк, взимайте арендную плату и никому не давайте денег в долг, даже королю».

Еще в начале XIX века богатством почи- тались лишь земельные владения. Деньги в счет не шли.

Капиталистический строй, господствующий в на- стоящее время, возник вместе с буржуазной демокра- тией и крупной промышленностью. Он постепенно раз- вивался, непрерывно преобразуясь, и теперь всякому мыслящему наблюдателю ясно, что этот процесс разви- тия и преобразований неуклонно ведет к социализму; всякому мыслящему наблюдателю ясно, что при расту- щем накоплении богатств и сосредоточении производ- ства в руках крупных трестов в капиталистическом строе неизбежно проступают первые очертания коллек- тивизма.

Чего, в сущности, хотят коллективисты?

Беспорядочное и бесконтрольное производство, за- висящее от прихотей, произвола и частных интересов небольшой горстки промышленников, они хотят заме- нить производством организованным, основанным на точных расчетах и отвечающим интересам всех членов общества.

В разгар жестокой конкуренции, разорительного перепроизводства, яростных индустриальных столкно- вений этот переворот незаметно подготавливается во всех современных государствах. Рабочий-производитель ма- ло-помалу начинает сознавать свою беспредельную силу. И все же как много времени, как много усилий потребуется для зарождения будущего общества!

Мне кажется, г-н Е. Эберлин-Дарси выполнил полезную и нужную задачу, описав в общих чертах это новое общество, возникновение которого мы предсказываем как исторически неизбежное и которое, как мы надеемся, внесет в мир справедливое и разумное начало.

Автор с большой проницательностью и совершенно справедливо отмечает, что потребуются особые государственные органы по управлению огромным производством и по распределению необходимых жизненных благ. Стараясь описать устройство социалистического общества, он благоразумно воздержался от попытки точно определить все детали этого колоссального механизма.

Следует одобрить подобную осторожность и не отказываться от внимательного изучения тех общих сведений, которые он сообщает.

Один американский правовед, ревностный христианин, не желал вступать в партию социалистов, пока ему не объяснят во всех подробностях, как именно будет устроено социалистическое общество.

«Неужели, прежде чем стать христианином, — спросил у него социалист Гандфорд, — вы потребовали, чтобы вам показали точную карту рая?»

Здесь, однако, есть та разница, что нам нужна не слепая вера, но сознательное и добровольное присоединение.

**ПИСЬМО УЧАСТНИКАМ МИТИНГА,  
ОРГАНИЗОВАННОГО ОБЩЕСТВОМ УЧЕНЫХ  
В ЗАЩИТУ ПОЛИТИЧЕСКИХ  
ЗАКЛЮЧЕННЫХ**

*10 июня 1909 г.*

Товарищи,

Деланне приговорен к месяцу тюремного заключения и к уплате трех тысяч франков штрафа за опубликование рисунка без надписи.

Этот рисунок, изображающий генерала в фартуке мясника, появился в печати на следующий день после обстрела Шауи \*, где было убито 1500 мужчин, женщин и детей на протяжении каких-нибудь трех километров.

Осуждение Деланне — позор для республики и всего человечества. Присоединяюсь к вам, чтобы выразить свое негодование.

Братский привет.

*Анатоль Франс.*

## **ПРОТЕСТ ПРОТИВ РЕЖИМА В ЦАРСКИХ ТЮРЬМАХ**

*23 марта 1910 г.*

Глубоко взволнованные статьей, появившейся в газете «Радикал» — органе французской печати, — о бесчеловечном обращении в саратовской тюрьме с известным русским писателем Осипом Минором, семья которого находится в Париже;

Не желая вмешиваться во внутренние дела иностранной державы, но руководствуясь чувством простой гуманности;

Мы, нижеподписавшиеся, выражаем пожелание, чтобы русское правительство положило конец страданиям этого весьма уважаемого писателя и чтобы он был немедленно возвращен своей семье.

*Академик Адольф Карно, академик Луи Авэ, профессор Парижского университета Шарль Андлер, профессор Сорбонны Фердинанд Брюно, член Французской Академии Анатоль Франс и др.*

## **ПИСЬМО КОНСТАНТИНУ ЛЯДОВУ**

Дорогой г-н Константин Лядов, кому как не Вам могу я поведать о чувствах, которые я испытываю, знакомясь с этим величественным, истинно царственным городом, проникнутым столь величавой красотой, осматривая музей Эрмитажа, один из самых богатых в мире.

Что касается русской мысли, такой свежей и такой глубокой, русской души, такой отзывчивой, такой поэтической по самой своей природе, — то я уже давно проникся ими, восторгаюсь ими и люблю их.

Выражаю «Петербургскому листку» признательность за то, что он передал привет России от француза.

*Анатоль Франс.*

*Петербург, 10 июля 1913 г.*

## ПИСЬМО К ТЕОФИЛО БРАГА

*29 ноября 1914 г.*

Дорогой и прославленный Теофило Брага,

Разрешите французу, другу благородного португальского народа, достойному звания члена-корреспондента Португальской Академии наук, которой вы так превосходно руководите, высказать вам удовлетворение, испытанное им при чтении воззвания, подписанного вашим громким именем, — этого решительного протеста против «тевтонского вандализма» и против чудовищной апологии вандализма, на которую отважились немецкие интеллигенты.

В своем воззвании вы охарактеризовали с огромной силой немецкое «безумие», являющееся, по вашим словам, результатом «атавизма и воспитательной среды». Вы заклеили презренных людей, которые «сознательно встали на службу лжи и беззакония».

Вскормленный латинской мудростью, сторонник справедливости и правды, вы, дорогой Теофило Брага, с безраздельной симпатией отнеслись к достойной преклонения Бельгии и к Франции, которая ведет вместе с союзниками героическую борьбу за право, свободу и цивилизацию.

Прошу вас и ваших коллег — Монтейро, Кабрейро и Бензабата — принять мой самый сердечный привет.

*Анатоль Франс.*

ПИСЬМО ДИРЕКТОРУ ИЗДАТЕЛЬСТВА  
КАЛЬМАН-ЛЕВИ  
ЛЕОПОЛЬДУ КАНУ

*(Осень 1918 г.)  
Бешелльри, Сен-Сир-на-Луаре,  
Эндр и Луара*

Дорогой друг!

Мы вернулись в Бешелльри \*, где сейчас очень холодно. У Эммы \* сильнейший насморк, но серьезного ничего нет. По своему обыкновению, она откладывает несколько возможно наш отъезд в Париж, и, к сожалению, я увижу вас только через две недели. Из-за аэропланов пребывание в Бешелльри для меня невыносимо; не знаю, право, кончится ли когда-нибудь это неудобство. Леду-Лебар \* думает остаться в Туре еще по крайней мере месяца два. Получил все ваши посылки, в том числе и книгу г-жи Б., заинтересовавшую меня как проявление страннейшей аберрации жалкого человеческого разума.

Спокойно уверяю своим друзьям, Кальману и вам, дорогой Леопольд, судьбу моего бедного «Маленького Пьера». Я понял слишком поздно, что подорвал успех книги этим заглавием, из-за которого «Маленького Пьера» будут смешивать с «Пьером Нозьером», считая его лишь переизданием последнего. Но будь что будет. Моя чувствительность в отношении литературной славы очень притупилась.

У меня есть кое-какие сведения о русской революции. В России установлен новый строй, прочный и долговечный. Англия и Франция не поспусят на деньги, чтобы уничтожить его, но вряд ли это им удастся. О Германии ничего неизвестно; перед войной социал-демократия была там богаче и сильнее, чем где бы то ни было, и так же хорошо организована, как Рабочая партия в Англии. Вполне вероятно, что власть останется в руках социалистов. Я думаю, что, восторжествовав у побежденных, революция перекинется на страны-победительницы, и прежде всего на Англию. Во Франции она произойдет в последнюю очередь, ибо наш пролетариат малочислен и плохо организован. Однако



и у нас назревает движение, которое Мергейм \* пытается остановить ценой нечеловеческих усилий. Вы хотите знать мое мнение? Я считаю, что война вызовет мировую революцию. Но я считаю также, что не следует заниматься пророчествами, если не хочешь, чтобы действительность опровергла твои самые правдоподобные предсказания. Карл Маркс предсказал в 1871 году \* все, что сейчас происходит. Это был человек поистине гениальный.

Передайте, пожалуйста, мои лучшие пожелания вашей жене. Всецело ваш

*Анатоль Франс.*

## ЖАН ЖОРЕС

*26 марта 1919 г.*

Я встречался с ним часто и запросто. В тесном кругу этот великий человек был прост и сердечен. Он являлся олицетворением мягкости и доброты.

Щедро одаренный от природы, он, казалось, полнее всего проявлял одну из своих способностей — способность любить. Я слышал, как его громкий голос, величавые и грозные отзвуки которого наполняли собою весь мир, становился ласковым и задушевным в разговоре с другом.

Его обширные и глубокие познания выходили за пределы широкого круга социальных проблем, распространяясь на все области духовных интересов человека. За несколько дней до войны я отправился навестить его в Пасси и, войдя в оваянный славой скромный домик, застал Жореса за чтением одной из трагедий Еврипида. Этот огромный ум отдыхал от работы за работой и оставлял одну задачу для того, чтобы взяться за другую. Ненависть была чужда Жоресу, и он жил в безмятежном спокойствии, свойственном человеку с чистой совестью, несмотря на преследующую его смертельную ненависть и гнусную клевету. Он игнорировал своих врагов.

Ненависть, которой народы обычно платят за преданность своим самым верным слугам, лучшим друзьям и мудрым советчикам, не утихает сразу после смерти великих людей, она преследует их по ту сторону могилы, ибо великие люди не умирают всецело, а оставляют после себя живую и плодотворную мысль — неизменную причину раздоров.

Но напрасно заблуждение и ненависть попытаются набросить тень на светлый патриотизм Жореса. Как! Неужели любовь к родине и любовь к человечеству не могут гореть в одном и том же сердце? Нет, они могут и должны гореть в нем. Более того, без подлинной любви к человечеству нет подлинной любви к родине, ибо родина является частью человечества и ее нельзя отторгнуть от него без крови, страданий и смерти.

Жорес любил Францию. Он хотел видеть ее справедливой, мирной и могущественной. Безопасность страны была постоянной и мучительнейшей заботой его великого сердца. Он разработал талантливый план народной милиции, предусматривавший, что на службу автономного государства будет поставлена огромная и сильная армия. Гении обладают даром провидения, и этот великий человек заглянул в книгу будущего, когда ратовал за вооруженный народ.

Закон о трехгодичной военной службе \*, прошедший большинством голосов, не избавил нас от нашествия. Спас нас вооруженный народ.

Жорес боялся войны для Франции и для всего человечества. Но не страшился ни за судьбу своей партии, ни за успех своих идей. Он, конечно, предвидел, что победившая Франция заплатит свободой за торжество своего оружия, но знал также, что этот выкуп недолго придется платить, так как пожар революции, вспыхнув в побежденных странах, перекинется на страны-победительницы. Он знал, что на этот раз война не будет ни забавой монархов, как войны Людовика XIV и Фридриха, ни грандиозной авантюрой, как

завоевания Наполеона, что она не ограничится военными столкновениями, которые, уничтожая посевы, оставляли незабываемыми основы государств, но, порожденная невиданным промышленным соперничеством, охватит целые народы, превратится в войну социальную, и что на смену всемирной бойне придет всемирное объединение трудящихся.

События доказали его правоту, и в настоящее время ни один даже самый безрассудный человек не поверит, будто людские реки, разлившись после столь сильной бури, спокойно войдут в свои берега и потекут по прежнему руслу. Нет! Нет! Произошли слишком глубокие потрясения; слишком много пропастей разверзлось в некогда ровных долинах, слишком много появилось горных вершин, чтобы молодые поколения могли спокойно занять место погибших. Как?! Экономические условия в корне изменились, богатства народов разтрачены, ярость империалистов и капиталистов все опустошила как у побежденных, так и у победителей, а вы хотите, чтобы труд подчинялся законам, порабощавшим его в старом мире, который превратился за четыре года войны в чудовищный хаос, в груду развалин!

Жорес прекрасно знал, что в тот день, когда народы поднимут меч друг на друга, они проложат наконец среди крови и мук путь к Мирному интернационалу.

Несколько мудрых людей предвидели это поистине поразительное явление, они предвидели, что война, порожденная экономическим соперничеством, подготовит Хартию всемирного труда. Да, Жорес прекрасно знал, что война работает на благо его партии. Но он не хотел покупать этой ценой успех дорогих его сердцу идей.

Но так было ему суждено, и его душа, прекрасная как мир, угасла в тот день, когда мир был нарушен.

Пусть же она возродится в нас еще более яркая, чем прежде, вместе с возрождающимся миром, и пусть его светлая мысль указывает нам дорогу вперед.

Мы не требуем, чтобы он был отомщен. Он никогда не жаждал мести. Не будем воздавать ему пустые почести, которые он отверг бы со всей силой своей вели-

кой души. Но постараемся по его примеру быть человеческими и великодушными.

Что касается меня, имевшего несчастье пережить Жореса, я хочу, чтобы у порога смерти мои последние слова были, по его примеру, словами справедливости и любви.

*Анатоль Франс.*

## **УБИЙЦА ЖОРЕСА**

*6 апреля 1919 г.*

Трудящиеся!

Убийца Жореса объявлен невиновным.

Трудящиеся, Жорес жил для вас; он умер за вас! Этот чудовищный вердикт возмущает всем, что убийство Жореса не являлось преступлением.

Этот вердикт ставит вне закона вас и всех тех, кто защищает ваше дело.

Трудящиеся, будьте бдительны!

*Анатоль Франс.*

## **ПИСЬМО МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ**

*28 августа 1919 г.*

Господин министр!

24 августа мы представили в вашу цензуру текст декларации организационного комитета группы «Кларте».

Мы с удивлением узнали, что г-н Гимар отказался поставить на нем свою визу.

Он заявил, что сообщит нам свое решение лишь после того, как обсудит этот вопрос с префектом полиции г-ном Ро.

Не получив ответа и по сегодняшний день, мы обращаемся непосредственно к Вам.

Выражая в своей декларации протест против интервенции союзников в России, мы лишь еще раз сформулировали тот великий принцип свободы всех народов распоряжаться своей судьбой, который был провозглашен всеми правительствами Антанты.

Мы всегда полагали, что этот принцип не может быть погран теми, кто в свое время немало сделал для того, чтобы он восторжествовал.

Что же касается других содержащихся в декларации заявлений, то здесь мы воспользовались данным нам французской конституцией правом каждого гражданина свободно изъяслять свое мнение, правом, которое не может быть отнято никакой властью, если только она не действует по произволу.

Мы надеемся, следовательно, что вы поставите на нем свою визу, не требуя от нас такого рода изменений текста, которые мы не могли бы принять, не нарушая велений нашей совести.

Соблаговолите, господин министр, принять выражения... и т. д.

От имени организационного комитета

*Анатоль Франс, Анри Барбюс.*

## ОБРАЩЕНИЕ К ИЗБИРАТЕЛЯМ

1919 г.

Граждане!

Своим голосованием вы осудите буржуазные правительства, которые не умели ни подготовиться к войне, ни предотвратить ее, ни вести ее. Глухие к предостережениям великого Жореса и социалистов, эти правительства подвергли опасности нацию, установив трехлетний срок службы, что свидетельствовало о их полном непонимании условий, в которых произойдет столкновение народов. В решительный час они не нашли в себе ни

благоразумия, ни мужества, ни даже благих побуждений, чтобы помешать конфликту. Все их искусство ведения войны заключалось в том, чтобы, в то время когда вооруженный народ спасал Францию, охраняя интересы капиталистов с риском задавить страну колоссальными долгами. А сегодня они бесстыдно хвастают тем, что продолжали истребительную войну дольше, чем того требовала необходимость спасения нации, и — верх наглости — похваляются тем, что закончили ее миром неопределенным, бесчестным, невыгодным для Франции, незавершенным, чреватым войнами, бедствиями и разрухой.

Граждане, вы осудите буржуазные правительства, которые не хотели разоружать побежденную Германию, стремясь сделать из нее пугало для народов; они боялись отнять у Франции и союзников повод для сохранения армии, арсеналов, военной промышленности и всех кровавых атрибутов капитализма.

Вы осудите буржуазные правительства, которые, не довольствуясь подавлением во Франции всякой свободы, всякой политической жизни, более того — всякой мысли и даже тени мысли, селятся сейчас, не жалея денег и людей, утопить в крови русскую революцию; правительства, которые не постыдились требовать от Германии ее участия в блокаде великой страны; эта блокада должна была умерить голодом вместе с защитниками русской свободы миллионы стариков, женщин и детей.

Вы осудите их вашим голосованием.

Граждане, кто говорит вам это? Чей голос звучит в моих словах и придает им такую силу, что они, я надеюсь, найдут отклик в каждом честном сердце? Это голос социализма.

Только социалисты выступают перед народом, чуждые заговоров и интриг, ибо лишь они не причастны к заблуждениям и преступлениям старого общества, лишь они несут людям идею нового общества.

Это общество будет основано на лучшей организации труда, на признании прав профессиональных союзов, национализации мощного аппарата транспорта и тяжелой промышленности. Вот краеугольный камень здания.

Граждане, не будем закрывать глаза на действительность. Борьба классов может кончиться лишь с исчезновением классов. Война, которой мы не хотели, намного приблизила час этого исчезновения; она создала экономическое положение, несущее в конечном счете гибель капиталистам, чудовишно нажившимся на этой войне. Все ведет нас к социализму, и течение равно приближает к нему и тех, кто сопротивляется ему, и тех, кто ему отдается, и тех, кто ему помогает.

Ничто не сможет помешать неизбежной революции, которая уже совершается на наших глазах. Но, граждане, от вас зависит сделать ее мирной. Она будет мягкой и милосердной к тем, кто будет помогать ей и ее направлять. Слеп тот, кто не видит рождения нового порядка вещей. Пусть благодаря вашей мудрости рождается он со спокойным величием.

Пусть нынешние правители постараются это понять. Пусть они заставят замолчать голоса властолюбия и стяжательства. Пусть они придут к нам, борцам за мир и справедливость.

Что такое социализм? Это совесть человечества.

## ПИСЬМО К ИЗБИРАТЕЛЯМ

*19 октября 1919 г.*

Граждане!

Я от всей души признателен избирателям Двадцать шестого участка департамента Сены, а также избирательной комиссии Третьего округа Парижа за то, что они оказали мне честь вписать мое имя в список кандидатов, призванных представлять в предвыборной борьбе социалистическую партию. Несомненно, я обязан этой честью тем непоколебимым и искренним социалистическим убеждениям, которые сложились у меня в течение моей долгой жизни и лишь больше укрепились в связи с событиями последних пяти лет.

Я очень хотел бы ответить согласием на ваше предложение, которое трогает меня больше, чем я могу выразить словами, но по слабости здоровья вынужден

отклонить его, ибо обязанности кандидата значительно превосходят мои силы.

Поэтому шестнадцатого ноября я выполню свой долг гражданина не в качестве кандидата, а как рядовой избиратель. Сейчас, после войны, показавшей, к каким непоправимым потерям в технике, к какому падению моральных чувств приводит капитализм ради того, чтобы подчинить весь мир интересам одного класса, я, более чем когда-либо, верю, что только социализм может гарантировать человечеству устойчивую систему правления и всеобщий мир, раскрепостить человеческое сознание и обновить созданную веками культуру, основывая ее уже не на экономической эксплуатации масс, а на безграничных возможностях коллективного труда и свободном обмене идеями. Да, граждане, больше чем когда-либо, верю я в историческую миссию мирового пролетариата и заранее приветствую грядущие победы социализма, который обеспечит человечеству, после стольких не заслуженных им страданий, счастливое будущее.

Прошу вас верить, граждане, моей глубокой преданности делу социализма.

*Анатоль Франс.*

## **ПРИЗЫВ К ПРОЛЕТАРИАТУ**

*14 августа 1920 г.*

Сравнивая судьбу Франции во время войны с ее нынешней судьбой, диву даешься. Давно ли по призыву Франции сто наций «со всех концов мира», сплотившиеся против Германии, «прошли на гибель ей и горы и моря»? Что случилось с нашими союзниками? Где наши дружеские связи? Мы растеряли их все до единой. Мы всех оттолкнули своей подозрительностью, своим высокомерием и воинственным пылом, который просто поражает после столь длительной, жестокой войны. Первая столкнулась с нашей неприязнью Америка, когда она предложила нам политическую доктрину, противоречащую нашей, не нашедшую отражения в договорах.



Затем мы жестоко поссорились с нашей латинской сестрой. Затем мы оттолкнули от себя новые государства Востока; затем, раздраженные как значительными финансовыми затруднениями, так и теми трудностями, с которыми пришлось столкнуться в связи с проведением в жизнь плохо составленного договора, мы вступили на путь разногласий с Англией \*, гораздо более серьезных, чем об этом известно широкой публике.

Я не пытаюсь осуждать или оправдывать поведение наших союзников; я лишь констатирую тот факт, что политику капиталистов, военщины и дипломатов, которые держат в своих руках бразды правления, нельзя назвать в какой-либо мере удачной.

Положение наше было трудным. А вчерашнее заявление Врангеля сделало его поистине ужасным. И вот в конце концов мы оказались одни, ибо что остается после этого дипломатического «переворота» от англо-французского союза? Мы одни. Франсуа Крюси предупреждал об этой опасности в своих корреспонденциях из Лондона в «Юманите» еще несколько недель тому назад. Его предсказания оказались справедливыми. Предвещанное им зло свершилось. В какие новые бедствия, в какие неведомые опасности ввергнет нас реакционный парламент и ретроградное правительство? Не ведет ли оно нас к войне с Советской Россией? Особенно увеличивает наши опасения то обстоятельство, что во Франции дело мира не защищается пролетариатом, как то имеет место в Англии, где он умеет заставить себя слушать в обеих палатах. У нас партия труда не имеет ни малейшего влияния на правительство. А между тем для защиты находящегося под угрозой мира, мира, против которого борются капиталисты и военщина всех стран и который на каждом шагу предают вялые и невежественные буржуа, рассчитывать можно только на пролетариат.

Я с интересом прочел вчера воззвание Всеобщей конфедерации труда, решившей, по-видимому, мобилизовать Интернационал профессиональных союзов. Думая о настроениях, проявленных французскими, английскими и немецкими горняками в Женеве, вспоми-

ная о решительной позиции английских лейбористов, снова начинаешь надеяться и снова уверенно повторяешь: единение трудящихся принесет мир всему миру. Спасение Франции, спасение Европы, спасение всего мира находится сейчас в руках пролетариата. Воззвание Советов к трудящимся Франции напоминает нам о грозящей гибели. Положение ужасно. И я с глубоким волнением, своим слабым, старческим голосом, которому придает силу стремление к общему благу, кричу вам: «Французы! Спасите мир во всем мире!»

## РОССИЯ — СТРАНА, ГДЕ СБЫВАЕТСЯ И НЕВОЗМОЖНОЕ

*18 февраля 1921 г.*

Я уже стар и стою в стороне от событий, но из своего уединения я слежу за тем, что происходит в мире, и должен сказать, что его будущее рисуется мне очень мрачным.

Моя родина Франция, даже в своих широких массах, сейчас самая воинственная страна в мире. Воинственный дух пропитал французов до мозга костей, его разрушительное влияние чувствуется повсюду: во внешней политике нашего правительства, в военных миссиях и союзах, в тайных махинациях наших зарубежных агентов и т. д.

Из войны мировой капитализм вышел окрепшим.

Социалистические партии мира совершенно не подготовлены к схватке со своим страшным врагом. Для этой неравной борьбы требуется новое оружие. Превышенная тактика рабочих и социалистических партий с ее смелыми, но бесплодными парламентскими методами, с ее резолюциями и протестами — устарела...

Хотя французская коммунистическая партия и не является безусловным противником парламентаризма, а стремится использовать его в известных пределах для достижения своих целей, все же, по-моему, мы

во Франции дожили до конца эпохи парламентаризма. Мы вступаем в эпоху революционную.

Я и раньше постоянно утверждал, что парламентаризм способен лишь ослабить социалистическое движение. При жизни Жореса, этого, быть может, самого сильного социалиста-парламентариста, я часто спорил с ним по этому поводу...

Нами правит теперь многочисленная банда людей, заработавших на войне хорошие деньги. Эти милитаристы и реакционеры становятся с каждым днем все наглее и все настойчивее в проведении своих замыслов.

Но теперь появилась уже некоторая надежда на улучшение положения.

Снова огонь горит в сердцах людей.

Взгляните на Восток!

Казалось, для русского народа не было выхода из мрака царизма.

На революцию, тем более на революцию победоносную, не было надежд.

Но Россия — страна, где сбывается и невозможное. Это невозможное большевики совершают теперь и завершат.

## ПИСЬМО К МАРСЕЛЮ КАШЕНУ

*18 июля 1922 г.*

Дорогой гражданин Кашен,

Прошу вас сообщить вашим читателям о выходе в свет книги Мишеля Корде «Доменные печи», с которой всем необходимо познакомиться. Изложенные в этой книге взгляды на причины и ход войны, с которыми вы согласитесь, еще слишком плохо известны у нас, во Франции; из нее, в частности, явствует, что мировая война (об этом мы оба уже немного подозревали!) явилась главным образом делом рук банкиров; что ее захотели, сделали необходимой, развязали и продолжали крупные промышленники различных госу-

дарств Европы. Они создали себе на этом положение, вложили в войну состояния, получили на ней огромные прибыли, предаваясь этому занятию с таким пылом, что разорили всю Европу, разорились сами и поколебали равновесие всего мира.

Вот что говорит Мишель Корде со всей присущей ему силой убеждения и таланта:

«Как эти люди похожи на свои доменные печи — подобия феодальных башен, воздвигнутых одна против другой вдоль границ, — чьи ненасытные чрева нужно беспрестанно, день и ночь, наполнять рудой и углем, чтобы расплавленные массы металла не переставая струились в горн. Они тоже ненасытны, они тоже требуют, чтобы без остановки все время — и во время мира и во время войны — в огонь бросались бы богатства земли, плоды человеческого труда, люди — да, и люди! — бросались бы целыми полчищами, целыми армиями, бросались как попало в эти зияющие жерла, для того чтобы скоплялись у их ног слитки золота, еще больше слитков золота, все больше и больше золота.

Да, поистине это их эмблема, их герб, их подобие. Они сами настоящие доменные печи» (стр. 163).

Люди, погибшие в эту войну, так и не узнали, за что они гибнут. Так бывает при всякой войне. Но не в такой мере. Люди, павшие в сражении при Жемапе \*, не обманывались до такой степени в цели, ради которой отдали жизнь. Заблуждение же тех, кто пал жертвами этой войны, было поистине трагично. Они думали, что умирают за родину, а умирали за капиталистов.

В распоряжении нынешних господ положения были три силы, необходимые в наше время для осуществления всякого крупного замысла: заводы, банки, печать.

Мишель Корде показывает, как использовали они эти три механизма дробления человечества. Он разъяснил мне, в частности, одно явление, подобного которому я ни разу не встречал еще в истории и которое поражало меня даже не само по себе, а своей исключительной интенсивностью: каким образом с такой

невиданной силой распространилась во Франции ненависть к другому народу — целому народу, ненависть, не идущая ни в какое сравнение с той, которой была охвачена наша страна во время войн Революции и Империи. Не говорю уже о войнах старого режима, не вызывавших у французов ненависти к тем народам, с которыми они воевали. На сей раз это была ненависть, которая не угасла и после заключения мира, заставила нас позабыть о наших собственных интересах и потерять всякое чувство реальности, причем мы даже не отдавали себе отчета в этом поработившем нас чувстве, кроме тех случаев, когда оно казалось нам слишком слабым.

Мишель Корде убедительно показывает нам, что ненависть эта была раздута крупными газетами, которые еще и поныне остаются виновными в том состоянии духа, которое ведет Францию вместе со всей Европой к ее полной гибели. «Настроения ненависти и мщениия, — пишет Мишель Корде, — усердно подогреваются в газетах. И их непримиримая ортодоксия не терпит ни инакомыслия, ни даже нейтральности. Вне ее — либо пораженчество, либо измена. Тот, кто хотел идти другим путем, находил смерть и муки. Ненавидеть целый народ — но ведь это значит ненавидеть совершенно противоположные вещи — добро и зло, красоту и безобразия». Какое странное помешательство! Я не очень уверен, что мы на пути к выздоровлению. Надеюсь, что да. Это необходимо.

Книга Мишеля Корде появилась как раз вовремя, чтобы внушить нам целительные идеи. Хоть бы ее поняли!

Современная Европа состоит не из изолированных, не связанных друг с другом государств. Она образует единое целое. Разрушить одну из частей этого целого — значит поставить под угрозу все остальные.

Наше спасение в том, чтобы быть хорошими европейцами. Без этого — хаос и запустение.

С братским приветом

*Анатоль Франс.*

## ПЯТАЯ ГОДОВЩИНА РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

8 ноября 1922 г.

Пять лет тому назад Советская Республика родилась в нищете. Непобедимая, она явилась носительницей нового духа, грозящего гибелью всем правительствам несправедливости и угнетения, которые делят между собой землю. Старый мир не ошибся в своих опасениях. Его вожаки сразу угадали в ней своего врага. Они двинули против Советской Республики клевету, богатство, силу. Они хотели ее задушить; они посылали против нее шайки разбойников. Советская Республика сомкнула ряды красных бойцов, и разбойники были разбиты. Если в Европе есть еще друзья справедливости, они должны почтительно склониться перед этой Революцией, которая впервые в истории человечества попыталась учредить народную власть, действующую в интересах народа. Рожденная в лишениях, выросшая среди голода и войны, советская власть еще не довершила своего громадного замысла, не осуществила еще царства справедливости. Но она по крайней мере заложила его основы.

Она посеяла семена, которые при благоприятном стечении обстоятельств обильно взойдут по всей России и, быть может, когда-нибудь оплодотворят Европу.

### ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ «ЖЕЛЕЗНОЙ ПЯТЫ» ВО ФРАНЦУЗСКОМ ПЕРЕВОДЕ

Париж, 1923 г.

«Железная пята» — под этим выразительным названием Джек Лондон понимает плутократию. Книга, носящая это заглавие, была им опубликована в 1907 году. В ней изображена борьба между плутократией и народом, которая вспыхнет в один прекрасный день, если судьба во гневе своем допустит это. Увы! Джек Лондон

обладал талантом видеть то, что в настоящий момент скрыто от большинства людей, и научным знанием, позволяющим заглядывать в будущее. Он предвидел события, разворачивающиеся в нашу эпоху. Ужасная драма, при которой он заставляет нас мысленно присутствовать в своей «Железной пяте», еще не разыгралась, мы не знаем, где и когда осуществится пророчество американского последователя Маркса.

Джек Лондон был социалистом, и более того — революционером. Под именем Эрнеста Эверхарда в его книге выведен человек, который понимает истинное положение дел и предвидит будущее, — человек мудрый, сильный, добрый. Когда-то он был рабочим и зарабатывал себе на хлеб собственными руками — подобно самому автору. Ведь, как вы знаете, тот, кто за свою недолгую жизнь создал пятьдесят томов, чудесных по своей жизненности и глубине мысли, был сыном рабочего и начал свой славный путь на заводе. Эрнест Эверхард полон мужества и мудрости, полон силы и нежности — в этом облик его совпадает с обликом писателя, его создавшего. И в довершение сходства автор дает ему в жены женщину большой души и свободных взглядов, которая под влиянием мужа тоже становится социалисткой. А мы ведь знаем, что г-жа Чармиан Лондон вместе со своим мужем Джеком вышла из рабочей партии, как только та стала проявлять признаки умеренности.

Оба восстания, изображенные в книге, представляемой мною французскому читателю, столь кровопролитны, столь предательски спровоцированы и подавлены с такой свирепостью, что невольно спрашиваешь себя — неужели подобное возможно в Америке, в Европе, неужели подобное возможно во Франции? Я бы никогда не поверил в это, не будь у меня перед глазами примеров июньских дней и расправы с Коммуной 1871 года, свидетельствующих, что против бедняков все считается дозволенным. Весь пролетариат Европы так же почувствовал на себе эту Железную пяту, как и пролетариат Америки.

Социализм во Франции, социализм в Италии и Испании слишком слаб, чтобы иметь сейчас какой-либо

повод бояться Железной пяты; единственное спасение для слабых — в их крайней слабости. Партия рассыпалась, и Железная пята не ступит на эту пыль. В чем причина такого упадка социалистического движения? Это движение нетрудно подавить во Франции, где пролетариат слишком малочислен. По различным причинам та самая война, которая беспощадна к мелкому буржуа, ободрала его как липку, а он даже не пикнул, будучи животным безгласным, — та же война была несколько милостивее к рабочему крупной промышленности: он перебивался тем, что обтачивал снаряды, и его заработная плата, довольно скудная после войны, все же никогда не доходила до чрезмерно низкого уровня. Господа положения следили за этим, да и в конце концов заработная плата представляла собой простые бумажки, и крупным предпринимателям, близким к власти, не стоило большого труда раздобыть их. С грехом пополам рабочий выжил. Он столько наслышался всякой лжи, что ничему больше не удивлялся. И такое время избрали социалисты, чтобы распасться и обратиться в пыль! Вот вам еще одно блестящее поражение социализма — ни одного убитого и ни одного раненого. Как это произошло? Как могли погрузиться в сон силы такой великой партии? Причины, которые я здесь привел, недостаточны. Тут сказалось влияние войны, убивающей не только тела, но и души.

В один прекрасный день эта битва между Трудом и Капиталом возобновится. И тогда вспыхнут мятежи, подобные тем, которые предвидел Джек Лондон, описывая кошмарные боины в Сан-Франциско и Чикаго. Однако же нет оснований думать, что в тот день (близкий или далекий), когда это свершится, социализм окажется раздавлен Железной пятой и потоплен в крови.

В 1907 году Джеку Лондону кричали: «Вы ужасный пессимист». Искренние социалисты обвиняли его в том, что он вносит смятение в ряды партии. Они были не правы. Тот, кто обладает редким даром ясного предвиденья, должен в полный голос говорить о своих опасениях. Великий Жорес, помню, говаривал не раз: «Мы недостаточно знаем силу классов, против которых боремся. Они сильны, им приписывают всяческие



добродетели, церковники променяли религиозную мораль на мораль капиталистов; как только тем что-нибудь будет угрожать, вся буржуазная общественность станет на их защиту». И он был прав, как прав Джек Лондон, показав нам в пророческом зеркале, к чему приведут нас ошибки и заблуждения.

Не надо сомневаться в будущем: оно принадлежит нам. Плутократия погибнет. Уже сейчас в ее крепком организме заметны признаки разрушения. Она погибнет, потому что всякий кастовый режим обречен на смерть; погибнет система наемного труда, потому что она несправедлива. Погибнет, продолжая чваниться своим могуществом, как погибло рабство и крепостное право.

Уже сейчас, если приглядеться внимательней, можно заметить, что она теряет силы. Война, к которой так стремилась крупная индустрия всех стран мира, война, которая была ее войной, война, в которую она вложила надежды на новые богатства, принесла такие огромные, такие глубокие разрушения, что сама международная олигархия оказалась поколебленной, и недалек тот день, когда она рухнет на развалины Европы.

Я не собираюсь возвещать вам, что она погибнет без борьбы от первого же удара. Она будет бороться. Вероятно, ее последняя война затянется надолго и протекать будет с переменным успехом. О вы, наследники пролетариата, о грядущие поколения, дети нового времени, вам предстоит сражаться, и если иной раз какая-нибудь жестокая неудача внушит вам сомнение в успехе дела, вы воспрянете, повторяя слова благородного Эверхарда: «Проиграно на этот раз, но не навсегда. Кое-чему мы научились. Завтра восстание поднимется снова, более мудрое и организованное».



## *Комментарии*



## АНАТОЛЬ ФРАНС — ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК

Литературно-критическая деятельность А. Франса продолжалась в течение всей его жизни. Он оставил сотни статей, очерков, литературных этюдов, десятки предисловий к различным изданиям — преимущественно французских классиков. Он сотрудничал во многих газетах и журналах, от редких изданий для антикваров до крупной официальной прессы (газета «Temps», журнал «Revue de Paris» и др.). С 1869 по 1879 г. Франс работал рецензентом и редактором в издательстве Альфонса Лемерра, в 1870—1872 г. вел в журнале «Bibliophile français» отдел хроники («Книги за месяц»), в 1886—1893 г. был штатным критиком «Temps». К литературно-эстетическим вопросам Франс обращался в публицистических статьях и художественных произведениях. Его «парижские хроники» о современных событиях, печатавшиеся в «Univers illustré» (1883—1896), зачастую содержат отзывы о вышедших в свет романах, а многие страницы художественных произведений посвящены размышлениям на литературные темы, — наиболее богатый материал такого рода заключен в его автобиографической тетралогии «Книга моего друга», «Пьер Нозьер», «Маленький Пьер» и «Жизнь в цвету».

Большинство своих критических работ Франс объединил в отдельные сборники. В четыре серии «Литературной жизни» (1888—1892) он включил около 140 статей, первоначально опубликованных в «Temps». В «Саде Эпикура» (1894) — книге философских размышлений, составленной из фрагментов статей, напечатанных в той же газете и частично перепечатанных в «Écho de Paris», — также получили отражение литературные

взгляды Франса. В сборник «Латинский гений» (1913) вошли 15 очерков, служивших прежде вступительными статьями к изданиям соответствующих художественных текстов. Многие из не собранных самим Франсом статей и этюдов составили два тома «Страниц истории и литературы» в 25-томном издании Кальман-Леви (*œuvres complètes illustrées de Anatole France*, 1925—1935, тт. XXIV—XXV), а в 1949 г. французский филолог Жак Сюффель опубликовал пятую серию «Литературной жизни» из 35-ти статей, напечатанных прежде в «Temps».

И тем не менее множество работ осталось погребенным в малодоступных периодических изданиях. Не собраны статьи из «Bibliophile français» и «Revue illustrée». Почти полностью забыты очерки, появившиеся в «Temps» еще до регулярного сотрудничества здесь Франса, и более сотни статей конца 1880 — начала 1890-х гг., не вошедших в сборники «Литературная жизнь». Обширное литературно-критическое наследие писателя изучено вообще далеко недостаточно.

Между тем критические статьи составляют важную часть творческого наследия Франса. В них нашли свое полное выражение его политические, философские и литературные взгляды, весь сложный путь его идейного и эстетического развития. Статьи и этюды Франса, неразрывно связанные с его художественным творчеством, позволяют глубже понять его произведения различных лет. Вместе с тем они интересны как свидетельство современника о литературных процессах эпохи и, наконец, как образец поразительно своеобразного, неповторимого литературного мастерства.

Литературные интересы Франса необычайно широки. Он говорит о писателях античности, французских классиках, современных поэтах и романистах. В своих статьях он касается вопросов философии, эстетики, истории — самых различных проблем науки и культуры, волновавших его современников. Критические его работы весьма разнообразны и по жанру и по манере письма. На первый взгляд трудно найти что-нибудь общее между научным, историко-филологическим исследованием о «Дафнисе и Хлое» или детальным жизнеописанием Маргариты Наваррской и изящными, легкими, вдохновенно набросанными статьями «Литературной жизни», почти полностью лишенными дат и конкретных фактов. Но это идейное и стилистическое разнообразие обусловлено не отсутствием «программы» или твердых эстетических принципов, а тем

сложным путем развития, который Франс прошел за свою долгую жизнь в литературе.

Действительно, эстетические взгляды Франса эволюционировали в течение всей его жизни. В 1860—1870-е гг. Франс, позитивист, поклонник Дарвина и Тэна, в своей эстетике и творчестве был связан с поэтической группой «Парнас» и с натурализмом. Ориентация на «научное», «объективное» изучение действительности, столь ярко воплотившаяся в его ранней поэзии и прозе, определила характер и его первых критических работ. Вместе с парнасцами Франс разрабатывает принципы «объективного» творчества, противопоставленного субъективной поэзии Мюссе и Ламартина. В этюде об Альфреде де Виньи (1868) — своей первой книге, решительно осужденной им впоследствии за «педантизм» (то есть за чрезмерную приверженность к парнасской эстетической системе), — он горячо защищает идеал «объективного», безличного искусства. Его восхищает изощренная техника стихотворений Виньи, но, так же как Леконт де Лиль, Франс далек от крайних эстетских деклараций некоторых парнасцев: поэзия Виньи хороша потому, что она заключает в себе мысль; совершенная художественная форма — лишь воплощение глубокой идеи. В утраченной статье 1874 г. «Об объективной поэзии» Франс вновь развивал парнасские эстетические принципы и осуждал «мечту» во имя «объективного» изучения действительности.

Статьи 1860-х и 1870-х гг. сдержанны по тону, подчеркнута «научны». В отчетах о театральные премьеры («Chasseur bibliographe»), в разнообразных библиографических заметках («Amateur d'autographes», «Gazette bibliographique»), в рецензиях на новые издания («Bibliophile français») Франс всячески избегает каких-либо лирических отступлений. В 1875—1877 гг. он печатает в «Temps» серию очерков о современных ему романистах — Гонкурах, Жорж Санд, А. Доде, Золя, Тургеневе. Франс близко следует здесь принципам Тэна и Сент-Бева, которых позднее в 1888 г., в одной из статей «Литературной жизни», он назовет своими учителями в области критики. Тщательно изучая биографию писателей, воссоздавая их психологический облик, Франс пытается характеризовать их в связи с эпохой и литературными традициями, обусловившими склад их ума и общественно-литературные интересы. Вслед за Тэном он хочет определить основные особенности писателей тремя рядами причин, тесно друг с другом связанных: расой — то есть

национальными их особенностями, — средой, их воспитавшей, и историческими обстоятельствами, в которых были созданы их произведения. У каждого из них Франс пытается найти закономерно обусловленную средой и моментом «господствующую способность»: у Гонкуров — это болезненная восприимчивость к мельчайшим деталям внешнего мира, помогавшая собирать материал, изучать характеры и нравы; у Жорж Санд — способность чувствовать. В письме к А. Франсу (1876) Тэн с большой похвалой отозвался о его статье «Природа в романах Жорж Санд».

Еще в 1873 г. Франс начал писать предисловия для изданий А. Леметра. После обширного очерка о Расине появились статьи о Бернардене де Сен-Пьере, о Прево и Лесаже, о «Дафнисе и Хлое», Маргарите Наваррской, Шатобриане, Скарроне, Лафонтене и др. За исключением очерка о Бенжамене Констане (1889), все эти статьи, составившие сборник «Латинский гений», были написаны в 1870-х и начале 1880-х гг. В тот же период (около 1876 г.) был подготовлен и обширный биографический очерк о Мольере, впервые напечатанный лишь в 1906 г. как предисловие к седьмому тому сочинений Мольера.

Большинство статей «Латинского гения» — это подробные, тщательно документированные биографии. Они изобилуют датами, именами, ссылками на многочисленные источники, длинными цитатами из французских, латинских и греческих авторов. В мельчайших деталях восстановлена жизнь Маргариты Наваррской, ее родословная и окружение, атмосфера религиозных войн первой половины XVI в. («Королева Наваррская»). Трагическая участь Поля Скаррона, погибавшего в невыносимых физических страданиях и все же не терявшего присутствия духа и в бурные годы Фронды слагавшего одну за другой свои язвительные «мазаринады» («Поль Скаррон»); тягостное существование автора «Жиль Бласа», неустанно боровшегося с жестокой нуждой, которой он никогда не мог одолеть («Ален-Ренэ Лесаж»); необычная жизнь аббата Прево, полная скитаний, безумств и злоключений («Приключения аббата Прево»), — все эти столь различные судьбы изучены Франсом с пристальным вниманием и замечательной добросовестностью. Особенно детально описана жизнь «величайшего из комических поэтов»: Франс словно считает своим долгом упомянуть о каждом мельчайшем факте биографии Мольера, не забыть ни одной постановки и даты, назвать каждого его



знакомого («Мольер»). С той же подробностью, педантично, шаг за шагом воссоздана жизнь и крупнейшего французского трагического поэта («Жан Расин»).

Анализа художественных произведений или просто сколько-нибудь подробной их характеристики в «Латинском гении» нет. Франс ограничивается библиографическими данными, называет источники и даты произведений, приводит отзывы современников и прессы. Иногда очень краткие и всегда категорические оценки: поэт Пибрак — самый скучный из поэтов, идеи Бернардена де Сен-Пьера насквозь нелепы, «Манон Леско» — «чудо искусства», здесь «все естественно, правдиво и верно».

Франса интересует главным образом психологический облик писателя, обусловленный его воспитанием, средой, идейной и политической борьбой эпохи. Маргарита Наваррская из «Латинского гения» — не столько автор «Гептамерона», сколько прежде всего человек, кроткий, благожелательный, свободомыслящий; это представительница Ренессанса, впитавшая еще в юности идеи гуманизма и в годы кровавых религиозных распрей утверждавшая идеалы веротерпимости. Расин — не столько автор трагедий, сколько своеобразный психологический индивид, воспитанник янсенистов, с мягкой душой, впечатлительной натурой, болезненно чувствительный, восприимчивый к красоте, страстно влюбленный в греко-латинскую традицию, Бернарден де Сен-Пьер, фантазер, слишком часто ошибавшийся в жизни и людях и мечтавший в канун революции о руссоистской республике добродетели («Бернарден де Сен-Пьер»), Шатобриан, потомок древнего аристократического рода, ощутивший себя во время революции «лишним человеком» и создавший галерею лишних людей («Юность Шатобриана»), — именно здесь, в особой психологической организации, обусловленной историческими условиями жизни, кроются, по мнению Франса, истоки художественного творчества.

Некоторые статьи «Латинского гения» — настоящие историко-филологические этюды. В «Дафнисе и Хлое» Франс переносит нас в эпоху эллинизма и римского владычества в Греции; он говорит об источниках романа, об александрийской поэтической школе, о ее литературных традициях. «Заметки о языке Лафонтена» — чисто лингвистическое исследование: подробно анализируются истоки словаря Лафонтена, отдельные

словесные обороты, значение устаревших слов. Некоторые страницы «Латинского гения» явно перегружены «ученостью».

В 1913 г., объединяя по предложению Лемерра статьи в отдельный сборник, Франс приносил извинение читателям именно за свой педантизм. «Почти все эти заметки написаны очень давно, в период, когда я был мало искушен в литературе, и это ясно видно, — писал он в предисловии к «Латинскому гению». — Публикуя их теперь, я внес очень мало изменений — не потому, что в своем настоящем виде они хоть сколько-нибудь меня удовлетворяют, а потому, что я мог бы действительно остаться довольным, лишь изменив все. Статья о Расине, самая ранняя и самая слабая из этих очерков, переработана не больше, чем другие, — за исключением разве того, что я выбросил несколько страниц, исполненных невыносимого педантизма. Наперекор романтикам, я всегда любил Расина, но в ту пору я бывал иногда чрезмерно строг. Теперь же, читая его стихи, я разрешаю себе открыто поклоняться самому совершенному из поэтов».

Для автора «Литературной жизни», лекций о Рабле, этюда о Стендале очерки «Латинского гения» были действительно пройденным этапом. Уже с середины 1880-х гг. Франс далеко ушел от принципов Тэна и Сент-Бева, отверг любые догмы, любые устойчивые системы, какой бы то ни было «педантизм». И все же в некоторых отношениях эти ранние очерки остались Франсу созвучны: преклонение перед античной культурой, понижающее весь «Латинский гений», он пронес через всю свою жизнь. «Не следует верить названию этого сборника, — писал Франс в том же предисловии 1913 г. — Здесь нет ничего, что оправдывало бы это название. Это проявление веры и любви к греко-латинской традиции, исполненной разума и красоты; вне ее — заблуждения и растерянность. Философия, искусство, наука, юриспруденция — всем мы обязаны Греции и ее завоевателям, которых она в свою очередь покорила. Древние, вечно живые, учат нас и поныне».

С марта 1886 г. Франс начал регулярно сотрудничать в «Temps». Сначала он вел отдел хроники «Жизнь в Париже», а 16 января 1887 г., заменив Эдмона Шерера, стал постоянным литературным критиком газеты. В течение нескольких лет в «Temps» еженедельно появлялись его статьи, из которых и выросли «Литературная жизнь» и частично «Сад Эпикура». В общей сложности Франс напечатал в «Temps» около 370 статей.

Это наиболее плодотворный период его литературно-критической деятельности.

К этому времени философские и эстетические взгляды Франса претерпели значительные изменения. Его юношеская вера в непогрешимость позитивной науки осталась позади. Он понял, что позитивистская наука, отвергая познание глубоких тайн природы, останавливается лишь на поверхности явлений. Но эту ограниченность позитивистского метода он распространил на всякое научное познание вообще. Вслед за Спенсером и Э. Ренаном он пришел в вопросах познания к агностицизму и субъективному идеализму — сущность вещей сокрыта от человека: мы заключены, как в темнице, в своих ощущениях, которые скрывают от нас объективный мир; поэтому всякое человеческое познание относительно, условно и субъективно. По мнению Франса, все идеи, все истины, все философские системы одинаково ложны, но, с другой стороны, они одинаково истинны в своей относительности, ибо каждый человек прав во всем, что он чувствует и утверждает. Вплоть до начала 1890-х гг. Франс, подобно Ренану, проповедует своеобразный «благожелательный скептицизм», который хочет распространить и на область литературы.

Парнасская эстетика представляется ему теперь недопустимо догматической. В 1887 г. он называет Леконта де Лиля ревностным верующим, «великим схоластом», «папой» в вопросах эстетики. Разве можно судить древнейших поэтов согласно «неизменным» и «божественным» правилам? («Леконт де Лиль во Французской Академии»). Догматическим кажется Франсу и метод натуралистического романа. Величайшая ошибка Золя, утверждает он, заключалась в стремлении установить «натуралистический террор», тиранию узких натуралистических рецептов («Октав Фейе»). Франс критикует теперь и тэновскую теорию среды. Теории подобны этажеркам, на которых расставляют факты, и система Тэна, столь восхищавшая молодого Франса, — лишь шкаф со многими полками, на которых весьма удачно размещена вся английская литература («Ипполит Тэн»). «Научную», позитивную критику, основанную на принципах Тэна, он называет «психологической анатомией». Она безжалостна и бесплодна, ибо искажает облик писателя и процесс развития литературы («Морис Спронк»).

Этим «догматическим» системам Франс противопоставляет свою эстетику, философской базой которой является агности-

цизм и вытекающие из него представления об относительности и субъективности всех ощущений. Он настойчиво утверждает, что всякое произведение искусства глубоко субъективно. Автор воплощает в произведении свои личные ощущения и впечатления: он не может выйти за пределы своего «я». И даже Леконт де Лиль, этот «безличный» поэт, который упорно пытается воскрешать ушедших богов и героев в их неповторимом историко-психологическом своеобразии, рисует в конце концов только самого себя, раскрывает всегда и во всем лишь душу Леконта де Лиля («Леконт де Лиль во Французской Академии»). Не случайно больше других жанров мы любим письма, исповеди, мемуары, — авторы этих произведений откровенно говорят о себе («По поводу Дневника Гонкуров»).

Искусство, по мнению Франса, не должно стремиться к объективной правде. Будущий сатирик, создатель «Современной истории» и «Острова пингинов», в 1888 г. утверждает, что искусство по самому своему существу бесполезно и очаровательно и его единственное назначение в том, чтобы нравиться человеку («Шарль Морис»).

С этих позиций Франс отвергает натурализм как систему не только узкую и доктринерскую, но к тому же противоречащую принципу благожелательного отношения к действительности. Основной порок натуралистических романов он видит в полном отсутствии вкуса и идеала, в стремлении осквернить человека, оскорбить его нравственное чувство. Аналогичные обвинения Франс предъявляет и Шанфлери, которого рассматривает как ближайшего предшественника натуралистов («Воспоминания о Шанфлери»).

Прогрессивные стороны натурализма остаются почти целиком вне поля зрения Франса. Он полностью отождествляет Золя с второстепенными писателями натурализма и считает его ответственным за грубость и грязь натуралистических романов. Статьи о романах Золя «Земля» и «Мечта» звучат беспощадно. Франс упорно не желает видеть за всеми низменными деталями быта подлинных идеалов Золя, а в неприкрашенном и «научном» изображении действительности — средство критики буржуазного общества («Земля», «Целомудрие господина Золя»). Он склонен делать исключение лишь для «предшественников» натурализма — Флобера и Гонкуров, хотя и сопровождает отзывы о них множеством оговорок; он

ценит в них прежде всего неутомимых тружеников, энтузиастов искусства. Франс благосклонно отзывается и о Доде: Доде писал высокохудожественные новеллы, а душа его была вечно юной, полной света и песен.

В борьбе против «правды», против бытовизма натуралистической школы Франс ратует за «искусство идеала» — искусство, приукрашивающее жизнь, уводящее от реальной действительности и противопоставленное ей. Статья о Жорж Санд — славословие «идеализму в искусстве». Для Жорж Санд природа прекрасна, а ведь природа только такова, какую она кажется. Но если все наши представления о мире — только мечты, то почему же не выбирать самые приятные из них? («Жорж Санд и идеализм в искусстве»). К «идеалистам» в искусстве Франс относит писателей самых различных направлений и взглядов: Жюля Сандо и Сюлли-Прюдома, Франсуа Коппе, Фредерика Плесси и многих других. Он приносит им в жертву и Бальзака: могучий и глубокий художник, Бальзак был вместе с тем слишком мрачен, он был лишен идеала («Бальзак»); между тем писатель должен, приукрашивая жизнь, внушать человеку иллюзии, без которых наше существование было бы слишком тягостным. Франс оправдывает сверхъестественное в литературе, видя в нем средство украшать жизнь и доставлять человеку эстетическое наслаждение («Гипнотизм в литературе», «Роман и магия»).

Если каждое произведение искусства глубоко субъективно, то так же субъективно и восприятие его читателем. Франс настойчиво утверждает, что «субъективная» жизнь произведения продолжается и после его выхода в свет. И поэт и читатель, один — творя, а другой — читая книгу, думают только о себе самих. По существу читатель так же творит книгу, как и создающий ее поэт. Следовательно, нельзя построить никакой логической теории искусства, никакой объективной эстетики. Не может быть и объективной художественной критики: каждая книга имеет столько же различных вариантов, сколько на свете существует читателей.

На этом принципе и построены все литературно-критические статьи Франса 1880-х гг. Он настойчиво сохраняет в них интимный тон беседы. Он не считает своим долгом анализировать произведение и ограничивается тем, что передает свои впечатления от книги, отнюдь не навязывая их читателю. Он говорит не о писателе, а по поводу писателя. Статьи изоби-

люют отступлениями, в которых Франс предается воспоминаниям или размышлениям по любому вопросу. От педантизма «Латинского гения» здесь нет и следа. Однако, утверждая, что он не строит ни системы, ни догмы, Франс все же дает в предисловии к сборникам развернутую программу своей литературной критики. Он разрабатывает тот же жанр, что и Жюль Леметр в своих «Современниках» и «Театральных впечатлениях», — жанр субъективной, импрессионистической критики. Путь Франса от Парнаса и натурализма к импрессионизму был совершенно закономерен: это путь от тэновского позитивизма к системе Ренана.

Как и Леметр, Франс особенно настаивает на субъективности критики. Она является своеобразным романом, а всякий роман — своего рода автобиография. Критик рассказывает прежде всего о «приключениях своей души». Франс осуждает Мопассана, который в приложении к «Пьеру и Жану» попытался установить некие обязательные нормы критики. Между тем критика — такая же дочь воображения, как и любое другое произведение искусства («Ги де Мопассан, критик и романист»). Но именно в этой субъективности критики кроется, по мнению Франса, и ее ценность. Субъективная критика становится всеобъемлющей. Говоря о себе самом, критик раскрывает перед нами разнообразные духовные качества и тем самым как бы воссоздает интеллектуальную историю человечества.

Критик должен быть благожелательным. Зная, что мы судим обо всем субъективно, мы не имеем морального права осуждать. То, что не нравится нам, может казаться прекрасным другому. «Те, кто читает меня, знают, что моя критика благожелательна и что я считаю своим приятным долгом всегда выражать мнение самое широкое в форме самой мягкой», — пишет Франс в феврале 1888 г. («За пределами литературы»). Однако уже и теперь он часто изменяет этой «благожелательности»; во многих статьях он решительно осуждает реакционные тенденции современной литературы и противопоставляет свое творчество и эстетику всему французскому декадансу. Эти мотивы звучат наиболее отчетливо в поздних статьях «Литературной жизни».

В начале 1890-х гг. критическое отношение Франса к буржуазной действительности значительно углубилось. Под влиянием бурной политической и идеологической борьбы кануна

империализма бывший противник Парижской коммуны начинает интересоваться социалистическими идеями. Он постепенно освобождается от влияния Ренана и преодолевает позицию созерцательного, благожелательного скептицизма. Политическое развитие Франса вызывает значительные изменения и в его литературных взглядах.

Писатель по-прежнему говорит о субъективности искусства и защищает принципы импрессионистической критики. Но теперь эти положения приобретают иной смысл: это прежде всего попытка отстоять свободу литературы от посягательств на нее со стороны официальной буржуазной морали.

В этом плане и полемизирует Франс с Брюнетьером, влиятельным критиком «Revue des Deux Mondes», официального органа правых групп буржуазных республиканцев. Еще в 1889 г., в цикле статей «Мораль и наука», написанных по поводу романа П. Бурже «Ученик», Франс решительно возражал Брюнетьеру, который всю идейную жизнь хотел подчинить буржуазной практической морали. В 1891—1892 гг. полемика разгорелась с новой силой. В резкой статье Брюнетьер осудил субъективную критику Франса во имя критики «объективной», догматической, соответствующей требованиям буржуазной морали и навязывающей читателю официальные взгляды («Импрессионистическая критика»). Отвечая Брюнетьеру в предисловиях к третьей и четвертой сериям «Литературной жизни», Франс приводил свои старые доводы о субъективном восприятии искусства, но теперь с этих позиций он энергично защищает свободу литературы. Статья о Бодлере («Памятник Бодлеру») проникнута той же тенденцией.

С другой стороны, и тезис субъективности искусства утрачивает у Франса тот абсолютный характер, какой он имел прежде. Несколько изменяется и стиль его статей. Сокращаются авторские отступления, Франс отходит от своей прежней манеры предаваться воспоминаниям и размышлениям, не относящимся непосредственно к рассматриваемой книге, а в рецензируемых произведениях уже не ищет непременной исповеди писателя. Характерно, что, полемизируя с Брюнетьером, он противопоставляет себя теперь и Леметру. В 1891 г., в предисловии к третьей серии «Литературной жизни», Франс признает за Леметром лишь способность «раздваиваться» и попеременно становиться на различные точки зрения. В дальней-

шем их политические взгляды и литературные позиции окончательно разойдутся.

Исчезает и безоговорочное оправдание «идеалистов» в искусстве. Диалог «Эльвира» (1892), затрагивающий проблемы искусства, построен в традиции «Философских диалогов» Ренана: Франс не высказывает своего мнения и, в сущности, иронизирует над категорическими заявлениями обоих собеседников — «идеалиста» Пьера и «реалиста» Поля, говорящего о связи творчества с жизнью, имея, впрочем, в виду не подлинно реалистическое искусство, а скорее фотографирование действительности. Но характерно само стремление Франса разносторонне осветить вопрос о назначении искусства. Во всяком случае, взгляды Пьера, который видит назначение искусства в создании идеальных образов, далеких от реальной жизни, уже не кажутся ему бесспорными. В ряде статей Франс говорит об общественном смысле литературы и отмечает как недостаток произведения его малую социальную значимость. В 1890 г. он критически отзываясь о любовно-психологических романах Бурже и Мопассана, так как они далеки от интересов широких кругов читателей. Все эти «романы о светской любви» — лишь чтение для светских дам («Наше сердце» и «Сердце женщины»). В рецензии на книгу П. Эрвье «Автопортреты» (1893) и в своем собственном романе «Красная лилия» Франс уже решительно выступает против идеологии, которая насаждалась салонными романистами конца XIX в.

Все большее внимание Франса привлекает злободневное, социально направленное искусство. Его статья «Социалистическая литература» (1892) содержит очерк поэзии коммунаров и сочувственную оценку романа Жоржа Ренара «Прозрение Андре Савене». Он посвящает восторженную статью художнику Форену, который в своих карикатурах беспощадно осмеивал финансовых тузов, светских бездельников, мелких буржуа и вместе с тем с глубоким уважением изображал тружеников и бедняков («Форен», 1893). Франс восхищается правдивостью творчества Бальзака и, по-прежнему отвергая метод натуралистического романа, все более сочувствует Золя, в котором видит теперь реалиста, обличителя буржуазной действительности — писателя, уже вступившего на тот путь, к которому еще только приближается он сам. Он с похвалой отзываясь о «Западне» и «Жерминале», а в статьях, посвященных «Деньгам»



и «Разгрому» (1891 — 1892), горячо одобряет Золя за правдивый показ финансового мира и неприкрашенное изображение армии и войны. Через несколько лет, в период борьбы по делу Дрейфуса, Франс и Золя окажутся в одном лагере — в лагере прогрессивных, демократических сил, поднявшихся на борьбу с силами реакции.

Объединяя свои статьи в «Литературной жизни», Франс подчеркивал, что не ставил перед собой задачи создать целостную картину современной французской литературы. Исчерпывающего анализа литературного процесса в его статьях действительно нет. Но все же в них раскрывается картина литературной борьбы, и в блестящих, кратких, остроумных характеристиках представлены наиболее типичные литературные явления эпохи.

С глубокой тревогой Франс говорит о росте мистических, неокатолических настроений среди французской буржуазной интеллигенции. Он еще не умеет правильно объяснить появление этих тенденций: мистический идеализм, бурно расцветавший в философии и литературе предимпериалистической Франции, он склонен считать своеобразной «болезнью современного духа». Тем не менее в этой «болезни» Франс справедливо почувствовал серьезную опасность для судеб всей современной культуры и ее гуманистических традиций. В статье «Мистицизм и наука» (1890) он осудил молодое поколение, продавшее забвению традиции прошлого и отвергшее весь XVIII век, как век «не христианский». Резкой критике он подверг и бывших последователей Золя, которые, двигаясь в сторону реакции, отказывались от изображения социальной жизни и рисовали всякого рода патологические процессы психики. Особенно непримиримую борьбу Франс объявил литературе символизма.

Символистская школа, включившая в себя и группу «декадентов» (старшее поколение символистов) и собственно символистов, сложилась окончательно в 1880-е гг. Она сразу же вызвала к себе отрицательное отношение Франса. Уже в 1886 г. он критикует эстетические положения Мореаса и Рембо, а в 1888 г. в статьях «Завтра» и «Шарль Морис» дает общий критический обзор символистской литературы. Статья 1889 г. «Символисты» (не вошедшая в сборники «Литературная жизнь») лишена всякой благожелательности. В предисловии ко второй серии «Литературной жизни» (1890) Франс вновь

отчетливо противопоставляет себя и «декадентам» и символистам. Наконец в ряде статей, посвященных отдельным представителям школы (Ж. Мореасу, М. Швобу, М. Барресу, Малларме и др.), Франс, признавая их талант и некоторые разумные реформы в области стихосложения, в то же время подчеркивает вредное влияние символистской литературы на умы молодого поколения.

Прежде всего он отвергает мистические тенденции символистов. Эти «тонкие умы» хотят наполнить поэзию каким-то особым, скрытым смыслом, который представляется Франсу просто бессмыслицей. Он высмеивает «поэзию намека» и объявляет главу символистской школы последователем Платона, поклонником гностиков и кабалистов, — ведь трудно предположить, что Малларме нарочито темен или просто безумен! Произведения Гюстава Кана и Мореаса, Вьеле-Гриффена, Ренэ Гиля и многих других вообще недоступны пониманию, — Франс откровенно заявляет об этом, не желая походить на безмолвных персонажей из андерсеновской сказки о голом короле. Все эти поэты бредят наяву, а потом преподносят читателю свои галлюцинации. Некоторое оправдание получает один только Верлен, хотя и его поэзию Франс называет мистической, большой и извращенной («Поль Верлен», «Мои больницы» и др.).

Сурово осуждает Франс и крайний индивидуализм «новой школы». Символисты намеренно отворачиваются от читателя и нигилистически отрицают культурные традиции. Субъективность искусства, которую в 1880-е гг. так настойчиво утверждал сам Франс, отнюдь не означает для него индивидуализма — презрения к читателю и полного отречения от культурных традиций. Он говорит о бесперспективности символизма: будущее не может принадлежать мистической, непонятной литературе, противопоставившей себя читателю и отвергшей наследие всего предшествующего художественного развития. Его критика декаданса и советы молодым писателям отчетливо раскрывают его позицию в период создания «Литературной жизни» и вместе с тем позволяют предвидеть тот путь, которым он пошел в последующие годы.

В противовес декадансу Франс ратовал за естественность в искусстве, за нерасторжимую связь писателя с природой, за единение художника и читателя. В 1890 г. он решительно выступил и против теории искусства для искусства. Флобер, пи-

сал Франс, глубоко заблуждался, утверждая, что искусство и жизнь несовместимы и что писатель не должен иметь ни религии, ни отечества, ни социальных убеждений. Поэзия возникает из жизни естественно, как дерево, цветок или плод выходят из земли («Идеи Гюстава Флобера»).

В борьбе с нигилистическими тенденциями символистов Франс пришел к проблеме литературной традиции. Он настойчиво утверждает, что отрываться от традиций — значит ставить под угрозу будущее литературы. С этой защитой культурного наследия связана у Франса и столь парадоксально звучащая апология плагиата. Он выступает на защиту плагиата не только потому, что, по его мнению, каждый настоящий, талантливый писатель неизбежно обновляет старые мотивы и сюжеты, но и потому, что в творческих заимствованиях и влиянии одного писателя на другого он видит преемственную связь со всей прежней историей культуры («Апология плагиата»).

Ориентации самого Франса весьма широки. Он высоко оценивает классиков XVII в., основавших французскую литературу «на разуме и вкусе», — статьи «Латинского гения» ярко свидетельствуют об этом. Однако любимыми эпохами Франса всегда оставались греко-римская античность, Возрождение и XVIII в. Как бы ни менялись его воззрения, философы и писатели античности, Ренессанса и Просвещения, с их скептицизмом, презрением к мистике и гуманистическим искусством, полным интереса к «земному» человеку, неизменно вызывали его глубокое восхищение. В культурном богатстве прошлого он увидел то здоровое, гуманистическое начало, которое способно возродить современное искусство, отравленное декадансом. «Харчевня королевы Гусиные Лапы» и «Колодезь святой Клары» — роман о XVIII в. и книга новелл из эпохи раннего итальянского Возрождения — непосредственно выросли из его литературно-критических статей.

В той же связи Франс внимательно изучает народное творчество. Он посвящает ряд статей французским песням и сказкам и с одобрением отзывается о поэтах, вдохновлявшихся фольклором. В искусстве народа он находит искренность и простоту, подлинную живую душу. Фольклорный образ Матушки Гусыни не случайно возникает на страницах «Литературной жизни» («Народные песни старой Франции», «Поэт Бресссы», «Народные сказки и песни Франции» и др.). С глубо-

ким уважением относится Франс и к фольклору других народов («Китайские сказки»). В то же время в творчестве всех крупнейших мастеров слова — будь то Рабле или Шекспир, Мольер или Лафонтен — Франс ищет прежде всего фольклорные истоки.

Большое внимание в «Литературной жизни» уделено вопросам языка и стиля. В борьбе с «чрезмерным хитроумием» символистов Франс особенно горячо отстаивал простоту и ясность литературного стиля. Эта борьба за простой, ясный, классический стиль была для него прежде всего борьбой за ясное, «естественное» содержание творчества, за сохранение рационального характера литературы, от которого отказались декаденты. Франс определял стиль как «бесконечные нюансы мысли» и именно потому критиковал и «темноту» символистов, и толстые романы молодых прозаиков. В «спиралевидных» фразах Л. Энника, в длиннотах и тяжеловесности «Мечты» Золя, в туманном и претенциозном стиле Рони он усматривал прежде всего дефект содержания. «Строй мысли — вот творец стиля, — писал Франс в 1892 г., восхищаясь изящным и строгим стилем Ренана. — Остальное — только причуда, кривлянье и каприз».

Простота стиля, по мнению Франса, является вершиной искусства и требует величайшей изощренности мысли. Он постоянно говорит о глубокой выразительности и индивидуальном своеобразии стиля каждого автора, о соответствии стиля особенностям писателя и неповторимому своеобразию каждого из его произведений. Простой стиль — это стиль гармоничный. Он сложен, но эта сложность неуловима; ему присущ как бы внутренний порядок и «высшая экономия составных частей».

В таком же плане решает Франс и проблему литературного языка. В пристрастии натуралистов к бытовым словам и жаргонным выражениям, в неологизмах и архаизмах символистов он видел прежде всего пороки содержания. Однако, защищая правильный, классический литературный язык, Франс призывал писателей лишь к четкости, логичности языка, но отнюдь не к пуризму. Язык создан народом, и самый изысканный поэт должен сохранять его национальный и народный характер, — эта мысль красной нитью проходит через всю «Литературную жизнь». Франс с неизменным одобрением говорит о писателях, создававших свои произведения на ясном лите-

ратурном языке, с широким использованием народных речевых оборотов. Особенно восхищали его язык и стиль Мопассана, — в его произведениях словно ощущается «вкус родной земли».

Таковы стилистические идеалы Франса. Сам он пишет ясным, простым, изящным и в то же время предельно выразительным языком. Это подлинно французский язык, впитавший в себя классические традиции французской литературы и вместе с тем развившийся из живой, разговорной речи. «Я много слушал, как говорят ремесленники и люди из народа, — писал Франс в своей автобиографии. — Они наши учителя в языке. Они говорят естественно... Другая причина, по которой я, быть может, пишу неплохо, состоит в том, что я никогда не был склонен украшать свою речь и всегда стремился точно выражать свои мысли».

Работая в «Temps», Франс печатал статьи и в других периодических изданиях, а также писал предисловия к различным художественным текстам. По содержанию и стилю они близко примыкают к статьям «Литературной жизни». В предисловии к «Принцессе Клевской» (1889) Франс, порицая рассудочную добродетель героини, восхищается изяществом стиля и мысли г-жи де Лафайет: в ее романе нет «чувствительности», ложной красоты, характеры естественны и психологически правдивы. Предисловие к французскому переводу «Фауста» (1889) — типичная беседа «по поводу» произведения: Франс прославляет поэзию, уводящую читателя в мир мечты, говорит о субъективности художественного восприятия, о право писателя на неограниченную фантазию. Но в более поздней статье о драматурге-сатирике Анри Беке (1890) он уже готов оправдать сатиру, как важный художественный жанр, и признать правду одной из задач искусства. В «Иродиаде» Флобера Франса больше всего привлекает историческая правдивость. Его предисловие к этой повести (1892) поражает эрудицией: это не только изложение легенды об Иродиаде, это серьезный исторический очерк о римских провинциях на рубеже старой и новой эры, об Ироде Великом и его потомках. Франс досконально изучил труды Иосифа Флавия, «Историю Ирода, царя иудейского» Ф. де Сольси, «Жизнь Иисуса» Ренана и др. Но, так же как в статьях «Литературной жизни», здесь нет никакого педантизма, никакой нарочитой фактографии. С большим мастерством воссоздано состояние умов в Галилее — те взрывы рели-

гиозного фанатизма, то непрерывное ожидание чуда, на основе которых возникала легенда об Иисусе Христе. Задачей исторического и литературного исследования Франс всегда считал воссоздание психологии — общества или индивида. Однако начиная уже с 1890-х гг. он сочетает психологическую проблему с социальной характеристикой эпохи. Беспредельный фанатизм иудеев, злодеяния Ирода Великого, кровавые замыслы Иродиады показаны как результат сложнейших социально-исторических процессов периода римского господства в Иудее. О самой повести Флобера — лишь краткая библиографическая справка и столь же краткий восторженный отзыв.

30 апреля 1893 г. Франс прекратил работу в «Temps», — его увлекли другие интересы. В «Echo de Paris» уже появились первые публицистические хроники «Суждений господина Жерома Куаньяра», а еще через два года Франс приступил к написанию статей, из которых выросла «Современная история». К работе штатного критика он больше не возвращался. Но все же и в последующие годы он печатал для разных изданий литературные очерки и заметки.

Эти поздние работы Франса во многом отличны от «Литературной жизни». К началу XX в. прежний «благожелательный скептик» окончательно превратился в публициста, активного общественного деятеля, страстно обличавшего Третью республику, империалистические войны, клерикализм. В соответствии с этим эволюционировали и его литературные взгляды. Тот перелом в его литературной позиции, который намечился в начале 1890-х гг., пришел теперь к своему завершению. От многих своих эстетических положений Франс отказался совсем, другие под его пером приобрели новый смысл. В его поздних статьях и выступлениях уже нет деклараций о благотворности «идеализма», о поэзии лжи и бесполезности литературы. Автор «Современной истории», повести «Кренкебель», романа «На белом камне» видел в искусстве важнейший общественный долг, а в писателе — борца, призванного вести народы «к лучшим временам». На празднестве в честь Дидро Франс прославляет Дидро как «друга народа», внушавшего людям уважение к труду и веру в счастливое, светлое будущее (1900). Он произносит речь о Гюго — писателе и человеке, который, пройдя через все заблуждения, нашел подлинный путь к народу и в 1850 г. поднялся на защиту молодой респуб-

лики (1902). На могиле Золя Франс говорит о деле Дрейфуса и называет Золя «совестью человечества», человеком, оказавшим своим мужеством честь Франции и всему миру (1902).

Все чаще стирается грань между работами литературными и публицистическими. Статью о Толстом (1908) Франс печатает в газете «Humanité». В предисловии к книге П.-Л. Кушу «Мудрецы и поэты Азии» (1921) мысли о восточной философии и поэзии переплетаются с резким осуждением империалистических войн, приносящих народам неисчислимые бедствия, а капиталистам — огромные прибыли. Франс с презрением упоминает о разнузданной кампании, поднятой английскими империалистическими кругами против президента Трансвааля Крюгера. В очерки Франса вливаются новые, политические темы.

Но, конечно, во многих отношениях поздние работы Франса сохранили непосредственную связь с его прежними статьями. Преклонение перед античной традицией и великим наследием всей мировой и, в первую очередь, французской литературы, глубокий интерес к народному творчеству как к неисчерпаемому источнику подлинной поэзии, борьба за чистоту литературного языка и отвращение к декадансу во всех его проявлениях — все это в равной мере присуще всем этюдам и очеркам Франса, независимо от времени их написания и затронутых в них тем. Многие из работ последних десятилетий посвящены современным писателям и вновь возникавшим литературным явлениям; другие — далекому прошлому. Но пишет ли Франс о Марселе Прусте, об Альфонсе Доде, Жераре де Нервале или Горации, о царице Клеопатре или о Гераклите Эфесском, — лучшие традиции «Литературной жизни» отчетливо сохраняются и здесь. Навсегда сохранилась у Франса и выработанная в прежние годы свободная, импрессионистическая манера письма, ненависть к педантизму и всякого рода литературным штампам и догмам.

Среди последних работ Франса наиболее значительны лекции о Рабле и большой этюд о Стендале. Личность и творчество Рабле всегда интересовали Франса, однако в различные периоды своей жизни он понимал Рабле по-разному. В 1880-е гг. он видел в авторе «Гаргантюа и Пантагрюэля» лишь благожелательного скептика, чуждого всякого фанатизма, — скептика со смеющейся, свободной и широкой натурой («Рабле»). В 1909 г., в лекциях о Рабле, прочитанных в Буэнос-Айресе, Франс глубже характеризовал критическую сущность и под-

линно народную основу творчества великого французского гуманиста<sup>1</sup>.

Этюд о Стендале (1920) можно было бы назвать «психологическим портретом» — образцом жанра, который наметился уже в некрологе, посвященном Альфонсу Доде (1897). О художественных произведениях Стендаля Франс упоминает как бы мимоходом. Его интересует прежде всего человек — Анри Бейль, с его исканиями и увлечениями, ненавистью к реакции, отвращением к глупцам и острыми приступами тоски в далекой Чивита-Веккье. Некоторые взгляды Стендаля на музыку, живопись, архитектуру Франс решительно не приемлет. Основной задачей искусства Стендаль считал выражение чувств и изображение страстей, — эта точка зрения представляется Франсу глубочайшим заблуждением. Он с неодобрением отзывается и о его стиле. И все же статья проникнута уважением и симпатией к Стендалю, который всегда и во всем был искренен и правдив. В известной мере этот этюд напоминает очерки «Латинского гения». Однако здесь нет никаких биографических сведений, никаких «источников», а психологический анализ значительно глубже, чем в ранних работах. Политические взгляды Стендаля рассмотрены подробно и в неразрывной связи с эпохой — наполеоновскими войнами, реакцией Бурбонов, годами Июльского режима. Поведение, взгляды, психология Стендаля словно вырастают из идейной и политической борьбы его времени.

В статьях «Литературной жизни» Франс часто говорил о пользе журналистской работы для формирования характера и стиля писателя. И действительно, многолетняя работа критика, рассчитанная на самую широкую аудиторию, заставляла его находить для выражения каждой мысли предельно краткую, точную, единственно возможную форму. Статьи и заметки Франса являются подлинно художественными произведениями. Глубокое проникновение в психологию писателей, пронизательные, хотя и краткие характеристики произведений, прекрасное понимание прошедших эпох и современного литературного процесса, эрудиция без педантизма, изящный, свободный, отточенный стиль, адекватно передающий тончайшие оттенки мысли, — такова познавательная и художественная ценность многочисленных критических работ Франса.

---

<sup>1</sup> Лекции о Рабле вошли в состав тома VII настоящего Собрания сочинений А. Франса. (*Прим. ред.*)



## ИЗ ПЕРВОЙ СЕРИИ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ»

Первая серия «Литературной жизни» вышла в свет в издательстве Кальман-Леви 29 октября 1888 г. Том состоит из предисловия и 33-х статей, первоначально опубликованных в газете «Temps» с 3 октября 1886 г, по 4 декабря 1887 г.

### Гамлет во Французской Комедии

Впервые напечатано 3 октября 1886 г. (в отделе хроники «Жизнь в Париже»). Возобновление «Гамлета» на сцене Французской Комедии в 1886 г. (после неудачной постановки 1847 г.) явилось крупным событием театральной жизни, так как театр все еще ограничивался французским, преимущественно классическим, и античным репертуаром. Текст Шекспира (в вольном переводе А. Дюма-отца и П. Мериса) был дополнен сценой любовного объяснения между Гамлетом и Офелией. Критики отмечали пышные декорации и костюмы, а также «французскую» (декламационную) манеру игры. Трагедия имела огромный успех (в значительной мере благодаря блестящей игре Мунэ-Сюлли) и уже в 1886 г. выдержала более сорока представлений. А. Франс присутствовал на премьере 28 сентября 1886 г.

Стр. 10. ...*автор второго «Жерфо», г-н Моро.* — «Жерфо» — комедия Эмиля Моро, поставленная в театре Водевиль в 1886 г. Пьеса значительно отличается от своего источника (первого «Жерфо») — романа французского писателя Шарля де Бернара (1838). Герой, превращенный в пессимиста и злодея, в финале пьесы жестоко наказан.

...*в них нарядил вас Делакруа...* — Речь идет о тринадцати литографиях и четырех картинах Э. Делакруа, воспроизводящих эпизоды из трагедии «Гамлет».

*Мунэ-Сюлли Жан* (1841—1916) — французский трагический актер классической школы, исполнявший центральные роли в трагедиях Шекспира.

## Ги де Мопассан и французские рассказчики

Впервые напечатано 13 февраля 1887 г. Статья написана в связи с окончанием публикации в газете «Gil Blas» романа Мопассана «Монт-Ориоль» (6 февраля 1887 г.).

Стр. 13. *Фаблио, лэ и моралите, соти* — популярные жанры французской средневековой литературы.

*Поль Арен* (1843—1896) — французский (провансальский) поэт и писатель.

Стр. 15. «*Маленький Жан из Сентре*» (изд. 1517) — роман французского писателя Антуана де Ла Сая (ок. 1388 — после 1462), в котором рыцарская идиллия заканчивается бытовой картинкой в духе фаблио. Здесь высмеян богатый аббат.

*...история славного деревенского юре, нежно любившего свою собаку.* — Рассказанная Франсом новелла восходит к фаблио французского поэта Рютбефа (ок. 1230—1285) «Завещание осла».

Стр. 17. *Пиль Шарль-Анри* (1844—1897) — французский живописец и график; иллюстрировал произведения Гюго, Мюссе, Скаррона и др.

«*Пересуды в доме роженицы*» (изд. 1622) — анонимный сборник памфлетов, сатирически рисующий нравы различных кругов французского общества.

Стр. 20. *Франсуа Копте* (1842—1908) — французский поэт, примыкавший к группе «Парнас». В конце жизни перешел в лагерь открытой политической реакции.

## По поводу Дневника Гонкуров

Впервые напечатано 20 марта 1887 г.

Стр. 21. *Справедливо говорит у поэта голубь...* — Цит. строки из басни Лафонтена «Два голубка».

Стр. 22. *...рассказывать о маленьком лимузинце, читавшем «Георгики»...* — В первых книгах «Записок отца, предназначенных для обучения детей» (1792) Ж.-Ф. Мармонтель, уроженец французской провинции Лимузен, автор философских романов «Велизарий» и «Инки», описал свое собственное детство.

«Георгики» — дидактическая поэма Вергилия, воспевающая земледельческий труд и содержащая идиллическую картину сельской жизни.

Стр. 23—24 *...народ, добрый от природы, в течение трех дней убивал в тюрьмах узников...* — Речь идет о «сентябрьских казнях» (2—5 сентября 1792 г.) во время французской революции, то есть о стихийно начавшейся народной расправе с заключенными в тюрьмы контрреволюционерами. Франс считал Руссо ответственным за революционный террор и постоянно полемизировал с его концепцией доброго «естественного» человека.

Стр. 24. *...и в образе Ренэ в «Начезах» и в Ренэ из «Амелии»...* — Персонаж по имени Ренэ фигурирует в двух произведениях Шатобриана: в поэме в прозе «Начезы» (изд. 1826) и в повести «Ренэ» (1802), героиней которой является сестра Ренэ Амелия.

Стр. 26. *...2 декабря 1851 года, в день выхода в свет их первой книги...* — Речь идет о первом романе Гонкуров «В 18... году».

#### Леконт де Лиль во Французской Академии

Впервые напечатано 27 марта 1887 г. Эта и следующая статьи написаны Франсом по поводу заседания Французской Академии 31 марта 1887 г., на котором Леконт де Лиль, избранный членом Французской Академии в 1886 г., должен был, согласно статуту, чествовать память своего предшественника В. Гюго (умершего 22 мая 1885 г.). С ответной речью должен был выступить А. Дюма-сын, академик с 1874 г.

Стр. 32. *...король с его рыцарями, ведомые простой пастушкой.* — Речь идет о подвиге Жанны д'Арк.

Стр. 33. *Труверы* — средневековые поэты-певцы Северной Франции.

Стр. 35. *Майя* — в индийской религии — иллюзия как космическое начало.

Стр. 36. *...Багават-Гита Кунасен, Инатия, Ниобья... Химена...* — мифологические и исторические персонажи, фигурирующие в «Античных поэмах» (1852) и «Варварских поэмах» (1862) Леконта де Лилия.

На набережной Малаке. Г-н Александр Дюма и  
его речь

Впервые напечатано 3 апреля 1887 г. См. прим. к статье  
«Леконт де Лиль во Французской Академии».

Стр. 43. *Это был в действительности превосходный король...* — Реабилитации шотландского короля Макбета (1040—1057), изображенного Шекспиром в виде честолюбца и узурпатора, Франс посвятил специальную статью в «Temps» («Истинный Макбет», 3 марта 1889 г.). Аналогичная характеристика Макбета — в рассказе «Семь жен Синей Бороды, согласно подлинным документам» (1908).

Стр. 44. *...как о королеве Берте...* — Королева Берта (VIII в.) — жена короля франков Пипина и мать Карла Великого, жизнь которой окружена легендами.

Стр. 45. *...восторгов, бушующих вот уже пятнадцать лет.* — Речь идет о последних, проведенных во Франции, пятнадцати годах жизни В. Гюго (1870—1885), в течение которых его популярность непрерывно возрастала.

#### Б а л ь з а к

Впервые напечатано 29 мая 1887 г.

Стр. 47. *Софокл был прав...* — Намек на трагическую участь царя Эдипа, героя одноименной трагедии Софокла (V в. до н. э.).

Стр. 49. «*Эмиль, или О воспитании*» (1762) — педагогический роман Ж.-Ж. Руссо, в котором автор, изображая «естественное» (близкое к природе) воспитание Эмиля, критикует цивилизацию классового общества, развращающего доброго по природе человека, и прославляет первобытное, «естественное» состояние.

Стр. 51. *...Вапро нового типа...* — Франс имеет в виду «Универсальный словарь современников» (1858), составленный Луи-Гюставом Вапро (1819—1906).

Стр. 52. *Жюль Сандо* (1811—1883) — писатель, восхвалявший буржуазную мораль.

## «Земля»

Впервые напечатано 28 августа и 4 сентября 1887 г. Статья представляет собою отклик Франса на «Манифест пяти», опубликованный в газете «Figaro» 17 августа 1887 г. группой писателей-натуралистов по поводу романа Золя «Земля» и направленный против Золя как главы «натуралистической школы». Аналогичные статьи о «Земле» Франс напечатал в «Univers illustré» и «La Jeune France» (сентябрь 1887 г.). В дальнейшем авторы «Манифеста» (за исключением П. Бонетена) отказались от своих упреков и назвали декларацию «ошибкой молодости».

Стр. 55. *...совершили по отношению к нему грех Хама.* — Согласно библейской легенде, Хам, сын патриарха Ноя, осмелел своего отца, который в опьянении уснул обнаженным; братья же Хама, Сим и Иафет, почтительно прикрыли Ноя одеждой.

Стр. 56. *Бонетен... написал роман...* — Речь идет о романе П. Бонетена «Шарло забавляется» (1883), получившем скандальную известность.

*«Заведение Телье»* — публичный дом, описанный в одноименном рассказе Мопассана (1881).

*...вроде Ирода, изображенного Гюставом Моро...* — Имеется в виду картина Г. Моро «Саломея, несущая голову Иоанна Крестителя», написанная на библейский сюжет.

Стр. 64. *...что в России запрещен перевод «Земли».* — В 1887 г. царская цензура запретила распространение в России французского издания «Земли», усмотрев в романе места, «в которых автор в цинических выражениях описывает разврат действующих лиц» (рапорт № 8288). Запрещение было снято лишь в 1906 г. Роман был запрещен и в Германии.

## Мысли перед возвращением в город. Земля и язык

Впервые напечатано 9 октября 1887 г. Статья написана в местечке Капиан (Жиронда), где Франс провел сентябрь и начало октября 1887 г. в загородной усадьбе своего друга г-жи де Кайаве.

Стр. 67. ...первыми выкормышами Волчицы. — Согласно легенде, основатели Рима, братья Ромул и Рем, были вскормлены волчицей.

Стр. 70. *Тератология* — наука, изучающая врожденные уродства отдельных органов и целых организмов.

...Брунетто Латини считал сладчайшим из всех... — Флорентинец Брунетто Латини написал свой энциклопедический трактат «Сокровищница» (ок. 1265) по-французски, ссылаясь на то, что «французский язык наиболее приятен и доступен для всех».

### Г-н Эрнест Ренан — историк христианства

Впервые напечатано 23 октября 1887 г. Франс посвятил Э. Ренану, которого считал одним из своих учителей, ряд восторженных статей и выступлений, вошедших в сборники «Литературная жизнь» и «К лучшим временам». Настоящая статья написана к моменту выхода в свет 1-го тома книги Ренана «История израильского народа» (1887).

### Жорж Санд и идеализм в искусстве

Впервые напечатано 6 ноября 1887 г. под названием «Роман прежде и теперь».

Стр. 80. ...во власти призраков пещеры... — В своем основном философском труде «Новый Органон» (1620) английский философ Бэкон отмечал в идеологии средневековья ряд ложных представлений («призраков») о природе, препятствующих развитию науки, среди них — «призраки пещеры». Однако материалистическая философия Бэкона и его теория познания имеют принципиально иной смысл, чем проникнутые агностицизмом рассуждения Франса.

...книгу г-на Виктора Брошара... — Речь идет о книге В. Брошара «Греческие скептики» (1887). Франс посвятил ей специальную статью в «Temps» («О скептицизме», 22 мая 1888 г.).

Стр. 83. *Арвед Барин* — псевдоним французской писательницы и литературного критика Шарль Венсан (1840—1908).

## ИЗ ВТОРОЙ СЕРИИ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ»

Вторая серия «Литературной жизни» вышла в свет в издательстве Кальман-Леви 3 марта 1890 г. Том состоит из предисловия и 37-ми статей, первоначально опубликованных в «Temps» с 1 мая 1887 г. по 24 февраля 1889 г.

### Предисловие

Предисловие ко второй серии «Литературной жизни», написанное при подготовке ее к печати и содержащее изложение литературно-критических взглядов Франса, завершает цикл его критических, обобщающих статей 1886—1889 гг. о символистах и «декадентах» (старшее поколение символистов). В дальнейшем Франс посвящал статьи лишь отдельным представителям символистской школы.

Стр. 84. *...з-н Жорж Ренар... указал на некоторые из них...* — Франс имеет в виду статью писателя, мелкобуржуазного социалиста Ж. Ренара «Г-н Анатоль Франс», опубликованную в журнале «La Nouvelle Revue» (сентябрь—октябрь 1889 г., т. 60) и затем перепечатанную в книге Ренара «Князя молодой критики» (1890). Сохраняя благожелательный тон, Ренар осуждал Франса за дилетантство, философский идеализм и консервативные политические взгляды.

Стр. 85. *...по словам Фурье... будет заканчиваться глазом или когтем.* — Франс искаженно трактует учение Фурье о будущей «социальной гармонии».

*Блажен, кто, как Улисс, прекрасный путь свершил!* — Начальная строка из сонета французского поэта Жоашена дю Белле (1522—1560).

Стр. 87. *...книги Сведенборга и Аллана Кардека...* — Сведенборг Эммануил (1688—1772) — шведский мистик. Аллан Кардек (настоящее имя Ипполит Ривель, 1804—1869) — французский писатель, мистик и спирит, автор «Книги духов» и «Книги медиумов».

*...юный автор «Трактата о слове»...* — Ренэ Гиль в «Трактате о слове» (1885) утверждал, что каждый гласный звук имеет определенную цветовую окраску и вызывает особое цветное ощущение. Однако приведенная Франсом строка

принадлежит не Р. Гилю, а А. Рембо (сонет «Гласные», 1870), с которым Гиль расходился в определении цвета звуков. По-видимому, Франс, иронизируя над символистской теорией «окрашенных звуков», ошибается здесь и в дальнейшем намеренно.

Стр. 88. *Сури* Жюль-Огюст (1842—1915) — французский физиолог, философ-позитивист.

...*в природе есть множество вещей...* — слова Гамлета, обращенные к его другу Горацио (действ. 1, сц. 5).

Стр. 89. ...*гимны старца Симеона...* — Согласно евангельской легенде, благочестивый старец Симеон, увидев перед смертью новорожденного Иисуса, восславил бога и грядущий день и предсказал будущее спасение человечества.

...*весь опасный вздор, который она посеяла в умах большинства моих соотечественников...* — Речь идет о Всемирной выставке в Париже 1889 г., которую многие современники Франса рассматривали как высший предел технического прогресса и цивилизации.

Стр. 91. *Анита из Тегеи* (III в. до н. э.) — древнегреческая поэтесса, автор небольших стихотворений в элегическом размере.

## Гюстав Флобер

Впервые напечатано 1 мая 1887 г.

Стр. 93. *Рольф*. — Франс имеет в виду вождя норманских пиратов, первого герцога Нормандии Роллона (ум. 931).

Стр. 93—94. ...*давил каблуками мозги муниципальных чиновников города Руана*. — В конце 1871 г. Флобер опубликовал гневное «Письмо городскому совету Руана», в котором резко нападал на руанских обывателей, отказавшихся поставить памятник его умершему другу — поэту Луи Буйе.

Стр. 94. *Сен-Марк Жирарден* (1801—1873) — литературный критик, представитель ненавистной Флоберу «школы здравого смысла», прославлявшей буржуазный строй и мешанскую нравственность.

...*2-на Тьера, повинного...* в том, что он поверг во прах отряд гренадеров... — В своих исторических трудах Тьер постоянно пользовался устаревшими, высокопарными оборо-



тами, что весьма раздражало Флобера. В данном случае речь идет об описании битвы при Ватерлоо в книге Тьера «История Консульства и Империи».

Стр. 97. *Они обращены к поэтессе, которая... внушила... любовь одному красноречивому философу.* — Речь идет о письмах Флобера к французской поэтессе и писательнице Луизе Коле (1808—1876). «Красноречивый философ» — Виктор Кузен.

### Ги де Мопассан, критик и романист

Впервые напечатано 15 января 1888 г.

Стр. 100. *...рассуждения об эстетике на тридцати страницах...* — Франс имеет в виду очерк Мопассана «О романе», первоначально опубликованный в «Литературном приложении» к газете «Figaro» (7 января 1888 г.) и затем перепечатанный в качестве предисловия к роману «Пьер и Жан» (1888).

### Мериме

Впервые напечатано 19 февраля 1888 г. Поводом к написанию статьи явился выход в свет (1888) нового издания книги графа д'Оссонвиля о Мериме (первое издание 1879),

Стр. 107. *...его переписку с Паницци и обеими Незнакомками...* — В феврале 1881 г. были опубликованы письма Мериме к итальянскому библиофилу Антонио Паницци, который с 1837 г. служил хранителем в лондонском Британском музее. Первая Незнакомка — близкая приятельница Мериме, французская писательница мадемуазель Женни (Жанна-Франсуаза) Дакэн, переписывавшаяся с Мериме с 1831 по 1870 г. В ноябре 1873 г. она опубликовала письма к ней Мериме под названием «Письма к Незнакомке» (с предисловием И. Тэна). В 1875 г. вышли в свет «Письма к другой Незнакомке» (польской графине Лизе Пшедзецкой), охватывающие период с 1867 по 1870 г.

...дочери одного достоправного воина... — Речь идет о письмах Мериме к мадам де Боленкур, дочери графа де Каstellана (1788—1862), отпрыска знатного провансальского рода, маршала Франции с 1852 г. Цитата — из вышеуказанной книги д'Оссонвиля.

Стр. 109. ...после того, как со мной случилось несчастье. — Мериме намекает на разрыв отношений со своей близкой приятельницей Валентиной Делессер.

### Любовь к книгам

Впервые напечатано 4 марта 1888 г. В переработанном виде очерк включен в рассказ «Господин Деба» («Echo de Paris», 15 сентября и 18 августа 1896 г.), вошедший в книгу «Пьер Нозьер» (1899).

Стр. 114. ...два стареньких священника — два любителя книг... — Речь идет о двух знакомых Франсу священниках Треву и Ле Блатье, о которых он повествует в рассказе «Господин Деба».

*Беги тиши лесов и их глубокой тени.* — Строка из стихотворной новеллы Лафонтена «Колокольчик» (1685).

Стр. 116. ...что книга — янсенистская. — Янсенизм — реформаторское течение в католической церкви XVII—XVIII вв., направленное против папства, церковной иерархии и клерикализма. Янсенисты отрицали за человеком свободную волю, развивали учение о благодати и божественном предопределении; проповедовали скромность в быту и суровость нравов. Центром янсенизма был монастырь Пор-Рояль, превратившийся в XVII в. в очаг борьбы с иезуитами.

«Подражание Христу» — сочинение немецкого мистика и аскета Фомы Кемпийского (1379—1471).

...и книге Ангела... — Франс имеет в виду «книгу за семью печатями», упоминаемую в Апокалипсисе. Цит. строки из католического гимна «День гнева».

Стр. 117. *Арно Антуан* (1612—1694) — богослов-янсенист, непримиримый противник иезуитов.

Стр. 118. *Лестница Латюда.* — 25 февраля 1756 г. авантюрист Жан-Анри Латюд (1725—1805), заключенный в 1749 г. в Басти-

лию за интриги против фаворитки Людовика XV маркизы де Помпадур, бежал из тюрьмы при помощи самодельной деревянной лестницы и веревки с узлами; вскоре он был вновь арестован.

Стр. 119. *«Гирлянда Жюли»* (1638) — сборник мадригалов, составленный посетителями литературно-аристократического салона маркизы де Рамбулье в честь ее дочери Жюли д'Анжен.

Стр. 120. *«Роман о Розе»* — аллегорический роман, написанный в XIII в. Гильомом де Лорисом и Жаном де Меном.

*«Письма к провинциалу»* (1656—1657) — сочинение Паскаля, направленное против ордена иезуитов.

### З а в т р а

Впервые напечатано 5 августа 1888 г.

Стр. 121. *В связи с подготовляемой мною книгой...* — Речь идет о книге «Завтра. Вопросы эстетики» (1888), в которой Ш. Морис излагает принципы и теорию символистской поэзии. В 1889 г., после переиздания книги под названием «Литература сегодняшнего дня» (1889), Франс откликнулся на нее остро критической статьей «Символисты» («Temps», 12 мая), не вошедшей в серию «Литературная жизнь».

Стр. 123. *Лига* — Католическая лига, основанная во Франции в 1576 г., во время гугенотских войн.

Стр. 124. *Хосе-Мария де Эредиа* (1842—1905) — французский поэт, автор сонетов; один из видных представителей группы «Парнас», так же как поэт, драматург и романист Каэтуль Мендес (1841—1909).

Стр. 125. *...одаренного талантом могучим, но ограниченным...* — Речь идет о Золя, к которому в 80-е гг. Франс относился резко отрицательно.

*...нового кандидата во Французскую Академию...* — Золя впервые выдвинул свою кандидатуру в Академию в августе 1888 г., и Франс иронически писал об этом в «Univers illustré» (11 августа) и в «Temps» (21 октября). В дальнейшем (1889 и 1892 гг.) он отзывался о кандидатуре Золя весьма сочувственно. Все попытки Золя быть избранным в Академию не имели успеха.

*Меданская школа.* — Критики называли так группу после-

дователей Золя (по загородному дому Золя в Медане, близ Парижа, где собирались молодые писатели-натуралисты, создавшие сборник «Вечера в Медане», 1880).

Стр. 126. ...*поэму Ликофрона*... — Поэма Ликофрона (III или II в. до н. э.) «Александра» («Кассандра») была крайне сложна и запутанна.

Стр. 127. *Октав Фейе* (1821—1890) — французский писатель периода Второй империи, автор сентиментальных, мелодраматических романов, популярных у буржуазного читателя.

Стр. 130. ...*по поводу книги г-на Жюль Леметра*. — Франс имеет в виду свою статью о книге рецензий Ж. Леметра «Театральные впечатления» («Г-н Жюль Леметр», «Temps», 25 марта 1888 г.).

## Шарль Морис

Впервые напечатано 19 августа 1888 г.

Стр. 133. *Клермонт* — замок поблизости от Лондона, где жил низложенный после февральской революции 1848 г. французский король Луи-Филипп Орлеанский.

Стр. 136. *Бернгейм* Ипполит (1837—1919) — французский врач, ученый; так же как и Ж.-М. Шарко, занимался проблемами гипноза.

Стр. 137. *Вот сонет об Эдгаре По*... — Ниже приводится сонет Малларме «Могила Эдгара По», предпосланный в качестве эпиграфа к его прозаическому переводу поэм По (1888). Малларме ломал синтаксис французского языка и отвергал знаки препинания, так что понять логический смысл его стихотворений было весьма нелегко.

Стр. 139. ...*Жан Мореас составлял для себя лексикон устаревших слов*... — Жан Мореас в своей статье-манифесте («Figaro», 18 сентября 1886 г.) призывал поэтов-символистов возродить устаревший литературный язык и стиль XVI в. Воплощением этой программы явился сборник его стилизованных стихотворений «Кантилены».

## Гастон Парис и французская средневековая литература

Впервые напечатано 30 сентября 1888 г. Статья написана в Капиане, где Франс провел сентябрь и начало октября.

Стр. 143. *Переход от церкви торжествующей к церкви воинствующей...* — Согласно католической фразеологии, «церковь торжествующая» означает праведников, вкушающих райское блаженство; «церковь воинствующая» — верующих, которые еще пребывают в земной жизни.

Стр. 145. *...легенда о Жонглере Богоматери.* — Франс обработал эту легенду в новелле «Жонглер богоматери», вошедшей в сборник «Перламутровый ларец» (1892).

Стр. 149. *Вениамин* — по библии, последний и любимый сын патриарха Иакова.

### Лексикон

Впервые напечатано 7 октября 1888 г. под названием «Новый словарь» А. Газье». Статья написана в Капиане.

Стр. 153. *...в лексикон Фюреттера, или Треву, или же в нашего доброго Литтре...* — «Всеобщий словарь, содержащий все слова французского языка, как древние, так и новые» А. Фюретьера был издан в 1690 г., посмертно. «Словарь Треву» (1704) — энциклопедический словарь французского языка, напечатанный в городе Треву коллегией иезуитов. «Словарь французского языка» Э. Литтре (1863—1877), несмотря на устаревшую терминологию и фантастическую этимологию слов, до сих пор является одним из основных лексикографических пособий.

Стр. 154. *«Сад греческих корней»* (1657) — учебник греческого языка, составленный отшельниками Пор-Рояля К. Лансело и Леметром де Саси для учеников начальных школ, учившихся янсенистами в 1638—1660 гг. Корни греческих слов, размещенные в алфавитном порядке, в стихах, должны

были заучиваться мнемоническим способом. Несмотря на трудность книги, ее использовали во французских коллежах вплоть до 1860-х гг.

Стр. 155. ...ученика г-на Лансело, г-на Леметра и г-на Амана... — То есть ученика янсенистов, «отшельников» Пор-Рояля.

## Роман и магия

Впервые напечатано 13 января 1889 г.

Стр. 158. *Мериме рассказал о приключении Дон-Жуана...* — Речь идет о новелле Мериме «Души чистилища» (1834).

Стр. 159. ...*«Золотистой косы», о которой мы уже говорили...* — Франс имеет в виду свою одноименную рецензию на роман Ж.-О. Тьерри от 25 ноября 1888 г., вошедшую во вторую серию «Литературной жизни».

Стр. 162. *Антология.* — Имеется в виду «Латинская антология», составленная в Африке в VI в., но содержащая произведения разного времени (на латинском языке).

Стр. 163. ...*мужественная печаль... которой проникнут первый афоризм Гиппократ.* — Франс имеет в виду изречение из медицинского трактата Гиппократ «Афоризмы»: «Жизнь коротка, искусство врачевать длительно, случай скоротечен, экспериментирование опасно, умозаключение дается с трудом...»

*Палингенезия* (греч. «возрождение») — мистическое учение, согласно которому живые существа после своей смерти возрождаются в новых, более совершенных формах.

## ИЗ ТРЕТЬЕЙ СЕРИИ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ»

Третья серия «Литературной жизни» вышла в свет в издательстве Кальман-Леви 13 мая 1891 г. Том состоит из предисловия и 33-х статей, первоначально опубликованных в «Temps» с 31 марта 1889 г. по 11 мая 1890 г.

## Предисловие

Впервые напечатано 25 января 1891 г. Это предисловие является ответом на статью Ф. Брюнетьера «Импрессионистическая критика» («Revue des Deux Mondes», 1 января 1891 г.), в которой Брюнетьер, ссылаясь на «незыблемые» законы официальной буржуазной морали, подверг резкой критике литературно-эстетические взгляды Франса.

Стр. 164. *Поль Дежарден* (род. 1859) — французский писатель-моралист, один из идеологов неокатолической реакции во Франции конца XIX в.

Стр. 165. «*Что знаю я?*» — Формула Монтеня, провозглашавшая право человека на сомнение в истинности догматов католической религии и схоластики, но одновременно заключавшая в себе недоверие к человеческому разуму и науке.

Стр. 166. *Разве Никола, наш обидчик учитель, не сказал...* — Речь идет о Никола Буало-Депрео. Цит. строка — из поэмы «Поэтическое искусство» (песнь III).

Стр. 167. *...наставником Высшей Нормальной школы...* — Имеется в виду курс лекций, прочитанный Брюнетьером в 1889 г. и опубликованный в 1890 г. под названием «Эволюция жанров в истории литературы». Развивая принципы позитивистской методологии И. Тэна, Брюнетьер пытался применить к истории литературы теорию эволюции Дарвина.

*Он отвергал идеи Дарвина во имя непреложной морали.* — Франс имеет в виду статьи Брюнетьера от 1 июля и 1 сентября 1889 г. («По поводу «Ученика» и «Проблемы морали»), Опубликованные им в «Revue des Deux Mondes» в ответ на полемические статьи Франса из цикла «Мораль и наука» («Temps», 23 июня и 7 июля 1889 г.). Возражая Франсу, Брюнетьер вслед за автором «Ученика» Полем Бурже утверждал, что один из героев романа, последователь Дарвина, философ-детерминист Сикст погубил вредными «материалистическими» идеями своего молодого ученика Робера Грелу.

Стр. 170. *...подобно тому старому нюрнбергскому ученому...* — Речь идет о докторе Секстентале, персонаже мистической книги Ж. Пеладана «Победа мужа» (1889). Франс посвятил этой книге критическую статью в «Temps» («Жозефен Пеладан», 5 января 1890 г.).

Стр. 173. *Морис Баррес* (1862—1923) — французский писатель, идеолог империалистической реакции. В раннем творчестве был связан с эстетикой символизма.

...не в пример *Пти-Жану*... — Пти-Жан — персонаж из комедии Расина «Сутяги» (1668), привратник в доме судьи Дандена. Выступая в качестве истца-прокурора в судебном процессе над собакой, съевшей каплуна, он запомнил лучше всего начало составленной для него высокопарной обвинительной речи (д. III, сц. 3).

### Гросвита в театре марионеток

Впервые напечатано 7 апреля 1889 г. С творчеством саксонской поэтессы X в. монахини Гросвиты Франс впервые познакомился во французском переводе 1845 г., а в 1888 г. смотрел ее драмы «Пануфтий» и «Авраам» в постановке театра марионеток Синьоре (Пти-Театр). Первая из них, воспроизводящая раннехристианскую легенду об александрийской куртизанке Таис и коптском монахе Пафнутии, явилась одним из источников романа «Таис», который Франс завершал весной 1889 г., в момент написания статьи о Гросвите. Приведенную в статье притчу о св. Аврааме Франс позднее включил во вторую главу «Суждений господина Жерома Куаньяра» (1893).

Стр. 175. ...за сестру *Елены и небесных Близнецов*. — То есть за царицу Клитемнестру. Пьеса, которую смотрел Франс, — трагедия Леконта де Лиля «Эриннии», впервые поставленная на сцене Одеона в 1873 г.; актриса, исполнявшая роль Клитемнестры, — Мари Лоран.

Стр. 177. *Людовик Заморский* — французский король Людовик IV.

Стр. 179. *Робер Арбриссельский* (ок. 1047—1117) — французский монах, основавший женский монастырь в Фонтевро.

*Амелина*. — 15 сентября 1889 г. Франс напечатал в «Temps» статью «Египетский монах» о книге Э.-К. Амелино «Египетские монахи. Жизнь Шнуди» (1889).



## Р а б л е

Впервые напечатано 21 апреля 1889 г.

Стр. 186. *Серен* — герой одноименной философской повести Ж. Леметра (1886), римский патриций, человек, проникнутый глубоким скептицизмом. В статье о «Серене» («Temps», 12 декабря 1886 г.) Франс отмечал близость мироощущения Серена настроениям своих современников.

*...дones им на Рабле...* — Этот поступок совершил не известный гуманист Анри Эстьен, а его отец, книгоиздатель Робер Эстьен (1499—1559).

Стр. 187. *...продолжение одной народной книги...* — Первая (по времени написания) книга романа Рабле («Страшные и ужасающие деяния и подвиги достославного Пантагрюэля, короля дипсодов, сына великого великана Гаргантюа», 1533) была написана как непосредственное продолжение появившейся незадолго перед тем народной (лубочной) книги «Великие и неощенимые хроники о великом и огромном великане Гаргантюа».

Стр. 189. *...сравнить с Переттой в коротенькой юбке.* — Франс использует образ из басни Лафонтена «Молочница и кувшин».

## К и т а й с к и е с к а з к и

Впервые напечатано 28 июля 1889 г.

Стр. 194. *Метемпсихоз* (греч. «переселение душ») — религиозно-мистическое учение о переходе души из одного организма (после смерти его) в другой.

*Даосистские божки.* — Даосизм (наряду с конфуцианством и буддизмом) — одна из трех распространенных в Китае религий.

Стр. 195. *...с милетским рассказом—* — Речь идет о «Матроне Эфесской», вставной новелле в роман Петрония (I в.) «Са-

тирикон». Источником Петрония явилась одна из эротических новелл не дошедшего до нас сборника «Милетские рассказы», составленного в конце II в. до н. э. Аристидом из Милета. Лафонтен обработал этот сюжет в стихотворной новелле «Матрона Эфесская».

## Народные песни старой Франции

Впервые напечатано 4, 14 и 18 августа 1889 г.

Стр. 202. ...*название ориган, потому что излюбленное его место — косягоры...* — Слово «ориган» греческого происхождения; образовано из двух греческих слов: «гора» и «нравиться».

Стр. 207. *Нума Руместан* — герой одноименного романа А. Доде (1881).

Стр. 210. ...*попал, подобно Кандиду, в солдаты...* — Герой философско-сатирической повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм» (1759) был завербован обманным путем в армию болгарского короля (по мысли Вольтера — прусского короля Фридриха II).

Стр. 211. *Люблю я прозвища, рожденные в казарме...* — Строки из сборника Лафонтена «Смешанные стихотворения» (LXIV).

Стр. 216. *Тереза* (Эмма Валадон, 1837—1913) — популярная французская певица.

Стр. 221. *Королева Изабо* — французская королева Изабелла Баварская (1371—1435).

## Идеи Гюстава Флобера

Впервые напечатано 2 марта 1890 г. Статья написана по поводу рецензии Анри Ложоля (литературный псевдоним Анри Ружона) на первые два тома «Переписки Флобера», вышедшие в свет в 1887 и 1889 гг. («Revue Bleue», 22 февраля и 1 марта 1890 г.).

Стр. 223. *Опера «Саламбо»*. — 8 февраля 1890 г. в Брюсселе состоялась премьера оперы «Саламбо» (музыка Эрнеста Рейера, либретто Камиля Дюлокля) по одноименному роману Флобера.

Стр. 224. *...правительственный чиновник...* — Анри Ложоль занимал должность неперменного секретаря французской Академии изящных искусств.

Стр. 225. *...лучше тачать сапоги, нежели писать книги.* — Речь идет о Льве Толстом. Франс критиковал толстовство в цикле статей «Новое евангелие» («Temps», 10 и 17 июля 1892 г.).

Стр. 228. *Антони* — герой одноименной драмы А. Дюма-отца (1831), романтический герой, охваченный роковой страстью и в конце концов закаляющийся свою возлюбленную ради спасения ее чести. Под «синим чулком» подразумевается Луиза Коле.

Стр. 230. *...как Деций устремился в пропасть.* — Деций — легендарный древнеримский герой; бросился на коне и в полном вооружении в бездну, чтобы вернуть Риму утерянную славу и богатство.

Стр. 231. *Аббат Бурнизьен, Эмма* — персонажи романа Флобера «Госпожа Бовари» (1856).

*Подобно принцессе Возрождения...* — Речь идет о Маргарите Наваррской. Цитируется ее письмо к одному из друзей.

## Поль Верлен

Впервые напечатано 23 февраля 1890 г. под названием «Поэт в больнице: Поль Верлен».

Стр. 232. *Снова, как и в 1780 году, в больнице лежит поэт.* — В 1780 г., в больнице Отель-Дье, умер в 29-летнем возрасте, в результате падения с лошади, французский поэт Н.-Ж. Л. Жильбер, враг просветителей. Поэтическая легенда о том, будто одинокий, всеми гонимый Жильбер умер от голода в больнице для бедных, была порождена как ранней смертью поэта, так и его предсмертной элегией «Несчастный поэт».

Стр. 235. *...накануне войны...* — То есть франко-прусской войны 1870—1871 гг.

*...с веселым сукноделом из Водевира...* — Имеется в виду сборник вакхических и сатирических песен «Водевиры», которые долго приписывались сукноделу из нормандского городка Вира Оливье Баслену (XV в.).

Стр. 236. *Жюль Телье* (1863—1889) — поэт и литературный критик.

*Кто предал разум власти вожделений...* — Строка из «Божественной Комедии» Данте («Ад», песнь V), в которой изображен второй круг ада, где мучаются грешники, предававшиеся при жизни сладострастию.

Стр. 237. *Жюль Леметр отметил...* — Здесь и в дальнейшем Франс ссылается на статью Ж. Леметра «Поль Верлен и поэты-символисты и декаденты» («Revue Bleue», 7 января 1888 г.).

*Как Поливект во времена Ришелье...* — Поливект — герой трагедии Корнеля «Мученик Поливект» (1643).

Стр. 238. *В одном рассказе...* — Речь идет о рассказе Льва Толстого «Люцерн» (1857).

### Диалоги живых. «Человек-зверь»

Впервые напечатано 9 марта 1890 г. Статью можно рассматривать как одно из первых свидетельств нового, сочувственного отношения к Золя, появившегося у Франса с начала 90-х гг. Уловив общий благожелательный тон диалога, автор «Человека-зверя» в письме благодарил за него Франса.

Стр. 241. *...и мы от него тоже отрекаемся.* — Имеется в виду «Манифест пяти». В лице натуралиста Франс, по-видимому, хотел изобразить одного из авторов манифеста.

Стр. 246. *Свою Габриель господин Золя окрестил Северной.* — Подобно героине упомянутой выше уголовной истории, Северина Рубо участвует в убийстве старого сенатора Гранморена.

## ИЗ ЧЕТВЕРТОЙ СЕРИИ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ»

Четвертая серия «Литературной жизни» вышла в свет в издательстве Кальман-Леви 27 апреля 1892 г. Том состоит из предисловия и 29-ти статей, первоначально опубликованных в «Temps» с 10 марта 1889 г. по 27 сентября 1891 г.

### «Наше сердце»

Впервые напечатано 22 июня 1890 г.

Стр. 250. *Г-жа Бенуатон* — персонаж комедии В. Сарду «Семья Бенуатонов», поставленной на сцене театра Водевиль 4 ноября 1865 г. Жена разбогатевшего буржуа, желая прослыть светской дамой, ведущей легкомысленный образ жизни, никогда не бывает дома и пренебрегает воспитанием дочерей.

Стр. 252. *Нам перестали показывать Мандан и Клелий...* — Речь идет о героинях галантных романов Мадлены де Скюдери «Артамен, или Великий Кир» (1650) и «Клелия» (1654—1660).

Стр. 254. *...героиня одновременно вышедшего романа Поля Бурже...* — Имеется в виду Жюльетта де Тильер, героиня светского любовно-психологического романа П. Бурже «Сердце женщины» (1890).

*Госпожа д'Убли* — героиня пьесы Жип «Соблазнитель» (1888), которой Франс посвятил одноименную статью в «Temps» (22 января 1888 г.).

### Народные сказки и песни Франции

Впервые напечатано 14, 21 и 28 сентября 1890 г.

Стр. 256. *Фелибры* — участники «фелибрижа», литературного движения в Южной Франции, возникшего в 50-х гг. XIX в.; ставили своей целью возрождение средневековой провансальской литературы, ее поэтического языка и стиля.

Стр. 257. *«Кресты Жаннеты»* — своеобразные ожерелья, какие носили французские крестьянки в XIX в. (золотой крест, укрепленный на очень короткой ленте или цепочке).

Стр. 259. «*Водевирь*» — см. примеч. к стр. 235.

Стр. 262. «*Красавица и Чудище*» — волшебная сказка французской писательницы Ж.-М. Лепренс де Бомон (1711—1780).

Стр. 263. ...*подобно Мелюзине...* — Мелюзина — фея из средневековых легенд и рыцарских романов, впервые изображенная французским писателем XIV в. Жаном Аррасским в «Романе о Мелюзине».

Стр. 264. ...*сказание о Товии... переложенное Морисом Бушором в стихи.* — Имеется в виду мистерия на библейский сюжет М. Бушора «Товия», поставленная театром марионеток Синьоре 15 ноября 1889 г. Франс посвятил этой пьесе статью в «Temps» («Морис Бушор и история Товии», 8 декабря 1889 г.).

...*небольшого прихода Жиронды...* — Франс имеет в виду местечко Капиан, где начиная с 1887 г. он обычно проводил один из осенних месяцев в загородной усадьбе г-жи де Кайаве.

Стр. 266. ...*один из многочисленных вариантов сказания о Психее.* — Греческая легенда о Психее, рассказанная в романе Апулея «Метаморфозы, или Золотой осел» (II в.), символизировала судьбу человеческой души, очищаемой разнообразными испытаниями («психе» — по-гречески душа).

Стр. 271. «*Эдда*» («*Старшая Эдда*») — сборник скандинавских мифологических и героических песен (сложены ок. X в., записаны в Исландии в середине XIII в.), выдающийся памятник эпической народной поэзии средних веков.

Стр. 272. *Дафнис* (греч. миф.) — юноша-козопас, основатель пастушеской песни. Его судьба, любовь и смерть были самым популярным сюжетом буколической поэзии.

*Жасмен* (Жак Боз, 1798—1864) — южно-французский поэт, писавший на местном, провансальском диалекте.

Стр. 273. «*Нозли*» (франц.) — Песни, славящие рождение Иисуса Христа и распевавшиеся обычно в канун рождества.

«*Антология*». — Имеется в виду сборник древнегреческих эпиграмм, составленный в XIV в. греческим монахом Максимом Планудом на основе не дошедших до нас антологий I—VI вв.

Стр. 277. ...*во времена сыновей Хлотаря...* — Хлотарь I — франкский король в 558—561 гг.; перед смертью разделил государство между тремя сыновьями.

## Апология плагиата. «Безумный» и «Препятствие»

Впервые напечатано 4 января 1891 г. Пьеса А. Доде «Препятствие», вызвавшая обвинение автора в плагиате, была впервые представлена на сцене театра Жимназ 27 декабря 1890 г.

Стр. 283. ...*заимствовал... и у Арлекина.* — То есть в итальянской комедии масок.

Стр. 287. ...*за исключением, быть может, эпохи Адриана.* — Время правления императора Адриана (117—138) было ознаменовано бурным развитием в Римской империи риторики, ораторского искусства.

## Апология плагиата. Мольер и Скаррон

Впервые напечатано 11 января 1891 г. Поводом к написанию статьи явилась заметка (1890) туренского филолога П. д'Англоса, изучавшего источники комедий Мольера и «Трагикомических новелл» Скаррона.

Стр. 292. ...*одобряют по крайней мере, что я их граблю.* — Некоторые пьесы Корнеля написаны на сюжеты, заимствованные из испанской драматургии.

*Один из его врагов сказал...* — Речь идет о французском литераторе Буланже де Шалюсэ. Цит. строки из его комедии «Эломир-ипохондрик, или Отмщенные врачи» (1670), направленной против Мольера.

Стр. 294. ...*год появления «Скупого».* — В действительности премьера комедии «Скупой» состоялась 9 сентября 1668 г.

## Из сборника «Латинский гений»

Сборник «Латинский гений» вышел в свет в издательстве А. Лемерра 8 сентября 1913 г.; 2-е издание, исправленное и дополненное автором, появилось в декабре 1917 г. у Кальман-

Леви. Том состоит из предисловия (1913) и пятнадцати очерков, опубликованных (за исключением статьи 1906 г. о Мольере) с 1873 по 1889 г. Все очерки первоначально служили вступительными статьями к соответствующим художественным произведениям.

## Дафнис и Хлоя

Впервые напечатано в 1878 г. в качестве предисловия к французскому переводу книги «Пастораль Лонга, или Дафнис и Хлоя» (1878), вышедшей в издательстве Лемерра.

Стр. 298. *Такова обычная тема, которая почти не меняется.* — Приведенная Франсом сюжетная схема наличествует почти во всех дошедших до нас греческих любовных романах I—III вв.: в «Дафнисе и Хлое» Лонга, «Теагене и Хариклии» Гелиодора, «Левкиппе и Клитофонте» Ахилла Татия, «Эфесской повести» Ксенофонта Эфесского и др.

*Эти сочинители «диегематов» или «драматиков»...* — «Диегематы» (греч.) — повествования, повествовательная проза; «драматики» (греч.) — действия (не обязательно в диалогизированной форме). В античную эпоху греческий роман не получил специального наименования. Термин «роман» возник лишь в эпоху Средневековья.

Стр. 300. *...в мрачной империи Феодосия.* — То есть в конце IV в. Римский император Феодосий I Великий (379—395), окончательно признавший христианство государственной религией, жестоко преследовал секту ариан и приверженцев язычества. При нем был сожжен храм Сераписа в Александрии (391), и во время пожара погибла большая часть знаменитой Александрийской библиотеки.

Стр. 303. *«Пан, великий Пан умер!»* — Смерть Пана, описанная Плутархом в его «Моральных трактатах», символизировала победу христианства над язычеством; согласно мифу, Пан умер, когда родился Иисус.



## Королева Наваррская

Впервые напечатано в ноябре 1879 г. в качестве предисловия к 1-му тому книги «Гептамерон новелл Маргариты Ангулемской, королевы Наваррской» (3 тома, изд. А. Лемерра). В том же году Франс посвятил королеве Наваррской статью в «Le Globe» (2 октября).

Стр. 304. ...*скрываются патлены и архипатлены*. — Патлен — герой французского фарса XV в. «Адвокат Патлен». Его имя стало нарицательным для обозначения хитрых и ловких мошенников.

...*герцога Карла, который в английском плену слагал баллады и рондо...* — Речь идет о герцоге Карле Орлеанском (1391—1465), выдающемся французском поэте и видном полководце. Во время Столетней войны, тяжело раненный в битве при Азенкуре (1415), он был захвачен англичанами и оставался в плену 25 лет.

...*о схоластические и варварские дистихи...* — «Нравственные дистихи» принадлежали не знаменитому Катону Старшему, а латинскому поэту начала н. э. Дионисию Катону. На основе этих двестишый принц Иоанн, граф Ангулемский (1404—1467) составил «Поучения Катона».

...*о сказочной Италии, открытой юным королем Карлом VIII...* — В 1494 г. французский король Карл VIII (1483—1498) вторгся в Италию, завоевал Неаполитанское королевство и в 1495 г. объявил себя королем неаполитанским.

Стр. 306. *Амбуаз* — средневековый замок в гор. Амбуазе, на левом берегу реки Луары, служил постоянной резиденцией Карлу VIII.

*Тут страждет высшей мукой...* — строки из «Божественной Комедии» («Ад», песнь V). Перевод М. Лозинского.

Стр. 307. ...*Марго ...какой ее изобразил Александр Дюма*. — Имеется в виду Маргарита Французская (Валуа, 1553—1615), первая жена французского короля Генриха IV, изображенная в романе А. Дюма-отца «Королева Марго» (1846).

Стр. 308. ...*называл бога истинным его именем*. — В иудейской религии (получившей отражение в Ветхом завете) единый верховный бог именуется Иеговой (Ягве) именем, заключающим в себе понятие вечности и совершенства.

Стр. 309. *Брантом* (аббат Пьер де Бурдейль, 1535—1614) — французский писатель, автор сочинений «Жизнь великих полководцев» и «Жизнь галантных дам», в которых даются яркие картины нравов и быта высшего общества его времени.

*...схолиастами Писания.* — То есть комментаторами, толковавшими евангелие на основе филологической критики текста. Филологическая критика «священных книг» положила начало их историческому объяснению и тем самым порвала с традиционным догматическим отношением к ним как к «божественному откровению».

Стр. 311. *...он стал пленником в безумный день битвы при Павии.* — В битве при Павии (24 февраля 1525 г.) испанский король Карл I (он же германский император Священной Римской империи Карл V), вторгшийся в Италию, разгромил французов и захватил в плен Франциска I, после чего принудил его подписать Мадридский мир (1526), по которому Франция лишалась своих завоеваний в Италии.

Стр. 312. *...отречение короля от престола в пользу дофина...* — То есть в пользу старшего сына Франциска I, дофина Франциска.

*Клеман Маро* (1495—1544) — поэт-гуманист эпохи Возрождения, сыграл большую роль в развитии французского литературного языка.

Стр. 315. *...поцеловала уста, умевшие так красно говорить.* — Франс имеет в виду популярный анекдот о Маргарите Шотландской (1424—1444), первой жене дофина Людовика, впоследствии короля Людовика XI.

Стр. 316. *Доле* Этьен (1509—1546) и *Беркен* Луи (ок. 1489—1529) — французские гуманисты, сожженные на костре по обвинению в ереси.

Стр. 317. *...бесстыдно торговался с Римом, добиваясь расторжения своего брака.* — Вопреки домогательствам Генриха VIII, Ватикан отказался утвердить его развод с Екатериной Арагонской и признать его новую женитьбу на фрейлине Анне Болейн; это явилось поводом к разрыву Англии с папством (1534).

Стр. 319. *Я рождена любить, не ненавидеть.* — Строка из трагедии Софокля «Антигона» (эпизодий II). Перевод С. Шервинского и Н. Познякова.

Стр. 320. ...*монсеньером дофином, супругой его...* — Речь идет о втором сыне Франциска I, будущем французском короле Генрихе II (1547—1559), ставшем наследником престола (после смерти в 1536 г. своего старшего брата Франциска, и о его жене — Екатерине Медичи.

## Поль Скаррон

Впервые напечатано в 1880 г. в качестве предисловия к 1-му тому Сочинений Скаррона («Комический роман», изд. А. Лемерра).

Стр. 321—322. *На похоронах Генриха IV...* — Французский король Генрих IV был убит в 1610 г. фанатиком-католиком Равальяком.

Стр. 323. *Лютеция* — древнее название Парижа.

Стр. 326. ...*г-на де Ланкло, дочь которого приобрела такую громкую известность.* — По утверждению Вольтера, Анри Ланкло, отец прославленной Нинон де Ланкло, был профессиональным музыкантом, игравшим на лютне.

Стр. 327. ...*пал Седан и сдался знаменитый Перпиньян.* — Город Седан с 1596 г. принадлежал виконтам Тюреннским. В 1642 г. в наказание за участие в феодально-аристократическом заговоре кардинал Ришелье конфисковал их владения, и королевские войска беспрепятственно вошли в Седан. Гор. Перпиньян, входивший с 1493 г. в состав Испании, был в 1642 г. отвоеван французами.

...*г-жой де Пле, вполне оправдывавшей свою фамилию...* — «Пле» (франц. *plâie*) здесь означает «язва».

Стр. 328. *Судья Данден* — персонаж из комедии Расина «Сутяги» (1668). Его имя стало нарицательным для обозначения судьи-педанта, фанатика своей профессии.

...*прошение в бурлескном стиле...* — то есть в шуточном, грубокомическом стиле (от итал. «burla» — шутка, насмешка), к которому охотно прибегали в 40—60-е гг. XVII в. французские писатели, оппозиционно настроенные по отношению к абсолютизму.

«Жеманницы». — Литературно-политический салон маркизы де Рамбулье (на улице св. Фомы Луврского в Париже) был в течение полувека (1608—1655) законодателем светских вкусов и центром галантно-аристократической «прециозной» литературы. Постоянные посетительницы особняка Рамбулье получили прозвание «жеманниц». Сомёз Клод — автор «Большого словаря жеманниц» (1661).

Стр. 330. *Однажды принц ударил свою мартышку...* — Подлинность этого весьма популярного в XVII в. анекдота о гибели поэта Сарразена не подтвердилась.

Стр. 331. *Со времен «Астреи» все старались говорить высоким стилем.* — «Астрея» (1610—1619) — пасторальный роман французского писателя Оноре д'Юрфе, написанный вычурным, манерным стилем и представляющий собой типичный образец салонно-аристократической, «прециозной» литературы XVII в.

Стр. 333. *...виденного ему было достаточно, чтобы сделать из этого книгу.* — Речь идет о «Комическом романе» Скаррона.

*Он создал тип Жодле...* — Франс имеет в виду комедии Скаррона «Жодле, или Господин-слуга» (1645) и «Жодле-дуэлянт» (1646), создавшие сценический тип-маску Жодле. Обе пьесы были написаны Скарроном в расчете на исполнение талантливой фарсового актера Жюльена Бедо (ок. 1590—1660), принявшего псевдоним Жодле.

*...господа и госпожи де Сотанвиль...* — В комедии Мольера «Жорж Данден, или Одураченный муж» (1668) разорившиеся аристократы де Сотанвили (дословно: «дураки в городе»), в погоне за деньгами выдавшие свою дочь замуж за богатого крестьянина Дандена, продолжают презирать своего плебейского зятя и унижают его на каждом шагу.

Стр. 334. *Будь он в живых 26 августа того же года...* — 26 августа 1648 г. правительство Мазарини арестовало вождей оппозиции (Брусселя и др.), что послужило сигналом к массовому вооруженному восстанию в Париже 26—27 августа и началом Фронды (социально-политического движения во Франции против абсолютизма в 1648—1653 гг.).

*О Юлий, Юлия великого затмивший...* — Юлий в первом случае — Юлий (Джулио) Мазарини, во втором — Юлий Цезарь. Алкид — прозвище Геракла (по имени его предка Алкея).

Согласно мифу, титан Атлас возложил однажды на плечи Геракла небесный свод. По мысли Скаррона, Мазарини — опора французской монархии.

Стр. 335. *Кoadьютор*. — Имеется в виду помощник при парижском архиепископе Поль де Гонди, в дальнейшем кардинал де Рец, один из главарей Фронды.

...кардинал спровадил Барильона на тот свет... — Слухи о том, будто Мазарини отравил парламентского советника, дипломата Поля Барильона, маркиза де Бранж (1630—1691), не подтвердились.

...в лагере роялистов у бедного калеки появился опасный враг. — Сирано де Бержерак роялистом не был. Активный участник «парламентской Фронды» (1648—1649), он сам являлся автором многих «мазаринад» (памфлетов, направленных против Мазарини).

Стр. 339. *Франсина д'Обинье* (1635—1719) — жена Скаррона; впоследствии стала под именем маркизы де Ментенон всесильной фавориткой Людовика XIV; в 1684 г. тайно обвенчалась с королем.

Стр. 343. *Телемское* аббатство — описанное в романе Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» общежитие свободных людей, основанное на принципе: «Делай, что захочешь». Рабле воплотил в нем свою мечту о совершенном и счастливом человеческом обществе.

*Нинон и Марион*. — Имеются в виду Нинон де Ланкло и Марион Делорм.

Стр. 344 *Клодина Кольте*. — Поэт Гильом Кольте, желая оправдать в глазах друзей свою женитьбу на служанке Клодине, выдавал ее за поэтессу, приписывая ей свои собственные стихотворения. После смерти поэта (1659) обман раскрылся.

Стр. 345. ...он разумел академиков, это пожетонное племя... — На заседаниях Французской Академии присутствующим раздавались специальные жетоны, которые затем обменивались на деньги. Для некоторых академиков жетоны служили регулярным источником доходов. Иронический термин «пожетонное племя» был введен писателем А. Фюре-тьером.

Впервые напечатано в 1873 г. в двух номерах журнала Этьена Шаравэ «L'Amateur d'Autographes» (октябрь и ноябрь-декабрь); перепечатано 1 марта 1874 г. в качестве предисловия к 1-му тому Сочинений Жана Расина (5 тт., изд. А. Лемера, 1874—1875).

Стр. 348. *«Гораций»* (1640) — трагедия П. Корнеля.

Стр. 349. ...*отшельников Загородного Пор-Рояля*. — С 1625 г. во Франции существовало два монастыря Пор-Рояль: более старинный Загородный Пор-Рояль (близ Версаля), при котором (в Гранжском училище) воспитывался Расин, и Пор-Рояль в Париже. В течение XVII—XVIII вв. янсенисты подвергались жестоким преследованиям со стороны официальной церкви, ставшей на сторону их врагов — ордена иезуитов.

Стр. 350. ...*Шаплону, ведавшему личными средствами короля*. — Министр Кольбер возложил на поэта Шаплена обязанность распределять королевские пенсии и награды.

...*не следует помещать тритонов в реку*. — Тритоны (греч. миф.) — морские, а не речные божества.

Стр. 351. ...*«Овидиевой вдохновляющей Юлией»*. — Намек на внучку Августа Юлию Младшую, отношения с которой, по-видимому, сыграли роль в изгнании Овидия (8 г. н. э.).

Стр. 352. *«Олимптики»* — первая книга од древнегреческого поэта Пиндара (ок. 518—442 до н. э.), посвященная прославлению победителей на олимпийских (гимнастических) играх.

*«Сумма богословия»* — философско-религиозное сочинение итальянского схоласта Фомы Аквинского (1225—1274).

Стр. 353. *Лавуазен обвиняла Расина в том, что он ее отравил*. — В 1670-е гг. Париж был взбудоражен рядом судебных процессов об отравлениях. На одном из них гадалка-отравительница Лавуазен (Катрина Дезэ), казненная в 1680 г., объявила Расина виновником гибели актрисы Дюпарк.

Стр. 355. *Скарамуш* — псевдоним итальянского комика Тиберио Фьорили (ум. 1694), труппа которого гастролировала в Париже в 1640—1668 гг. Амплуа Скарамуша прочно укоренилось и на французской сцене.

...по примеру Теренция... — Многие прологи римского драматурга Теренция (II в. до н. э.) посвящены литературной полемике. Аристократические круги Франции упрекали автора «Британника» в дискредитации королевской власти. В числе лиц, интриговавших против «Британника», был и стареющий Корнель.

*Гермиона* — персонаж из трагедии Расина «Андромаха» (1667).

Стр. 356. *Г-жа де Севинье, приходившаяся ей некоторым образом свекровью...* — Намек на любовную связь между сыном г-жи де Севинье, маркизом Шарлем де Севинье, и актрисой Шанмеле. Г-жа де Севинье (Мари де Рабютен-Шанталь, 1626—1696) — автор нескольких тысяч писем, характеризующих жизнь и нравы французского высшего общества XVII в.

Стр. 357. *...Тоннер ее обезрасинил.* — В подлиннике буквально «гроза оторвала ее от корня». Здесь непереводаемая игра слов: «Тоннер» (франц. tonnerre) — гром, молния; «Расин» (франц. racine) — корень. Речь идет о графе де Клермон-Тоннере.

Стр. 358. *Сюжет трагедии был выбран молодой герцогиней Орлеанской...* — Эта версия отвергнута новейшими исследователями. Герцогиня Орлеанская — Генриетта Английская.

...племянница Мазарини, принесенная... в жертву государственным интересам... — Намек на юношеский роман между Людовиком XIV и Марией Манчини. Анна Австрийская и кардинал Мазарини, подготовлявшие бракосочетание короля с Марией-Терезией, удалили Марию Манчини из Парижа и временно заточили в монастырь.

Стр. 362. *...по пути покаяния, избранному г-жой де Лонгвиль и Рансе...* — С 1672 г., после гибели своего сына, г-жа де Лонгвиль почти безвыездно жила в монастыре кармелиток. В 1657 г. аббат де Рансе, проживший бурную светскую жизнь, предался аскетизму и поселился в аббатстве траппистов, где ввел самый строгий устав (1662).

Стр. 366. *Элиза* — персонаж трагедии Расина «Эсфирь» (1688), наперсница персидской царицы Эсфири.

Стр. 367. *...Арно, умершего в изгнании.* — А. Арно умер в Бельгии (Люттих), куда бежал в 1679 г., спасаясь от преследований иезуитов.

Стр. 369. *После осквернения Пор-Рояльских могил в 1709 году...* — В 1709 г. по приказу Людовика XIV, ставшего на сторону иезуитов, янсенистские общины были разогнаны; в 1711 г. были уничтожены могилы «отшельников», а в 1712 г. — разрушен сам Загородный Пор-Рояль.

...с *эпитафией Жану Расину*... — Эпитафию Расину написал его друг Буало (переведена на латинский язык Додаром).

### Ален-Ренэ Лесаж

Впервые напечатано в 1878 г. в качестве предисловия к 1-му тому Сочинений Лесажа (2 тт., изд. А. Лемерра, 1878).

Стр. 371. *...в одну строку уместил всемирную историю.* — Имеются в виду слова легендарного мудреца — доктора Зеба («Они рождались, страдали, умирали») из притчи, уже рассказанной Франсом в статье «Г-н Тьер-историк» («Temps», 11 сентября 1887 г.) я в книге «Суждения господина Жерома Куаньяра» (1893).

Стр. 375. «*Франсион*» («Правдивое комическое жизнеописание Франсиона», 1622) — роман Шарля Сореля.

«*Буржуазный роман*» (1666) — произведение А. Фюретьера.

Стр. 376. *Сальпетриер* — парижская больница для престарелых женщин и душевнобольных.

*Регент.* — Речь идет о Филиппе, герцоге Орлеанском, регенте Франции (1715—1723) при малолетнем Людовике XV.

*Кассандр* — персонаж старинной итальянской комедии, ставший одной из популярных фигур французского ярмарочного театра XVIII в.; взбалмошный старик, которого обманывают молодые влюбленные.

...он *издает «Влюбленного Роланда»*... — «Влюбленный Роланд» — поэма итальянского поэта Матео Боярдо (1434—1494). «История Гусмана из Альфараче» (1599) — испанский плутовской роман Матео Алемана (1547 — ок. 1613). По словам Лесажа, в основе его романа «Приключения Робера



Шевалье, прозванного Бошеном, капитана флибустьеров в Новой Франции» лежит подлинный дневник канадского пирата Бошена-Гузна (1-я половина XVIII в.), грабившего английские торговые суда, а затем переселившегося во Францию.

Стр. 377. *Г-жа Рибу* — вдова книгоиздателя Рибу.

Стр. 378. *Покойная королева*. — Речь идет о Марии Лешинской.

Стр. 379. *Архиепископ Гранадский* — персонаж из романа Лесажа «Жиль Блас»; в результате апоплексического удара утратил ораторский талант и составил многословную проповедь, изобиловавшую повторениями.

### Приключения аббата Прево

Впервые напечатано в 1878 г. в качестве предисловия к роману Прево «История кавалера де Грие и Манон Леско» (изд. А. Лемерра, 1878). Роману Прево Франс посвятил две статьи в «Le Bibliophile français» (май 1870 г. и июль 1873 г.).

Стр. 380. *Городок Эден... жестоко терпел от войн...* — С конца XV в. гор. Эден неоднократно переходил из французских владений под владычество Испании. Он был окончательно присоединен к Франции (в составе области Артуа) лишь по Пиренейскому договору 1659 г., завершившему франко-испанскую войну 1635—1659 гг.

Стр. 381. *...так утверждает Треву*. — Имеется в виду «Словарь Треву» (см. прим. к стр. 153).

Стр. 383. *Св. Франсуа-Ксавье* (1506—1552) — испанский иезуит-миссионер, насаждавший христианство в Индии и Японии.

Стр. 384. *...из стада св. Игнатия* — то есть из ордена иезуитов. Игнатий Лойола (1491—1556) — основатель ордена иезуитов (1534), причисленный католической церковью к лику святых.

Стр. 385. *Дон* (от лат. «dominus» — господин) — звание, которое давалось членам монашеского ордена бенедиктинцев.

Стр. 388. *...естественной религии...* — то есть религии внецерковной, отвергающей всякие (в том числе католические) культы и якобы отвечающей требованиям природы и естественных чувств человека. В XVIII в. проповедь «естественной религии» служила средством борьбы с феодальным мировоззрением и церковной идеологией. Идея «естественной религии» получила наиболее полное выражение в педагогическом романе Руссо «Эмиль, или О воспитании» (1762).

«*Знамена царя*» — церковный гимн, исполнявшийся в крестовых походах.

Стр. 390. *...что существуют разного рода благодати.* — Учение о благодати, даруемой от бога человеку для его спасения, выдвигалось янсенистами в борьбе с орденом иезуитов (допускавших участие человеческой воли в достижении небесного блаженства). В «Письмах к провинциалу» Паскаль устанавливал разницу между «благодатью довлеющей» и «благодатью действительной».

Стр. 391. *...галликанец старого закала...* — Галликанство — религиозно-политическое направление во Франции XIII—XVIII вв., представители которого отстаивали независимость французской католической церкви от папства.

Стр. 392. *Мадмуазель Аисэ* (1695—1733) — черкешенка, проживавшая с 1700 г. в Париже, автор писем о нравах французского великосветского общества.

Стр. 394. *Памелу, Ловеласа, Клариссу и Клементину.* — Памела — героиня романа Ричардсона «Памела, или Вознагражденная добродетель» (1740); Ловелас и обесчещенная им (но оставшаяся добродетельной) Кларисса — персонажи романа «Кларисса Гарлоу» (1747—1748); Клементина — экзальтированная и влюбленная итальянка из романа того же автора «История сэра Чарльза Грандиссона» (1754).

Стр. 397. *Медор* — персонаж из поэмы итальянского поэта эпохи Возрождения Л. Ариосто «Неистовый Роланд» (1516), юный сарацинский воин, счастливый соперник рыцаря Роланда в любви к жестокосердной «китайской принцессе» Анжелике.

## Бенжамен Констан. «Адольф»

Первоначальный текст, напечатанный в «Temps» (под названием «Адольф») 14 июля 1889 г., был написан в марте 1889 г. близким другом А. Франса г-жой Арман де Кайаве. В окончательном виде очерк был опубликован в августе 1889 г. в качестве предисловия к роману Бенжамена Констана «Адольф» (изд. А. Лемерра, 1889).

Стр. 403. ...нашел убежище после Ста дней. — В период Ста дней (14 марта — 22 июня 1815 г.) Б. Констан, возмущенный деятельностью ультрароялистов, встал на сторону Наполеона (против которого он боролся в годы Консульства и Империи) и после вторичной реставрации Бурбонов был вынужден эмигрировать в Англию.

Стр. 404. ...напоминало бы подлинную Элленору... — А. Франс и г-жа де Кайаве разделяли мнение критиков, считавших прототипом Элленоры г-жу де Сталь. Эта версия (как и другие предположения о реальных прототипах Элленоры) отвергается новейшими исследователями.

Стр. 410. ...Ренэ, его прославленный современник... — это есть лирический герой Шатобриана.

Аббат Морелле (1727—1819) — французский публицист, просветитель, автор резко полемической рецензии на повесть Шатобриана «Атала».

## ИЗ СБОРНИКА «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ И ЛИТЕРАТУРЫ»

Статьи, очерки, речи и новеллы, составляющие два тома «Страниц истории и литературы», первоначально печатались в различных периодических изданиях (или в качестве предисловий к соответствующим текстам) с 1881 по 1922 г. При жизни Франса они в сборник объединены не были. В собранном виде напечатаны в 1934—1935 гг. в двадцатипятом издании Кальман-Леви (œuvres complètes illustrées de Anatole France, 1925—1935, тт. XXIV—XXV).

«Принцесса Клевская» госпожи де Лафайет

Впервые напечатано в 1889 г. в качестве предисловия к новому изданию романа г-жи де Лафайет «Принцесса Клевская» (изд. Л. Конке, 1889). Франс посвятил г-же де Лафайет и ее роману еще несколько статей в «Temps» (16 июня 1889 г. и 7 июня 1891 г.) и «Univers illustré» (29 июня 1889 г.), а в 1882 г. написал обширное введение к ее книге «История Генриетты Английской» (1720).

Стр. 413. *Брат короля* — герцог Филипп Орлеанский (1640—1701), брат Людовика XIV. Анна Дасье (1654—1720) — ученая женщина своего времени, эллинистка и латинистка, переводчица Гомера.

Стр. 414. *Регентша* — Мария Орлеанская, герцогиня Немурская.

Стр. 416. *...и от «Заиды»...* — Очевидно, г-жа де Лафайет в своем письме имела в виду не «Заиду» (1670), а свою книгу «Принцесса де Монпансье» (1662).

*...примеры подобного отречения мы находим у Вольтера.* — Многие свои памфлеты и брошюры Вольтер публиковал под различными псевдонимами, однако он скрывал свое авторство не столько «ради удовольствия», сколько из-за преследований цензуры.

Стр. 417—418. *На них обрушились одновременно Мольер и аббат Деюр.* — Мольер осмеял прециозные нравы в комедии «Смешные жеманницы» (1659), аббат Деюр — в книге «Жеманница, или Тайна салона» (1656).

*Сочинитель романов и театральный поэт...* — Франс цитирует памфлет одного из «отшельников» Пор-Рояля, янсениста Пьера Николя — «Мечтатели» (1666).

Стр. 419. *...с его Монимой и Береникой...* — Монима — героиня трагедии Расина «Митридат» (1673); Береника — героиня одноименной трагедии Расина (1670).

*Эмилия* — героиня трагедии Корнеля «Цинна, или Милосердие Августа» (1640), сильная, энергичная и рассудочная женщина, убежденная республиканка. Литератор Гез де Бальзак, ссылаясь на мнение одного из своих друзей, назвал Эмилию «прекрасной, разумной, святой и очаровательной фурией».

Стр. 421. ...одну женщину, чьим... умом я восхищаюсь. — Речь идет о г-же де Кайаве.

...как Клелия и как Артениса — то есть как героини прециозных произведений XVII в.

Стр. 424. ...но наступило 31 мая... — Народное восстание 31 мая — 2 июня 1793 г. свергло политическое господство жирондистов и передало власть в руки якобинцев. Ролан, в числе ряда других жирондистов, сумел скрыться от революционного трибунала и избежал ареста; его жена была арестована (июнь 1793 г.) и гильотинирована.

Стр. 425. *Вот его письмо...* — К изданию «Принцессы Клевской» (1889) было приложено письмо Пьера Лаффита (от 28 декабря 1888 г.), в котором ученик О. Конта, полностью принимавший изобретенную Контом позитивистскую религию человечества (она должна была заменить почитание бога), восхищался отсутствием у г-жи де Лафайет «сверхъестественного чувства», идеи бога. По мнению Лаффита, принцесса Клевская (подчинившая страсть разумному началу по «естественным», чисто «человеческим мотивам») являет собой тип «нормального человека», прообраз нового разумного индивида.

### «Иродиада» Гюстава Флобера

Частично напечатано в «Revue Hebdomadaire» 4 июня 1892 г. (под названием «Иродиада в истории») и целиком — в том же году в качестве предисловия к иллюстрированному изданию повести Флобера «Иродиада» (изд. А. Ферру, 1892). В 1911 г., предполагая издать сборник своих «исторических рассказов» (напечатан не был), Франс внес в статью об Иродиаде ряд дополнений и изменений. В интерпретации образов и событий Франс следует в основном Иосифу Флавию («Иудейская война» и «Иудейские древности»).

Стр. 426. ...сей иудеянин... — Иудейский царь Ирод Великий (73—4 до н. э.) был выходцем из Идумеи (западная часть древнего государства Эдом), завоеванной еще в конце II в. до н. э. иудейскими царями и с тех пор входившей в состав Иудеи.

...священного венца Соломона и Иосафата — то есть иудейского престола. Соломон — царь объединенного Израильско-

Иудейского царства (ок. 960—935 до н. э.), распавшегося после его смерти на два государства: Израиль и Иудею. Иосафат — четвертый царь Иудея (875—849 до н. э.). Новая (идумейская) династия Ирода захватила иудейский престол (40 г. до н. э.) с помощью римлян, покоривших Иудейское царство в 63 г. до н. э.

Стр. 427. *Шеол* — в Ветхом завете местопребывание душ умерших.

*Тетрарх* — правитель одной четвертой части провинции или государства.

Стр. 428. *Исаа* — по библии, один из сыновей патриарха Исаака, родоначальник племени идумеев.

*...осквернившего могилу Давида...* — Давид — по библии, отец царя Соломона, родоначальник древней, исконной династии иудейских царей.

*Этнарх* — наместник, правитель.

Стр. 430. *...жившим в душе сирийки.* — Иродиада была внучкой Ирода Великого и его второй жены — асмонеянки (сирийки) Мариамны, и потому названа сирийкой.

Стр. 431. *Назарей* — в первоначальном значении: человек, посвятивший себя богу, святой. В дальнейшем назарейми называли первых христиан, ибо, согласно христианской легенде, родители Иисуса Христа жили в городе Назарете (в Галилее).

Стр. 432. *Ессеи* — члены религиозной секты, возникшей в Иудее во II в. до н. э. Осуждали социальное неравенство и войны, но при этом отрицали активную политическую борьбу. Учение ессеев оказало влияние на раннее христианство.

*Фарисеи* — представители религиозно-политического течения, возникшего в Иудее во II в. до н. э. среди зажиточных слоев городского населения. Занимались толкованием и проповедью библейских законов, согласно евангелию кичились внешним благочестием.

Стр. 433. *...как Илия из Тисбы с Ахавом и Иезавелью.* — По библии, древнееврейский пророк Илия (из гор. Тисбы) сурово порицал израильского царя — деспота Ахава и его жестокосердную жену Иезавель. Как и предсказал пророк, Ахав вскоре погиб в сражении, а Иезавель была выброшена из окна, растоптана всадниками и растерзана собаками.

Стр. 435. *...св. Иероним... читал о смерти Цицерона.* — Труп Цицерона, убитого в 43 г. до н. э. по приказу триумвира Марка Антония, был жестоко обезображен; его отрубленные

голова и рука были доставлены Антонию. Возникло предание, будто Фульвия, жена Антония, желая отомстить автору гневных «Филиппик», проникнутых республиканским духом и обличавших ее мужа, собственноручно проколола Цицерону язык.

Стр. 436. *...о восшествии Гая на императорский престол.* — Речь идет о Гае Цезаре Калигуле.

Стр. 439. *...весь пышный обиход Клеопатры во время ее плавания по Кидну.* — В 42 г. до н. э. Клеопатра, желая увлечь Марка Антония (получившего в управление восточные провинции), отправилась ему навстречу (в малоазийский город Тарс) по реке Кидн на пышно убранном судне; Клеопатра изображала Венеру, ее спутницы — нимф и граций, дети — амуров.

Стр. 440. *...в синоптических евангелиях* — то есть в евангелиях от Матфея, от Марка и от Луки, содержащих много сходных мест.

Стр. 441. *Исайя* — по библейскому преданию, древнееврейский пророк; его именем названа книга Ветхого завета, полная пророчеств о судьбе еврейского и других народов.

*Светоний помог найти основные черты двух образов...* — Имеется в виду сочинение Светония «Жизнеописание двенадцати цезарей» (ок. 120 г.) — от Юлия Цезаря до Домициана, содержащее главным образом факты из личной жизни римских диктаторов и императоров.

Стр. 442. *...он вышел победителем из поединка с ангелом.* — Намек на библейский миф о единоборстве еврейского патриарха Иакова с ангелом.

Стр. 443. *И плоды оказались прекрасней цветов.* — Франсвольно цитирует строку из стансов французского поэта Франсуа де Малерба (1555—1628) «Молитва за короля Генриха Великого, шествующего в Лимузен».

#### Альфонс Доде. Этюд

Впервые напечатано в «Revue de Paris» от 1 января 1898 г. Статья представляет собою некролог, посвященный Альфонсу Доде, который скончался 17 декабря 1897 г.

Стр. 446. *Это Флориан, но уже не паж...* — Французский писатель Флориан (1755—1794) по ходатайству Вольтера, с которым он находился в свойстве, в шестнадцатилетнем возрасте стал пажом Луи де Бурбона, герцога де Пантьевра, а позднее

вступил в его полк драгунов. Франс подробно рассказал биографию Флориана в одной из своих статей («Temps», 10 июля 1887 г.).

*Пастушок из эклоги* — пастушок Неморен, влюбленный в пастушку Эстеллу из одноименной пасторали Флориана (1788).

*«Приключения молодого испанца»* — автобиография Флориана, опубликованная посмертно.

Стр. 447. ...*старший брат...* — писатель Эрнест Доде (1837—1921), послуживший прототипом образа Жака в романе «Малыш».

...*на мельнице Монтобан, которую увековечил...* — В сборнике рассказов «Письма с моей мельницы» (1866).

Стр. 448. *Трувер*. — Труверы (см. прим. к стр. 33) слагали песни на северофранцузском диалекте, из которого впоследствии развился общепроансальский национальный язык. Трубадуры (поэты-певцы Южной Франции) слагали песни на провансальском диалекте. Доде на провансальском наречии не писал, в то время как Поль Арен писал и по-французски и по-провансальски. Слова «трубадур» и «трувер» происходят от одного и того же глагола! «находить», «выискивать» (творить).

Стр. 451. *«Пир у Тримальхиона»* — эпизод из романа Петрония «Сатирикон», сатирически рисующий среду разбогатевших вольноотпущенников.

...*старший был уже известным молодым писателем...* — Имеется в виду писатель-монархист Леон Доде (1868—1942); напечатал ряд романов еще при жизни отца.

## Могила Мольера

Написано в январе 1908 г. в связи с двести восемьдесят шестой годовщиной со дня рождения Мольера, торжественно отмеченной Обществом друзей Мольера в Париже. Текст Франса был прочитан актрисой Берте и затем напечатан в виде отдельной брошюры издательством Э. Пельтана (тиражом в 160 экземпляров) 17 февраля 1908 г., в двести тридцать пятую годовщину со дня кончины Мольера.

Стр. 454. ...*в театре Диониса...* — Древнегреческая драма возникла из культа бога Диониса и долго сохраняла элементы этого культа.



*Маны* — по верованиям древних римлян, души умерших, почитавшиеся как божества.

Стр. 456. *Пассера Жан* (1534—1602) — поэт и филолог, работавший в области классической филологии.

### Стендаль. Этюд

Впервые напечатано в «Revue de Paris» от 1 сентября 1920 г.; отдельным изданием вышло в свет в ноябре 1920 г. (изд. Ф. Пайяра). Франс посвятил свой этюд Эдуару Шампиону, издателю Полного собрания сочинений Стендаля.

Стр. 458. *Вскоре после торжественного открытия памятника Стендалю...* — Открытие памятника Стендалю в Люксембургском саду состоялось 28 июня 1920 г. На торжественной церемонии Поль Бурже произнес речь об «искренности Стендаля».

Стр. 459. *Пиериды* (греч. миф.) — поэтическое название муз, рожденных на горе Пиерос, в Македонии.

«*Вечера в Нельи*» (2 тт., 1827) — сборник драматических сценок и исторических анекдотов, составленный французскими писателями Э.-Л.-О. Каве (1794—1852) и А. Диттмером (1795—1846), выступавшими под псевдонимом дю Фужере.

Стр. 462. *...отправился в Италию...* — В 1800 г. Стендаль был зачислен сублейтенантом в драгунский полк, действовавший в Италии, где в то время войска Наполеона Бонапарта сражались с австрийской армией.

*Поль-Луи* — то есть Поль-Луи Курье.

*...забавника Шарле из «Мемориала».* — В 1841 г. Н. Шарле иллюстрировал «Мемориал Св. Елены» (1823), дневник секретаря Наполеона на острове Св. Елены Э. Ласказаса, который вплоть до ноября 1816 г. записывал все разговоры и замечания Наполеона.

Стр. 463. *Созражданин я каждого, кто мыслит.* — Строка из поэмы А. де Ламартина «Марсельеза мира» (1841).

Стр. 464. *...то, что он написал о Россини...* — Речь идет о книге Стендаля «Жизнь Россини» (1824).

*В своем «Путешествии»...* — Речь идет о путевых заметках Шатобриана «Путешествие из Парижа в Иерусалим» (изд. 1811).

Стр. 466. ...*иллюстрировал гетевского Фауста*. — Имеются в виду семнадцать литографических иллюстраций Э. Делакруа к французскому изданию «Фауста» (в переводе А. Стапфера, 1828), по поводу которых сам Гете сказал: «Я вновь обретаю в этих образах все настроения моей юности».

...*Персье и Фонтеном*... — Шарль Персье (1764—1838) — французский архитектор, один из ведущих представителей стиля ампир. В 1794—1814 гг. работал вместе с архитектором Пьером-Франсуа-Леонаром Фонтеном (1762—1853).

...*стирает на картине Корреджо прелестное лицо Ио*... — Речь идет о сыне герцога Орлеанского, который изрезал на куски картины Корреджо «Леда» и «Юпитер и Ио», так как нашел их непристойными.

Стр. 467. *Сенанкур* (Этьен Пивер, 1770—1846) — французский писатель, автор романа «Оберман» (1804), представляющего собой исповедь разочарованного героя, охваченного «мировой скорбью».

Стр. 468. *Арена* Жозеф (1771—1801) — французский политический деятель, казненный за участие в заговоре против Наполеона.

*Каде-Гассикур* Шарль-Луи-Феликс (1789—1861) — французский политический деятель, либерал, принимал активное участие в Июльской революции 1830 г. По профессии был фармацевтом.

«*Лексикон флюгеров*, или Автопортреты наших современников» (1815) — сатирический сборник-словарь, составленный графом Сезаром де Пруази д'Эпп. Содержал высказывания различных государственных и литературных деятелей, которые на протяжении двадцати пяти лет (1790—1815) приспосабливались ко всем сменявшимся во Франции политическим режимам.

*Манюэль* Жак-Антуан (1775—1827) — французский политический деятель, либерал. В 1823 г. был исключен из палаты депутатов ее реакционным большинством за выступление против отправки французских войск на подавление революционного движения в Испании.

...*дух Конгрегации*. — Имеется в виду конгрегация св. Девы — религиозно-политическая ассоциация, основанная в 1801 г. и ставшая в годы реставрации Бурбонов центром ультрароялистской и церковно-католической реакции во Франции.

*Он примирился с Июльской монархией...* — Это утверждение не соответствует истине. Хотя Стендаль находился на государственной службе, он относился к Июльской монархии резко отрицательно, о чем свидетельствует роман «Люсьен Ле-вен» (1834) и другие его произведения.

Стр. 470. *...на манер Генриха IV в его «Письмах»...* — Речь идет о «Деловых письмах Генриха IV» (Генриха Наваррского), опубликованных в 1857 г. французским филологом Ж. Берже де Ксивре.

Стр. 471. *«Беседа маршала д'Окенкура с отцом Канне»* (изд. 1761) — сборник исторических анекдотов о французском маршале д'Окенкуре (1599—1658), составленный поэтом Ш. де Шарлевалем (ок. 1613—1693). Далее перечисляются произведения французской прозы XVIII в.

*...последнего хорошо написанного памфлета...* — Франс имеет в виду памфлет Камиля Демулена от 15 декабря 1793 г., в котором Демулен, уже примкнувший к контрреволюционным силам, требовал ликвидации органов якобинской диктатуры и яростно нападал на левую группировку эбертистов.

Стр. 472. *Саломон Рейнак* (1858—1932) — французский филолог-классик, искусствовед и археолог.

*Марсий* (греч. миф) — сатир, возгордившийся своей игрой на тростниковой флейте, посмевавший вызвать на состязание Аполлона и жестоко наказанный за свою дерзость.

### Поль-Луи Кушу. Мудрецы и поэты Азии

Написано в январе 1920 г. Впервые опубликовано в 1921 г. (на английском языке) в качестве предисловия к изданию книги П.-Л. Кушу, названной в английском переводе «Японские впечатления» (Лондон — Нью-Йорк, изд. Дж. Лейна, 1921). Во Франции напечатано в 1923 г. в качестве предисловия к четвертому (французскому) изданию «Мудрецов и поэтов Азии» (изд. Кальман-Леви) и перепечатано в январе 1924 г. в журнале «Japon et Extrême-Orient».

Стр. 474. *Клио* (греч. миф.) — муза истории.

*Рождается нечто более великое* (чем «Илиада») — Этими словами римский поэт Секст Проперций (I в. до н. э.) приветствовал выход в свет «Энеиды» Вергилия.

Стр. 477. *Басё* (1644—1694) — японский лирический поэт.

Стр. 479. ...с историческими трудами обоих *Тьерри*... — то есть Огюстена Тьерри и его брата Амедея Тьерри.

*Фереро* Гульельмо (1871—1942) — итальянский историк, социолог и публицист, автор труда «Величие и падение Рима».

Стр. 481. ...величайший из латинских поэтов... — то есть Вергилий. Желая прославить Августа, автор «Энеиды» возводил его род к Венере, матери Энея.

#### ИЗ ПЯТОЙ СЕРИИ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ»

Пятая серия «Литературной жизни» вышла в свет в издательстве Кальман-Леви в ноябре 1949 г. Том состоит из 35-ти статей, первоначально опубликованных в газете «Temps» с 9 мая 1886 г. по 23 апреля 1893 г.; при жизни Франса они в сборник объединены не были. Издание осуществлено французским филологом, исследователем жизни и творчества Франса, Жаком Сюффелем.

#### Воспоминания о Шанфлери

Впервые напечатано 15 декабря 1889 г.

Стр. 482. *То был роскошный журнал, рассчитанный на библиофилов...* — Речь идет о журнале «Le Bibliophile Français illustré», основанном в мае 1868 г. издателем Башлен-Дефлореном, близким знакомым отца А. Франса. Франс вел здесь отдел библиографии под рубрикой «Книги за месяц» (с мая 1868 г. по июль 1873 г., с перерывами).

...об *инкунабулах...* и *старинной ксилографии*. — Инкунабулы (от лат. *incunabula* — колыбель) — первые книги, отпечатанные с наборных форм (литер) до начала широкого применения книгопечатания (до 1500 г.). Ксилография (греч.) — гравюра на дереве.

Стр. 483. ...под справочниками *д'Озье* и *Ла Шене-Дебуа...* — Имеются в виду родословные аристократических семейств Франции.

*Гиньоль* — театр марионеток, основанный во Франции в 1795 г.

Стр. 484. ...*торговавшего ножевым товаром во времена Дидро-отца*. — Отец Д. Дидро был зажиточным ножовщиком.

Стр. 485. *Тренгль* — герой романа Шанфлери «Господин Тренгль» (1866).

Стр. 486. ...*мистификатор, который... слыл грозюю Лана...* — Шанфлери был уроженцем гор. Лана.

Поль Верлен. — «Мои больницы»

Впервые напечатано 15 ноября 1891 г.

Стр. 488. ...*побывал у Брусса, Тенона, Кошена, в Сент-Антуане и Венсенне* — то есть в различных больницах Парижа и его окрестностей.

*Он не принадлежит к числу чахоточных лириков.* — Эжезип Моро действительно погиб от туберкулеза в больнице на «койке для бедных» (1838). Жак-Шарль-Луи де Мальфилатр умер от последствий хирургической операции (1767). О поэтической легенде, возникшей в связи с ранней смертью Жильбера, — см. примеч. к стр. 232.

«*Бедный Лелиан*» — поэтическое прозвище Верлена.

Стр. 489. «*Карагез*» — театр марионеток в Константинополе, названный по имени главного комического персонажа — куклы.

Стр. 492. *Кюре Жан Шуар* — персонаж басни Лафонтена «Кюре и мертвец»; шел за гробом и высчитывал, какой доход он получит от похорон; в это время телега покачнулась, труп упал и придавил кюре насмерть.

*Священная Порциункула* (близ гор. Ассизи) — первая обитель нищенствующего монашеского ордена францисканцев, основанного в 1209 г. Франциском Ассизским.

Стр. 494. *Агиография* (греч.) — вид церковной литературы, «жития святых».

*Паков Ворагинский* (ок. 1230—1298) — доминиканский монах, епископ Генуи; составил обширный сборник житий святых, названный в XV в. «Золотой легендой».

Эльвира. Диалог

Впервые напечатано 24 января 1892 г. Книга Ф. Рейсье «Юность Ламартина» (1892) явилась для Франса лишь поводом к постановке общих проблем искусства. Но в сентябре

того же года Франс, получив от своего друга архивариуса Этьена Шаравэ подлинные письма г-жи Шарль («Эльвиры»), напечатал в «Temps» четыре статьи, в которых подробно изложил историю жизни возлюбленной Ламартина («Эльвира Ламартина. Г-н и г-жа Шарль, согласно неопубликованным документам»). Отдельным изданием эти статьи вышли в свет в 1893 г. (изд. Э. Шампиона). Несколько фрагментов из диалога «Эльвира» Франс включил в свою книгу «Сад Эпикура» (1894).

Стр. 495. *Грациелла... стала всего лишь мечтой.* — О своем юношеском приключении в Италии Ламартин рассказал в романе «Грациелла» (1852, фрагмент из книги «Исповедь»): неаполитанская табачница превращена здесь в поэтическую искательницу кораллов, умершую от любви к жестокому и эгоистичному поэту. Грациелле посвящены и несколько стихотворений Ламартина.

Стр. 498. *Гиссарлык* — холм в Малой Азии (в нескольких километрах от Дарданелл), где в 1871 г. немецкий археолог, коммерсант Г. Шлиман (1822—1890) произвел раскопки и обнаружил остатки древней Трои.

*«Все непреходящие произведения — произведения на случай»* — не совсем точная цитата из автобиографической книги Гёте «Из моей жизни. Поэзия и правда».

Стр. 500. *...господин Александр...* — Имеются в виду рассуждения биографа Ламартина Ш. Александра в его книге «Г-жа Альфонс де Ламартин». Весь этот отрывок почти дословно заимствован Франсом из книги Ф. Рейсье «Юность Ламартина».

*Умолкла. Мы сердца и взоры наши слили...* — Строфы из первого варианта (1817) оды Ламартина «Озеро» (сб. «Поэтические размышления», 1820).

*Она любила, страдала, умерла.* — Ламартин встретился с Жюли Шарль летом 1816 г. на одном из савайских курортов. 18 декабря 1817 г. она умерла от туберкулеза.

Стр. 501. *Бертен Антуан* (1752—1790) — французский поэт, автор сборника «Любовные элегии» в трех книгах. Был прозван «французским Проперцием».

*Еще блаженней миг, когда, смеясь, сквозь слезы...* — Строки из элегии Ламартина «Эль[вире]» (сб. «Новые поэтические размышления», 1823).

*Тебя я поднял с губ хладеющих ее...* — Начальная строка стихотворения Ламартина «Распятие» (сб. «Новые поэтические размышления»).

### Социалистическая литература

Впервые напечатано 31 января 1892 г. Ряд фрагментов из этой статьи Франс позднее включил в «Сад Эпикура» (1894), однако при этом, в соответствии с общим пессимистическим характером книги, придал своим рассуждениям об общественном прогрессе более скептическое звучание.

Стр. 503. *Теодор де Визева* (настоящая фамилия Визевский; 1863—1917) — французский писатель, поляк по происхождению, убежденный католик, автор реакционной книги «Социалистическое движение в Европе».

Стр. 504. *«Ша-Нуар»* («Черный кот») — парижское кабаре, открытое в 1881 г. на Монмартре Родольфом Сали; посещалось главным образом представителями литературной и артистической богемы. Успеху кабаре способствовал основанный Родольфом Сали «театр теней», в котором представление осуществлялось с помощью вырезанных из цинка силуэтов.

*На Марсовом поле... других, жестоко обманутых надежд...* — 17 июня 1791 г. на Марсовом поле в Париже королевские войска расстреляли первую значительную демонстрацию республиканцев.

*Аристофан из «Ша-Нуар»* — Морис Доннэ, поставивший в театре теней «Ша-Нуар» свою комедию (по мотивам Аристофана) «Лизистрата» (1893).

*...во вкусе г-на де Мена.* — Граф Альбер де Мен (1841—1914) — французский реакционный политический деятель, монархист и католик, проповедник «христианского социализма».

*Аллеманисты* («Рабочая социал-революционная партия») — одна из оппортунистических группировок во французском рабочем движении конца XIX — начала XX вв., возникшая в 1890 г. (во главе с Ж. Аллеманом) и носившая полуанархистский, синдикалистский характер. Аллеманисты резко выступали против левого течения во французском рабочем движении — гедистов.

Стр. 505. *Неисчислимы наши силы...* — Цит. строки из поэмы Луизы Мишель «Побежденная революция».

Стр. 506. «Зал Граффара» — картина художника Жана Бера (1884), изображающая социалистический митинг.

### Памятник Бодлеру

Впервые напечатано 2 октября 1892 г.

1 июня 1887 г. в «Revue des Deux Mondes» была опубликована статья Брюнетьера «Шарль Бодлер», обличавшая автора «Цветов зла» как безнравственного поэта. Франс ответил ему статьей «Шарль Бодлер» («Temps», 14 апреля 1889 г.). Poleмика возобновилась в 1892 г., в связи с проектом открытия памятника Бодлеру. В статье «Памятник Бодлеру» («Revue des Deux Mondes», 1 сентября) Брюнетьер выступил против увековечения памяти поэта. В ответной статье того же названия («Temps», 2 октября) Франс (который состоял членом комитета по увековечению памяти Бодлера), повторив характеристику Бодлера, данную им в статье 1889 г., уже прямо обвиняет Брюнетьера в посягательстве на свободу литературы. Памятник Бодлеру был открыт только 26 октября 1902 г.

Стр. 512. «Уклонения». — Имеется в виду работа французского богослова, епископа Жана-Бениня Боссюэ «История уклонений протестантских церквей» (1688), в которой Боссюэ, порицая протестантство, прославлял католицизм как единственную «истинную религию», всегда опирающуюся на одни и те же христианские догмы.

*Утром она цвела...* — Строки из надгробной речи Боссюэ, посвященной Генриетте Английской, герцогине Орлеанской (21 августа 1670 г.).

Стр. 513. *...после Корнеля, автора «Подражания Христу»...* — В 1651—1656 гг. Корнель перевел французскими стихами латинское сочинение Фомы Кемпийского «Подражание Христу».

Стр. 514. *...утверждал, что все поэты — совратители народа.* — Имеется в виду сочинение Барбье д'Окура «Ответ на первое письмо Расина, направленное против Пор-Рояля» (1666). Возражая Расину, защищавшему театральные зрелища от нападков янсенистов, Барбье д'Окур поддержал Пьера Никола в его критике романистов и драматургов.



## Стефан Малларме. — «Стихи и проза»

Впервые напечатано 15 января 1893 г., в связи с выходом в свет сборника избранных произведений Малларме «Стихи и проза» (1893). Французские критики (А. Антониу, Г. Мондор, Ж. Сюффель и др.) ошибочно рассматривают эту статью как свидетельство примирения Франса с Малларме и школой символизма. Между тем признание таланта и стилистического мастерства Малларме отнюдь не означает принятия Франсом символистской литературы в целом.

Стр. 515. *...своего товарища по Парнасу.* — В юности Малларме примыкал к группе французских поэтов «Парнас».

Стр. 516. *...я цитирую страницу из «Современников»...* — Цит. строки из статьи Ж. Леметра «Стефан Малларме», напечатанной в журнале «La Revue Bleue» и затем перепечатанной в сборнике литературно-критических статей Леметра «Современники» (пятая серия, 1892).

Стр. 517. *...простого или тройственного смысла... стихотворения...* — Малларме утверждал, что произведение искусства должно содержать три смысла; третий (высший) смысл способен постичь лишь «посвященный». Франс неоднократно высмеивал эту теорию.

Стр. 520. *...как ракановскому Тирсису...* — «Стансы об удивлении» французского поэта Оноре де Ракана (1618) начинаются словами: «Тирсис, давно пора подумать о покое...»

*Кому же принадлежали эти фарфоровые часы...* — Начальные строки стихотворения в прозе Малларме «Дуновение зимы».

*И. К о в а л е в а*

## ПУБЛИЦИСТИКА АНАТОЛЯ ФРАНСА

Публицистика Франса — неотъемлемая часть его творчества. Публицистичность, живой отклик на злободневные вопросы общественной жизни характерны для всех его наиболее значительных художественных произведений. Нередко Франс включал целые публицистические статьи или отрывки из них непосредственно в художественную ткань своих романов и рассказов. Так в книгу «Суждения господина Жерома Куань-

яра» вошли фельетоны, написанные по поводу панамской аферы, в «Современную историю» — статьи, появившиеся в связи с делом Дрейфуса, в книгу «На белом камне» — статьи, посвященные событиям русско-японской войны.

Первые публицистические выступления Франса в печати относятся еще к концу 60-х гг., когда молодой писатель в ряде небольших заметок, появившихся в оппозиционной газете «Le Rapprel», высказывал ироническое отношение к режиму Второй империи.

В середине 70-х гг. Франс начинает регулярную журналистскую деятельность: с 1875 по 1879 и с 1886 по 1893 г. он постоянный сотрудник газеты «Temps», где в литературно-критических статьях затрагивает и общественно-политические вопросы. С 1883 по 1896 г. Франс ведет еженедельный обзор политических событий — «Парижский курьер» в журнале «L'Univers illustré» (вначале совместно с журналистом О'Монруа, под общим псевдонимом «Жером», а затем — самостоятельно). В то время Франс еще стоял в стороне от передового общественного движения, в его статьях еще нет ни ясной политической позиции, ни острой сатиры. Со зрелой публицистикой Франса их роднит только антиклерикализм, который, постепенно усиливаясь, пройдет через все творчество писателя. В 80-е гг. сущность буржуазной демократии еще не ясна Франсу, он выступает главным образом против врагов Третьей республики, против попыток монархической реставрации.

В начале 90-х гг. во взглядах писателя намечается перелом. От скептического, пассивного созерцания Франс под влиянием обострившейся общественно-политической борьбы переходит к резкой и действенной критике буржуазной республики. Уже в 1893 г. в связи с панамской аферой он публикует в газете «Echo de Paris» несколько публицистических статей — «фельетонов» (в том числе «Дело о Миссисипи», 15 марта 1893 г.), разоблачавших коррупцию государственного аппарата, власть финансовой олигархии. К концу 90-х гг. Франс сближается с прогрессивными кругами, его критическое отношение к Третьей республике в эти годы углубляется. Публицистика занимает теперь в его творчестве весьма значительное место; усиливается публицистическое звучание его литературно-критических статей и художественных произведений. Тетралогия «Современная история», сборник рассказов «Кренкебиль, Пютуа и др.» убедительно свидетельствуют о росте пуб-

лицистической и сатирической тенденций, об углублении демократизма в творчестве Франса, об усилении его интереса к социальным вопросам.

Франс резко порывает со многими старыми друзьями, от которых теперь его отделяет различное отношение к политическим событиям. Он сближается с социалистическими деятелями: с конца 90-х гг. его близким другом становится Жан Жорес, среди его друзей — социалист Шарль Лонге, активные дрейфусары — Фердинанд Бюиссон, Габриэль Сеайль. Франс уходит из реакционной газеты «Écho de Paris», начинает сотрудничать в левореспубликанских газетах и печататься в социалистической прессе.

С 1904 г., с момента выхода первого номера основанной Жоресом газеты «L'Humanité», и до 1924 г. Франс — постоянный сотрудник этой газеты. Многие его статьи печатались в «L'Humanité» в качестве передовиц.

В 1904—1908 гг. Франс публикует свои статьи также и в австрийской газете «Neue Freie Presse» (Вена), где ведет политический обзор под общей рубрикой «Венский курьер».

В борьбе прогрессивных и реакционных сил, которая развернулась во Франции в конце 90-х — начале 900-х гг., Франс принимает самое активное участие. Подобно своему любимому герою господину Бержере, он покидает тишину кабинета и отдается разнообразной напряженной общественной деятельности.

Он выступает и председательствует на многих собраниях и митингах, принимает участие в защите Дрейфуса, участвует в работе народных университетов, знакомится с прежде совершенно неизвестной ему рабочей средой. Большинство его статей, вошедших в книгу «К лучшим временам», возникло из речей перед многолюдной аудиторией.

Одна из основных тем публицистики Анатоля Франса этого периода — борьба против клерикально-националистической реакции. В конце 90-х гг. давно назревавший конфликт между монархическо-клерикальными силами, военной кликой, с одной стороны, и демократическими кругами — с другой, чрезвычайно обострился в связи с делом Дрейфуса, о котором Ленин писал, что это «одна из тысяч и тысяч бесчестных проделок реакционной военщины» (Л е н и н , Соч., изд. 4-е, т. 31, стр. 78). 14 января 1898 г. Франс вместе с Золя подписывает петицию с требованием пересмотра дела Дрейфуса; он свидетель защиты на процессе Золя, дважды выступает на митингах в защиту под-

полковника Пикара, вскрывавшего преступления военной клики.

Борьба с реакцией усилилась в 1902 г. в связи с выборами в законодательные органы Франции, писатель принимал деятельное участие в предвыборной кампании, поддерживая «левый блок» — объединение республиканских буржуазных партий, к которому примыкали и социалисты. Он был председателем избирательной комиссии Шестнадцатого округа Парижа. Главная тема предвыборных выступлений Франса — разоблачение связей монархистов, клерикалов и националистов, разоблачение их заговора против республики, лживости их обещаний избирателям («О моральной стороне парламентских выборов», 21 декабря 1901 г.; «Речь о свободе выборов», 20 апреля 1902 г.). Большую роль в избирательной кампании сыграла речь Франса (4 мая 1902 г.), в которой он, характеризуя националистов, использовал сатирический образ трубуионов («баламутов») из «Современной истории».

В предвыборной борьбе важное значение имел вопрос об отношении к церкви. Борьба с церковью, с мертвящим христианским аскетизмом, с религиозным фанатизмом проходит красной нитью через все творчество Франса, начиная с ранней драматической поэмы «Коринфская свадьба» (1876) и кончая антирелигиозной сатирой в романе «Восстание ангелов» (1912). В публицистике 900-х гг. эта тема также получает значительное развитие.

Опираясь большим количеством фактов из истории католицизма, Франс доказывает, что церковь — самое страшное орудие реакции, что она — «давняя потребительница всякой мысли, всякого знания, всякой радости», что современная клерикальная партия — орудие политики папского престола, что она действует во вред интересам Франции. Вершиной антиклерикальной борьбы Франса можно считать его публицистическую книгу «Церковь и республика», вышедшую отдельным изданием в 1905 г., где дан краткий обзор борьбы Ватикана за политическую власть и критикуется политика французского правительства по отношению к католической церкви. Франс резко говорит об оппортунистической политике Гамбетты, который, выдвигая громкие лозунги, по сути дела увел борьбу с церковью в область абстрактных рассуждений и теоретических дискуссий. Поддерживая в целом антиклерикальную политику радикального правительства Э. Комба, Франс критикует

ее половинчатость и требует решительного и скорейшего отделения церкви от государства, полного освобождения народного образования из-под опеки монашеских, главным образом иезуитских, организаций. «Церковь и республика» — блестящий образец боевой публицистики Франса, книга написана живо, интересно и остро полемично.

Защищая избирательную платформу и кандидатов левого республиканского блока, Франс, однако, никогда не выступает апологетом Третьей республики; он постоянно говорит о забвении буржуазией демократических принципов, о нарушении конституции, о перерождении республиканских институтов и превращении их в ширму, прикрывающую происки финансистов и националистов. Несколько позже, в статье «Бессилие парламента» (1908), Франс объяснял нерешительность парламента в решении социальных вопросов тем, что в республике подлинными хозяевами стали финансисты, «парламент же является слабым отражением власти богачей». В 900-е гг. у писателя нет уже никаких иллюзий относительно сущности буржуазной демократии.

Выступает Франс и против империалистической внешней политики Третьей республики, — он осуждает участие Франции в расчленении Китая, борьбу за захват Марокко. Ряд своих статей и выступлений писатель посвящает судьбе угнетенных колониальных народов. Он один из организаторов широкой общественной кампании в защиту армян от преследований турецкого правительства, в защиту испанских крестьян, восставших против феодальных порядков в стране. 30 января 1906 г. он произносит большую речь «Против колониального варварства», где выдвигает тезис о равенстве всех рас и национальностей, говорит о преступлениях империалистических колонизаторов, о неудержимо растущем гневе колониальных народов против угнетателей. Так же, как в свое время Гюго, Франс выступает в защиту и поддержку борьбы угнетенных народов.

Важно отметить большое место, которое уделено в публицистике Франса 900-х гг. рабочему вопросу. Франс противопоставляет буржуазии новый класс — пролетариат, причем видит его творческие, созидательные возможности («Дидро, друг народа»). Он постоянно повторяет, что пролетариату принадлежит будущее, что пролетариат — решающая сила общественного развития (Речь на собрании народного университета «Социальное образование», 1902). Понимание исторической

роли пролетариата — сильная сторона публицистики Франса 900-х гг.

Много внимания уделяет Франс проблеме социализма. Вопрос о социализме возникает в его публицистике еще в самом начале 90-х гг. В статьях, написанных под свежим впечатлением от первой первомайской демонстрации 1890 г., в статье «Социалистическая литература» (1892) Франс отмечает широкое распространение идей социализма среди рабочих. Тема социализма появляется в начале 900-х гг. и в художественном творчестве писателя («Господин Бержере в Париже», 1901). Господин Бержере мечтает о социалистической Европе, хотя для него так же, как и для самого Франса, социализм — это еще нечто неопределенное и неясное. Позднее Франс приходит к пониманию исторической необходимости социализма, единственного и закономерного выхода из противоречий капиталистического мира (книга «На белом камне», 1904). В многочисленных речах 900-х гг. («Дидро, друг народа» и др.) Франс подчеркивает свою веру в социализм — общество будущего. Однако воззрения Франса были далеки от научного социализма. На его взглядах сказалось влияние правого крыла французского социалистического движения, в частности влияние Жореса. Вслед за Жоресом Франс утверждает в книге «На белом камне» возможность перехода к социализму в результате мирной эволюции капитализма, путем завоевания социалистами парламентского большинства и простого выкупа у капиталистов средств производства. В предисловии к книге Эберлина-Дарси «Очерк коллективистского общества» (1908) Франс высказывает те же мысли об естественном, мирном перерастании капитализма в социализм. Поэтому в статьях и речах Франса начала 900-х гг., затрагивавших проблему социализма, вопрос о революции не ставился.

Ошибочные взгляды Франса на социализм и на пути его достижения во многом объясняются общим состоянием французского социалистического движения начала XX в. Опортунистическое руководство французской социалистической партии всячески тормозило и сдерживало нарастающую революционную борьбу рабочих; Всеобщую конфедерацию труда, объединявшую большинство французских профсоюзов, возглавляли анархо-синдикалисты, подчинившие своему влиянию значительную часть рабочих. Известное влияние анархо-синдикалистских взглядов сказалось и в ряде речей А. Франса. Писа-

тель неоднократно выступал с поддержкой деятельности Всеобщей конфедерации труда, приветствуя новые синдикаты (Речь на конференции учителей, 1906; Речь на митинге работников Электрической компании, 1906). Франс характеризует их как основную форму рабочего движения, ни словом не упоминая о роли и значении революционной рабочей партии. В духе ошибочных синдикалистских взглядов писатель утверждает, что профсоюзы должны действовать совершенно независимо от государства, что они должны заменить собой государственные органы будущего. В статье «Страх» (1908), рассматривая различные направления синдикалистского движения, Франс высказывается за развитие «мирного» синдикализма, восхваляет платформу центра.

Среди многочисленных публицистических выступлений Франса 900-х гг. особое место занимают его речи о народных университетах, о задачах искусства и просвещения. Франс принимал самое горячее участие в создании народных университетов, начало которым положили первые рабочие кружки самообразования, возникшие в 90-е гг. В период борьбы левого блока с националистической реакцией радикальная буржуазная интеллигенция поддерживала это движение; было организовано «Общество народных университетов», одним из членов которого являлся Франс. Народные университеты, сыграв определенную положительную роль в развитии просвещения среди рабочих, вскоре, однако, попали под влияние анархо-синдикалистов, стали центрами анархической пропаганды и перестали отвечать своим первоначальным целям.

Призывая рабочих овладеть знаниями, наукой, Франс обращается к ним как к созидательной силе будущего (Речь на собрании народного университета «Социальное образование», 1902). Франс подчеркивает, что знания, приобретенные рабочими, должны быть поставлены на службу борьбе пролетариата, способствовать достижению главной цели — его освобождения. Он возражает против попыток поставить преподавание в народных университетах вне политических проблем и задач рабочего движения, призывает сделать науку мощным орудием в борьбе с реакцией, с церковью, со всякого рода суевериями (Речь на открытии народного университета «Пробуждение», 1900; Речь на открытии социалистической типографии, 1901). В его речах звучит большое искреннее уважение к человеку труда, к народу-творцу, к тысячам безвестных и безы-

мянных народных мастеров. Он протестует против презрительного отношения к физическому труду, что особенно ярко прозвучало в его речи в «Гражданском театре» (1900) и в речи, посвященной Дидро. Франс спорит с теоретиками «чистого» искусства, считающими прикладное искусство чем-то второстепенным. В прикладном искусстве, в творениях многих сотен и тысяч мастеров писатель видит проявление народного гения; для него существует лишь одно искусство, великое во всех своих подлинных созданиях. В обстановке усиливающегося влияния декадентства на французскую культуру конца XIX в. Франс говорит о необходимости демократизации культуры, приближения ее к народу. В 1901 г. он принимает участие в организации общества «Искусство для всех», поддерживает попытку Р. Роллана создать народный театр.

Франс, некогда скептик и эпикуреец, со снисходительной усмешкой взиравший на жизнь и людей, в начале 900-х гг. утверждает необходимость боевого гражданского искусства. За публицистическую страстность ценит он творчество художника Стейнлена («Слово о Стейнлене», статья в сборнике «Мастера-художники», 1902); видит величие Золя в том, что он «боролся с социальным злом всюду, где только с ним сталкивался» (Речь на похоронах Эмиля Золя, 5 октября 1902 г.). В речи, посвященной столетию со дня рождения В. Гюго (1902), Франс прежде всего говорит о Гюго как о писателе-трибуне, борце с общественным злом и несправедливостью. Интересно выступление Франса на обеде в редакции журнала «Les Lettres» 15 июня 1906 г., в котором он предостерегал молодых поэтов и писателей от увлечения «чистым искусством». Франс высоко ценил революционное искусство Горького, «поэта и человека действия».

Наивысший подъем публицистической деятельности писателя, дальнейшее развитие и углубление его общественных взглядов связаны с русской революцией 1905 г. Франс и раньше внимательно следил за событиями в России. Весной 1901 г. он подписал протест против преследования русских революционеров; в годы русско-японской войны опубликовал несколько статей, разоблачавших захватнический, империалистический характер этой войны («Война», «Парадоксы русско-японской войны»). С момента первых известий о революционных событиях 1905 г. Франс выступает в защиту русской революции. Он основывает «Общество друзей русского народа и присоеди-



ненных к России народов» (февраль 1905 г.), его избирают председателем этого Общества. В манифесте Общества говорилось, что его «цель — каждодневная постоянная помощь освободительной борьбе русского народа». «Общество друзей русского народа» публиковало воззвания, петиции, протесты, организовывало многолюдные митинги, как правило, при участии Франса. Общество выпускало специальные периодические бюллетени о ходе событий в России. Большевицкая газета «Вперед» в номере от 2 (15) марта 1905 г. сообщила своим читателям об организации и деятельности Общества, «руководимого известным писателем Франсом».

Франс один из первых откликнулся на призыв газеты «L'Humanité» — помочь жертвам Кровавого воскресенья. Он подписал также протест против ареста М. Горького, опубликовал воззвание «Ко всем свободным людям», требуя освобождения «писателя, который принадлежит всему миру». Франс произнес шесть публичных речей в защиту русской революции. Он утверждал, что царизм обречен, требовал его уничтожения, подчеркивал общность мировой империалистической реакции: «Если в России — царизм, то в Англии, в Германии, в Соединенных Штатах Америки — империализм, в Бельгии — клерикализм, в Италии — реакция, во Франции — национализм» (Речь на митинге в защиту русского народа, 1 февраля 1905 г.). Франс разоблачал империалистических союзников царизма и призывал пролетариат к солидарности, к сплоченной борьбе «против всемирного триумvirата священника, финансиста и солдата». В каждой из своих речей он отмечал всемирное значение русской революции 1905 г. Следует отметить, что Франс правильно оценил значение всеобщей политической забастовки в России. В статьях о русской революции 1905 г. у него впервые появляется тезис о необходимости революционной вооруженной борьбы.

Борьба в защиту русской революции 1905 г. была непосредственно связана с борьбой против предоставления царскому правительству новых займов для подавления революции. Франс несколько раз выступает в печати против займа, горячо поддерживает обращение Горького «Ни гроша русскому правительству», вскрывает позорную роль французской финансовой олигархии в подавлении русской революции, преступный сговор мировой реакции. Позже, даже в самое тяжелое время разочарований и сомнений, Франс не переставал говорить о

своим восхищением героизмом русских революционеров; на вечере в честь Веры Фигнер 17 апреля 1908 г. он заявил, что «эра революции в России еще не завершилась и самодержавие не одержало решительной победы».

Предвоенные годы были очень тяжелыми для писателя. Поражение революции 1905 г. в России, раскол и ослабление французского рабочего движения, предательство многих социалистических лидеров, ставших министрами и расстреливавших рабочие демонстрации, усиление реакции в стране — все это порождает у Франса чувство глубокого пессимизма; он временно теряет веру в действенность революционной борьбы. Писатель почти не выступает с речами, реже печатает публицистические статьи. Одним из наиболее значительных его выступлений этого периода является статья «Страх» (сентябрь 1908 г.), где он говорит о ренегатстве социалистов Бриана и Вивиани и с горечью констатирует разобщенность рабочего движения. Интересно замечание Франса о том, что страх буржуазного правительства перед рабочим движением порождает политику жестокостей и репрессий, наподобие политики Клемансо, что империалистам выгодно запугивать народы войной, чтобы держать их в повиновении. Ряд публичных выступлений этих лет Франс посвящает разоблачению империалистической политики французского правительства, опасности войны (Речь к студентам, 1910). И в эти мрачные годы он все же сохраняет верность своим прежним идеалам, неоднократно говорит о своей приверженности идее социализма («Ответ господину Бернарду Шоу», 1913).

В 1913 г. в Брюсселе, на открытии «Дворца грядущих времен», построенного рабочими, он вновь характеризует пролетариат как класс, которому принадлежит будущее. «Пролетарская правда» в номере от 25 декабря 1913 г. отметила эту речь Франса.

В начале первой мировой войны Франс на некоторое время оказался под влиянием шовинистической пропаганды. Это нашло отражение в его статьях, собранных в книге «На славном пути» (1915). Впоследствии писатель не раз говорил, что создание этой книги он считает самым постыдным поступком своей жизни. Уже в 1916 г. он выступает с осуждением войны, говорит о ее империалистическом характере, приветствует появление революционной книги Барбюса «Огонь». Позднее, в 1922 г., в письме к Марселю Кашену по поводу анти-

военного романа Мишеля Корде «Доменные печи» Франс предельно четко сформулировал свое отношение к первой мировой войне: «Думают, что умирают за родину, а умирают за капиталистов».

Новый подъем общественной и публицистической деятельности Анатоля Франса связан с событиями 1917 г. Великая Октябрьская социалистическая революция вернула престарелому писателю веру в революцию, в социализм, освободила его от чувства пессимизма, разрешила его мучительные колебания и сомнения. Этот перелом во взглядах Франса не успел найти отражения в его художественном творчестве (в последние годы жизни писатель выпустил лишь две книги воспоминаний: «Маленький Пьер» и «Жизнь в цвету»), но ярко проявился в публицистике. Известно около 50-ти статей и речей Франса, относящихся к 1918—1924 гг., в которых писатель выступал как один из друзей и защитников молодой Советской республики.

26 октября 1919 г. в «L'Humanité» был помещен протест французской интеллигенции против блокады Советской России — первой стояла подпись Анатоля Франса. В. И. Ленин в своем докладе на Седьмом Всероссийском Съезде Советов, 5 декабря 1919 г., отметил большое значение этого документа: «В том же номере «Юманите» от 26 октября, который я цитировал, помещено заявление целого ряда представителей французской интеллигенции, французского общественного мнения. В этом заявлении, которое начинается подписью Анатоля Франса, где есть подпись Фердинанда Бюиссона, я насчитал 71 фамилию представителей буржуазной интеллигенции, известных всей стране, которые говорят, что они против вмешательства в дела России»<sup>1</sup>. Ленин видел в этом выступлении «третью победу, которую мы одержали над империалистической Францией внутри ее самой»<sup>2</sup>. 14 августа 1920 г. газета «L'Humanité» опубликовала призыв Франса защищать Советскую республику («Призыв к пролетариату»).

В «Обращении к избирателям» (1919) Франс утверждает необходимость революционной борьбы с буржуазным обществом, но старые, не до конца преодоленные жоресистские взгляды все же сказываются в его призыве к «мирной революции». Однако знаменателен тот факт, что Франс увидел в Октябрь-

<sup>1</sup> В. И. Ленин, Сочинения, т. 30, стр. 196.

<sup>2</sup> Там же.

ской революции событие, которое может изменить мир, которое впервые принесло человечеству «народную власть, действующую в интересах народа» («Пятая годовщина русской революции», 1922).

Публицистическая деятельность Франса последних лет его жизни тесно связана с группой прогрессивных писателей «Кларте», созданной Барбюсом весной 1919 г. для борьбы против войны и интервенции. В. И. Ленин в специальном послании приветствовал деятельность «Кларте». Вместе с Барбюсом Франс — автор манифестов, деклараций «Кларте» — часто печатается в ее периодическом органе. Барбюс писал: «Нас вдохновляет пример первого мастера французской литературы, ее самого блестящего и любимого представителя — Анатоля Франса» («Речи борца»).

В 20-е гг. писатель вновь возвращается к активной общественной деятельности. В 1920 г. он становится председателем Комитета по защите томящихся в тюрьмах борцов против войны, он призывает общественное мнение осудить решение суда, оправдавшего убийцу Жореса. Во многих речах Франса звучит тревога за судьбы мира, тревога, вызванная политикой империалистических держав (Речь на учительском съезде в г. Туре, 1919; выступление в Стокгольме, 1921). Проблеме мира было посвящено и последнее публичное выступление писателя — на праздновании его восьмидесятилетия в зале Троцкого 24 мая 1924 г. Франс вновь говорил здесь о своей вере в социалистическое будущее: «Я более чем когда-либо верю в историческую миссию пролетариата и заранее приветствую грядущие победы социализма».

В последние годы своей жизни писатель сближается с коммунистами. 11 января 1921 г. «L'Humanité» поместила портрет Франса работы Стейнлена с сообщением: «Анатоль Франс заявляет о своей солидарности с коммунистической партией». Об этом же сообщала и «Правда» в номере от 13 января. 23 января 1921 г. Франс писал своему другу и ученику Пьеру Кальметту: «Я всегда восхищался Лениным, но только теперь я действительно большевик сердцем и душой». Конечно, далеко не все в коммунистическом движении Франс понимал и принимал, но он все же имел полное право сказать о себе, что он «...старик, который, разделив все политические ошибки своего времени, понял в конце своей жизни, что правда лишь во власти Народа и для Народа».

За плечами писателя лежал долгий и трудный путь, на этом пути у него было немало сомнений, колебаний и ошибок, но, пройдя его, он пришел к признанию революционной борьбы и социализма. Публицистика Франса — летопись этого сложного пути.

Выступая на многочисленных митингах, собраниях, заседаниях, Франс всегда полностью писал текст своих речей. Он неоднократно повторял: «Я обладаю красноречием только на бумаге... я не умею изъясняться иначе как с пером в руках...» Он тщательно отделывал каждое свое выступление, умело используя все богатство своей художественной палитры. В его речах звучит и патетика, и гневный пафос, и язвительный сарказм, и, конечно, излюбленная франсовская ирония. Франс насыщает свои речи мифологическими образами, всевозможными фольклорными и литературными параллелями, сравнениями. Любил он и резкий сатирический гротеск (предвыборные речи 1902 г.). Хотя все речи Франса писались, он, однако, умел придать им простоту и естественность непосредственного разговора, умел достигать общения с аудиторией.

При жизни писателя была издана лишь незначительная часть его публицистики: в 1902 г. вышел сборник «Социальные убеждения», включавший наряду с новеллами несколько статей Франса; в 1906 г. издатель Э. Пельтан напечатал в серии «Дешевая социальная и философская библиотека» три небольших выпуска статей и речей Франса под названием «К лучшим временам». В том же году эти выпуски (всего 48 статей) были объединены в книгу под тем же названием (по первоначальному замыслу она должна была называться «Для пролетариата»). Однако многие публицистические статьи и речи писателя 1898—1906 гг. не вошли в сборник. В полном 25-томном Собрании сочинений Франса, изданном в 1925—1935 гг. Кальманом-Леви, публицистика вообще не была представлена. Лишь в 1949 г. в издательстве «Editions Emile-Claude» в Париже началась публикация книги «К лучшим временам» в значительно дополненном и расширенном виде: том I, 1949 г., содержит публицистические произведения писателя 1898—1904 гг. (96 текстов); том II, 1953 г. — статьи 1905—1908 гг. (76 текстов); том III, 1957 г. — статьи 1909—1920 гг.

В царской России книга Франса «К лучшим временам» была строжайше запрещена. В докладе цензора В. К. Боаса Центральному комитету иностранной цензуры в августе

1906 г. указывалось, что выступления писателя и его «призыв: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь для подготовки наступления социальной справедливости и всеобщего мира!» — доказывают преступность содержания этой книги, вследствие чего она должна быть запрещена и невыдаваема частным лицам по просительным запискам...»

Только после Великой Октябрьской социалистической революции, в 1925 г., публицистические сборники Франса «Социальные убеждения» и «К лучшим временам» были опубликованы в русском переводе в издательстве «Социальные проблемы».

В настоящий восьмой том Собрания сочинений Анатоля Франса включены важнейшие статьи из последнего, расширенного издания книги «К лучшим временам», а также статьи и речи 1908—1924 гг., появлявшиеся в периодической печати того времени. Многие из них публикуются на русском языке впервые.

Знакомство с публицистикой Франса имеет большое значение для понимания всего творчества писателя, помогает читателю проследить идейное развитие Франса, его эволюцию от эпикурейца-скептика к писателю-борцу, другу русской революции 1905 г. и молодой Советской республики.

В публицистике Франса нашли отражение многие важнейшие события политической и общественной жизни Франции конца XIX — начала XX вв. Франс-публицист достойно продолжил общественно-демократическую традицию творчества таких великих французских писателей, как Вольтер, Гюго и Золя.

#### Речь в защиту подполковника Пикара

В 1896 г., во время дела Дрейфуса, подполковник Пикар обнаружил документы, свидетельствовавшие о том, что истинным виновником приписанного Дрейфусу преступления был граф Эстергази. Под давлением общественного мнения правительство вынуждено было назначить пересмотр дела Дрейфуса. Националистическая клика боялась разоблачений Пикара на этом процессе, — он был подвергнут очередному аресту и, обвиненный в «разглашении государственной тайны», должен был 12 декабря 1898 г. предстать перед военным судом. 3 декабря 1898 г. Анатолий Франс выступил с большой речью на митинге

в защиту Пикара. Эта речь была напечатана в газете «L'Аurore» 4 декабря 1898 г., включена в книги Франса «Социальные убеждения (1902) и «К лучшим временам» (1906) под названием «Армия и дело Дрейфуса».

Стр. 526. *...вы пошли на гнусный подлог...* — С ведома военного министра, генерала Мерсье, полковник Анри сфабриковал подложный документ, который фигурировал в процессе Дрейфуса как одно из важнейших доказательств его виновности.

### Речь на празднике народного университета «Рабочие вечера»

В 1895 г. рабочий-краснодеревщик Эмиль Мери с группой товарищей организовал в пригороде Парижа общество самообразования «Рабочие вечера», положившее начало организации ряда народных университетов. 7 января 1900 г. был устроен праздник в честь пятилетия общества, который открылся речью Анатоля Франса. В 1906 г. эта речь вошла в состав книги «К лучшим временам».

### Речь на представлении в «Гражданском театре»

Одновременно с созданием народных университетов в конце 90-х гг. парижские рабочие сделали попытку организовать народные театры. «Гражданский театр», основанный в 1897 г., давал общедоступные спектакли в различных помещениях Парижа. Его деятельность горячо поддерживала группа прогрессивных писателей (Э. Золя, А. Франс, Р. Роллан и др.). В ноябре 1899 г. они опубликовали в журнале «La Revue de l'art dramatique» письмо к министру просвещения Франции с предложением поддержать идею организации народных театров. Однако министр отделался лишь пустыми обещаниями. 13 апреля 1900 г. перед спектаклем в «Гражданском театре» выступили А. Франс и Ж. Жорес. Речь Франса была напечатана в газете «La Petite République» 15 апреля 1900 г. под заглавием «Единство искусств»; позднее она вошла в книгу «К лучшим временам».

Речь по случаю открытия народного  
университета «Пробуждение»

На открытии народного университета «Пробуждение» 4 марта 1900 г. выступили с речами Ж. Жорес, Ж. Аллеман и А. Франс. Речь Франса была напечатана 6 марта в газете «La Petite République» под названием «Пролетариат и наука»; в 1906 г. вошла в состав книги «К лучшим временам».

Речь по случаю пятисотлетия со дня рождения  
Гутенберга

24 июня 1900 г. «Французским союзом работников книги» было организовано чествование памяти изобретателя книгопечатания подвижными литерными Иоганна Гутенберга. Франс произнес вступительную речь, в которой он использовал только что написанную им для издателя Эдуарда Пельтана статью «О Иоганне Гутенберге с добавлением трактата Николя Ланжелье о призраках» (1900). Эта речь была включена в книгу «К лучшим временам».

Стр. 535. *...продолжатели Ульриха Геринга и Михеля Кранца* — У. Геринг и М. Кранц — швейцарские печатники, основавшие вместе с Мартином Фрибургом в начале 1470 г. в Сорбонне первую французскую типографию.

Стр. 537. *Библиофил Жакоб* — псевдоним французского литературоведа и историка Поля Лакруа (1806—1884), который издал серию книг под названием «Нравы, обычаи средних веков и Возрождения».

Стр. 538. *Мазариниева библия* — библия из книжного собрания кардинала Мазарини (XVIII в.).

Речь, произнесенная на празднестве  
в честь Дидро, друга народа,  
в зале Ваграм

29 июля 1900 г. «Лига защиты прав человека и гражданина» совместно с Обществом народных университетов устроила праздник в честь Дидро. А. Франс произнес речь, которая была



напечатана в газете «La Petite République» 31 июля 1900 г., а затем вошла в книгу «К лучшим временам».

Стр. 541. *Дюкло, Фердинанд Бюиссон, Габриель Сеайль.* — Эмиль-Пьер Дюкло, ученый-биохимик, Фердинанд Бюиссон, руководитель кафедры педагогики в Сорбонне, Габриель Сеайль, философ и искусствовед, — прогрессивные общественные деятели, соратники А. Франса по борьбе за пересмотр дела Дрейфуса, участники «Лиги защиты прав человека и гражданина».

#### Речь на открытии кооперативной столовой

6 декабря 1900 г. в помещении народного университета «Эмансипация» была открыта кооперативная столовая для рабочих. Речь Франса, произнесенная им на торжественном открытии столовой, вошла в состав книги «К лучшим временам».

#### Письмо в ответ на анкету о деспотизме русского самодержавия

В 1900 г. произошли студенческие волнения в России в Москве, Петербурге, Харькове и Киеве. В январе 1901 г. 183 студента Киевского университета и большая группа студентов Петербургского университета, участники волнений, были отданы в солдаты. В связи с этим 4 марта 1901 г. в Петербурге на Казанской площади состоялась многолюдная демонстрация протеста, разогнанная полицией. Репрессии царского правительства против студентов вызвали возмущение мировой общественности. Во Франции был создан «Комитет солидарности с русскими студентами», который опубликовал в газете «L'Аугоге» (7 мая 1901 г.) ответы ряда писателей, в том числе А. Франса, на анкету «О русском деспотизме».

Стр. 545. *Слова... Толстого...* — Франс цитирует воззвание Л. Н. Толстого «Царю и его помощникам» (1901).

Речь на торжественном открытии  
социалистической типографии  
«Освобождение»

12 мая 1901 г. в Пятнадцатом округе Парижа была открыта социалистическая типография «Освобождение». В этом предприятии был установлен восьмичасовой рабочий день и равная зарплата для всех рабочих; доходы должны были поступать в распоряжение профессионального союза печатников. Речь Франса на открытии типографии была включена в книгу «К лучшим временам».

Стр. 545. *Устами Рабле Пантагрюэль уверял...* — Здесь неточность: о книгопечатании говорится в письме Гаргантюа к его сыну Пантагрюэлю (кн. II, гл. 8).

Предисловие к «Сказкам для моей сестры»  
Эжезиппа Моро

Предисловие Франса написано было для издания сказок Эжезиппа Моро, 1901 г.

Стр. 548. *В дни волнений 1834 года...* — Имеется в виду республиканское восстание в Париже в апреле 1834 г., возникшее как отклик на второе восстание ткачей в Лионе.

Избранные страницы Мультагули

Статья представляет собой предисловие к книге голландского писателя Мультагули (1820—1887) «Избранные страницы Мультагули», изданной в апреле 1901 г. во Франции в переводе Александра Когена.

Речь на праздновании столетия  
со дня рождения Виктора Гюго

Празднование столетия со дня рождения Виктора Гюго продолжалось в Париже с 25 февраля по 3 марта 1902 г. 2 марта Общество народных университетов организовало в зале Трокадеро торжественное заседание под председательством Анатоля Франса. Речь Франса была напечатана в газе-

тах «La Petite République», 4 марта, и «Les Pages libres», 1 марта; вошла в состав книги «К лучшим временам».

Стр. 553. *После тринадцатого июля...* — 13 июля 1849 г. была разогнана при помощи войск демонстрация мелкобуржуазных демократов, протестовавших против нарушения президентом Луи-Бонапартом конституции.

*Господин де Фаллу.* — По инициативе министра просвещения де Фаллу в 1850 г. был принят закон о народном образовании (Закон Фаллу), поставивший учебные заведения страны под непосредственный контроль католического духовенства. Закон Фаллу был проведен под лозунгом «свободы преподавания», то есть освобождения частных школ от контроля Университета.

#### Речь о свободе выборов

20 апреля 1902 г. Франс выступил с речью на чрезвычайном общем собрании «Лиги защиты прав человека и гражданина». Его речь, поддерживающая избирательную платформу левого блока, была в последующие дни перепечатана во многих республиканских газетах. В «Les Cahiers de la quinzaine» (май 1902 г.) она была озаглавлена «Речь в защиту свободы»; в 1906 г. вошла в книгу «К лучшим временам».

Стр. 555. *Мелин Феликс-Жюль* (1838—1925) — лидер правого крыла умеренных республиканцев-прогрессистов, в 1896—1898 гг. — премьер-министр Французской республики. Открыто покровительствовал клерикалам, проводил политику колониальной экспансии. Выведен А. Франсом в «Современной истории» под именем Робена Медоточивого.

*...подобно господину и госпоже Гайян во старинном граде Дуэ.* — Имеется в виду сказочный персонаж — великан Гайян; в его честь в городе Дуэ ежегодно устраивается народный праздник с карнавальным шествием, впереди которого несут огромную фигуру Гайяна в рыцарских доспехах, а также кукол, изображающих его жену и детей.

*На похоронах президента Фора произошел шумный скандал.* — Во время похорон президента Ф. Фора 23 февраля 1899 г. монархист Поль Дерулед, глава националистической «Лиги патриотов», попытался совершить монархический пере-

ворот; схватив под уздцы лошадь бригадного генерала Роже, он стал уговаривать генерала повернуть со своей бригадой в Елисейский дворец.

Стр. 556. *...даже к шляпам, и к тем полны уважения.* — 4 мая 1899 г. на ипподроме в Отейле один из националистов бросился с поднятой тростью на президента Лубе и помял ему цилиндр.

*...то, что сказал Сганарель своему хозяину...* — Цит. слова Сганареля — слуги Дон-Жуана, из одноименной комедии Мольера (1665, д. 5, явл. 4).

Стр. 557. *Лига* — то есть реакционная националистическая «Лига патриотов», возникшая в 1882 г. и ставшая центром антиреспубликанской пропаганды.

*...иезуитов, которые... сумели за тридцать лет...* — Закон Фаллу (1850) дал возможность иезуитам подчинить своему влиянию большинство учебных заведений страны. Орден иезуитов был запрещен во Франции в 1880 г.

*«Ла Круа»* («Крест») — ежедневная католическая газета, основанная в 1880 г.; вела рьяную клерикальную пропаганду, имела дочерние издания во многих французских провинциях.

Стр. 558. *...он все еще держит ее в своих когтях.* — Начиная с середины XIX в. клерикальная партия Бельгии неоднократно приходила к власти. Большинство, полученное на выборах 1884 г., бельгийские клерикалы сохраняли до 1914 г.

Стр. 559. *Франсис де Прессансе* (1853—1914) — французский общественный деятель, примыкал к Жоресу; в 1902 г. — депутат парламента от социалистов; президент «Лиги защиты прав человека и гражданина».

#### Речь на собрании избирателей

4 мая 1902 г., за восемь дней до второго тура голосования, Франс выступил с большой речью на предвыборном празднике, организованном народным университетом «Идея». 5 мая речь Франса под названием «Трублюны» была напечатана в газете «L'Аугоге». 10 мая Франс повторил эту речь на предвыборном собрании округа, где баллотировался Жак Аллеман. Она была напечатана 15 мая в «Официальном бюллетене Лиги защиты прав человека»; в 1906 г. включена в книгу «К лучшим временам».

Стр. 560. 27 апреля. — В этот день в 1902 г. состоялся первый тур голосования, давший в большинстве избирательных округов победу левому блоку.

#### Речь на похоронах Эмиля Золя

Похороны Эмиля Золя состоялись 5 октября 1902 г. На могиле от имени друзей писателя выступил Анатоль Франс.

Речь Франса была напечатана в газете «Les Pages libres» 18 октября 1902 г., в том же 1902 г. вышла отдельным изданием. Позже вошла в состав книги «К лучшим временам»,

Стр. 566. *Председатель Общества литераторов.* — От имени Общества литераторов на могиле Золя говорил писатель Абель Эриан.

Стр. 568. *...Золя... послал президенту республики свое... письмо...* — 13 января 1898 г. Золя опубликовал в газете «L'Аугоге» открытое письмо президенту Феликсу Форю — «Я обвиняю», требуя пересмотра дела Дрейфуса.

#### Слово о Стейнлене

«Слово о Стейнлене» Франса было напечатано в октябрьском номере 1902 г. журнала «Les Maîtres — Artistes», целиком посвященном творчеству Стейнлена, с которым А. Франс был близко знаком; в 1906 г. включено в книгу «К лучшим временам». Франс написал также предисловие к каталогу выставки Стейнлена (1903) и выступил с речью на банкете, устроенном в честь художника (1903).

#### Письмо к Жеро-Ришару

Письмо было послано Франсом Жеро-Ришару, председателю «праздника социалистической солидарности», организованного 21 декабря 1902 г. французской социалистической партией (жорессисты). Оно было напечатано 23 декабря в газете «La Petite République».

Письмо к участникам митинга в защиту невинно осужденных испанских крестьян

В 80-х гг. XIX в. в Андалузии действовало организованное анархистами террористическое общество «Мано негра» («Чер-

ная рука»), состоявшее в основном из крестьян. Под предлогом борьбы с «Манго негра» испанские власти начали репрессии против демократических деятелей, сфабриковав ряд вымышленных судебных дел. В начале 900-х гг. развернулась борьба за освобождение тех невинно осужденных, которые еще остались в живых. 29 января 1903 г. в Париже в связи с этим состоялся митинг студентов-социалистов, на котором было зачитано письмо Анатоля Франса. Оно было напечатано в газете «L'Augore» 30 января 1903 г.

Стр. 572. *Пьер Кийяр* (1864—1912) — французский поэт и публицист, редактор журнала «Pro Armenia» («В защиту Армении»).

#### Речь на похоронах Шарля Лонге

Похороны Шарля Лонге состоялись 9 августа 1903 г. на кладбище Пер-Лашез. Речь Франса была напечатана в газетах «L'Augore» 10 августа и «La Petite République» 11 августа.

«Совместим ли патриотизм с любовью  
к человечеству»

Журнал «La Revue» опубликовал в номере от 15 января 1904 г. анкету журналиста Поля Гзелля «Совместим ли патриотизм с любовью к человечеству», а также ответы на нее нескольких писателей, в том числе Анатоля Франса.

Стр. 573. *Фенелон писал...* — Франс ссылается на эпизод из романа Фенелона «Приключения Телемака, сына Улисса» (1699), в котором описывается идеальная просвещенная монархия в Саленте.

#### Письмо к издателю Альберту Лангену

В 1904 г. А. Ланген в ознаменование 10-летнего юбилея своего мюнхенского издательства опубликовал каталог 389-ти изданных им книг, а также автобиографии 36-ти писателей, печатавшихся в его издательстве (Albert Langens Verlag — Katalog, 1904), в том числе автобиографию А. Франса.

Стр. 575. «*Это не в моей витрине*». — Эту фразу А. Франс использовал для характеристики ограниченного псевдоученого в романе «Красная лилия».

...*Гюго был избран сенатором*. — Гюго был избран сенатором в 1876 г.

Стр. 576. *Ансиль Эдуард* (1856—1937) — один из организаторов бельгийской социалистической партии.

### Церковь и республика

Франс активно поддерживал антиклерикальную политику премьер-министра радикала Эмиля Комба (1902—1905). Он написал предисловие к книге Комба «Антиклерикальная кампания 1902—1903 года», вышедшей в январе 1904 г. В марте 1904 г. это предисловие было издано отдельной книгой под заглавием «Черная партия». Текст «Черной партии» был затем включен Франсом в состав книги «Церковь и республика» (главы III—IV и X). Книга «Церковь и республика» вышла в январе 1905 г. в издательстве Эдуарда Пельтана в серии «Дешевая социальная и философская библиотека».

Стр. 577. *Конкордат* — соглашение между главой государства и папой, определяющее положение католической церкви в данном государстве. Здесь имеется в виду конкордат 1801 г., заключенный между Наполеоном и папой Пием VII, по которому католицизм признавался государственной религией Франции (действовал до 1905 г.).

*Антонелли Джакомо* — кардинал, статс-секретарь папы Пия IX, фактический правитель папского государства в 70-е гг. XIX в.

...*вплоть до крещения Константина*... — Римский император (306—337) Константин, желая предотвратить распад государства, пытался ввести в Римской империи единую религию — христианство и сам крестился перед смертью.

Стр. 578. *Дар Константина* — фальшивый документ, сфабрикованный папской курией во второй половине VIII в., чтобы оправдать притязания папского престола на светскую власть. Согласно этому документу, будто бы данному папе Сильвестру I императором Константином, римскому папе предоставлялась власть, равная императорской, над странами Западной Европы.

*Священные декреты* — папские послания по вопросам религии и церкви.

*Во времена декретов...* — то есть в 80-е гг. XIX в., когда были приняты декреты, ограничивающие во Франции деятельность и влияние католической церкви, была запрещена преподавательская деятельность иезуитов, закрыты школы других монашеских орденов и т. д.

Стр. 581. *Луи Вейо* (1813—1883) — французский публицист, ярый сторонник неограниченной папской власти, редактор католической газеты «L'Univers religieux».

*Бурбонский дворец* — место заседания палаты депутатов.

Стр. 582. *Лев Великий* — римский папа Лев I (440—461), вел борьбу за укрепление светской власти церкви.

*Энциклика* — папское послание.

*Великая хартия* — точнее, Великая хартия вольностей, подписанная английским королем Иоанном Безземельным в 1215 г.; обеспечивала английским баронам существенные экономические, судебные и политические привилегии.

*Вестфальский мир* — был заключен в 1648 г. между Германией с одной стороны, Швецией и Францией — с другой; он закрепил раздробленность Германии, гарантировал свободу вероисповедания как католикам, так и протестантам.

Стр. 583. *Силлабус* — перечень «заблуждений нашего века», составленный по повелению римского папы Пия IX в 1864 г.; Пий IX осудил здесь науку, свободу слова и печати, а также веротерпимость.

*«Церковь даровала корону Петру, а Петр дарует ее Рудольфу»* — то есть церковь короновала апостола Петра — первого римского папу, и теперь римский папа, наместник Петра, коронует Рудольфа — герцога Швабского (противника Генриха IV).

Стр. 586. *Когда республика была провозглашена во Франции в третий раз...* — Первая республика была провозглашена 22 сентября 1792 г.; вторая республика — 25 февраля 1848 г., третья республика — 4 сентября 1870 г.

*Конвенции 1801 года* — то есть конкордат 1801 г.

Стр. 587. *Карл X* — французский король (1824—1830), проводил крайне реакционную политику и покровительствовал клерикалам.

*Ультрамонтаны* — сторонники полного подчинения французской (галликанской) церкви власти римского папы. Главную



роль в движении ультрамонтанов играли иезуиты (название происходит от латинских слов *ultra montes* — за горами, то есть за Альпами, в Риме).

Стр. 588. *...во Фросдорфе, где дремал и охотился чудоребенок...* — Речь идет о внуке Карла X, графе Анри Шамборе (1820—1883), которого французские монархисты-легитимисты хотели провозгласить французским королем под именем Генриха V (Богданного); Фросдорф — его резиденция, замок близ Вены.

*Мрачные выборы 1871 года...* — В 1871 г. в условиях прусской оккупации были произведены первые парламентские выборы Третьей республики. В Национальном собрании, созданном в Бордо, большинство получили монархисты.

*...отдавшее Францию во власть ордена Сердца Иисусова.* — То есть во власть клерикально-монархических партий. 24 июля 1874 г. Франция официально была посвящена «Сердцу Иисусову», и этот культ всячески поддерживался реакционными кругами и служил для открытой антиреспубликанской пропаганды.

Стр. 589. *...поговаривали о скором въезде в Париж Генриха V.* — Наибольшее оживление деятельности монархистов-легитимистов было в 1873 г.

*Орлеаны* — потомки французского короля Луи-Филиппа, представители младшей ветви Бурбонов. Претендентом на престол был Луи-Филипп, граф Парижский (1838—1894), внук короля Луи-Филиппа, глава партии орлеанистов. Далее Франс намекает на то, что матерью графа Парижского была немка, принцесса Мекленбургская — Шверин.

*...ограниченный солдат... совершил переворот 16 мая...* — 16 мая 1877 г. президент маршал Мак-Магон сместил республиканский кабинет Жюля Симона и вручил власть монархисту герцогу де Брольи, затем распустил неугодную ему палату.

Стр. 590. *Конгрегации* — объединения католических монастырей, принадлежащих к одному и тому же ордену; конгрегации захватили прочные позиции в области народного образования во Франции; в 80-х гг. более половины всех учащихся обучалось в их школах.

Стр. 591. *«Белые отцы»* — монахи-миссионеры ордена Африканской богородицы, основанного в 1868 г.; они носили белые одежды.

Стр. 592. *Первый консул* — то есть Наполеон.

Стр. 593. *Скандал, разразившийся в Елисейском дворце...* — В 1887 г. стало известно, что Вильсон — зять президента Грели — торговал орденами Почетного легиона и занимался другими аферами. Грели вынужден был подать в отставку.

*Буланже... скомпрометировал претендента на престол...* — Имеется в виду провал попытки генерала Буланже произвести монархический государственный переворот (1889).

Стр. 595. *...книги Ламенне и речи Монталамбера...* — Аббат Фелисите-Робер де Ламенне (1782—1854) — один из главных проповедников «христианского социализма»; граф Шарль де Монталамбер (1810—1870) — один из руководителей католической партии «ультрамонтанов», которого К. Маркс назвал «шефом иезуитов».

Стр. 596. *«Единорожденный»* — булла папы Климента XI (1713), осуждавшая янсенистские взгляды проповедника Кенеля; вызвала раскол среди французского духовенства.

Стр. 597. *...исправить преступление, совершенное Учредительным собранием...* — Имеется в виду Гражданский статут, принятый Учредительным собранием 12 мая 1790 г. и провозгласивший независимость французского духовенства от папского престола, выборность священников и епископов, обязанность духовенства присягать конституции республики. Большая часть французского духовенства не признала Гражданский статут; в 1791 г. он был осужден папой Пием VII.

Стр. 598. *Орден св. Доминика* — орден, основанный в 1216 году; был непосредственно подчинен папе и ведал инквизицией.

*Ассумпционисты* — члены монашеского ордена, основанного в честь христианского праздника вознесения девы Марии, фанатические защитники привилегий католической церкви, вели антиреспубликанскую пропаганду.

*Папаша Дюшен* — популярный персонаж ярмарочного театра. Во время французской буржуазной революции конца XVIII в., в 1790 г., руководитель левой группировки «бешеных» Эбер основал газету «Папаша Дюшен», все статьи которой были написаны нарочито грубым языком, изобиловали шутками и остротами. Газету украшало традиционное изображение папаша Дюшена в виде торговца печками.

Стр. 601. *...когда пал глава правительства...* — Речь идет о падении министерства Мелина в июне 1898 г.

...с тех пор как папа объявлен непогрешимым... — Догмат о непогрешимости папы римского был провозглашен Ватиканским собором в 1870 г. по инициативе иезуитов.

Стр. 603. *Процесс 1894 года* — первый процесс по делу Дрейфуса, в результате которого он был присужден к пожизненному заключению.

...продавила шляпу на президенте Лубе — см. примеч. к стр. 556.

*Закон от 15 марта 1850 года* — закон Фаллу (см. прим. к стр. 553).

Стр. 604. *...Ренан был лишен кафедры...* — Ренан был лишен кафедры во Французском коллеже в 1863 г. после выхода в свет его книги «Жизнь Иисуса».

Стр. 622. *На выборах радикалы и социалисты получили большинство голосов...* — Речь идет о выборах в Национальное собрание 1902 г.

*Узнав, что президент Лубе прибыл в Рим...* — В марте 1904 г. состоялся первый визит главы французского правительства в Рим, к королю Италии.

Стр. 623. *...с герцогом савойским, незаконным обладателем вотчины св. Петра.* — Ватикан не признавал прав итальянского правительства на Папскую область и Рим, которые были воссоединены с остальной Италией в 1870 г. По «Закону о гарантиях» (1871) папа был лишен светской власти и сохранял суверенитет лишь в пределах Ватиканского дворца. В ответ на это папа Пий IX отлучил от церкви короля Виктора-Эммануила II (Савойская династия) и членов итальянского правительства и объявил себя «ватиканским узником». Возник так называемый римский вопрос — борьба папского престола за восстановление светской власти и возвращение города Рима; он существовал до 1929 г., до соглашения папы Пия XI с фашистским правительством Муссолини.

*Тройственный союз* — военно-политический блок Германии, Австро-Венгрии и Италии, сложившийся в 1879—1882 гг.

Стр. 624. *Кэ д'Орсе* — набережная в Париже, где находится французское министерство иностранных дел.

Стр. 626. *...Варравой и Олибрием.* — Варавва — по евангельской легенде, разбойник, заключенный в одну темницу с Иисусом Христом. Олибрий (IV в.) — вождь галлов, согласно легенде убивший христианку Рэу, причисленную церковью к лику святых.

Стр. 630. *Стоффле, Шаретт* — главари контрреволюционного вандейского восстания во время французской буржуазной революции конца XVIII в.

Стр. 631. *Органические статьи* — дополнительные статьи к основному тексту конкордата 1801 года, обнародованные Наполеоном в 1802 г. Так как они по сути дела сводили на нет многие положения конкордата, то папа Пий VII их не признал и осудил. В Органических статьях, в частности, говорилось, что без разрешения правительства во Франции не может иметь силы ни одно распоряжение папы.

*Декларация.* — Имеется в виду так называемая «Галликанская декларация», принятая французским духовенством по распоряжению Людовика XIV и утверждавшая независимость светской власти от духовной и право короля назначать священников и епископов.

Стр. 637. *Св. Бернар, Боссюэ* — теоретики католицизма, защищавшие идею независимой галликанской церкви; св. Бернар (XII в.) — основатель Клервосского аббатства, один из идеологов крестовых походов; Боссюэ назван здесь как составитель «Галликанской декларации».

Стр. 643. *Правительство «морального порядка»* — то есть правительство, проводившее политику, угодную монархической клике, господствовавшей во Франции в период президентства Мак-Магона (1873—1879).

Стр. 644. *...простой алтарь Аугсбургского вероисповедания и свитки Торы.* — На Аугсбургском сейме 1530 г. было утверждено изложение основ лютеранства «Аугсбургское вероисповедание». Свитки Торы — священные книги древних евреев, содержащие Пятикнижие, то есть первые пять книг библии, авторство которых приписывается пророку Моисею.

Стр. 645. *...подобно отцу из прекрасной иудейской притчи, имеет три кольца.* — Эта древняя восточная притча была использована Боккаччо в «Декамероне» (1452—1453) и Лессингом в драме «Натан Мудрый» (1779) для осуждения религиозного фанатизма.

Стр. 658. *...мудрыми словами проконсула Ахайи...* — Речь идет о Галлионе — проконсуле (наместнике) Греции (в римскую эпоху Греция именовалась провинцией Ахайя). О Галлионе Франс рассказывает в одноименной новелле (1900), включенной в 1904 г. в книгу «На белом камне».

...Виллель не мог ей оказать таких же огромных услуг, как Гизо. — Граф Жозеф де Виллель, премьер-министр в период Реставрации, крайний монархист, провел реакционный «закон о святотатстве», укрепивший позиции католического духовенства. Премьер-министр Июльской монархии Франсуа Гизо в 1835 г. внес в палату законопроект о свободе преподавания, то есть об освобождении частных средних школ от контроля Университета. Законопроект Гизо был утвержден лишь в 1850 г.

Стр. 662, ...на Монмартрском холме храм св. Петра своего нового Рима. — Речь идет о постройке в конце XIX в., на Монмартре храма Сакре-Кер (Сердца Иисусова), который должен был стать цитаделью воинствующего католицизма во Франции, так же как собор св. Петра в Риме.

#### Выступление на митинге в защиту русского народа

События 9 января 1905 г. произвели глубокое впечатление на французский народ. Всеобщая конфедерация труда созвала в Париже 27 января 1905 г. большой митинг солидарности с русскими рабочими. На митинге присутствовало свыше 5 тысяч парижских рабочих. С речью выступил Анатоль Франс; 28 января речь Франса была напечатана в газете «L'Humanité»; в 1906 г. она была включена в книгу «К лучшим временам».

Стр. 664. ...Чудовищный союз деспота с Республикой... — В 1891—1893 гг. сложился франко-русский союз, положивший начало Тройственному соглашению — Антанте (1907).

...московского медведя и служившего ему вожакom елисейского индюка. — Имеется в виду визит Николая II в Париж в 1896 г., когда президентом Франции был Феликс Фор.

Стр. 665. ...этот кровожадный старец... — то есть Тьер.

...расстреляла... фурмийских забастовщиков. — В 1891 г. полицией была расстреляна мирная первомайская демонстрация рабочих в городе Фурми.

Стр. 666. ...некий генерал оскорблен тем, что его приняли за республиканца... — Речь идет о генерале Галифе.

...доверив портфель министра биржевому маклеру. — Имеется в виду Берто.

...русские Стессели и японские Ноги — то есть военная клика. Ноги — японский генерал, осаждавший Порт-Артур.

## Выступление на университетском митинге в защиту русского народа

В Париже в начале 1905 г. был создан «Университетский, комитет протеста против кровопролитий в Петербурге».

3 февраля 1905 г. Комитет созвал митинг. Наряду с профессорами Парижского университета на митинге выступили писатели Анатоль Франс и Октав Мирбо. Речь Франса, напечатанная 4 февраля 1905 г. в газете «L'Аугоге», вошла в состав книги «К лучшим временам».

Стр. 669. *...тищеславным и глупым главой нашего государства...* — Речь идет о президенте Феликсе Форе.

*...благородной героини Софокла...* — то есть Антигоны из одноименной трагедии Софокла (V в. до н. э.).

## Письмо к господину Вердену

По просьбе швейцарского журналиста Жоржа Вердена А. Франс написал предисловие к парижскому изданию его книги «Те, кого презирают» в форме письма к автору.

## Речь на митинге протеста против нового царского займа

Анатоль Франс был председателем «Общества друзей русского народа и присоединенных к России народов», созданного в феврале 1905 г. 18 марта 1905 г. Общество созвало митинг протеста против предоставления царскому правительству нового займа в 500 млн. франков. Митинг открылся речью председательствующего Анатоля Франса. Эта речь была напечатана в журнале «L'Еигорéеп» 125 марта; вошла в книгу «К лучшим временам».

Стр. 672. *...царь поручил другому вояке...* — После поражения под Мукденом (март 1905 г.) вместо Куропаткина главнокомандующим русскими войсками был назначен генерал Линевич Николай Петрович (1838—1908).

Стр. 673. *...крейсера и броненосцы, потопленные... в Корейском проливе.* — Речь идет о Цусимском сражении 27—28 мая 1905 г.

## Воззвание в защиту Максима Горького

Максим Горький, арестованный после Кровавого воскресенья, был ввиду своей болезни, под давлением общественного мнения, условно освобожден; однако ему запретили пребывания в Петербурге, а в начале апреля было обнародовано предъявленное ему обвинение в призыве к низвержению царизма. На 16 мая был назначен закрытый судебный процесс. «Общество друзей русского народа» под председательством А. Франса в ответ на это опубликовало воззвание в защиту Горького. Воззвание было опубликовано в «L'Européen» 22 апреля 1905 г.

### Речь на собрании в пользу жертв русско-японской войны

В 1904 г. под председательством Анатоля Франса и художника Эжена Каррьера было организовано «Общество помощи раненым и протеста против войны», которое устраивало благотворительные концерты. Концерт 12 ноября 1905 г. в зале Трокадеро открылся речью Анатоля Франса. В своем выступлении Франс использовал главу IV книги «На белом камне» (1904). 13 ноября газета «L'Humanité» напечатала выступление Франса под заглавием «Пацифизм и мир». В 1906 г. оно вошло в состав книги «К лучшим временам».

Стр. 677. *...предстал перед судом присяжных...* — С 7 по 23 февраля 1898 г. происходил суд над Э. Золя, опубликовавшим 13 января 1898 г. письмо к президенту Феликсу Форю — «Я обвиняю», по поводу дела Дрейфуса. Золя был приговорен к году тюремного заключения и большому штрафу. На процессе одним из свидетелей защиты выступил Анатоль Франс.

Стр. 678. *...капрал Лознгрин.* — Намек на поэтические и музыкальные упражнения немецкого императора Вильгельма II.

Стр. 679. *«Думеризм»* — жестокая колониальная политика (от имени генерал-губернатора французского Индо-Китая Поля Думера).

Стр. 680. *Опасайтесь побед и сделок...* — Имеется в виду так называемый Первый марокканский кризис 1905 г. — резкое обострение отношений между Францией и Германией из-за влия-

ния в Марокко. Международная Алхезирасская конференция (1906) решила спор между Францией и Германией в пользу Франции.

#### Ответ на анкету «Мораль без бога»

Во время парламентских дебатов о законе об отделении церкви от государства (октябрь 1904 г. — декабрь 1905 г.) журнал «La Revue» опубликовал анкету «Мораль без бога» с вопросом: «Возможно ли в настоящее время создать народную мораль, которая основывалась бы исключительно на принципах разума?» Ответ Франса был напечатан в «La Revue» 15 ноября 1905 г.

#### Письмо председателю суда на процессе антимилитаристов

26—30 декабря 1905 г. состоялся процесс над большой группой членов «Интернациональной антивоенной ассоциации» (организация, находившаяся под влиянием анархистов). Подсудимые были обвинены в подстрекательстве военных к неповиновению властям и осуждены. 27 декабря на суде было зачитано письмо Анатоля Франса; впоследствии оно вошло в книгу «К лучшим временам».

Стр. 682. *...подлые махинации избирательной кампании.* — Накануне предстоящих в январе 1906 г. президентских выборов националисты всячески раздували дело антимилитаристов.

#### За мир против тайной дипломатии

16 января 1906 г. открылась международная конференция в Алхезирасе, которая должна была разрешить спор Франции и Германии по поводу Марокко (Первый марокканский кризис). 19 января газета «L'Humanité» и «Комитет республиканского действия французских колоний» созвали митинг, требуя гласности всех заседаний Алхезирасской конференции и отказа от секретных дипломатических соглашений. Франс, председательствовавший на этом митинге, выступил с речью; под заглавием «За мир, против тайной дипломатии» она была напе-



чатана в отрывках в газете «L'Humanité» 20 января 1906 г., а затем полный текст был включен в сборник статей Анатоля Франса, Жана Жореса и Габриеля Сеайля «За мир. Дипломатия и демократия» (1906) и в том же году вошел в книгу Франса «К лучшим временам».

Стр. 685. ...*министр иностранных дел... подготовлял кровавые битвы.* — Министр Делькассе открыто шел на обострение отношений с Германией из-за Марокко и настаивал на объявлении войны Германии.

Стр. 686. *Шуазель* Этьенн-Франсуа, герцог (1719—1785) — руководитель внешней политики Людовика XV; путем тайных интриг подготавливал войну с Англией.

*Тюбини и Лорандо* — французские банкиры. Франс имеет в виду так называемую митиленскую авантюру — оккупацию Митилен 5—10 ноября 1901 г. французской морской дивизией, с тем чтобы заставить турецкое правительство заплатить долги французским дельцам, главным образом Тюбини и Лорандо. Претензии французских кредиторов были полностью удовлетворены Турцией. Митиленская афера, подготовленная тайно, без ведома парламента, была затем одобрена палатой депутатов.

### Против колониального варварства

30 января 1906 г. «Лига защиты прав человека и гражданина» созвала собрание, посвященное сообщениям комиссии Саворньяна де Бразза, посланной в 1905 г. в Конго для изучения положения негров. Министр колоний запретил комиссии обнародовать свои выводы; во Франции началась кампания протеста. В своей речи Франс использовал часть статьи «Колониальное бешенство», вошедшей в 1904 г. в книгу «На белом камне». Речь была напечатана в «L'Humanité» 31 января; вошла в книгу «К лучшим временам».

Стр. 690. ...*англичане XVIII века во главе с Питттом, Фоксом, Верком и Шериданом единодушно требовали покарать Уоррена Гастингса...* — Гастингс Уоррен (1732—1818) — первый английский генерал-губернатор Индии, один из наиболее жестоких колонизаторов периода завоевания Индии, ставленник Ост-Индской компании. В 1785 г. под давлением лидеров пар-

тии вигов, боровшихся против монополии Ост-Индской компании, ушел в отставку. Фокс, Берк, Шеридан и другие лидеры оппозиции вигов потребовали привлечения Гастингса к суду по обвинению в злоупотреблениях, однако суд палаты лордов оправдал его.

#### Речь на конференции учителей начальных школ

Специальное правительственное распоряжение 1885 года запрещало государственным служащим, в том числе и учителям, организовывать профессиональные союзы. В 900-х гг. учителя начали борьбу за право иметь свой профессиональный союз. 22 февраля 1906 г. на собрании учителей Парижа, требовавших от правительства пересмотреть закон об учительских профсоюзах, выступил А. Франс. Его речь была напечатана в газете «L'Humanité» 23 февраля 1906 г. и вошла в книгу «К лучшим временам».

Стр. 693. *Поль Бонкур* (род. 1873) — буржуазный политический деятель, «независимый социалист»; неоднократно занимал министерские посты.

Стр. 694. *...лишить вас преимущества того закона 1884 года...* — В 1884 г. был принят закон, разрешающий организацию рабочих профессиональных союзов.

Стр. 695. *Всеобщая конфедерация труда* — общенациональное профсоюзное объединение Франции, основанное в 1895 г.; до начала первой мировой войны находилась под влиянием анархосиндикалистов и реформистов.

#### Предисловие к книге Е. Семенова «Страница из истории русской контрреволюции»

Парижский Комитет протеста против кровопролитий в России в феврале 1906 г. был реорганизован в Комитет свободной России. Комитет начал издавать ежемесячный бюллетень, а в начале июля выпустил книгу одного из своих основателей народовольца Е. Семенова под названием «Страница из истории русской контрреволюции (Погромы)». Книга открывалась предисловием А. Франса, которое явилось почти дословным

воспроизведением его речи, произнесенной 16 декабря 1905 г. на организованном Комитетом митинге протеста против кровавых действий царизма и напечатанной в «L'Humanité» 17 декабря.

### Письмо к Горькому

13 апреля 1906 г. между царским правительством и французскими банкирами было достигнуто соглашение о новом займе, который был нужен Николаю II для подавления революции. Французская передовая общественность вела борьбу против займа. Газета «L'Humanité» опубликовала воззвание Горького «Ни гроша русскому правительству!». А. М. Горький обратился также с письмом к А. Франсу, «искренно уважаемому собрату по оружию». Горький писал ему:

«Через Вас, дорогой Анатоль Франс, я обращаюсь ко всем друзьям русского народа с горячей просьбой усилить энергию своей деятельности в пользу освобождения этого народа от варварской власти Романовых и их темной компании». Письмо Горького и ответ на него Анатоля Франса были опубликованы в «Периодическом бюллетене Общества друзей русского народа» в апреле 1906 г. Эти письма положили начало переписке двух писателей, которая не прекращалась до 1913 г.

### Письмо для сборника «Против смертной казни»

Письмо Франса было напечатано в сборнике «Против смертной казни», вышедшем в 1906 г. в Москве по инициативе группы передовых русских ученых.

В сборнике были опубликованы высказывания крупных юристов, писателей, как русских, так и иностранных, протестовавших против жестоких приговоров царского суда, вынесенных революционерам.

### Речь на обеде в честь основания журнала «Леттр»

В феврале 1906 г. поэт Фернан Грег основал ежемесячный журнал «Les Lettres». 15 июня на обеде в редакции Франс произнес речь. Она была напечатана в этом же журнале в номере от 6 июля.

Стр. 702. *Брандес*. — Франс высоко ценил Георга Брандеса; он произнес речь на приеме в честь датского писателя в Париже в 1902 г. (включена в книгу «К лучшим временам»), посвятил Брандесу рассказ «Пютуа».

#### Речь на митинге работников Электрической компании

В конце 1905 г. возник конфликт между рабочими-электриками и правлениями шести электрических компаний Парижа. Франс выступил на митинге электриков 13 июля 1906 г.; его речь была напечатана 15 июля в газете «L'Humanité» и перепечатана в «Бюллетене союза электриков» (сентябрь 1906 г.)

Стр. 704. *Генерал Мерсье* — см. примеч. к стр. 526.

Стр. 706. *Ретроактивность* — обратная сила закона (юридич.).

Стр. 707. *...в первые же дни по выходе на свободу...* Эмиль Пато, секретарь профсоюза электропромышленности, департамента Сены, был осужден по процессу антимиитаристов на год тюремного заключения.

#### Речь в защиту Франсиско Феррера

31 мая 1906 г. в Мадриде было совершено покушение на короля Альфонса XIII террористом Марредем, в прошлом сотрудником журнала, издававшегося Франсиско Феррера. Последний был арестован по этому делу. 5 января 1907 г. «Лига защиты прав человека и гражданина» организовала митинг в защиту Феррера, на котором выступил Анатолий Франс. Речь Франса была напечатана в «Официальном бюллетене Лиги защиты прав человека и гражданина» 30 июля 1907 г.

*...он организовал в Барселоне светское обучение...* — Феррер основал в 1901 г. в Барселоне первую светскую школу, находившуюся совершенно вне какого-либо влияния католической церкви.

#### Отечество и Интернационал

В начале 1908 г. вышла в свет большая историческая работа Анатолия Франса «Жизнь Жанны д'Арк». Книге было пред-

послано авторское предисловие. Газета «L'Humanité» 8 февраля 1908 г. напечатала часть этого предисловия со следующим вступлением: «Мы обязаны дружескому отношению к нам несравненного художника слова и мысли тем, что печатаем несколько страниц из его предисловия, показывающих, что Анатоль Франс разрешает проблему Интернационала и патриотизма с позиций социалиста».

Стр. 708. «*Спор в четыре голоса*» — публицистическая книга Алена Шартье (1385 — ок. 1435), в которой выведены аллегорические фигуры Франции и представителей трех сословий, обсуждающие причины поражения французов в Столетней войне.

Стр. 709. ...*соглашения в Бретиньи...* — Речь идет о договоре, подписанном французским королем Иоанном Добрым в английском плену, в 1360 г. Согласно этому договору, Англия получала большую часть северо-западной Франции.

*Ювенал Дезурсен* Жан (1388—1473) — французский историк, участник боев с англичанами в Нормандии во время Столетней войны.

Стр. 710. *Рабле выводит Франсуа Вийона и английского короля...* — Имеется в виду эпизод из романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (кн. IV, гл. 67).

*Шаплен* Жан (1595—1674) — французский поэт-классицист, автор героической эпопеи «Девственница, или Освобожденная Франция» (1656), посвященной Жанне д'Арк.

...*будущий автор «Марсельезы»*. — «Марсельеза» (первоначальное название «Походная песнь Рейнской армии») была создана в 1792 г. капитаном французских республиканских войск Руже де Лилем.

*Двадцать три военных года...* — Речь идет о войнах французской республики и Наполеона (1792—1815).

#### Речь на банкете «Общества истории революции»

Франс был одним из старейших членов «Общества истории революции». 8 марта 1908 г. на ежегодном собрании членов Общества писателя поздравляли с выходом в свет его большой исторической работы «Жизнь Жанны д'Арк». Франс произнес ответное слово, оно было напечатано в журнале Общества 14 апреля 1908 г.

Стр. 712. *Олар* Альфонс (1849—1928) — французский историк буржуазно-либерального направления, выступавший против реакционной историографии (в частности, против И. Тэна), автор капитальных трудов по истории французской революции конца XVIII в. и ряда ценных публикаций архивных документов той эпохи.

Стр. 713. *Этьен Шаравэ* (1848—1899) — историк и палеограф, друг детства А. Франса.

Стр. 715. *Жюль Кларти* (1840—1913) — историк, писатель, театральный деятель.

#### Речь на банкете Общества «Искусство для всех»

4 апреля 1908 г. рабочий самодеятельный коллектив «Искусство для всех» устроил в демократическом ресторане «Пале д'Орлеан» банкет в честь Анатоля Франса как писателя и как общественного деятеля, связанного с социалистами. Франс выступил с ответной речью, которая была опубликована в «L'Humanité» 6 апреля 1908 г.

Стр. 716. *...подают зловещий сигнал к ней.* — Намек на волнующее событие: локаут парижских строительных рабочих, объявленный в тот день Федерацией предпринимателей в ответ на длительную организованную борьбу рабочих-каменщиков за повышение заработной платы и девятичасовой рабочий день.

#### Бессилие парламента

15 апреля 1908 г. журнал «La Revue» опубликовал анкету «Бессилие парламента» с вопросом, какие необходимо внести изменения в избирательную систему и в организацию французского парламента. Ответ Франса был напечатан в этом же номере журнала.

Стр. 717. *...на заводах Крезо...* — то есть связано с военным концерном Шнейдер-Крезо; город Крезо — центр французской военной промышленности.

#### Лев Толстой

Статья написана в связи с исполнявшимся в 1908 г. восьмидесятилетием Льва Николаевича Толстого. Она была напеча-

тана во Франции в день юбилея, 10 сентября 1908 г. в газете «L'Humanité». Несколько раньше она была опубликована на венгерском языке в журнале «Венгерское обозрение» (15 апреля 1908 г., Будапешт).

#### Речь на вечере Общества помощи русским эмигрантам

17 апреля 1908 г. «Общество помощи русским эмигрантам» организовало под председательством Анатоля Франса вечер в честь Веры Фигнер, которой после 20-ти лет заключения в Шлиссельбургской крепости и двух лет ссылки на север России удалось в 1906 г. бежать за границу. Речь Франса была напечатана 19 апреля 1908 г. в газете «L'Humanité».

Стр. 720. *Один из заключенных...* — Имеется в виду народоволец Михаил Федорович Грачевский, приговоренный в 1882 г. к пожизненному заключению в Шлиссельбургской крепости; в 1887 г. он облился керосином из лампы и сжег себя.

#### Речь на торжественном открытии народной библиотеки в Кибероне

Открытие народной библиотеки в городе Киберон (Бретань) состоялось 30 августа 1908 г. Речь Франса была напечатана в газете «L'Action» 7 сентября под названием «О чем узнают в библиотеках».

Стр. 724. *...правду о Киберонских событиях...* — В 1795 г. в Кибероне высадились эмигранты, переправившиеся сюда из Англии; они подняли контрреволюционное восстание, которое вскоре было разбито генералом Гошем. Часть мятежников, взятая в плен, была расстреляна. События в Кибероне неоднократно фальсифицировались реакционными историками.

*Юному генералу...* — то есть Лазару Гошу (1768—1797), генералу республиканской армии, герою французской революции.

Стр. 726. *Этьен Доле и Анн Дю Бур...* — Этьен Доле — см. примеч. к стр. 316. Законовед Анн Дю Бур, протестант по вероисповеданию, был по приказу короля Генриха II повешен, а затем сожжен как еретик (1559).

## Страх

Статья «Страх» была напечатана на немецком языке в журнале «Neue Freie Presse» (Вена) 13 сентября 1908 г.

Стр. 728. *События в Дравее*. — В начале мая 1908 г. недалеко от Парижа забастовали землекопы. 2 июня жандармы окружили дом, где происходило собрание забастовщиков, и открыли стрельбу. Были убитые. 30 июня по призыву Всеобщей конфедерации труда состоялась всеобщая стачка протеста строительных рабочих, а также многолюдные рабочие демонстрации в Париже и его пригородах, которые были жестоко разогнаны полицией. Правительство начало преследование Всеобщей конфедерации труда.

Стр. 729. *...как ни склонен Клемансо к резкому вмешательству...* — Придя к власти в 1906 г., радикал Клемансо показал себя душителем рабочего движения, — он посылал войска для подавления забастовок, арестовывал деятелей рабочих организаций.

*...свести на нет дело Вальдека-Руссо*. — С именем Вальдека-Руссо Франс связывает проведение закона 1884 г., разрешавшего организовывать профсоюзы.

Стр. 731. *Претендент на престол прибыл в Ваграм...* — Претендентом на французский престол после смерти графа Парижского в 1894 г. считался его сын Луи-Филипп, герцог Орлеанский. При Ваграме в июле 1809 г. произошло сражение между австрийским войском и армией Наполеона I.

Стр. 732. *...как в феврале 1848 года...* — Временное правительство, пришедшее к власти в результате февральской буржуазной революции 1848 г., сохранило все прежние налоги, падавшие на народные массы, отказалось от обложения крупных капиталистов. Через три месяца 15 мая демонстрация рабочих и ремесленников явилась в Учредительное собрание с требованием помощи безработным и нуждающимся и изменения системы налогообложения. Демонстрация была разогнана.

## Предисловие к брошюре Эберлина-Дарси

В конце 1908 г. в Париже вышла брошюра публициста Эберлина-Дарси «Очерк коллективистского общества» с предисловием Анатоля Франса.



Письмо участникам митинга, организованного  
Обществом ученых в защиту  
политических заключенных

Письмо Франса было напечатано в газете «L'Humanité» 10 июня 1909 г.

Стр. 740. *Шайу* — прибрежный район Марокко, где в 1909 г. произошли восстания марокканцев, жестоко подавленные французскими войсками.

Протест против режима в царских тюрьмах

После подавления революции 1905 года царское правительство усилило репрессии против всех оппозиционных элементов. Особенно жестоким режимом для политзаключенных отличался Саратовский каторжный централ. В 1909—1910 гг. там находилась группа эсеров, в том числе публицист О. С. Минор. Сведения о бесчеловечном обращении с политическими заключенными в Саратовском центре проникли в зарубежную печать. В газете «L'Humanité» 23 марта 1910 г. был опубликован протест видных французских ученых и писателей.

Письмо к Константину Лядову

Летом 1913 г. А. Франс посетил Россию. С 9(22) по 11(24) июля он пробыл в Петербурге и с 12(25) по 14(27) июля — в Москве. Он проявил большой интерес к русской культуре. 11(24) июля 1913 г. в газете «Петербургский листок» была напечатана статья журналиста Константина Лядова под заглавием «Знаменитый французский писатель в Петербурге», помещен портрет Анатоля Франса, а также автограф его письма к Лядову. Статья Лядова заканчивалась следующей фразой: «Просьбу... дать для «Петербургского листка» автограф, отражающий впечатления, навеянные русской столицей, — знаменитый гость выполнил с любезной готовностью и с тем мастерством чеканного стиля, который так обаятелен в его произведениях».

Письмо к Теофило Брага

Письмо Франса было напечатано в газете «L'Humanité» 29 ноября 1914 г. в ответ на воззвание президента Португальской Академии наук Теофило Брага.

Письмо директору издательства Кальман-Леви  
Леопольду Кану

Письмо написано осенью 1918 г. и адресовано другу Франса, директору издательской фирмы Кальман-Леви, где начиная с 1879 г. выходили почти все произведения писателя. На русском языке письмо печатается впервые. Предоставлено для настоящего издания Парижской Национальной библиотекой.

Стр. 742. *Бешелльри* — дача Франса, недалеко от города Тура, на которой писатель жил в 1915—1920 гг.

*Эмма* — Эмма Лапревотт, экономка, с 1920 г. жена Анатоля Франса.

*Леду-Лебар* — врач писателя.

*Мергейм* Альфонс (1881—1925) — один из лидеров французской Всеобщей конфедерации труда, синдикалист-реформист.

Стр. 743. *Карл Маркс предсказал в 1871 году...* — Франс имеет в виду работу Карла Маркса «Гражданская война во Франции» (1871).

Жан Жорес

31 июля 1914 г., за день до объявления войны, националистом Раулем Вилленом был убит пламенный борец против милитаризма, социалист Жан Жорес. Процесс над Вилленом начался только через пять лет, в марте 1919 г. 26 марта в газете «L'Humanité» в связи с этим была напечатана статья Франса «Жан Жорес».

Стр. 744. *Закон о трехгодичной военной службе* — закон, введенный во Франции в августе 1913 г. (вместо закона о двухгодичной военной службе), несмотря на возражения социалистов, возглавляемых Жоресом.

Убийца Жореса

Узнав о том, что суд оправдал убийцу Жореса, руководство социалистической партии Франции призвало трудящихся Парижа к демонстрации протеста, которая состоялась в воскресенье 6 апреля 1919 г. В воскресном номере «L'Humanité» вместо передовицы было напечатано воззвание А. Франса «Убийца Жореса».

## Письмо министру внутренних дел

«Кларте» — международная группа прогрессивных западноевропейских писателей, организованная Барбюсом в мае 1919 г. для борьбы с империалистической войной и интервенцией в Советскую Россию. Франс был одним из активных членов «Кларте», автором ряда ее манифестов и деклараций. Письмо министру внутренних дел было написано 28 августа 1919 г.

## Письмо к избирателям

Во время выборов в палату депутатов в 1919 г. Франс был выдвинут кандидатом социалистической партии в Двадцать шестом округе Парижа. Его письмо к избирателям было напечатано в газете «L'Humanité» 19 октября 1919 г.

## Призыв к пролетариату

Империалистическая Франция выступала одним из активнейших организаторов интервенции в Советскую Россию. В 1919—1920 гг. французские банкиры снаряжают польскую армию Пилсудского и полки генерала Врангеля. Французское правительство Мильерана заключает тайную военную конвенцию с Врангелем и 11 августа 1920 г. официально признает его правителем Юга России, обещая широкую военную помощь.

14 августа Франс публикует свой «Призыв к пролетариату» в газете «L'Humanité».

Стр. 751. *...на путь разногласий с Англией...* — Речь идет о серьезных разногласиях между Англией и Францией во время подготовки Версальского мирного договора. 25 марта 1919 г. представитель Англии Ллойд-Джордж прислал представителям США (Вильсону) и Франции (Клемансо) английскую программу мирного договора — так называемый «Документ Фонте-небло», который чуть не привел к полному разрыву между Францией и Англией.

Россия — страна, где сбывается и невозможное

Письмо Франса было напечатано в газете «L'Humanité» 18 февраля 1921 г.

### Письмо к Марселю Кашену

В 1922 г. французский писатель, друг Франса, Мишель Корде (1869—1937) опубликовал антивоенный роман «Доменные печи». Франс написал об этом романе открытое письмо на имя Марселя Кашена. Оно было напечатано в «L'Humanité» 18 июля 1922 г.

Стр. 754. *...павшие в сражении при Жемапе...* — В 1792 г. французские республиканские войска под командованием Камилля Дюмурье выбили австрийцев из местечка Жемап в Бельгии.

### Пятая годовщина русской революции

Статья Франса была напечатана в «L'Humanité» 8 ноября 1922 г.; 21 ноября она была опубликована на русском языке в газете «Известия».

### Предисловие к первому изданию «Железной пяты»

В 1923 г. в Париже вышел французский перевод романа Джека Лондона «Железная пята» с предисловием А. Франса.

*И. Лилеева*

**АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ**  
**произведений Анатоля Франса, включенных в**  
**тт. 1—8 Собрания сочинений**

	<i>Том</i>	<i>Стр.</i>
Адриенна Бюке . . . . .	5	216
Ален-Ренэ Лесаж . . . . .	8	371
Альфонс Доде . . . . .	8	445
Аметистовый перстень . . . . .	4	305
Амикус и Целестин . . . . .	2	673
Апология плагиата. «Безумный» и «Препятствие»	8	280
Апология плагиата. Мольер и Скаррон . . . . .	8	288
Бальзак . . . . .	8	47
Бенжамен Констан. «Адольф» . . . . .	8	403
Бессилие парламента . . . . .	8	717
Боги жаждут . . . . .	6	477
Большие маневры в Монтиле . . . . .	5	204
Бонапарт в Сан-Миньято . . . . .	5	501
Брат Жоконд . . . . .	6	293
Валтасар . . . . .	2	7
Весельчак Буффальмако . . . . .	3	401
Видения среди развалин . . . . .	1	67
Воззвание в защиту Максима Горького . . . . .	8	675
Воспоминания о Шанфлери . . . . .	8	482
Восстание ангелов . . . . .	7	7
Выступление на митинге в защиту русского народа	8	663
Выступление на университетском митинге в защиту русского народа . . . . .	8	667
Галстук . . . . .	5	199
Гамлет во «Французской Комедии» . . . . .	8	7
Гастон Парис и средневековая французская лите- ратура . . . . .	8	141
Гемма . . . . .	5	223

Гестас . . . . .	2	722
Ги де Мопассан и французские рассказчики . . . . .	8	13
Ги де Мопассан — критик и романист . . . . .	8	100
Господин Бержере в Париже . . . . .	4	487
Господин Пижоно . . . . .	2	23
Господин Тома . . . . .	5	257
Госпожа де Люзи . . . . .	2	781
Граф Морен . . . . .	7	611
Гросвита в театре марионеток . . . . .	8	175
Гюстав Флобер . . . . .	8	92
Дама из Вероны . . . . .	3	421
Дарованная смерть . . . . .	2	787
Дафнис и Хлоя . . . . .	8	297
Деревья . . . . .	1	62
Диалог в аду . . . . .	7	660
Диалоги живых. Человек-зверь . . . . .	8	240
Домашняя кража . . . . .	5	263
Дочь Лилит . . . . .	2	37
Жан Жорес . . . . .	8	743
Жан Марто . . . . .	5	247
Жан Расин . . . . .	8	348
Женщины из Пикардии, Пуатье, Тура, Лиона и Парижа . . . . .	6	306
Жизнь в цвету . . . . .	7	403
Жонглер богоматери . . . . .	2	700
Жорж Санд и идеализм в искусстве . . . . .	8	77
За мир, против тайной дипломатии . . . . .	8	682
Завтра . . . . .	8	121
Записки волонтера . . . . .	2	739
Записки сельского врача . . . . .	2	730
Земля . . . . .	7	637
«Земля» . . . . .	8	55
Ивовый манекен . . . . .	4	155
Ивовый манекен ( <i>ньеса</i> ) . . . . .	5	345
Идеи Гюстава Флобера . . . . .	8	223
Избранные страницы Мультиатули . . . . .	8	549
Июкаста . . . . .	1	143
«Иродиада» Гюстава Флобера . . . . .	8	426
История герцогини де Сиконь и г-на де Буленгрена	6	397
История доньи Марии д'Авалос и дона Фабрицио, герцога Андрии . . . . .	3	492

К лучезарности . . . . .	1	55
Кимейский певец . . . . .	3	685
Китайские сказки . . . . .	8	191
Клио . . . . .	3	685—758
Книга моего друга . . . . .	1	461
Колодезь святой Клары . . . . .	3	355—509
Комедия о человеке, который женился на немой . . . . .	5	435
Комм, вождь атребатов . . . . .	3	699
Коринфская свадьба . . . . .	1	79
Королева Наваррская . . . . .	8	304
Король пьет . . . . .	3	738
Красная лилия . . . . .	3	7
Красное яйцо . . . . .	2	59
Кренкебиль, Пютуа, Рике и много других полезных рассказов . . . . .	5	151—272
Кренкебиль . . . . .	5	151
Кренкебиль ( <i>пьеса</i> ) . . . . .	5	305
Куропатка . . . . .	1	61
Лев Толстой . . . . .	8	718
Легенда о святых Оливерии и Либретте . . . . .	2	678
Леконт де Лиль во Французской Академии . . . . .	8	30
Лексикон . . . . .	8	150
Лесли Вуд . . . . .	2	712
Лета Ацилия . . . . .	2	50
Любовь к книгам . . . . .	8	113
Люцифер . . . . .	3	391
Маленький Пьер . . . . .	7	223
Маргарита . . . . .	7	589
Мериме . . . . .	8	106
Мессер Гвидо Кавальканти . . . . .	3	380
Могила Мольера . . . . .	8	454
Морской пейзаж . . . . .	1	66
Мысли перед возвращением в город. Земля и язык . . . . .	8	65
Мысли Рике . . . . .	5	195
«Мюирон» . . . . .	3	744
На белом камне . . . . .	5	467
На набережной Малаке. Александр Дюма и его речь . . . . .	8	39
Народные песни старой Франции . . . . .	8	200
Народные сказки и песни Франции . . . . .	8	256
Наше сердце . . . . .	8	249
Неподкупные судьбы . . . . .	5	237

Новогодний подарок мадемуазель де Дусин . . .	6	321
О некоем в ужас повергающем изображении . . .	6	317
Обедня теней . . . . .	2	706
Обращение к избирателям . . . . .	8	747
Обыск . . . . .	2	802
Одно из величайших открытий нашего времени . . .	7	666
Олени . . . . .	1	57
Оловянный солдатик . . . . .	2	795
Остров Пингвинов . . . . .	6	7
Ответ на анкету «Мораль без бога» . . . . .	8	680
Отечество и Интернационал . . . . .	8	708
Памятник Бодлеру . . . . .	8	510
Пасха, или Освобождение . . . . .	7	630
Паштет из языков . . . . .	6	315
Перламутровый ларец . . . . .	2	659—806
Письмо в ответ на анкету о деспотизме русского самодержавия . . . . .	8	544
Письмо директору издательства Кальман-Леви Лео- польду Кану . . . . .	8	742
Письмо для сборника «Против смертной казни» . . .	8	701
Письмо Жеро-Ришару . . . . .	8	571
Письмо к Горькому . . . . .	8	700
Письмо к господину Вердену . . . . .	8	671
Письмо к избирателям . . . . .	8	749
Письмо к издателю Альберту Лангену . . . . .	8	574
Письмо к Константину Лядову . . . . .	8	740
Письмо к Марселю Кашену . . . . .	8	753
Письмо к участникам митинга в защиту невинно осужденных испанских крестьян . . . . .	8	572
Письмо к Теофилу Брага . . . . .	8	741
Письмо министру внутренних дел . . . . .	8	746
Письмо председателю суда на процессе антимили- таристов . . . . .	8	681
Письмо участникам митинга, организованного Обществом ученых в защиту политических за- ключенных . . . . .	8	739
Под городскими вязами . . . . .	4	7
По поводу дневника Гонкуров . . . . .	8	21
Покинутый дуб . . . . .	1	63
Поль Верлен . . . . .	8	232
Поль Верлен. — «Мои больницы» . . . . .	8	488



Поль-Луи Кушу. Мудрецы и поэты Азии. . . . .	8	473
Поль Скаррон. . . . .	8	321
Поручительство. . . . .	3	485
Последний образ. . . . .	1	74
Похвальба Оливье. . . . .	6	273
Предисловие к брошюре Эберлина-Дарси «Очерк коллективистского общества». . . . .	8	738
Предисловие к книге Е. Семенова «Страницы из истории русской контрреволюции». . . . .	8	696
Предисловие ( <i>ко второй серии «Литературной жизни»</i> ). . . . .	8	84
Предисловие к первому изданию «Железной пяты» во французском переводе. . . . .	8	756
Предисловие к «Сказкам для моей сестры» Эже- зиппа Моро. . . . .	8	547
Предисловие ( <i>к третьей серии «Литературной жизни»</i> ). . . . .	8	164
Преступление Сильвестра Бонара. . . . .	1	295
Призыв к пролетариату. . . . .	8	750
Приключения аббата Прево. . . . .	8	380
«Принцесса Клевская» госпожи де Лафайет. . . . .	8	411
Прокуратор Иудеи. . . . .	2	659
Пролог (Досточтимый отец Адоне Дони). . . . .	3	355
Протест против режима в царских тюрьмах. . . . .	8	740
Против колониального варварства. . . . .	8	687
Пчелка. . . . .	2	69
Пьер Нозьер. . . . .	3	513
Пьесы. . . . .	5	275—464
Пютуа. . . . .	5	175
Пятая годовщина русской революции. . . . .	8	756
Рабле ( <i>лекции</i> ). . . . .	7	685
Рабле. . . . .	8	183
Рассвет. . . . .	2	772
Рассказы Жака Турнеброша. . . . .	6	273—339
Резеда господина кюре. . . . .	2	21
Речь в защиту подполковника Пикара. . . . .	8	525
Речь в защиту Франсиско Феррера. . . . .	8	707
Речь на банкете «Общества истории революции»	8	712
Речь на банкете общества «Искусство для всех». . . . .	8	715
Речь на вечере Общества помощи русским эми- грантам. . . . .	8	719

Речь на конференции учителей начальных школ	8	692
Речь на митинге протеста против нового царского займа . . . . .	8	672
Речь на митинге работников Электрической компании . . . . .	8	703
Речь на обеде в честь основания журнала «Леттр»	8	701
Речь на открытии кооперативной столовой . . . . .	8	543
Речь на похоронах Шарля Лонге . . . . .	8	572
Речь на празднике народного университета «Рабочие вечера» . . . . .	8	527
Речь на праздновании столетия со дня рождения Виктора Гюго . . . . .	8	551
Речь на представлении в «Гражданском театре»	8	530
Речь на собрании в пользу жертв русско-японской войны . . . . .	8	676
Речь на собрании избирателей . . . . .	8	559
Речь на торжественном открытии народной библиотеки в Кибероне . . . . .	8	722
Речь на торжественном открытии социалистической типографии «Освобождение» . . . . .	8	545
Речь о свободе выборов . . . . .	8	555
Речь по случаю открытия народного университета «Пробуждение» . . . . .	8	533
Речь по случаю пятисотлетия со дня рождения Гутенберга . . . . .	8	535
Речь, произнесенная на похоронах Эмиля Золя на кладбище Монмартр . . . . .	8	565
Речь, произнесенная на празднестве в честь Дидро, друга народа, в зале Ваграм . . . . .	8	541
Рике . . . . .	5	190
Римский сенатор . . . . .	1	72
Роксана . . . . .	6	327
Роман и магия . . . . .	8	157
Россия — страна, где сбывается и невозможное . . . . .	8	752
Рубашка . . . . .	6	411
Сад Эпикура . . . . .	3	251
Сандаловый костер . . . . .	1	73
Святая Евфросиния . . . . .	2	685
Святой сатир . . . . .	3	361
Семь жен Синей Бороды и другие чудесные рассказы . . . . .	6	343—473

Семь жен Синей Бороды . . . . .	6	343
Синьора Кьяра . . . . .	5	234
Слово о Стейнлене . . . . .	8	570
Смерть обезьяны . . . . .	1	59
«Совместим ли патриотизм с любовью к челове- честву» . . . . .	8	573
Современная история . . . . .	4	
Социалистическая литература . . . . .	8	503
Стендаль. Этюд . . . . .	8	458
Стефан Малларме. — «Стихи и проза» . . . . .	8	515
Стихотворения . . . . .	1	55—75
Страх . . . . .	8	728
Суждения господина Жерома Куаньяра . . . . .	2	525
Схоластика . . . . .	2	696
Таинство крови . . . . .	3	478
Таис . . . . .	2	137
Театральная история . . . . .	5	7
«Тощий кот» . . . . .	1	223
Трагедия человека . . . . .	3	425
Убийца Жореса . . . . .	8	746
Узник . . . . .	1	70
Фарината дельи Уберти, или гражданская война	3	727
Фера . . . . .	1	65
Харчевня королевы Гусиные Лапы . . . . .	2	287
Хорошо усвоенный урок . . . . .	6	309
Христос океана . . . . .	5	243
Церковь и республика . . . . .	8	577
Чем черт не шутит . . . . .	5	275
Черные хлебы . . . . .	3	397
Чудо святого Николая . . . . .	6	367
Чудо со скупым . . . . .	7	639
Чудо, сотворенное сорокой . . . . .	6	281
Шарль Морис . . . . .	8	131
Штурм . . . . .	7	653
Эдме, или Удачно поданная милостыня . . . . .	5	268
Эльвира. Диалог . . . . .	8	495
Эмиль . . . . .	5	211
Эпизод из времен флореаля II года республики . . . . .	2	790
Эрнест Ренан — историк христианства . . . . .	8	72

---

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

### ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

#### **Из «Литературной жизни»**

*(Серия первая)*

Гамлет во «Французской Комедии». <i>Перевод М. П. Неведомского</i> . . . . .	7
Ги де Мопассан и французские рассказчики. <i>Перевод Н. Г. Касаткиной</i> . . . . .	13
По поводу дневника Гонкуров. <i>Перевод М. П. Неведомского</i> . . . . .	21
Леконт де Лиль во Французской Академии. <i>Перевод М. П. Неведомского</i> . . . . .	30
На набережной Малаке. Александр Дюма и его речь. <i>Перевод М. П. Неведомского</i> . . . . .	39
Бальзак. <i>Перевод М. П. Неведомского</i> . . . . .	47
«Земля». <i>Перевод Н. М. Любимова</i> . . . . .	55
Мысли перед возвращением в город. Земля и язык. <i>Перевод Е. А. Гунста</i> . . . . .	65
Эрнест Ренан — историк христианства. <i>Перевод М. П. Неведомского</i> . . . . .	72
Жорж Санд и идеализм в искусстве. <i>Перевод М. П. Неведомского</i> . . . . .	77

#### **Из «Литературной жизни»**

*(Серия вторая)*

Предисловие. <i>Перевод Я. З. Лесюка</i> . . . . .	84
Гюстав Флобер. <i>Перевод М. П. Неведомского</i> . . . . .	92

Ги де Мопассан — критик и романист. <i>Перевод Н. Г. Касаткиной</i> . . . . .	100
Мериме. <i>Перевод М. П. Неведомского</i> . . . . .	106
Любовь к книгам. <i>Перевод М. П. Неведомского</i> . . . . .	113
Завтра. <i>Перевод М. П. Неведомского</i> . . . . .	121
Шарль Морис. <i>Перевод М. П. Неведомского</i> . . . . .	131
Гастон Парис и средневековая французская литература. <i>Перевод Ю. Б. Корнеева</i> . . . . .	141
Лексикон. <i>Перевод Э. Я. Гуревича</i> . . . . .	150
Роман и магия. <i>Перевод Я. З. Лесюка</i> . . . . .	157

### Из «Литературной жизни»

(Серия третья)

Предисловие. <i>Перевод М. П. Рожницыной</i> . . . . .	164
Гросвита в театре марионеток. <i>Перевод В. Г. Гака</i> . . . . .	175
Рабле. <i>Перевод Я. З. Лесюка</i> . . . . .	183
Китайские сказки. <i>Перевод С. И. Рошаль</i> . . . . .	191
Народные песни старой Франции. <i>Перевод А. С. Кулишер</i> . . . . .	200
Идеи Гюстава Флобера. <i>Перевод Я. З. Лесюка</i> . . . . .	223
Поль Верлен. <i>Перевод Н. М. Любимова</i> . . . . .	232
Диалоги живых. Человек-зверь. <i>Перевод Н. М. Жарковой</i> . . . . .	240

### Из «Литературной жизни»

(Серия четвертая)

Наше сердце. <i>Перевод Э. Я. Гуревича</i> . . . . .	249
Народные сказки и песни Франции. Жан-Франсуа Бладэ. <i>Перевод А. С. Кулишер</i> . . . . .	256
Апология плагиата. «Безумный» и «Препятствие». <i>Перевод Э. Я. Гуревича</i> . . . . .	280
Апология плагиата. Мольер и Скаррон. <i>Перевод Э. Я. Гуревича</i> . . . . .	288

### Из сборника «Латинский гений»

Дафнис и Хлоя. <i>Перевод В. Г. Гака</i> . . . . .	297
Королева Наваррская. <i>Перевод Ю. Б. Корнеева</i> . . . . .	304
Поль Скаррон. <i>Перевод А. С. Кулишер</i> . . . . .	321

Жан Расин. <i>Перевод Н. Д. Эфрос.</i> . . . . .	348
Ален-Ренэ Лесаж. <i>Перевод А. С. Кулишер.</i> . . . . .	371
Приключения аббата Прево. <i>Перевод Н. Д. Эфрос.</i> . . . . .	380
Бенжамен Констан. «Адольф». <i>Перевод А. С. Кулишер</i>	403

### Из сборника «Страницы истории и литературы»

«Принцесса Клевская» госпожи де Лафайет. <i>Перевод С. Р. Брахман.</i> . . . . .	411
«Иродиада» Гюстава Флобера. <i>Перевод С. И. Рошаль</i>	426
Альфонс Доде. Этюд. <i>Перевод М. П. Рожницыной.</i> . . . . .	445
Могила Мольера. <i>Перевод Я. З. Лесюка.</i> . . . . .	454
Стендаль. Этюд. <i>Перевод С. И. Рошаль.</i> . . . . .	458
Поль-Луи Кушу. Мудрецы и поэты Азии. <i>Перевод М. П. Рожницыной.</i> . . . . .	473

### Из «Литературной жизни»

(Серия пятая)

Воспоминания о Шанфлери. <i>Перевод Е. А. Гунста.</i> . . . . .	482
Поль Верлен. — «Мои больницы». <i>Перевод Е. А. Гунста</i>	488
Эльвира. Диалог. <i>Перевод Е. А. Гунста.</i> . . . . .	495
Социалистическая литература. <i>Перевод Е. А. Гунста</i>	503
Памятник Бодлеру. <i>Перевод Е. А. Гунста.</i> . . . . .	510
Стефан Малларме. — «Стихи и проза». <i>Перевод Е. А. Гунста.</i> . . . . .	515

### ПУБЛИЦИСТИКА, РЕЧИ, ПИСЬМА

Речь в защиту подполковника Пикара. <i>Перевод Б. С. Вайсмана.</i> . . . . .	525
Речь на празднике народного университета «Рабочие вечера». <i>Перевод Б. С. Вайсмана.</i> . . . . .	527
Речь на представлении в «Гражданском театре». <i>Перевод Б. С. Вайсмана.</i> . . . . .	530
Речь по случаю открытия народного университета «Пробуждение». <i>Перевод Б. С. Вайсмана.</i> . . . . .	533
Речь по случаю пятисотлетия со дня рождения Гутенберга. <i>Перевод Б. С. Вайсмана.</i> . . . . .	535

Речь, произнесенная на празднестве в честь Дидро, друга народа, в зале Ваграм. <i>Перевод Н. М. Любимова</i> . . . . .	541
Речь на открытии кооперативной столовой. <i>Перевод Н. М. Жарковой</i> . . . . .	543
Письмо в ответ на анкету о деспотизме русского самодержавия. <i>Перевод Н. М. Жарковой</i> . . . . .	544
Речь на торжественном открытии социалистической типографии «Освобождение». <i>Перевод Н. М. Жарковой</i> . . . . .	545
Предисловие к «Сказкам для моей сестры» Эжезиппа Моро. <i>Перевод Н. М. Жарковой</i> . . . . .	547
Избранные страницы Мультатули. Рецензия. <i>Перевод О. В. Моисеенко</i> . . . . .	549
Речь на праздновании столетия со дня рождения Виктора Гюго. <i>Перевод Н. М. Жарковой</i> . . . . .	551
Речь о свободе выборов. <i>Перевод Н. М. Жарковой</i> . . . . .	555
Речь на собрании избирателей. <i>Перевод Н. М. Жарковой</i> . . . . .	559
Речь, произнесенная на похоронах Эмиля Золя на кладбище Монмартр. <i>Перевод Н. М. Любимова</i> . . . . .	565
Слово о Стейнлене. <i>Перевод Н. М. Жарковой</i> . . . . .	570
Письмо Жеро-Ришару. <i>Перевод Б. С. Вайсмана</i> . . . . .	571
Письмо к участникам митинга в защиту невинно осужденных испанских крестьян. <i>Перевод Б. С. Вайсмана</i> . . . . .	572
Речь на похоронах Шарля Лонге. <i>Перевод Б. С. Вайсмана</i> . . . . .	572
«Совместим ли патриотизм с любовью к человечеству» . . . . . <i>Перевод Б. С. Вайсмана</i> . . . . .	573
Письмо к издателю Альберту Лангену. <i>Перевод Б. С. Вайсмана</i> . . . . .	574
Церковь и республика. <i>Перевод О. В. Моисеенко</i> . . . . .	577
Выступление на митинге в защиту русского народа. <i>Перевод Н. М. Любимова</i> . . . . .	663
Выступление на университетском митинге в защиту русского народа. <i>Перевод Н. М. Любимова</i> . . . . .	667
Письмо к господину Вердену. <i>Перевод О. В. Моисеенко</i> . . . . .	671
Речь на митинге протеста против нового царского займа. <i>Перевод Н. М. Любимова</i> . . . . .	672

Воззвание в защиту Максима Горького. <i>Перевод Н. М. Любимова</i> . . . . .	675
Речь на собрании в пользу жертв русско-японской войны. <i>Перевод О. В. Моисеенко</i> . . . . .	676
Ответ на анкету «Мораль без бога». <i>Перевод В. Н. Чернявского</i> . . . . .	680
Письмо председателю суда на процессе антимилиитаристов. <i>Перевод М. В. Вахтеровой</i> . . . . .	681
За мир, против тайной дипломатии. <i>Перевод Н. М. Любимова</i> . . . . .	682
Против колониального варварства. <i>Перевод М. В. Вахтеровой</i> . . . . .	687
Речь на конференции учителей начальных школ. <i>Перевод М. В. Вахтеровой</i> . . . . .	692
Предисловие к книге Е. Семенова «Страница из истории русской контрреволюции». <i>Перевод И. И. Емельяновой</i> . . . . .	696
Письмо к Горькому. <i>Перевод Н. М. Любимова</i> . . . . .	700
Письмо для сборника «Против смертной казни». <i>Перевод О. В. Моисеенко</i> . . . . .	701
Речь на обеде в честь основания журнала «Леттр». <i>Перевод В. Н. Чернявского</i> . . . . .	701
Речь на митинге работников Электрической компании. <i>Перевод В. Н. Чернявского</i> . . . . .	703
Речь в защиту Франсиско Феррера. <i>Перевод В. Н. Чернявского</i> . . . . .	707
Отечество и Интернационал. <i>Перевод Г. С. Еременко</i> . . . . .	708
Речь на банкете «Общества истории революции». <i>Перевод М. В. Вахтеровой</i> . . . . .	712
Речь на банкете общества «Искусство для всех». <i>Перевод М. В. Вахтеровой</i> . . . . .	715
Бессилие парламента. <i>Перевод М. В. Вахтеровой</i> . . . . .	717
Лев Толстой. <i>Перевод О. В. Моисеенко</i> . . . . .	718
Речь на вечере Общества помощи русским эмигрантам. <i>Перевод М. В. Вахтеровой</i> . . . . .	719
Речь на торжественном открытии народной библиотеки в Кибероне. <i>Перевод М. В. Вахтеровой</i> . . . . .	722
Страх. <i>Перевод М. В. Вахтеровой</i> . . . . .	728
Предисловие к брошюре Эберлина-Дарси «Очерк коллективистского общества». <i>Перевод М. В. Вахтеровой</i> . . . . .	738



Письмо участникам митинга, организованного Обществом ученых в защиту политических заключенных. <i>Перевод О. В. Моисеенко</i> . . . . .	739
Протест против режима в царских тюрьмах. <i>Перевод О. В. Моисеенко</i> . . . . .	740
Письмо к Константину Лядову. <i>Перевод Н. А. Алексеева</i> . . . . .	740
Письмо к Теофило Брага. <i>Перевод О. В. Моисеенко</i>	741
Письмо директору издательства Кальман-Леви Леопольду Кану. <i>Перевод О. В. Моисеенко</i> . . . . .	742
Жан Жорес. <i>Перевод О. В. Моисеенко</i> . . . . .	743
Убийца Жореса. <i>Перевод В. Н. Чернявского</i> . . . . .	746
Письмо министру внутренних дел. <i>Перевод Г. С. Еременко</i> . . . . .	746
Обращение к избирателям. <i>Перевод М. А. Донского</i> .	747
Письмо к избирателям. <i>Перевод Г. С. Еременко</i> . .	749
Призыв к пролетариату. <i>Перевод Г. С. Еременко</i> . . .	750
Россия — страна, где сбывается и невозможное. <i>Перевод под редакцией А. Л. Андрес</i> . . . . .	752
Письмо к Марселю Кашену. <i>Перевод Г. С. Еременко</i>	753
Пятая годовщина русской революции. <i>Перевод Н. М. Любимова</i> . . . . .	756
Предисловие к первому изданию «Железной пяты» во французском переводе. <i>Перевод И. И. Емельяновой</i>	756
<i>Комментарии И. С. Ковалевой и И. А. Лилевой</i>	763
<i>Алфавитный указатель произведений Анатоля Франса, включенных в тт. 1—8 Собрания сочинений</i> . . . . .	872

АНАТОЛЬ ФРАНС

*Собрание сочинений, т. 8.*

Редактор *С. Брахман*  
Оформление художника *Л. Зусмана*  
Художественный редактор *Л. Калитовская*  
Технический редактор *Ф. Артемьева*  
Корректоры *В. Брагина* и *Л. Кошица*

\*

Сдано в набор 12/VIII 1959 г.  
Подписано в печать 18/XII 1959 г.  
Бумага 84 X 108<sup>1</sup>/<sub>32</sub> — 27,75 печ. л. = 45,51 усл.  
печ. л. 42,653 уч.-изд. л. + 3 вкл. = 42,903 л.  
Тираж 240 000 экз. Заказ № 1577.  
Цена 14 р.

Гослитиздат  
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

\*

Ленинградский Совет народного хозяйства.  
Управление полиграфической промышленности. Типография № 1 «Печатный Двор»  
им. А. М. Горького.  
Ленинград, Гатчинская, 26.

Paris, le 29 Mai 1906

HOSPICE NATIONAL  
DES QUINZE-VINGTS

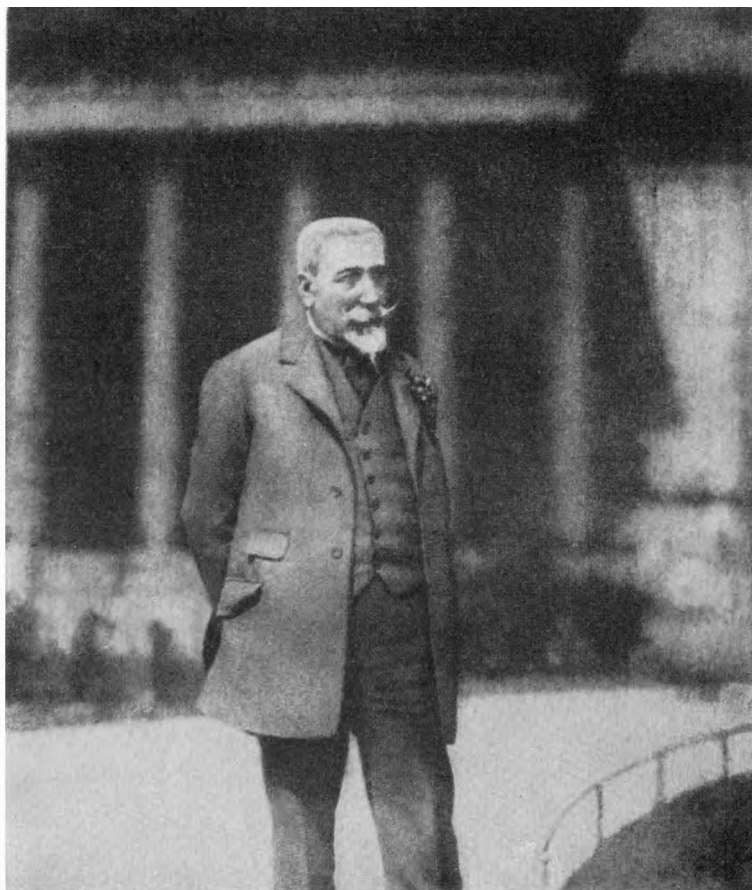
Quoi ! après le Manchourie il  
faudrait conseiller à nos bureaucrates-  
bourgeois d'être plus mince que  
le sel de Russie !

C'est cinquante ans après Beccaria et  
J.-J. Rousseau il faudrait craindre l'infamie  
d'exécutions capitales à l'Européenne !

Que nos magistrats prennent garde :  
ils ne jugent pas d'arrestation. Ils  
accusent leurs victimes d'attentat contre  
la chose publique, et en Russie, vous  
n'avez pas encore chose publique -  
C'est en vain qu'ils espèrent les  
de leur mieux à l'aide de textes plus  
sonnants que les autres réponses. Ces

Lois de contrainte et d'oppression  
justifieraient toute la révolte. Elles  
mettent le peuple Russe en état de  
légitime défense contre le Sibir  
firoc du Czarisme exécré.

A. Franca



**Анатоль Франсъ, —**

знаменитый французский писатель, прибывший в Петербург на автомобиль, — на площади Исаакиевского собора.

Снимокъ исключительно для «Биржевыхъ Вѣдомостей» фот. Я. Штейнберга.

Cher monsieur Constantin Lédoff.

a qui mieux qu'à vous confier les impressions  
que j'éprouve en parcourant cette ville monumentale  
vraiment auguste, d'une beauté magnifiquement,  
en visitant le musée de l'Ermitage — des plus  
riches du monde.

Quant à la poésie russe, si noble et si  
profonde, quant à l'âme russe si généreuse,  
si naturellement poète, il y a longtemps  
que je la sens, que je l'admire et que je  
l'aime.

Je remercie le Peterbourg par la poste  
de présenter l'hommage d'un français  
à la Russie.

Anatole France

Peterbourg le 10 juillet 1917.